В·КАВЕРИН

6

В·КАВЕРИН

6



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

В. КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

В·КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ШЕСТОЙ

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
РОМАН
ДВУХЧАСОВАЯ ПРОГУЛКА
РОМАН
В СТАРОМ ДОМЕ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р2
К 12

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

К $\frac{4702010200-342}{028(01)-82}$ подписное

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

РОМАН



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

29.I.10. Пермь.

Костя! Прежде всего прошу Вас не называть меня по имени и отчеству. Начальница может распечатать, и это покажется ей странным или даже неприличным. Впрочем, у нее неприлично уже то, что я переписываюсь с мальчиком (хотите — юношей). Вы пишете, что я просила Вас быть искренним? Вы меня неверно поняли, Костя. Именно этого-то мне и не хотелось. В обязанность дружбе полную искренность я не ставлю и сама всегда и во всем откровенной быть не хочу, так как у каждого есть своя «святая святых». Я и так слишком себя показываю, хотя следовало бы лишь до известной степени быть откровенной со всеми. Интересно, почему Вы считаете меня другом? Сейчас я как раз не в расположении говорить о себе, а то, пожалуй, Вы пожалели бы о своей, слишком лестной для меня, торопливости.

Теперь мне хочется сказать Вам, что я солгала, сказав, что уже была однажды на балу в мужской гимназии. До прошлого года нас туда не пускали. После бала про меня распустили сплетню, и мне пришлось выслушать от начальницы приятные комплименты. Меня это страшно возмутило, не начальница, конечно, а мальчики, с которыми я была давно знакома. Правда, потом они извинились, но хотя я и добрая, как говорят, но не прощаю людям. И вот я не простила одному гимназисту: я бросила ему в лицо оскорбление, что он впоследствии объяснил моими взглядами, слишком, по его мнению, идеальными.

Я читаю сейчас Вербицкой «Ключи счастья» и «Путешествие на корабле «Бигль» Дарвина. Подумать только — юношей отправиться на пять лет в кругосветное путешествие. Какое счастье! Извините за почерк и ужасный слог с ошибками.

Лиза.

Пермь. 1910

Военный оркестр гремел на хорах, тоненький молодой человек из Дамского попечительства о бедных носился по залу, дирижируя танцами на плохом французском языке, мамы в креслах сидели вдоль стен, а подле них стояли, ожидая приглашения, раскрасневшиеся нарядные дочки.

Пансионерки были с классной дамой Анной Петровной, толстой, молодой и доброй, огорчавшейся, что кавалеры обходят ее девочек, и Лиза вдруг смело пошла через круг танцующих по навощенному, усеянному конфетти полу. Незнакомый гимназист в длинном парадном мундире, которые уже давно никто не носил, подлетел к ней, пригласил на падекатр; они сделали тур и остановились подле комнаты, где мужчины разговаривали и курили, а женщины хлопотали, устраивая лотерею. Другой знакомый гимназист попросил венгерку, но Лиза сказала, что венгерку нельзя, она обещала. Можно кадриль. Потом, танцуя с Карновским кадриль, она с ужасом вспомнила об этом. Но ужас был какой-то веселый, счастливый, кружившийся вместе с ней в разгоряченном, гремящем и тоже счастливом воздухе бала. Все было весело — танцевать, разрывая длинные разноцветные ленты серпантина, поскользнуться и чуть не упасть, когда Карновский, стоя на одном колене, повел ее вокруг себя в мазурке, стоять с ним в тамбуре подъезда, где было прохладно и тихо, только доносились из зала лихие, отчаянные возгласы дирижера.

Весь вечер Карновский не отходил от нее, принес ей лимонаду и пирожные из буфета, подарил розовый, отделанный шелком ящичек для писем, который он выиграл в лотерею.

— А ведь это значит, что судьба в самом деле велит нам переписываться, Лиза.

Он предложил проводить ее, и она согласилась, хотя и знала, что в пансион надо вернуться с Анной Петровной

и что, если она придет одна, ей непременно сбавят за поведение.

Снег искрился и сверкал от луны — и было так холодно, что у Лизы даже замерзли губы. Конечно, она запомнила, о чем они говорили, это был серьезный интересный разговор, но в тысячу раз серьезнее и важнее было то, что Карновский так почтительно предложил ей руку и теперь вел ее, как королеву, держась вполоборота к ней, нарочно, чтобы показать, что он только для нее существует на свете.

Через рукав она чувствовала его твердую мужскую руку...

12.VIII.10.

Пишите мне, Костя, на конверте «Пермь», а не «здесь» или «местное», так как дома должно произойти объяснение по поводу нашей переписки, а мне хочется его отдалить. Эта переписка есть проступок перед папой, который не переносит, когда я бываю с мальчиками, потому что не верит в их хорошие намерения, а заодно не доверяет и мне. Но из этого не следует, что она (переписка) должна прекратиться. Последнее может случиться лишь в том случае, если я не смогу отвоевать себе независимое положение. Переписываться же тайно я не желаю.

Костя, Вы не поняли меня: у нас семь классов, и последний, то есть первый, равняется седьмому классу гимназии. Я собиралась после пансиона ехать за границу, у меня есть небольшие средства, положенные на мое имя дедом. Но куда? И потом, эти деньги можно взять только после того, как мне исполнится двадцать один год. Вообще, я решила остаться в России. Ужасно хочется поскорее кончить пансион. Но знаете, что меня больше всего смущает: цель жизни. Скажите мне откровенно, с какой целью Вы учитесь и живете? Правда, ужасно трудно разрешить этот вопрос. Ну, пока до свиданья, еще бы написала, да жарко. Читали вы дневник Марии Башкирцевой? Я не могу от него оторваться. Меня поражает уже то, что она способна думать о себе с утра до ночи и даже во сне. Я попробовала — и представьте, это оказалось очень трудно. Уже через четверть часа я стала думать о своей подруге, а потом об одной классной даме, которой мы решили насолить. Башкирцева пишет, что жизнь — это Париж, а Париж — это жизнь. Может быть, поехать учиться в Париж?

15.XI.10. Пермь.

Если Вы считаете меня другом (в письмах это видно только из обращения), то будем переписываться. Если нет — то лучше бросить. Да, мне хочется быть Вашим другом, хотя, без сомнения, я смешна в Ваших глазах, если только Вы не тот, каким я Вас себе представляю. Я доверчива и непостоянна в своих суждениях, что, кстати, видно из предыдущих строк.

Напишите мне об университете, о Ваших впечатлениях, о трудности предмета — ведь я тоже хочу идти на математический. Обо мне говорят: лед и огонь. Но это сравнение нейдет здесь: при чем тут характер, были бы лишь способности и желание!

С Вашим письмом произошло несчастье: начальница его распечатала и запретила переписываться. По поведению мне хотели поставить одиннадцать, но поставили все же двенадцать, жалея мои успехи. Теперь вы мне пишите на адрес подруги, и это даже лучше, потому что можно не бояться быть прочитанным: Никольская улица, дом 14, Марии Андреевне Милютиной, для меня.

Костя, неужели это правда, что какой-то корреспондент сообщил о смерти Толстого, когда он был еще жив, то есть за несколько минут до его кончины? Эта бесстыдность и публичность так поразили меня, что от возмущения я даже перестала плакать.

Если можете, пришлите карточку в форме студента, у меня глупая пансионская любовь к форме. Как я говорила, что забуду Ваше лицо, так и случилось. Только помню, что Вы в светло-синем пенсне.

Напишите, Костя, о своих товарищах, об их идеях и волнениях.

Читая мне нотацию, начальница вообще советовала не переписываться со студентами. Я лгала, смеялась и снова лгала. Вы даже не можете вообразить, как часто приходится лгать в пансионе, особенно начальству,— на каждом шагу. Иногда даже хочется сказать правду, я попробовала, но перестала, заметив, что ее-то и принимают за ложь.

17.XII.10.

Извините, Костя, что долго не писала. У меня гостила подруга, а после ее отъезда я не могла до сих пор собраться. Мне очень хочется с Вами увидеться и поговорить, и я даже ходила по улицам и смотрела — не встречу

ли господина в светло-синем пенсне, хотя прекрасно знаю, что Вы — в Казани. Наверно, не следует писать Вам об этом, но мне давно хотелось иметь друга, с которым я была бы вполне откровенна. А то я откровенна со всеми, и это мне очень вредит. Когда я поступила в пансион, я сразу полюбила одного учителя и очень любила до нынешнего года за то, что он хороший семьянин и входил в наши интересы. Но потом он, по-видимому, стал просто-напросто думать, что я бегаю за ним — ведь это принято в пансионах,— и любовь стала охлаждаться. Потом я была дружна с одной классной дамой, что причинило мне немало неприятностей, потому что она меня совсем не поняла. Наверно, Вам уже надоело читать такое неразборчивое письмо. Я очень рассеянная и не люблю перечитывать.

Напишите мне ваше отчество.

Лиза.

10.I.11. Пермь.

Костя, какие разные Ваши два письма. Первое — восторженное, а второе — такое унылое, как будто Вы что-то дорогое потеряли. По первому письму я решила, что Вы влюблены,— правда или нет, мне очень интересно. Вы знаете, а я даже никогда не увлекалась, и это почему-то считают странным. Сама же я объясняю это просто. У меня уже создался известный идеал, а его нет среди окружающей молодежи. А если я влюблюсь в человека, не отвечающего моему идеалу, это будет индукция — и только.

На праздниках я, как и в прошлом году, была на балу в мужской гимназии. Так странно, что прошел уже год, а тот вечер вспоминается мне, будто я прочитала о нем в какой-то книге. У меня тогда были плохие отношения с регентом, который у нас имеет большую власть, и я узнала, что меня не пустят на бал за то, что ушла из певчих. Но мне все-таки разрешили, и первую половину вечера, пока шел концерт, я была не в духе, как всегда, когда задевают мое самолюбие. Вы пригласили меня, и мне все думалось: почему Вы именно меня пригласили? Когда мы танцевали венгерку, мне было страшно, что Вы потеряете свое пенсне. Кстати, я так и не знаю, какие у Вас глаза, мне кажется — серые или голубые. У меня почти все танцы были розданы мальчикам, и они обиделись, в особенности один, который думал, что я в него влюблена.

Ужасно надоело в пансионе. Скоро экзамены, хочу сдать хорошо, надо заниматься, тем более что я думаю о курсах, к которым совершенно не подготовлена. Но времени совершенно нет! Надеялась почитать на страстной и на пасхе — каждый день служба, да еще два раза, очень утомляюсь.

Еще я должна сказать Вам, Костя, что Вы совершенно не понимаете моих писем. Вы считаете меня наивной пансионеркой, которая навязывается со своей дружбой, увидевшись с мальчиком (хотите — юношей) единственный раз. В этом я почти уверена, потому что иначе Вы не отвечали бы в такой общей форме на мои вопросы.

Е. Тураева.

23.III.11.Пермь.

Костя, что с Вами, Вы так долго не пишете! Я уже все передумала: не больны ли Вы? Может, не находите интересным со мной переписываться?

Этот год у меня удивительно гадкое настроение: ничего не читаю, не учусь. Начальница опять начала придираться, да и классная дама, которую я так любила и которая ко мне относилась очень хорошо. Лишили медали, сбавив из-за поведения. В отпуск не хожу — все наказана. Голова тоже совершенно пустая. Жду не дождусь, когда кончу.

26.VI.11.

Благодарю Вас, Костя, за письмо. Теперь я живу на Воткинском заводе. Сюда перевели полк, в котором служит отец. Мой адрес: командиру второй роты Тураеву для Елизаветы Николаевны. Я кончила с золотой медалью, и начальница при прощании сказала, что простила меня ради моей доброй души,— не знаю уж, чем я эту доброту показала. О будущем пока ничего сказать не могу, так как папа не может меня содержать в Симбирске. Таким образом, я прежде должна найти уроки и тогда, может быть, смогу учиться в восьмом классе гимназии в Симбирске, а там уж мне легче будет ехать в Петербург. Воткинский завод — захолустье, каких мало, даже библиотеки нет, а об интеллигентных людях и говорить нечего. Я здесь очень скучаю. Мы живем довольно далеко от центра, где находится красивый пруд, и его плотина служит местом

для гуляний, а по жаре, которая спадает только к десяти часам, нет никакой охоты ходить. Вы ведь тоже думаете о Петербурге. Поедете ли туда и когда? Вы еще не ответили на мои вопросы, хотя знаете, что я буду откровенно отвечать на Ваши. Я вообще откровенна и люблю такое же отношение к себе. Предугадываю Ваши мысли: «Боже, какая наивность, сентиментальность». Верно ведь? Но только это совсем не так. Я просто руковожусь одним: «мне хочется», и почему же этому не быть, ведь я, конечно, уважаю и чужую волю!

Сейчас читаю «Цепи» Ожешко. И думаю, что замужество действительно не что иное, как цепи, особенно для женщины. Я ужасно жалею замужних женщин, конечно молодых. Вся их личная жизнь потеряна, и это — общая судьба почти, за редким исключением. Я стою против брака, интересно, как вы?

Посылаю Вам свою фотографию. Правильно ли я угадала, что у Вас глаза серые? У меня — неопределенного цвета: иногда зеленые, а иногда серые, за что в пансионе меня звали «русалкой» и «Ундиной».

Не знаю, как Вы разбираете мой отвратительный почерк. Если судить по Вашему, мы — полная противоположность.

Костя, будьте со мной откровенны, забудьте, что я — барышня. Ваша сдержанность, скрытность не позволяют и мне вполне довериться Вам.

Лиза.

К этому письму была приложена фотография институтки в белом переднике, с белой пелеринкой на плечах. Черный бант поддерживал пышно уложенную груду волос. Лицо было доверчивое, с большим красивым ртом и широко открытыми улыбающимися глазами. «Косте Карновскому,— было написано на обороте фотографии,— на память о нашей оригинальной дружбе».

На почтовой бумаге были оттиснуты цветные заставки: на одних письмах — Петрушка, погоняющий черта, на других — мышки, оседлавшие рыжего зеленоглазого кота. Адрес выглядел старомодно-забавно: «Казань. Продолженье второй горы, дом Аверьянова. Его высокородию г. Карновскому». Здесь и там попадались засушенные цветы в самодельных конвертах из прозрачной бумаги.

12.IX.11. Сарапул.

Большое спасибо, друг, за Ваше письмо. Действительно, немало воды утекло с тех пор, как мы стали переписываться. Смешно вспоминать, как наивна я была в пансионе! Только теперь я начинаю знакомиться с жизнью, и нельзя сказать, что она встречает меня с цветами. Я хотела кончить восьмой класс в Симбирске, собралась туда, оставалось в буквальном смысле надеть пальто и шляпу, как получаю вдруг телеграмму, что нет ни одной свободной вакансии. Пришлось остаться и кончать восьмой класс в Сарапуле. А как здесь я скучаю! Все одна! Совершенно не с кем поговорить по душам! Сколько сомнений! Невозможно было больше жить надеждами, мечтой о будущем. И вот я поступила в рисовальную школу. Плата недорогая, но все же пришлось взять еще один урок. Я стараюсь скопить хоть немного денег, потому что очень мучаюсь своей зависимостью от родителей и знаю, что она будет особенно тяжела в Петербурге. Вы, Костя, жалуетесь на разобщенность студентов. А по-моему, и не может быть единения, когда нет большого общего дела. Впрочем, дело-то есть, да все понимают его по-разному. По-моему, идеальное общение может быть только в критические моменты. А в спокойное время студенты должны жить кружками, которые имеют свои цели. Организация этих кружков, по-моему, зависит всецело от нас самих. Вот и я, например. С каким удовольствием устроила бы здесь свой кружок! Но, к несчастью, это невозможно. Ведь я — гимназистка. А гимназия ставит узкие рамки для самостоятельной мысли. Меня ужасно тяготит гимназия. В пансионе ждала, ждала конца! А тут опять целый год мучиться.

Боже, как хочется жить широко, со смыслом, по своей воле! Читаю Ибсена, перечитываю Белинского, в восторге от того и другого. Спокойной ночи!

23.III.12. Дер. Крюки.

Как давно мы не писали друг другу, Костя! Может быть, у Вас пропало желание переписываться со мной, хотя бы и редко? У меня, как видите, оно еще сохранилось. Мне очень интересны Ваши письма, особенно — когда у Вас появился кружок и журнал. Вы как-то писали, что цель журнала — объединить молодежь. Но это лишь разожгло мое любопытство.

Знаете ли Вы, что я служу в деревне? Мне нужны сред-

ства, чтобы учиться. Хотя бы с грошами, но дала себе слово в будущем году поехать в Питер. Может быть, поступлю на Бестужевские. Мне всегда хотелось изучать искусство—у меня порядочные способности к рисованию, но это трудно для меня в материальном отношении. По-прежнему намерена поступить на математический факультет, потому что убеждена, что математика—самый короткий путь к самостоятельному мышлению. На помощь отца я не рассчитываю, мы с ним говорим на разных языках. Словом, силы и желания у меня много, а знаний никаких. И все же я не унываю, все же надеюсь, сама не знаю — на что.

О жизни в деревне я ничуть не жалею. Раньше я не имела о ней никакого понятия, а теперь приобрела опыт, хотя и небольшой. Мир моих понятий расширился в том отношении, что я поняла, до какой степени несчастен и невежествен народ! Пройдут тысячелетия, прежде чем наши усилия (интеллигенции) принесут плоды, а до той поры равенство, по меньшей мере духовное,— невозможно. Интересно, как решаются эти вопросы в Вашем кружке. У меня много знакомых из разных университетов, и живут они, по моим наблюдениям, удивительно безотчетно. Может быть, я неправа?

Где Вы проводите лето? В начале июля я собираюсь в Симбирск. Вероятно, заеду в Казань, хотелось бы повидаться. Желаю всех благ, жму руку.

Лиза.

9.V.13. Сарапул.

Очень жаль, что Вы не получили моего письма осенью, Костя: мы могли бы тогда переписываться, а то я так скучала в деревне без писем. Теперь вернулась в Сарапул, экзамены кончились рано, и вот уже неделя, как я брожу без дела, если не считать рисования, которым я занималась, кстати сказать, и в деревне.

Осенью еду на курсы в Питер. Пока решила поступить на Бестужевские, на математическое отделение. А потом, может быть, перейду на архитектурные, то есть на последние мне как раз и хочется. Но я боюсь потерять время попусту, так как совершенно ничего не знаю об архитектурных курсах. Многое я загадываю на будущее, суждено ли выполнить?

Цель Вашего кружка мне очень симпатична. Как бы я хотела быть его членом! Я Вам писала, что хотела ос-

новать кружок здесь, но мне не удалось. Главным препятствием были домашние обстоятельства. У нас с папой совершенно различные взгляды. Да и в гимназии ко мне относились очень недоверчиво. (Здесь гимназистки в высшей степени неразвиты.) А когда я приобрела их доверие, было уже поздно. Тогда я решила посвятить этот год рисованию. Очень жаль, что приходится учиться ему урывками. Кажется, у меня есть способности и вообще любовь к искусству. Какое искусство Вы предпочитаете?

Времени, прожитого в деревне, я не жалею: я приобрела опыт и знание деревни, хотя и небольшое. Раньше я не имела о ней ни малейшего понятия.

Читала я порядочно, хотя подбор книг был скверный, вернее — его не было, так как город — далеко и книги доставались с трудом. Все же удалось добыть «Записки революционера» Кропоткина, «Портрет Дориана Грея» Уайльда и Амфитеатрова, который, по-моему, интересно разобрал положение античного раба. Читали ли Вы? Если — да, напишите мне Ваш вывод.

25.VIII.1913. Казанская железная дорога.

Ну, Костя, должна признаться, что Вы не просто удивили, Вы поразили меня. Ведь читая Ваши редкие, сдержанные, чтобы не сказать — холодные, письма, я все думала — куда же девался тот любезный, разговорчивый студент, который весь вечер танцевал со мной и старался угадать каждое мое желание? Когда Вы показывали мне галеру, на которой Екатерина Вторая путешествовала по Волге, я подумала, что она позавидовала бы приему, который Вы устроили мне в Казани. Это шутка, Костя, но откровенно скажу, я была глубоко тронута, когда оказалось, что Вы отменили все уроки и университет и подарили мне чудесный день с самого утра до ночи.

Мне вспоминается Зилантов монастырь, когда мы карабкались по горке. Вы рассказывали, что в одной из пещер, по преданию, жил когда-то крылатый змей Зилант, и так смешно вдруг изобразили его, что я чуть не упала на землю от смеха. А этот в соборе серебряный ковш с надписью, которую Вы объявили своей жизненной программой: «Пивше возвеселимся и любовью усладимся и вовеки тоя не лишимся»,— видите, я запомнила наизусть!

Ваш друг Лавров очень понравился мне, я даже представила себе, что в такого человека можно влюбиться.

Неужели он действительно так строго судит о Вас? В его шутках мне показался оттенок серьезности.

Словом, спасибо, спасибо Вам, милый Костик! Сразу же по приезде в Петербург я напишу Вам о своих впечатлениях, как устроилась, что на курсах и вообще обо всем и буду с нетерпением ждать ответа. Мне и прежде была дорога Ваша дружба, а теперь стала еще дороже. Право, мне кажется, что в моей жизни не было более прекрасного дня.

Лиза.

Казань. 1913

День, который Лиза провела в Казани, был проникнут ощущением конца одной жизни, пансионской, гимназической, и начала другой, самостоятельной, которая вся еще была впереди.

У Лизы и прежде были свидания. Она тайком убегала из пансиона на набережную Камы, где ее по вечерам ждал один гимназист, в которого, ей казалось, она была влюблена. В Сарапуле за ней ухаживал подпоручик, привозивший ей письма и деньги от отца, служившего в пехотном полку, который стоял в Воткинском заводе. Но приезд в Казань был не просто свиданием, а событием, которое она давно и с нетерпением ждала. Событием была и тайна свидания: никто из родных не знал, что по дороге в Петербург она собирается остановиться в Казани.

На пристани Лиза не сразу узнала Карновского: после бала у нее осталось другое впечатление о нем, а на фотографии, которую он прислал зимой,— еще какое-то третье. Теперь все определилось.

Он был белокурый, выше среднего роста, пожалуй что и красивый в своей новенькой тужурке и отглаженной сатиновой косоворотке. Светло-синее пенсне он носил, как подумала Лиза, потому, что носить пенсне было модно. Он изменился за два года, в Перми он был какой-то белорумяный — «точно ангел на рождественской елке», вспоминая о нем, думала Лиза. Но в развороте широких плеч, в красивых белых зубах, в твердой мужской уверенности, с которой он поклонился и заговорил улыбаясь, не было ничего ангельского, а было то, что заставляло постоянно думать о нем и с нетерпением ждать его писем.

Это совсем не значило (как полагала Лиза), что она была влюблена. У них была интересная серьезная переписка, они были друзьями, и чувство, что у нее есть друг, студент-математик, умный, начитанный и, по-видимому, дороживший их отношениями, поднимало ее в собственных глазах.

Она волновалась, подъезжая к Казани, придумывала, как ей держать себя, и решила, что сдержанно, в духе его коротких, сдержанных писем. Но уже в первые минуты встречи эта придуманная манера как-то забылась, может быть, потому, что Костя оказался обыкновеннее, чем она ожидала. И ей сейчас же стала нравиться эта обыкновенность. Было решено, что Карновский проводит ее в гостиницу, а потом, после урока, вернется и покажет Казань.

— Смотреть-то в общем нечего,— сказал он.— Но у меня есть старинный путеводитель, забавный. Мы будем читать его и смотреть.

Он оставил ее в номерах Бонарцева на Черном Озере, и Лиза немного огорчилась, когда часа через два он вернулся не один: за ним лениво плелся студентик в бесформенных штанах и потертой тужурке.

— Лиза, познакомьтесь. Великий математик и мой друг Коля Лавров.

У Лаврова был остренький нос и прищуренные умные глазки. Он снял фуражку с выцветшим синим околышем и подал Лизе маленькую руку.

— Мадемуазель, я не мог отказать себе в удовольствии познакомиться с вами. Дело в том, что только два человека в мире могли заставить нашего пунктуалиста не пойти на лекцию профессора Маврина и отменить уроки.

— В самом деле? Кто же это?

— Вы и лейтенант Глан.

— Кто такой лейтенант Глан?

— Стыдитесь! Вы не читали гамсуновского «Пана»? Глан — человек со звериным взглядом, который один живет в лесу и не знает, что он сделает в следующую минуту. Костя, сними пенсне.

Карновский улыбнулся и, сняв пенсне, протер его носовым платом. Глаза были серые, большие, блестящие и немного растерянные, как у всех близоруких.

— Опасный человек,— серьезно сказал Лавров.— Вы его интересуете, а человечество — нет. В пьяном виде он гладит морды извозчичьим лошадям и пристает к прохо-

жим. Засим — прощайте. Надеюсь, что столичный город Санкт-Петербург не обманет ваших ожиданий.

И он ушел.

— Умнейшая голова, надежда факультета,— сказал Карновский.— Вы понравились ему.

— Правда? Я рада.

Не было снега, поблескивающего под луной, город был другой, незнакомый. Не было морозной ночной тишины, неожиданной после бала с его надушенным жарким воздухом, с лентами серпантина, которыми швыряли в нее раздосадованные гимназисты. Не было чувства риска, веселой уверенности, что завтра ей непременно влетит.

Но все это было, было! При свете дня в осенней, шумной, оживленной Казани!

На Сенном рынке Константин Павлович купил ей вышитую бисером тюбетейку с кисточкой, она сразу же надела ее, и он притворно испугался, что сейчас она исчезнет, как пушкинская Людмила.

— Что вы стали бы делать?

— Пошел бы в ближайшую полицейскую часть и сообщил, что пропала Елизавета Тураева, абитуриентка, восемнадцати лет.

Уходя с базара, он купил ей еще и хорошенькие татарские туфли, бархатные, украшенные золотой канителью, и в Державинском саду, испугавшись, что они ей не впору, предложил примерить. Туфли оказались впору, он объявил, что в тюбетейке и туфлях Лиза похожа на царицу Сююмбике, и тут же разыграл старого, сгорбленного визиря с трясущейся головой, который показывает Казань капризной царице.

— А вот и путеводитель времен казанского ханства.

И Карновский стал вслух читать советы «всем путешествующим от Твери до Астрахани на пароходе общества «Самолет»: «В Казани есть множество гостиниц и номеров для приезжающих, но мы не беремся хвалить первые: лучшая из них, «Одесса», все же уступает номерам купчихи Христофоровой».

Кремль был белый, раскинувшийся, но стройный. На толстых стенах были построены другие, тонкие, с бойницами, круто срезанными книзу, с башнями, точно прикрытыми громадными круглыми монашескими шапками.

Крепость стояла на горе, с которой была видна узенькая Казанка. По речке плыли грязные доски. У стен кое-где лежали ядра, и Карновский сказал, что гимназистки перед экзаменами приходят в кремль, чтобы целовать эти ядра,— хорошая примета!

— Ядра целуют? А у нас в Перми ходили за благословеньем к одной тетке, торговавшей бубликами.

Остановились у башни царицы Сююмбике, и Лиза удивилась — башня была громадная, семиярусная, с высокой сквозной аркой, прорезавшей первый этаж. Издали она казалась стройной красной иглой. В овале арки сохранилась изящная железная инкрустация, и, когда Лиза залюбовалась ею, Карновский сказал, что и теперь под Казанью есть деревни, где выделываются металлические украшения, нисколько не уступающие этой решетке.

— Подумайте, как интересно! — И он прочитал:— «Казанские татары утверждали, что в яблоке на башенном шпиле хранятся какие-то таинственные, важные для них бумаги, но это мнение оказалось ложным. В 1830 году этот шар по приказанию министра внутренних дел был снят, осмотрен, и мечта татарская разрушилась: он оказался пустой и сделан из латуни».

Они пошли в ресторан Панаевского сада, выбрали удобный столик. Карновский протянул Лизе карточку и, когда она стала выбирать что-нибудь подешевле, заказал мазар-жульен-ромэн. Они остались голодными после этого загадочного блюда, и Карновский велел подать подовые пироги.

— Жаль, что Коля ушел. Вопреки своей тощей комплекции, он эти пироги гутирует с азартом,— сказал он смеясь, и Лиза вдруг поняла, зачем Костя привел к ней Лаврова: «Боже мой, да как же я не догадалась! Он хотел показать мне своего друга. И эту новую тужурку, которую он, наверно, носит редко, он надел для меня! И то, что он так старается быть занимательным, веселым. Да и не старается вовсе, а просто ему весело, что мы встретились, и хочется, чтобы я узнала его».

— А ведь подруги недаром прозвали вас Ундиной,— откровенно любуясь ею, сказал Карновский.— У вас действительно глаза то серые, то зеленые. Ну, рассказывайте, милая Ундина.

— О чем?

— О себе, разумеется. Ведь, несмотря на нашу переписку, я почти ничего о вас не знаю.

— Что же рассказывать? Полковая семья, и почему-то другие полки годами стоят в одном городе, а отцовский переводят и переводят, так что я жила и в Саратове, и в Перми, и в Симбирске. Поэтому меня и отдали в пансион. Мама умерла, когда я родилась, отец женился снова, и мачеха...— Она замялась.— Он — добрый, мягкий человек, все его любят, а она властная, подозрительная, ее боятся и обманывают. Я-то не боюсь, а у сестры — забитый вид, и я очень рада, что ее тоже скоро отдадут в пансион. Есть у меня еще брат, и мы с ним дружны, меня только огорчает, что он тоже хочет стать офицером. Ну, что еще? Все. Теперь вы.

— Я? Загадочная личность. Последователь Смайлса.

— А кто такой Смайлс?

— Был такой философ, который трогательно заботился о человечестве. Книги его называются: «Бережливость», «Самостоятельность», «Характер», «Долг». В конечном счете все сводится к тому, что в каждом человеке сидит английский клерк в котелке, с зонтиком, и если вытащить его оттуда на свет божий, все пойдет как по маслу.

— Вы смеетесь?

— Не совсем.

— Надо будет прочитать. Родные всегда упрекают меня за небережливость.

— Уснете на первой же странице. Я ведь его читал, потому что стремился существовать не как-нибудь, а сознательно, согласно теории. Причем теорий было много. Одна из них, например, заключалась в том, что можно прожить, питаясь по-китайски — только рисом. Потом я прибавил к рису хлеб и все равно за год почти потерял зрение, так и остался на всю жизнь близоруким. Мне было тогда шестнадцать лет. Была и другая теория. Но рассказывать вам о ней мне не хочется. Вы еще маленькая и не поймете.

— Расскажите.

— Любовь, согласно этой теории, есть нечто прямо противоположное так называемому «семейному очагу». Я понял это, насмотревшись на семейную жизнь старшего брата.

Какой-то господин в чесучовом костюме, в канотье, поигрывая тростью, прошел мимо них, скользнув наглым взглядом,— и Карновский сказал, что это филер, которого недавно студенты избили в трактире.

— А кто такой филер?

— Это сыщик, Лизочка, сыщик,— поучительно сказал Карновский.

— Я тоже против брака,— сказала Лиза.— Но я люблю детей. А детей, согласно вашей теории, должен приносить аист.

— Ого! — смеясь, сказал Карновский.— Ого! Иметь детей, Лизочка,— это в наше время преступление.

— Почему?

— Потому что они еще до своего рождения обречены на ложь, произвол и бесправие.

— Вы неправы,— подумав, сказала Лиза.— То есть, может быть, и обречены, но все равно эта теория — эгоистическая, и, если бы мне пришла в голову такая теория, я бы, не теряя ни одной минуты, повесила себе камень на шею и бросилась в Волгу. Вы любите Волгу?

— Очень.

— Значит, вы все-таки способны любить?

— Не знаю. Кажется, да.

— Не помню, где я читала статью о Сапунове, знаете, был такой известный художник. Он утонул. Это была удивительная статья. Автор доказывал, что Сапунов утонул потому, что его душа была родственна стихии воды. Он упоминал еще кого-то. Кто еще утонул? Кажется, Писарев?

— Да.

— Ну вот, иногда мне кажется, что у меня тоже такая душа. Только я родственна не всякой воде, а именно Волге. Если я когда-нибудь утоплюсь, так непременно в Волге.

13.IX.13. С.-Петербург.

Наконец-то я Вам пишу, Костя. Не знаю, с чего начать,— так много впечатлений! Телеграмму Шуре (не знаю, писала ли я Вам о ней, это моя лучшая подруга) я не дала, потому что нового ее адреса не знала. Номеров свободных поблизости от вокзала не оказалось, я осталась между небом и землей, и мою участь разделила еще одна симпатичная курсистка. Через некоторое время к этой курсистке подходит, вижу, какая-то энергичная барышня и предлагает такую комбинацию: без мужчин нас нигде не пустят, поэтому она сейчас обратится к своим знакомым на вокзале, и все устроится наилучшим образом — для нас и для них. Мы ее любезно поблагодарили,

по отказались. В конце концов жандармский начальник принял в нас участие, отправив в Общество защиты женщин. Переночевали там, заплатив пять копеек. Наконец на другой день разыскала Шуру.

На курсах мои занятия начались только девятого. Я выбрала отделение физики и астрономии и, чтобы не терять времени, хожу на лекции профессоров других факультетов. Слушала Платона — очень нравится. Знаете, Костя, что меня поражает? Мое равнодушие. Не отсутствие интереса, а странное впечатление, что все это уже было когда-то: я шла вдоль этих огромных зданий, высокие черные кареты обгоняли меня, и даже этот стук копыт о деревянную мостовую смутно помнится мне — точно я слышала его во сне или в своей предшествующей жизни. Как тут не поверить в переселение душ? Это чувство у меня с первых минут в Петербурге.

Костя, приезжайте на рождество. Я буду очень, очень рада. Конечно, Вы не вспоминаете обо мне? Это нехорошо. Шлю Вам мой искренний, сердечный привет.

2.X.13.

Милый Костя, спасибо за дружеское письмо. Я тотчас же припялась за ответ, написала его и изорвала. Вспомнила полученный недавно от нового знакомого (очень умного человека) урок: не нужно навязываться другим со своими настроениями. Напишу Вам поэтому о своей студенческой жизни. Хожу на курсы, слушаю лекции, усердно занимаюсь тригонометрией и алгеброй; после праздников думаю сдавать. Английский подвигается туго. Встретила компанию студентов и, конечно, курсисток, но мне они не очень нравятся. Хорошие, честные и симпатичные, но очень уж узки их интересы. И в этом отношении Вы не выходите у меня из ума.

Помимо курсовых слушаю лекции на насущные темы. Например, Сперанского «Победители жизни». Говорит он красиво, но как-то пусто. Я попыталась пересказать его лекцию Шуре — а кончилось тем, что мы обе стали хохотать до упаду.

Кстати сказать, с нами случилась неприятная история: мы не могли своевременно заплатить за комнату, хозяйка отказала, и пришлось бегать по всему городу. Найти комнату в Питере — каторга. Бегали дня четыре,

наконец устроились. Мой адрес: В. О., 15-я линия, д. 70, кв. 19.

Для отдыха я ходила по театрам с одним сарапульским знакомым. Видела в Александринке «Доходное место» с Варламовым и Стрельской, а в Мариинке — «Евгения Онегина» со Смирновым, Касторским и Славиной, оркестром дирижировал сам Направник! Я была в восторге — в особенности от Смирнова и оркестра.

Заинтересована и возмущена делом Бейлиса. Курсы на завтра объявили забастовку. Послали защитнику приветственную телеграмму. В университете тоже волнуются и в других учебных заведениях, вообще все принимают горячее участие в этом деле. С нетерпением ждем решения. Поистине ужасное обвинение бросается целому народу в лицо. Отвратительный процесс, с бесстыдным цинизмом ведется дело!

Милый Костя, не забывайте меня и, очень, очень прошу, чаще пишите. Шура шлет Вам привет.

14.XI.13.

Милый, хороший Костя, спасибо за Ваше прелестное письмо. Скорее, скорее бы святки! Как бы мне хотелось, чтобы Вы сейчас были со мною. Я не умею выразить на бумаге то, что могла бы сказать, если бы Вы были сейчас со мною.

Хожу на лекции и огорчаюсь: сколько пробелов в моем подготовительном образовании! Слушаю анализ и почти ничего не понимаю. Оказывается, я еще так мало знаю из алгебры. Теперь я вижу, что интерес к искусству помешал мне серьезно подготовиться к математическому факультету. И продолжает мешать. Вот сейчас, например, я запоем читаю «Эллинскую культуру» Баумгартена. Да и не следовало бы слушательнице математического факультета бродить часами по Эрмитажу в почти идиотическом наслаждении.

С.-Петербург.

Костя, я была в Москве. Моя тетя (сестра отца), не видевшая меня с детских лет, вдруг пожелала встретиться. Она работает в Лиге борьбы с туберкулезом, но интересуется, как и я, искусством. В годах, но еще живая, энергичная, и не я, а она затаскала меня по Москве.

С нами был ее друг Иван Иванович Реутов, преподаватель Строгановского училища, знаток искусства. Мы были в храме Христа Спасителя, в Кремле, в церкви Василия Блаженного и в первом этаже Третьяковской галереи (второй, к сожалению, ремонтируется). Видела Верещагина, который мне не очень понравился, может быть, потому, что он больше говорит уму, чем сердцу. Зато от Левитана и Борисова-Мусатова положительно не могла оторваться. «Призраки» последнего напомнили мне мои сны — не помню, писала ли я Вам, что вижу сны так часто, что даже удивляюсь иногда, если ночь проходит без снов? Перед картиной, которая мне нравится, я как бы раздваиваюсь — знакомо ли Вам это чувство? Чтобы глубоко почувствовать настроение картины, мне надо взглянуть на нее глазами моего двойника. И когда это удается, я испытываю даже перед грустными произведениями чувство непонятного счастья. К этому чувству присоединяется удивление: почему в двух шагах от левитановского «Вечернего звона» видишь только грубые мазки, а в десяти или пятнадцати картина складывается так гармонично? Ведь мне казалось даже, что я слышу звон колоколов, доносящийся откуда-то издалека. Я не смотрела других художников, берегла впечатление, а вечером пошла на диспут о живописи, который в Политехническом институте устроила группа «Бубновый валет». Боже мой! Никогда в жизни еще не приходилось мне в один и тот же день испытывать такие противоположные впечатления. Попасть было почти невозможно, но тете удалось достать билеты с помощью Реутова, и, пробравшись через огромную толпу студентов, громко споривших с городовым, мы заняли свои места на хорах.

Вечер открылся докладом Кульбина, о котором тетя сказала, что ему, как врачу и статскому советнику, стыдно в сорок четыре года гоняться за модой. Кульбин сравнивал Скрябина с Пикассо(!) — и доказывал, что искусство должно развиваться «спиралеобразно». Потом художник Бурлюк — неуклюжий, в длинном пиджаке — объявил, что Рафаэль и Веласкес — мещане духа и что им удавалось притворяться художниками только потому, что в те времена еще не была изобретена фотография. В этом месте тетя от негодования потеряла пенсне, и, пока мы его искали, Бурлюк успел разделаться с Элладой IV века и эпохой Возрождения. Иронические возгласы слышались время от времени, но в общем публика не очень серди-

лась. Но когда Бурлюк стал показывать на экране репродукции с «левых» картин, в зале началось бог знает что — шум, свист, мяуканье, топот. Тетя тоже разве что не мяукала. И действительно, картины — если можно так назвать бесформенные груды черно-белых кубиков или лошадиные морды, едва угадывающиеся среди каких-то крыш,— производят отталкивающее впечатление. Шум еще продолжался, когда на кафедре появилась стройная женщина лет двадцати семи, в черном, строгом платье, с гладко причесанными волосами,— и наступила тишина, потому что сразу стало видно, что она дождется тишины, как бы долго ни пришлось дожидаться. «Среди картин, которые показал здесь Давид Бурлюк, две принадлежат мне. Но это грубая подтасовка, против которой я, Наталия Гончарова, решительно протестую. Группа, к которой я принадлежу, называется «Ослиный хвост».— Она терпеливо пережидала общий смех и повторила ясным голосом: — «Ослиный хвост». И наша группа не имеет ничего общего с «Бубновым валетом». К сожалению, тетя, которая так волновалась, что чуть не упала с хоров в амфитеатр, помешала мне внимательно выслушать Гончарову. Между тем в том, что она говорила, попадались здравые мысли: «Художник должен твердо знать, что он изображает, а уже потом искать для своего замысла определенную форму». Тут же она сравнила произведения кубистов с каменными бабами, что, по-моему, вздор, хотя бы потому, что нельзя безоговорочно сравнивать живопись и скульптуру. Но сама она мне очень понравилась. Более того, мне вдруг смертельно захотелось быть такой, как она,— серьезной, строгой и мужественно-убежденной. Я позавидовала и ее внешности, впервые в жизни рассердившись на свои длинные ноги.

(Письмо не датировано)

22.XI.13. С.-Петербург.

Милый Костик, зачем Вы не здесь? У меня очень тяжело на душе. Зачем я живу? Из любопытства? Я слишком ясно вижу безотчетность в собственных действиях, чтобы уйти от этого вопроса. Вот почему моя мысль все чаще останавливается на Вас. Я верю, что Вы живете сознательно, осмысленно, презирая мелкие цели, не ища, как я, оправдания. Значит ли это, что Вы нашли себя? Или — и не искали? Но можно ли найти себя без поисков

и, следовательно, без участия сердца? Мое письмо, должно быть, покажется Вам смешным. Я так боюсь этого, что уже готова была разорвать его, но вот видите — снова слабость. Не разорвала.

Очень внимательно слежу за делом Бейлиса. У нас на курсах — общее возмущение. У меня много знакомых среди студентов юридического факультета, и там по поводу этого процесса бесконечные противоречивые разговоры.

Если бы Вы знали, Костик, как я Вас жду.

Вокруг меня нет никого, кто помог бы мне рассеять мои сомнения. Единственный человек, перед которым, как это ни трудно, я готова сознаться в своей несамостоятельности,— это Вы. Право, мне кажется, что я отдала бы несколько лет своей жизни, только чтобы поговорить с Вами. Год за час! Скорее бы рождество!

Только жаль, что Вы так мало пробудете в Петербурге. Зачем так много времени для Москвы? Ведь Вы там уже были. Где Вы намерены остановиться? Если в номерах, то я советую лучше снять комнату на неделю. Это дешевле.

15.XII.13. С.-Петербург.

Костя, я Вам устроила комнату в том же доме, где и я. За неделю с Вас возьмут 3 рубля (с самоварами). Я не знаю, может быть, это дорого для Вас, и тогда я буду искать другую, но мне кажется, что это недорого, и хозяйка прекрасная. Так вот, скорее отвечайте. А главное, напишите, какой суммой Вы располагаете для театров? Я думаю, что Вы ничего не будете иметь против самых дешевых мест? Репертуар я еще не знаю, но напишите, куда Вам больше хочется: в оперу, в драматические? Скорей бы рождество!

2.I.1914. С.-Петербург.

Мой дорогой, Вам это покажется странным, но я ищу в себе душевные перемены после того, что произошло между нами,— и не нахожу, не сердитесь на меня за откровенность. Я даже смотрелась на себя в зеркало, прямо в глаза долго-долго, до дурноты. Нет, такая же!

Конечно, после Вашего отъезда я то и дело перебираю в памяти наши встречи,— может быть, это одно доказы-

вает, что во мне что-то переменилось. Но ведь я и раньше скучала без Вас, например в деревне, когда я так долго ждала ответа на свое письмо, а гордость не позволила написать снова. Но тогда я просто скучала, а теперь еще и сержусь на себя, ругаю себя, даже плачу от злости. Конечно, Вам и в голову не придет — почему. Потому что я ничего не успела сказать Вам, а хотелось сказать так много! Мне необходимо было поделиться с Вами своими сомнениями, надеждами и желаниями, а Вам, кажется, только желаниями — или я ошибаюсь? Я знаю, что Вы живете сознательно, не мечетесь (внутренне) из стороны в сторону, как я. В каждом Вашем поступке чувствуется какой-то отсчет — недаром же Вы математик,— и, хотя я сержусь на это «тик-так», мне давно стало ясно, что Вы решились не шутить с жизнью, а победить ее, раз уж судьба Вам ее подарила. А я живу, как большинство, преследуя мелкие цели, изо дня в день, безотчетно. Ведь это, в сущности, нечестно — если не перед другими, так перед собой. «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце»,— говорит Бальмонт. Но красота жизни — в ее осмысленности, и не солнце у меня перед глазами, а мрак и горе.

Я не умею логично выражать свои мысли, и это письмо может показаться Вам наивным. Но ведь ближе Вас у меня теперь нет человека.

Ну, полно! Всего не выскажешь, да, может быть, и не надо.

Посылаю Вам свою физиономию. Должно быть, на ней отразились мои роковые вопросы, иначе почему бы у меня был такой страдающий вид? Пишите мне, дорогой. Скорее и больше, больше.

Шура торопилась, ехала курьерским и все-таки не застала Вас — очень обижена, находит Вас неделикатным, но по доброте сердца все-таки шлет привет.

Как-то случилось, что я еще ничего Вам о ней не рассказала. Она — крепенькая, хорошенькая и отнюдь не забывающая об этом, особенно в обществе мужчин. В ее внешности есть что-то наивно-ангельское и совершенно не соответствующее действительности, потому что она — барышня вполне земная, деятельная и, в противоположность некой Лизе Тураевой, менее всего склонная к рефлексии (в смысле самонаблюдения). Я ее люблю, во-первых, за то, что она меня любит. А во-вторых, за то, что могу, не опасаясь сплетен, рассказывать ей о Вас.

21.I.14. С.-Петербург.

Милый Костя, два дня я лежала в постели, простудилась на дежурстве за билетами в Народный дом — я снова была там на «Ромео и Джульетте». Боюсь, что мне придется уехать из Петербурга. Папа вышел в отставку по болезни, домашние дела — плохи. Я должна помогать, значит — служить. Будьте добры справиться в земской управе, не найдется ли свободного места для учительницы? Нет ли у Вас на примете какого-нибудь урока? Пусть это будет между нами, так как я надеюсь, что все еще устроится.

Костик, пишите мне чаще, я так жду Ваших писем. О себе, о Ваших делах, о новом кружке. Мне интересно все, что касается Вас.

1.II.14.

Дорогой мой, отгадайте, откуда я Вам пишу? Из Ялты! Удивлены? Только что приехала и сижу в прекрасной гостинице. Но не очень-то радуйтесь за меня. Я чувствую себя отвратительно, гадко.

Помните, я писала, что мне предлагают стипендию? Этот господин — его фамилия Карманов — зашел ко мне в тот день, когда у меня был врач, который сказал, что у меня легкие нездоровы. И Карманов предложил мне не только стипендию (на учение), разумеется, заимообразно, но также и поездку на месяц в Ялту. Меня, правда, немного смутило, что ему тоже надо было зачем-то в Крым. Но человек он семейный, всегда был по отношению ко мне корректен, и, хотя я знала, что нравлюсь ему, однако не имела основания не верить в его благородство. Папа позволил мне ехать, и вообще о моей поездке многие знали. И вот в поезде этот господин вдруг сделал мне формальное глупое предложение, на которое я ответила, что, если он прикоснется ко мне (мы ехали в одном купе), я плюну ему в физиономию. Он перешел в другое купе, и больше я его не видела. О стипендии теперь нечего и говорить, хотя известная сумма уже затрачена. Я ему, конечно, выплачу, когда стану служить. Сижу сейчас без копейки, далеко от Питера, нездорова. Но уехать нельзя, потому что я не хочу, чтобы папа узнал об этой истории.

От Севастополя до Ялты ехали на автомобиле. Хотя и была скверная погода, холодно и снег, все же я любовалась природой, о прелести которой сейчас не в силах пи-

сать. Прошу Вас, сожгите это письмо. Не хочу, чтобы оно впоследствии было свидетелем моего несчастья. Я верю, что все перемелется, как-нибудь устроюсь, поищу уроки. А пока — напишите мне, дорогой, чтобы хоть немного успокоить меня.

13.II.14. Ялта.

Мой милый, мой нежный друг, спасибо за Ваше сочувствие, но Вы совершенно напрасно послали мне деньги. Они, без сомнения, Вам самому нужны, а я всегда сумею достать и даже, кажется, уже и достала. Мои дела обстоят так. Я устроилась в комнате у одной интеллигентной старушки. Она — вдова члена ялтинской городской управы. Вместе с Чеховым принимала участие в постройке санатория «Яузлар» и в сборе средств. На столе у нее стоит известная фотография Чехова в пальто, с палкой, с собаками. Автограф — «Милейшей Ольге Александровне от А. П. Чехова». Очень умная и культурная женщина лет пятидесяти пяти, всеми уважаемая. Уже получила маленький урок — занимаюсь с гимназистом немецким языком по 1 рублю в час два раза в неделю и надеюсь получить еще несколько уроков, которые оплачиваются здесь прекрасно. Доктор нашел у меня «жесткий выдох в правом легком» и сказал, что я хорошо сделала, приехав сюда. Не знаю, что будет. Пока я чувствую себя прекрасно.

Вы представить себе не можете, как нравится мне море. Серое, хмурое, зеленоватое, всех оттенков, широкое и такое разное всегда. То оно тихо плещет на берег волну за волной, то начинает казаться, что оно сердится на людей за их мелочность и пошлость. А горы — фиолетовые, с белоснежными пятнами на вершинах. Ялту они окружают со всех сторон, оставляя свободной только сторону, обращенную к морю.

Я сижу на берегу подолгу, часами, и забываю обо всем печальном и некрасивом, и думаю, что без красоты человеку нет сил жить. Вам не кажется, Костик, что восприятие красоты — не менее сильный инстинкт, чем доброта и сочувствие к людям? Но я наскучила Вам своей болтовней, а между тем самого главного еще не рассказала. И в Петербурге я боролась с желанием писать, а в Ялте совсем свихнулась и на первые же заработанные деньги купила пастели. Я боялась дороговизны, но удалось

найти ящик за четыре рубля. Оттенков маловато даже для начала. Пока я только смотрю на пастели, но на душе почему-то стало полегче. Костик, может ли такое сильное желание соединиться с полным отсутствием таланта? Боюсь, что да. Во всяком случае, я не собираюсь оставлять свою математику. Но ее я люблю, как добрую родственницу, а живопись — как Вас.

Здесь, в Крыму, можно посмотреть только Айвазовского (в Феодосии), и приходится довольствоваться воспоминаниями, которые, к моему удивлению, никуда от меня не ушли. В особенности — Борисов-Мусатов. Как странный, но интересный сон, вспоминается иногда вечер «Бубнового валета», но не картины, в которых я ничего не поняла, а Гончарова, поразившая меня своей прямотой.

Милый, пишите мне больше. Я одна и одна. Часто ли встречаетесь Вы с Лавровым? Боже мой, как я завидую Вам! Если бы у меня был такой друг! Я ревную Вас к нему, а не к таинственной незнакомке, о которой Вы написали с такой дружеской простотой.

Ялта.

Вы неосторожно попросили меня описать Ялту, Костик. Пеняйте же на себя. Письмо будет трехтомное, с прологом и эпилогом.

Пролог

Ялта состоит из татар-проводников, набережной, кинематографов и магазинов. Начало ее истории потерялось бы во мгле веков, если бы не мемориальная доска, висящая на часовне, между Кутузовской и Бульварной. Надпись гласит: «17 сентября 1837 года Его Императорское Величество Николай I, осмотрев с этого места открывавшийся перед ним вид, высочайше повелеть соизволил переименовать деревню Ялту в город Ялту». Таким образом, историки навсегда потеряли возможность утверждать, что Ялта родилась, как Афродита, из пены морского прибоя.

Том первый

Татары-проводники являются прежде всего татарами, а уже потом — проводниками. Они в круглых мохнатых шапках, в бархатных курточках и в щеголеватых ла-

кированных сапогах, причем каждая часть костюма представляет собой произведение искусства. Шапка расшита сверху золотой или серебряной звездой, а курточка во всю ширину груди, до пояса — позументом из серебряной канители. Общее впечатление — черный цвет с серебром. У каждого проводника две лошади, одна для себя, другая — «под амазонку». Держатся они развязно. Я была свидетельницей такой сцены. Проводник ведет коня. Дама в белом костюме сходит с панели и рукой в длинной перчатке гладит коня по крутой лоснящейся шее: «Ах, какой красавец!» Проводник (носатый, статный, с закрученными черными усиками): «А хазаин ешо десать раз лу́чи». Дамы, дорожащие своей репутацией, в горы с проводниками не ездят.

Знаменитая гостиница «Ореанда», принадлежащая какому-то генералу Витмеру, находится на Николаевской, и тут же, если перейти мост, начинается *Набережная*. Вверх налево — детский пляж доктора Лапидуса с тентами и цинковыми ванночками. Женская прислуга — в халатах. Это один из немногих пляжей в Ялте — вообще говоря, купаться с берега запрещено. Но если пройти немного подальше, за дачу бывшего царского повара Кюба́, можно и с берега, как это делают некоторые плохо воспитанные люди, вроде меня. Это не то что неприлично, а как бы не соответствует духу благопристойности, воплощением которой является знаменитый «мостик» у Александровского сквера. Этот «мостик» выдается в море саженей на десять. На скамейках мужчины в канотье и чесучовых пиджаках читают газеты, а дамы под зонтиками (здесь прячутся от солнца) задумчиво смотрят вдаль. На берегу у «мостика» можно «подышать морем». В плетеных креслах сидят мамы и бабушки, а чистенькие дети в матросках играют в песочек. Здесь даже море (разумеется, в тихую погоду) гордится своим респектабельным видом. Напротив парадного входа в «Ореанду» находится купальня «Саглык-су» («Чистая вода») и ванное заведение Витмера. Я была в «Саглык-су» и решила больше не ходить. Удобно только, что можно купаться без костюма. В саженях десяти — пятнадцати от берега в море укреплены бочки, от которых канаты протянуты к берегу. По этим канатам, держась за них, можно доплыть до бочки. Большой брезент отгораживает женское отделение от мужского.

Кинематографы. Самый дешевый из них носит зага-

дочное название «Электробиограф Дрона», а самый дорогой — «Одеон». В «Одеоне» я была несколько раз с моими учениками, которых без меня родители не пускают. К сожалению, они тащат меня на «Зигомара» или «Соньку — Золотую Ручку», в то время как мне хочется, как Вы понимаете, посмотреть «Роковую любовь» с участием Максимова и Веры Холодной.

В «Одеоне» билет стоит рубль — существенная причина, по которой мы чаще бываем в «Иллюзионе П. К. Чепати», его мои ученики любят за то, что там в фойе стоит орган, который начинает оглушительно реветь, если бросить в него монетку. Зато, если бросить вторую, на стекле (орган под стеклом) появляется девочка в розовом платье, которая качается на качелях.

После сеанса выступает босоногая Жрица огня, в шароварах, с удавом.

Милый мой, Вам еще не надоело мое трехтомное письмо? Посылаю веточку кипариса и два подснежника. Так хочется быть счастливой.

(Письмо не датировано)

Ялта.

Ах, вот как, милостивый государь, Вы еще не устали от моей болтовни? Признаться, я остановилась перед *магазинами*, потому что редкий мужчина любит бродить по магазинам без дела. Кстати, мужчины (старше 35 лет) непременно ходят здесь с палками, а женщины (очень часто) со стеками. Итак:

Том второй

Магазины. Принадлежат они почему-то больше всего грекам, французам, полякам и немцам (Менье, Калфа, Петри, Металиди, Равве, Пфейфер, Висконти и т. д.), так же как аптеки — евреям.

Есть роскошные, вроде парфюмерии Остроумова в стиле ампир. Я покупаю там мыло, хотя мне хочется купить духи, которые, говорят, не уступают фирме Коти. Одновременно с мылом я получаю (бесплатно) портрет какой-нибудь знаменитой артистки, с печатным автографом, извещающим господ покупателей, что Надежде Комаровской нравятся духи «Японская лилия», а Алисе Коонен — туалетная вода «Вербена».

Что касается моих учеников, то они предпочитают игрушечный магазин «Дело и забава», который они называют «Дева и забава», потому что за прилавком стоит немолодая тихая немка с утиным носом, в зеленом платье и с высокой прической. Мне тоже нравится эта дева, так же как смешанный запах лака, краски и столярного клея, который почему-то производит впечатление уюта. Как известно, магазины вообще различаются по запахам, это относится и к Ялте. В магазине Сарибегова, где продаются кольца и браслеты, пахнет церковной службой, может быть, потому, что кроме мишуры там продаются иконы. В ковровой лавке — пылью, а в магазине Удельного ведомства (подвалов Массандры) — красным вином.

Но довольно о магазинах. Упомяну, впрочем, еще один, да и то потому, что на его витрине выставлен «морской черт», будто бы пойманный в Черном море. Морда у него с бакенбардами, чем-то напоминающая Ибсена, ручки — коротенькие, и рыбий хвост. Длина — аршин. Создан природой в лице владельца магазина. В магазине продаются коробочки из ракушек и пепельницы из рапана.

Кондитерские. Вы равнодушны к сладкому, Костик, а то я описала бы Вам ялтинские кондитерские, поглощающие добрую половину моих скромных доходов. У входа в Александровский сквер кондитер печет вафли прямо на глазах почтеннейшей публики, и нет никакого сомнения в том, что больше нигде в мире нет таких вкусных ванильных трубочек с кремом! Что же сказать о знаменитой кондитерской Флорена? Напротив нее, вдаваясь в море, стоит на сваях поплавок, тоже Флорена, тот самый, который (по слухам) описал Чехов в «Даме с собачкой». Впрочем, Чехов его как-то переименовал, не помню.

За этим поплавком начинается уже другая Ялта: каботажная пристань. Весь берег занят рыбацкими лодками и сетями. Рыбачат главным образом греки. Все свое свободное время я провожу на этой пристани с альбомом, пишу все, что попадается на глаза, и никого это не удивляет.

Большие двухмачтовые парусники стоят у причала, раскачиваясь, и почему-то страшно скрипят, а между ними — маленькие турецкие фелюги. Турки — в чалмах или красных фесках. Подумать только — на своих крошечных суденышках, загруженных по самый борт, они пересекают Черное море! Везут ранние помидоры, лимоны.

Приезжают они и на заработки, перекапывают виноградники, бьют камень, мостят дороги. Платят им только золотом, бумажных денег они не берут.

Том третий

Порт. Он состоит из а) мола, б) грузчиков, которые называются здесь «хамалы», и в) Российского общества пароходства и торговли.

Портовый шум сильно отличается от уличных криков, вроде «Чибурик гарачий—и-здэээсь!» (2 копейки штука), или: «Сладкий виноград шашла малага — и-здэээсь!» Тут кричат: «Майна! Вира! Стоп!», носильщики бегут по трапам, комиссионеры, хватая приезжих за рукава, оглушительно выкрикивают названия своих гостиниц, шипит пар, громыхают вагонетки, которые грузчики катят по рельсам в пакгаузы, пароходы, отшвартовываясь от мола, издают невероятный, зверски-угрожающий рев.

Хамалы очень живописны. Среди них почему-то много персов или азербайджанцев. На спинах у них подушки, обшитые кожей, как у волжских грузчиков, на которых они удивительно непохожи. Те ходят вразвалочку, эти — бегают. Те разговаривают неторопливо. Эти — взрываются, вращают глазами, и все время кажется, что они так и рвутся зарезать друг друга.

В этом шуме, беготне, суматохе почти невозможно представить себе, что в двух шагах отсюда идет ленивая, респектабельная курортная жизнь.

Не хватит ли? Я ничего не рассказала Вам о прелестном маленьком театре Новикова, в котором я видела братьев Адельгейм («Кин» и «Трильби»), о курзале с хорошей библиотекой, о каштанах, которые пекут возле сквера на набережной в круглых печах, и, наконец, о брандмейстере бароне Меллере, который разъезжает по городу на собственном красном автомобиле.

Жизнь здесь дорогая, особенно во время сезона. Сейчас сезон не начался еще. Я плачу за комнату, обед и ужин 35 рублей, и это еще очень и очень дешево считается. Если не достану еще уроков, придется удирать, потому что потом будет все дороже и дороже.

При всем том я вижу, что так и не рассказала Вам о Ялте, о нежно-цветущей глицинии, гроздьями которой увиты многие балконы и веранды, о красновато-сиреневых

иудиных деревьях в цвету, о густых фиолетовых тенях от кипарисов, о стенах из тесаного дикого камня, об изящных железных калитках и оградах, за которыми стоят дачи с затейливыми окнами и резными верандами. А воздух, который полон запахом кипарисов и моря!

(Письмо не датировано)

20.IV.1914. Ялта.

Милый друг, я не требую «всесжигающей страсти». Очень вероятно, что я преувеличиваю — нет, не роль, которую Вы играете в моей жизни, а Вас, или, вернее сказать, те черты, которыми Вы отличаетесь от всех моих друзей и знакомых. Это грустно, но я действительно не в силах ни противодействовать своему чувству, ни довольствоваться тем, которое Вы питаете ко мне. Но оставим этот разговор до встречи.

А еще сообщаю Вам, сударь, что Ваша мечта увидеть Крым вполне осуществима. Я говорила с одним местным архитектором о Вас. У него только двое детей — гимназисты четвертого и пятого класса. Если Вы не знаете языка, возьмете латынь и математику. У них дача на самом берегу моря, своя купальня и пляж. Как бы мне хотелось, чтобы Вы приехали! Если, конечно, у Вас нет других, более интересных видов на лето.

Ялта.

На днях еду в Питер и хочу в последний раз написать Вам из Ялты. Такая красота вокруг, а на душе тяжело. Море, поглотив «Титаник» с тремя тысячами жизней, по-прежнему красиво. Что можем мы противопоставить жестокости шопенгауэровской «мировой воли», убивающей людей с помощью голода и болезней? Что такое жизнь и неужели прав Ницше, утверждающий, что «бытие можно оправдать лишь как эстетический феномен»? Думаю, что нет, потому что искусство — это социальное добро, а зло и страдание по самой своей природе не свойственны человеку.

Друг мой, как хочется мне, чтобы Вы приехали в Крым и провели хоть несколько дней со мной! Я знаю, это невозможно: летом Ваша семья не может обойтись без Вашей помощи. Правда? Как это печально.

Может быть, возвращаясь из Питера, я заеду в Казань между пятым и десятым мая. У меня есть дела в Казани. Будет ли у Вас время повидаться со мной?

(Письмо не датировано)

11.V.1914. Петербург.

Сегодня выезжаю Рыбинск. Пароход «Богатырь» будет Казани шестнадцатого. Стосковалась смертельно.

Казань. 1914

По Воскресенской они прошли до университета и клиник, а потом поехали обедать на пароход, который привез Лизу в Казань.

Трамвайные рельсы были проложены по дамбе, соединявшей Волгу и город, пассажиры, входя в вагон, с грохотом откидывали тяжелые спинки кресел — трамвай на конечной станции не делал круг, как в Петербурге, а ходил только по прямой, туда и назад.

Лавров и Карновский спорили, Лиза прислушалась, и ей вдруг захотелось плакать, хотя ее только что интересовал этот спор.

— Разница между нами заключается в том, что ты не можешь прийти в себя от счастья, что дважды два — четыре,— говорил Карновский,— а я намерен воспользоваться этим знанием, причем сознательно, а не так, как это делали пещерные люди.

Лиза не слышала, что ответил Лавров.

— Позволь,— возразил Карновский,— но тогда получается, что счастье вообще не зависит от знания?

— Нет, зависит, хотя об этом стоило бы, может быть, пожалеть. Мир представляет собой хаос,— сказал Лавров.— И мы счастливы, когда удается найти в нем эстетическую закономерность.

Трамвай шел теперь по широкой грязной дороге вдоль Волги. Справа, вдоль бесконечных лабазов и складов, тащились, поднимая пыль, тяжело нагруженные телеги. Слева были магазины, пивные, номера с крылечками, с лестницами, украшенные резьбой, над фасадами здесь и там, как крылья маленьких мельниц, были завязаны точеные деревянные банты. «Булыгин и сын»,— машинально читала Лиза,— «Номера Восточная Бавария»,

И без запятой, аршинными буквами: «Пивная лавка распивочно и навынос».

На пристани была толкотня, из открытых дверей трактира доносилась дребезжащая музыка, грузчики катили по мосткам громадные бочки с селедкой, и студенты заняли столик на другой стороне парохода, где тоже было шумно, потому что поблизости перегружали хлеб с одной баржи на другую. Но все же потише — «и поближе к Волге»,— удобно устраиваясь в плетеном кресле, сказал Карновский.

— Пару чайников и пару полотенец,— приказал он официанту.— Будем пить чай по-купечески, до седьмого пота.

— Постой, мы же приехали обедать?

— А потом будем обедать... Вот взгляни, например, на эту беспорядочную массу воды, называемую Волгой. Подул ветер, поднялись волны. Ты был бы счастлив, если бы тебе удалось найти закономерность, которая скрыта в этих движениях?

— Да я и не стал бы ее искать!

— Почему?

— Потому что ими управляет случай.

— Ах, случай! Вот ты и попался, милый друг! От случая — один шаг до Творца, а если существует Творец, стоит ли нам хлопотать о знании? Добрых пятьсот лет человечество стремится освободиться от власти случая, а ведь случай и Творец — две стороны одного явления. Цель культуры — ограничение случая, потому что случай слеп, а у нас есть глаза, которыми мы научились видеть.

«Лавров занят, он не хотел ехать с нами, зачем же Костя уговорил его? — думала Лиза.— Этот обед он устроил, чтобы мы не оставались одни. Ему скучно со мной».

Официант, принесший им чай, сказал, что ветерок к непогоде, и показал на разорванные облака-барашки.

— Задумываться над тем, зачем ты живешь, может только человек, у которого есть для этого время,— говорил Карновский.

— Звериная идея,— возразил Лавров.— Или арцыбашевская, что одно и то же! А по мне, если не размышлять, зачем нам дана жизнь, не стоит и жить.

«У него холодные глаза. Как я раньше этого не замечала? И зубы слишком белые. Он не любит меня».

Лавров волновался, а Карновский говорил уверенно, спокойно, сразу схватывая и обрушиваясь на главный до-

вод, так что все второстепенные, как бы они ни были убедительны, оставались в стороне. Но Лизе нравилось то, что говорил маленький Лавров, с его птичьей грудью, в потрепанной тужурке, которая была наброшена на узкие, как у мальчика, плечи. Определенность Карновского сегодня раздражала ее, хотя прежде она писала ему, что это — как раз то, чего ей самой не хватает.

И она со страхом подумала, что стоит ему сказать два слова, и она вернет билет и останется в Казани.

— Антропоморфизм, Коля,— услышала она его голос.— И наивный антропоморфизм. Ты одной мерой судишь о том, что сделано человеком, и о том, что существует помимо его воли. Часы созданы для того, чтобы не опоздать на лекцию или на свиданье, а ты, глядя на них, думаешь о том, что такое время.

— Освободиться от власти случая? — не слушая его, говорил Лавров.— Но ведь для этого надо прежде всего понять, что такое случай?

— Вот именно. Этим я и собираюсь заняться.

Карновский встал, прошелся, продолжая спорить, и стало видно, какие у него крепкие, немного кривые ноги. И Лиза подумала, что никакой случай, о котором они продолжали спорить, не собьет его с ног.

«Но ведь он — добрый, благородный человек. У него на руках мать, две сестры, брат, а я еще упрекала его за то, что он не манкирует уроками, когда я приезжаю в Казань. Почему же мне чудится в нем какая-то двойственность, точно он что-то скрывает от меня за своей логикой, за холодным задором?»

Логика была даже в густом белокуром ежике, подстриженном волосок к волоску.

— Уйти от власти непреложности, рока? — строго спросил Лавров, и его узкое темное лицо стало грустно-серьезным.— Напрасная надежда. Рок не дремлет, рок только прикрыл глаза. Завтра он их откроет, и мы все окажемся в дураках — и те, кто задумывается над смыслом жизни, и те, кто убежден в том, что самый этот вопрос заложен в человеческой природе.

— А ты думаешь, что стал бы счастливее, если бы тебе удалось заглянуть в будущее? — ответил Карновский.— Не думаю. Что касается меня, если бы дьявол или бог предложил мне этот дар, я бы от него отказался.

«Он нарочно держится так небрежно, спокойно. Ему хочется задеть, унизить меня».

Пообедав, они вернулись в город, поехали в «Русскую Швейцарию» и долго бродили по большой, пересеченной оврагами роще. Карновский вдруг облапил маленького Лаврова и, хохоча, посадил его на сухой торчавший сук старой березы. Лавров отбивался, тоже хохотал и, наконец, надулся. Его темное лицо потемнело еще больше, длинная прядка волос грустно свалилась на лоб. Ругаясь, он слез с дерева ловко, как кошка, и ушел бы, если бы Карновский не вымолил у него прощения.

«Ему весело. Ему все равно, что мы не виделись полгода. Боже мой, я совсем не знаю его».

Ялта.

Все эти дни я сердилась на Вас и поэтому долго не отвечала на Ваше письмо, а ведь как хотелось! Вот и это письмо я начала давным-давно, но все не посылала.

Дело вот в чем: кто же я в Ваших глазах? Трудно заставить себя не ответить на этот вопрос вместо Вас. Я понимаю, что мой приезд был некстати, но Вы так и должны были сказать со всей прямотой, которую, надеюсь, я заслужила. Как посмели Вы спросить после нашей встречи: «Ну что, теперь прошло Ваше дурное настроение?» Сначала я решила, что это случайность, или что я неверно истолковала Ваши слова. Но чем больше я думаю, тем меньше сомневаюсь. Точно я невольно коснулась какой-то скрытой стороны Вашей жизни, или Вы намеренно дали мне понять, что я для Вас — такая же, как другие? Но, Костик, не рассчитывайте, что Вам удастся присоединить меня к Вашему «множеству», до которого мне нет никакого дела. Одно я знаю: *так* мы больше встречаться не будем.

P. S. Мне тоже очень нравится врубелевский «Пан». Значит, Вы думаете, что в нем соединились чувственность и рациональность? Еще бы! В любимом художнике каждый видит себя.

(Письмо не датировано)

Ялта.

Вот сижу я сейчас в своей комнате, стараясь отбросить тяжелые мысли и проникнуться общим впечатлением той красоты, которая окружает меня. И это удается? — спросите Вы. Да, к моему удивлению. Большое окно

моей комнаты густо заросло диким виноградом, в комнате — зеленый полумрак, и только по утрам зайчики пробиваются сквозь эту живую гардину. У меня всегда цветы, и сейчас в одной вазе — красные, а в другой — палевые розы.

Писала ли я Вам о даче, где я даю уроки? Это такая прелесть. Она полукруглая, и когда сидишь в гостиной — полная иллюзия, что едешь на большом пароходе: кругом только море, и в окна врывается его беспокойный шум. Из других комнат видна почти вся Ялта, весь амфитеатр города — фиолетовые горы, а у их подножия, вдоль склона — белые, утопающие в зелени дачи.

Да, смертельно хочется писать. Мой двойник, который стоит рядом со мной, когда я смотрю на картины, теперь почти никогда не покидает меня, и я вижу всю эту прелесть его глазами. Впрочем, море я не стала бы писать — и не только потому, что оно слишком красиво. Оно ежеминутно меняется, и останавливать его на холсте — это значит, мне кажется, подменять одно время другим. Ведь у художника свое, особенное время, отличающее его от фотографа, который может сделать моментальный снимок. Нет, при виде моря мне хочется не писать, а летать. И я даже чувствую — Вы, конечно, иронически улыбаетесь — за плечами большие, легкие крылья. Вы должны увидеть море — рано или поздно!

Вот я пишу Вам сейчас и вновь сомневаюсь: правда ли, что Вы любите мои письма? Может быть, это тоже Ваша «деликатность»? Я боюсь, что Ваша деликатность держит в плену Вашу искренность. В ответ на мои излияния я получаю два-три сухих слова, и это отбивает охоту писать Вам (о чем, кажется, нельзя судить по этому длинному письму). Может быть, мои претензии нетактичны, но понятны. Пишите же!

(Письмо не датировано)

30.VI.14. Ялта.

Так Вы желаете мне «почувствовать жажду жизни»? А почему Вы решили, что у меня ее нет? Из-за моих «настроений»? Да я просто не знаю, как мне и сладить с этой жаждой, которой проникнуто все мое существо! Об этом нетрудно судить — если Вам кажутся неубедительными другие примеры — хотя бы по моей любви к

природе. Обыкновенное, ежедневно повторяющееся купанье в море я всякий раз встречаю, как праздник.

Невольно улыбаясь, щурясь и морщась, как старушка, осторожно спускаешься по горячей гальке, от которой больно босым ногам,— и с головой в волны, укачивающие мягко, но сильно! А как хорошо потом раскинуться под солнцем, закрыв голову войлочной шляпой! Жажда жизни! Да у меня ее хоть отбавляй! Плохо только, что я не могу передать ее на холсте, хотя должна признаться, что не удержалась и стала писать — как попало и на чем попало. Нет времени, я ухожу из дому в восемь утра, возвращаюсь вечером и работаю только час-другой, еще до уроков. Боже мой, как хочется учиться! Ведь мне уже минуло двадцать лет, это много, это убийственно много! Если когда-нибудь появится хоть маленькая возможность — брошу все! Это решено. Я давно поступила бы так, но курсы живописи — частные и дорогие. Между тем у меня совершенно нет средств, и я даже не уверена в том, что мне удастся устроиться в Питере самостоятельно.

Друг мой, Вам не скучны мои длинные письма? Попробуйте вылезти из своего футляра деликатности и написать мне об этом откровенно. Мы непременно, непременно увидимся осенью. Неужели это правда, что Вы скучаете обо мне? Неужели еще помните, как Вы меня называли?

ГЛАВА ВТОРАЯ

21.VIII.14. Ялта.

Вы спрашиваете, как я живу? Как все — от одного выпуска телеграмм до другого! Среди приезжей публики — паника: все бегут по домам. Севастополь — на военном положении. Из-за мобилизации почти нет проезда. Я лишилась половины своих уроков, а скоро, без сомнения, растеряю и все остальные. Для меня эта война как снег на голову, хотя я давно слышала о ее неизбежности. Я ведь плохой политик, проще сказать, ничего не понимаю в политике, особенно внешней. А надо бы!

Милый мой, Вам не грозит участь пойти на войну? Я сегодня видела Вас во сне, грустным, бледным,— и весь день вспоминаю Вас с чувством тревоги. Напишите мне Ваши взгляды на эту войну. Немецкую буржуазию я ни-

когда не любила, а если говорить о симпатиях беспристрастно — не хотела бы видеть немцев союзниками России. Но неужели нельзя как-нибудь искоренить в человеке инстинкт физического насилия?

Ну, пока всего хорошего, Костик. Целую Вас горячо. Пишите, прошу Вас. Мне так тяжело сейчас и так хочется маленькой радости Ваших писем. Дайте телеграмму, если призовут.

26.VIII.14. Ялта.

Дорогой мой, Вы так долго не писали, что меня, особенно по ночам, стали мучить дурные и печальные сны. Все они исчезли при одном взгляде на адрес, написанный Вашей рукой.

Неужели случится такое несчастье и Вас возьмут на войну? Что же будет с Вашими сестрами и братом? Ведь, кажется, есть закон, по которому нельзя призывать единственного кормильца?

Отец уже на сборном пункте, и хотя он — офицер, мне все-таки кажется нелепым и необъяснимым, что этот добрый, робкий, всю жизнь страдавший от застенчивости человек будет изо всех сил стараться убивать других людей и что для всех нас это стало теперь самым важным делом на свете. Брат собирается идти добровольцем, а тетя, которая еще в русско-японскую войну была сестрой милосердия, на днях уезжает на фронт.

Когда же, наконец, кончится это безумие? Я почему-то уверена, что это — последняя война в Европе. Но как внушить человечеству сознание всей бессмысленности этой зверской расправы? Впрочем, что говорить, если у нас, при тысячелетней-то культуре, все еще существует смертная казнь!

...Только что прочла в газете, что занятия в Питере начнутся вовремя, студенты освобождены от воинской повинности. Это мало утешает меня. Все зависит от хода войны — и я смертельно боюсь, что Вас возьмут рано или поздно.

Хочу на днях уехать из Ялты. Вся эта блестящая южная феерия меня сейчас раздражает. Да и уроки мои почти все пропали, а содержание здесь дорогое.

Целую Вас горячо, моя радость, мое счастье.

Ваша Лиза.

15.IX.14. Ялта.

Еще несколько медлительных дней, и я — в Казани. А неутомимая мечта уже там! Меня и радует и пугает наша встреча. Нет, радует. Я знаю, Вы любите, когда я весела.

26.IX.14. Вагон 357. М.-К. ж. д.

— Кто ты? — Кормщик корабля.
— Где корабль твой?— Вся Земля.
— Верный руль твой? — В сердце, здесь.
— Сине Море? — Разум весь.
— Весь? Добро и рядом Зло?
— Сильно каждое весло.
— Пристань? — Сон.— Маяк? — Мечта.
— Достиженье?— Полнота.
— Полноводье, а затем?
— Ширь пустынь — услада всем.
— Сладость, сон, а наяву?
— В безоглядности — плыву.

(Бальмонт)

В эти стихи, которые я, бог знает почему, ежеминутно бормочу, расставшись с Вами на вокзале, неожиданно ворвался следующий диалог между соседкой и мною:

— Ты што, из Мурома будешь?
— Нет.
— Откели?
— С Волги.
— Врешь, я тя в Муроме видела.
— Пра, нет.
— Ай, врешь! Что, из горнишных будешь?
— Рази видно?
— Да, уж повадка такая.

И т. д.

Пока всего хорошего, моя бесконечная радость.

16.X.14. С.-Петербург.

Костик, почему не пишете? Я жду Ваших писем с нетерпением каждый день, каждый час. Занимаюсь усиленно. Устроилась в старой квартире: Геслеровский, 19, кв. 24. Живу одна, так как Шура, не предполагая, что я приеду, поселилась с другой курсисткой. Уроков нет, не

везет. Но я не унываю. Недаром же меня еще в пансионе называли «Лизхен-Неунывай»! Если раздумаете приехать сюда на рождество, не смейте писать мне об этом.

22.X.14. С.-Петербург.

Вы правы, война запутала, связала все и вся и действительно положила на наш век свою тяжелую, позорную печать. Если я считаю эту войну «освободительной», так не для себя. Для меня она отвратительна и безнадежна.

Ваше письмо пришло одновременно с известием о призыве студентов. Я знаю, на Вас не распространяется это предписание. А все-таки сердце падает, когда я развертываю газету с этими страшными, бесконечными списками погибших: «Вечная память, вечная слава».

Без сомнения, Вы уже прочитали в газетах о студенческих манифестациях? Я узнала подробности — и возмущена. Хотя пересаливала лишь небольшая группа, а именно — белоподкладочники, но ведь тень-то упала на все студенчество!

Милый, не беспокойтесь обо мне. Этот месяц я продержусь, а там, может быть, устроюсь. Деньги пока есть. Занимаюсь. Записалась на курсы сестер милосердия, но занятия, вероятно, начнутся не скоро.

Вы спрашиваете, как Шура? Она шлет Вам привет. У нее есть Кузя.

10.XI.14. С.-Петербург.

Время бешено мчится вперед, одни события в беспорядочном вихре сменяют другие. И что за странная вещь человеческая натура! Раньше дух захватывало от этой быстроты, а теперь как будто начинаешь привыкать, и все реже приходит недоумение, охватывает ужас. Жизнь, эта «ставка ва-банк», как сказал футурист Маринетти, идет своим чередом, и разные Игори Северянины пишут в ее оправдание нелепые, но искренние стихи.

За этот приезд я ни разу не была ни в музеях, ни в театрах, но вот не выдержала, отправилась дежурить в Народный дом и несколько дней хожу на удивительно удачные спектакли. Позавчера была на «Богеме» с участием Липковской. Опера мне совершенно не понравилась, ни даже обстановка, несмотря на то, что она была целиком с декорациями взята из «Музыкальной драмы». Зато

Липковская одна возместила потерянное время! Но вот вчера я пошла туда же на патриотический концерт «Искусство — воинам». Был весь питерский свет, все иностранные посланники. Прежде исполнили русский гимн с хором и оркестром, потом Бакланов спел французский гимн — и все это на фоне живых картин. Потом читали лучшие силы драмы, кричали: «Ура бойцам!» — и т. д. Посланники отвечали короткими речами. Публика неистовствовала, особенно галерка, где было до тысячи учащейся молодежи. Но с ума свел меня балет. Танцевали две такие звезды, как Карсавина и Кшесинская,— они бесподобны, и я отказываюсь даже их хвалить, потому что слов не хватит, чтобы передать это великолепие. В Питере публика настроена патриотично, ежедневные сборы, и жертвуют, не скупясь. Вообще, единодушие во всем, и этот водоворот сегодняшних событий захватывает с головой.

В такое время и читать-то ничего не хочется, кроме газет. Но, соскучившись о поэзии, я все-таки прочитала Рабиндраната Тагора «Садовник», «Песнь о Гайавате» в прекрасном переводе Бунина, Анну Ахматову, которая в особенности поразила меня своей свежестью, простотой и глубиной.

На днях, ища уроки, нарвалась на два гнусных предложения, от которых почувствовала тошноту и слабость. Но я знаю, Вы не любите, когда я жалуюсь. Поэтому впредь буду сетовать только на бесконечность нашей разлуки.

За окном идет снег, и, если долго смотреть на эти падающие без конца мягкие снежинки, голова начинает кружиться. А она, бедная, и без того кружится, когда я вспоминаю о Вас. Дело в том, что я совершенно не могу жить без Вас. Не худо бы Вам когда-нибудь об этом догадаться.

20.XI.14.

Ура! Нашла урок — следовательно, остаюсь в Питере и могу продолжать занятия. Двадцать пять целковых, завтрак и обед. Совсем рядом. Мальчик девяти лет, кажется, туповатый. Вчера весь день чувствовала себя счастливой.

Вы спрашиваете о настроении публики в связи с последними политическими событиями? Да, были волнения и однодневные забастовки, но только среди учащейся молодежи, а насчет рабочих я не слышала. Теперь, пожалуй, дело ведется подпольными путями. Может быть, общими

усилиями социалисты что-либо и сделают. Но ведь дело-то невероятно серьезное и требует самого обдуманного способа действий. Впрочем, каждая страна мечтает об этом. Разрешить проблемы, породившие эту войну, да и родившиеся с нею,— титанический труд. Вот почему ограничиться во внутренней политике одними проектами было бы непростительным преступлением...

Продолжаю вчерашнее письмо. Невероятно трудно живется! Стыдно за свое бездействие. Вы знаете, о чем я говорю, но ведь нет ни одной свободной минуты! Вот мой день — все, как один: утром — до двух — на курсах, с двух до девяти — на уроке (не я в это время «воспитываю» мальчика, а он меня — такой сорванец!). Вечером прихожу усталая и для отдыха занимаюсь часов до одиннадцати языками. А потом до двух — математика. До политических ли тут интересов?

30.XI.14. Петроград.

Мой дорогой, ради бога сообщите мне немедленно — приедете Вы на рождество или нет? И пожалейте, не напоминайте, что я просила Вас об этом.

3.II.1915. Петроград.

Не серди-и-и-тесь, милый. Клянусь, я не хотела Вас обидеть. У меня были деньги, я решила вернуть старый долг и послала его Вам, не придавая этому никакого значения.

Напишите мне снова. Как вы себя чувствуете, что делаете? Что думаете?

Шура все прикидывала, как бы ей исполнить Ваше поручение,— и в конце концов шепнула мне Ваш привет, когда я спала. Но я очень чутко сплю, и ей пришлось показать мне те строки, в которых Вы пишете обо мне. Спасибо, спасибо! Мы с ней живем в одной квартире, но в разных комнатах. Это — мой самый близкий друг. И представить себе не могу, как жилось бы мне без нее в такое тяжелое время!

14.III.15. Петербург.

Когда не пишется, следует принимать «письмин» — новое средство, которое, говорят, действует в подобных случаях превосходно. Кажется, я впервые отношу это за-

мечание к себе — и мне не помогает «письмин»! Уж не заразилась ли я Вашей дурной привычкой?

Видела Вас сегодня во сне больным и сердящимся на меня — и вот кинулась к перу и бумаге. Серьезно, как Ваше здоровье? Не переутомились ли Вы? О душевном состоянии нетрудно судить. Да чье сердце нынче не болит? Вокруг — неразбериха, и напрасны все усилия выйти из заколдованного круга. Передать всю бессмыслицу происходящего невозможно, да и не охватить ее своим жалким умишком. Жить, конечно, не стоило бы — если бы не искусство!

Еще в феврале я стала посещать воскресные классы Общества поощрения художников. Занимаюсь я в натурном классе. Техника, конечно, отчаянно хромает, но все же, кажется, делаю успехи. Не смею надеяться (и все же надеюсь), что эти занятия — начало того, о чем я всегда мечтала. Прибавьте к этому кружок, который затеяли товарищи по школе — мы приглашаем на паях натурщика и рисуем два раза в неделю,— и оцените наслаждение, которое доставляют мне эти занятия.

На днях слушала Качалова, который читал «Кошмар» Ивана из «Братьев Карамазовых». Вот когда поняла я всю безвыходность, всю безнадежность России! Я думала, что после этого вечера, когда слились в одно целое два громадных таланта, в зале едва ли осталась хоть единая душа, не затронутая «богом», который мучил Ивана.

Что нового в Казани? У нас еще зима. Много снега, морозы. Старожилы говорят, что не помнят такой поздней зимы в Питере. Шура шлет Вам привет. Кузя у нас бывает очень часто. Кажется, я уже писала Вам, что он — такой же дельный, хозяйственный и розовощекий, как Шура. Глядя на них, так и хочется процитировать Пушкина:

Мы точь-в-точь двойной орешек
Под единой скорлупой.

Эта скорлупа, которой я, к сожалению, полностью лишена, надежно защищает их от всех больших и маленьких огорчений. А когда приходится все-таки обороняться, орешек превращается в ежа и выставляет иглы. Свадьба у них весной.

Я знаю, что раньше, чем Вы закончите экзамены, нам нельзя увидеться, но неужели... Ладно! Увидимся, когда Вы захотите.

Вероятно, я скоро уеду домой, в Пермь,— Питер опро-

тивел мне со своей суматохой, шумом, пестротой, электричеством, рычаньем и рефлекторами моторов, со своей спешкой, остротами и сменой беглых впечатлений. Близится пора белых ночей. Я устала от них, не могу собраться с мыслями, пока светло, и жду, когда можно зажечь лампу, чтобы заниматься. Весенняя опасная пустота! Больше всего самоубийств — в белые ночи. Хочется забраться куда-нибудь в глушь, в медвежий угол, не слышать ничего, не видеть, и хоть выспаться хорошенько. Устала я не от труда, а от борьбы с собственной душой. Не умею я применяться к жизни, все хочется приложить к ней свое, а это «свое», воспитанное в мечтах, слишком хрупко и разлетается на куски при первом же столкновении.

Где Вы будете призываться? Поступите ли в училище или вольноопределяющимся? Если первое — то куда?

Миленький, миленький, пишите скорее, я так скучаю без Вас.

20.V.1915. Петербург.

Я хотела заехать к Вам после Ваших экзаменов, но получила письмо от тети, которая едет из действующей армии в отпуск. Я должна ее увидеть, потому что не хочу обижать моих домашних, которых не видела уже два года. Поживу недолго в Москве, а потом поеду в Симбирск — к Шуре на свадьбу. Хотите ли Вы, чтобы из Симбирска я приехала к Вам? Вы знаете, что значит для меня это свидание, и поэтому прошу, более того, требую прямого, пусть даже и беспощадного, ответа. Милый мой, не надо играть со мной в кошки-мышки, хотя бы невольно. Я знаю, Вы всегда «прямосердечны». Но Вы не знаете, как я провела эту зиму. Ведь я старалась истолковать в свою пользу каждое Ваше неясное слово! Я искала эти неясности, неопределенности, и они одни были для меня утешением. Нет так нет, но тогда уж навсегда и сразу! До Вашего ответа я не стану покупать билет, а это надо делать заблаговременно. Жду.

1.VI.1915. Москва.

Буду в Казани 5-го, в 11.20 утра. Хочу остановиться в номерах, где-нибудь далеко от Вас. Знакомым пока не стоит говорить о моем приезде. Если не можете встретить, оставьте для меня на вокзале письмо до востребования.

6.VI.1915. Утро. Казань.

Как люблю? Ведь об этом я вчера обещала Вам рассказать? Нет, не могу. Когда я поняла, что Вы не приедете на святки, мне показалось, что я не переживу эту одинокую, снежную, морозную зиму. Потом пришла весна, и вот уже июнь, лето, но до самой нашей вчерашней встречи я все еще чувствовала себя погребенной под грудой снега, усталости и желания не думать о Вас, забыть Вас. Вчера все это кончилось, растаяло. Или нет, не растаяло, а отдалилось, притаилось. Я ведь с неестественной отчетливостью помню все, что происходило и происходит теперь между нами,— все *наше*, и мне иногда кажется странным, что это немногое *наше* я должна защищать — от кого же? От Вас. Милый мой, не сердитесь, но почему Вы оледенели — не подберу другого слова,— когда я стала расспрашивать о Вашей маме и сестрах? Вы решили, что мне захотелось познакомиться с ними? Предположим, что это так, что же в этом плохого? Мне дорого, меня интересует все, что касается Вас. Кстати, я заговорила об этом потому, что Вы пожаловались на младшего брата, из-за которого Вам пришлось отказаться от одного урока, потому что иначе он не перейдет в пятый класс.

Я знаю, что Вам тяжело, что Вы тянете не только брата, но всю семью, я всегда помню об этом. Но почему Вы так старательно прячете от меня все, что касается Вашего семейства? Ведь я-то рассказываю Вам все о себе и о своих, всякую мелочь. Я не настаиваю ни на чем, упаси боже, но не могу скрыть, что это неравенство огорчает и даже обижает меня.

Мне трудно было заговорить с Вами об этом — поэтому и написала. И еще потому, что обещала рассказать Вам о том, как я люблю. Вот именно так — ничего не скрывая.

23.VII.1915. Пермь.

Сегодня с утра — грозы, одна за другой, молнии широкие и продолжительные, а капли дождя — крупные, как будто кто-то пригоршнями бросает с неба алмазы. Я в детстве верила, что во время грозы, когда небо открывается, можно увидеть бога, и смотрела, смотрела во все глаза. Не увидела. Должно быть, и не увижу.

Сейчас вечер, я зажгла свечу и вот пишу Вам. На душе светло, а почему — не знаю. Ехала я хорошо. Публики было мало. Познакомилась за сутки до Перми с высоким, тонким застенчивым студентом духовной академии: только что кончил, и его призывают на позиции. Глаза у него светлые, с длинными темными ресницами — глаза, по которым видно, что он не вернется. Всю ночь мы с ним сидели на палубе, встречая восход, говорили о Чайковском, о поэзии, о себе — очень откровенно, как разговаривают люди, которые уверены, что больше никогда не встретятся. Такой нежной души я и у женщин не встречала.

Математикой я занимаюсь по утрам, с ясной головой и с еще более ясным желанием поскорее отделаться от нее и вернуться к своим холстам. Я начала здесь с портрета брата, но бросила, потому что он и минуты не мог посидеть спокойно. Взялась за натюрморт — горящая свеча в медном подсвечнике возле раскрытой книги. Мне хотелось передать тишину одинокого чтения: красно-желтый язычок пламени на темно-голубом, сумеречном фоне. Ничего не вышло! Надо учиться, а мне хочется в одно прекрасное утро проснуться художницей. Я нетерпелива, беспечна, доверчива, ничего не понимаю в искусстве и вообще непоправимо, безнадежно тупа...

Была несколько раз в библиотеке и убедилась в том, что хотя Пермь и «медвежий угол», но культурных людей немало. Иногда бегаю к пансионской подруге, которую нашла здесь замужней. Все-таки снова и снова пробую писать, а для развлечения «упражняю» свои силы с братом. После этих упражнений моя сила показывается на свет божий в виде огромных синяков. Как вы живете? Когда думаете отдыхать? Я, может быть, поеду через Казань. Что Вы думаете об этом «может быть»?

15.VIII.1915. Пермь.

Еду на «Князе Игоре». Из Перми он выйдет 17—18-го, каюта 11. Когда будет в Казани — не знаю. Справьтесь по телефону. Оторвитесь хоть на минуту от Вашей математики и приезжайте на пристань. Пароход будет стоять не меньше часа. Вы ленитесь писать, а мне надо увидеться и поговорить с Вами лично.

23.VIII.1915.

Все к лучшему, не правда ли? Пароход опоздал на шесть часов и только утром ушел из Казани. Вы встречали меня? Я не рискнула искать Вас ночью, в городе, далеко от пристани. Оставалось только сидеть на палубе и стараться не думать — о Вас и о нас. Это было трудно, хотя применялись сильные средства. Я вспоминала, например, только что пройденный курс химии. Увы! Вместо какого-нибудь «ангидрида» мне представлялась наша несостоявшаяся встреча, и я производила над ней качественный и количественный анализы.

Познакомилась на пароходе с товарищем Вашего брата — прапорщиком Медянцевым. Славный мальчик, розовый, с детскими щечками. Везет ратников в Хабаровск — передала с ним привет отцу.

7.IX.15. Петербург.

Карновский противный не пишет! И не надо — у меня и так на душе малиновый звон. (Не думайте, что речь идет о садовой малине. Я предпочитаю лесную.) Если Вы хотите знать, какова она на вкус, вспомните «Campanella» Листа. Я только что слушала ее в исполнении одного молодого шведа, студента консерватории, который нравится мне тем, что он немного похож на Вас, а я — ему, потому что похожа на его стокгольмскую невесту.

Вы, должно быть, смотрите на эту открытку и думаете: «Хороша Венеция!» Где уж Вам догадаться, что это не Венеция, а самый настоящий Казанский собор и Мойка рядом, а на Мойке — наши русские Ван Гоги. А немцев мы не боимся, хотя чай пьем «вприглядку». Да-с. Дела-то хороши, да плохи барыши. Ну, полно! Вооружитесь лупой и терпеньем. Писать допускается. Не Ваша.

28.IX.15.

Милый мой, Вы думаете, что над Питером летают цеппелины? Нет. Ни цеппелинов, ни немцев мы пока не боимся. Мы боимся холода и голода. Пути заграждены, навигацию прозевали, запасов в городе нет или почти нет.

Жизнь в Питере стала каторгой, так все дорого. Всякие акулы положительно готовы проглотить даже самого обывателя, а не только содержимое его кармана. Жизнь мчится с головокружительной быстротой — не успеваешь

оглянуться, не только остановиться. В этом году я совсем не могу заниматься живописью. По утрам хожу на лекции, оттуда на уроки и только к вечеру возвращаюсь домой. На воскресных классах не бываю, чтобы не мучить себя. Кружок, который мы затеяли весной, распался, потому что на натуру не собрали денег. Если бы Вы знали, Костя! Эх, да что говорить! Невозможность работать мучит меня, становится навязчивым бредом. В своих снах я теперь неизменно пишу — блаженное состояние! Раскрашиваю географические карты — когда-то я славилась этим в пансионе,— и они оживают: высокая стена бирюзового цвета встает передо мной, пронизанная жилками, которые серебрятся на солнце. Это море. Тени, спрятавшиеся в глубоких медно-рыжих складках, медленно ползут наверх. Это горы.

Но и наяву я нередко вспоминаю то радостное чувство, которое испытываешь, работая или даже еще не работая, а выдавливая краски на палитру. Мне всегда казалось, что краски — это особенные, наделенные чудесными свойствами существа, с которыми можно даже и разговаривать, если они этого пожелают. В их названиях мне всегда чудился таинственный смысл: «кость жженая», «мертвая голова». Так вот: я не работаю. Я пишу во сне, в уме, на лекциях, в трамваях. Мгновенье, когда кисть прикасается к холсту, вспоминается мне как блаженство, которого я лишена незаслуженно, несправедливо. Даже моя летняя мазня в Перми, когда я писала бог знает что с темной головой, кажется мне чем-то недооцененным до слез. О слезах я упомянула не случайно. Я теперь часто плачу. Эх, Костик! Если бы Вы знали! Без живописи я не слышу музыки, не понимаю книг. Она нужна мне, как Синяя птица в пьесе Метерлинка нужна внучке, умирающей от желания счастья. Иногда мне кажется, я не могу жить, потому что мне слишком хочется жить.

Как Ваши дела в гимназии? Как Лавров? Завидую, что у Вас есть такой близкий друг. Что своего или нового внесли Вы в преподавание? Я давно собираюсь поговорить с Вами об этом. Сегодня снова не удалось.

19.X.1915.

Мне хочется поделиться с Вами впечатлениями о лекции Бальмонта. Она называлась: «Океания». Я изумилась, когда он вышел на сцену,— он представлялся мне

совершенно другим. Маленький, похожий на испанца, рыжий, с длинными усами и остроконечной бородкой. Читает, закинув голову и опустив глаза. В антракте не было других разговоров, кроме как о его манерности, отчужденности, высокомерии. Зато во втором отделении все было забыто. Не знаю, как это случилось, но мы покорно отправились вслед за ним «из молчаливой России, мимо туманной Англии и улыбающейся Франции», на Самоа, где быстрые летучие сны возникают «как станы стрекоз, как лепеты скрипки, как трепеты грез» и где смуглые красавицы приветствуют вас: «Талёфа» (это приветствие переводится как «любовь тебе»). Посылаю Вам свой набросок Бальмонта, кажется, верно схвачен. Рисовала в профиль, потому что мест не было, и я сидела на сцене.

Милый мой, жду тебя на рождество. Талёфа! Прощай!

24.IX.15. Петроград.

Заговор

Полюбив меня, помни меня.
Встанет ли солнце, помни меня!
Ляжет ли солнце, помни меня!
Как ты помнишь отца или мать,
Как ты помнишь родимый свой дом.
Днем ли, ночью ли, помни меня.
Если гром загремел — вспомяни,
Если ветер свистит — вспомяни,
Если звонко петух пропоет,
Если слышишь, как время идет,
Если час убегает за час,
И бежит, и ведет свой рассказ,
Если солнце идет за луной,
Всей своей памятью будь со мной!

К этому заговору был приложен рисунок, выполненный графитным карандашом на плотной желтоватой бумаге. Два автопортрета отвернулись друг от друга с разными выражениями: левый — с полуулыбкой, правый — нахмурившись, но тоже с дрожавшим в губах, затаенным смехом.

Лиза была уже совсем не похожа на институтку в белом переднике, с пелеринкой на плечах. Ее лицо с чуть намеченным провалом щек было полно раскрывшейся женской прелести. Оно прислушивалось. Оно куда-то рва-

лось. «От Ван Гога, как видите, я отличаюсь тем, что еще не отрезала себе ухо»,— небрежно, наискосок, было написано под рисунком.

15.X.15. Петроград.

Знаете, чем я увлекаюсь? Немецким языком, как и Вы. И мне, так же как Вам, хочется вставлять в речь немецкие слова и стихи. Я перевожу сейчас «Вертера» Гете, потом перейду к Гейне, а потом к Шопенгауэру. Занимаюсь с одним студентом консерватории — Бергом, о котором я Вам писала. Он — швед, впрочем обрусевший. Родители его живут в Симбирске. Он учился в Берлине четыре года и, конечно, прекрасно знает язык. Наши высмеивают меня без конца, доказывая, что все это похоже на «Страдания молодого Бергера», но мы держимся стойко, хотя занимается он со мной от нечего делать.

Миленький мой, все, что происходит со мной, принадлежит Вам. Естественно, что мне хотелось бы узнать о Вас хоть немного больше того, что Вы рассказываете в своих коротких неласковых письмах. Вот если бы усовершенствовали граммофон и сделали дешевле и доступнее передачу голоса на пластинку! Какая чудесная получилась бы почта! Я слушала бы Ваш голос без конца, а ведь как много значит человеческий голос! Без конца заставляла бы я Вас повторять то заветное слово, которое — увы — слышу так редко! Я даже развеселилась, подумав о том, что вы произносили бы его невольно, не по своему, а по моему желанию.

Между тем веселого мало. От своих я получаю горькие письма. Брат, ушедший добровольцем, пишет: «Неужели зря пошел я голову класть?»

И представить себе не могу, что Вы не приедете на праздники.

24.X.1915. Петроград.

Зверь, изверг, кровопийца, мучитель, палач и т. п. Слов не нахожу! Я умираю от тоски, а он и ухом не ведет! Одно письмо через 32 дня аккуратно. Первое — 11 сентября, второе — 12 октября, а третье — 13 ноября.

Теперь пропустим через цензуру Ваши «если». «Уроки» — можно передать Вашему другу Лаврову. «Утверждение диплома» — Ваше присутствие не обязательно. «От-

ношение профессора к Вашей работе» — тут я не компетентна. Все «если», связанные с Петроградом (комната и пр.), я беру на себя.

Я получила Ваше письмо с первым снегом, и мне сразу же захотелось смеяться и шалить. Мы с Бергом (он же Ансельм из сказок Гофмана) бродили по улицам, я пела и смеялась, а он удивлялся — чему я так радуюсь. Он не знал, что я получила маленькую надежду на будущее — Ваше письмо.

Да, я понимаю, как интересно заниматься с детьми. Один из моих уроков сейчас — воспитание взрослой девицы (16 лет), еще ничего не пережившей, но зато много и беспорядочно прочитавшей, чуткой и умной. Я очень увлечена этим уроком, отдаю ему много времени и, мне кажется, сама многому научилась, по меньшей мере в психологическом отношении.

Часто бываю у Кауфманов. Помните, я рассказывала Вам об этом семействе. Я люблю его за душевную красоту и внимание друг к другу. У отца — жестяная мастерская, четверо сыновей разделились: двое учатся в университете, на физико-математическом, а двое — наборщики, работают в типографии. Отец и сыновья — громадные, а Розалия Львовна — маленькая. Когда она начинает очень сердиться, кто-нибудь из мужчин осторожно сажает ее на шкаф. Они постоянно всех устраивают — то надо собрать теплые вещи для ссыльных, то помочь больному студенту. Все это делается горячо, с восторгом, с отчаяньем, с возмущением. Она увлекается литературой, в последнее время — Брюсовым, которого декламирует кстати и некстати. Мне тоже нравится Брюсов. Я ценю отточенность его стиля, но часто его стихи кажутся мне надуманными, холодными. Об этой холодности говорит, кстати, и циническая откровенность, чуждая поэзии по самой своей природе. Поэтому «Город женщин» особенно не понравился мне.

Видела сон — Вы в кругу семьи. Старшая сестра усердно чистит самовар и поет: «Ах, тебе досадно! — Нет, мне не досадно!» А младшая держит дверь, чтобы я не вошла. И я улетаю. За плечами у меня крылья, я — над морем, и кто-то приказывает мне опуститься на самую большую волну. Я открыла глаза с чувством счастья — так это был сон?

Впрочем, «я с детства была крылатой». Но прежде это были сны, полные свободы и силы, а теперь мучитель-

ные. То я боюсь, что крылья у меня привязанные, чужие. То мне надо непременно увидеть их, а этого нельзя, потому что стоит только оглянуться, и всему конец — захлестнет, утону.

Пишите, миленький. Ваша и Ваша.

Прочла, как Вы пугаете меня экзаменами, и вспомнила остроту из «Сатирикона».

— Сережа вернулся с экзаменов?

— Да.

— Где же он?

— Там, в детской висит.

19.XI.15. Петроград.

Костя, почему ни слова? Я не знаю даже, получили ли Вы мою фотографию, которую послала Вам в последнем письме? Вы как-то спрашивали меня насчет «страданий молодого Бергера». В ответ расскажу такую историю. Существует на свете некто Саблин, который любит повторять слова Наполеона: «Мир делится на дураков и подлецов». Так вот мой Берг принадлежит к первой категории, а Саблин — ко второй. Они — товарищи. У Берга — сестра, курсистка семнадцати лет. У Саблина — жена и ребенок. Живут они в общей квартире, коммуной. Но эту коммуну надо понимать так: у Берга есть деньги, а у Саблина их нет. Заведует всеми делами, покупками и т. д. Саблин, а платит Берг, которого Саблин за глаза называет «ничтожеством и тряпкой», а в минуты пьяной откровенности еще и «дойной коровой». Более того, пользуясь некоторым чувством Берга к его жене, он готов пустить в ход и это верное средство. И вот чете Саблиных приходит в голову прекрасная мысль: купить на деньги Берга кинематограф. Берг отправляется за деньгами (пять тысяч) в Симбирск,— и тут мы — Шура, Кузя, я и еще человек пять, всё студенты — решаем предотвратить эту новую подлость. Я телеграфировала ему с просьбой не высылать деньги до получения нашего письма. Он немедленно вернулся, пришел ко мне вместе с сестрой, умной девушкой, которая давно стремится вырвать его из этого грязного дома,— тут уж вся наша компания постаралась протереть ему глаза, весьма красочно изобразив его положение. Он дал нам слово покончить с Саблиным.

Вы читаете это письмо с удивлением, милый Костик?

Я знаю, не надо было принимать так близко к сердцу эту историю. Но что мне делать со своей глупой натурой! Ненавижу слабодушие, слабоволие, развинченность. Когда-нибудь нас всех погубят такие вот милые, добродушные Берги.

1.XII.15. Петроград.

Вы, наверно, заметили, что я совсем перестала упоминать (в своих письмах) о живописи, и, может быть, даже порадовались, что я забыла об этом увлечении. Видит бог, я сделала все, что было в моих силах, чтобы справиться с ним. Я уговаривала себя так дельно, что сама дивилась своей положительности. Во-первых, это дело дорогое, не по карману, и прежде чем оно начнет приносить доход (если это когда-нибудь произойдет), за него надо платить да платить. Во-вторых, что может быть вернее, чем математика, в особенности если занятия ею увенчаются дипломом Бестужевских курсов?

Должно быть, долго еще мучилась бы я, сидя между двумя стульями, если бы не один случай, вдруг заставивший меня решиться. Подошел срок уплаты за очередной семестр, я сидела без денег и уже собралась взять в долг у Кауфманов, которым я и без того должна, когда встретила на Конногвардейском ту симпатичную курсистку, с которой приехала в Петербург и мы еще вместе переночевали в Обществе защиты женщин. С тех пор мы виделись редко, но всегда дружески, обменивались десятью словами и спешили дальше. Но на сей раз я вдруг выложила ей все свои колебания. И досаду, что прошел еще день, а я не взяла в руки кисть, и страх перед будущим, если я брошу математику, и что математикой я занимаюсь, потому что *так надо*. С чего это я нежданно-негаданно накинулась на полузнакомого человека? Не знаю. Видно, подошла такая минута. И что же? Выслушала меня моя курсистка (ее тоже зовут Лизой), выслушала внимательно, а потом как-то блеснула из-под меховой шапочки глазами: «А вы ее бросьте!» И так она просто сказала, что и мне это вдруг представилось проще простого: взять да и бросить! И потом она сказала, что, если бы у нее была какая-нибудь страсть, она была бы счастлива, будь это хотя бы ужение рыбы. «Страсть сама по себе счастье, и заглушать ее в себе, бороться с ней — что может быть глупее?»

Но дело даже не в ее рассуждениях, к которым я могла бы многое прибавить. Дело в простоте, в легкости, которой мне не хватало. В самом деле: взять да и бросить! И, кстати, за очередной семестр не придется платить. И в долг не брать. Времени будет, боже ты мой, сколько угодно. И о живописи можно будет думать свободно, без угрызений совести, без запрета. Словом, я решила заняться только живописью, как бы это ни было трудно. Решила — и Вы не можете себе представить, как легко стало у меня на душе. Я еще не оставила курсы, на днях сдала три экзамена, хожу на интересный семинар по флюоресценции. Ничто не может помешать мне вернуться. Но я не вернусь. Это значило бы отказаться от себя, похоронить самое дорогое в жизни. Я поняла, что все эти годы была, в сущности, глубоко несчастна. Все было всегда не на месте в душе, и притворяться перед собой, что никакого выхода нет, больше мне не по силам.

И еще одно. Мой дорогой, Вы знаете, что значит для меня наша близость. Я и среди друзей чувствую себя одинокой. Конечно, живопись не заменит мне Вас, но, может быть, для нее так и нужно, чтобы я была одинока? Но хватит! Пока все это еще только слова, и от меня зависит, чтобы они стали делом. Теперь — практическая сторона. Я поступила в художественную мастерскую. Руководители — Добужинский, Яковлев, Лансере, Кустодиев, Остроумова. Все это «Мир искусства», и это очень хорошо не только потому, что Добужинский, например, очень много говорит моему сердцу, а потому, что такие люди, как он или Лансере, вдумчиво относятся к тем молодым, которые работают в совершенно другой манере. Но мне, разумеется, надо думать сейчас не о манере, не о направлении, а о том, как держать в руке карандаш.

11.XII.1915.

Я поступила безрассудно — пишете Вы: любовь к живописи я приняла за талант? Но, Костя, как Вас убедить в том, что эта любовь совсем не абстракция, а такая же вещественность, как голод или жажда? Такая же страсть, как опиум, от которой, говорят, нельзя излечиться. Ван Гога свела с ума живопись, это нисколько не удивляет меня. И потом, Костик, почему Вы думаете, что у меня нет никакого таланта? Как раз в разгаре моих колебаний из Москвы приехал Иван Иваныч Реутов, который зашел

ко мне по теткиному поручению. Я показала ему свои рисунки, и он сказал, что мне непременно надо учиться живописи. И наконец — не первого же зашедшего с улицы берет в свою мастерскую Добужинский!

Что касается того, что среди женщин мало талантливых живописцев, так ведь и среди математиков мало! Я, например, знаю только одну — Софью Ковалевскую. Однако ведь и она, кажется, променяла свою математику — не на живопись, правда, а на любовь? Моя ли вина, что я не могу жить без того и другого?

Ваше письмо — увы! — напомнило мне нотации, которые я часто выслушивала от начальницы, когда училась в пансионе. Решительно на Вас дурное влияние оказывают Ваши уроки. Вы привыкли учить, учить, учить... Не сердитесь, мой милый.

15.XII.1915. Петроград.

Ми драго, ми злато! Неужели не приедете? Ложусь и встаю с единственной мыслью — увидеть Вас на праздниках. Мы часто говорим об этом с Шурой: она оставляет комнату в Вашем распоряжении и хочет вернуться за день или два до Вашего отъезда — нарочно, чтобы познакомиться. Приезжайте, мое солнышко! Неужели наше свидание, пусть короткое, может помешать Вашей «цели»? Боже мой, какая это злая и упрямая соперница: отказывается подарить мне хоть день счастья. Вы говорили, что Вам нравятся иллюстрации Соколова к «Мертвым душам». Так вот, я припасла их для Вас. Видите, как я Вас заманиваю!

В мастерской меня заставили начать с азов, и я пришла в ужас. Вы и представить себе не можете, как я беспомощна. То и дело хочется от стыда провалиться сквозь землю. Я не сплю ночами от усталости, клюю носом на уроках, возвращаюсь домой полуживая и все-таки счастлива. Вам это кажется странным?

20.XII.15. Петроград.

Я знала ответ и заранее приучила себя к нему, хотя не перестаю терзать себя, думая о нравственном падении, до которого дошла, умоляя Вас о приезде. Поделитесь Вашими новостями. Они и меня немного интересуют. В Питере все по-старому: настроение равнодушно-угнетенное.

Погода — восхитительная, солнце, хрустящий снег, мороз. Вы знаете, я чувствительна к этой прелести. Шура шлет привет. Она еще не потеряла надежду познакомиться с Вами.

24.XII.1915.

Нет, не могу простить. Вы не только сделали мне больно, Вы смертельно оскорбили меня. Я поняла, что Вам ничто не страшно сделать со мной — все перенесет, все стерпит, раба. «Я недостоин Вашей любви»,— пишете Вы. Да любили ли Вы? Если да — мне остается только пожалеть Вас. Сколько же было у Вас хлопот с этим не поддающимся взвешиванию и измерению чувством!

Мне нужно «найти себя» — пишете Вы. Кажется, это удалось — с Вашей помощью, за которую я глубоко благодарна. Не лучше ли было преодолеть трусость и прямо ответить мне «нет»? В самом деле, ведь тогда Вы освободились бы от последней обязанности — из вежливости отвечать на мои письма.

Е. Тураева.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

15.IV.1916. Петроград.

Вы просите, Костя, забыть нашу ссору? Так это, значит, называется ссорой? Вы пишете: «Простим друг другу». Стало быть, считаете, что не только Вы, но и я виновата? Вам захотелось «вернуть нашу духовную близость», все же для Вас дорогую? Да была ли между нами духовная близость? Я стремилась к ней, это правда, но встречала в ответ только холодные поучения. И как характерно для Вас это «все же».

Так Вас еще интересуют мои дела и здоровье? Последнее — в полном порядке, а что касается «дел», Вам, должно быть, покажется странным, что у такой неделовой особы, как я, они идут превосходно. Я много работала у Добужинского по классу композиции и у Яковлева — по рисунку. Яковлев мало известен широкой публике, потому что лишь недавно вернулся из-за границы (поездку получил после Академии). Он выставлялся в прошлом году в «Мире искусства» и сразу обратил на себя внимание. Добужинский приходит не часто. Он меланхоличен, по-пе-

тербургски сдержан, накрахмален, и я его немного боюсь. Замечания его вопросительно-немногословны, но необычайно точны. Кстати, на днях он сказал мне, что я сделала за зиму большие успехи. Так что Ваши мрачные предсказания, представьте себе, не оправдались!

Живу я у своей ученицы Леночки Гориной, о которой я Вам писала. Типичная петербургская семья, по первому впечатлению — холодная, а на деле — сердечная. Алексей Павлович — профессор, читает на восточном факультете, любезный, с красивым, матово-бледным лицом, с большими глазами. Я боялась его, пока на вечеринке, которую устроила Леночка, он не пригласил меня на мазурку. Мы прошлись под аплодисменты, и с тех пор я его не боюсь. Мать — Гаянэ Давыдовна, армянка, из известного семейства Лазаревых, в прошлом — хорошая пианистка, деятельная, постоянно занята в каких-то общественных комитетах. Сын, Дмитрий, похож на отца, рыжеват, изысканно вежлив и саркастически-равнодушен. Историк, ученик Успенского, занимается Византией, в семье считается звездой. Тоже играет — на виолончели. Вообще музыка у Гориных — в чести, это очень приятно. Леночка в этой атмосфере постоянной занятости и размеренности — воплощение беспечности, неаккуратности и лени. Она способна, умна и может полдня проваляться с книгой в руках на диване. Я приглашена, чтобы заниматься с ней всеми предметами, но занимаюсь я тем, что уговариваю ее заниматься.

Так Вы хотите возобновить нашу переписку? Ну что ж! Мой адрес: Екатерининский канал, 35, квартира 10.

Е. Т.

12.VII.1916. Териоки.

Милый Костя, откровенно говоря, я не ждала от Вас такого ласкового, искреннего письма. Я тоже хочу Вас увидеть! Может быть, Вы приедете в августе, до начала занятий? Нынче родители моей Леночки предлагали мне поехать с ней по Волге, но я отказалась.

В Ваших дружеских чувствах я никогда не сомневалась, а уж в моих Вас уверять мне не нужно. Так вот, милый друг, что я скажу Вам... Задумалась и забыла. А будто что-то очень важное хотелось сказать... Нет, не могу вспомнить.

Сейчас тихо. Уже около одиннадцати, а я пишу без огня. Через открытое окно сильно пахнет табаком и рожью. И на душе светло и тихо. Вот что! Я должна написать Вам, где я и что со мной. Слушайте же, то есть читайте. Я переутомилась за зиму, хотя устроена была очень хорошо, пила кефир и вообще питалась великолепно. «Слишком много нервных потрясений»,— сказал врач и отправил меня на абсолютный покой в Финляндию, в Терпоки (но купаться строго запретил, о чем я горюю и все-таки купаюсь). Сняли мы с Леночкой комнату и живем вдвоем очень недурно. Плохо только, что все дорого — курорт. Я живу самостоятельно, веду какую-то статистику коров. Работу эту мне предложил отец Леночки. С ней я, конечно, уже не занимаюсь. Она девушка милая, остроумная, вечно меня смешит, пичкает невероятно, чтобы я потолстела, а когда я купаюсь, вытаскивает меня из воды. Хорошо плескаться, берег песчаный. Но, разумеется, хуже, чем в Ялте, и море, по сравнению с Черным, кажется большой неподвижной лужей. Не удивляйтесь моей орфографии, я так переутомлена, что забываю самые обыкновенные слова, а в музыке потеряла ритм. Это особенно неприятно. Леночкин брат, Дмитрий, о котором я вам, кажется, писала, недурно играет на виолончели, и зимой мы с ним часто устраивали музыкальные вечера. А теперь ничего не получается, потому что я слышу ритм, а следовать ему не могу. Ну вот, опять уклонилась!

Живу я тихо, ни с кем не знакомлюсь. Читаю довольно много. Радуюсь маленьким радостям. Работаю. Вот на днях, например, был счастливый вечер. Как вы думаете, отчего? Увидела на фоне сочно-зеленой поляны ковер с ярко-пестрым рисунком, повешенный на жердь, а за ним, вдалеке, сосны еще догорали в красках заката. Я подумала: «Хорошо жить!» Принялась писать его и решила, что плохо.

Пишите, буду очень ждать.

1.VII.1916.

Дорогой мой, я хочу рассказать Вам об интересном знакомстве. На этюдах я познакомилась с одним старым художником, умнейшим и интереснейшим человеком. Он высокий, костлявый, ходит быстро, так что даже я не поспеваю за ним на своих длинных ногах, резок, категоричен и одновременно добр и прост, как ребенок. Зовут его

Иван Яковлевич Рейнгарт. Когда мы познакомились, он спросил: «Это имя вам ничего не говорит?» А когда я замялась, прибавил: «Не волнуйтесь, мне — тоже». Знает он все и вся и рассказывает великолепно. В живописи, как он серьезно доказывает, главное — нахальство. Уже передвижники, по его мнению, были нахалами, и только поэтому им кое-что удалось. Мирискусники, несмотря на всю их благовоспитанность, тоже нахалы и «своя своих тащи», а что касается разных там «Бубновых валетов» и «Ослиных хвостов», это уже просто громилы и все, как на подбор, огромного роста. «Так что у вас, барышня, ничего не выйдет,— сказал он задумчиво.— Вы корректны, а на арену надо вылезать в некорректном виде».

Узнав, что я занимаюсь у Яковлева, он заметил, что мне это дорого встанет, а когда я пошутила, что плачу в студию только рубль за сеанс, буркнул: «Обойдется дороже». По его мнению, мирискусники уже сыграли роль в свое время, и немалую, а теперь им ничего не остается, как доказывать, что они «не такие». Нужно же что-то отрицать! А чтобы не протянуть ноги, им надо еще и притворяться, что, отрицая, они «вбирают» в себя все новые направления — отсюда и выставки, на которые они приглашают «левых». «Воображаю, какие чудеса самообладания показывает наш благовоспитаннейший Мстислав Валерианович, когда он имеет дело с этими нахалами»,— сказал он о Добужинском. Но среди нахалов много талантливых, например Машков,— и они еще себя покажут.

Очень интересно он говорил о рисунке. «За первое десятилетие XX века художники всего мира старались разучиться рисовать. Матисс был первоклассный рисовальщик, но и он приложил все усилия, чтобы отделаться от своего искусства. С точки зрения публики, он вдруг стал рисовать, как дети. А на деле он учился тому рисунку, который был нужен для его живописных идей».

Я слушала его развесив уши. Ничего похожего никогда не говорил мне Яковлев, который, вместо того чтобы объяснить мою ошибку, поправлял ее, иногда без единого слова.

— Если хотите научиться чему-нибудь, милая барышня,— поезжайте в Париж,— сказал, прощаясь, Рейнгарт.— А здесь вы только одному научитесь — не уметь работать. И математику свою вы, с моей точки зрения, оставили совершенно напрасно. Кстати, она, может быть, пригодилась бы вам и для живописи.

Каково? Вы даже представить себе не можете, милый Костик, тот сумбур, который царит в моей бедной, запутавшейся голове.

19.VIII.1916. Териоки.

Сегодня море ворчливое и угрюмое, это бывает редко. Утром я сидела на берегу и гадала: если волна обежит задуманный камешек — осенью мы увидимся с Вами. Море долго заставило меня ждать, я почти потеряла надежду. И все же сжалилось в конце концов — лизнуло камешек и ушло. А я рада, рада! Значит, я увижу Вас осенью. Да? Пишите же скорее.

Телефонограмма. 23.VIII.1916. Казань. Константину Павловичу Карновскому. Просит Вас увидеться необходимо Тураева была телефонограмма. Они остановились у Приклонских, дом Окачурина.

29.VIII.16. Пароход «Владимир Мономах».

Любимый мой, я думаю только о тебе. Тебе смешно, что к чувству счастья примешивается изумление, но это правда, я не понимаю, что опять случилось со мной. Какое чудо заставило меня мгновенно забыть ту необъятную, черную зиму?

Сегодня утром в мою каюту посадили девочку-горбунью, десяти лет. Она долго молча следила за мной.

— Чему вы улыбаетесь, тетя?

— Счастью, моя душенька.

— А вы знаете много сказок?

— Не очень. Рассказать?

Целый день я рассказывала ей сказки, и все о нас, о тебе. То мы бродили где-то под снегом, то стояли у открытого окна и смотрели на гроздья глициний. Спокойной ночи, мой милый. Завтра допишу. Твоя и твоя. Я много рисовала в *дороге...*

Доброе утро! Вот мы уже подходим к Перми, я ее вижу. Пиши мне. Целую тебя.

10.IX.16. Пермь.

Числа пятнадцатого еду Казань соскучилась целую.

19.IX.16. Казань.

Милый мой, а ведь ты был неправ вчера, упрекая меня за Дмитрия. Во-первых, упрекать пока еще не за что, а во-вторых... О, во-вторых, в-третьих и в-четвертых, если бы мне пришло в голову упрекать *тебя,* на это ушли бы все наши божественные дни в Казани. Мне захотелось понравиться Дмитрию из озорства, а может быть, немного от скуки, и, скажу откровенно, я ничуть не жалею об этом. И то сказать — я никак не ожидала, что он так легко расстанется со своим мнимым бесстрастием! Мне нравится, что за его столичностью и европейским всезнайством чувствуется чисто русская беспечность и даже бесшабашность. Кроме того, он прекрасно играет на виолончели. На наши музыкальные вечера иногда приходит сам Алексей Павлович, который мне тоже нравится, и даже больше, чем Дмитрий. К сожалению, с ним кокетничать нельзя, потому что Гаянэ Давыдовна очень ревнива. Словом, возвращаю тебе твои неожиданные упреки, тем более что к твоей «теории свободной любви» они совсем не идут.

13.X.1916. Петроград.

Душа моя, прости за молчание. Вот уже полторы недели, как я в Питере,— и еще не написала тебе. Мой бедненький зяблик, ты, наверно, замерз без своей куртки? Я не писала потому, что приехала в Питер совершенно больной. Простудилась, устала, а настроение прекрасное. Не гордись. Ты знаешь, что значат для меня наши встречи.

Теперь о куртке. Цены — от 14 до 25 рублей. Первые, конечно, менее изящны. Выбор большой. Так вот, решай. Жду тебя с нетерпением в Питер. Целую твои серые невинные очи.

28.X.16. Петроград.

Друг мой нежный! Так рада каждой твоей строчке. Вчера была с Розалией Львовной у общих знакомых. Сказала ей, что ты приезжаешь. Теперь ведь скоро, да? Жизнь в Питере течет по-старому. Война почти не чувствуется. Привычны стали плакаты, призывы к пожертвованиям и т. п. И когда в трамвае слышишь, что вот, мол, здесь такая погода, а каково-то в окопах,— делается неловко до слез. Об этом теперь нельзя говорить. Надо молчать или биться головой о стену. В особенности наскучи-

ли мне рассуждения снобов. Голос совести тонет в этом претенциозном шуме.

А в воздухе, без сомнения, назревает что-то большое. Искры срываются, и только кажется, что они гаснут в темноте. Были беспорядки на Выборгской, были столкновения солдат с полицией. На Бестужевских — забастовка в знак протеста: 50 матросов отданы под военный суд в Кронштадте за нежелание воевать.

Настроение у меня... Ну, что тебе сказать? Такого невнимания к себе я не запомню. Это осталось с нашей последней встречи. Живу, как живется, и лишь иногда прислушиваюсь к этой подозрительной легкости с тревогой.

Была на днях у врача, и он сказал, что я совсем здорова.

Шура сдает государственные. До скорого свидания. Я еще напишу. Сейчас тороплюсь на почту.

Петроград. 1916

...Город шел рядом с ней, как во сне, — дождь, мягкий стук копыт по деревянной мостовой, дамы под зонтиками, продававшие значки Красного Креста на Садовой, где она снова села в трамвай. Она ехала к Гориным, Леночка ждала ее, и ей захотелось плакать, когда она представила себе этот трехчасовой урок, который на две трети состоял в том, что она уговаривала Леночку заниматься. Теперь рядом был запах мокрых пальто в трамвае, фальшивый разговор о том, «каково-то сейчас нашим солдатам в окопах», — и снова Костя, обещавший ей приехать с первым снегом. Просыпаясь, Лиза прежде всего подходила к окну и смотрела на небо. Снег никогда не пойдет, рождество не наступит, он не приедет...

Она ошиблась. Леночка знала урок, они быстро покончили с математикой и принялись за французский. Пришел Дмитрий в модном, высоко застегивающемся пиджаке, стриженный бобриком, в пенсне, посидел, послушал и сказал, небрежно растягивая слова:

— Лизанька, вы говорили, что интересуетесь византийским искусством? Сегодня Успенский читает лекцию. Хотите поехать со мной?

— В котором часу?

— В половине второго.

Лиза интересовалась византийским искусством, но она условилась встретиться в мастерской с одной мужеподобной девицей, которая хотела показать ей свои рисунки.

— Может быть. Но тогда я должна сперва заехать в мастерскую. Кроме того, мы еще час должны заниматься с Леной.

У обоих были умоляющие лица — у Лены, может быть, потому, что она торопилась на свидание. Дмитрий еще совсем недавно небрежно поиграл бы пенсне и ушел, а теперь сидел и терпеливо слушал, как сестра, путаясь, спрягает французские глаголы.

Лизе вдруг стало весело. Она еще немного помучила обоих, потом отпустила Лену, удобно уселась в кресло и сказала Дмитрию:

— Ну-с?

Он хотел поцеловать ее, она отстранилась.

— Нет.

— Почему, Лизанька? Ведь вчера...

— Вчера я была влюблена в вас. Вы отлично играли Грига. А сегодня дождь, плохая погода, я поскользнулась на Морской, ушибла колено, и вообще нельзя, потому что сегодня нельзя. Мне нужно в мастерскую, потом к Риккерту или Вольфу. Хотите поехать со мной? А оттуда на лекцию вашего Успенского. Идет?

У Риккерта не нашлось книг, о которых просил Костя, приказчик сказал, что Шевандье можно выписать из Парижа, пришлют месяца через два. Дмитрий убедил ее согласиться.

— А зачем вашему знакомому Дюваль? Он же, кажется, математик?

— Ну и что же? Я — тоже бывший математик, а вот ведь иду же с вами на лекцию по византийскому искусству?

Они приехали за полчаса, и Лиза, любившая университет, с удовольствием прошлась по длинному коридору, неровно гудящему от разговоров, от смеха, от шагов проходящих студентов. У пятой аудитории, где должен был читать Успенский, уже толпились, ждали.

Семидесятилетний Успенский с круглым лицом и круглой рыжеватой бородкой (Дмитрий сказал, что он похож на всю русскую интеллигенцию сразу) начал не с Византии, а с византологии. Кому передать ее? Найдутся ли среди нового, незнакомого поколения молодые люди, которые примут из его рук это наследие?

Слабый голос окреп, старое лицо разгорелось, и Лиза представила себе Византию — светящиеся бело-восковые овалы вокруг красных язычков свечей, стены храма в теплом блеске мозаик. Тяжелые золотые одежды покачиваются на священниках торжественно и пусто. Везде эмали — фиолетовые, оранжевые, черные, зеленые — и на этих одеждах, и в убранстве икон, с которых глаза святых смотрят пристально и неподвижно.

— Необычайно замедлен ритм истории,— говорил Успенский.— Столетиями пишется золотой фон, заменяя реальное, трехмерное пространство...

Где-то далеко и близко был Дмитрий, смотревший на нее влюбленными глазами,— и на мгновенье ей почему-то стало до слез жалко его.

Он не слушал Успенского. А она слушала — с закрытыми глазами.

— Может быть, это слишком смелое сравнение,— говорил Успенский.— Но Крумбахер писал, что византийское богослужение напоминает ему театральное действо, возносившее душу к небесам и сурово наказывавшее ее, когда она не желала возноситься.

Теперь ее Византия была не только таинственным соединением мерцающих, оплывающих пятен, которые медленно поднимались в темный, тоже мерцающий купол. Теперь ее Византия пела: желтый, как осенняя листва, пел настойчивый желтый цвет, беспокойный красный звучал, как альт, синий — низкий звук виолончели — вторил ему задумчиво и осторожно.

2.XI.1916. Петроград.

Милый друг, доволен ли ты моей покупкой? Обежала чуть ли не все магазины в Питере — и не нашла коричневой. Есть свитера, но ты ведь хотел с застежками? Не удивляйся, что куртка пахнет керосином, это — предосторожность от моли. Поскольку я, как друг, сочувствую твоим похождениям, советую ее предварительно проморозить. Впрочем, на свете есть, может быть, женщины, которых волнует запах керосина. Я к ним не принадлежу. Книгу Шевандье я выписала для тебя из Парижа.

Ты написал, что приедешь с первым снегом,— и никогда еще так остро не ненавидела я эту затянувшуюся осеннюю слякоть! Неужели на небе царит такая же не-

справедливость, как на земле, и голос женщины ничто для господа бога?

P. S. Вчера не успела отправить письмо. Сегодня выпал снег. К твоему приезду его будет много.

20.XI.16. Петроград.

Костенька, милый! Как грустно, что ты отложил свой приезд! И Шура разочарована, она на декабрь уезжает домой. Ты ведь знаешь, как мне хочется вас познакомить. Есть и другая, более важная причина. По-видимому, вскоре я брошу заниматься с Леночкой, придется вновь устраиваться, и по этому поводу мне необходимо посоветоваться с тобой. Ты знаешь, что я давно полюбила ее и всю семью Гориных, так же как они — меня. Я окружена всевозможным вниманием — и все было бы хорошо, если бы у меня появилась хоть маленькая возможность расплатиться за эти заботы. Но это невозможно. Леночка не только не хочет заниматься, но некоторым образом феномен в этом отношении. Сколько раз я отказывалась, теряя терпение. Вчера вновь было объяснение с Гаянэ Давыдовной, и дело чуть не дошло до слез. Она умоляла меня подождать. Не знаю, что делать. Алексея Павловича берегут, с ним о таких вещах не говорят, а Дмитрий только пожимает плечами. Очевидно, надо переломить себя и продолжать занятия. Но... Несносное «но»! Оно касается моего внутреннего, более чем печального, состояния. Единственная путеводная звездочка — твой приезд, но и этим близким будущим я живу как-то безнадежно. Может быть, потому, что в твоих объяснениях мне все чудится какая-то посторонняя, не зависящая от тебя причина.

Энергия моя — как керосиновая лампа, которую я то слишком припускаю, пока она не начинает коптить, то прикручиваю почти до полного замирания. Ничего мне не надо. Разве немного ласки, как наркоза. Доходила — и не раз — до мысли о самоубийстве, да все оттягиваю. Надо подумать. Ну, полно! Я совсем забыла, ведь ты любишь, когда я весела. Напишу лучше о живописи, она одна поддерживает меня...

В мастерской — много интересного, особенно когда бывает Добужинский (Яковлев вернется в декабре). В последний раз он исправлял композиции. Темы были такие: 1) Бег горя, испуга и отчаяния. 2) Сон без движения. 3) Страшный сон... Я работаю и работала бы еще усерднее,

если бы меня не тревожили время от времени беспокойные мысли. Вот одна из них: так ли уж отличается «Мир искусства» от передвижников, которые считаются в нашей студии заклятыми врагами? Конечно, отличается: более тонкое отношение к рисунку, артистичность и, что особенно важно,— открытие таких великанов, как Рокотов и Левицкий. Но ведь оба направления, хотя и в неравной мере, основаны на «рассказе». Я пробовала «рассказывать» любимые вещи Добужинского — не только выходит, но одно время было моим любимым занятием. Кстати сказать, подогревает эти кощунственные соображения тот самый маленький сборничек со статьями Аксенова и Аполлинера, о котором я тебе как-то писала.

Читаю Микеланджело и Леонардо. И еще моего любимого, необыкновенного, нежного Чехова — это тоже одна из сторон моей души.

Сегодня идет снег, мне хочется, чтобы он шел и в Казани. Может быть, ты болен, скрываешь это от меня и потому отложил свой приезд? Может быть, и тебе смутно, тоскливо? Я хочу, чтобы ты никогда не забывал, что есть на свете друг, которому дороги все твои радости и печали. И не беда, если этот друг... Снова забыла! Все хорошо.

30.XI.16. С.-Петербург.

Дорогой мой, никогда я не думала, что придет время, когда мне до зарезу понадобится твоя холодность, твоя трезвость — все, что я так не люблю в тебе и к чему — я это чувствую — ты себя принуждаешь. Не знаю даже, как и назвать то, что происходит со мной... Ты знаешь, сколько сил и упорства отдавала я живописи? Если есть во мне что-нибудь цельное, нетронутое — это любовь к живописи, радовавшая уже и тем, что всегда помогала мне внутренне сосредоточиться, «вернуться к себе». Так вот, я бросила мастерскую и ушла, хотя Добужинский хвалил мои последние работы.

Трудно рассказать в письме, как это случилось. В общем, так. Давно уже я стала мучиться ощущением, что мы где-то «в пригороде», на тихой улице, до которой едва доносится шум отчаянной схватки между художниками всех направлений. Не раз приходило мне в голову, что главное — там, а в нашей студии, устроенной по образцу «свободных парижских студий», все и происходит «по образ-

цу», а своего, то есть самостоятельного,— мало. Так вот, теперь я убедилась в том, что занималась не живописью, а живописью «по поводу», стало быть, не только не работала до сих пор, а даже еще не приблизилась к работе.

Пишу тебе с темной головой, после трехдневных споров, сумасшедших, начавшихся в доме одного коллекционера, с которым меня познакомил Дмитрий Горин. Он давно звал меня посмотреть это собрание (владелец — некий мануфактурист, подражающий Станиславскому и действительно чем-то на него похожий). Я отговаривалась, может быть инстинктивно. Но вот согласилась — и боже мой, что обрушилось на меня, какой странный, уродливый, сдвинутый, ослепительный мир! Собрание строго современное, состоящее главным образом из бубнововалетцев. Спор начался сразу, потому что я с первой минуты накинулась на рассчитанную наивность, на подражание вывескам в картинах Ларионова и Гончаровой. Перед Татлиным мы с Дмитрием только что не подрались, в особенности когда он стал доказывать, что «угловые и центровые контррельефы» обогатили живопись, потому что «надо искать выход по ту сторону холста». Тут же он сравнил Татлина с византийскими иконописцами, на том основании, что и они разрабатывали живописную поверхность, «не заботясь о сюжете, который повторялся столетиями и не имел для них никакого значения». Я ничего не поняла из всей этой абракадабры, но когда мы вернулись к Гончаровой, передо мной действительно мелькнул «иконописный» угол зрения, хотя я не нашла ничего общего между Татлиным и ею. И не Дмитрий с его византийской ученостью помог мне, а одно воспоминание, детское, еще допансионских лет. Я — в церкви, где самый воздух окрашен светом лампад, вечерней зарей, проникающей через полуприкрытые окна. Окрашено все — струящийся дым ладана, мерцающая утварь, странная, женская, золотая одежда священника. «Царские врата» окружены картинами, и другие врата, справа и слева, устроены среди картин. Везде, куда ни взглянешь, картины, иконы. Они — ни для чего, они не могут быть другими. И нужно, чтобы их было много, потому что все вместе они составляют новую, громадную, во всю стену картину. Темно поблескивающие лица, серебряные ризы, оставляющие открытыми лица и руки.

Это чувство детского изумления вспомнилось мне перед картинами Гончаровой. Вспомнилась мне и она сама на московском диспуте «Бубнового валета» — серьезная,

стройная, строгая — и ее слова о том, что в искусстве важно не только «что» и «как», но и «зачем». Не «по поводу», а «во имя».

15.XII.1916. Петербург.

Снег валит хлопьями, а тебя нет как нет. Не надо думать, что я сваливаю на тебя всю вину своей неудачной любви. Если бы ты приехал, ты мог бы остановиться в комнате Шуры, она уехала, и Кузя уезжает на днях. Сегодня я во сне получила телеграмму о твоем приезде.

17.XII.1916. Петроград.

Сколько долгих ночей провела я, мечтая о нашей встрече, и в ответ два слова, которые, как ножом, полоснули меня по сердцу. «Меня бог любовью наказал»,— повторяю я слова Гамсуна. За что? Не знаю...

Зачем лгать перед собой и перед Вами, что я в силах переносить этот «холодный кипяток», это солнце, которое светит и не греет? Вы «любите и не разлюбите»? Так любят игривого котенка.

Не пишите мне больше, это будет лучшим доказательством Вашего доброго ко мне отношения. Все хорошо, ничего не изменилось. Вы улыбаетесь, читая это письмо? Ваша правда, в нем есть нечто смешное.

Пожалуйста, верните мои письма, которые Вам, без сомнения, не нужны.

Е. Тураева.

Карновский

Константин Павлович вырос в мещанской семье на Большой Проломной улице, в двухэтажном грязном доме, населенном главным образом еврейской беднотой. В дальнем левом углу двора был колодец, а в середине — знаменитая уборная, о которой репортеры неоднократно помещали негодующие заметки в газете «Город Казань».

На полугоре под кремлем был толчок, и почти все обитатели дома торговали на этом толчке старым платьем, обувью, москателью, чем придется — в лавках, в ларях, под белыми зонтиками, вразнос. На ночь они прятали товар в сундуки, запирая на замок, а сундуки обматывали цепями.

Отец Константина Павловича держал «полулавку» со старым железом — и самоварные трубы, рогачи, топоры, лопаты, подковы, обручи на бочки, инструменты долго казались мальчику особенным товаром, без которого уж никак нельзя обойтись.

Толчок загибал в ворота Гостиного двора, и здесь, в стороне, под стеной, старый сумасшедший еврей Попка Именитов, бородатый, в русской рубахе навыпуск, с румяным круглым лицом, строил огромный деревянный велосипед, на котором собирался поехать в обетованные места. Он строил его весело, сияя детскими, навыкате голубыми глазами, и маленький Костя подолгу смотрел, как, напевая, он что-то подтягивал и подкручивал... Колеса, спицы, седло — все было деревянное, к железу он относился с презрением. Костя случайно оказался на толчке, когда работа была закончена. Причесанный, в подпоясанной рубахе, Попка громко прочитал какую-то молитву, сел на велосипед и отправился в свой путь. Велосипед съехал со взгорья и развалился. И с острым, болезненным чувством смотрел Костя, как гогочущие босяки мигом растащили его по частям, как, отойдя в сторону, молча смотрел на них сумасшедший и вдруг упал на землю, обхватив голову руками. Костя помог ему, довел до дому.

Что было для него в этой запомнившейся на всю жизнь истории? Неужели он верил, что придет время, когда старый городской сумасшедший доедет на своем велосипеде до обетованных мест? Нет, конечно, нет: в близких дружеских отношениях между Лавровым и Карновским этот «деревянный велосипед» был синонимом независимого от действительности стремления настоять на своем.

Семья была большая, каждая копейка высчитывалась, записывалась. Керосин полагалось расходовать не больше чем по бутылке в неделю, а когда однажды отец застал его читающим в постели при свете огарка, он бросил книгу в печку, а его, полуголого, выгнал на двор зимой.

В доме и полулавке был порядок, по воскресеньям выстаивали в Николо-Гостинодворской церкви полную службу, пост соблюдался строгий, но раза два в месяц отец запивал — и тогда все были виноваты, а больше всех семья и соседи. Соседей он ненавидел. И ничего не переменилось, когда он умер в 1899 году. Напротив, «как при отце» стало мерилом, хотя при отце жили в унижении, в постоянном страхе.

Костя кончил городское четырехклассное училище и поступил в контору мыловаренного завода братьев Крестовниковых, где уже работали два его старших брата. Младший, Петр, бегал в приказчиках, а Леонид сидел в бухгалтерии «на высоком стуле».

Братья жили в Плетенях, рядом с Татарской слободой, у бабушки Матрены Вавиловны, и каждому из них она готовила отдельно. Костя, получавший 15 рублей в месяц, не мог тягаться с Леонидом, а Леонид — с Петром. Так случалось, что Костя ел суп на «Петином мясе», а кашу — на «Лёнином сале».

Здесь было не то, что на Большой Проломной,— зелено, свежо! В отгороженной части двора был маленький сад — две анисовки, пудовка и китайка, куст крыжовника и строчка малины.

Зимой, просыпаясь, Костя слышал, как бабушка в одном платье, повязав голову теплым платком, отгребает снег от калитки,— так начинался день, который он проводил в конторе завода, записывая в расчетную книгу заработки рабочих за две недели. Кончался день чтением — он увлекся им еще в приходском училище. Он читал, а бабушка, грея спину у печки, жаловалась, что легкие у нее в «бураке» оторвались и болтаются.

Она была маленькая, сухонькая. Одним словом она умела так окрестить человека, что прозвище оставалось за ним на всю жизнь. «Королева Мопс» — назвала она одну толстую величественную торговку овощами, и все Плетени стали называть торговку Королевой Мопс.

25.XII.1916. Симбирск.

Дорогая Лизочка, я, конечно давно поняла, что ты — с фантазиями, но все-таки не представляла себе, что эти фантазии могут завести тебя так далеко. Сколько раз я тебе говорила, что нет на свете того Карновского, которому ты пишешь свои сумасбродные письма. Понимаешь ли, нет! Ты его придумала, наградила бог знает чем — и умом необыкновенным, и какой-то особенной душевной тонкостью и красотой, а потом без памяти влюбилась в свое создание. Между тем он — заурядный, самовлюбленный эгоист с наклонностями вампира, и только. И из-за него ты хвораешь, ходишь с распухшей физиономией, пьешь бром? Этот бром меня особенно взбесил, так что Кузя уже приготовил для меня смирительную рубашку!

И чепуху ты несешь о его загадочной двойственности. Никакой двойственности у него нет и следа. Он — человек практический и холодный. Вот такие-то холодные — и мастера доводить женщин до безумия, это известно. И вся его теория о свободной любви придумана для единственной цели — не жениться, чтобы никто не помешал ему наслаждаться жизнью. Я тебе голову даю на отсечение, что он не поехал в Питер, потому что в Казани у него другая и ему не хотелось на святках с ней расставаться.

Насчет же того, что все это у него «здание, придуманное головой, а не сердцем», и что в один прекрасный день оно «рухнет»,— красиво, Лизочка, но туманно, туманно! Почему рухнет? Ничего не рухнет! И белиберду ты пишешь, что он «способен на неожиданный шаг». Как же, дожидайся! У него эти неожиданные шаги заранее рассчитаны с точностью до одного вершка.

И потом, ты меня извини, но это положительно не укладывается в сознание. Ты пишешь: «Я давно и непоправимо оскорблена не Карновским, а собой, своими жалкими попытками удержать его». Просто уму непостижимо! Да кто же тебе велит оскорблять себя? Свет клином, что ли, сошелся на твоем Карновском? Порвала с ним — и слава богу. И выкинь его из головы, я тебя умоляю. И не сердись на меня за прямоту, иначе не умею.

Теперь насчет Дмитрия. Я его знаю мало, ты соблаговолила только два раза мне его показать. Но и этого вполне достаточно, чтобы сказать, что он тебя любит. И не только любит, а предан всей душой. И ты в него влюблена, пожалуйста, не удивляйся! Иначе, чем в Карновского, но влюблена, влюблена! Между вами — сужу по твоим же разговорам — подлинная, а не придуманная душевная близость. Ты о нем рассказывала с восторгом.

У меня от него беглые впечатления, но он мне очень понравился, очень. Скромный, прекрасно воспитанный, внимательный и не лезет со своей ученостью, а все объясняет спокойно и просто. Интересы у вас общие, ты сама говорила, что знакомство с ним помогает тебе в понимании искусства, Византии и пр. Я, как ты знаешь, плохо разбираюсь в этих вещах, но раз уж ты сделала глупость и бросила математику, так именно Дмитрий поможет тебе выбраться в люди.

Конечно, весьма вероятно, что ты и в замужестве не перестанешь дурить. Так и дури себе на здоровье! Ему не разрешай, а сама дури, раз уж у тебя такой характер. Но

вообще — решай, Лизочка. Ты уже не девочка, вспомни! Решайся, пока он, как Подколесин, не выпрыгнул из окошка.

Целую тебя. Пиши. Твоя *Шура*.

Вчера гадала на тебя, и вышел бубновый король на сердце — прекрасная примета.

Мать ходила поджав губы, старший брат поссорился с ним — и все-таки Костя настоял на своем. Частный поверенный Фомин, у которого он стал работать, взяв расчет на заводе, предложил ему стол, квартиру и десять рублей в месяц на оплату учителей. Костя решил сдать экстерном за пять классов гимназии.

На толчке, на Большой Проломной, в семье, на заводе жизнь была неприкрытой, грубо-откровенной, прямой. Теперь она обернулась к нему другой стороной — прибранной, фальшиво-красноречивой. С утра до вечера он занимался тем, что помогал Фомину придать ей вид приличия, благопристойности, соответствия закону. Он научился различать лжесвидетелей по рангам, соответствующим оплате,— профессиональных и нанятых на случай. Взятки брали почти все, начиная с председателя судебной палаты, но были начальственные лица, которые отказывались брать прямо в руки, а только через родных или знакомых.

Когда выяснилось, что адвокат — запойный пьяница, и не тихий, а блажнóй, сочиняющий драму, Костя понял, что ничего не будет — ни подготовки в гимназию, ни самой гимназии, ни университета, о котором он осмеливался мечтать. Вдруг слетали со стола все прошения, жалобы и акты, посетители напрасно стучались в квартиру. Лександра, старший брат Фомина, отвечал, что «их высокоблагородие господин коллежский секретарь в отъезде», а господин коллежский секретарь в кальсонах и туфлях на босу ногу, маленький, вдохновенный, с картофельным носом и шлепающими губами, ходил из угла в угол и диктовал Косте драму «В золотой паутине Москвы».

Она начиналась с бесконечного разговора между дворником и кухаркой по поводу хозяйки Амалии Карловны, у которой провел ночь некий владелец мебельного и зеркального магазинов.

Дальше дело не шло, с каждым новым запоем автор возвращался к началу, хотя и говорил, что, если бы ему удалось окончить пьесу, она имела бы адский успех.

Запой кончался, работа возобновлялась — и не по три-четыре часа в день, как было условлено, а с утра до вечера. О десяти рублях, обещанных на подготовку в гимназию, не было и речи.

...Мало было стать необходимым — это-то ему легко удалось! Костя свободно печатал на пишущей машинке. Еще в городском училище он научился мастерски владеть любыми шрифтами, начиная с полуустава шестнадцатого века. «Прошения, на высочайшее имя приносимые» писались от руки на дорогой веленевой бумаге, и чем изысканнее был шрифт, тем надежнее было положительное решение.

Надо было все переделать в этом грязном распавшемся доме, стать его хозяином, взять его в свои руки.

Так началась дуэль между шестнадцатилетним мальчиком и опустившимся, спившимся, но ловким дельцом, который не только знал жизнь, но был принадлежностью этой грязной, продажной, бесчеловечной жизни. Записывать под диктовку его драму Костя вдруг отказался — и Фомин только горько усмехнулся, но промолчал, стерпел. В дни запоя адвокат требовал, чтобы лампа-молния, висевшая в их общей комнате, горела особенно ярко,— Костя, ложась спать, стал прикручивать ее. Сошло и это. Он стал молчалив, после четырех-пяти часов работы уходил из дому без разрешения, с учебником в руках, куда-нибудь в Державинский садик.

Наконец, когда очередной загул был в разгаре, произошло то, что окончательно определило их отношения.

Это было ночью. Костя только что прикрутил до полутемноты лампу-молнию и собрался уснуть, сунув под подушку книгу, когда адвокат вошел, почему-то в одной длинной ночной рубашке. Он держал веревку в дрожащих руках.

Костя прикрыл глаза. Это была, конечно, комедия. Фомин часто грозил, что он повесится, и Костя на всякий случай держал под матрацем нож, чтобы перерезать веревку. И теперь он был почти уверен, что Фомин либо знает, что Костя еще не уснул, либо нарочно старается его разбудить.

С грохотом толкнул он табурет к стене, в которую был вделан крюк, оставшийся от висевшего когда-то здесь канделябра. Он укрепил веревку на крючке, сделал петлю. Лампа мигала, и он подкрутил фитиль, чтобы озарить сцену более ярким светом. Потом решительно, хотя и с

дрогнувшей челюстью, полез на табурет и накинул петлю на шею.

Костя широко открыл глаза, и они встретились взглядами. Это была минута, когда он понял, что все останется по-прежнему, если он вскочит, станет кричать, уговаривать... Он не пошевелил и пальцем. Молча смотрел на Фомина, который стоял на табурете с петлей на шее и, казалось, вот-вот оттолкнет его тощей голой ногой. Наконец, пробормотав: «А, черт!», он снял петлю, хватил полстакана водки и завалился спать.

Все переменилось на другой день. Баба, нанятая Костей, мыла и прибирала квартиру, а он искал и находил водку в шкафах, в голландских печках, в пальто, висевших на вешалке, в старой рухляди на антресолях. Он выливал ее в уборную, а Лександра ходил за ним и умолял оставить для него хоть пару бутылочек тайно от брата. Сам Фомин, тихий, виноватый, сидел в столовой, раскладывая пасьянс «Наполеон» и напевая приятным, негромким баритоном:

Я вновь пред тобою стою, очарован,
И в ясные очи гляжу...

Лександру, который был превосходным шорником, специалистом по лакировке карет, побывавшим даже в Америке, на первых автомобильных заводах, Костя устроил на работу. До тех пор он с утра до вечера спал в кухне на печке да бегал для брата за водкой. По совету бабушки Матрены Вавиловны была нанята приличная женщина для ведения хозяйства.

5.I.1917.

Шурочка, ты неправа, Карновский сложнее, чем тебе кажется. Своего решения — не связывать себя — он никогда от меня не скрывал. Его независимость — выстраданная (не то что моя, хотя и моя досталась не даром). Понятно, что он ею дорожит, иначе и быть не может. Я твердо решила покончить с нашими отношениями, я возвращаю ему письма, не распечатывая, и все же в глубине души сознаю, что он не виноват. Ни в своей холодности, ни в безумии, которое охватывает меня при одном его появлении. Но довольно о нем. Все хорошо.

Итак, ты думаешь, что я влюблена в Дмитрия? Если бы! О нашей душевной близости нечего и говорить! Мы

понимаем друг друга с полуслова. Я не знаю, кто сделал для меня больше, чем он. У него оригинальный вкус, в живописи он умеет отличать подлинную новизну от показной, внешней. Ум у него гибкий, свободный — и если я с ним иногда скучаю, в этом виновата я, а не он. Он хочет, чтобы я стала его женой, и не раз говорил со мной об этом. Я просила подождать — и он, разумеется, согласился.

Бром я уже не пью, но чувство опустошенности осталось, оно не мешает мне работать — теперь уже не в мастерской, а у Гориных, которые устроили мне настоящую студию в своей двухэтажной квартире.

Снова стала заниматься с Леночкой, которая, кажется, взялась наконец за ум.

Из дому — грустные вести. Умерла любимая сестренка Машенька, моя крестница, ей не было еще и пяти лет. Отец ранен, лежит в госпитале. Его отправят в тыл, еще не знаю куда. Жду телеграмму. Брат Саша по-прежнему на передовых, изверился, измучился. Темное, тяжкое время! Целую тебя. Пиши.

Твоя Лиза.

Образ жизни установился теперь в новом виде, вполне подходящем для Кости: для адвоката он работал только до обеда, а все остальное время готовился к экзаменам за пять классов гимназии.

Вот тогда-то и начался тот отсчет времени, о котором впоследствии писала ему Лиза. Как будто в нем самом были спрятаны часы, которые — тик-так — не позволяли ему потерять и минуту напрасно. Ему казалось, что он продолжает заниматься даже во сне, бессознательно спрягая французские глаголы. Впрочем, он почти не спал.

В мае 1907 года он был принят в шестой класс Третьей гимназии. В шестой класс! Третьей гимназии! Третья гимназия всегда особенно нравилась ему, может быть, потому, что стояла в стороне от шумных улиц, в большом старом саду.

Ему было тогда восемнадцать лет, и первое время он чувствовал себя неловко среди подростков. Потом привык — и все стало вровень. Он знал больше, чем они, и стал помогать, не подсказывая, а занимаясь с ними в свободное время.

Так началось преподавание, которое сразу же поставило его на ноги. Он мог теперь уйти от «коллежского сек-

ретаря» с его запоями, бракоразводными процессами и пьесой «В золотой паутине Москвы». Он переехал на Госпитальную, где жила мать с сестрами и маленьким братом. Он кончил гимназию, поступил в университет, и скоро в городе узнали, что для подготовки на аттестат зрелости нет лучшего преподавателя, чем Карновский...

5.I.1917.

Костя, я получила письмо от Лаврова. Он просит, чтобы я помирилась с Вами, что Вы в отчаянии, и очень расхваливает Ваш математический талант, которого по моей вине может лишиться наука. Это было бы, конечно, просто катастрофой! Надеюсь, что не Вы продиктовали ему это письмо? Он пишет, что Вы не в силах вообразить свою жизнь без дружеской близости между нами. Попытайтесь! Ведь у Вас сильная воля. Но если Вам так уж важно писать мне — пишите. Не посетуйте, однако, если я буду редко отвечать на письма. Я очень занята. Всего хорошего.

Е. Т.

Семью он тянул, и это было трудно, потому что дом вела мать, строгая, с мещанской враждой к «чужим», замучившая старшую сестру, так и не вышедшую замуж, и не пускавшая на порог жену старшего брата. Дети называли ее на «вы». «Как при отце» еще существовало. Но Костя, устраивающий жизнь по собственному разумению, был как бы вне этой атмосферы.

Он все держал в своих небольших крепких руках, и когда началась война, в его жизни почти ничего не изменилось. В армию его не взяли по близорукости, потом, в 15-м году, когда ему осталось только сдать государственные, все-таки чуть не взяли — его год давно уже был под ружьем. Но на него смотрели в университете как на будущего Лобачевского, ректор хлопотал о нем перед министром народного просвещения, и ему продлили отсрочку.

...Когда на гимназическом балу в Перми, куда пригласили его родители Лаврова, он увидел Лизу впервые — что-то розовое, белое, с широко расставленными то зелеными, то серыми глазами,— он не придал этой встрече никакого значения. Больше всего она была похожа на ее же собственный подкрахмаленный передник. Но она была и строгой, и грациозной, и смелой.

Первое слово, которое Константин Павлович прочитал, было «нозепарт» — название табачной фирмы «Трапезон»: он прочитал его справа налево. Вот так же — справа налево — читалась жизнь, когда он виделся с Лизой. Вдруг его охватывало неудержимое желание рвануться куда-то в сторону от своего рассчитанного по часам и минутам существования. Он не узнавал себя в редкие дни этих встреч. В свете ее изящества, искренности, беспечности он начинал чувствовать опасную легкость, опасное соседство какой-то непреложной истины, которая была сильнее всей его математики и не требовала никаких доказательств. Вдруг пропадала утомительная необходимость постоянно, неустанно заботиться о своей «гамсуновской» свободе. Гамсун был тогда его богом. Все перестраивалось, все летело — и как-то косо, отвесно летело...

И вдруг его охватывал страх. Расставаясь с Лизой, он начинал чувствовать себя не принадлежащим самому себе. Казань, семья, университет, наука, весь тот порядок вещей, который он устраивал годами, раскачивался, как во время землетрясения. Именно в эти дни он писал Лизе особенно холодные, сдержанные письма.

10.I.17. Петроград.

Ты мог бы не возвращаться к тому, что произошло между нами. Я верю тебе и — зачем притворяться — скучаю без нашей прежней, разумеется, дружеской близости. Но встречаться нам не надо, не надо. Ничего не вернется. Да и зачем?

Л. Т.

Город был переполнен беженцами, каждый день прибывали раненые, началась эпидемия оспы и скарлатины. Лавров и Карновский работали в студенческих санитарных дружинах, в комитетах помощи беженцам — и оба испытывали странное чувство выхолощенности, никуда не ведущего разбега, когда все, кажется, приведено в движение и с роковой неизбежностью проваливается в пустоту.

Газеты свирепо язвили мародеров, негодовали по поводу «мартышек»-комиссионеров, среди которых появились — это было новостью — молодые изящные дамы, жаловались на дороговизну. Устраивались сборы — «Солдату к рождеству», «Белый цветок», «Фургонный» — в поль-

зу беженцев. «Георгиевскому кавалеру». Университетский праздник. Девятое ноября, когда, прошатавшись по городу целый день безобразной толпой, студенты пьянствовали в популярном «Чигорине», а выходя, катали по Рыбнорядской пустые бочки, был отменен в этом году. Тем не менее Карновский провел этот вечер с Лавровым в том же «Чигорине». Они никогда не говорили о женщинах — это было молчаливое, строго соблюдавшееся условие. Но Карновский чуть было не заговорил — и, когда Лавров уехал на святки к родителям в Пермь, горько пожалел, что не заговорил!

Это была не только усталость, хотя и усталость, подкрадываясь незаметно, подчас укладывала его в постель с мучительной головной болью. Отсчет времени, стучавший чуть слышно, вдруг начинал бить, как колокол, от которого хотелось убежать, притаиться, не слышать. Он был основан на другом, всепроникающем, охватывающем всю жизнь отсчете.

Деньги! Еще в детстве для него в деньгах было что-то загадочное. Тогда, случалось, он с изумлением рассматривал двугривенный, размышляя о том, каким образом он превращается в керосин, хлеб, водку. Теперь он, как перед стеной, останавливался перед мыслью, что завтра деньги заставят его делать то, что он делал вчера. Кроме женской гимназии он вел две группы девушек, которые весной должны были держать на аттестат зрелости, и давал уроки по математике и латыни в богатой татарской семье.

20.I.1917. Петроград.

Нет, ни о чем не жалею. Да ведь и то сказать, мы расстались не с пустыми руками. Ты ушел в науку, я — в живопись. Еще в прошлом году Дмитрий подарил мне книгу Шарля Диля о Византии — и я не могла оторваться от нее, рассматривая эти широко открытые глаза, эти танцующие фигуры, эти дивные, как бы неловкие позы, эти ломающиеся складки одежды на длинных телах.

Осенью мы с Дмитрием были на лекции академика Успенского, знаменитого византиниста, и тогда передо мной впервые мелькнул тот «иконописный» угол зрения, который, может быть, поможет мне наметить (хотя бы в воображении) свой, особый путь в живописи. Ты не знаком с работами Ларионова, Гончаровой, бубнововалетцев, и мне трудно объяснить тебе, в чем заключается этот путь,

хотя Дмитрий, которому я показала свое письмо, любезно согласился приложить к нему небольшое эссе, посвященное новейшей живописи. Я поблагодарила и — не посетуй — отказалась. Он очень занят.

Так ты просишь университет дать тебе командировку в Питер? Ну что ж, приезжай. Кстати и повидаемся, если найдется время.

Е. Т.

Никому, ни при каких обстоятельствах Карновский не признался бы в своем душевном разладе. Только от Лаврова — и это было счастьем — он ничего не скрывал. Но Лавров уехал на святки к родителям в Пермь, и Карновский не мог ему рассказать, что он первый послал Лизе письмо (после их новой ссоры) и что это письмо вернулось нераспечатанным, вложенным в конверт, надписанный незнакомой рукой. Он долго вертел в руках этот конверт, не веря глазам.

Они ссорились часто, Лиза не раз жаловалась, что в ответ на ее письма он окатывает ее «ведром холодной воды, да еще с сосульками». В прошлом декабре, когда он посоветовал ей «найти себя», переписка прекратилась. Но стоило ему через два-три месяца послать ей несколько ласковых слов — и все началось сначала.

Не распечатать его письмо? Вернуть его без единого слова?

Он решил, что это ошибка. Он написал ей вновь, обдумывая каждую фразу. Он мягко выговаривал за долгое молчание. Он просил объяснить очевидное недоразумение. Старания пропали даром. И это письмо вернулось в Казань, небрежно сложенное пополам в конверте, на котором было размашисто написано на этот раз Лизиной рукой: «Его высокородию Константину Павловичу Карновскому».

Карновский готовился к государственным, не оставляя преподавания и уроков. Изматываясь, он сохранял всю видимость сдержанности, подтянутости, вежливости.

...В самом воздухе было разлито неуверенное, еще беспомощное стремление прочитать жизнь справа налево. Угроза срыва чувствовалась во всем — и, может быть, больше всего в упорном стремлении сохранить существующий порядок вещей. Дамы-патронессы из профессорских жен по-прежнему продавали в университетском буфете бутерброды с колбасой, в которой было теперь больше кар-

тошки, чем мяса, студенты-белоподкладочники по-прежнему занимали дам, красуясь мундирами, точно взятыми напрокат из театрального гардероба. Встречаясь с Константином Павловичем в гимназии, девочки ныряли в глубоком книксене — точно так же они ныряли, без сомнения, при Александре Втором.

Лавров вернулся. Карновский попросил его написать Лизе и, наконец, получил от нее иронический, почти оскорбительный ответ.

Но не ирония, не обидное предположение, что он продиктовал свое письмо Лаврову, задели его. Он почувствовал в ее ответе чье-то влияние, чью-то направляющую твердую руку. Кто-то был рядом с ней, кто-то внушил ей — быть может, непроизвольно — это равнодушие, эту трезвость!

Карновский не только никогда не испытывал чувства ревности, но с презрением относился к тем, кто страдал от этого чувства. Из его «теории свободной любви», о которой он полушутливо-полусерьезно писал и рассказывал Лизе, ревность, как «явление зоологическое», исключалась. Совместная жизнь, если в ней возникала потребность, понималась как «свобода вдвоем». Он шутил, что когда-нибудь на его могиле благодарное человечество воздвигнет памятник с надписью: «За сознательное отношение к любви». Теперь эта сознательность, столь же определенная, как прежде, почему-то перестала ему помогать. «Чувство любви никакому рациональному контролю не подлежит и не нуждается в оправдании»,— когда-то написал он Лизе. Теперь она могла вернуть ему эту мысль.

Были дни, когда ему казалось, что она легко, почти без усилий, забыта. Были дни, когда в его напряженной, рассчитанной по минутам жизни не оставалось места для Лизы. Были дни, когда ему удавалось переломить себя, приказать себе не думать о ней. Но неизменно она вновь возникала в сознании, и рядом с ней — смутная петербургская мужская фигура, в длинном модном пиджаке, почему-то с моноклем в глазу, хотя Лиза никогда не писала, что Дмитрий носит монокль.

Конечно, это был он, он! В последнем письме она упоминала о нем едва ли не в каждой строчке! Она нарочно обидела его, предложив, чтобы Дмитрий послал ему небольшое «эссе» по вопросам искусства. Еще в сентябре, после их последнего свидания в Казани, она откровенно призналась, что «ей захотелось понравиться Дмитрию из

любопытства, а может быть, немного от скуки». И потом: «Я никак не ожидала, что он так легко расстанется со своим мнимым бесстрастием».

Когда Карновский работал в санитарной дружине, ему случалось слышать жалобы на сильную боль в отрезанной руке или ноге. Сравнение поразило его своей подлинностью. То, что он испытывал теперь, относилось к отрезанной, ушедшей в прошлое полосе его жизни. Но именно против этого-то и восставала его «не подлежащая рациональному контролю» душа. Каждый день, ложась в постель, он с изумлением, с досадой, почти с бешенством думал о том, что происходит или уже произошло в Петрограде.

И еще одно: он редко виделся с Лизой, но у него всегда было ощущение, что она где-то рядом, почти под рукой. Теперь она отдалилась, ушла в затененное, отгороженное от него пространство, точно обвела себя магическим кругом. И к ревности (он больше не обманывал себя) присоединилось ощущение пустоты, холода, бессмысленного мельканья связанных с ним людей и обстоятельств.

То, что он поедет в Петроград, он решил сразу же после ее первого письма, в котором она была так поразительно на себя непохожа. К тому времени, когда он получил второе и третье, поездка была почти подготовлена. Он убедил профессора Маврина, предложившего ему остаться при университете, поговорить с ректором о командировке. Повод был тщательно обдуман — на кафедре математики Петроградского университета в теории функций действительного переменного были достигнуты любопытнейшие результаты.

27.I.1917. Петроград.

Carissime! [1]

Первым долгом посылаю тебе мое благословение. Будь прилежен, почитай родителей и наставников, ведущих нас к познанию блага, и усердно трудись над своей «эстетической топологией», в коей ты, надеюсь, после моего внезапного исчезновения, сделал большие успехи.

Не скрою, что в Питере мне более всего не хватает именно тебя. Ты уж, конечно, лег бы под колеса моего

---

[1] Дражайший *(лат.)*.

«деревянного велосипеда», на котором я лечу с неслыханной быстротой в неизвестном направлении.

Мой милый стоик, история не так уж сложна, чтобы затрудняться изложить ее на бумаге. Она, в сущности, заключается в четырех словах, вполне исчерпывающих мое состояние: «Я счастлив, как никогда». Dixi [1] — и на душе стало как-то спокойнее.

Остается рассказать тебе по порядку, что случилось со мной в Петербурге. Начну с того, что Лиза встретила меня на вокзале и отвезла в семейство Кауфманов, о котором она мне не раз писала. Люди милые, симпатичные, хотя хозяйка дома способна заговорить до полусмерти. Старшие братья — на позициях, их комната сдается, в ней-то я и пребываю на полном питании вот уже четвертый день.

Так-то, брат. Ну-с, а теперь речь пойдет о моем, споткнувшемся на ровном месте, благоразумии. Во-первых — Лиза. Как тебе известно, она всегда была хороша — недаром же Ваше Стоическое Величество признавалось мне, что в ее присутствии почва некоторым образом уходит из-под Ваших августейших ног. Но прежде это было нечто вроде пушкинского:

Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей.

А теперь ее красота стала уверенной и, так сказать, знающей себе цену. Во-вторых, опять-таки — Лиза. Дело в том, что она и внутренне изменилась. В ней появилось право располагать собой, то есть она как бы заработала самое себя, если можно так выразиться. В частности, я убедился в том, что был прискорбно неправ, выговаривая ей, да еще свысока, за то, что она бросила математику. Она, конечно, прирожденная художница, человек искусства, а не науки.

Дело опять-таки не только в том, что она au courant [2] всего, что творится в живописи. С ходу, не давая мне опомниться, она обрушила на меня все теории, споры, драки и едва ли не поножовщину, которая идет между враждебными направлениями. Так много было говорено на выставках, в музеях, в доме Гориных, где она живет, что ты со своим слабым здоровьем испугался бы за пищеварение. Но шутки в сторону. Уйдя с головой в живопись, она

---

[1] Сказал *(лат.)*.
[2] В курсе *(фр.)*.

стала писать так, что даже и мои невооруженные глаза увидели, насколько она продвинулась за год.

Показывала она мне свои работы в присутствии всего семейства Гориных, проживающих в роскошной двухэтажной квартире, где я, рожденный на брегах быстроводной Казанки, должен был бы, казалось, почувствовать себя казанским сиротой. Но, представь себе, не почувствовал! И даже вступил в спор с Дмитрием Гориным, полупрофессором и византинистом. Это — личность высокоученая, рыжеватая, с интересной бледностью, с ослепительным воротником накрахмаленной рубашки и несколько томным взглядом, более свойственным женскому полу. Говорили о Византии. Так как я в этом предмете еле можаху, ничего не оставалось, как заявить, что никакого византийского искусства не было и не могло быть, поскольку вся духовная жизнь была опутана бесовскими кознями и проникнута обещаниями адских мук. «Откуда же могло взяться искусство? — спросил я, с удовольствием замечая, что мой высокоученый собеседник с изумлением таращит на меня глаза.— Если в этой вашей благословенной Византии на женщину смотрели, как на сосуд соблазна и орудие беса? Откуда же взяться искусству без женщин?»

Лиза расхохоталась, и спор закончился отличным обедом, за которым я, кстати сказать, убедился, что она в этом европейском, петербургском, профессорском доме чувствует себя по-королевски свободно. Вот и это тоже показалось мне неожиданным. Такой я ее никогда прежде не видел.

Vita mea [1], все это я тебе пишу неспроста. Ты догадываешься, без сомнения, о причине, упомянутой в первых строках сего письма?

Теперь читай и постарайся поверить глазам своим. Лиза едет в Самару, чтобы навестить отца, который ранен и лежит там в госпитале. Я уговорил ее остановиться на несколько дней в Казани, чтобы я мог познакомить ее с мамой, сестрами, братом — словом, с моими. Еще ничего, разумеется, не решено, хотя мама знает о наших отношениях и еще недавно спрашивала меня, где та худенькая барышня, у которой подозревали чахотку. Я ответил, что она здорова теперь, после полугода, проведенного в Ялте.

Я знаю, ты скажешь, что невозможно вообразить в нашем доме Лизу, с ее искренностью и прямотой, Лизу, кото-

[1] Жизнь моя *(лат.)*.

рая по-своему практична, не теряет времени даром и вместе с тем способна на неожиданности, которые могут показаться более чем странными не только в нашей семье, но и вообще в Казани. Согласен! Почти невозможно. Но ведь я всю жизнь занимался превращением этого «почти» в нечто вполне определенное — вот тебе новый случай доказать, что многолетний опыт не пропал напрасно.

Что касается моей «командировки», скажу тебе только, друг мой Николаша, что мы с тобой — невинные девушки в сравнении с тем, что сделали в Питере ляпуновские питомцы. Но об этом при встрече.

Твой К.

Лиза

Проездом в Казань она провела в Москве три дня, и все эти дни, слившиеся в один, были для нее острым, непрекращающимся откровением. Она и прежде не раз встречала Ивана Ивановича Реутова, преподавателя Строгановского училища, длинного лысого человека, любившего говорить о том, что в Москве живопись и все вокруг живописи — совсем другое, чем в Петербурге. Его-то она и застала у тети в первый день приезда — и разговор был вытягивающий душу, резиновый, однообразный: в Петербурге такой скромный человек, как Анна Васильевна (Лизина тетя), не станет покупать живопись, а у нее — извольте видеть — на стенах этюды, которые впору увидеть в музее. (У тети был только один хороший этюд, левитановский, который она купила на посмертной выставке.) В Петербурге картины покупаются как предмет обстановки, и, если у какого-нибудь действительного статского висит Богданов-Бельский, другой действительный статский из кожи лезет вон, чтобы и его гостиную украшал именно Богданов-Бельский. Словом, в Петербурге: «У меня — как у такого-то». А в Москве: «Хоть я и не такой-то, а у меня — по-своему, не так».

Но вот договорились — доползли до французской живописи, и оказалось, что этот скучный Иван Иванович не только знаком с Сергеем Ивановичем Щукиным, но может устроить посещение его галереи.

Отправились на следующий день, предварительно выслушав от Ивана Ивановича длинное рассуждение о том, что и публика в Москве совсем другая, чем в Петербурге. В Петербурге — воспитанная в известных традициях и

как бы не забывающая, что Эрмитаж принадлежит министерству двора. А в Москве смотрят на картину как на произведение искусства, и публике безразлично, кому она принадлежит.

Он надеялся, что Сергей Иванович сам покажет им свое собрание. К счастью, этого не случилось — он был в отъезде,— к счастью потому, что тетя говорила вздор, от которого даже вежливый Иван Иванович беспомощно хлопал глазами, а Лиза... То, что она увидела, напомнило ей, как это ни странно, летний день прошлого года, когда она отправилась в Симбирск навестить родных. Вдвоем со своей пятнадцатилетней кузиной она поехала в большой лодке на ту сторону Волги. Они сразу взяли много вверх, но сильный ветер по течению стал их сносить. Вдруг все затмилось вокруг, Волга покрылась беляками, ударил гром, дождь полил ведрами, и девочка, которая боялась грозы, кинулась к ней с плачем. Тут надо было все делать сразу — и успокаивать ее, и грести что было сил, и править веслами все равно куда, лишь бы против течения! Мокрые до нитки, обессилевшие, дрожащие, они наконец добрались до берега, где жил, километрах в двадцати от Симбирска, один знакомый бакенщик.

С этим-то чувством беспомощности, растерянности, изумления тащилась она из одной комнаты в другую. Иван Иванович умно рассказывал о темной палитре Курбе и серебристой — Коро, шутил, что между Моне и Мане — различие далеко не в единственной букве, долго объяснял, откуда у Ренуара «фарфоровая легкость мазка»,— она слушала и ничего не понимала. Ей нужно было только одно — выгрести к берегу под грозой, а гром оглушал ее в каждой комнате — Сезанн, Дега, Гоген, Ван Гог. Потом наступил Матисс, как наступает тишина или ночь, точно чья-то могучая рука взяла ее за шиворот, как кутенка, и с размаху швырнула в этот танцующий под музыку, прозрачный магический мир.

Иван Иванович говорил что-то о музыкальном аккорде, который состоял из зеленого и голубого фона, дополненного телесным цветом фигур, о том, что Матисс воспользовался самой белизной холста, «чтобы придать оттенкам своеобразную шелковистость»,— она не слушала и не слышала. Она разобрала только, что Матисс, оказывается, пять лет тому назад был в Москве и помогал Щукину развешивать его картины.

Она ушла с таким чувством, как будто в ее жизни про-

изошло событие, всего смысла которого она еще не могла понять. Как в детстве, когда она на пари, не мигая смотрела на солнце, перед ее глазами плыли лиловые, красные, зеленые, золотистые пятна.

С этим чувством она слушала тетю, которая много и интересно рассказывала о войне, о воздушном бое, который ей случилось видеть своими глазами, об эпидемии сыпняка, о газовых атаках, против которых нашим трудно устоять. С этим чувством, ни на минуту не оставлявшим ее, она провела оставшиеся дни в Москве.

Город был зимний, сверкающий на солнце, заваленный снегом, который никто, кажется, не убирал. Лиза впервые была в Казани зимой. Но изменилось, кажется, только время года: она невольно засмеялась, когда, встретив ее на вокзале и проводив в Щетинкинские номера, Костя извинился и сказал, что его ждут в женской гимназии. Он тоже засмеялся и ушел, сказав: «Semper idem» [1].

Но он был совсем не «semper idem», хотя не прошло и двух недель с тех пор, как они расстались в Петербурге. Он похудел, щеки запали, на носу стала видна горбинка, которую она прежде не замечала. Веки были припухшие, может быть, от усталости. Он был бледен, несмотря на мороз. Он был... Приводя себя в порядок после поезда, Лиза искала и не находила слова. Он был какой-то *загнанный* — и она почувствовала это через десять минут после того, как он кинулся к поезду и подхватил ее с последней ступеньки вагона вместе с ее чемоданом.

Лиза думала об этом, когда пришел Лавров,— вот что действительно не изменилось! Когда Костя был занят и Лиза оставалась в Казани одна, он посылал к ней Лаврова.

— Смотрите, пожалуйста, догадался,— сказал Лавров, показывая на цветы, стоявшие на столике у кровати.— И откуда только он достал их зимой? Еще одно доказательство того, что прямая — не всегда кратчайший путь между двумя точками. Кажется, он наконец убедился в этом. Лиза, а вам не страшно выходить за будущего Лобачевского?

— А я еще ни за кого не выхожу. Так вы думаете, что Костя — будущий Лобачевский?

---

[1] Всегда такой же *(лат.)*.

— Едва ли,— подумав, ответил Лавров.— Но у него бывают забавные догадки. Это обнадеживает. Словом, вам придется туго. Вы завтракали?

— Да, в поезде. Мне не хочется есть.

— Тогда пойдемте гулять. Погода по Пушкину: «Мороз и солнце, день чудесный».

В маленьком книжном магазине Лиза купила книгу Морозова, которую не могла достать в Петербурге. Она называлась «Откровение в грозе и буре» и стоила дорого, полтора рубля. Лавров, который читал ее, пошутил, что это — книга об облаках и что посидеть, глядя на небо, часа два-три на скамейке в Державинском саду обошлось бы дешевле.

— Да, вам придется туго,— повторил он задумчиво,— но есть другая возможность. Выходите за меня.

Оба засмеялись. Лавров лихо выгнул узкую грудь и по-гусарски подбил усики. Усиков, впрочем, не было.

— Вы подумайте, прямой расчет. Семейная жизнь — хлопотливая штука. А мы можем жить в разных городах, видеться два раз в год или, если вы заняты, еще реже. Не переписываться и с благодарностью вспоминать, что не мешаем друг другу. Ведь для женщины сознание, что она — замужем, важнее, чем замужество. Ну, как?

— А вы не думаете, что нам стоило бы обсудить ваше предложение с Костей?

— Ни в коем случае. Это опасно.

— Для вас?

— Нет, для вас. Он может согласиться.

Лиза засмеялась.

— Должна вас предупредить, что нам придется жить не только в разных городах, но в разных странах. На другой же день после окончания войны я еду в Париж.

Они шли по Рыбнорядской, у многих лавок стояли очереди, приказчик в длинном белом переднике поверх пальто отпускал рыбу, мусоля карандаш и делая отметки в продовольственных книжках. Среди женщин, закутанных, озябших, жалких, стоял какой-то смуглый солдат в распущенной нерусской шинели.

— Военнопленный,— сказал Лавров.— Очевидно, мадьяр. А вот здесь в этом году открылась студенческая чайная. Хотите зайти? Вы не замерзли?

— Нет.

— Значит, в Париж? Зачем? И почему не в Лондон?

— Потому что в Париже живет Матисс, у которого я хочу учиться.

Лавров вздохнул.

— Увы! Я никогда не слышал о Матиссе. Это хороший художник, да? Вот вы променяли математику на живопись. Это разумно, хотя среди женщин нет, кажется, ни хороших математиков, ни хороших живописцев. Но Париж! Сразу после войны? Война кончится через три года.

Они вернулись в номера, на Большую Проломную, и прождали Костю еще часа полтора.

Наконец он пришел, веселый, замерзший, с заиндевевшим поднятым воротником шинели, и с этой минуты все стало совершаться только для того, чтобы поскорее кончился этот день, с его обедом на Госпитальной и «смотринами», которых Лиза ничуть не боялась. Но все шло своим порядком. Ничего нельзя было изменить, и оставалось только искать маленьких утешений, которые помогли бы ей дожить до вечера, когда они останутся одни. Утешения были: они ехали на извозчике, полость с разорванной петлей соскальзывала с колен, и Карновский, придерживая полсть, крепко, нежно прижался к Лизе. Всю дорогу он грел дыханием и целовал ее руки.

— Соскучился?

И он ответил по слогам:

— Смер-тель-но.

По деревянной обледенелой лестнице они спустились в овраг, вдоль которого вилась Госпитальная. Что-то завороженное было в заборах, терпеливо согнувшихся под тяжестью снега, в ослепительных сосульках, свисавших с кривых желобов, в домах, как будто утонувших в тишине, в белизне. Карновские жили в одном из них, приглядистее других, но с крыльцом без перил.

Девочка лет пятнадцати, в форменном платье епархиалки, открыла дверь, сделала книксен и сказала чуть слышным голосом:

— Здравствуйте.

— Сестра Катя,— сказал Карновский.

Они разделись в прихожей. Другая, постарше, показалась в дверях и тоже сделала книксен:

— Здравствуйте.

— Сестра Нина,— сказал Карновский.

Девочки постояли. Видно было, что у них захватило дух.

Потом, когда Лиза и Карновский сидели в комнате, которая была, очевидно, и столовой, и спальней — у стены стояла железная кровать,— вошел и что-то пробормотал басом лохматый, похожий на Карновского гимназист в форменной рубашке и высоких солдатских сапогах.

— Брат Федя.

Гимназист ушел, и сразу же пришла, сухо поздоровалась и стала накрывать на стол Анна Игнатьевна — крупная, с грубыми руками, в очках, с твердым лицом. На ней было длинное желто-зеленое платье в полоску, с широкими, отороченными стеклярусом рукавами, и бело-черные, плетенные в клетку, ботинки. Потом, за обедом, Лиза подумала, что Анна Игнатьевна ненавидит ее уже за то, что ради нее ей пришлось надеть эти платье и ботинки, пролежавшие, должно быть, лет десять в комоде.

Лиза рассказывала Карновскому о щукинской галерее, он слушал с тем веселым вниманием, которое она любила и которым он всегда отзывался на все, что было для нее интересно. Но когда пришла мать, в их разговоре появился оттенок напряжения.

К столу долго не звали, и он стал показывать Лизе квартиру. Она удивилась: в комнате девочек на столе лежали скроенные кальсоны. Девочки молчали, потупясь, с потрясенными лицами, и Карновский объяснил, что это их доля в подарках, которые казанская епархия посылает на фронт.

Он жил в смежной комнате, с братом, который вскочил с кровати, когда они вошли. Над письменным столом висела литография врубелевского «Пана». «Твой подарок»,— ласково сказал Лизе Карновский. Он снова был насторожен, но теперь по-другому. «Боится, что мне не понравится здесь»,— с нежностью подумала Лиза.

Пришел, запыхавшись, Лавров и принес вино.

— Самодельное, но не ханжа! — с торжеством объявил он.

Позвали к столу.

На этом вине, которое Анна Игнатьевна едва пригубила, когда Лавров в шутливо-высокопарных выражениях предложил выпить за Лизу, на его же болтовне, которую слушали, преодолевая желание, владевшее, по-видимому, всеми — встать и уйти,— и прошел этот тягостный, бесконечный обед. Вино было плохое, но, действительно, не ханжа.

— Милые мои, на ханжу у меня не хватило бы финансов!

Ханжа стоила от шести до десяти рублей шкалик, коньяк — тридцать рублей бутылка.

И Лавров заговорил о дороговизне, потом о призыве ратников второго разряда, потом о военнопленных — земство требует военнопленных для работы в деревне, а город согласился отдать только девятьсот человек.

Вдруг, ни к селу ни к городу, он рассказал о том, как прошлым летом он был на кондициях в семействе сошедшего с ума заводчика, готовил на аттестат зрелости двух его сыновей. На столе, за которым собирались родные, врачи, какие-то приживалы и приживалки, стояло громадное блюдо жареной стерлядки. Это был обед. Ели молча и только стерлядку. Разговаривать запрещалось. Едва кто-нибудь начинал говорить, сумасшедший поднимал на него налившиеся кровью, бешеные, страдающие глаза.

Лавров вдруг замолчал, смутился. Что-то прошло между всеми. Карновский стал тереть рукой лоб — и Лиза перехватила его сдержанный взгляд. Ее «смотрины» были чем-то похожи на этот обед, о котором рассказал Лавров. В желто-зеленом полосатом платье, в бело-черных шахматных ботинках, неподвижная, угловатая, прямая, с поджатыми губами, с взглядом из-под очков, от которого кусок застревал в горле, за столом сидела Анна Игнатьевна. И Лиза, как на белом листе бумаги, прочитала все ее мысли. В то время как говорили о дороговизне, о ханже, о том, что немцы будто бы применяют какие-то «летаргические пули» — из дула вылетает облачко газа, лишающее сознания на два-три часа,— о Распутине, о смерти императора Франца-Иосифа, Анна Игнатьевна думала с отчаяньем, с ужасом, что сын уходит от нее, дом рушится, она остается с тремя детьми, которых еще надо поставить на ноги. Она думала неотступно, безнадежно, злобно, что во всем виновата эта барышня, долгоногая, глазастая и чахоточная! Костя врет, что в Крыму она выздоровела, на свою голову врет!

Наконец кончилась эта мука, этот обед, за которым девочки не получили жаркого: Анна Игнатьевна бережно разделила между ними супное мясо.

Вышли вместе. Лавров простился, и Лиза заметила, что Карновский ласково выше кисти сжал его руку.

Он проводил Лизу в гостиницу. Был пятый час, до вечера далеко. Но она больше не ждала вечера с прежним

нетерпеливым радостным чувством. Когда Карновский ушел — у него было еще два урока,— она расшнуровала и сняла ботинки, сбросила платье и прилегла в капоте с книгой в руках. Она поленилась встать, чтобы задернуть занавески, и от окна шел постепенно темнеющий снежный розовый свет.

Она наудачу раскрыла книгу Морозова: «И не будет в тебе ни звуков играющей арфы, ни поющего голоса, ни трубного гласа, ни музыки тех, что играют на свирелях и других инструментах,— прочитала она.— И не будет в тебе ни художника, ни художества, и шума жерновов уже не будет более слышно в тебе». Какое предсказание! «Так будет же»,— подумала она упрямо.

Автор толковал Апокалипсис, последнюю книгу Нового завета. Она раскрыла книгу в другом месте, загадав теперь не на себя, а на Костю. «И в то время, как животные четырех времен года прославляют и превозносят его, сидящего на троне, двадцать четыре старца-часа поочередно преклоняются перед ним». Она засмеялась: «А ведь это и вправду о Косте! Уроки!»

Она была еще там, на Госпитальной, где Анна Игнатьевна бродит из комнаты в комнату, держась за сердце, в отчаянии — из-за нее! Испуганные девочки забились по углам, мрачный лохматый гимназист, которому все равно, читает роман графа Амори — он читал эту книгу, когда они вошли. Господи, что же делать?

В номере было душно. Может быть, от цветов? Она встала и переставила цветы со стола на окно. «Может быть, Костя должен был сказать матери, что все останется, как прежде».

Почему-то она вспомнила, как после пансиона поехала к отцу в Воткинский завод и нашла отца в только что снятой квартире, которая была чем-то похожа на квартиру Карновских. Он был один, мачеха еще не приехала, и Лиза принялась за устройство квартиры. Как отец был благодарен ей, как ласков, как счастлив и горд, что она кончила пансион с золотой медалью! Она с трудом отговорила его — он непременно хотел показать эту медаль и ее аттестат своим офицерам. В первый раз она тогда разглядела его — мягкого, доверчивого, заставляющего себя становиться другим, бравым, несмотря на свою мешковатость, строгим, несмотря на доброту, которая так и светилась в его розовом, немного бабьем лице. Потом приехала мачеха, чем-то похожая на Анну Игнатьевну, но не сдержанная, а

крикливая, требовательная, мещански самоуверенная — и вот тогда-то он по ее настоянию сжег Костины письма. Странным образом все это связалось с обедом на Госпитальной, с чувством искусственности, насилия, несвободы. Свобода была там, в не оставлявшем ее воспоминании о щукинской галерее.

Она закрыла глаза, и голые танцующие фигуры — дикие, свободные, как будто, кроме них, никого нет на земле и никто им не нужен — стали кружиться перед ее глазами. Матисс! Радостно вздохнув, она вспомнила чувство ритма, объединявшего эти фигуры. Их окружала прозрачность. Казалось, что они написаны на стекле. От них невозможно было оторваться.

Но вот она заставила себя уйти от Матисса и с размаху кинулась в совсем другой, деревенский, разноцветный мир. Гоген! Коротконогие коричневые девушки, почти голые, с яркими цветами в волосах, смотрели на нее, легко дыша. Они были свободны! Они были доверчиво просто, беспредельно свободны. Боже мой! Без сковывающей неизвестности, без необходимости объяснений!

Она почти не спала в поезде и вдруг уснула сразу легко, точно окунулась в прозрачную воду. Сквозь мысли и воспоминания она старалась понять что-то очень важное — и поняла наконец, облегченно вздохнув. Самое важное был Париж, похожий на повисший в воздухе разноцветный шар. От него шли прозрачные стрелы света. Он покойно дышал на головокружительной высоте над пиками готических зданий.

В полусне она слышала, как пришел Карновский, с поднятым воротником шинели (он не носил кашне), в запотевших очках (он давно сменил пенсне на очки). Он скинул шинель, задернул занавеску. Она следила за ним из-под полуопущенных ресниц с вдруг перехваченным от волнения горлом.

— Спишь? — негромко, ласково спросил он.

— Нет. Иди сюда. Садись.

Он поцеловал ее.

— Подожди. Слушай: на другой день после окончания войны я еду в Париж. Горины обещают дать мне взаймы. Я хочу учиться у Матисса.

Она проснулась рано — и вчерашний вечер прошел медленно перед ее глазами, точно он терпеливо ждал ее пробуждения. Может быть, они не поссорились бы, если

бы она не сказала, что Дмитрий предложил денег на поездку, на жизнь в Париже? Может быть, Костя был прав, доказывая, что самая мысль об этой поездке оскорбительна, ничтожна в то время, когда идет тяжелая, грозящая поражением война, мародеры грабят страну, епархиалки шьют для солдат кальсоны и женщины с двух часов ночи становятся в очередь за тухлой рыбой? В то время, как она сама едет к отцу, тяжело раненному на фронте.

Да, Костя прав. Но ведь это была даже не надежда, а попытка надежды. Он не должен был расправляться с этой попыткой так беспощадно, так сурово. Нет, здесь было что-то еще, совсем другое, может быть, случившееся с ним уже после обеда на Госпитальной. Она почувствовала это даже в те минуты, когда они остались, наконец, одни в тишине, в темноте. А потом вдруг этот спор, этот раздраженный тон, эта неожиданная, изумившая ее грубость, от которой у нее перехватило дыханье. Да, что-то случилось. Семейный скандал? Ложное положение, в котором он не хотел признаваться?

Она встала, умылась, оделась, раздвинула занавеску, и в номере все похорошело — мебель, грубо раскрашенная под орех, выгоревшие синие шпалеры. Утро было розовое, свежее, с играющим светом. Лиза надела пальто, постояла перед зеркалом: пальто было старое, немодное — теперь носили в талию, с накладными карманами, с широкими, отделанными мехом рукавами. Она с досадой подумала об этом.

На Большой Проломной она позавтракала в кафе и пошла куда глаза глядят — Костя должен был забежать в двенадцать, после урока у каких-то богачей Муралеевых. Этот урок никак нельзя было пропустить.

...Замужем, что за странное слово! Шура вышла замуж, она была на ее свадьбе в Симбирске, и для нее все было ясно на десять, на двадцать лет вперед. Для нее все было ясно, потому что она хотела стать принадлежностью мужа, разделить с ним его, быть может, ничтожную жизнь. Зато она «замужем», за-мужем, не одна, а за-мужем. И Лиза будет не сама по себе, а «за-мужем». Она станет его уроками, его экзаменами, его университетом, в котором он считается будущим Лобачевским. Она будет «за», «при», «около», «возле». Их близость станет такой же повседневной, обиходной, как университет и уроки.

Она пришла в кремль и постояла у Сююмбекиной башни, зимней, грустно изукрашенной снегом. Потом спусти-

лась вниз и по уличкам, по тропинке, вдоль заиндевелых заборов прошла на Попову гору. Татарин — разносчик тканей, в круглой шапочке, с аршином в руках, встретился ей.

— Барышня, хороший товар есть, бархат, кашемир, сатин есть. Покупай, барышня, не пожалеешь.

Она покачала головой. Они едва разошлись на тропинке.

И, может быть, он не поехал бы в Петроград, если бы она не возвращала его письма, если бы не отказалась от него навсегда, как она писала ему. Это было вспышкой — его решение поехать в Петроград и все, что там произошло между ними. Вспышка пройдет через год или два. И будет Казань, и снова Казань. И Анна Игнатьевна, которая не пустит ее на порог. И Художественное училище, в которое он вчера советовал ей поступить, доказывая, что по-своему Фешин нисколько не хуже Матисса.

...Теперь она была на Рыбнорядской, где открывались лавки и лари, стояли очереди и бродили пугливые, озверевшие, тощие собаки. Кто-то говорил, кажется Лавров, что на Рыбнорядской всегда было так много собак, что один переулок так и назвали — Собачьим.

Почему-то она вспомнила самодельные гипсовые тарелочки с бумажными цветами, висевшие на стене в комнате девочек, плетеные скатерти и накидочки из кружков в столовой. И где-то еще аккуратную, выпиленную лобзиком полочку, на которой стояли подобранные по размеру книги.

«Все это не он, не он,— подумала она.— Но и гипсовые тарелочки будут где-то «около», «возле».

Они не поссорились бы, если бы она не сказала, что Дмитрий предложил ей денег на поездку в Париж. «Ах, так? И на жизнь? — спросил он с той неторопливостью, которая должна была показать, что он совершенно спокоен.— Каким же образом ты рассчитываешь вернуть долг? Или ты надеешься на быстрый успех в Париже?»

Может быть, это ревность? С какой злостью он еще в Петрограде сказал о Дмитрии, что при всей его учености в нем чувствуется российское шалопайство!

И с раскаяньем, вдруг остро охватившим ее, Лиза стала думать о Дмитрии, о его преданности, о дружеской близости, которая стала теперь привычной для них. О том, как много он сделал для нее, какое единственное, неоценимое место занял он в ее жизни. Как посмела она скрыть от него, что сговорилась о встрече с Карновским?

Но странным образом к чувству раскаянья, сожаления примешивалось какое-то совсем другое, необъяснимое чувство. Она не хотела, чтобы Дмитрий ждал ее в Петрограде. Она не только не хотела бы сейчас увидеть его, но не могла представить себе, когда ей захочется его увидеть. Она вспомнила его молящие глаза с большими ресницами, узкие, слабые руки. Тогда, в августе, когда он сделал ей предложение, Лиза просила его подождать. Теперь она отказалась бы.

...Она остановилась, прижав руки к груди. Отказалась бы? Да.

Теперь она была в Татарской слободе, какая-то широкая улица вдруг оборвалась — и за поворотом открылась взлетевшая в небо стрела минарета с полумесяцем, который неожиданно и, как ей показалось, робко венчал эту высоту.

«Костя, я уезжаю, чтобы подумать. В Казани это невозможно, потому что я слишком люблю тебя.— Она не сочиняла письмо, оно само собой говорилось в душе.— Я вернусь, я еще вернусь, или ты приедешь ко мне. Может быть, для нас лучше, чтобы все осталось по-старому, как прежде? Мне ведь ничего не надо. Только — любить».

Она плакала. Старая татарка, закутанная, замотанная, в длинной шубе, в высокой шапке, остановила ее и спросила что-то с тревогой, певуче.

— Нет-нет,— сказала Лиза.— Спасибо. Все хорошо.

Только теперь она поняла, что замерзла сильно, до костей, что руки и ноги одеревенели и почему-то страшно глубоко вздохнуть.

По узкой улочке, вьющейся вдоль сугробов, она вышла на какую-то площадь. Женщины гремели ведрами у водоразборной будки. Поодаль стояли заиндевевшие лошади, запряженные в низкие, без кузова, сани. Это была стоянка барабусов — татарских извозчиков. Костя что-то говорил ей о них. Она подошла — к ней кинулись. Она села в сани, извозчик прикрыл ее ноги толстой кошмой.

— Куда прикажешь, барышня?

— В Щетинкинские номера.

И застоявшаяся лошадь тронула резво.

Лавров ждал ее в вестибюле, она не сразу заметила его сжавшуюся в широком кресле маленькую фигурку в студенческой шинели с поднятым каракулевым воротником.

— Здравствуйте,— радостно сказал он.— Мне сказали, что вы рано ушли. Вы завтракали? Что случилось? У вас расстроенный вид.

Она взяла ключ, они прошли в номер, и Лавров, смутившись, достал из шинели коробку конфет.

— Спасибо. Зачем вы тратитесь, милый Коля?

— Что вы, пустяки! Костя скоро придет, мы встретились в университете. Он сказал, что вы поссорились.

Они посидели, помолчали. Лавров вздохнул.

— Мне хотелось...— поспешно сказал он.— Этот обед на Госпитальной... Я у них жил, я хорошо знаю Анну Игнатьевну. Она — человек хороший и Костю любит, можно сказать, самоотверженно. Но ведь любовь, в особенности материнская,— это странная штука. Она у нее какая-то... ну, мстительная, что ли... Вы только не подумайте, что Костя просил меня поговорить с вами.— Лавров волновался, темная прядка упала на узкий высокий лоб.

— Ну что вы!

— И вот я боюсь... За него и за вас.

— Не понимаю.

— Простите меня за это вмешательство. Я хочу сказать, что вы не должны на него сердиться. У него вчера был очень трудный день.— Он помолчал.— Вот я думал о вас. О нем и о вас. Переписка — это совсем не то. Даже я, когда беру в руки перо, становлюсь совсем другим человеком. Ведь вы до сих пор как-то не вгляделись друг в друга. Например, вы думаете, что он стремится к независимости. Нет, он не просто стремится. Это — страсть независимости, а страсть нельзя ни любить, ни ненавидеть. Надо ее понять. И вот вчера...— Лавров говорил все быстрее: — Вы понимаете, он почти весь день был в унизительном положении. Он стыдился того, что вы увидели на Госпитальной, и должен был скрывать от вас, что он стыдится, хотя я говорил ему, что вся суть заключается в том, что от вас он ничего не должен скрывать. А тут еще этот разговор с Маришей...— Лавров вдруг осекся, смутился, покраснел, замолчал.— Я хочу сказать...— начал было он и опять замолчал.

— Вы хотите сказать, что у Кости вчера был разговор с какой-то Маришей?

— Ах, боже мой, что за вздор! Ваш приезд — это был праздник, необыкновенность, а существует, вернее, существовала какая-то обыкновенность, которой просто смешно

придавать значение. Мариша — это моя знакомая, и она стала спрашивать Костю о вас, а он...

Лавров вынул носовой платок и мял, крутил его в руках, как провинившийся мальчик.

— Все это кончилось и, вообще, ерунда,— пробормотал он с отчаяньем.— Костя скоро придет. Все будет хорошо. Ну, пожалуйста, поверьте мне, что все будет хорошо! Вы же умница. Как у вас со здоровьем? Анна Игнатьевна почему-то думает, что вы больны.

— Я здорова. Впрочем, сейчас у меня начинается головная боль, и нужно пройтись, чтобы она не разыгралась.

Лавров надел пальто, они вышли вместе. Он еще говорил о чем-то на лестнице, в коридоре. Она не слушала. У подъезда гостиницы они простились, и Лиза пошла направо, к кремлю.

Замерзшая ленточка Казанки тускло блестела. На крыше какого-то двухэтажного дома зеленый купол был окружен пошлыми железными цветами, и Лиза подумала, что таких домов почему-то много в Казани. Но белая высокая стена кремля, доходившая до башни, а потом продолжавшаяся с темными стрелами бойниц, была прекрасна — и Лиза немного успокоилась, глядя на ее сияющую под солнцем, пустынную белизну. Налево были пять голубых куполов какой-то церкви, а направо все взгорья и взгорья, много рыжего и красного — крыши с торчащими побеленными трубами, из которых поднимался серовато-прозрачный дым. И всюду шла жизнь: женщина развешивала белье на дворе, пилили дрова, где-то крыли тесом сараи. Ничего не случилось. Земля была огромная, надежная, занятая жизнью и собой, прекрасная и простая.

Она вернулась в номера, расплатилась. Портье сказал ей, что поезд в Самару отправляется через Саранск в четыре пятнадцать. Она наскоро написала Косте — и не стала перечитывать свое холодное, мертвое письмо. В нем было все по-другому, она не знала, с чего начать, чем кончить,— точно что-то выпало из ее рук и разбилось.

На вокзале было грязно, шумно. Городовой кричал на какого-то мужика, сидевшего на туго набитых мешках.

Строился маршевый батальон, ладили помосты к товарным вагонам. Бабы плакали. Татарин, стоя на коленях, молился, шептал, кланялся в уголке заплеванного зала...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Прошлое отлетало стремительно, бесповоротно. Жизнь, оторвавшаяся от обихода, ворвалась в маленькую квартиру на Госпитальной, все перекроив по-своему, заставив Карповского бросить на время магистерские экзамены, потому что шли бои с «забулачниками», объявившими, что столица «Урало-Волжских штатов» находится в одном из городских районов, за маленьким грязным протоком Булак. В июне 1918 года он уехал с матерью и девочками в Москву: чехословацкий корпус поднимался вверх по Волге и был уже недалеко от Казани.

...Он вернулся зимой в промерзший город, в обокраденную квартиру на Госпитальной, в университет, погруженный в непроглядную тьму. Младший брат был мобилизован белыми и погиб; об этом Карповский узнал только через несколько лет. Надо было с чего-то начинать. Надо было что-то продолжать. Он разыскал профессора Маврина и доказал ему, что «красная арапия», как старик называл большевиков, не возражает против изучения теории функций действительного переменного и всей высшей математики в целом.

Так опять начался университет, наука и новый отсчет времени, который был еще требовательней, чем прежде.

После магистерских экзаменов Константину Павловичу предложили читать специальный курс в университете. Он согласился, но почти все свободное время отдавал организации Политехнического института.

То была пора, когда после освобождения Поволжья в городе постепенно восстанавливалась прежняя жизнь.

В ней была черта, сразу же захватившая его,— *возможность невероятного*, как он выразился в разговоре с Лавровым. Эта возможность требовала размаха, тоже невероятного. Практически представить его было почти невозможно, но «логически» — доказывал он скептически улыбавшемуся, изголодавшемуся Лаврову — «вполне обозримо».

Политехнический институт создавался на базе ремесленного училища. Но никакого ремесленного училища давно уже не было и в помине: учащиеся были мобилизованы белыми или разбежались, в мастерских стояли два поломанных токарных станка, электромотор времен Яблочкова и разобранный двигатель внутреннего сгорания.

Осенью девятнадцатого Карновского назначили деканом рабфака, и он снова согласился, подумав, что, в сущности, он сам был первым рабфаковцем, когда работал на заводе братьев Крестовниковых и занимался ночами. Он и теперь прежде всего пошел на завод — набирать учащихся и просить, чтобы рабочие помогли ему оборудовать кабинет учебных пособий. Потом, спустя полгода, когда учащиеся вдруг нахлынули разом, дело стало за преподавателями, и тут пригодилась репутация Константина Павловича, как вежливого, вполне интеллигентного молодого человека, у которого было много знакомств среди богатых русских и татарских семейств. Он нашел преподавателей и среди них одного крупного инженера, который предсказывал советской власти скорую и неизбежную гибель.

Сложнее было с программой для рабфаков и технических вузов, о которой шли бесконечные споры. Карновский принял участие в обсуждении и с самого начала занял острую позицию. Он испытал сперва один, потом другой метод, горячо рекомендованный в сборнике «Новое дело». Оба растаяли, как пар в нетопленной аудитории, битком набитой людьми в солдатских шинелях, которые занимались, пользуясь одной книгой на троих и грея дыханьем замерзшие пальцы. Нечего было и надеяться на то, что им окажется доступной строгая, сложившаяся в двадцатом веке система математических знаний. Для них путь в математику шел через технику. Очевидно, где-то здесь и надо было искать новые методы преподавания.

Возможно, что, если бы он не заходил к старику Маврину, помогая ему приводить в порядок библиотеку и полусожженный архив, ему не пришла бы в голову эта, в сущности, простая мысль. Архив и библиотека были уни-

кальными, в них встречались книги не только начала девятнадцатого века, когда Казань была одним из научных центров Европы, но и восемнадцатого.

Карновский, который всегда интересовался историей науки, начал с Чебышева и, двигаясь назад, к восемнадцатому веку, прочел два мемуара Эйлера. Он искал возможность простого, наглядного подхода к высшей математике и проследил ее развитие, останавливаясь на тех этапах, которые естественно связывали математическое и техническое мышление. Гениальный Чебышев подсказал многое. Еще неясные соображения горячо поддержал Лавров, любивший повторять, что «только простое может бросить свет на сложное».

Конечно, это было отступление, но ведь отступал же — как сказал тот же Лавров — и Кутузов.

Новая методика, в основу которой были положены старые «доабстрактные» способы преподавания, была разработана до мелочей, и, хотя статья Карновского вызвала новые горячие споры, он, не отвечая, принялся за дело. Время показало, что он был прав — в конечном счете именно его методика легла в основу преподавания математики на рабфаках и в технических вузах.

Прежде «отсчет времени» касался только внутренней жизни Карновского. Профессор Маврин считал его самым способным из своих учеников, и он был нужен кафедре, университету. Теперь оказалось, что он нужен сотням людей, которые писали с грубыми ошибками и в лучшем случае знали таблицу умножения. Он стал центром острых интересов, поражавших его своей новизной. Его аналитический склад ума, «пунктуализм», над которым подшучивал Лавров, неожиданно оказались необыкновенно важными не только для него, но и для тех, кто с разбегу кинулся к нему с *делом*. От него не просили, а требовали знаний.

2

Он получил несколько писем от Лизы сразу же после ее отъезда из Казани и вернул их, не распечатав. Он ничего больше не хотел знать о ней — теперь пришла его очередь возвращать ей нераспечатанные письма. Она бросила его — и прекрасно! Правда, это случилось с ним впервые в жизни, «но, может быть,— думал он с холод-

ностью, которая была (он знал это) утешительной, притворной,— случится еще не раз». Но не с холодностью, а с бешенством он спрашивал себя: что заставило его в разгаре неотложных дел броситься в Петроград? Оскорбленное самолюбие? Да, может быть. Ведь Лиза старалась доказать, что она счастлива с Дмитрием, а он, Карповский, может поступить, как ему вздумается — ехать или оставаться в своей грязной Казани.

Но если так, что же произошло в Петрограде? Что изменилось в тот день, в тот час, когда он увидел Лизу? Произошло то, что он едва узнал ее. Так это была она — уверенная красавица, остро и весело сознающая силу своего обаяния? Так это она держалась так свободно, так смело у Гориных, в богатом профессорском петербургском доме? Незаметный казанский студент в отглаженной, но сильно потертой форме сидел в гостиной, не вмешиваясь в тонкий разговор о «хроматической гамме света», в котором он ничего не понимал и, разумеется, смеясь, сейчас же сознался в этом.

...То, о чем он мстительно думал перед отъездом, случилось и не могло не случиться, потому что она любила его, а не Дмитрия. Но случилось еще и то, что, снова без памяти влюбившись в нее, он допустил странную возможность, всегда казавшуюся ему невероятной,— и не только допустил, а без оглядки поверил в эту возможность. Не он ли писал и говорил ей о «совместном квартировании», как он с иронией называл семейную жизнь?

Лиза выбрала — семейная жизнь не состоялась. Так почему же он был так оскорблен ее неожиданным бегством? Что заставило его вернуть одно ее письмо из Симбирска, другое из Петрограда? Уж не был ли он в глубине души доволен, что теперь все снова пойдет, как прежде, своим путем, без волнений и тревог, без неожиданностей, мешавших его жизни, его науке?

Ему еще не было двадцати восьми лет, когда он был избран профессором Политехнического института. Он взял отпуск, поехал в Ядрин, чтобы обдумать курс, и вот здесь, в тишине, снова стал неотступно, с раскаяньем, с горечью думать о Лизе.

Он начал разыскивать ее давно, еще осенью семнадцатого года. Старушка Кауфман, у которой он останавливался в Петрограде, ответила, что Лиза провела у нее лето («не у Гориных»,— сейчас же остро отозвалось в душе), а в сентябре вернулась в Ялту, после воспаления легких.

Он написал ей в Ялту по старому адресу, на Мееровскую. Письмо вернулось «за ненахождением адресата». Он написал Шуре, которая жила с мужем в Симбирске. Да, Шура получила открытку от Лизы, но давно, осенью 1917 года. Тогда все было хорошо, но «здоровье еще не позволяет мне оставить Крым,— писала Лиза,— хотя в последнее время с легкими, кажется, все в порядке. Я пополнела, порозовела, и снова появилась жажда жизни и аппетит к приключениям».

Вдруг задохнувшись, он прочитал эту фразу...

Он снова написал в Ялту, каретному мастеру, у которого Лиза жила в свой первый приезд, весной 1914 года.

Когда он уже потерял всякую надежду, когда гражданская война была в разгаре и переписка между севером и югом прекратилась, он получил от нее письмо, которое, как ножом, отрезало все, чем он жил день, час, минуту тому назад.

20.V.1918. Ялта.

Костенька, родной, где ты? Я места себе не нахожу, думая о тебе. Много раз я писала тебе, но в ответ — ни слова. А сейчас и совсем оборвалось сообщение с севером. Посылаю это письмо с едущими в Ригу, может быть, оно доберется до тебя. Живем здесь в унижении, в позоре. Пришли германцы (2 мая н. с.). Даже Севастополь сдался без боя. Наступило внешнее спокойствие, купленное дорогой ценой. Я была больна в первые дни, да и сейчас еще больна нравственно, хотя стараюсь взять себя в руки. Великолепие весны не смягчает горя, на ее цветущем фоне еще отчетливее рисуются германские каски. Дрожу при виде. Немцы самодовольны, гордятся корректностью и не сомневаются в своем превосходстве. Хожу, опустив глаза. Боюсь задохнуться от ненависти.

Ну, полно! Надо держаться. Не вечно же будут мелькать на фоне глициний германские каски! Почему-то их особенно много вокруг моего старого любимого платана на набережной. Он смотрит сверху на них — с величавым презрением. Так же должны держаться и мы.

Если бы ты знал, как проклинаю я себя за то, что еще осенью не вернулась на север! Но не только моя болезнь, обострившаяся после воспаления легких, остановила меня. Я осталась, потому что впервые в жизни ясно почувство-

вала, что твердо держу кисть в руках и знаю (или по меньшей мере догадываюсь) — *что* и *как* я хочу написать. Бесценную помощь оказал мне один старый художник из передвижников (в далеком прошлом), но совершенно особенный — о нем я тебе еще расскажу. Уехать он не хотел и не мог, потому что он армянин и работает над росписью армянского собора. Он и здесь — на родине, а я — в мышеловке. Мы с ним одни в этом городе мертвых.

Бывают дни, когда я спрашиваю себя: не приснилось ли мне все это — Петроград, Исаакий, белые ночи, платье не с чужого плеча (меня обокрали, и я хожу здесь бог знает в чем), возможность не думать о завтрашнем обеде? Ты — в этом я не сомневаюсь — был, есть и будешь. Но была ли моя поездка в Казань и как могло случиться, что я уехала, убежала, не простившись с тобой? О, как много я требовала тогда от жизни, как была избалована, капризна, горда! Или тогда-то я и была — я, а теперь потеряла себя, одна, отрезанная от близких, измученная ненавистью, растерянностью, недоумением? Я — ничья здесь, а ведь даже вещи, мне иногда кажется, способны тосковать, когда они никому не принадлежат.

Единственное мое прибежище — работа. Зовут моего учителя и бесценного друга Вардгес Яковлевич Суренянц. Ему шестьдесят лет. Нет ни времени, ни возможности пересказать тебе все, чему он меня научил. Да и бог весть, доберется ли до тебя когда-нибудь мое послание! Скажу только, что если я еще живу и работаю после всего, что видела и пережила в Ялте,— это сделал он. В Ялте он живет потому, что армянская церковь богачей Тер-Гукасовых расписывается по его эскизам. Мало сказать, что он — образованный человек. Он владеет немецким, английским, персидским и в совершенстве — итальянским. Влюблен в восточное искусство, увлекался прерафаэлитами — и на всю жизнь остался армянским художником. Он жил в Париже, Вене, Риме, Валенсии, Венеции, он иллюстрировал Метерлинка, Уайльда, Толстого, Пушкина, работал в московском Художественном театре — по его эскизам была поставлена «Чайка».

Впрочем, Вардгес Яковлевич не столько учит, сколько как будто сам у всех учится. От него идет тишина, в которой я так давно и глубоко нуждаюсь.

Он одинок, от его помощника, тоже армянского художника, я узнала, что он всю жизнь любил одну женщину, которая вышла замуж за его друга, известного писателя

Ованесяна. Уж не потому ли мы с полуслова понимаем друг друга?

Ну, что же еще рассказать мне о нем? Я, как в монастырь, ушла в его мудрость. Он внушил мне уверенность. Не похвалами—напротив, требовательностью. Но *так* требовать можно только от талантливого человека. И к Византии моей он отнесся по-своему. Чудо искусства сохранило ее в веках, несмотря на то, что она была попрана турками — как сейчас, на наших глазах, попрана и унижена немцами Ялта.

Прощай, милый, родной. Увидимся ли когда-нибудь? Кто знает.

Была бы моя воля, пошла бы пешком по Руси. Так хочется, даже снится!

Посылаю тебе мою любовь и благословение.

Твоя Лиза.

3

Ничего невозможного не было в его решении добраться до Ялты и увезти Лизу, хотя пришлось бы перейти две линии фронта и ехать через Украину, на которой хозяйничал какой-то Махно. Карновский разузнал все подробности. Ехать надо было с фальшивой справкой о месте рождения — Ялта или любой другой город в Крыму. Опасные места начинались за хутором Михайловским — ничейная полоса до Конотопа, часть пути надо идти пешком, и легко нарваться на гайдамаков. Из Конотопа до Киева добраться было уже нетрудно, а в Киеве у Карновского была рука: Маврин дал письмо к своему двоюродному брату, который был киевским городским головой. Из Киева в Одессу — поездом, а из Одессы в Ялту — пароходом. Немцы, по слухам, пропускали в Ялту за взятку.

Карновский спрятал казанские документы в непромокаемый мешочек, а мешочек зашил в подкладку пальто. Деньги он достал, а для взяток Лавров отдал ему запонки и часы. Один из учеников Карновского, служивший теперь в казанском горсовете, выдал ему фальшивую справку, что он — уроженец Ялты. Он списался с Доброселовым, московским математиком, у которого были на Украине какие-то связи. Словом, все было готово к отъезду, когда заболела мать. Сперва Карновский решил, что болезнь — притворная, связанная с его решением. Но болезнь — слабость

и головокружения — усиливалась с каждым днем. Все в доме развалилось, распалось. Распалось, отдалилось, остыло и его «безумное», как доказывал Лавров, решение.

В ноябре 1920 года, на другой день после появившегося в газетах известия об освобождении Ялты, он написал художнику Суренянцу, в доме которого жила Лиза, и после долгого ожидания получил ответ — большое письмо на шести страницах, исписанных слегка дрожащей старческой рукой. Бумага была толстая, желтая, страницы перенумерованы большими римскими цифрами. Вот что он прочитал:

Ялта. 15.III.1921.

Глубокоуважаемый Константин Павлович, извините, что с опозданием отвечаю на Ваше письмо. Мне, признаюсь, должно было собраться с душевными силами, прежде чем написать Вам о Елизавете Николаевне.

Прежде всего скажу, что Вы для меня далеко не чужой человек. Мы с Елизаветой Николаевной много, очень много говорили о Вас. Случалось, что она читала мне строки из Ваших писем, показывала фотографии. Она болезненно переносила разлуку с Вами. До последней минуты своего пребывания в Ялте она ждала известий от Вас и, вернувшись, измученная, после первой неудачной попытки уехать, прежде всего спросила: нет ли от Вас письма...

Но я забегаю вперед. Итак, по порядку расскажу Вам о ней и о нашем знакомстве.

Оно началось, можно сказать, случайно, хотя Елизавета Николаевна не только давно знала о моих работах, но даже копировала некоторые из них. Однажды, возвращаясь домой поздно вечером, она оступилась, расшибла ногу и, как выяснилось на другой день, порвала связки в предплюсне. Беспомощная, едва добралась до скамейки в Александровском сквере, и вот тут-то я буквально наткнулся на нее в темноте. Побежал на извозчичью биржу, и два извозчика донесли ее на руках до моей квартиры. Я упросил ее остаться у меня до выздоровления, хотя она тревожилась, что и без того доставила много хлопот.

Она помогала мне в работе над росписями армянской церкви, но много работала и сама, может быть, слишком много. Вы знаете Елизавету Николаевну лучше, чем я, и

не мне писать Вам о ее неспокойном, бурном характере, о мгновенных переменах ее настроений, о смятении, которое часто охватывало ее и для которого единственным выходом была живопись, работа. Ее душевное изящество, прямота известны Вам, без сомнения, лучше, чем мне. Эти черты нашли свое отражение, кстати сказать, в ее увлечении византийским искусством, которое я сознательно поддерживал в ней, потому что оно в известной мере было для нее спасением. Ей нужна была мысль о *вечном* в искусстве, об источниках Духа. Она чувствовала себя здесь на краю света, она истосковалась, с каждым днем теряя надежду вернуться к родным и знакомым. Потому, может быть, она и привязалась ко мне, что я, старый человек, чего только не перевидал в своей жизни, о чем только не передумал! Мне кажется, что она искала во мне не учителя живописи, а учителя жизни.

Елизавета Николаевна говорила мне, что Вы почти не знакомы с ее работами, и все сожалела, что не может показать их Вам теперь, когда она стала писать иначе и лучше. Так вот, могу с уверенностью сказать, что она очень талантлива, необыкновенно настойчива и трудолюбива и, если можно так выразиться, «приговорена» к живописи самим складом своей свободолюбивой души. Цветовая память у нее удивительная. Она помнит каждый холст, каждый рисунок. Ей ничего не стоит мысленно увидеть любую, некогда затронувшую ее картину. Может быть, именно поэтому ее морские этюды напоминают Клода Моне, а пейзажи — Матисса. Однако мне удалось научить ее спокойно относиться к своей подражательности. Каждый холст она все же доводит до конца, стараясь добиться цельности,— и в последнее время это стало ей удаваться.

Перехожу теперь к той несчастной случайности, которая подтолкнула ее решение уехать из Ялты. Вырваться в Москву или Петроград не было ни малейшей возможности. У нее не было ни гроша, ни сколько-нибудь приличной одежды. В эти-то особенно безнадежные дни появился в Ялте некто Франческо, просивший называть себя именно так, несмотря на свой солидный возраст (лет пятьдесят пять — шестьдесят). Приехал он к своим родственникам (в Ялте много греков) и отрекомендовался любителем и знатоком живописи. И действительно, если судить по его манере держаться, по его тонким суждениям, он, по-видимому, был близок к художественной среде не только Константинополя, куда он, по его словам, иногда наезжал,

но и Парижа. Как он говорил,— и это вполне вероятно — он был владельцем небольшого салона в Париже, где, по его словам, еще недавно выставлялись такие значительные мастера, как Брак и Сутин. Не было оснований не доверять ему, хотя в той манере, с которой он называл эти имена, была какая-то преувеличенная небрежность.

Словом, нет ничего удивительного в том, что этот уверенный, еще интересный мужчина, пожалуй, даже красивый со своими седыми висками и здоровым загаром, произвел впечатление на Елизавету Николаевну, тем более что он умно и с большой похвалой отозвался о ее работах.

Приехал он — как я вскоре убедился — с целью скупить у голодавшей ялтинской интеллигенции предметы искусства, но проделывали все это, по-видимому, его многочисленные родственники, разумеется, по его указаниям.

Он зафрахтовал небольшой пароход до Константинополя, откуда он намеревался немедленно ехать в Париж.

Не знаю, как случилось, что он предложил Елизавете Николаевне отправиться с ним. Началось с того, что он купил у нее, щедро заплатив, несколько картин, а потом она вдруг явилась ко мне и сообщила с волнением об этом неожиданном предложении. Я сразу же стал отговаривать ее, я в глазах этого человека без труда прочитал его подозрительные, вероятнее всего, низкие намерения. Мало сказать, что я уговаривал, я умолял Елизавету Николаевну остаться. Но беспомощность моя была очевидна. В самом деле, с одной стороны — пищая жизнь в захваченной Ялте, невозможность выпить чашку кофе на набережной, потому что ее обокрали и она ходила в платье, переделанном кое-как, с чужого плеча, непрочность, неуверенность, голод, а с другой — Константинополь, Париж. Я убеждал ее, что эта наша унизительная жизнь скоро кончится, что она не должна смотреть на свое будущее глазами дня и месяца, что все еще впереди. Ничего не помогало! У меня еще была надежда, что пока этот господин собирается в дорогу, от вас придет письмо,— и тогда Елизавета Николаевна осталась бы, переломила себя, хотя она с трудом отказывалась от своих решений. Чудо не совершилось. Я проводил ее, мы оба плакали, она уехала, и с тех пор у меня нет от нее никаких известий...

4

Больше Константин Павлович не надеялся, что ему удастся с помощью математики избавить человечество от власти слепого случая. Он стал изучать эту слепую власть. Он был убежден, что в двадцатом веке теория вероятности может изменить всю картину мира в науке. Но к увлечению, с которым он занимался этой теорией, странным образом примешивалось чувство тоски. Самозащита, нейтральная зона, спасительное расстояние позволяли ему спокойно встречать удары, из которых, с детских лет, состояла жизнь. Он боялся потерять свободу и независимость — теперь ему подчас постылой стала казаться эта свобода. Женщины, как всегда, были где-то в стороне от его душевной жизни. Между ними не было Лизы.

Без конца перебирал он в памяти их последнюю встречу, тот единственный день, который Лиза провела в Казани. Он начался разговором с матерью, которая рыдала, обнимая девочек и заставляя их кланяться ему в ноги. Он вдруг сверкнул бог весть откуда взявшейся надеждой, когда, увидев Лизу, Карновский кинулся и подхватил ее со ступеньки вагона вместе с ее чемоданом...

Потом была подлая неоткровенность, притворство, уходы и приходы. Смотрины, когда каждая минута резала, как ножом, кусок не лез в горло, и Карновский проклинал себя, не смея взглянуть на Лизу. Снова приходы и уходы, нерешительность, сожаление, что он уговорил ее приехать. И стыд. И разговор с другой женщиной, веселой и циничной, которая доказывала, что глупо жениться, в то время как у него всегда под руками такой «удобный объект», как она.

Потом была ссора с Лизой, бессмысленная, потому что ничего смешного или невозможного не было в ее надежде поехать учиться в Париж. И не только бессмысленная, но ничтожная, как будто вдруг предсказавшая их будущее «совместное квартирование». Может быть, это и были минуты, когда он еще мог рассказать ей все, что он перенес, перечувствовал, передумал? Он промолчал — и она уехала, не простившись...

...Где же она? Что сталось с ней? Добралась ли она до Афин и бродит теперь по незнакомой стране, нищая, беспомощная, больная? Погибла ли в дороге?

Она уехала за несколько месяцев до бегства белых из Крыма, стало быть, не попала в кровавую суматоху это-

го бегства, о котором ходили страшные слухи. Но если бы она была жива — ведь она написала бы ему, все равно откуда: из Афин, из Константинополя, из Парижа!

Нет, все кончено! Он больше никогда не увидит ее! И все его сомнения, неуверенность, вся сознательность его ограничений встали перед ним, требуя ответа. Он кинулся перечитывать ее письма, горестные, праздничные, любящие, прямые. «Вы не знаете, как я провела эту зиму. Ведь я старалась истолковать в свою пользу каждое Ваше неясное слово...» «Все, что происходит со мной, принадлежит Вам, и даже если Вы не принимаете этот дар — все равно принадлежит, независимо от Вашей воли и желания»...

Каким образом, когда успевал он заниматься наукой? Но ведь успевал же, подсаживаясь к столу на десять минут или вскакивая ночью, чтобы записать неведомо откуда взявшуюся мысль!

Задачу, которую знаменитый Грузинов поставил перед своим семинаром в Москве, он решил, трясясь на водовозной бочке. В городе не было воды, а он, опаздывая на занятия, попросил водовоза подбросить его к институту. Он знал об этой задаче от одного знакомого студента-москвича и в тот же день послал своему приятелю листок с решением, занимавшим четыре строчки.

Письмо, которое он через несколько дней получил от Грузинова, заставило его задуматься над возможностью переезда в Москву.

То была пора, когда во многих городах стали открываться вузы, и московские математики, впоследствии знаменитые, стали работать в Саратове, в Иваново-Вознесенске. Школа Грузинова поредела — правда, ненадолго.

Это был человек, обладавший естественным даром притяжения. Маленький, с ярко-голубыми глазами и редким сияющим белым нимбом над высоким лбом, он всегда куда-то летел, стремился, опаздывал, торопился. Простодушие странным образом соединялось в нем с любовью к интригам, к сложным, запутанным отношениям (в которых он, впрочем, отлично разбирался). Он умел ловко, почти незаметно поссорить своих врагов, а иногда и друзей. Легкость, с которой он перебрасывался от самых общих математических структур к очередной микроскопической сплетне, поражала и врагов и друзей...

Константин Павлович сначала поехал к нему в научную командировку «для усовершенствования по специальности», а потом, через год, перевелся в Москву, поступившись высоким положением профессора Политехнического института и получив при кафедре Грузинова скромное звание доцента.

Осенью 1921 года он жил в Большом Палашовском переулке, в семье, которая была ему неприятна. Хозяин, бывший владелец ломбарда, болел какой-то странной болезнью, заставлявшей его неожиданно падать. В квартире была внутренняя лестница, и он падал с нее, гремя палкой, ботами, кастрюльками, которые он зачем-то постоянно таскал по квартире. Прибегала жена, расплывшаяся, злобная, и сын, глупо хихикавший, стеснявшийся своей худобы. Они ставили старика на ноги, и он снова начинал шаркать ботами, что-то бормоча, напевая. Однажды Константин Павлович прислушался и разобрал слова воинственной старинной шансонетки:

Всех патриотов ждет награда:
Когда мы двинулись с парада,
Я с маркитанткой храбро шел,
Жену гусар под ручку вел.

Почему Константин Павлович не съезжал с квартиры — он и сам не знал. Комната была удобная, светлая.

В конце ноября хозяйка принесла ему маленькое письмо, пересланное из Казани, с иностранной маркой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1.VIII.1921.

Костя, я здесь, в Константинополе! В двадцатом году поехала в Париж учиться живописи (за последнее время сделала большие успехи), но не доехала по очень простой причине: пара-ёк (по-турецки — денег нема). Кое-как живу, питаюсь (главным образом) надеждой закончить свое художественное образование. Здесь в Турции — никакого искусства, кроме мертвого, необыкновенного (Византия), но заниматься им нет ни времени, ни силы. Если получишь мое письмо, напишу подробнее. Очень хотелось бы тебя увидеть. Всех благ.

10.XI.1921. Константинополь, Чибукли.

По-старому рада твоему письму, мой далекий друг. Оно шло всего три недели, но долго лежало на почте. Я теперь живу на Босфоре: час езды на пароходе,— и в городе бываю редко. С чего же начать? Я напишу тебе короткий конспект моей истории после отъезда из Ялты.

В то лето (год забыла, как будто целая вечность прошла) я жила в квартире художника Суренянца, рядом с армянским храмом, который он расписывал по заказу богачей Гукасовых. Мы с ним очень подружились, он заменил мне тебя, как друга. О своей духовной жизни трудно рассказать — для этого надо взглянуть на мои работы. В сердечной жизни совершился большой перелом — разлюбила тебя. Звучит это просто и случилось просто, когда я, наконец, поняла, что «душа — увы — не выстрадает счастья, но может выстрадать себя». И стала выздоравливать. И всю страсть души отдала живописи. Но осталось в душе широкое, здоровое чувство к Волге — ты помнишь, как понимали мы с тобой «любовь к Волге»? Думаю, что ты искренне порадуешься моей свободе и вместе со мной погрустишь о прошлом. Ну, дальше!

В 1920 году познакомилась я случайно с одним греком-коммерсантом, у которого был зафрахтован свой пароход. Он обещал довезти меня до Константинополя, а потом вместе со мной поехать в Париж. Очень скоро — едва только Ялта скрылась из вида — мне стало ясно, что передо мной негодяй, ни минуты не сомневавшийся в том, что он купил меня вместе с моими холстами. Я швырнула ему деньги в лицо и в Константинополе не без труда отделалась от этого грязного прохвоста. Своих денег у меня было очень мало, хотя выговаривалось в тысячах,— в общем, их хватило лишь на два дня, когда, бегая по городу, я безуспешно искала работу. Случайно мне предложили играть на пианино в очень маленькой пивной за обед и ужин. Так я провела пять месяцев — очень трудное, хотя интересное время, о котором расскажу в следующем письме. Потом мне посчастливилось случайно встретиться с одним петроградским знакомым (другом семьи Кауфманов), который устроил меня машинисткой в морскую базу. За мизерное жалованье я работала там с полгода, бедствуя, как и прежде. К новому, 1921 году база закрылась, и я осталась без работы. Эту осень я иногда заходила по вечерам в очень странный «Институт гармонического развития человека». Через этот институт я устроилась гувернанткой к

маленькой дочери одного итальянца-архитектора. В январе же я вышла замуж — за русского (об этом тоже речь впереди). Итальянец устроил меня к бывшему хедиву Египта, где я занималась с принцессами ритмической гимнастикой и рисованием. Потом принцессы уехали в Париж, а хедив пригласил меня и мужа к себе в имение Чибукли, где мы и обретаемся с июня 1921 года. Сначала я занимала должность драгомана, а муж заведовал хозяйством, а сейчас нам обоим поручены кролики, хотя я по-прежнему считаюсь «драгоманом при королевском дворе». Это звучит громко, но оплачивается грошами. Словом, моя константинопольская история — тяжелая, но забавная: от кабака до королевских палат. Печально только то, что я почти не занимаюсь живописью, хотя вокруг все как будто создано для живописи, для искусства. Все-таки работаю. Когда доберусь до Парижа — бог весть! Не добралась еще и до византийской мозаики, о которой так мечтала в Крыму. Здесь мало русских художников, и почти никто не занимается своим делом. Среди них — Саламатов, который бедствует больше других, но держится бодро и работает много. В турецкой живописи — ничего интересного. Выставки — ничтожные и малопоучительные. Все же собираюсь кое-что выставить и я.

Ты пиши мне как можно чаще и больше! Мне очень хочется домой. Тоскую по России, но вернусь только после Парижа, когда научусь хотя бы чему-нибудь.

Замуж вышла, потому что не могла больше жить одна. Правда, муж — моложе меня (духовно и физически), но простой, честный, здоровый и нетронутый, что теперь случается редко. В нем есть та примиренность, уравновешенность, которой мне так не хватает. По натуре он — тебе это покажется странным — человек монастырский, хотя совсем не религиозный, а в практическом отношении — сметливый и неторопливо-дельный. Намучившийся и научившийся скрывать свои страдания, не только душевные, но и физические. На войне он был ранен и потерял ногу. Я привыкла к нему, привязалась, он для меня — как младший брат, который нуждается в женской заботе. От живописи он не только далек — он не понимает, зачем мне заниматься этим ничего не обещающим делом. Пока это мне не мешает, потому что мой интерес к искусству все же вызывает с его стороны известное уважение. Живем мы в стороне от города, совсем одни, среди турок, арабов и персов, в большом парке, у самого моря. В доме — электри-

ческая кухня и прачечная, а мы готовим на мангале, воду таскаем ведрами, и единственный признак цивилизации — примус. Выучилась плохо говорить по-турецки. По вечерам перечитываем старые русские и французские книги (на новые денег нет). Муж мой мало развит, со школьной скамьи попал на войну. Ему двадцать пять лет. Сегодня кончаю, завтра напишу снова. Посылаю фотографию моему далекому и близкому, светлому другу. Не сердись за нескладность письма — это жизнь сделала меня такой неловкой и грубой.

13.XII.21. Константинополь.

Ты пишешь, что «остальное не важно», но я-то прекрасно знаю, что для тебя важно и «остальное». Жалею ли я? Не знаю. Ведь это был шаг в неизвестность, который привлекал меня именно потому, что, шагая, я не знала, ступлю ли я на твердую землю. И не ступила. Не земля у меня под ногами, а плот. Помнишь, у Ахматовой:

Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.

Плот мой — Чибукли. После падения Крыма, когда число русских беженцев увеличилось здесь в десятки раз, стало ясно, что наша жизнь в Чибукли — это редкая, неоценимая удача.

Ты пишешь, что тебе импонирует размах всего совершающегося в России, что ты не подозревал всей грандиозности начавшегося движения. Он и мне импонировал бы, если бы я не боялась, что при таком размахе могут слететь купола с Василия Блаженного, а Врубеля могут пустить на портянки. К этому страху присоединилось острое до болезненности сознание, что я никому не нужна, а когда берусь за дело (потому что не могу жить сложа руки), все идет вкривь и вкось...

20.XII.21. Чибукли.

Ты хорошо поступил, Костенька, объяснив мне многое с самого начала. Нет ничего убедительнее собственного примера, и, когда ты рассказываешь о том, как тебе удалось превратить ремесленное училище в Политехнический институт, это помогает мне понять общий смысл превращений, которые, по-видимому, характерны для всего

происходящего сейчас в России. Я могу, хотя и не без труда, вообразить отсутствие прежней жизни, но присутствие новой представить себе без твоей помощи положительно невозможно. То есть, вообще-то, возможно, но в подробностях, с азов — нет. Вот эти «азы» мне и не даются! Ты пишешь, например, что в Казани был избран профессором Политехнического института, и это — понятно, хотя вообразить тебя профессором нелегко. Но то, что ты был одновременно «деканом рабфака»,— это для меня загадка уже потому, что я не знаю, что такое «рабфак». Ведь мы здесь, в сущности, ничего не знаем, живем слухами, за глухой стеной. Теперь, когда наша переписка возобновилась, ты встал между мной и этими обрывками противоречивых слу́хов. И для меня дорого, что, «глядя через тебя», я вижу и тебя самого, в твоей, так хорошо мне знакомой, *душевной занятости*, которая стала теперь, как мне кажется, еще полнее.

Значит, Василий Блаженный стоит во всей своей красоте, и Врубеля никто не собирается пустить на портянки? И ты, действительно, думаешь, что я пригодилась бы в России с моим пансионским воспитанием, тремя курсами Бестужевки и двумя языками?

Милый мой, это — так называемая гипербола. Верю, что я *тебе* нужна. Делать из этого вывод... Что ж, может быть! До сих пор мне казалось, что я в России не просто пропаду, а постыдно, ничтожно пропаду, ничего в жизни не сделав и никому не принеся счастья.

25.XII.21. Чибукли.

Я обещала рассказать тебе о своей жизни в brasserie[1]. Занята я была до поздней ночи. По утрам, в перерыве, болтала на всех языках с посетителями (я быстро схватывала разговорный язык и так же быстро все перезабыла). А посетители — портовые рабочие и матросы, матросы со всех концов земли, солдаты. Преобладали итальянцы. Я пополнила свой итальянский лексикон и свободно разговаривала с ними. Турки заходили редко, так как пивная была греческая, а между турками и греками — непримиримый антагонизм. Это был особый мир — веселый и бесшабашный, добрый и жестокий. Бывали и русские моряки — эти погрубее, но симпатичнее. Звалась я Нина́.

---

[1] Пивная *(фр.)*.

Говорилось много пошлостей, слышала я и немало грязных предложений — главным образом от греков и французов, но пивная была «честная», хозяева заступались, и приходилось дипломатически увертываться, чтобы не отучить клиента от посещений. Вот где насмотрелась я и драм, и комедий, и фарсов, нередко с трагическим концом! Всего не перескажешь! Я ничего не читала, кроме газет, мне некогда было читать. С десяти утра до одиннадцати вечера — в шумной, красочной, беспокойной толпе. Мой питерский знакомый, о котором я тебе писала, одолжил мне денег на пастели, я стала делать портретные наброски матросов там же, в пивной, и они мне иногда недурно платили. Но я задыхалась там! Я боялась своих хозяев, они держали меня, как пансионерку, боясь за честь своей пивной,— о русских женщинах в Галате плохая слава. Меня никуда не пускали и сами почти никуда не ходили. Чтобы посмотреть Стамбул, я лгала, что нужно поехать к родным, или убегала тихонько, встречаясь на соседней улице с парижским студентом (солдатом) или итальянским художником (матросом). Как маленький ребенок, наслаждалась я этой недозволенной свободой. Чудесные были прогулки по Золотому Рогу! Никто из мужчин не мог приходить ко мне в дом, а женщин знакомых у меня тогда не было,— стало быть, я должна была видеться с немногими друзьями на глазах у всех, в пивной. На какой покатой плоскости я жила, ты поймешь из следующей истории.

Ко мне заглядывали русские: одни — надеясь спасти меня от верной «гибели», другие — интересуясь обстановкой портового бара. Впрочем, больше всего было голодных, спившихся студентов, служивших матросами на иностранных судах. Эти приходили поговорить «по-человечески» или рассчитывая на помощь. Среди них был студент, кстати сказать, математик, работавший то матросом, то шофером. Он хорошо играл на пианино, много говорил о теософии. Я звала его в часы, когда почти никого не было, чтобы мы могли поболтать без помехи. И вот однажды он заговорил в туманных выражениях, что моя судьба может в одну ночь измениться — отъезд в Париж, например, не составит никаких затруднений. Я притворилась, что поддаюсь на соблазн, и это заставило его высказаться до конца. Дело было такое: капитан какого-то парохода, скупивший или укравший в Крыму много брильянтов,— простоватый человек,— мечтал, чтобы какая-нибудь графиня или княгиня провела ночь в его каюте. Эта роль предна-

значалась мне. Ночью, во время кутежа, я должна была дать ему отравленную папиросу, потом открыть дверь студенту с его приятелем и, стащив брильянты, удрать за границу. Все было условлено — час, место встречи, костюм,— и он был поражен, когда я вдруг не выдержала и расхохоталась. Так и не знаю, было ли совершено преступление. Здесь каждый день совершается так много преступлений, что о них мало и говорят.

Да, я забыла! В пивной были и политические споры, часто кончавшиеся дракой или боксом (симпатичные люди англичане: поссорятся чуть ли не насмерть, выйдут на улицу перед пивной и начинают боксировать). А полицейские (английские) стоят вокруг и спокойно наблюдают за порядком. Самые либеральные — итальянцы, точнее — триестинцы. Эти поют революционные песни, пропагандируют большевизм — и носят в петлице значок, на котором изображен Ленин.

А Стамбул — грязный, порочный, шумный, таинственный. Толпа — пестрая, яркая, все оттенки кожи — от английской белизны до глубокого адского черно-синего тона.

Буюк — базар, огромное сводчатое здание с бесконечными закоулками, пестрые лавки в нишах, и, боже мой, чего здесь только нет! Ковры, шали, старое оружие, ситцы, шелка, сафьяновая обувь — все пестро, ярко, но не режет глаз, потому что свет проникает через верхние окна. Шуму, гаму! Каждый тянет к себе, стараясь угадать национальность, и так как в моей национальности не приходится сомневаться, я то и дело слышу: «Руська, хорошо, иди суда». Это фраза модная, и все ее знают. Продается все — сладости, смолы, запахи — искусственные и натуральные. Можно купить одну-две капли в маленьком пузырьке или в изящной коробочке из кости.

Цветы — куда ни кинешь взгляд! Цветами прикрыты корзины с фруктами и овощами, ишаки украшены акацией или золотым венчиком дыни. Даже «змеи», которые у нас мальчишки делают из газет,— яркие, пестрые, из цветной бумаги. И в глубине этого торжища, этой пестрой ярмарки — развалины древней Византии.

В Айя-Софии я еще не была, хочется, чтобы ее показали мне знатоки константинопольского искусства.

Напиши мне, какое направление принимает живопись в России. Что делает Машков? Кончаловский? Нет ли открыток с работами Альтмана, Шагала?

...И здесь есть Блок, Ахматова, но все это, к сожалению, мне не по карману. Книги мои остались в России, сюда я привезла только третий том Блока, подаренный тобою. О смерти его не в силах писать. Он для меня больше, чем любимый поэт. Это — часть моей жизни.

Справился ли ты со своей малярией?

Пиши, жду с нетерпением, мой нежный, далекий друг.

21.III.22. Константинополь.

Получила два твоих письма от февраля и марта и была рада, что ты так далеко продвинулся в понимании и оценке живописи.

Я познакомилась с молодым талантливым художником Гордеевым (малоизвестным). Раз в неделю работаю вместе с ним. Он — симпатичный человек, очень неглупый, но бедствует, как мы все. Пишет для денег прелестные этюды Стамбула и продает их на улице (не сам), то есть занимается проституцией (по его выражению). Сейчас работаю над портретом старика суданца, высокого, тонкого, с белой бородой, в белой чалме, который сидит с утра до вечера под таким же, как он, вековым, корявым дубом, сунув свои черные ноги прямо в костер. (Он — сторож парка.) Выразительнейшая фигура! Одна беда: не хочет позировать. Как только замечает мои покушения — уходит.

Что касается твоего второго письма... Мне и горько и грустно, мой дорогой! Ты, ты говоришь о любви трудной, благословенной, неудовлетворенной? Вот когда, оказывается, я вымолила ее! За тысячи верст от тебя, связанная замужеством, переломанная одиночеством, тоской по России, жалостью к мужу. Что же мне сказать тебе? Приезжай? Это невозможно! Забудь обо мне? Об этом страшно подумать...

Без конца вспоминаю я нашу последнюю встречу в Казани — и ты не поверишь: в том, что тогда произошло, особенно чудовищным кажется мне, что мы (по моей вине) не простились. Разлука началась тогда — с Волгой, с молодостью, с тобой, самым дорогим и близким.

24.IV.22. Константинополь.

Иногда и мне хочется рассказывать тебе «старое». Помнишь, мы бродили за Новиковой дачей? Все вокруг было розовое — небо, и воздух, и березы, и в глубине рощи

прятался молочно-розовый свет, а ты стал уверять меня, что я просто смотрю через розовые очки. Потом было то, что было, и мне очень хорошо запомнилось каждое твое слово. Может быть, потому, что в эти минуты говорила всегда только я, а ты — редко и как будто сердясь на себя.

Да, старые стихи я забыла, а новых почти не читаю. Как-то попалась книжечка берлинского издательства «Мысль» — избранные стихи Эренбурга, Есенина, Каменского. Стихи Бальмонта показались мне основанными на недоразумении. Да, стоит задуматься над эпохой — крушение или созидание? Но видеть только себя в этих безднах и взлетах — неестественно для истинного поэта.

Ты зовешь меня домой? А муж? Сможет ли он вернуться? А Париж? Здесь я пристроена кое-как — вот и буду терпеливо ждать счастья! Я тебе писала о хедиве, но ты, кажется, пе получил этого письма. Он был замешан в заговоре против союзников, и ему пришлось скрыться в Турцию. Это — бесхарактерный человек, окруженный либо мошенниками, либо дураками. Я ему нравилась, он — старый ловелас, и к принцессам я была приглашена с весьма очевидной целью. Но сумела постоять за себя, и он оценил: пригласил меня вместе с мужем в Чибукли, и, кажется, скоро все управление имением перейдет в наши руки. Для меня это единственная (пока) возможность учиться.

Я обещала тебе наброски Стамбула, да никак не соберусь, весь день занята, работаю у Гордеева, он рисует меня, или ездим на этюды. Он живет в самом сердце старого Стамбула с его мечетями, пестрыми базарами, развалинами старинных бань и городских стен. Домишки, деревянные, без печей, несмотря на сырые, холодные зимы. И в богатых, и в бедных домах — мангалы, которые разнятся только по красоте и удобству. Турчанки ленивы, неразвиты, целыми днями сидят на низких диванах у закрытых решетками окон (чтобы кто-нибудь, боже сохрани, не увидел их с улицы) и ведут непристойные разговоры, ничуть не стесняясь присутствия детей. Одеваться не умеют, но зато отлично умеют раздеваться, как сказал мне однажды хедив. Бедность страшная, но никто, кажется, не обращает на нее внимания.

Сейчас здесь рамадан, то есть пост. Целый месяц правоверные не могут есть до заката солнца, курить, нюхать цветы, а уж о женщинах нечего и говорить. Грех смертный! С заходом солнца пушка возвещает час еды. Для богатых все это лишь средство превратить день в

ночь — до утра открыты рестораны, ходят трамваи и пароходы. А постятся и изнуряют себя бедняки, работающие с утра до ночи.

Дорогой мой, у меня к тебе просьба, которая, может быть, покажется тебе странной. Пожалей меня! Пиши о чем вздумаешь: о художественных выставках, о своей математике. Пиши о поэзии, присылай, хоть изредка, вырезки из газет. Но не заставляй меня по ночам лежать, рядом с мужем, с открытыми глазами. Помнишь сказку Андерсена:

Ах, мой милый Августин!
Все прошло, все прошло.

Завтра поеду в город, зайду на почту, может, найду весточку от тебя.

Аллах смаладык, Константин-эфенди!

Твоя Лиза-ханум.

28.V.22. Чибукли, Босфор.

Аркадаш джаным! (Милый друг!)

Пожалуйста, без лести по поводу моего беллетристического таланта! Пишу всегда второпях и на людях, потому что у меня отдельной комнаты нет. Вот тебе несколько набросков с натуры.

Кафе: низкие стулья — перед маленькой лавчонкой, в которую может войти только сам кафеджи. Над дверью — огромный национальный флаг. По стенам, на полках, маленькие чашечки и лубочные картинки, среди них (тоже лубочный) — портрет Кемаль-паши. Посетители — одни, закатив глаза от удовольствия и слегка покачиваясь, тянут дым через длиннейший (метра в полтора) мундштук, другие пьют густой кофе и играют в кости и шашки.

Собаки. Ты, должно быть, знаешь из учебника географии, что в Константинополе много собак? Мало! Те, легендарные, давно свезены на пустынный остров и съели друг друга.

Цыганки бродят по городу в пестрых лоскутьях, выкрикивая свое «ми-ирэ-э-эси», что значит, как я догадываюсь, «гадаю». Ослепительны их желтые и зеленые платки и синие, красные шальвары. Не подумай, что я изменила своей любви к русской красоте! Но как вернуться? Как?

Я уезжала из Ялты нищая, голодная, но ведь у меня была надежда добраться до Парижа, с головой уйти в жи-

вопись, доказать себе, на что я способна,— словом, не пропасть постыдно, задаром. В Ялте я была в постоянном душевном напряжении, я искала — нет, не «конечный смысл», как в восемнадцать лет, а хотя бы проблеск внутреннего оправдания. Я была не одна, рядом со мной был человек необыкновенный, понимавший, что ни для него, ни для меня нет в этой кровавой сумятице другого выхода, кроме полного отречения в поисках «вечного» в искусстве. В Ялте «грянул гром», а ведь «пока гром не грянет, русский мужик не перекрестится». Здесь над моей головой — ясное небо, гром не гремит, крестись или не крестись, этого никто не заметит. В Ялте я работала с утра до вечера, а здесь к холсту и краскам надо пробиваться — замужество, хлеб насущный, хозяйство. Конечно, буду пробиваться — ты меня знаешь.

Будь так добр, напиши в Пермь моей мачехе — я не получила от нее ответа. Живы ли мои? Ведь у меня четыре года нет от них ни слова. Адрес: Пермь, Вознесенская, 92, Елене Александровне Мартыновой. Я рассчитываю в этом месяце заработать — богатый турок заказал мне портрет жены. Если удастся, пошлю в Россию посылку. Буду писать сначала для себя, а потом придется приукрашивать. Ведь нужно выписать каждое кружево, каждый волосок — иначе не будет успеха и другие не закажут.

Я учусь читать и писать по-турецки — это очень занятно. Пришли мне стихи Ахматовой, если есть новые, я ее очень люблю. О Пильняке я читала хорошие отзывы, но достать еще не удалось. И не верь тому, что пишет о Турции Пьер Лоти. Надувательство! Здесь он имеет успех, потому что турчанкам кажется, что они похожи на его героинь.

...О, как тщательно ты исполнил мою просьбу — не писать о любви! Ты изложил мне даже теорию относительности — нарочно так сложно, чтобы я ничего не поняла? Боже мой! О прошлом можно, хоть изредка, два слова.

Твоя Лиза.

Это письмо было украшено рисунком турецкой кофейни: под древней стеной были разбросаны низкие зеленые и желтые стулья. Бородатый кафеджи в полосатой кофте и широких синих штанах разливал кофе; слева и справа от овальной арки сидели посетители в халатах и красно-

белых чалмах. Цветной карандаш осыпался кое-где. В рисунке была острота мгновенного впечатления, уверенность, небрежность — и талант, который сказался, может быть, в неизвестно откуда взявшемся свете, лениво озарявшем эту сцену неторопливого наслаждения.

20.V.22.

Сюда приехала Маша Снегова с отцом (прямо из Москвы, где жила последние полгода) и привезла мне старый, еще 1919 года, журнал «Изобразительное искусство», выходящий в Петербурге. Я прочитала его с изумлением. Передовая, да ведь она как будто целиком взята из какого-нибудь «левого» манифеста! «Необходимо культивировать новый угол зрения на мир — его живописно-пластическое восприятие, представляющее собою как бы хроматическую гамму цветовых ощущений». Каково! И дальше: «Нельзя поощрять то или другое направление в искусстве. Допустимо и полезно лишь сопоставлять их, предоставляя каждому право свободно развиваться». Подписываюсь! Именно свободно.

Не можешь ли ты достать мне следующие номера этого журнала? Я читала его, как сказку из «Тысячи и одной ночи». Почтовые марки работы Альтмана, серебряные рубли — Сарры Лебедевой, проект народного герба — Чехонина, а печати Совнаркома — Ивана Пуни. Великолепные репродукции Штеренберга, рельефы Татлина, живопись Малевича и Ольги Розановой, и все это в журнале, который издается, как напечатано на обложке, Отделом изобразительных искусств Народного Комиссариата просвещения! Я прочитала отчет этого отдела. Бог ты мой! Государственные мастерские в Воронеже, Пензе, Саратове, Твери и в твоей Казани. Десять районных художественных школ в Петербурге, больше двадцати в Москве. Что же все это значит?

Этот журнал прямо противоречит тому, что я слышала до сих пор о положении искусства в России, и более всего слухам о «произволе», то есть намерении правительства направить живопись по одному, строго определенному пути. Особенно удивил меня размах: в одной Москве собираются поставить сорок памятников, и среди них — Курбе и Сезанну! Как говорится, дай бог!

И еще одно: постарайся, как это ни трудно, объяснить мне, чем ты сейчас занят в науке. Когда-то ты мечтал из-

бавить человечество от власти слепого случая. Удалось? Я шучу, мой дорогой. Вот уже четвертый год, как Случай стал моим беспощадным властелином.

Так твоя работа напечатана в журнале Французской академии наук? Поздравляю тебя, мой дорогой. Ведь это — большой успех, не правда ли? Кто знает, может быть, мы когда-нибудь встретимся во Франции. Ведь я не только не отказалась от своей мысли добраться до Парижа, но даже пытаюсь найти эту возможность с помощью моего хедива.

4.VIII.22. Стамбул. Чибукли.

Милый друг, мне так приятно, что ты едешь в Петроград, — мысленно я с любовью иду рядом с тобой по его улицам, захожу в комнаты, где мы встречались и где я жила, получая твои короткие и беспощадные письма. Главное между нами всегда происходило в письмах — и происходит до сих пор, как это ни странно. Напиши мне подробно о своей поездке. Удастся ли тебе разыскать Леночку Горину?

Я сейчас всецело поглощена работой, и, кроме живописи, ничто больше не интересует меня. Годы уходят, никогда прежде я не боялась смерти, а теперь боюсь, потому что ничего не успела. Вот почему, милый друг, я ничего не могу сообщить тебе о младотурках и Кемаль-паше. Зато могу сообщить, что на Босфоре — воздух голубой, цвета кобальта.

Неужели можно надеяться, что ты поедешь за границу? У меня плохо на душе, и я жалуюсь тебе невольно. Да больше и некому! У меня так мало женского общества. Есть две-три знакомые дамы, но это совсем не то, что мне хотелось бы. Я выросла среди женщин, у меня потребность в женской сердечности. Даже внешностью девушки или дамы я могу любоваться без конца. Мне так часто приходится быть самостоятельной, и так от этого устаешь, так хочется быть слабой, под защитой. А я делаюсь все более мужественной, грубой.

Читал ли ты в «Эпопее» воспоминания Андрея Белого о Блоке? Я прочитала — и с ужасом поняла, что разучилась не только чувствовать, но и думать. Это — берлинское издание, я пришлю, если оно до вас дойдет.

P. S. Так журнал «Изобразительное искусство» больше не выходит? Почему?

27.IX.22. Чибукли.

Мой родной друг, давно не была в городе и не получала твоих писем. Последнее было из Ядрина. Ты прав, я и сама легче представляю себя в Ядрине, чем в Турции. Здесь как будто не я, а мой сон, от которого, увы, никак не очнуться. С моей надеждой на Париж придется, кажется, надолго проститься. Зато этой зимой я решила серьезно штудировать Византию — зарисовывать памятники, абонироваться в иностранные библиотеки и кое-что выписать, если будут деньги. У меня к тебе просьба: если тебе встретятся книги по старинной русской иконописи, приобрети их — для себя, а потом, если будет возможность, пришли мне, от всей души буду тебе благодарна. Говорят, что, когда Матисс был в Москве, он пришел в восторг перед старой иконописью.

Может быть, ты не согласишься со мной, но я не вижу ничего мистического в Блоке. Я ведь нерелигиозна и религию искала не от религиозности, а эстетически. Так я понимаю и Блока. Разница между ним и Соловьевым заключается, по-моему, в том, что Блок воспел земную красоту с молитвенной силой, а Соловьев — божественную — с силой плоти.

Вот я как будто должна быть довольна сейчас своей жизнью: хороший, любящий муж, живу много приличней других беженцев, могу даже работать «для души», часто счастлива «Марфинькиным» счастьем. А душа — цыганка, все ищет бурь, «как будто в бурях есть покой», толкает в сторону от Марфиньки, тоскует. И кто-то третий (в душе) все оценивает, взвешивает — осуждающе, строго.

Я переписываюсь с Шурой, и странное, противоречивое чувство вызывают во мне ее письма. Кто бы мог подумать, что моя хозяйственная, практичная, всегда со вкусом мечтавшая о семейной жизни Шура станет председателем какого-то женотдела, общественной деятельницей и т. д. О своей семейной жизни она пишет вскользь и в огорчивших меня «изящных» выражениях: «Мое существование украсилось рождением мальчика, маленького чуда». Но вот что поразило меня: она не только не ищет защиты в семейной жизни (как я), а как бы ставит ее вровень или даже ниже своего женотдела. Зовет меня в Симбирск. Я ответила, что охотно променяла бы Стамбул на любое село на Волге, если бы это было возможно.

Напиши мне, что такое «нэп». Практически, что изменилось в жизни? И почему ни слова о своем здоровье? Здесь многие страдают от малярии.

20.X.22. Чибукли.

Дорогой мой, если бы ты знал, как мне необходимо увидеть тебя, посоветоваться, поделиться своим горем — да, горем. Ума не приложу, как выйти из заколдованного круга, в котором оказалась по собственной вине. Напишу кратко, потому что сама еще ничего не знаю, ничего не решила. Кажется (и в этом вся беда), я полюбила художника, который (я тебе писала) работал со мной. Это человек сильной воли, упорный, и теперь к его упорству в искусстве присоединилось еще одно — то, о котором нетрудно догадаться и которому трудно противостоять.

Нас связывает многое, и прежде всего — глубокий общий интерес к искусству. Без него — не быть мне художницей, а если так — стоит ли жить?

Но я и мужа люблю, милого, бесконечно доброго, несчастного мальчика. Да, мальчика, ему двадцать шесть лет. Каждый день собираюсь сказать ему — и нет сил, хотя и знаю, что он догадывается, мучается. Как поступить?

Америка принимает участие в судьбе христиан, оказавшихся в Турции, и охотно приглашает людей искусства. Гордеев зовет меня ехать с ним. Но оставить здесь мужа, который глубоко привязан ко мне и несчастен, очень несчастен? Голова кругом, запуталась, нет тебя, и это самое страшное, потому что к тебе я, как Христос, пошла бы по морю, яко по суху. Ну, полно. Хоть выплакалась — и то полегчало! Спасибо тебе, мой дорогой, за рассказ о поездке в Лавру. А вот я здесь больше двух лет, а в Айя-Софии еще не была. Зато добралась, наконец, до мозаики Кахрие-Джами, древнего византийского храма, пострадавшего сперва от иконоборцев, а потом от турок. Делаю зарисовки, подкрашиваю их акварелью. Да разве передашь эту палитру, это контрастное соединение белых тонов с беловато-желтыми, светло-синими, сиреневыми, фиолетовыми или красно-коричневых с голубыми?

Живется нам пока недурно. Ну, а станут насильно выселять христиан — ходят такие слухи,— уедем. Не принимать же мусульманство! Здесь бы с деньгами пожить! Эхма!

Жду твоих писем, как манны. Спасибо за фотографии.

25.X.22. Чибукли.

Добрые два часа просидела я над твоим письмом, в котором ты ответил на мой вопрос о «нэпе». Я никак не могу взять в толк, кому и чему мешают открывающиеся чуть ли не каждый день новые магазины и рестораны? «Вместе с нэпом пришла идея погони за потерянным временем»,— пишешь ты. Пусть так. Но что же здесь плохого? Ведь этот «нэп» не упал с неба, а вызван какой-то необходимостью и, стало быть, обеспечен законом? Я прочитала в «Monde», что «Традиционная русская тройка возвращается на европейскую дорогу прогресса». Это хорошо или плохо? Ведь ты, кажется, считаешь, что «нэп» — это чисто русское явление?

Не поняла я и то, что «эти люди» (то есть нэпманы?) лихорадочно стараются забыть «катастрофу в собственном сознании». Словом, или я стала круглой дурой, или перемены в России можно постигнуть, только увидев их собственными глазами.

1.XI.22. Чибукли.

Милый друг, тороплюсь закончить акварель, да совершенно дело нейдет, вот и взялась за письмо к тебе вместо работы.

На днях была у доктора, серьезного старика, который меня напугал: подорвано, говорит, здоровье. Вы должны, говорит, жить растительной жизнью или, по меньшей мере, отказаться на время от всякой игры чувств и ума. Легко сказать! Зная, как жадно мне хочется жить, ты поймешь мое настроение. Как в Тартарене из Тараскона, во мне странным образом сочетались Санчо Панса и Дон Кихот. Первый хнычет и жалуется, а второй рвется вперед, хотя у него еще не зажили следы былых сражений. Ты догадываешься, о чем я говорю?

Найди мне где-нибудь в святцах историю Георгия Великомученика. Мой художник похож на него — византийский лик с огромными, полными тоски глазами.

Мы едем в Америку, может быть, скоро. Греки и армяне уезжают тысячами в день, боятся, что турки их зарежут! Русских пугают большевиками. Но многие давно сменили вехи (если было что менять), а многие случайно оказались в потоке беженцев и мечтают вернуться в Россию. Словом, решено! Год-полтора в Америке, а потом в Россию, чтобы не терять времени в поисках синей птицы.

Эта птица стала теперь реальностью для меня: хочу сделаться серьезным мастером в живописи. Не растерять бы только перышки по дороге!

10.XI.22. Стамбул.

Вот тебе один из моих этюдных дней. Шла по Буюк-базару, остановилась перед лавочкой торговца ватными одеялами. Словами этого зрелища не передать, а когда я попыталась «запомнить» его с помощью красок... Впрочем, по порядку. Только что я села, устроилась, как собралась толпа. Пришел полицейский и, вместо того чтобы ее разогнать, тоже стал смотреть да еще и похваливать: «Ай, руськи. Ресим япыйорсун? (Красками рисуешь?) Ай, карашо». Другие продавцы возмутились — толпа загораживала их лавчонки,— начали меня гнать. Я скандалила, не уходила, и кончилось тем, что меня едва не побили.

С базара поехала я в Кахрие-Джами — и, к своему огорчению, не нашла там старого муэдзина, который за 20 пиастров позволял мне работать в мечети. На этот раз был другой, незнакомый, который стал требовать с меня бакшиш (чаевые) в пять раз больше. У меня денег не было, и тогда он прогнал меня без церемоний. Взволнованная до слез, я отправилась в турецкое министерство искусств или что-то в этом роде — «Эвкав», где после долгого ожидания меня провели к какому-то мулле, который сидел в европейском кресле, подогнув под себя ноги. Раздосадованная, я рассказала ему про все эти «бакшиши». Он долго качал головой, причмокивая, а потом объявил, что муллы получат строгий выговор — за что, как ты думаешь? — за то, что они пускали меня в мечеть работать. В ответ на мое недоумение, возмущение — лишь прищелкиванье языком: «Ёк» — нет! Я расплакалась от злости, хлопнула дверью и ушла. Дикари! Теперь придется хлопотать через соседа, директора музеев. Я учила его детей рисовать.

Скоро выставка. Надо готовиться, а у меня все в этюдах и набросках. Ничего не удается продать, нечем и не на чем работать, хотя отказываю себе в самом необходимом. Хочется выписать книги — не могу. Просматривала ежемесячник «Новая русская книга» — у вас выходит много интересных книг. В особенности меня интересует журнал «Среди коллекционеров». Ты не можешь узнать, сколько он стоит на фунты или лиры? Вопрос риториче-

ский, но ты ведь знаешь, надежда никогда не оставляет меня. Пиши, мой милый. Спасибо за отчет о выставке. Понятно, что передвижники — уже не вчерашний день, а вчерашний век.

Чибукли. (Дата не проставлена.)

Знаю, что ты милый, знаю, что ты родной и вспоминаешь обо мне сегодня, в день моего рождения. Я благодарно радуюсь и тоже нежно думаю о тебе. Мне грустно сегодня. Годы идут, уходят силы, уже нет или очень мало той фокстерьерской жизнерадостности, которая некогда то радовала, то сердила тебя. Сейчас валит густой пушистый снег, что бывает здесь редко, очень холодно, и сад погибает. В особенности мне жаль одно дерево — японскую магнолию с крупными, хрупкими розовыми цветами. Я только что бегала в парк, чтобы набрать последний букет,— пишу натюрморт. Но вот беда: кончились белила, а пока соберусь купить — не будет цветов.

Я вернулась к мужу. Не могла я оставаться с мужем в одном городе, перейдя с одной квартиры на другую. Гордеев взял с меня клятву, а время шло, Америка уплывала из вида: я не могла ни жить, ни работать в такой неопределенности. Да и... Откровенно говоря, не хочу я быть его женой! Едва мы остались вдвоем, как мне смешными показались мои рассуждения о том, что я не могу жить без него (как художника), что мое будущее в искусстве всецело зависит от этого союза. Возможно, что это и так, но не способна я на эту ложь во спасение. Мы по-разному многое понимаем в искусстве. Для мужа моя живопись — пустое времяпровождение, для Гордеева — дилетантство. От каждого моего несогласия с ним он взрывается, а я упряма. Мужа я убивала — это не пустые слова,— да и себя не щадила, едучи в препротивную, нагоняющую ужас Америку. С первого дня начались угрызения совести, болезненная жалость к мужу (а он у меня — настоящий раджа по благородству чувств), преувеличение своей вины перед ним и т. д. Все трое измучились нравственно и физически. Кончилось тем, что муж забрал меня к себе, как в санаторий, когда мне уже ничего не хотелось. Влюбился снова (раньше было «семейное» чувство), ходит на цыпочках, умолял простить, хотя прекрасно знает, что не он, а я перед ним виновата. С Гордеевым больше не встречаюсь. Жалею и его, казню себя, но ничем не могу помочь его

горю. Что делать? Нет у меня настоящего чувства ни к тому, ни к другому.

Тебе, должно быть, наскучила моя мелодрама. Но я пользуюсь твоей просьбой писать о самом интимном. Женщина всегда нуждается в друге, а у меня его нет. Только ты...

Вчера всей компанией (Машенька Снегова с мужем и Саламатов — старый художник, с которым я познакомилась еще в Петрограде) ездили в Кахрие-Джами. Была прелестная экскурсия. Саламатов, как мальчик, спешил обо всем рассказать. Мулла, его старый знакомый, лазал по расшатанной лестнице, протирал мокрой тряпкой мозаики и фрески, и от их сказочного оживления мы трепетали и ахали от восторга внизу.

Я достала книгу Грабаря о русской иконописи. Фрески Кахрие-Джами напоминают большеглазых русских ангелов, архистратигов. Ах, скорее бы вернуться в Россию! С каким наслаждением порылась бы я в архивах! Так и вижу старенького богомаза, который, принимаясь за работу, открывает «Иконописный подлинник»: «Какова была богородица? Росту среднего, вид лица ее, как зерна пшеничного, волосы желтые, очи острые, брови наклоненные, изрядно черные, нос не краток, лицо ни кругло, ни длинно, но мало продолжено»,— и т. д. А «подлинник» этот откуда? Из Византии.

Спасибо за фотографии. Ты до странности не изменился с тех пор, как мы — сто лет тому назад — виделись в Казани. Не сердись, мой милый, но в твоем лице появилось что-то от маски — или это просто напряжение перед фотографическим аппаратом?

10.I.23. Стамбул.

Ты спрашиваешь меня, Костенька, о моем «круге», с кем я близка, есть ли у меня друзья? Круга — нет и не может быть, во-первых, потому, что мы с мужем живем в Чибукли, на отлете. А во-вторых, потому, что я приехала в Константинополь до эмиграции, своей охотой, стало быть, не разделила трагедии вынужденного бегства. Это сразу сделало разницу, которая чувствуется, иногда очень болезненно,— решительно во всем. Ну вот, например, если бы не Гордеев — нечего было бы и думать о моем участии в выставке русских художников. (Я случайно узнала, что он хлопотал за меня.) Конечно, я не одна, ведь я легко

схожусь с людьми. Меня полюбили в двух-трех турецких семействах, где я учила детей рисованию. Эти знакомства могли бы упрочиться, если бы я была уродлива или горбата. Увы, это не так! Русские женщины имеют успех в Стамбуле, а что касается блондинок или шатенок (к которым имеет честь принадлежать твой друг), то на них турки только что не кидаются или по меньшей мере смотрят опасно бешеными глазами.

У меня есть несколько друзей — не Саламатов и не Снеговы, хотя Машеньку я люблю. Но, во-первых, у них-то как раз и есть свой круг, к которому я не принадлежу, отчасти потому, что бедна, а они — богаты. (У Машеньки отец — видный химик, который постоянно и уже много лет живет в Париже.) А во-вторых... Ну, как бы тебе объяснить? Для русских Стамбул — лабиринт. Каждый мечтает выбраться. Но как? И куда? Все — *в разное*, потому что у каждого своя жизнь. А для Снеговых, для Саламатова Стамбул — пересадка. Поезд подан, поехали дальше. Я близка здесь только с Олей Сазоновой. Она москвичка, художница, занимается миниатюрой, совсем молодая (ей двадцать три года) — и навсегда (так мне кажется) потрясена гибелью мужа где-то на Сиваше, в последние дни войны. Никогда не жалуется, изредка обронит два-три слова. Красива, но как-то очень уж не по-земному. Такой безнадежности я в своей жизни еще не встречала. Она однажды сказала, что я полюбила ее от скуки и только потому, что мне удается иногда заставить ее вспомнить, что жизнь не кончена в двадцать три года.

Стамбул, 1923

Сегодня она решила остаться дома, чтобы набросать косогор с козами и каменоломней, который она каждое утро видела из своего окна в Чибукли. Турчанки в ультрамариновых платках убирали пшеничное поле на склоне. Косогор был уже другой, июльский, потерявший сходство с русским пейзажем, краски стали жестче, каменоломня погрубела, и во всем — даже в белых, рыжих и розовых козах — стало как будто меньше лазури. Но остаться дома было нельзя — и не только потому, что муж, которого вызвал к себе швейцарец, управляющий имением, мог в любую минуту вернуться и начался бы бесконечный, утомительный, убивающий ее своей деликатностью разговор.

Остаться она не могла, потому что вся надежда была теперь на Кахрие-Джами, на мозаику, на ее зарисовки — словом, на Византию.

Ехать было далеко, почти час до города, вдоль Золотого Рога, а потом еще час на трамвае. Но лучше не сокращать дорогу, как на прошлой неделе, когда, залуудившись, она попросила турчонка лет шестнадцати проводить ее в Кахрие-Джами, и он с очень дурными намерениями завел ее в развалины византийских стен: «Руськи, руськи, хайди, джаным. Иди суда». Хорошо, что она оказалась сильнее, чем он.

...Босфор. Выпуклая, льющаяся вязь серебристо-жемчужных и розово-зеленых мазков. Краски, растворенные воздухом, нежные облака пара над проснувшейся рекой. Рыбаки тянут сети: «Ой, лялла, лялла!»

Накануне она получила наконец письмо из России, от Кости, и теперь дорогой думала о нем. Письмо было нежное: «Так ты думаешь, что каждому из нас задан урок, который должно выполнить до своего смертного часа?»

Новый мост, парусные суда, алые, малиновые, черные, голубые! Что за тени на просыхающих парусах! Неподвижные матросы в фесках, обмотанных цветными платками.

«Милый мой, родной дружок,— она мысленно писала ему,— так уж рада твоей весточке, ведь почти три месяца не было от тебя ни слова».

...Турчанки в длинных черных платьях, с закрытыми лицами. Кривые переулки, кладбища, разбросанные среди домов. Темные, острые линии минаретов, падающих памятников, кипарисов. Арабский орнамент?

...«Часто, часто вижу себя в Казани. Да как же я могу позволить тебе не звать меня домой? Для меня Россия теперь — это ты».

Все движется, деревья свиваются в беспорядочном беге, между ними в тесных проходах — стоянки лодок, блики воды. Моне?

«Я всплакнула сегодня над твоим письмом, хотя и рада, конечно, если ты счастлив. Ты в Ядрине и влюблен, что может быть светлее, милее?»

И снова Моне. Мелькание разноцветной толпы под косыми, размазанными лучами солнца, бегущие пятна синих и лиловых теней.

«Это покажется тебе наивным, даже нелепым, но тайная надежда, глупая надежда, что ты любишь только меня,

никогда не оставляла меня. Может быть, потому, что все мои встречи с другими — это ты. И теперь, когда я спокойнее смотрю на свое прошлое, я вижу, что не было у меня большего счастья, чем наша любовь, со всеми ее унижениями и обидами — давно прощенными и даже чем-то дорогими».

Она была уже в Кахрие-Джами, слезы мешали ей приготовиться к работе, она стала искать платок, не нашла и сердито смахнула слезы рукой. Все еще смотрелось в мелькании яркого уличного света, сиянии воздуха и воды, а здесь была чистота, тишина, строгость, апостолы и пророки в медальонах, портики, под которыми, не опираясь, светло и стройно остановились святые. Что за чудо соединило этот архитектурный ландшафт, эти террасы и купола с ломающимися складками одежды, за которыми чувствовалось нервное, нежное, порывистое тело? Ей надо было добиться несуществования всего на свете, кроме работы. Но то, о чем думала она дорогой, не только не уходило, а поднималось снова и снова, пока она не заставила себя долго и холодно рассматривать сильные и светлые краски фона — она писала «Раздачу пурпура израильским девам». Тогда взялось, понеслось — и наступила наконец та блаженная пустота невиденья и неслышанья, в которой не было ничего и никого — только работа. Ни воспоминаний, ни сожалений, ни Ядрипа, ни Кости, ни внезапного изумления — я в Турции? — ни бедности, ни горечи, ни голода. Впрочем, голод напомнил о себе. Она съела припахивающий скипидаром бутерброд и вдруг полезла по шаткой лестнице, чтобы взглянуть на мозаику в косом ракурсе, не так, как она видела ее снизу. Ракурс надо было найти не выдуманный, а подлинный, то есть угадать зрение художника, построившего плоскость почвы не горизонтально, а вертикально — вот откуда это впечатление, эта бесплотность. Она пожалела, что не сделала еще два-три рисунка, прежде чем писать фигуры, и вдруг засмотрелась на одинокое эллинистическое дерево на другой мозаике, смело пересеченное скалами. Дерево было похоже на любимый ялтинский величавый платан, стоявший одиноко на набережной, хотя вокруг были магазины, театры, толпа.

С лестницы и ее работа выглядела совсем другой, стало ясно, например, что все — и линия и свет — должно стремиться к пятну пурпура в центре мозаики, а к тому пятну, которое она написала, никто и ничто не станет стремиться. И надо...

Она слезла с лестницы и стала решительно, но осторожно снимать пятно ножом.

Какие-то люди вошли в мечеть, и это было очень хорошо, потому что она рассердилась на них — позволила себе рассердиться, чтобы снова уйти с головой в работу.

Свет стал меняться почти неуловимо, не в воздухе, а в складках одежды, которую она писала, фиолетовый оттенок перешел в сиреневый, а жемчужно-серый... Это значило, что надо заняться чем-то другим. Было уже далеко за полдень, она с сожалением подумала, как мало сегодня успела, и, обернувшись, заметила, что давешние посетители стоят неподалеку и, не решаясь, может быть, подойти, смотрят на ее работу. Это была пожилая пара — он в длинном легком пиджаке и кремовых брюках, высокий, худой, седой, она — затянутая, играющая лорнетом, в чем-то кружевном, дорогом, ниспадающем, и тоже величественно седая.

— Извините.— Он подошел поближе, заметив, что Лиза обернулась.— Мадам говорит по-английски?

Она ответила, что говорит, но плохо, и предпочитает французский, итальянский, турецкий.

— Мне хотелось выразить свое восхищение вашей работой, мадам,— на хорошем французском языке сказал он.— Это не простое копирование, но тонкая интерпретация, которой ничуть не мешает близость к оригиналу.

Лиза поблагодарила.

— Так же, как и вы, я очень интересуюсь византийской живописью, мадам. Краски Джотто кажутся мне грубыми в сравнении с этой изысканной палитрой.

Лиза ответила, что ей, к сожалению, не посчастливилось увидеть Джотто в оригинале.

— Давно ли вы занимаетесь зарисовками Кахрие-Джами, мадам?

— Скоро два года.

— О! Признаюсь, впервые я вижу такую изящную и тщательную работу. Ведь это — новость, мадам. Насколько мне известно...

2.V. Чибукли.

Кто-то сказал, что жизнь — ряд пропущенных возможностей. Как это верно! Всегда я как будто чего-то жду, сижу на полустанках, по дороге в столицу, не раскла-

дывая вещей. А молодость проходит, да уже и прошла. Где же столица?

Вчера была на вернисаже нашей выставки. Какая скука! Я выставила две вещи, написанные темперой на мотивы мозаики Кахрие-Джами, и недовольна, злюсь, даже плачу. Все это еще так приблизительно, бессвязно. А учиться не у кого! Гордеев, конечно, головой выше других, и, работая, я не перестаю сожалеть, что подле меня нет теперь такого неоценимого советчика и друга.

Вчера на вернисаже я впервые встретилась с ним после возвращения к мужу. Оба были глубоко взволнованы. Я подала ему первая руку после нескольких секунд потери сознания. Он сел в углу на диване, наблюдая за мной. Страшно исхудал, глаза огромные, как на древней иконе, измученный и прекрасный. Меня тянуло к нему, как преступника к жертве, я подошла — и мы проговорили больше часа. Сначала было трудно, неловко, потом как-то сгладилось, он с упоением рассказывал о работе своей и моей. О прошлом — ни слова. Я слушала, точно снова была влюблена. А когда ехала домой — как будто еще раз родного похоронила.

Почему от тебя так давно ничего нет, мой милый? В последнем письме ты беспокоился за меня: «Мужчина любит в женщине себя, то есть создание своей воли и воображения». Какой же ты создал меня, дружок? Напиши, ведь, в сущности, я совсем не знаю себя. Между «знать» и «любить» — целая пропасть. И почему беспокоишься? Из-за мужа?

Большое спасибо за петербургские открытки. Я тебя ревную к Петербургу. Какой ты счастливый! И зачем все тебе одному? И Исаакий, и музеи, и белые ночи. И как досадно, что последние дни твоей поездки были испорчены приступом малярии! Кстати, говорят, что турецкие врачи лечат ее превосходно.

Да, мне смертельно хочется в Россию, но и страшно, ведь потеряны все знакомства и связи.

А теперь новость или, если хочешь, надежда. На днях, когда я работала в Кахрие-Джами, ко мне подошла почтенная пара,— как оказалось, весьма известный английский археолог с женой. Он заинтересовался моими зарисовками, поехал даже ко мне в Чибукли и в итоге предложил купить у меня несколько работ. В сущности, это почти решает вопрос о Париже, и деньги были бы уже у меня в кармане, если бы по своей глупой добросовестности я

не попросила у него еще несколько дней, чтобы кое-что улучшить, исправить. Теперь тороплюсь.

Сейчас понесу письмо на почту, спущусь к Босфору — он такой голубой сейчас. И воздух и горы — голубые, и дельфины кувыркаются в голубой воде. Я всегда хочу, чтобы ты видел то же, что я, и так же, как я. Нужно кончать. Скорее пиши, мой милый друг. Если будешь в Гаспре — это так близко от меня, только море переплыть. Неужели нельзя будет повидаться? Говорят, иногда берега Турции видны с вершины Ай-Петри.

22.V.23. Чибукли.

Милый, золотой друг, где же ты? Иногда мне кажется, что ты скоро приедешь в Константинополь, и я начинаю ждать тебя, волнуюсь, не нахожу себе места. Вот ты неожиданно вошел, у нас гости, я растерялась, бросилась на шею, потом представляю как лучшего друга, приехавшего из сердца России. Начинаются расспросы, ты отвечаешь остроумно, дельно. А я жду с нетерпением, с волнением, когда же мы останемся одни наконец! Потом мы едем в Стамбул, осматриваем Кахрие-Джами и турецкие мечети, музеи, бродим по базару, переулкам, пристаням! Эхма!

Угнетена, унижена своей беспомощностью, своей безнадежностью женского рабства. Вчера окончательно поняла, что мне надо жить одной, что я, со своей страстью к искусству, в тягость мужу, который предпочел бы, чтобы я бросила живопись или относилась к ней по-дилетантски. Наговорили мы друг другу резкостей, и под горячую руку я снова решила уйти от него. Но куда? Ни гроша, чтобы снять комнату,— зарисовки не кончены, а англичанин мой куда-то пропал — и нет друзей, которые могли бы приютить меня хоть на время. Заняла несколько пиастров, зашла за Олей Сазоновой, и отправились мы посидеть за кружкой пива, отвести душу. Мимо проходил Гордеев, я его сама остановила и пригласила. Говорили много, горячо. Он доказывал, что ничему нельзя научиться, копируя фрески, что для меня полезнее просто писать этюды Стамбула. Вот его соображения, над которыми я не перестаю размышлять: из византийского искусства один ход — в графику, да и то слишком сложный для меня, ученицы Добужинского, который, по его мнению, «не очень-то умел рисовать». И русская иконопись ничего не может дать со-

временному художнику. Самое сильное в иконе — контраст: нейтральный цвет ризы, и вдруг сильные красочные удары — пятна лица и рук. Воспользоваться подобным искусством, преодолеть его — невозможно. Это — путь к неизбежной стилизации, а заниматься стилизацией не только бесполезно, но вредно. Есть и другой путь — к символизму. Тут он обрушился на Петрова-Водкина, «которому кое-что удалось не вследствие, а вопреки его иконописному направлению». Вообще говоря, любые попытки стилизаторов лишь показывают «расстояние, отделяющее современного человека от любого, даже гениального богомаза»! И он обидно заметил, что в моих зарисовках отчетливо видна «несоизмеримость между копией и оригиналом». Между тем надо не копировать, а углубиться в себя, потому что главное в живописи — непосредственность. Он убежден, что очень скоро стремление к непосредственности и человечности надолго оттеснит «фокусников и рационалистов». «И я просто не могу понять, как вы — воплощенная непосредственность — не понимаете этого и мечетесь от одного направления к другому».

Он упрекал меня в бесхарактерности, доказывал, что жизнь в искусстве — подвижничество и что для подлинного художника признание — ничто. Я видела, что он меня все еще любит. Слезы накипали, но я и не заикнулась, с каким решением приехала в город. Расстались — и я была поражена, когда Оля, провожая меня, сказала, что я сама себе не верю: «Ты все равно вернулась бы к мужу, измучившись сознанием вины».

Она поехала со мной в Чибукли и всю дорогу доказывала, что я просто не вижу Гордеева, как ничего не видят в первую минуту, выходя из темноты на свет. «Эти карие глаза с желтоватыми белками, эти черные прямые, чуть ли не конские волосы, эти тесные, без блеска, белые зубы! Да он и дороги ради тебя не перейдет!»

Я вернулась расстроенная и не спала ночь, думая о том, что прав был милый, добрый Суренянц, который говорил, что я должна жить одна, потому что в любви всегда буду жертвой. Его смерть для меня — огромная утрата. Ведь он буквально «подобрал» меня, когда я и физически и нравственно погибала. Мы вели с ним нескончаемые разговоры, мы оба чувствовали, что выигрываем у судьбы эти вечера в Ялте, отрезанной от всего мира. Айя-София, до которой за два года жизни в Константинополе я так еще и не добралась,— ведь я видела ее воочию в

часы наших разговоров, древнюю, еще не изуродованную турками.

А потом это позорное лето, когда немцы заняли Ялту, и Вардгес Яковлевич учил меня *не видеть* всего размаха этого чудовищного, уродливого хамства. Раздутые от самодовольства офицеры небрежно и важно прогуливались по набережной с дамами в необъятных шляпах. Только и слышалось: «Мо́ен», «Мо́ен»,— как мурлыканье откормленных котов.

О, как хотелось мне тогда получить от тебя хоть два слова! Мы очень, очень часто говорили о тебе. Я ждала, он доказывал, что твои письма не могут дойти, что между нами не один и не два фронта. Я все-таки жда́ла.

А наши разговоры о цели искусства не как предмета поклонения, а как сопричастности души с высшей жизнью! Он любил цитировать Фета:

Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет уходя.

Вот этот огонь бессмертной души, уходящей в ночь и плачущей, уходя, я чувствую, думая о моем покойном друге.

У меня появилась маленькая надежда уехать в Париж. Хлопочу о визе. Обещан вызов, а там — будь что будет. Обнимаю тебя.

Твоя Лиза.

Здесь между письмами была вклеена слегка пожелтевшая фотография: перед мольбертом, на котором стоял начатый картон, держа кисти в руках, сидел художник, без сомнения, Гордеев, а в центре — серьезная, причесанная на прямой пробор, в свободном, легком платье, оставлявшем голыми руки и шею, ему позировала Лиза. В том, как она держала руки, легко соединив узкие, длинные кисти, в покорности, странно противоречившей гордому повороту головы, в линии шеи, плавно переходящей в плечи, во всем была скромная женственность — ее слабость и сила. И такая же, схваченная несколькими линиями, она была намечена на картоне.

Солнце светило в спину художника, и контур его по-

вернутого в профиль лица был расплывчат, неясен. Что-то офицерское было в небрежности, с которой он сидел, скрестив ноги в высоких сапогах.

Москва, Большой Палашовский, 24, квартира 6.

Лизочка, родная, ты просила рассказать, какой теперь стала Ялта. Для этого необходимо было вспомнить, какой она была,— и, перелистав наше с тобой эпистолярное наследие, я наткнулся на твое «многотомное» письмо с прологом и эпилогом. Не обладая твоим беллетристическим даром, все же воспользуюсь этой, весьма удачной, как мне кажется, формой. Так вот:

Пролог

Если прежде Ялта состояла из татар-проводников, набережной и магазинов, то надо сказать, что проводники исчезли бесследно. Набережную трудно изменить, поскольку она слагается из неба, берега и моря. Однако купальни заброшены и пустуют, мужчины и женщины, разделенные дырявым забором, купаются в чем мать родила, а потом в трусах и бюстгальтерах идут освежиться в татарский подвальчик возле Желтышевского пляжа.

Том первый

Как явление, неизвестное в прежней Ялте, следует прежде всего отметить беспрестанное постукивание, которое производят козы и местные дамы. Первые постукивают копытцами— что вполне естественно, а вторые — деревяшками. Козы, как выяснилось, были приобретены у татар в голодные двадцатый и двадцать первый годы, с неслыханной быстротой расплодились, и теперь их (коз) можно увидеть не только на полянах и заброшенных виноградниках, но и во дворах центральных улиц. Деревяшки с ремешками, вроде сандалий, остались с тех же времен. Кстати, они упоминаются в известной песенке «Ужасно шумно в доме Шнеерсона». Празднуется свадьба, и «невеста вся разоделась в пух и прах: фату мешковую надела, и деревяшки на ногах».

Другое нововведение — серьезное, и называется оно «Народный университет». Постоянного помещения у него

нет, и лекции читаются в Советской трудовой школе (бывшая мужская гимназия) и в Алексеевской аудитории. Я выслушал одну, единственно из любопытства. Читал древний старичок профессор Деревицкий, и хотя он по-детски шепелявил, рассказывая об «этрусских вазах»,— лекция была интересная, и слушали ее с интересом.

Кинематографы процветают, хотя «Электробиограф Дрона», по-видимому, прекратил свое существование, уступив место «Кефиру по Мечникову», которым торгует румяно-бородатый мужчина в русской рубашке навыпуск. «Одеон» действует, а в «Олимпе» гастролирует театр миниатюр «Табакерочка Полишинеля», причем каждая программа называется «понюшка» — первая, вторая, третья и т. д. Я был, кажется, на девятой «понюшке». Шла миниатюра «Шумит ночной Марсель»: «В перчатках черных дама» вошла в притон и смело приказала служанке «подать стакан вина»; потом появились старый скрипач, апаш, и под звуки танго на сцене происходило то, что так волнует зрителей в романсе. Потом конферансье с большим успехом исполнил романс: «Капли испарений катятся, как слезы».

Цирк — новость, хотя бы по той причине, что на его афишах напечатано огромным красным шрифтом «Корова». Это значит, что вместе с обыкновенным билетом вручается лотерейный, и после представления разыгрываются кастрюли, чашки и, наконец,— корова, которая торжественно выводится на арену. Я выиграл пепельницу из ракушек. Среди зрителей было много татар, для которых сам цирк был новостью, не говоря уже о возможности выиграть корову.

Магазины, гостиницы и базар. Первые, как и в других городах, отличаются прежде всего тем, что раньше на вывесках аршинными буквами изображались фамилии владельцев. Теперь на первый план выступила «фамилия» товара, написанная белилами поперек витрины, а владельцы прячутся где-то в уголке, не привлекая внимания. На иных магазинах — железные ставни, но многие открыты, и торговля идет живо, хотя чебуречных, кафе и ресторанов гораздо больше, чем магазинов,— и кормят отлично.

Над одним из ресторанов висит большая вывеска «Бон аппетит», а над чувячной — грозный лев напрасно пытается разорвать чувяк. Объяснение: «Разорвешь, а не распорешь». В сапожных мастерских можно заказать коричневые остроносые туфли «джимми» — и я бы сделал

это, если бы, как говорят крымчаки, у меня хватило «башлей».

Не знаю, были ли при тебе чистильщики обуви? Теперь они встречаются на каждом шагу, называют себя (с гордостью) ассирийцами и чистят обувь пастой «функ», ароматной, как помада.

Том второй

У подъезда гостиницы «Ореанда» стоит бородатый швейцар в ливрее с серебряными галунами. Упитанные мужчины в хороших костюмах и дамы, одетые по последней моде, с драгоценными кольцами, брошами и серьгами, подъезжают к ней на автомобилях — многие прямо из Симферополя,— все публика, которой ничего не стоит дать вышеозначенному швейцару на чай червонец. Это и есть нэпманы, которыми ты интересовалась.

На базаре можно купить все, что угодно: свежее мясо, рыбу и птицу. С Украины везут овощи — помидоры, огурцы, капусту. Татары разносят в корзинах фрукты — черешню, клубнику, виноград. На базаре я был несколько раз.

Порт, без сомнения, очень изменился, почти пустует, а каботажная пристань, которую ты некогда так живо описала, по-видимому, осталась такой же, хотя турок на ней ты больше не увидишь. Суда по-прежнему привозят муку, фураж, цемент. Арбузы и дыни сложены в громадные, прямо-таки египетские пирамиды. Арбуз можно купить когда угодно — даже ночью. Улицы, понятно, переименованы (но ялтинцы называют их по-старому): «Дворянская» — в «Советскую», «Мееровская» — в «Володарскую», а «Кутузовская» (!) — в «Свердлова». Гостиница «Франция» называется теперь «Учан-су», а «Метрополь» — «Парижская Коммуна».

Том третий

Высокий человек лет пятидесяти, с усами и черной бородой, в толстовке с галстуком, быстро ходит по городу.

Через плечо — голубой ящик на ремне, на ящике надпись: «Горячие пирожки Тодорского». Время от времени он останавливается и громко кричит: «Пира-а-жки! Кура-абье!» Это — в прошлом широко известный юрист То-

дорский. Курабье я не пробовал, пирожки у него покупал. Когда однажды попытался заговорить о прошлом, «заглянув за пирожки»,— наткнулся на вежливую, непроницаемую, каменно-равнодушную стену — если можно так сказать о стене.

Генерал Петров. На углу набережной и Морской улицы — горшочки с цинерариями и флоксами. Есть и срезанные цветы. Продает их пожилой, с бравой выправкой человек с подстриженной ежиком седой головой. Лицо уверенное, спокойное, волевое. Это — бывший генерал от инфантерии Петров, отказавшийся (по слухам) служить в Красной Армии, несмотря на самые лестные предложения. Мы с ним много говорили, однако преимущественно о местных делах. Говорят, в Ялту приезжает какой-то известный режиссер, который будет ставить картину «Не пойман — не вор». Не пробовал ли я счастья в рулетке Тутебадзе — в последнее время играют крупно, в особенности какая-то приезжая, скромно одетая пожилая дама. Был ли я на диспуте «Есть ли бог?», в котором участвовал сам митрополит Введенский? Но когда я спросил его: видел ли он «Приключения мистера Веста в стране большевиков»? — он иронически улыбнулся и заметил, что уход за цветами мешает ему, к сожалению, посещать кинотеатры.

Все это осколки империи... Среди них есть несколько сумасшедших, о которых мне не хочется писать, потому что они как-то оскорбляют впечатление от милой Ялты с ее узкими крутыми улочками, с ее увитыми глициниями домами, с изящными железными калиточками в стенах из серого камня — той Ялты, которую ты любишь, а я полюбил.

Кстати, величественный старый платан по-прежнему стоит на набережной, опровергая пушкинскую мысль о «равнодушной» природе. Он как раз удивительно неравнодушен. Мне показалось, что он обладает способностью памяти и, может быть, когда-нибудь расскажет потрясенному человечеству историю Ялты — от генуэзцев до борьбы за Крым.

Теперь о твоем учителе и друге Вардгесе Яковлевиче Суренянце. Один местный старожил рассказал мне, что его хоронила вся интеллигенция Крыма. Прощальное слово говорил знаменитый артист Ваграм Папазян. Сохранился будто бы даже рисунок какого-то художника, изображающий эту печальную торжественную процессию. Во-

образи же мое удивление, когда оказалось, что этот старожил не мог показать мне, даже приблизительно, где находится могила Суренянца: где-то рядом с армянской церковью, которую он расписывал. Он заведовал (в 1921 году) отделом в Союзе работников изобразительных искусств и жил в доме доктора Фаворского. Я пытался найти людей, знавших его, но увы... Поиски мои внезапно оборвались. Вернувшись из экскурсии в Никитский сад, я заболел малярией...

(Письмо не закончено и не отправлено. Без даты)

29.V.23. Чибукли.

Я часто сознаю, что нет у меня другого бога, кроме живописи, что все другие стремления мои, в сущности, низменны. Эта мысль мешает мне, унижает меня. Хорошо я поступаю, кажется, только для других, боясь, чтобы меня не приняли за эгоистку или просто за дуру. Теперь я стала чаще сознаваться в этом (перед собой, ведь ты — далеко) — и это почему-то помогает мне работать лучше, чем прежде. Может быть, это и есть «бог» или «рука», которая ведет меня — не знаю, к совершенству ли, но уж во всяком случае в сторону от идолопоклонства. Это выглядит смешно — не правда ли? — отказываться от признания, которого нет, и от благополучия без гроша в кармане. Не знаю, прав ли Гордеев, доказывая бесполезность моего увлечения Византией, но он прав в другом, более важном: если не воспитать в себе готовности к самоотречению, к подвижничеству,— не стоит и браться за дело. В искусстве есть свои «brasseries», у которых вполне добропорядочные хозяева, и нет ничего проще, как работать в такой «brasserie», потихоньку греша и прилично зарабатывая на жизнь. Вот я, бездомная, нищая и, в сущности, совершенно одна, но я знаю, что все это — *до* холстов, которые я еще напишу. А когда начнутся холсты — все пригодится, и даже то, к чему присуждена душа, как присуждена она к разлуке с тобой.

Тебя, должно быть, удивляют мои нравственно-философские размышления? Но душа как-то сама «на солнышке» зреет. Хрупкое растение, и ох как трудно вырастить его одной, без тебя!

Вот так-то, мой друг. Гордеев на днях едет в Париж. Ему повезло, он получил визу. Но он — бывший офицер

русского корпуса, воевавшего с немцами в составе французской армии. Может быть, мы с ним там встретимся. Было бы хорошо... Написала и подумала: хорошо ли?

Ради всего святого, ответь мне. Я не могу больше ждать, беспокоюсь и думаю о тебе беспрестанно. Здоров ли ты? Где ты? Почему такое бесконечное молчание? Прикладываю 50 пиастров на марки — может быть, у тебя так осложнилось материальное положение?

5.VI.23.

«Греховодник отче Константине! На женску красу не зри, ибо та краса сладит сперва, а после бывает полыни горше. Не возводи на нее очей своих, да не погибнешь. Беги от красоты женской, как Ной от потопа, как Лот от Содома. Ибо кто есть жена? Сеть, сотворенная бесом, сатанинский праздник, покоище змеиное, болезнь безысцеленная, коза неистовая, ветер северный, день ненастный. Лучше лихорадкой болеть, нежели женой обладаему быть: лихорадка потрясет да отпустит, а жена до смерти иссушит. Кротима — высится, биема — бесится. Всякого зла злее жена».

Все вышеизложенное прописано тебе в назидание. А то, вижу, твоя блондинка совсем тебя полонила...

Я уезжаю числа восемнадцатого в Париж. На днях получаю визу, а теперь целые дни работаю, заканчиваю Кахрие-Джами. Наконец-то на новые позиции! Пиши мне туда — пока на Гордеева (103, Rue de Rennes, Paris VI, для меня). Но на всякий случай и сюда, может быть, задержусь и буду волноваться, не получая твоего ответа. Пиши же скорее! Твой маленький друг *Лиза.* (В объеме! Похудела ужасно!)

10.VII.23. Чибукли.

Ты спрашиваешь, что меня удерживает? Нет, не муж. Мы спокойно решили разойтись. Облегчает разлуку и то, что он начал кем-то увлекаться, да и очень занят работой по имению хедива. Он — человек деловой, твердо решил разбогатеть, и я убеждена, что когда-нибудь он достигнет цели. Тихий, медлительный, но цепкий, своего не упустит и видит его даже там, где другие ничего не видят. Ко мне он переменился в том отношении, что я ему теперь не очень нужна и даже, со своим сумасбродным характером, немного мешаю.

Я, конечно, очень хочу уехать в Париж, но как-то страшно сейчас, перед зимой, без гроша, без обуви и одежды. Спасибо, мой дорогой, за твое намерение мне помочь. Может быть, и в самом деле ты мог бы найти кого-нибудь в Париже, кто ссудил бы мне небольшую сумму или устроил на работу? Беда в том, что я все забыла — машинку, математику и т. п. Есть у меня еще надежда на хедива. Он сейчас в Париже. Хочу попросить у него взаймы года на два. Это сложно, потому что я нравлюсь ему, о чем не должна догадываться его ревнивая метресса. Иными словами, надо говорить с ним так, чтобы он не посмел сделать обидного предложения, потому что в таких случаях у меня все летит вверх тормашками. Видишь, какой талант Шехеразады мне нужен! Когда я учила принцесс, он приглашал меня постоянно в сопровождении негров на женскую половину, и мы вели наедине бесконечные разговоры. Боясь, что он начнет за мной ухаживать, я длинно рассуждала о политике, в которой ничего не понимаю, и пугала его романтическими похождениями русских женщин в Стамбуле. Впрочем, его не очень-то испугаешь! Тогда все кончилось благополучно. Теперь — сложнее. Мне надо увлечь его живописью, которой он нисколько не интересуется. Удастся ли? Кто знает. Нет, судьба моя странная. Где мне удается, я не беру, а где трудно — лезу на рожон. А хочется мне, как ты, наверное, догадываешься, написать портрет не хедива, а твой.

Да, у меня были и будут упадки настроения, и не брани меня за них. Я женщина, одной мне трудно, нужна крепкая дружеская рука, нужна ласка. Живу «рефлексами», как ты однажды выразился. Одни говорят, что я — Дон Кихот, другие — что я не прилаживаюсь к жизни, а жизнь стараюсь приладить к себе. Практический мир я, в сущности, не знаю. То, что всем легко, мне дорого достается. Вот и сейчас многие просто получают помощь от Красного Креста на отъезд в Америку. Правда, до сих пор я не пользовалась благотворительностью. Но когда я собралась, мне отказали — и как-то очень обидно.

Конечно, я не обвиняю этот самый Красный Крест, все благо, что сделано для русских, но мне известны случаи, когда те, кто помогал нуждающимся, встречал в ответ лишь ложь и воровство. Так что обида не личная, а все же больше я никуда не хочу обращаться.

Пиши, миленький.

20.VII.23.

Все еще на старых позициях! Но уже с визой и билетом в кармане. Очень трудно без денег. Случайно продала кое-что из «Византий». Муж взял в долг, чтобы помочь мне, и вот почти без гроша — в Париж!.. «Царство небесное берется силой». И оттуда же: «Будьте как птицы небесные».

Много дела, еду сегодня в Кахрие-Джами, кое-что надо проверить. Ищу покупателей. Хлопочу о письмах к Шарлю Дилю и другим известным французским византинистам.

Случается, что, расставаясь, тайно чувствуешь, что любые уверения: «Бог даст, еще увидимся» и т. д.— звучат безжизненно, пусто. Так было у нас с милой, ставшей мне близкой Олей Сазоновой. Условились писать, поплакали, а потом она сказала, что для нее — времени нет. То, что однажды с нею случилось, уже никогда и ни при каких обстоятельствах не повторится: «Мы встретились — и слава богу! И не нужно себя обманывать, что встретимся снова. Разве что в день воскресения мертвых». Она верит, что с покойным мужем встретится в этот день. Я передала ей все мои уроки рисования в турецких семействах и отговорила, на прощанье, идти работать таперщей в кино. Беру с собой несколько ее миниатюр — превосходных. Авось удастся продать в Париже.

В детстве, когда уезжали с дачи, тоже было много дела: нужно было перецеловать все любимые деревья, посидеть в каждом заветном уголке. И Стамбул с его дикостью, с его поэзией, с его ленивой чувственностью, с его бестолковой, разноцветной жизнью я покидаю не без сожаления. Я легко забываю языки, а с языком теряешь душу народа. Как ни странно, но я была здесь не только несчастна, но и счастлива. С тех пор как мы расстались, мне иногда трудно бывает отличить одно от другого. Как хотелось бы мне вернуться сюда с тобою! Были бы деньги, я не торопилась бы с отъездом, тем более что еще не закончила Кахрие-Джами. Но вот что важно: мой англичанин не только нашелся, но предложил мне издать в Лондоне альбом моих зарисовок. Это, конечно, журавль в небе, но ведь без надежды не проживешь? А пока, вместо того чтобы воспользоваться ясными днями для Кахрие-Джами, я вынуждена писать для продажи. Но об этом немного подробнее. Союзники ушли второго, а шестого, в день возвращения турецкой армии, Константинополь украсился арками, флагами,

цветами. Перед выстроившимися войсками резали овец. Язычники! А заодно, по-видимому, собрались резать всех армян и греков, а при случае и русских. Пока дело обошлось массовыми арестами, но резня висит в воздухе, одной на улицах показываться опасно. Ты спросишь — при чем здесь мои материальные дела? А вот при чем: в Константинополе содраны все вывески на иностранных языках. Надо писать новые, по-турецки. Впервые на моей памяти спрос в живописи превысил предложение. Пишу и я. Ну что ж! Те же натюрморты, только с фамилией, а то и с портретом хозяина. Новый жанр! Впрочем, не такой уж и новый, если вспомнить о Тулуз-Лотреке.

Сегодня и у нас в имении была «революция». Рабочие требовали прибавки, и наш директор-швейцарец не уступал, скрывая от хедива истинное положение дел. Дрянь ужасная, эгоист и дурак.

Целую нежно. «Гюль-гюль» — улыбнись! Так, прощаясь, говорят турки.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

14.X.23.

Милый друг, я уже четыре дня в Париже. Еще нигде не была, потому что сразу же нашлась срочная работа по росписи кабаре. За десять дней — шестьсот франков, то есть целый месяц сносного существования. Живу, стало быть, двумя чувствами: недостойным — наживы и достойным — надежды. Работаю с утра до поздней ночи. Пишу тебе в постели. Пока всех благ.

Твоя Лиза.

20.X.23. Париж.

Терпение, мой друг. Зато получишь длинное письмо. Я намеренно пользуюсь телеграфным слогом, чтобы не увлекаться. Впрочем, я еще почти ничего не видела. Пока дела идут хорошо. До скорого письма. Дивно красив Париж и адски интересен!

2.XI.23. Париж.

Наконец-то собралась я написать моему дорогому другу!

Выехала из Стамбула, продав кое-что из своей «Ви-

зантии». Шли прямым рейсом без заходов до Марселя. Билет у меня был палубный, началась качка, потом шторм. Я промокла до нитки, мерзла отчаянно, и все мои вещи промокли — волны захлестывали палатку, в которой я почевала. Измучилась до полусмерти, до сих пор не могу оправиться, исхудала ужасно и серьезно опасаюсь за свои легкие. Под тем же ледяным ветром, под дождем пополам со снегом добралась до поезда в Марселе и утром была в Париже. Нашла Гордеева в крошечной комнате на седьмом этаже с окнами на Монпарнас. Доехала до него в метро (подземная железная дорога). Он уступил мне комнату, сам перебрался к товарищу, и я пролежала два дня без сил, спускаясь только к обеду. Потом разыскала хедива, которого застала с метреской накануне отъезда на юг Франции, где он собирается провести зиму. Подарила ему две акварели чибуклийского парка, за что получила 300 франков — на пальто, как мне намекнула метреска. И действительно, в Стамбуле, где много нищих, мой балахон не производил такого сильного впечатления, как в Париже. После подобной любезности я не решилась, разумеется, попросить у хедива 25 тысяч франков взаймы на два года, как было решено в Стамбуле. Бог с ним!

Потом расписывала кабаре в стиле Ватто по эскизам Гордеева — тяжелая работа! Кабаре ночное, шикарное, на Place Pigalle, открывается в полночь — наслушалась я тут об этих кабаре! Когда мы заканчивали, Гордеев сжалился надо мной и отпустил на полдня в Лувр. Ну что рассказать о нем? Я бродила по бесконечным залам, замирая от восторга, что я — в Лувре, и останавливаясь лишь по вдохновению. Но вот наткнулась на Леонардо и Рафаэля. Перед первым захватило дух, а перед вторым меня физически затрясло, и я долго не могла унять морозной внутренней дрожи. А Джоконду не заметила, может быть, потому, что день был пасмурный, совсем петроградский. И представь себе, даже этот молниеносный взгляд «с высоты Эйфелевой башни» (которую я еще не видела) придал мне много радости и силы — так смертельно, так остро захотелось работать!

Была несколько раз в знаменитой «Ротонде» и не нашла ничегошеньки интересного. Разношерстная публика сидит в духоте, тесноте и шуме деловых и неделовых разговоров. После чибуклийской тишины этот ад меня ошеломляет. Я предпочитаю проводить вечера дома.

С мужем мы расстались нежно. Решили испытать судь-

бу, но я уже о нем тоскую и хочу выписать сюда, если у него нет других планов. Боюсь только, что оттолкнет его моя неустроенная, богемная жизнь. Да и Гордеев — большая помеха. Между нами — дружба, но прошлое еще слишком близко. Он станет ревновать, хотя сейчас увлечен другой, так что ревную я, главным образом потому, что эта женщина — художница (из Швейцарии) и моложе меня. Характер у него бешеный, невыносимый даже и в дружбе, не говоря уже о семейной жизни. Но все же мы дороги друг другу. Хоть бы он женился поскорее! Ах, как надоели драмы!

26/27.XI.23. Париж.

Ты жалуешься, что я мало рассказываю тебе о Париже. Так вот же тебе день св. Екатерины, о которой мне известно только одно: она была покровительницей старых дев. Но празднуют этот день «катринетки», то есть отнюдь не старые, а молодые девы.

В полдень, после завтрака (на работе), все продавщицы модных (и немодных) магазинов, швеи и модистки высыпают на улицы и бульвары, а за ними, разумеется, весь Париж. Одеты они в фантастические цветные костюмы, одни едут в такси, размахивая трещотками, палками и бумажными лентами, «тещиными языками», другие проталкиваются, хохоча и распевая, по тротуарам. Мужчины не зевают, ни одна хорошенькая катринетка не останется без поцелуя, вырывается, визжит — и довольна. Все — друзья, все знакомы.

Часам к трем начинается новое шествие — студенты в халатах, с нарисованными рожами, в цветных цилиндрах, котелках и кепи, выходят из Латинского квартала и присоединяются к катринеткам. Многие в этот день наряжают детей в разноцветные костюмы, даже на младенце в колясочке можно увидеть цветной колпак. На улицах продаются дешевые салаты, засахаренные каштаны, искусственный флердоранж. А вечером, после восьми, начинаются балы, танцуют чарльстон, тустеп, танго и выдают призы за самые оригинальные костюмы.

И вместе с тем Париж задумчив, печален. Война кончилась пять лет назад, но для многих она еще продолжается. В редкой семье не было потерь, и они не забыты. Не редкость и до сих пор встретить молодую женщину в трауре по мужу, погибшему на Марне или под Верденом.

А сколько инвалидов, сирот, обездоленных матерей! Как часто и в праздничные дни видишь в окне бледное, скорбное лицо, выглядывающее из-за отогнутой занавески.

Не помню, писала ли я тебе, что начала ходить в Академию — это лишь громкое название самых обыкновенных мастерских. Приходишь, платишь за сеанс — и нагая натура к вашим услугам.

Ты спрашиваешь, как я получила визу. Очень просто: Гордеев достал мне фиктивный контракт, что я принята на работу ретушером. Не устроить ли мне тебя в Сорбонну? Ах, милый, как грустно шутить!

11.XII.23.

Время летит, как метеор, не успеваешь оглядываться. Спасибо, мой дорогой, за ласковое письмо, за твои заботы. Гордеев опять взял меня в помощницы — роспись нового ресторана, на этот раз в японском стиле, клеевой краской. Благодарю небеса, что не сделалась его женой. Ты знаешь, я люблю природу, но не в таком диком, казацком воплощении.

Снова была в Лувре и, путешествуя из столетия в столетие, думала о том, что подлинное искусство всегда опиралось на нравственную необходимость и, стало быть, строилось по законам внутренней жизни. Почему художники всех направлений вот уже четыре столетия ищут (и находят) все новые тайны в Рембрандте? Если мы с тобой когда-нибудь увидимся (не перестаю надеяться) в Париже, я поведу тебя в Лувр, прямехонько к его автопортрету, с кистями и палитрой (1660 года) — к старому человеку, у которого очень хочется спросить, как ему удалось довести цвет до такой сложности, что человеческий глаз не в силах уловить всю бесчисленность переходов. Как он добился того, что на каждом сантиметре холста происходит медленное, но непрерывное изменение тончайших полутонов? И самое главное — каким образом этот мерцающий цвет передает историю его жизни, его страданий, которые так близко касаются нас, точно они были нашими разочарованиями, нашими надеждами и страстями?

Едва ли в Академии, о которой я тебе писала, найду ответ на этот вопрос. Мне нужен учитель —не Гордеев, который в Стамбуле горячо доказывал, что для подлинного художника нет ничего опасней стилизации, потому что она, как «царская водка», вытравляет искусство, и кото-

рый сам энергично занялся стилизацией в Париже. И было бы еще полбеды, если бы он относился к этому занятию должным образом, то есть с материальных позиций. Но он работает с увлечением, совершенствуется быстро, и ему ничего не стоит перейти от Ватто к Хокусаи. А для меня эта ресторанная работа на заказ — мучительна, унизительна. Пишу для себя только в редкие свободные дни, и, странно сказать, именно эти полуголодные дни украшают мое существование.

И неправ был Гордеев, утверждая, что мне ничего не дала моя «Византия». Она помогла и помогает понять смысл единства, стиль, неразрывный строй картины. Не знаю, удастся ли мне добраться до него в собственной работе, но я вижу его (или его отсутствие) у других, а это важно, это очень важно!

Что такое Камерный театр? Встретила здесь молодую норвежку, которая в восторге от Камерного театра, хотя ничего не понимает по-русски. Целую, целую. Что такое Вхутемас?

Пиши, дорогой, я буду отвечать аккуратно. Очень рада, что ты так подробно рассказал мне о своей Наде. По описанию она мне очень понравилась, передай ей мой привет.

28.XII.23. Париж.

Мой родной, нежный друг, получила два твоих письма, одно — с упреками, а другое — о Камерном театре. Лежу в постели, грипп, ужасная погода. После юга мне здесь трудно, я не привыкла кутаться и бояться простуды, а в Париже она подстерегает на каждом шагу. Трудно жить на седьмом этаже, в поднебесье, в маленькой комнатке: воздух прокопчен, а я люблю дышать всей грудью, без запрета.

Когда-то, в молодости, ты говорил мне, что занялся математикой как могучим средством для избавления человечества от власти случая. А вот я, не надеясь на твою математику, молю господа бога, чтобы эта слепая власть вдруг взяла да и перенесла тебя ко мне в Париж. Неужели в самом деле есть надежда?

Если необходим «вызов», то есть формальность, без которой нельзя получить визу, я сделаю все, что могу. Так я устроила вызов мужу: хозяин ресторана, который мы расписывали,— брат консула в Стамбуле. Он дал мне письмо, и Алексей не только получает визу, но и половинную

скидку за проезд. Напиши, что нужно разузнать и сделать, я не пожалею ни времени, ни сил...

Теперь о салонах, как ты просил: они отживают. Когда-то они были бродилом, дрожжами всех жизненных сил современного искусства. Сейчас это — собрание «спутников», из которых состоит интернациональный художественный пролетариат Парижа. Светила, как правило, выставляются отдельно: вот и сейчас общее внимание привлекают выставки Пикассо, Дерена, Брака, Матисса. И они заняты поисками еще нетронутых «источников» в прошлом, но у них эти поиски не приводят к почти полному уничтожению техники. Другие — подавляющее большинство — заменяют ее с большим или меньшим успехом либо мозаикой, либо матовой поверхностью фрески, а то и керамическим барельефом с цветной поливой, подчас толщиной в два сантиметра. Прибавь к этому, что просмотреть эти четыре-пять тысяч полотен впору, лишь воспользовавшись велосипедом, и ты поймешь, что представляют собой парижские салоны. Занятнее, по-моему, уличные выставки. В этом году на Монпарнасе художники устроили такой «Marché aux navets», маленький рынок, где торговали своими вещами. Были недурные работы, продававшиеся за бесценок.

Кстати, не подумай, что я исключаю себя из числа ищущих «новое» в прошлом. Но когда я встречаю среди множества имитаций и подражаний отзвуки моей «Византии», мне хочется закричать: «Держи вора!» Ведь Византия не была для меня только школой. Я искала «свое». А эти «новаторы» ничего не ищут. Они просто не могут жить без подделки, без кражи. А это «свое»... Боже мой, чего только нет в этом «своем»! Мне кажется, например, что я стала художницей задолго до той минуты, когда взяла в руки карандаш или кисть.

Это было в Симбирске, летним вечером на берегу Волги. Я сидела на скамейке с книгой в руках, и вдруг страница волшебно порозовела. Я подняла глаза. Это был закат, но не огненно-красный, сплавляющий все в один напряженный цвет, а кроткий, как бы позволявший каждому цвету зазвучать отдельно. Я увидела белые, синие, голубые, фисташковые дома, зеленую траву, пламенный, круто взлетающий склон, береговую сторожку с лиловым, остановившимся дымом. Никогда не забуду этого мгновенья, к которому потом прибавился — уже как будто во сне — последний зеленый луч заката, проскользнувший в реке.

Как ни странно, именно это впечатление неизменно вспоминается мне, когда заходит спор о том, различны ли цели природы и искусства.

Кандинский, например, считает, что эти цели «существенно и мирозаконно различны — и одинаково велики, а значит, и одинаково сильны». Не могу с ним согласиться. Мир сам по себе — картина, и тот, кто обладает редким даром живописного видения этого мира, и есть художник. Все, что он знает об искусстве прошлого, все, что он пережил, глубина его мысли, острота чувств — все подсознательное, иногда им самим не разгаданное,— все переходит на полотно.

Кончаю. Ломит виски. Должно быть, жар. Гарсон ждет, чтобы отправить письмо. Целую, целую. Привет Наде.

29.XII.23. Париж.

Писала тебе вчера с высокой температурой и головной болью. Сегодня мне лучше. Это — просто грипп. Рада была получить твое «театральное» письмо — и смертельно позавидовала твоей поездке в Питер. Местные газеты пишут о нем много горестного — упадок, разрушение и т. д. Вот ты только что оттуда — напиши, правда ли это? Неужели так изменился его прежний величавый профиль? Прошлое тянет, и даже Париж не в силах заслонить милые воспоминания. О, как мне не хватает тебя! Когда я брожу по Парижу, неизменно одна, все думается — об этом надо написать Костику, не забыть. А потом, в сутолоке, забываешь. Почему-то я вижу тебя рядом со мной на Place de la Concorde, в дождь, когда в мокрых панелях отражаются электрические огни, а контуры дворцов как будто вырезаны из черной бумаги. На улицах разноцветные огни смешиваются с каким-то странным светом вечернего воздуха, фантастически окрашены лица прохожих, деревья бульваров.

Особенно хорошо перед праздником — все знакомы, как в арлекинаде, целуются, обнимаются. Впрочем, здесь это принято и в будние дни. Французы — веселый народ. Вот на бульваре под большим садовым зонтиком три скрипача и гармонист наигрывают без конца все тот же мотив. В чем дело? Продают ноты и тут же обучают всех желающих новой песенке, а желающих много, толпа! Свернешь в переулок, а там тебя останавливают совсем другие звуки — слепую женщину ведет другая, и они тихими, нежными

голосами поют молитвы и собирают медяки. Нищие? Должно быть, так было и в двенадцатом веке.

Я не бываю ни в театрах, ни в концертах — ни времени, ни денег, ни компании. Мои художники предпочитают «Ротонду» и кино, где они могут целоваться со своими девочками. Вот теперь мечтаю увидеться с мужем. Мы с ним тоже неровня, но в наших отношениях я всегда находила радость учить его любить то, что любишь сама.

Завтра встану, надо работать, но не буду выходить. Заглянул Гордеев. Ты пишешь, что едва ли я могу рассчитывать на дружбу между нами. Почему же? Мы живем в разных концах города и видимся только на работе. Плохо только, что я неосторожно посоветовала ему жениться на его швейцарке — и он немедленно стал добиваться прежней близости между нами, чего я не хочу и боюсь. Здесь, на свободе, я присмотрелась к нему и поняла, что мне глубоко чужда его необузданность, его физиологическая, темная страсть. У него есть хорошие черты. Он прямодушен, смел, если увлекается, так уж напропалую. Но область чувств осталась неразвитой у него,— должно быть, он таким же был и в восемнадцать лет. Не думаю, что в его жизни была хоть одна минута, когда он задумался бы над собой. Все кажется ему ясным, а все неясное он попросту отбрасывает, как не стоящее внимания. Он не сметлив, с заказчиками резок, не умеет устраивать свои дела и в этом отношении противоположность Алексею. Поэтому он никогда не добьется богатства, о котором мечтает. Для этого нужен по меньшей мере талант, а он у него — из вторых рук, его работы всегда кого-то или что-то напоминают.

...Я очень несчастлива, очень: разучилась любить, как любила тебя, без оглядки, без страха. Меня гипнотизирует жалость, я уступаю и начинаю верить, что люблю. Но ты-то знаешь, мой дорогой, кого я люблю!

Меня прерывают... Господи, неужели я снова увижу тебя? Если приедешь, привези мне русскую, деревенскую шаль, белую, с яркими цветами. Можно недорого купить где-нибудь на ярмарке. Обнимаю. Пиши, не жди письма. Как прошел дебют Нади? Передай ей привет.

29.11.24. Париж.

Спасибо тебе, мой дорогой, за письмо из Петербурга. Не думала я, что когда-нибудь с таким волнением стану рассматривать простой почтовый штемпель! Как под вол-

шебным фонарем вспыхнул зимний Михайловский сад, мы — замерзшие, веселые, я толкаю тебя в сугроб и забрасываю твою шапку. Возвращение из Академии и острое чувство любви к тебе, вечером, подле Исаакия, у матовых, заиндевелых колонн. Черт знает, как было хорошо! Ну ладно! Мне уже скоро тридцать, у меня шесть (!) седых волос...

Ты удивляешься моему «религиозному» настроению. Не знаю, сумею ли я рассказать тебе о нем логично и стройно, для этого необходимо время, а у меня его нет. Для меня нет разницы между творческим и нравственным отношением к жизни, и это вовсе не бесплотное, а, напротив, самое практическое отношение, потому что в нем-то и заложено требование внутренней жизни произведения. Не церковные догматы необходимы мне, а та свобода, которую открыл в себе голодный, бездомный Ван Гог.

Добраться до этого чувства мешает мне не только неустроенная, бродячая жизнь, а невозможность или неумение превратить ее в искусство, как это удалось ему. Эта невозможность связана с неполнотой «божественного» в моей работе, с отсутствием священности призвания. Надо «помнить себя», стало быть — верить.

15.IV.24. Париж.

Дорогой мой, вызов получить трудно, но все же возможно, при условии, что ты будешь вне Советской России — в Латвии, Польше и т. д. Может быть, теперь станет легче — после того, как в парламенте прошло левое большинство. Вызов разрешают родственникам — придется тебе все-таки со мной породниться. Напиши скорее — собираешься ли? Хлопотать ли?

Ты находишь, что мое «религиозное умонастроение» противоречит моим планам? Нисколько. Напротив, цель моих планов должна согласоваться с ним.

Я намеренно подхожу к вопросу с «практической» стороны, которая ближе для тебя как человека, настроенного материалистически. Мне хотелось бы подойти со всех сторон, но для меня пока это трудно: на стенке у меня висит расписание, которое относится главным образом к духовной жизни («помнить себя») и которое никогда не было выполнено даже наполовину. Практичность уже успела меня соблазнить, я разучилась верить. Между тем жить без высшего осознания жизни, ограничиваясь одной лю-

бознательностью, невозможно. Необходимо духовное творчество.

Не помню, где я прочитала поразившую меня старинную французскую легенду «Плясун божьей матери». Некий плясун и акробат, утомленный мирской суетой, удалился в монастырь. Он не умел ни читать, ни писать, ни молиться и очень боялся, что игумен, узнав об этом, выгонит его из монастыря. Спустившись в подземелье, он увидел икону богоматери, освещенную лампадой, и решил услужить ей своим искусством. Со слезами начал он выделывать свои новые искусные номера: он крутился колесом, ходил на руках, плясал, пел и подражал хрюканью свиньи и лаю собаки. И когда он упал на землю без сил, богоматерь сошла с иконы и отерла его лоб своим покрывалом.

Ты догадываешься, почему так тронула меня эта легенда? В сущности, у меня нет ничего, кроме живописи, и мне смертельно хочется отдать ее не за мясо и зелень (которые, кстати, становятся все дороже), а за право сказать себе, что я не могу иначе. Это выглядит смешно, если вспомнить, что у меня еще не было в Париже и трех-четырех дней для своей, не чужой работы. Но если мне удастся, кончив работу у Гордеева, устроиться самостоятельно... Впрочем, не буду писать тебе об этой маленькой надежде.

Вчера была на выставке Малявина. Правда ли, что он был пастухом в Афонском монастыре и кто-то из наших мастеров вытащил его оттуда, восхитившись его талантом? Одну работу, далеко не лучшую, купил Люксембургский музей. Выставка Пикассо изумила меня — в особенности эти огромные, исполненные графически, а потом раскрашенные портреты. Посылаю тебе вырезку из газеты, беглый обзор.

Как мне приятно так просто писать тебе обо всем, без страха быть непонятой или скучной. Это счастье — иметь такого друга.

20.V.1924. Париж.

Ты прав, мой дорогой. Конечно, в Париже я увидела импрессионистов совсем другими глазами. Прошло девять лет с тех пор, как я была на Знаменке, в Щукинском собрании, и теперь мне уже трудно представить себе ту оглушенность, с которой я стояла, открыв рот, перед Моне или

Ренуаром. Слов нет, когда я возвращаюсь домой в бессолнечные, чуть туманные вечера, начинает казаться, что Париж построен импрессионистами. И все же мне захотелось писать его совсем иначе, чем они, не празднично, а в скромной, сдержанной гамме. Я прочла в одном журнале, что, когда Моне стоял подле умирающей жены, он, к своему ужасу, заметил, что машинально следит, как меняется цвет ее лица, голубые тона сменились желтыми, потом серыми... Это страшно...

В последнее время я увлеклась двумя мастерами, поразительно не похожими друг на друга. Это — Матисс и Утрилло. Но есть между ними и сходство, не живописное, разумеется, а скорее психологическое. Каждый по-своему понимает силу законченности, и в этом смысле восторг Матисса перед природой можно сравнить с восторгом Утрилло перед Парижем. Вот когда вспомнился мне старичок фон Рейнгарт, который утверждал, что Матисс нарочно разучился рисовать, для того чтобы создать собственный оригинальный стиль. Забыть свое умение, а потом вспомнить его по-другому, увидеть самого себя с дистанции времени — это удается немногим.

Об Утрилло — в другой раз. Я не могу на него насмотреться.

Ты спрашиваешь о выставках. В мае и июне их очень много, я думаю, не меньше полутораста, во всех районах Парижа. Они устраиваются обычно в эстампных или художественных магазинах. Было время, вскоре после моего приезда, когда я кружилась в этом вихре, доходя почти до потери сознания. Разнообразие — беспредельное, стремление поразить — настойчивое и в конечном счете — успешное. Многое покупается. Но среди тысяч полотен — почти ни одного, перед которым остановился бы с восторгом, с изумлением. Пишут для денег, для славы, заглядываясь на других и не заглядывая в себя — верный путь к скорому и неизбежному забвению. Подражают кому угодно — от египтян до Модильяни, даже не пытаясь понять тех, кому они возносят молитвы...

Здоровье мое недурно. Как твоя малярия? Неужели она так плохо вылечивается?

12.VI.24. Париж.

Мой неизменно дорогой, милый и милый, я ужаснулась, хватившись, как долго я тебе не писала. Где ты, как живешь? Помнишь, я писала тебе об англичанине, которо-

му понравились мои копии мозаики Кахрие-Джами? Он разыскал меня в Париже, отправил фотографии в Лондон и сообщил — это было еще в апреле,— что музей «Виктория» покупает четыре работы. Я рассчитывала на эти деньги еще и потому, что хотела послать тебе на дорогу, дополнив твои сбережения. Но дело задержалось, потому что профессор, которому поручена экспертиза, уехал, а я тем временем снова оказалась в рабстве. Почти неделю перебивалась с хлеба на воду, и кончилось тем, что Георгий переехал ко мне — на два дня, как он сказал. Пришлось уступить (от усталости), и это были мучительные два месяца, а не два дня, потому что я снова оказалась между ним и мужем, которого я жду с нежностью и волнением. Ну что ты скажешь об этом скорбном триптихе: в середине — Елизавета великомученица и великомучительница, по одну сторону — невинно страдающий праведник Алексей, а по другую — грешник Георгий, и он же (иногда) Победоносец. Прости мне эту невеселую шутку.

Наконец я вырвалась, получив работу, переехала в другой отель и вот пишу тебе — первое преимущество свободы.

Была я у Эберзольта и Диля, встретили суховато. У Диля выходит труд о Кахрие-Джами. Он — худенький, почивший на лаврах. Зато у Милле (который уехал на все лето) познакомилась с его ученицей и просидела полдня, перелистывая собрание альбомов византийской и русской иконографии. Я не знала, что Милле читает в Сорбонне лекции, которые я непременно буду посещать — это общедоступно.

Гарсон ждет, чтобы бросить письмо. Кончаю. Пришли мне какие-нибудь открытки казанского кремля. Да и Москвы. Хоть самые простые, без красок.

20.VIII.24. Париж.

Ваша светлость, я Вас жду с нетерпением, которое ничуть не постарело, по крайней мере в сравнении со мной. Была сегодня в полиции, но не могла выяснить, какой документ тебе нужен. В советском консульстве мне сказали, что, если ты получаешь командировку, визу тебе поставят без полицейского удостоверения, в Москве. Завтра пойду в Министерство иностранных дел — попробую узнать, что это за документ и как его получить.

Деньги, мой родной, я получила и бесконечно тебе благодарна, как раз нечем было заплатить за квартиру. А вчера — новая удача. Из Лондона прислали одиннадцать фунтов за мои маленькие «Византии». Лето было трудное. Без помощи Гордеева мне долго не удавалось найти заказ, а потом пришлось работать с утра до ночи, чтобы заплатить долги. Расписывала ресторан в японском стиле. Вчера впервые — подумай только! — поехала в Версаль. Было преображение, и парижская толпа шумела на аллеях, напоминая нашу «Швейцарию» в Казани. Надо будет собраться туда как-нибудь в будни, на этюды. Правда ли, что Петров-Водкин собирается в Париж? Хочется показать ему мои работы. Боже мой, ведь и ты не видел их тысячу лет!

Это письмо кончалось упоминанием о химерах Нотр-Дам. К нему были приложены открытки, изображающие этих удрученных, самолюбивых, настороженных полузверей-полуптиц.

В другом, веселом письме Лиза рассказывала о Блошином рынке, напоминавшем ей классическую Хитровку: «Вот у женщины на руках прелестный фокс, и лает, и перебирает лапками совсем как фокс — не сразу и догадаешься, что сделан из тряпок. Вот картонные бойцы сражаются не на жизнь, а на смерть, квакают лягушки, крякают живые и искусственные утки, а продажа всей этой живности из папье-маше идет под шутки, присказки, пение и оглушительную болтовню, которую нигде больше, кажется, и не услышишь».

На этой толкучке Лиза купила готовальню, несколько горшков для натюрмортов и акварель неизвестного художника, о которой отозвалась с восхищением. Легко предположить, что покупки были сделаны за счет обеда — недаром же упоминает она о закуске за пять сантимов: «Берут вилку и запускают ее наудачу в чан. Вытащить можно что угодно: рыбу или овощи, кусок колбасы или сосиску. А потом можно и закурить: окурки сигар и папирос расположены по сортам и — соответственно — по ценам».

3.II.25.

Милый друг, я еще провинциалка в Париже. Тебе, должно быть, покажется странным, если я скажу, что еще ни разу не была в театре. Дешевые билеты надо доставать

заранее, а у меня нет времени и нет никого, кто позаботился бы обо мне в этом отношении. Вот надеюсь на твой приезд — так хочется многое увидеть вместе!

Теперь, как ты просил, о живописи. В моде — Пикассо, Дерен, Брак, с одними носятся, другим подражают. Они давно на сцене — еще в 1913 году почти все выставлялись в нашем «Бубновом валете». Каждый по-своему пытается открыть в искусстве новое с помощью старого: одни идут от фрески, другие — от примитива, а кто и просто от вывески. Последние — интереснее других. Что касается Матисса, Гогена и даже Сезанна — они в частных руках и почти недоступны. Вообще же говоря, на парижском мировом рынке живопись — такой же товар, как, скажем, картофельная мука или мясо. Все дело в моде, а мода устраивается так: некий marchand (купец) заключает контракт с молодым художником, обязываясь покупать все или некоторые его картины по установленной (обычно ничтожной) цене. Художник, со своей стороны, в первом случае ничего не продает на сторону, а во втором — предоставляет торговцу, marchand'у, «право первого взгляда». (Кстати сказать, мне представлялась такая возможность, но Гордеев отсоветовал, возмутившись грошовой оценкой.) Когда marchand видит, что товару достаточно, он начинает рекламировать художника, устраивает выставки — таким образом создается имя и мода. Впрочем, гораздо чаще художник до конца дней нищенствует в ожидании славы.

В «Ротонде» на днях открылась выставка тридцати трех русских художников: Ларионов, Борис Григорьев и Гончарова приглашены для рекламы, а остальные — публика, от которой нужно держаться подальше. Бездельники, которые целыми днями торчат в «Ротонде», потому что это единственное место, где можно поживиться на чужой счет. Часами сидит такой индивидуум за пустой чашкой кофе, поглядывая по сторонам, кто сжалится над ним и «выкупит», то есть заплатит за кофе. Если ты не один и уже известно, что у тебя можно «стрельнуть»,— к тебе подходят и просят «на слово». Опытный человек отказывает. «Тогда на полслова!» Даешь, в конце концов, франк — довольствуется и этим. На жаргоне «Ротонды», «слово» в прошлом году стоило десять франков, «полслова» — пять. Тошно!

Я давно не видела работ Гончаровой и теперь снова почувствовала в ней то, чего мне самой всегда не хватало:

слитность жизни и труда, когда невозможно отделить одно от другого. Зоркость у нее детская, которую почти никому сохранить не удается. А ей удалось. Но рядом с этими детскими, широко открытыми глазами (в двух холстах) — опущенный, как у монахини, взгляд.

Мы горечь своей жизни на чужой стороне чувствуем ежедневно и ежечасно. В лучшем случае — живем «мимо». А у нее в этих опущенных глазах — трагедия разлуки. И эту трагедию она пишет очень по-русски. Техника у нее твердая, дышащая стариной, и она сознательно предпочитает ее французской манере. Мне кажется несправедливым, что ее неизменно ставят рядом с Ларионовым, хотя сходство есть, как у супругов, которые от долгой совместной жизни становятся похожи. Ларионов — крупнее, острее. Но Гончарова мне ближе. И все-таки учиться у нее я бы не могла. Думаю, что у нее и нельзя ничему научиться. В ней все-таки нет того, что отличает бесспорных мастеров: первоначальности, первозданности, новизны, принадлежащей только ей и никому другому...

Алексей отложил свой приезд. Дела! Жаль. Впрочем, я уже «сносила» эту встречу, как, бывало, снашивала в уме платье, которое не могла купить.

Живу одна и счастлива сознанием своего одиночества и свободы, хотя живется дьявольски трудно. Женщине не только тяжело, но почти невозможно достать работу в Париже.

P. S. Спасибо за фотографии. У Нади очень милое, симпатичное лицо (я им довольна).

27.IV.25. Париж.

Милый друг, я получила письма и фотографии, но не было ни минуты, чтобы ответить тебе. Двадцатого была в министерстве. Когда твои бумаги придут, обещают поторопить дело и известить меня о результате. Но я не верю им и в конце недели поеду опять.

Наша артель (гордеевская) расписывает сейчас ресторан-кабаре в русском стиле. Посетители будут увеселяться русскими же артистами, и все это очень обидно и горько. Вчера я случайно попала на репетицию: некая Лиза Волгина играла на балалайке под аккомпанемент рояля. Но как играла! Какой характер! Сколько музыкальности! Мы разговорились: она выступала на концертах со своими композициями, а теперь попала сюда — ночью играет пе-

ред иностранцами, днем спит. Пропадет, без сомнения, и отлично знает, что пропадет.

На Монмартре — кабаки с русскими названиями: «Тройка», «Домик», «Самовар», «Добро пожаловать» и т. д. Как подумаешь, что все эти ночные заведения расписаны русскими художниками, да еще какими,— жить не хочется! Или хочется, но не очень...

Милый мой, кончаю через две недели. Ночью, когда я сидела за этим письмом, за мной прибежал один художник из нашей артели и сказал, что у Гордеева тяжелый сердечный припадок. Две недели я провела неотлучно при нем, замучилась и не была, разумеется, в министерстве, как тебе обещала. Надеюсь поехать завтра, если ему станет лучше. Сейчас он спокойно спит, а я пользуюсь этим, чтобы закончить письмо.

Миленький, где я, что случилось со мной? Почему я здесь, а не с тобой, в Петербурге или Казани? Вчера зашел скульптор Бернштейн, только что приехавший из Советского Союза, и до поздней ночи рассказывал о московских художниках (многие имена я услышала впервые), о выставках Кончаловского, конструктивистов, Вхутемаса — это, оказывается, название Высших художественных курсов, на которых обучается около полутора тысяч человек, главным образом с фабрик и из деревень, как сейчас вообще во всех высших учебных заведениях. Особенно интересно рассказал он о Татлине с его Проектом памятника Третьему Интернационалу. Он считает, что конструкции Татлина оказали большое влияние на театр. И снова о выставках Машкова, Лентулова, Рождественского, Грабаря. В Москве ждут Пикассо, приезд которого, по мнению Бернштейна, послужит сигналом к ожесточенной схватке между ОСТ (Общество станковистов) и АХРР (Ассоциацией художников революционной России). Недавно эта Ассоциация устроила выставку «Жизнь и быт народов СССР», которую жестоко ругали в журнале «Печать и революция», а Луначарский очень хвалил.

Рассказывая, Бернштейн упомянул о Цекубу, а когда я спросила, что это значит, объяснил, что в Советском Союзе существует Центральная комиссия по улучшению быта ученых, на даче которой отдыхают бесплатно ученые, врачи, писатели и художники. Он сам прошлым летом провел под Москвой целый месяц в таком санатории. «Питание приличное, полный покой и отвлечение от всех мирских забот».

«Но на монастырь это все-таки мало похоже,— смеясь, прибавил он,— по причине приблизительно равного количества представителей сильного и слабого пола».

Я слушала с изумлением, Георгий — с недоверием. Не знаю, может быть, Бернштейн талантливо рассказывал, но у меня осталось впечатление, что в России происходит сейчас нечто очень важное, не только в искусстве, но и в образе жизни.

Пиши, родной. Меня смертельно пугает мысль, что ты вдруг перестанешь писать.

17.V.25.

Пошла сегодня в Лувр, хотела посмотреть восемнадцатый век, и вот уже четыре часа, как не могу выбраться отсюда. Началась гроза, дождь льет и льет, а я в легком платье, потому что было жаркое утро. Насмотрелась вволю! Правда, немного голодно, но уж так хорошо! Брожу и думаю о тебе. (Завтра снова пойду в министерство. Черти!)

Гордеев поправился, я осталась с ним. Да! «Нам живется ничаво, между прочим, чижало!» Обнимаю. Жду.

6.VII.25. Мениль.

Молчала по многим причинам, а вернее, без всяких причин — просто не могла заставить себя взяться за перо.

Устала я, милый мой! Все иначе, чем думалось, мечталось. Моя дерзкая, себялюбивая жизнь не научила меня ограничивать себя (внутренне), урезывать, применяться. Георгий любит меня, но ему надо еще и «прощать» меня, а я если и виновата, так перед собой, да и то виниться нет ни времени, ни охоты.

Живем мы сейчас в маленькой деревушке, два часа от Парижа, среди пашен, полей и лугов. Пахнет травой, покоем. Много земляники. Хожу в лес, слушаю тишину и стараюсь угомонить сердце. Хочется окрепнуть, я очень подорвала здоровье. Георгий, кажется, скоро получит заказ — очень кстати! Надо подольше пожить здесь или где-нибудь у моря. В Париже можно задохнуться от жары.

Я тоже получила твой «бекар» [1] из министерства, это значит, что мы увидимся не скоро. Может быть, никогда!

---

[1] Отказ.

В советском консульстве меня встретили вежливо, но ничего не обещали. Наверное, для получения визы нужна солидная протекция или счастливый случай.

Давно я не видела тебя во сне, а вчера заказала себе — и увидела. Ты шел по дорожке во дворе Зилантова монастыря, задумчивый, со шляпой в руке, и, увидев меня, приложил палец к губам. Почему-то нельзя было громко разговаривать, и мы, стоя у знакомой калитки, еле слышно перекинулись двумя-тремя словами.

Вот так и получилось у нас: перекидываемся время от времени вполголоса, чтобы никто не услышал. Георгий втайне ревнует к тебе, но молчит, зная, что лучше не трогать мою «святая святых». Не забывай! Целую нежно.

Ты пишешь, что мой портрет стоит у тебя на столе и что я кажусь тебе подчас чужой, почти незнакомой. Это случается и со мной, по утрам, перед зеркалом, после бессонной ночи.

12.VIII.25.

Милый друг, я трижды перечитала твое письмо (сильно опоздавшее благодаря почтовой забастовке), прежде чем поняла, что ты едешь, едешь, едешь и что мы, стало быть, увидимся осенью — или даже летом... Что за прелесть этот академик Шевандье и как умно ты поступил, послав ему свои работы! Теперь вот что: встретить тебя в Париже я не могу, Георгий не отпустит меня, а ссориться с ним в день твоего приезда... Словом, мне кажется, что разумнее всего было бы провести спокойно в деревне несколько дней, а потом поехать в Париж. От нас до моря полтора-два часа, и мы можем заглянуть разок-другой в Дьепп, там хорошо на пляже. Важно, чтобы сразу же появился тон дружеский и «все в прошлом», а уж тон сделает музыку, я об этом позабочусь. Плохо, что Георгий не считается с неловкостями, а я перед его грубостью теряюсь и цепенею. Вот тебе план дороги: с вокзала St.-Lazare — линия Paris — Dieppe — и ты доедешь до Chars — это пятая или шестая остановка. Там пересядешь на паровичок до Bouconvilliers, а оттуда надо идти пешком около шести километров. Я бы встретила тебя на лошади, если бы точно знала, когда ты приедешь. Адрес: Mesnil Danval (читается Мениль), департамент Oise. От станции ты пойдешь по шоссе (перпендикулярно паровичку) до маленького городка Lurville, а потом повернешь налево, и просе-

лочная дорога доведет до нашей деревни. Спроси, где живут русские художники,— покажут.

У меня сердце холодеет от бешенства, что я не могу ни встретить тебя, ни остаться с тобой в Париже. Но я придумаю что-нибудь или, если не придумаю, все равно — приеду.

В Париже

1

Константин Павлович по-прежнему жил в Палашовском переулке, в квартире с падающим хозяином, и по-прежнему одновременно с преподаванием занимался одной из самых общих областей математики, в которой среди видных ученых ему принадлежало одно из первых мест.

Он ушел из университета в МВТУ, где ему предложили кафедру, и был рад, что ушел, потому что, прославившись (в школе Грузинова) своим умением сглаживать ссоры и восстанавливать распавшиеся отношения, невольно отдавал этой стороне жизни больше времени, чем ему хотелось.

Первое время он жил одиноко в Москве. Потом появились знакомства. В Лесотехническом институте он прочитал доклад о своих работах по приглашению знаменитого Арденса и стал, хотя и редко, бывать в его доме. Это было знакомство, которым он особенно дорожил.

Художественные выставки он почти не пропускал — это было влияние Лизы — и постепенно стал разбираться в современной живописи, хотя и любил говорить, что самые сложные математические идеи — ничто в сравнении с туманными теориями кубизма или супрематизма. «Ты не математик, а настоящий профессор изящных искусств»,— однажды написала ему Лиза. Иные выставки он посещал ради нее.

Времени было мало, но Карновский умел не расставаться с работой ни на выставке, ни в театре. Догадка, которая не давалась полгода, пришла ему в голову на «Принцессе Брамбилле» в Камерном театре, который он очень любил. Он понял потом, что все приятное, неожиданное, праздничное не мешает, а помогает работе, как бы ни была она далека от того, что происходит перед глазами.

Он много ездил. Летом 1922 года он провел несколько

дней в Петрограде. «Люблю его, как люблю свою юность, прямолинейную, даже сухую, но озаренную»,— писал он Лизе.

Крым и Кавказ — это были короткие, недальние поездки. Он побывал и на Алтае, и в Туркестане. «Тебе, человеку, сидящему сиднем на печи, всегда казалась странной моя способность внезапно срываться с места и лететь куда глаза глядят,— писал он Лаврову, оставшемуся в Казани.— Оствальд в своей известной книге делит ученых на классиков и романтиков. Так вот мы с тобой, как это ни странно, обменялись местами. Теперь ты — классик, по которому Казань скоро будет проверять часы, а я — романтик, который открыл (для самого себя), что ему всегда стоило огромных усилий повторять предшествующий день».

Были и другие поездки — на Урал, на Дальний Восток, связанные с возникновением новых вузов: в Наркомпросе не забыли о том, в каких условиях Константину Павловичу удалось в двадцатом году организовать Казанский политехнический институт.

Среди частых, ежегодных поездок была одна, изменившая жизнь, сделав ее теплее, богаче. Они с Лавровым провели десять дней в Теберде, а потом решено было через Клухорский перевал спуститься к Сухуму. Но Карновский «переходил ногу», разболелось колено, и пришлось сесть, впервые в жизни, на лошадь. Наставление, которое он получил от старого горца, владельца лошади (они условились встретиться в Цебельде), было простое: «Чего ты не знай, конь знай. Чего конь не хотел, ты не хотел. Не конь тебя слушай, а ты коня слушай. Хорошо будет».

Горец велел идти рысью, не спеша, но напрасно Карновский пытался приладиться к этому движению, при котором лошадь, как ей и полагается, поднимает сперва левую переднюю, а за ней правую заднюю ногу. Не прошло и часа, как остро заныла спина, а в больном колене застучали какие-то молоточки. Измученный, он спешился, напился из родника и немного побродил, прихрамывая, по сонной рыже-красной роще. Что за странность? Место было ничем не примечательное, глухое. Откуда же взялись вырезанные здесь и там на деревьях буквы? Или это были естественные глубокие борозды в темно-бурой коре?

Вскоре он был уже на дороге, которая вилась по-над рекой Кодори, блестевшей, как узкий кривой нож, на дне ущелья. Конь шел по краю, и каждый раз, когда камеш-

ки сыпались из-под его копыт, у Карновского невольно ёкало сердце.

Вдруг послышалось впереди движение, шум, ленивый понукающий голос, и за поворотом показался осел с перекинутыми через спину двумя громадными разноцветными мешками, а за ослом — мальчишка лет пятнадцати в грязной рубахе и черной шапочке, с хворостиной в руке. Карновский поздоровался, мальчик приветливо ответил на ломаном русском языке. Он ловко снял мешки, потянул упиравшегося осла — и остановился. Он чего-то ждал, и Карновский с ужасом понял, что он должен снова спешиться и провести лошадь в поводу, чтобы разойтись на узкой тропе.

— Нога больной? — Мальчик протянул ему крепкую, как железо, маленькую руку, показал высокий камень, на который, слезая, удобно было поставить ногу. Карновский полез за кошельком и поразился гордости, с которой мальчик отвел его руку.

— Как тебя зовут?

— Джамиль зовут.

На каменистой тропе Карновский выцарапал несколько букв.

— Буквы, понимаешь? На деревьях? Кто писал?

Просияв, мальчик ткнул себя пальцем в грудь.

«Почему не на бумаге?» — «Бумага нет».— «Почему не карандашом?» — «Карандаш кончал».

Разговаривая больше жестами, чем словами, Карновский провел с ним полчаса — ему чем-то понравился этот быстроглазый мальчик с узким красивым лицом. Куда-то он хотел поехать, где-то учиться. Наконец Карновский понял, что Джамиль хочет поехать в Нальчик и поступить на рабфак.

— Ну, это мы попробуем устроить.

Он вырвал из блокнота листок, записал свой адрес и через полгода получил от Джамиля вполне грамотное письмо, к которому было приложено заявление.

Один из учеников Карновского работал в Нальчике, и устроить Джамиля на рабфак оказалось делом несложным. Он приехал года через три, уже юношей, в Москву, и Константин Павлович с энергией, которая его самого удивила, принялся готовить его в МВТУ.

Способности у юноши оказались средние, но работоспособность такая, что приходилось почти силой отрывать его от занятий.

Случалось, что Джамиль жил у него в Палашовском неделю-другую. По воскресеньям они вместе ездили на лыжную базу. «А сынок-то вас не дождался, чуть засветло ушел»,— однажды сказала Карновскому женщина, выдававшая лыжи и пьексы.

Может быть, он был одинок? Может быть, он потому и срывался с места и летел куда глаза глядят, что был все-таки очень одинок в своей размеренной, разумно устроенной жизни?

...Все уладилось, все стало на свое место. Мать так и не поправилась в полной мере, он устроил ее в Ядрин, на покой, неподалеку от своих друзей, которые присматривали за ней. Сестры остались в девушках — и, кажется, не жалели об этом. Одна была медицинской сестрой, другая кончила Ветеринарный институт и работала под Казанью.

Все женщины, с которыми Карновский был близок, хотели выйти за него замуж — и огорчались, догадываясь (или не догадываясь), почему это невозможно. Огорчалась и Надя Медведева, умная и хорошенькая актриса одной из московских студий. Она-то как раз догадывалась. «Вы боитесь, что вас могут бросить, как женщину?» — однажды весело спросила она. Карновский не ответил.

В Крым он ездил один, а на Кавказ они поехали вместе.

О Лизе он думал с той грустной нежностью, которая давно утвердилась в нем за восемь лет, прошедших после их последней встречи. Эта разлука, счастливо украсившаяся перепиской, теперь стала частью его удавшейся, устроившейся жизни. Молодые, свободные, сбивающие с ног свидания, ссоры и примирения, вся история их любви превратилась в письма — трогательные, дружеские, поддерживавшие все разгоравшийся интерес Константина Павловича к живописи, к искусству, но уже ничего не изменявшие в нем. Все сложилось, смягчилось, и хотя он волновался, представляя себе их встречу в Париже, это было умиленно-нежное волнение воспоминаний.

2

Еще в Москве он обдумал план своего, к сожалению, недолгого пребывания в Париже. Дела не должны были помешать посещению музеев, выставок и, если хватит денег, театра. Ему давно хотелось побывать в «Comédie Française». Денег было мало.

Приятель, недавно вернувшийся из заграничной поездки, рекомендовал ему дешевый отель «Эксцельсиор», недалеко от Гранд-Опера, и он снял в этом грязноватом отеле комнату на третьем этаже, в глубине полутемного, странно извивающегося коридора.

Он остановился в нерешительности, переступив порог этой комнаты, куда быстрый и тоже грязноватый гарсон мгновенно поставил два чемодана. Мебель была претенциозная, старая, с вытертой позолотой, портьеры тяжелые, пыльные. Постель, покрытая желтым выгоревшим покрывалом, показалась ему особенно подозрительной, может быть потому, что, несмотря на сравнительно ранний час, он заметил нескольких проституток, стоявших у подъезда отеля. Он брезгливо отвернул покрывало — нет, белье, против ожидания, оказалось свежим.

Еще в поезде Константин Павлович решил, что не поедет к Лизе наудачу, с тем чтобы идти шесть или семь километров пешком с риском заблудиться в незнакомых местах, а напишет из Парижа с просьбой встретить его, если это возможно. Но прежде надо было позвонить Шевандье, и Константин Павлович позвонил, немного боясь за свой французский язык — он недурно говорил, но плохо понимал, в особенности по телефону. Но все обошлось. Шевандье назначил встречу на следующий день, и, написав Лизе открытку, Константин Павлович кинулся бродить по Парижу.

Он вернулся ночью, веселый, с горящими, гудящими ногами. В маленькой ванне можно было вымыться только сидя, и, раздеваясь, он подумал, что именно в такой ванне Шарлотта Корде убила Марата.

Шевандье, коротенький, пузатый, с большой головой, с пронзительным голосом, принял его на следующий день. Нужно было внутренне подготовиться к этому важному разговору, и Константин Павлович не только подготовился, но, как всегда в такие минуты, как бы увидел себя со стороны — белокурого, в новом, хорошо сидевшем костюме, крепкого, ничуть не усталого после короткого, трехчасового сна. Разговор шел о проблеме броуновского движения, которой занимался Константин Павлович, и Шевандье буркнул нечто одобрительное по поводу его статьи, а потом сказал, усмехнувшись, что был приятно поражен, убедившись, что русские еще не забыли таблицу умножения. Трудно было вообразить, что этот колючий старик, в бесформенных штанах и бархатном разбухшем пиджаке, на-

писал трактат о чувстве математической красоты, который Константин Павлович знал чуть ли не наизусть и любил цитировать в своих лекциях. Прощаясь, он упомянул об этом трактате, и на старом лице Шевандье, с кривой бороденкой и сварливым носом, мелькнула слабая тень удовлетворения.

На другое утро Константин Павлович получил телеграмму от Лизы и пятичасовым поездом поехал в Мениль. Пыхтящий паровичок еле тащил старомодные высокие, на трех парах колес, вагоны, и он еще с площадки увидел ее на станции, а рядом — Гордеева, высокого, по-цыгански черного, красивого, в белой рубашке с закатанными рукавами.

Первые минуты неловкости прошли быстро, может быть, потому, что естественное, радостное оживление Лизы, ее чуть подчеркнутая свобода от ревнивой настороженности Гордеева передались Константину Павловичу. Она словно подсказала ему эту естественность и свободу. Они встретились дружески-нежно, он поцеловал ее сильную узкую руку, она в ответ притянула его к себе и поцеловала.

— Нет, я знаю, что постарела,— сказала она с молодым блеском больших глаз, когда они шли к стоявшей у станции двуколке.

Блестевшие подобранные волосы были округло видны из-под широких полей деревенской шляпы, глубокий вырез платья открывал треугольник загара над белой полоской пополневшей груди.

И все сразу же пошло бы отлично, если бы Гордеев, сидевший напротив в легкой двуколке, не старался быть любезным со старым другом Лизы, как он, по-видимому, обещал ей. Он то шутил — не слишком удачно, то, слушая разговор о незнакомых ему событиях и людях, смотрел на Константина Павловича слишком прямо и твердо.

Приехали в деревню, удивительно не похожую на русскую своими каменными домами с окнами во двор, остановились у последнего дома с голым крыльцом и наружной деревянной лестницей, которая вела на чердак. Вошли в полупустую комнату с большим камином, с двумя кроватями и простым деревянным столом, с подрамниками и составленными холстами в углах и вдоль стен.

Всю дорогу и теперь, когда они ели буйабес — вкусный рыбный суп, который Лиза приготовила с утра, а теперь

разогрела,— она расспрашивала Константина Павловича — торопливо, беспорядочно, нервно:

— Что такое теперь Петроград? Неужели правда, что он так обветшал и запущен?

Константин Павлович сказал, что Ленинград так же хорош, как прежде. Бестужевские слили с университетом, а в здании курсов теперь рабфак.

Лиза спросила о Гориных, которых он по ее просьбе разыскал в Ленинграде. Дмитрий потолстел, почтенный профессор, в усах и бородке. Очень обрадовался, узнав, что Лиза жива и здорова. Спросил адрес, сказал, что непременно напишет, а если поедет в Париж — непременно зайдет. Леночка вышла замуж, тоже потолстела и учится петь.

— Она милая и добрая, но, кажется, глупая? — сомневаясь, спросил Константин Павлович.

Лиза засмеялась:

— Может быть. Я не догадывалась тогда. Что в живописи?

Но прежде чем сказать о живописи, поговорили о не понравившемся Лизе «Поликушке» в кино, с участием Москвина, потом о необычайном распространении радио. В Москве на каждой улице — громкоговорители, а вечера все проводят с наушниками на голове.

Они разговаривали, не считаясь с молчаливостью Гордеева, но в их естественном, радостном, оживленном разговоре все же оставались две несливающиеся струи. Можно было обойти Гордеева, но нельзя было обойти возникшее между ними ощущение, что все пришедшее с Карновским *оттуда* уже не принадлежало Лизе, а все составлявшее ее жизнь было для него чужим и далеким. Но он чувствовал и другое: он чувствовал в Лизе какую-то совсем не свойственную ей робость перед тем, что пришло с ним *оттуда.*

Заговорили о живописи — и Гордеев сразу оживился и даже стал медвежевато мил, в особенности когда этот интеллигентный, с платочком в наружном кармане пиджака господин из Москвы (на этот раз Константин Павлович увидел себя его глазами) похвалил его деревянную скульптуру. Но она была действительно хороша — рыбаки и рыбачки в танцующих позах, с анатомически точными и, одновременно, сказочными телами. Иконописная неподвижность Петрова-Водкина угадывалась в диптихе двух юношей, вырезанных на фоне овального медальона. Не упоминая об этом сходстве, Константин Павло-

вич рассказал о своем знакомстве с Петровым-Водкиным: они познакомились случайно, в поезде из Ленинграда в Москву.

— Очень милый, словоохотливый и с первого взгляда простоватый, а вглядишься — куда там! Очень обрадовался, узнав, что мне нравятся его работы. Теория у него такая: трехцветка. Каждому искусству свойственна собственная палитра: русскому, например,— красный, синий и зеленый цвета. Еврейскому, если не ошибаюсь,— коричневый, лиловый и желтый. Я подумал — и предложил ему расположить радугу на круге по секторам, а потом взять вилку о трех остриях и ставить ее таким образом, чтоб получалась трехцветка. Он задумался: «А зачем?» — «Ну как же! Для определения принадлежности к национальному искусству».

— Рассердился? — спросила Лиза.

— Нет. Засмеялся. А потом подумал и говорит: «Интересно».

Потом небрежно, но волнуясь, Лиза стала показывать свои холсты, рисунки, этюды, и, бог знает почему, Константин Павлович почувствовал, что о ее работе надо говорить осторожно, не касаясь давнишнего и болезненного спора между Гордеевым и ею. С первого взгляда было видно, что как художники они не могли нравиться друг другу. У Гордеева талант был не открывающий, а напоминающий, но в самой широте этого напоминания («от русской иконописи до ассирийских рельефов»,— подумал Константин Павлович) чувствовалась неуверенность, странно противоречившая тщательности отделки.

Работа Лизы была связана, как и ожидал Константин Павлович, с Византией, но Византия не повторялась, а превращалась в ее холстах — и остро, неузнаваемо превращалась! Старый черный араб с неподвижностью столпника сидел в дупле векового дуба, белый нимб чалмы светился над ним. Акварели были таинственно-нежны — стремительная путаница малиновых, желтых, черных пятен на неподвижном золотом фоне залива.

Это были константинопольские работы. Но в Париже, по-видимому, началось совсем другое — интерьеры, написанные более твердой, мужской рукой, натюрморты, в густых, сильных, цельных тонах. Один холст показался Константину Павловичу необыкновенным. Старинное, в раме красного дерева, зеркало было как бы вздыблено в отчаянье — вздыблено и повернуто к небу. Оно стояло в саду,

в мозаике разноцветных солнечных пятен, но оно было полно пустотой. Нужно было взлететь, чтобы в него поглядеться. Лишь две плоскости, розовая и серая, отражались в нем, странно связываясь с темно-серебристым фоном стекла. Холст был похож (обменявшись беглым взглядом, они оба подумали об этом) на письма Лизы к Константину Павловичу. В сущности, это и было письмо, проникнутое грустным изумлением перед «загадочной, нелепой, благословенной штукой, которая называется жизнью», как она ему однажды написала.

3

Все было сказано, все переговорено. Ничего не было сказано и ничего не переговорено, потому что остаток дня и весь следующий день, когда они бродили по окрестностям, был битком набит невозможностью сказать друг другу хоть два слова наедине — Гордеев не оставлял их ни на минуту. Обедали в деревенском трактире с огромным камином, в котором можно было спать — да и спала хозяйка, когда они пришли. Фотографировали друг друга, пастушку с кокетливым шарфиком на шее, коров в соломенных шляпах, странствующих торговцев с их детьми, женами и товарами, выставленными на прилавках перед высокими фургонами-домами. Отдыхали в лесу, перегороженном через каждые двести — триста метров, что, к удивлению Константина Павловича, не мешало охоте, и Гордеев даже рассказал по этому поводу довольно занятную историю. Говорили о Мейерхольде и Станиславском, о литературе, о том, что должно было, кажется, интересовать всех троих, но почему-то касалось только Константина Павловича и Лизы.

Теперь он уже не видел себя со стороны, как это было у Шевандье, когда обдуманный душевный строй руководил им и подсказывал, что он должен сделать в следующую минуту. Теперь он прислушивался к себе неуверенно, с беспокойством. Что-то как бы стронулось в нем, и он даже не знал — когда. Может быть, утром? Одеваясь, он увидел в окно пробежавшую по двору Лизу, непричесанную, в какой-то оранжевой распашонке-халате, легкую, с мелькнувшими стройными голыми ногами.

Потом поехали в той же двуколке к паровичку, на Bouconvilliers, а потом в Париж. Гордеев неуклюже шу-

тил: «Здесь не Советская Россия, и чужая собственность строго охраняется от покушений». Чужая собственность была Лиза.

Московский душевный строй еще стучал, как метроном, и Константин Павлович подумал, что, может быть, он подчас не слышит его, потому что сердится на плоские гордеевские шутки. Но он не слышал его, потому что уже не мог не думать о том невозможном, о чем — он это знал — думала и Лиза. «Можно?» — спросил он накануне, когда ему захотелось взглянуть на холст, стоявший лицом к стене. «Все можно»,— ответила она, улыбаясь, и он внезапно внутренне задохнулся. Это было «все можно» их первого свидания в Петербурге на рождественских каникулах в 1914 году, «все можно», принадлежавшее только им одним, особенное, памятное на всю жизнь, драгоценное своей неожиданностью и прямотой.

Но не только «все можно», а ничего было нельзя, даже поговорить с нею без Гордеева пятнадцать минут.

Константин Павлович чувствовал, что Лиза раздражена и, так же как он, озабочена тем, чтобы еще больше не рассердиться. Но надо было не только не сердиться, а сделать что-нибудь, чтобы расположить Гордеева к себе. Зачем? Он не знал. В какой-то немыслимой, сводящей с ума надежде.

Париж. Белокафельные своды метро, в котором «человеческое сырье обрабатывается при высокой температуре и сильном атмосферном давлении», как с отвращением заметила Лиза. Толпа, гудящая, раскрывающая зонтики, торопящаяся из банного воздуха метро на утреннюю свежесть бульвара. Мастерская гордеевской артели — просторный сарай с антресолями в глубине двора, за старыми домами, образовавшими тупичок в зеленом узком переулке. Все самодельное: скамейки, табуреты, даже крутая, без перил, лестница, приставленная к антресолям. Кленовые чурки и плахи — заготовки для деревянной скульптуры, глиняные мисочки с засохшей краской, подрамники, ящики, кисти, холсты. Гордеев, работавший над четырехметровым панно для квартиры богатого американца, показал набросок на картоне: атлет, натягивая лук, целился в убегающего бизона, упрямо склонившего голову с оскорбленными человеческими глазами. Набросок был хорош. Константин Павлович похвалил его, и цыганское, нервно-напряженное лицо Гордеева смугло покраснело от удовольствия.

Все шло, как должно, как предполагалось, но одновре-

менно все было как в детской игре, когда надо найти спрятанный предмет с завязанными глазами и кругом кричат: «Холодно, холодно, потеплее, горячо, совсем горячо!» Давно уже было совсем горячо, давно уже серые глаза Лизы стали зелеными, как это бывало всегда, когда исчезало все вокруг на свете, кроме них,— как исчез и этот атлет с бизоном, о котором Константин Павлович только что говорил не торопясь, искренне и серьезно.

Русские художники из гордеевской артели пришли и, устроившись на дворе, у сарая, стали быстро, ловко заниматься очень странным, с точки зрения Константина Павловича, делом: с открыток Луврской галереи они делали приблизительные, грубые копии — как выяснилось, для какого-то фильма о том, как американцы изучают Париж. Но и художники, один из которых грустно и весело спросил Константина Павловича: «Ну, как вам нравится наше птичье-небесное существование?» — были только воплощенным отрезком времени, которое проходило бесцельно, бессмысленно, напрасно, потому что и за эти новые полчаса ничего не произошло между ним и Лизой.

Потом отправились в «Ротонду» — выпить кофе и показать Константину Павловичу знаменитых людей. И пошли, и показали: худощавый молодой человек, чуть сгорбленный, без шляпы, с густой шевелюрой, уходил из кафе с высокой, гибкой женщиной в модной белой шляпе-колпаке и в чем-то свободном поверх легкого платья. Это были Эренбург с женой.

Потом показали кого-то еще в мелькании подходивших и здоровавшихся с Гордеевым людей.

Все дрожало, как в нагретом, струящемся воздухе, и сквозь этот ускользающий, вместе с временем, воздух он видел и чувствовал только Лизу, ее лицо с знакомым выражением отчаяния и самообладания, ее глаза, не смотревшие и смотревшие на него. Она говорила так же, как он, слыша и не слыша себя. И вдруг все остановилось, все замерло, все заняло свое единственное, естественное место.

— Вам, должно быть, хочется посидеть вдвоем, вспомнить старое,— нахмурившись, сумрачно, недобро сказал Гордеев.— Посидите, а я пойду. У меня есть дело.

Он ушел, и они остались вдвоем за столиком, недалеко от входа.

— Вот и подарок.

— Это подарок?

— Да. Ему трудно. Он любит меня.

— А ты?
— А я — тебя. Мне нужно вернуть тебе письма.
— Почему?
— Потому что я боюсь, что Георгий может их сжечь. Там слишком много поцелуев. Меньше, чем мне хотелось бы. Но много.
Отец Лизы сжег письма Константина Павловича, когда она, окончив гимназию, приехала к отцу погостить на Воткинский завод.
— Я приду. Я знаю твой отель.
— Когда?
— Вечером. На десять минут.
— На десять минут?
— Да. Это — Париж. Не Казань.
— Да. Не домик ветеринара на улице «Продолжение второй горы».
— Да. И не шалаш из бузины, которую мы наломали в пять минут в парке за Новиковой дачей.
— И не Ялта. Я писал тебе, что в прошлом году был в Ялте.
— Ну, как ты?
— Как видишь. Постарел?
— На восемь лет. Георгий видит нас в зеркале. Не оборачивайся. Это не беда. Я знала, что он не уйдет.
Гордеев сидел в глубине кафе, там, где столики были разделены легкими стойками, на которые посетители бросали пальто.
— Он не умеет читать по губам?
— Нет. Кроме того, для нас с тобой угол падения не равен углу отражения.
— Я тебя люблю.
— Очень?
Он знал это поддразнивающее «очень?», от которого остро и нежно дрогнуло сердце.
— Как твоя математика?
— Все хорошо.
— Вот видишь. И без меня даже лучше?
— Не знаю. Помнишь, ты как-то сказала, что на свете нет несчастной любви?
— Не забыл?
— Ничего не забыл. И никогда не забуду.
Гордеев встал. Когда он подошел, они говорили о том, что из одежды — и за сколько — может купить Константин Павлович в Париже.

Самое трудное было — вспомнить себя до этого разговора, до муки ожидания, которая началась сразу, волшебно отзываясь где-то в глубине души и заставляя Константина Павловича сдерживать пробегающую острую дрожь.

Они вышли из кафе и пешком отправились в Лувр через Люксембургский сад, где он сфотографировал своим маленьким аппаратом дворец, бассейн с парусными лодочками, аббата с книгой в руках, сидевшего на сдвоенной скамейке спиной к хорошенькой девушке, которая ждала кого-то, волнуясь. Потом дали крюк, чтобы показать Константину Павловичу маленькую, живописную, чем-то знаменитую улочку, выходившую на бульвар Сен-Жермен. И все это было не Люксембургским садом, не бассейном, не улочкой, название которой он сразу же забыл, а необходимостью, которая должна была заполнить этот вдруг затянувшийся день.

Потом был Лувр, где они два часа бродили по залам восемнадцатого века (было решено, что Константин Павлович для начала должен посмотреть немногое, зато внимательно и неторопливо), разговаривая о Шардене, о Левицком, единственном русском в этом отделе, о ком-то еще и еще. Потом покупали открытки, обедали. Наконец в шестом часу он вернулся в свой отель — с чувством счастливой свободы от Гордеева, от Лувра, от Парижа, от всего, что мешало ему ждать вечера и беспокойно, радостно наслаждаться этим ожиданием.

Она не могла прийти раньше десяти или даже одиннадцати, и он решил принять ванну и уснуть, но прежде простоял добрый час у окна. Газетный киоск с прилавком, на котором лежали стопками, прихваченные проволокой, газеты и журналы, был виден под столбом газового света. Вот длинный сухой старик в широкополой шляпе, толкавший перед собой детскую коляску с откинутым верхом, в которой тоже лежали газеты и журналы, остановился у киоска, толстая владелица, в перехваченном длинном балахоне, вышла к нему, и начался длинный разговор, бесшумный и выразительный, как в пантомиме. Вот велосипедист, в кепке с утиным козырьком, подкатил, взял газету, не слезая с машины, бросил монетку и помчался дальше, навстречу дождю, который вдруг стал виден в газовом свете, сверкающий, брильянтовый и добрый, как добры и необыкновенны были все эти проходившие, пробегавшие, останавливающиеся у киоска люди.

Константин Павлович принял ванну, вернувшись в пижаме, радостно усталый и уже почему-то твердо знающий, что Лиза скоро придет, сбросил неприятное шелковое покрывало с кровати, лег и сразу уснул — или не уснул, а как будто на бегу прислонился к чему-то мягкому и, вздохнув, на минуту закрыл глаза. Он вспомнил себя в Ядрине, у окна, из которого был виден неяркий июльский день, скошенная трава на небольшом дворе, огород с подсолнухами. Небо — в длинных, отливающих тусклым серебром облаках. Под окном — мальва и маки. «Как легко мне представить тебя в этой обстановке и как трудно, несмотря на все твои яркие описания, в Париже»,— он говорил или писал это Лизе, хотя она была где-то здесь, потому что еще вчера они всей компанией ходили в лес на ночевку, и было весело раскладывать костер на высоком берегу Урги, и варить суп, и петь, и уснуть на колком и мягком ельнике, дыша горьковатым запахом дымка и хвои.

Он открыл глаза прежде, чем она постучала, лишь услышав или вообразив, что слышит ее торопливые, мягкие шаги в коридоре. Она вошла, и все в этом тусклом, некрасивом номере сразу наполнилось ею, свежестью ее загорелого, разрумянившегося от быстрого движения лица, шелестом мокрого блестящего плаща, который она скинула и стояла, смеясь, держа его одной рукой на весу, а другой убирая со лба упавшую потемневшую прядь волос. Он взял плащ и повесил его на дверцу шкафа, которая вдруг почему-то медленно открылась сама, как во сне, который, может быть, еще продолжался.

Слабый газовый уличный свет или синевато-розовый — вечернего неба установился в комнате, когда Константин Павлович повернул выключатель. Она сказала что-то о Гордееве, но не было ни Гордеева, ни Парижа, ни невозможности увидеть ее на следующий день — утром она возвращалась в Мениль. Было только поднимавшееся ввысь, нарастающее по вертикали возвращение после восьмилетней разлуки. Все, что сдерживало и останавливало его, все, что заставляло его холодно распоряжаться собой, ушло, растаяло, отмучилось, отступило. Теперь он не то что распоряжался собой, а с разбегу уходил в эту уносившую его и бог знает что делавшую с ним силу. Как он разгуливал, вырвавшись на волю, как качало возок, и мутный месяц нырял среди косматых подсвеченных туч! Как сплелись, соединились в одно их воспоминания — и тот морозный вечер у Исаакия, и волжский пароход, который все

равно как назывался, и исчезновенье существования, и острое желание, которое не надо торопить, потому что оно возвращалось само собой, все разгораясь.

Он открыл глаза. Ее волосы были перекинуты через его руку, слабый запах хвои от этих волос, от ее изумленного, недоуменного дыхания кружил ему голову в темноте, в полосках света, ложившегося на постель через полузадернутую занавеску. Какие-то стихи, которые еще днем она вспомнила в Лувре, перекинулись к нему вместе с прояснившимся сознанием. Он пробормотал их, она подхватила, смеясь, и стала просить отпустить ее и снова сказала что-то о Гордееве.

— Ты меня погубишь.

Но он и себя погубил, и знал это, потому что то, что происходило сейчас между ними, никогда не бывало прежде и не могло прежде быть никогда. Что́ разлука и неполнота счастья прежних встреч перед тем, как нежно и сильно он наконец сжимал в руках ее голову, перед этим жаром степи, по которой гулял морозно посвистывающий ветер.

— ...И снова будут письма. Лавров как-то сказал мне, что, когда ты берешь в руки перо, ты становишься совсем другим человеком. Я запомнила, потому что это тоже было в Казани...

— Да. А ты не становишься.

— Он сказал тогда, у нас все не ладится, потому что мы никак не можем вглядеться друг в друга.

— Это правда. У нас не хватало времени.

— Еще бы! Ты всегда торопился.

— Теперь пришла твоя очередь.

— Это совсем другое. Я — к мужу, а ты торопился к себе. Мне всю жизнь приходилось ждать. Я ждала, ждала, ждала. Потом были встречи, которые были *невстречи*. И снова разлуки. О разлуках я могла бы, кажется, написать целую книгу. Они ведь очень разные: замораживающие, когда вспоминались только эти *невстречи*. Бабьи, когда смертельно хотелось, чтобы ты был здесь, рядом, как сейчас, сию же минуту. Похоронные, когда совсем, навсегда теряешь надежду. В Ялте разлука была как во сне, от которого никак не можешь проснуться. Но после встречи с Вардгесом Яковлевичем я очнулась. И снова стала ждать, ждать, ждать.

— А потом, из Стамбула, написала, что больше не любишь?

— Да. Встретила Алексея, и оказалось, что я ему очень нужна. Я его пожалела. А ведь пожалеть — это и значит полюбить. Деревенские бабы так и говорят: «Она его жалеет»,— значит, любит. И потом — у меня никогда не было «дома». А это был какой ни на есть, а все-таки «дом». «Дом» — это ведь не хозяйство, не «совместное квартирование», как ты говорил, даже не дети. «Дом» — это когда друг от друга ничего не скрывают. Ведь сегодня у нас с тобой — «дом».

— Наконец!

— Да. Мне всегда казалось, что ты от меня что-то скрываешь, и невольно думалось: «Это то, что должно оттолкнуть его от меня». А тот же Лавров однажды рассказал мне, что ты куда-то ехал с матерью, еще гимназистом, и она заболела в дороге, ты всю ночь держал ее на руках. В письме, которое я оставила тебе в Казани, я написала, что ты принадлежишь им, а не мне. И что так будет всегда. Ну, как Лавров?

— Он был влюблен в тебя.

— Я догадывалась.

— Он тяжело болел. Сыпной тиф в двадцатом году, очень тяжелый. Он теперь на моей кафедре, в Политехническом. Мы видимся, переписываемся. Жена, дети.

— Да. Ах, как мне все мешало, как мне все мешало в Казани! И как запомнилось! Странно, ведь это было очень давно.

— Вчера.

— Девочки кроили кальсоны, а на окне в столовой стоял пенэкспеллер, от ломоты и ревматизма. Твой брат все время молчал за обедом, а потом сказал о купцах: «Подлецы первой гильдии». В тот день — может, помнишь — я купила книгу Морозова об Апокалипсисе — так и вожу ее повсюду с собой. И часто читаю. Там что-то наше. На вокзале газетчики кричали: «Родзянко! Родзянко!» Татарин стоял на коленях в углу, молился, кланялся.

Она плакала. Карновский поцеловал ее.

— И Дмитрий мешал, ведь он ждал меня в Петрограде. Все хотели жениться на мне. Кроме тебя. В Казани у тебя была Мариша. А теперь Надя Медведева. Она красивая?

— Приятная.

— И любит тебя?

— Кажется, да.

Они долго молчали.

— Значит, вернешься? — спросил Карновский.

— К тебе?

— К себе. Это и значит — ко мне.

— И снова будут смотрины?

Карновский засмеялся.

— Когда я уезжала из Казани, мне казалось, что всё у меня — там, не знаю где, в Париже. Теперь у тебя всё в Москве, а здесь — только я. Немного... Значит, вернуться?

— Да.

— Как?

— Еще не знаю. Я снова приеду. Теперь это стало нетрудно. Все еще будет хорошо. Милая, родная моя, все еще будет хорошо.

— Пора вставать. Что я скажу Георгию? А ты не думаешь, что мне будет трудно в России? Я прочла много книг, есть прекрасные. Я видела «Турандот». Но когда я читаю другие книги, не прекрасные, я начинаю думать, что мои холсты будут казаться там странными или даже «иностранными». И что в Париже до меня никому нет дела, а у вас... Может быть, я ошибаюсь.

— Если бы тебе предложили выбор — ты осталась бы здесь?

— Ни одного дня.

— Так о чем говорить?

— А Надя Медведева?

25.VIII.25. Мениль.

Ежик, твой крестник, бродит по дому ночами, стучит лапками, а я все думаю, думаю. Что же случилось? Почему все вдруг сорвалось, распалось? Почему? Может быть, потому, что наша встреча заставила меня взглянуть прямо в глаза моей переломанной жизни? Ради веры в призвание, надежды, мечты я с мукой добралась до Парижа. Я думала, что счастье без живописи для меня невозможно, а живописи не было бы, если бы я осталась с тобой. Но ее нет и сейчас — я и ее и тебя потеряла. Чем оказался для меня долгожданный Париж: случайной работой, полуголодной жизнью, росписью ночных кабаре в русском и японском стиле, Гордеевым, «Ротондой»?

Ежик стучит лапками. Очень тихо. Светает, сквозь шторы уже просится утро. Я пишу тебе в постели. Жаркая ночь, Георгий спит на дворе.

Может быть, для моей живописи нужно, чтобы я не находила себе места и терзалась невозможностью видеть тебя? Мне жизненно важно было убедиться в том, что ты меня любишь. Это звучит смешно, если вспомнить, как давно мы близки, но как бы мы ни были безоглядно близки, сомнение никогда не оставляло меня. И вот я думаю, как все было бы у нас, если бы это — мое возвращение — стало возможным? Кем стала бы я для тебя? Как-то в Ялте, которую я часто вспоминаю, мы с Вардгесом Яковлевичем пошли в домик Чехова. С каким трепетом рассматривала я его вещи! Мне казалось, что он жив и только уехал на время из дома. Ты не писал мне, что был в чеховском домике. Но конечно же был! Так вот, Вардгес Яковлевич рассказывал мне тогда историю Лики Мизиновой. Он услышал ее от сестры Чехова Марии Павловны, у которой часто бывал. Я слушала с жадностью — ведь мы, женщины, всюду ищем свое.

Почему я вспомнила этот разговор, Ялту, чеховский домик? Не знаю. Была простая и необыкновенная жизнь, была и ушла любовь. Кто захочет, тот и войдет в кабинет, в спальню — совсем девичью, простенькую, белую. Я — в отчаянии, мой дорогой. Может быть, мне не посылать тебе это письмо? Заколдованный круг!

25.IX.25. Париж.

Мой родной, дело совсем не в том, что мне негде хранить твои письма. Таскала бы в сумке, перечитывая в минуты тоски, а потом спрятала бы в укромное местечко. Дело в том, что после каждого твоего письма я хожу сама не своя, улыбаясь некстати и чувствуя себя, как в детстве, когда времени сколько угодно и кажется странным, что может кончиться счастливый медлительный день. Я не только бросила срочную работу (которая даст мне возможность приняться наконец за «свое»), но начинаю искать в небе ангелов с распростертыми крыльями.

Репродукции Гордеева еще не вышли из печати, почему-то задерживаются, вероятно из-за дороговизны. После твоего отъезда он перестал писать мой портрет, долго молчал, потом вдруг вспыхнул — последовала сцена, отвратительная по своей бессмысленности и повторяющаяся, как

во сне. Жить с ним трудно, я втихомолку снова решила расстаться, и на этот раз — надеюсь — бесповоротно. Надежда эта связана с другой, о которой еще рано говорить. Ты догадываешься? Возвращение.

В прошлый раз я забыла вложить в письмо стихи Ларисы Нестроевой, которые прислала Маша Снегова мне из Праги. Вот если бы эти звуковые (смысловые) волны перевести в световые (цветовые) — что за праздник получился бы на холсте. Да куда мне! Не по Сеньке шапка!

Говорят, Нестроева скоро приезжает в Париж. Пойду на ее вечер и постараюсь — мечтаю — познакомиться с ней.

Как твои материальные дела? Как здоровье? Как живется в Москве? Здесь цены на все поднимаются. Куда думаешь поехать на святки? Уж не в Петроград ли? Если — да, не забудь навестить наши места — Михайловский сад, набережную у сфинксов.

Почему ты не рассказал мне о своем горском мальчике? Ты ведь знаешь, что мне дорого все, что связано с тобой. Впрочем, у нас не было времени. История — удивительная. Тебе, должно быть, покажется странным, что я ревную тебя к нему? К Наде Медведевой — нет, а к нему — да. Мы с тобой в чем-то стали теперь неравны. Пришли мне его фотографию.

Последние дни в Мениле было у меня огорчение: ежика, твоего крестника, не уберегла. Георгий сердился, когда он гулко бегал по ночам, постукивая лапками, а мне сладко думалось о тебе. Ушел, точно знал, что мы уезжаем и все равно скоро придется расстаться.

Кажется, мы с тобой еще никогда не переписывались до востребования? Так вот: пиши-ка мне Poste Restante, Bureau, 102, Boulev. Pasteur.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

17.VIII.1926.

Милый друг, мы в Бонифачо, на Корсике,— вне времени и пространства. Дожили до того, что остается, кажется, сделаться чемпионами мира по плаванию: морем до Марселя, а оттуда — по шпалам. Или — что вероятнее — придется оставить Георгия заложником (в лавочке — долги), а самой ехать в Париж раздобывать деньгу. Не хочется смертельно. Я работаю, захлебываясь, уговаривая себя не спешить, передохнуть. Точно сам св. Паф-

путий (покровитель художников) ткнул меня в то, что я давно должна была увидеть, понять, написать. Что-то вдруг открылось, распахнулось во мне. Объяснить это сейчас невозможно. Может быть, потом, когда остановлюсь, оглянусь.

Бонифачо — городок удивительный. Живут здесь люди, для которых именно это важнее всего, то есть что они — люди. А что они — рыбаки, виноделы, кожевники — тоже, разумеется, важно, но не так, поменьше. Между собою все они — родственники. Работать им некогда — то крестины, то похороны, то свадьбы. Праздников — немного меньше, чем дней в году. Называют они себя: «рантье без ренты»,— с юмором, который понимают и ценят. Женщины носят красивые красные кувшины на головах, не придерживая — по-итальянски. Носят грациозно — откинутость стана придает им гордую осанку. Многие в трауре: по близким родственникам здесь ходят в трауре пять-шесть лет. Впрочем, и национальный костюм у них — черного цвета. Много хорошеньких, но нравы очень строгие, по-своему домостроевские. Если девушка просватана, а жених скрылся — кончено! Никогда и никто ее не возьмет. Но стоит ему показаться на горизонте — женят насильно или убьют.

Здесь принята до сих пор vendetta, о ее героях рассказывают фантастические истории. Жандармы смотрят на бандитов сквозь пальцы, а «континент», то есть Франция, даже фабрикует для них специальные ножи: с одной стороны вдоль лезвия — «vendetta Corsa», а с другой — «Che la mia ferita sia mortale» [1].

Прибавь к этим впечатлениям море, в которое бонифачийцы «вписаны», как будто они и не могут существовать вне его синевы, соли, свежести, и ты поймешь, как не хочется мне уезжать отсюда.

Пишу тебе у окна, а через стекло меня смело рассматривает ласка. Каждый день она приходит за своим обедом, который мы ей оставляем неподалеку. Живем мы в километре от Бонифачо, на скале (где стоит крестик). Прямого спуска к морю нет, приходится обходить полкилометра. С нами — Джакомо, друг Георгия, тот самый грустный, рассеянный бородач, русский художник с иностранной фамилией, который интересовался твоим мнением о нашей «птичье-небесной жизни», Кстати, эта фор-

---

[1] Да будет моя рана смертельна *(ит.)*.

мула как нельзя лучше подходит к нынешнему образу существования: мы живем робинзонами, в крошечном домике, без мебели, спим на ящиках и соломе. Зато из окон видна Сардиния. Георгий собирается промышлять рыбной ловлей. Вчера, например, он притащил какую-то красную, похожую на бульдога рыбу, такую запятную по цвету и форме, что я ее писала целый день, пока взревевшие от голода мужчины не заставили меня сварить из нее уху. Так-то, мой дорогой. Все было бы хорошо или по меньшей мере недурно, если бы я не вспоминала чаще, чем следует, о том, что в Париже, на бульваре Пастер, есть bureau № 102, а в этом bureau меня ждут твои письма. Не о любви, а хоть о том, что ты жив и здоров (как твоя малярия?), о живописи, о твоей летней бродяжнической жизни, которая так странно соединяется с зимней, академической, математической.

Не подумываешь ли снова — ох! — приехать в Париж?

Так же, как первые парижские письма Лизы Тураевой, это письмо состояло из открыток с «продолжением», ожививших и дополнивших ее рассказ о Бонифачо и корсиканцах. На развернутой панораме бонифачского побережья был отмечен крестиком маленький домик, стоявший высоко среди скал и еле заметный среди кустарников «маќи». Панорама охватывала лишь часть побережья и кончалась каменной трапецией цитадели, напоминавшей суровую крепость Вобана в Марсельском порту.

10.IX.1926. Бонифачо.

Объяснить тебе, как я пишу,— трудно. В тех холстах, которые ты видел в Мениле, была определенность, от которой я теперь сознательно отказалась. Тебе понравилось мое «Зеркало», попробуй представить себе, что ты пришел к пониманию того, что это — зеркало (а не окно или дверь), не путем прямого, непосредственного постижения, а через живопись, через цвет, его движение, композицию и т. д. Корсика — собор, построенный природой. Это страна величественная, готическая, вознесенная к небу. Камень, море и лес в неожиданных, поражающих сочетаниях. Взметенные и навеки застывшие, дикие, покрытые зеленью скалы. Предметность, обязывающая, настоятельная, рвущая холст,— не удивительно, что мне

захотелось шагнуть через нее: увидеть ее не в смысловом, а в живописном значении, в отношениях цвета. Ну, как еще объяснить? Из темного грота я вижу море, которое где-то сливается с небом. На этом фоне графически отчетливо вписаны неподвижные рыбачьи лодчонки. Но вижу я не море и небо, а лилово-лазурные тона светящегося полукруга, и в нем, в его глубине, синеватые матово-черные стрелы. Это вовсе не значит, что море и небо навсегда исчезают с холста. Если работа удается, они появляются снова. Но теперь они принадлежат уже мне и никому другому, потому что именно я увидела их такими.

Ты скажешь, что я сошла с ума, стараясь сперва потерять предмет, а потом найти его в переходах цвета? Может быть! Корсиканцы, кажется, уже решили, что я — помешанная, но они любят меня, деликатны и только скорбно покачивают головами. Георгий, у которого нет времени на споры, бесится, но молчит. Единственный человек, которому нравятся мои картины,— бонифачийский дурачок Жозеф, мой самый близкий друг и ежедневный гость. Он высокий, худой, без «фаса», безобидный и удивительно добрый. Его зовут простаком (simple), за глаза подтрунивают. Он болен, рыбной ловлей занимается для удовольствия, живет в семье сестры, где его очень любят.

Завтра еду с Георгием в горы — начало охоты. Хочу воспользоваться экипажем и писать этюды в оливковых садах. Для меня это — печальный день, я совершенно не переношу убийства. Старая тема, но меня она всегда остро волнует. И представь, Георгий — страстный охотник. Я понимаю его страсть (как спорт), но видеть убийство и страдания животных — не в силах. Вся беда в том, что мы многое, очень многое допускаем — лишь бы не видеть!

Днем еще жарко, а утром и вечером уже свежеет. Дни стоят нежные, голубые и бирюзовые. Как только начнутся ветры, особенно мистраль, придется укладывать пожитки. Привет Наде. Очень рада, поздравь ее за меня. Что представляет собой студия, в которой она будет играть? Это — театр?

15.X.1926.

Так вот что ты называешь «письмами не о любви»? Снова поехать в Крым, пройти от Гурзуфа до Алупки, провести ночь в Верхнем Мисхоре, у старика Бекирова,

который еще помнит меня? Найти Олеиз, где я мечтала о Византии? Поехать в Казань и опоздать на торжественное заседание памяти Лобачевского только потому, что тебе захотелось убедиться в том, что еще жива, не вырублена роща за Новиковой дачей? Спасибо тебе, мой родной. Но подумай и обо мне — о той, которая читала тебе «Александрийские песни» Кузмина в этой березовой роще...

Но больше всего я благодарна тебе за фотографию Вардгеса Яковлевича. И где только ты достал ее — ума не приложу. Написал в Эривань? Свел знакомство с какими-то армянскими художниками? Таким молодым, как на этой фотографии, я его не знала — это, должно быть, девяностые годы? Хотя и догадывалась, что он был очень хорош собой. Какое умное, доброе лицо, не правда ли? Глаза — задумчивые, разрез — плавный, продолговатый, и какие-то победительно-нежные. Даже борода — добрая. А эта трогательная франтоватость, над которой я подшучивала,— белый жилет, изящная шляпа с кантом, брелоки! Он ведь и в голодной, опустошенной Ялте старался принарядиться. Ты не мог сделать мне лучшего подарка.

В наказание посылаю тебе образец «письма не о любви».

Вчера я была на вечере Ларисы Нестроевой. Впечатление сильное, острое. Впечатление неожиданной зависимости от ее поэзии и даже едва ли не от самого факта ее существования. Стихи ее трудно слушать, их надо читать глазами, вдумываясь в каждое слово. Но и не вдумываясь, а только смутно их различая, начинаешь чувствовать, что вся она — невысказанный упрек нам, ушедшим с головой в постылую борьбу за существование. Ушла — должна была уйти в это — и она. Но она не только «в ней», но и «над ней». И в этом «над» — ее сила. Причем это «над» относится не только к нашей распыляющей сознание жизни. Это — «над», заглядывающее вперед, не частное, а самое общее, какое только можно представить. Не умею выразиться яснее. Читает она тихим голосом, сдержанна и внешне спокойна. Смертельно хочу познакомиться с ней, инстинктивно чувствуя, как это важно для меня и для моей работы.

Была на выставке средневекового искусства в Национальной библиотеке. Какие краски, какое великолепие! На выставке — не только манускрипты с их чудом паутинной

работы, на стенах — драгоценные фигурные ковры, в витринах — слоновая кость, золото нумизматики, золотые львы и леопарды, золото — червонное, светлое, теплых и холодных тонов. А какая ксилография! Невозможно представить себе, что это — ее детство, первые шаги. Коричнево-красные, желтые, серые краски сохранили свежесть, в этом ты можешь убедиться и сам — посылаю тебе репродукцию одной из лучших ксилографий конца четырнадцатого века. Не кажется ли тебе, что она напоминает Шагала?

P. S. Спасибо за фотографию твоего маленького горца. На ней — ты, человек никогда не садившийся на лошадь, а он — никогда с нее не слезавший. Первое вполне соответствует действительности, если вспомнить твой рассказ о Военно-Сухумской дороге. Второе — догадка, конечно, хотя что-то летящее, подгоняющее, стремительное можно различить в его, еще детском, взгляде. Ты пишешь, что он принадлежит к тем редким натурам, которые добиваются своей цели в девяноста девяти случаях из ста. Дай бог.

22.IV.1927. Париж.

Вот уже три месяца, как я не работаю, начатые холсты стоят лицом к стене, и отвращение, которое я испытываю к себе, никогда еще не казалось мне таким ощутительным, осязаемым. Вот его бы и написать! Куда там! Ни одной свободной минуты! Расписываю шелковые модные платки, шали, шарфы. Занята с утра до поздней ночи и боюсь только одного: остановиться, оглядеться. Сперва меня пригласили в одну мастерскую пайщицей, а потом надули (тайком продавали мои платки за 200 франков, а мне выплачивали только сто) — и тогда мы с Гордеевым, набравшись смелости, решили открыть мастерскую прикладного искусства. За крошечное ателье 2,5 на 6 метров заплатили 500 франков отступного и столько же за ремонт. Занимаемся мы выжиганием и раскрашиванием зонтичных ручек и выпускаем — ты не поверишь — до 500 ручек в день. В ателье работаем мы с Георгием и еще два художника, а остальные десять (с женами) — дома. Меня зовут «королевой пирографии», и молва обо мне обошла все ателье. Таким образом, моя деятельность получила наконец широкое признание. Сколько времени будет длиться эта мука — не знаю, должно быть, еще месяца два. Я выплатила спешные долги, купила два платья, туф-

ли, пальто — деловая женщина должна прилично одеваться. Короче говоря, я — в отчаянии, мой дорогой! Случается, что я вдруг, задохнувшись, приложив руку к сердцу, останавливаюсь перед страшной мыслью, что слеппу, теряю чувство цвета, перестаю видеть.

Прибавь к этому еще одну неожиданность, которая могла доставить мне много радости, а принесла только одни огорчения. Алексей (мой первый муж) в Париже. Я узнала об этом от одной незнакомой дамы, в чужом доме, однако, как вскоре выяснилось, совсем не случайно. Алексея она знает очень хорошо (жила с ним в одной квартире в Стамбуле). Он теперь богатый или, по меньшей мере, состоятельный человек. Она пришла в этот дом, чтобы сказать мне, что он будет счастлив поговорить со мною. Я, разумеется, сразу же согласилась — мне самой очень хотелось увидеться с ним, вспомнить Чибукли, расспросить. Но по своей глупой откровенности я рассказала об этом Георгию, и он устроил мне отвратительную, дикую сцену. День и час были уже назначены, но я была вынуждена послать Алексею записку — откровенную,— что мы не можем встретиться, к моему глубокому сожалению.

Надо же было, чтобы через несколько дней, в церкви, у всенощной, мы оказались почти рядом с ним. Я не видела его, было много народу, но Георгий видел. Конечно, он не поверил мне, когда я сказала, что мы не встречались, и ты легко можешь представить себе, что началось в тот же день, едва мы вернулись в нашу опротивевшую мне сараюшку! Нет, надо уходить. Но куда? Куда?

2.V.1927. Париж.

Да, мне тоже хочется прочитать мемуары Казановы. Что за век! Сейчас к нему большой интерес и в искусстве. Мастеров барокко «открывают» снова — и, как это всегда бывает в подобных случаях, преувеличивают их значение. Первая стена в Лувре (помнишь, в Итальянском зале) считалась скучной, а теперь о мастерах, мимо которых прежде равнодушно проходили, читаются курсы лекций.

Ситроен (автомобильная фирма) отправился в Африку для испытания своих гусеничных машин и взял с собой Александра Яковлева. Вот кому повезло! Мы с ним не встречались с тех пор, как я занималась у него в студии Добужинского, а тут вдруг случайно встретились на одной

выставке, и он интересно рассказал о своем путешествии. Экспедиция пересекла Африку, а потом, по восточным провинциям, добралась до Мадагаскара. Он работал урывками, только на остановках. Его модели разбегались во все стороны, заставить туземцев позировать было почти невозможно. И все-таки он привез триста больших рисунков и около сотни этюдов. Писал вождей африканских племен, их жен, детей, домашнюю жизнь, охоту. Его выставка имеет громадный успех. Я пошла и была разочарована. Это новость для Парижа, но не для живописи. Он очень многое видел, но почти ничего не «увидел». Впрочем, кажется, так думаю только я.

Умер Рильке, ты, верно, читал? Или у вас об этом не пишут? Иногда мне кажется, что я вижу сон, чем-то значительный в самой своей нелепости, один из тех, которые начинаешь рассказывать — и вдруг останавливаешься, запутываешься, умолкаешь. А иногда я записываю в карнэ какую-нибудь свою мысль (для тебя), а потом не могу разобрать собственные закорючки.

Ездила по делам Георгия в Экс, на родину Золя и Сезанна. Забавный город! И к тому и к другому относятся с отвращением. Золя поставили памятник, и сразу же на постаменте появились — и появляются до сих пор — оскорбительные надписи. В музее — ни одной картины Сезанна. Нет пророка в своем отечестве!

Я могла бы написать тебе о гастролях еврейского театра «Габима», имевшего большой успех в Париже. О том, что для настоящей оценки Энгра, оказывается, был нужен кубизм. О том, что я читаю Марселя Пруста (когда есть время) и твои письма (даже когда его нет). О том, что я купила старый (13-го года) иллюстрированный каталог выставки икон в Москве. Кстати, не попадется ли тебе каталог за 1912-й?

Вот видишь, как много занятного и поучительного на свете, кроме любви.

К Наде не ревную. Передай ей мой привет, скажи ей, что она для меня — милая сестра. Я хотела послать ей что-нибудь с тобой из Парижа, но ведь было «житие» с одной стороны и расцвет души — с другой. Пришлю при первой возможности. Люблю ее уже и за то, что она не отняла тебя у меня.

В Париже погода ужасная, вечный дождь, а если случится ясный день — жара и духота умопомрачительная. Но город розовый и голубой, все мужчины носят розовые

костюмы и шляпы. Дамы подражают Жозефине Беккер — прелестная мулатка!

Мы снова поедем на Корсику — если удастся оставить ателье за собой.

Это прекрасно, что ты так радуешься, помогая своему Джамилю, хотя не могу взять в толк, чем он напомнил тебе младшего брата. Твой брат был русский гимназист (помню его прекрасно, хотя видела только раз), то есть личность вполне определенная в своей грубоватости, беспечности, лохматости, браваде. И особенным отношением к миру, которым гимназист и отличался от реалиста или кадета. А Джамиль, судя по твоим письмам, человек неколеблющийся, отдающий себе приказания. Он принадлежит к своему народу,— кстати, я даже не знаю, кто он? Лезгин? Для меня новое в его истории соединяется со всей той новизной жизни в России, о которой после твоего отъезда осталось все же впечатление «не в фокусе», хотя я многое поняла и узнала.

Бонифачо, 2.V.1927.

О, какой ураган! Как скрипит и дрожит наш домик, открытый со всех сторон, и как страшно показывается серо-черная громада цитадели на той стороне обрыва. Ты видел «Золотую лихорадку»? Вот такой же ветер рвется в наши окна, стучится в дверь, а на чердаке точно кто-то мечется из угла в угол и гулко хлопает полуоторванной ставней. Холодище, впору хоть надевать шубу. Модель для моего портрета — старый рыбак, красномордый и лукавый, не пришел из-за плохой погоды. Остается только писать себя. Это было бы недурно, если бы не приходилось довольствоваться маленьким зеркалом. Обещано большое. Тогда мне легче будет смотреть на себя, как на модель. Маленькое зеркало, существующее для того, чтобы подвести глаза или попудриться на ходу, напоминает мне, что я женщина, а посторонние мысли, как известно, вредны для работы. В особенности когда невозможно сделать их непосторонними или даже главными. Это удается немногим. Лариса Нестроева, с которой я наконец познакомилась накануне отъезда, не выходит у меня из головы. «Немногие» — это она. Наши страдания, наш внутренний голос, заглушенный интересами дня, наша работа, до которой так трудно дойти, доползти, добраться,— это тоже Россия. И, может быть, самая страшная, самая безнадежная

сторона нашей нищей, цыганской жизни — непонимание или нежелание понять, что мы — тоже Россия. В Нестроевой поражает не только острота умственного зрения, но сила художника, сумевшего превратить в поэзию и это. Да не «и это», а именно это. Поэзия для нее — поступок, это сказывается даже в том, как она читает стихи. И не только поэзия. Она живет в мире поступков, значительных решений, не шажков, а шагов. Либо отказывается — и наотрез, либо признает и тогда, как у Блока, «приветствует звоном щита». Обкатанное, благополучное существование не может превратиться в искусство, потому что надо отдавать жизнь сырьем, перемолотую, не даренную, а выстраданную.

Вот о чем я думала, глядя в маленькое зеркало, работая над своим автопортретом — в шляпе, в повороте труакар, с левой стороной лица, уходящей в бесконечность, в Корсику, в этот ураган, сотрясающий наш жалкий домик. Да, бросить все, и прежде всего Георгия с его искренним, несчастным желанием сделать меня «своим созданием», то есть собой, уйти, не знаю куда, остаться одной — и работать! Не зарабатывать, а работать. Мне немного надо одной. Авось не умру! А так непременно умру — и очень скоро. Мне и то часто снится, что я умираю от чахотки и пишу тебе об этом, и боюсь, что не успею кончить письмо.

На днях Георгий и Джакомо выпили коньяку больше, чем следовало, и, когда я на что-то пожаловалась, стали подтрунивать над моей печальной судьбой. Смеялась и я. Решено было меня похоронить. Джакомо сочинил эпитафию, Георгий нарисовал эскиз памятника, а я написала завещание, оставив ему не картины, которые ему не нравятся, а свой скелет. Потом мы спели погребальную мессу и устроили отличный колокольный звон с помощью ложки и медного таза. И это было так грустно... себя хоронить. Кончилось это горькими слезами (конечно, моими), как, впрочем, и полагается на похоронах.

Будь здоров, мой дорогой. Я еще жива, как видишь. Мой старый рыбак пришел, несмотря на отвратительную погоду, и рассказал с глубоким сожалением, что жандармы убили героя Корсики, бандита Романетти, короля «маќи» (так называются здесь непроходимые кустарники, которыми покрыты горы). Говорят, что его предал один из ближайших друзей. Ты, конечно, читал «Коломба́» Мериме? Нравы на Корсике не изменились с тех пор. Зимой в нашем домике тоже скрывался бандит. Ему тай-

ком приносили еду. На ставне до сих пор сохранилась предостерегающая карандашная надпись, а у моей постели вся стена закопчена костром, который он разводил в комнате, чтобы дым не был виден над трубой. Привет милой Наде. Как она поживает? Пиши, родной.

Твоя Лиза.

14 июля 1927. Бонифачо.

Сегодня, завтра в Париже все танцуют. На площадях оркестры играют фокстроты и шимми. Шоферы, проезжая мимо, вылезают, делают тур-другой и возвращаются к терпеливым седокам. «Взять Бастилию» спешит весь Париж. До 14 июля он делится на богатых и бедных, веселых и угрюмых, злых и добрых, а после 14 июля лишь на «уезжающих и остающихся». Все, кто может уехать, страстно ждут этого дня.

А мы живем здесь язычниками, дикарями. Я сильно загорела, потолстела и даже, говорят, помолодела лет на пяток. Рыбаки наивно ухаживают за мной, и Жорж не ревнует, может быть, потому, что кроме своих панно очень занят охотой. В хорошие дни ходим километров за шесть к фонтану пресной воды (здесь с водой трудно). Дорога утомительная, каменистая. Как-то на днях я устала, меня посадили на осла (который вез хлеб, вино и кастрюли), и мужчины, которые шли сзади, говорили, что это было занятное зрелище: мой силуэт проецировался на зарю с грозными облаками, вокруг шли рыбаки с длинными удилищами — ни дать ни взять Жанна д'Арк с почетным эскортом!

Последнее письмо, которое я получила от тебя перед отъездом на Корсику, было из Нижнего. Конечно, я помню главный дом на ярмарке и ужаснулась, представив себе, что он был почти на сажень под водой. Я читала о необычайном разливе Волги в этом году, но, конечно, и представить себе не могла, что вода залила не только деревни и села, но и такие города, как Астрахань и Нижний.

Из письма Карновского: «...А у причала в Нижнем стоял наш с тобой «Владимир Мономах» под другим, конечно, названием. Так же готовятся к ярмарке, так же продают воблу на берегу, а плашкоутный мост еще не на-

веден. По вечерам с Откоса видны тихие зори, а позднее — затуманенная даль с коростелями и отдаленным, уже сдержанным рокотом соловья. Ему осталось петь тринадцать дней, тех самых, которые еще так недавно отделяли Русь от Европы. Она отделена теперь не временем, а характером постижения жизни. И я не понимаю, почему люди с жаждой необычайного не рвутся в Россию»...

...А как я завидовала твоей поездке в Вятку, и как умно ты поступил, найдя время среди своих лекций и консультаций съездить на Керженец, в те места, где стояли и еще стоят, как ты пишешь, раскольничьи скиты! Я почему-то думала, что Китеж — в Костромской губернии. Кстати сказать, в прошлом году я видела ваш чудесный «Град Китеж» в Гранд-Опера. Надо обладать талантом и энергией Эмиля Купера, чтобы соединить французский оркестр с русским хором и *без декораций* добиться такого успеха!

Поздравляю тебя с днем рождения и посылаю цветы абсента. Тот горько-сладкий напиток, который готовился из него во времена Верлена, запрещен. От него сохранилось только название. Но здесь его готовят и пьют. Что касается меня, я кладу абсент в постель — здесь царство блох, которые боятся его, как нашей полыни.

Надеюсь, что ты не рассердишься на меня за этот более чем скромный подарок? Я надеялась, что мне удастся закончить автопортрет и послать его тебе ко дню твоего рождения. Не удалось, но непременно пошлю — должно быть, уже из Парижа. Привет Наде, как она? Какой умница Джамиль, что не согласился с твоим «требником любви». Представляешь себе, как выглядел бы этот требник в его ауле? Мне кажется, что у вас с ним есть общие черты — равнодушие к повседневности, которая, по самой своей сущности, не может помешать достижению цели.

18.IX.27.

Пишу тебе с «необитаемого острова» — не знаю даже его названия. Это — первая наша поездка на лодке с местными рыбаками: иметь или снимать лодку иностранцам запрещено — близка Италия, боятся шпионажа...

Набрав всяких съедобных ракушек, я лежу у моря, прислушиваясь к колокольчикам коз, которые бродят где-

то неподалеку по скалам. Лежу и думаю о том, что любовь — это, в сущности, простейший способ познания мира и что подлинную сущность человека видит только тот, кто действительно любит. Кто писал о «музыке души»? Ее-то и слышит тот, кто любит. А все другие слышат в лучшем случае гаммы, а то и уличный шум...

Кончаю вечером, дома. Мужчины вернулись с рыбной ловли, и мне пришлось оторваться от своих размышлений: началось главное событие дня — приготовление ухи. Все горячатся, кричат. Рыбу чистят прямо в воде, внутренности растирают между скал, волны разносят запах, и из-под скал выползают мурены. Огромные, больше метра, со змеиными головками, похожие на удава. Их бьют острогой — и нужно метко попасть, если не хочешь получить ядовитый укус, который долго не заживает. Мурена умирает, извиваясь стремительными, острыми углами. Зрелище невыносимое, и для меня оно не искупается тем, что рыбаки готовят необычайно вкусное блюдо из ее белого, нежного мяса.

Мы проживаем последние деньги и в конце сентября вернемся — без единого су — в Париж.

Я очень рада за тебя, что ты сможешь этим летом съездить в Сибирь,— это, по-моему, не менее интересное путешествие, чем за границу. И я завидую Наде, с тобой очень приятно ездить. Только, пожалуйста, не скупись, пиши мне с дороги чаще и подробнее. Мне не хотелось бы прерывать переписку до осени, как это всегда бывает. Если самому будет некогда, пусть Надя пишет, я буду аккуратно отвечать, только адрес напиши заранее, если можно.

Как вы жили эту зиму? Расскажи мне о театре, в котором играет Надя. Как ее дела? Ты пиши о ней побольше, я всегда рада. Я хотела бы ей написать о здешнем театре, но, к сожалению, почти не бываю, а писать чужие отзывы как-то неинтересно. Собирались сходить на новинку, но не удалось. Сначала много работали, а потом сразу уехали: и устали, и денег не хотелось тратить, чтобы побольше сохранить на лето.

Обнимаю тебя, мой дорогой.

К этому письму, отправленному из Парижа, был приложен автопортрет Лизы, очевидно, тот самый, о котором она писала: «в шляпе, с левой стороной лица, уходящей в

бесконечность». Но это была вовсе не расплывающаяся, неопределенная бесконечность. Лицо было размышляющее, с широко открытыми глазами, а слева от него — стремительно бегущие вверх зеленые и розовые пятна: буря, ворвавшаяся в кустарники, пригибающая деревья. Неподвижно тупой оставалась только серо-солдатская граненая корма цитадели.

25.XII.27. Париж.

Плохи мои дела, родной. Я почти бросила работу в надежде, что ателье обеспечит нас хоть на полгода. Увы, его пришлось закрыть. За границей не хуже нас научились расписывать шали и зонтичные ручки. Покупают теперь только образцы. Англичане и американцы сбежали из Парижа — дороговизна, кризис, «благодетелям» не до искусства. Хорошо, что у нас было кое-что зимнее, а то обносились на Корсике, купить не на что, а между тем в Париже настоящий русский мороз. Сегодня на улицах — веселые, спешащие на праздничный вечер люди с игрушками и цветами в руках. А мы торчим в своей тараканьей щели, где даже нашему коту Прокофию некуда протянуть хвост, и никаких тебе праздников, никаких игрушек. Вот сижу я сейчас с ногами на кровати и пишу тебе, а Георгий и Джакомо свистят дуэтом, выглаживая стеклянными шкурками свое панно,— вообрази эту приятную музыку! Вчера, впрочем, был хороший вечер: читали «Конька-Горбунка» и пели студенческие песни.

Но все это кончится когда-нибудь — не привыкать стать! Может быть, и скоро!

А теперь о другом. Помнишь ли ты мое письмо, кажется, апрельское, о вечере Ларисы Нестроевой? Я писала тебе тогда, что хочу поближе познакомиться с нею. Это осуществилось при довольно странных обстоятельствах.

Еще в Стамбуле я познакомилась с Машей Снеговой, художницей, приятной, хорошенькой, но пустоватой женщиной,— помнится, я писала тебе о ней. Она прожила несколько лет в Праге, потом переехала в Париж. Мы встречались хотя и редко, но сердечно, не потому, что нас связывали общие интересы, а потому, что обе нуждались в женской дружбе. История у нее — не веселее моей. Она была влюблена в одного молодого человека (русского), замучившего ее своими «ни да, ни нет». Объяснялась эта нерешительность просто: он был близок с Ларисой Не-

строевой. Не берусь судить об этих отношениях. Но раз уж они были, значит, и в нем что-то было. Но вот с месяц назад все решилось. Свадьбу устроили по старинке, со всеми обрядами и даже с посыпанием молодых овсом. Я, признаться, не удержалась от слез, увидев подругу в подвенечном платье, измученную и все-таки хорошенькую. А через несколько дней она прибежала ко мне в горьких слезах. Что же произошло? Нестроева вместо свадебного подарка принесла Маше переписанное собственноручно стихотворение, которое посвящено истории ее любви. Да какое там посвящено — пронизано, проникнуто, распято!

Я утешала Машу, но, скажу откровенно, была восхищена этим, ни на что на свете не похожим, королевским, шекспировским шагом. Стихи необыкновенные, ударившие меня прямо в сердце, написанные — господи боже ты мой! — о нас, Костенька, о нас! Мы условились не писать о любви, так вот, как будто подслушав этот запрет, она о ней для нас написала. Как на Синай возвела она безвестность нашей любви, гордость этой безвестности, разлуку, которая не разлучает, а оборачивается неразрывностью, невозможностью расстаться.

Давно уже все у Маши уладилось, она снова приходила ко мне, веселая, и моя жизнь идет, как прежде,— с безденежьем, с муками работы, а я все не могу расстаться с этими стихами, которые не только выучила наизусть, но храню вместе с твоими письмами, потому что это и есть твои и мои, наши письма.

Теперь о встрече: ты знаешь, что я свободна в обращении и, вообще, неробкого десятка, а тут как на экзамен пошла, волновалась ужасно. Я ведь не очень понимала, зачем иду, но после десятиминутного разговора обе мы уже знали, что эта встреча была мне нужна, как... должно быть, как хлеб.

Ты помнишь, Костенька, я всегда завидовала твоей удивительной способности прочитать страницу одним взглядом. Именно так, с первого взгляда, она меня прочитала. Тогда, на своем вечере, она была другая, приказывающая себе быть сдержанной, не отпускающая себя от себя, если можно так выразиться. И теперь сдержанна, но совсем по-иному. Ну, как передать тебе впечатление? Одета более чем скромно, платье немодное, поношенное, но все пригнано, подтянуто. Впечатление внутренней собранности вспыхивает сразу же после крепкого рукопо-

жатия, а потом поддерживается каждым движением и словом. Фигура — прямо-таки египетская: плечи широкие, талия тонкая. Кажется неженственной, в светлых глазах прячется (а когда не надо прятаться, должно быть, ослепляет) умная женская сила. Еще одно впечатление: не спускается к собеседнику, а поднимает его до себя. Ну, а если не дал бог собеседнику крыльев, тогда просто — вежливость, естественная для полузнакомства.

Она живет в Медоне, в пятнадцати минутах поездом от Парижа, полдомика с маленьким садом, у нее двое детей: мальчик, наверное, годика два, кругломорденький, в локонах, синеглазый, и девочка лет семи, красивая, с твердым, недетским лицом. Она пришла потом. Я застала Ларису Ивановну в домашних заботах, и сперва мне показалось, что она недовольна. Но как раз эти заботы и помогли моему смущению и первым неловким минутам. Она не могла поздороваться, обваливала мелкую рыбу в муке и жарила — и я, недолго думая, засучила рукава и принялась ей помогать. И наш разговор, как ни странно, начался с этой рыбы. Все утра пропадают, четыре раза в неделю рынок, нельзя пропускать и т. д. Она сказала, что «рыба», то есть дом, хозяйство, дети ничуть не мешают ей думать, но чувствовать — нет! Нельзя чувствовать, когда у тебя клейкие руки, масло брызжет, когда ежеминутно прислушиваешься — не плачет ли Саша, и беспокоишься, почему так долго не возвращается Катенька, которая пошла за «cœur de cheval» [1]. Я сама постоянно покупаю «foie» [2] или «cœur de cheval», три с половиной франка за фунт, потому что конина вдвое дороже.

Мы заговорили о Катеньке. Лариса Ивановна сказала, что хочет отдать ее не в обычную школу, а в школу рисования Добужинского и Билибина. Я упомянула, что сама училась у Добужинского, и как-то незаметно растаяла первая неловкость. А потом мы уже говорили... Да бог весть, о чем мы только не говорили! Я почувствовала, что понравилась ей, иначе она не была бы со мной так откровенна. Или поняла мое одиночество? Или сама одинока? Но о том, как я пыталась сравнить наши жизни,— после.

Конечно, Лариса Ивановна догадалась, что я не только прочитала стихи, которые она подарила Машеньке, но

---

[1] Лошадиное сердце *(фр.)*.
[2] Печень *(фр.)*.

и пришла-то потому, что прочитала! Мы говорили о поэзии, о живописи, о том, что жизнь, которая не дает художнику стать художником,— это и есть его биография. Она не жаловалась, но вдруг как-то мельком сказала, что в Париже и надо жить Парижем, а иначе он бессмыслен; она живет здесь уже скоро год, а Notre Dame еще не видела. Я кое-что знала о том, как ее приняли в эмигрантских кругах, и не решалась об этом заговорить, но она сама спокойно сказала: за редким исключением ее здесь ненавидят, всячески обходят и т. д. И, между прочим, не только потому, что ее муж — евразиец (есть такое направление в политике, о котором ты, может быть, слышал) и его считают коммунистом и т. д., но и по ее собственной вине. «Я своего никому ничего дать не могу — ни времени, ни тишины, ни уединения. А ведь долг платежом красен. Да, впрочем,— прибавила она,— мне здесь и показаться не в чем. Платье, в котором я выступала,— чужое, одолженное. Никуда не хожу, потому что нечего надеть, а купить не на что».

У меня сохранились «пирографические» связи, и я обещала ей достать платье — и это действительно удалось, кстати, при помощи той же доброй Маши, которую муж уверил, что стихи не имеют к нему ни малейшего отношения.

И вот теперь я невольно сравниваю наши судьбы, так непохожие, но в чем-то очень важном перекликающиеся, и это «ау!» — то далеко, то близко. Слов нет, куда мне до нее! И все же она была неправа, когда сказала: «Здесь я никому не нужна!» Нет, нужна, потому что у нее есть дом, и дети, и муж, который играет в кинематографе фигурантом за 40 франков в день и с которым она полчаса разговаривает перед сном. А у меня нет дома. И если мы обе «живем начерно», как она сказала, так ее черновик, переписанный набело,— поэзия и, может быть, великая. А мой... Да что толковать!

Я ушла потрясенная еще и потому, что хотя мы не говорили обо мне, но она своим магическим чутьем поняла, как важна для меня ее помощь. Я уже собралась уходить, когда она вдруг сказала с серьезной улыбкой: «Это странным вам, наверно, покажется, но я всегда думала, что дать можно только богатому, а помочь только сильному».

Вот видишь, какое длинное письмо я написала тебе под аккомпанемент фальшивого свиста двух мужчин, которых пора кормить — правда, не рождественским гусем,

а все той же кониной, которую я вчера взяла у нашего лавочника в долг. Но ты не подумай, здесь это принято, конину даже рекомендуют врачи.

Ну, пиши мне больше и чаще. Что слышно о твоей командировке в Париж? Я часто думаю о тебе. И так хорошо, что ты существуешь, там, далеко в снегах. Привет Наде. Пиши.

4.V.1928.

В Бонифачо нас встретили шествием, как Линдберга. Но было много хлопот с поисками нового дома. Подле старого, в котором теперь «un bordel» [1], сидят и играют на своих дудочках (совсем как заклинатели змей) арабские солдаты. Мы сняли хорошенький домик, тоже на обрыве, над портом, среди виноградников и библейских олив. Плохо, что камин только в одной комнате — там, где работают панно, а для моей живописи нет места. До базара и воды — далеко, и пришлось купить ослицу по имени Блонда (хотя она — брюнетка). Езжу на базар амазонкой, изумляя местных дам, которые не ходят на базар. Даже в самых простых семьях ходит муж, а жены, разодетые, только в церковь, а потом прогуливаются по шоссе. Ни одна из них вообще никогда не сядет на осла, разве что за обещание войти в царство небесное! А я через два дня в третий тащусь, нагруженная бутылками и мешками, и только знай покрикиваю на свою неторопливую, как все бонифачийцы, Блонду (которую мы немедленно переименовали в Машку). Вид — очень pittoresque [2].

Вчера я нашла в лавочке мясника «Метаморфозы» Овидия на итальянском языке без начала и конца — в них завертывали котлеты. Я взяла и читаю по вечерам. Здесь до сих пор сильна итальянская культура. Я знаю одного каретника, который читает в подлиннике Данте. С ним мы, кстати сказать, подружились. Ведь я в свой первый ялтинский приезд снимала комнату в доме каретного мастера и теперь прочитала знатоку Данте целую лекцию о крымских экипажах. В особенности он заинтересовался «корзинами». Это были четырехместные коляски с плетенными из прутьев (в виде корзины) сиденьями. Я даже нарисовала ему по памяти этот экипаж, прикрытый пря-

---

[1] Публичный дом *(фр.)*.
[2] Живописный *(фр.)*.

моугольным большим зонтом с красной или зеленой подкладкой и бахромой по краям. Милая Ялта!

Посылаю тебе мои фото. Ты можешь сжечь их, тем более что они далеки от совершенства. Но мне хочется, чтобы ты видел, как я постарела, подурнела. Это — тоже твое, как все, что происходит со мной.

30.V.28.

Пишу тебе из маленькой деревушки в центре Корсики. Поехала за ореховым деревом для скульптуры, здесь оно почти втрое дешевле, чем в Париже,— и ошалела от здешней палитры, бесконечно более разнообразной, чем краски бонифачийского побережья. Домики тесно прижались к белой стройно-суровой колокольне, а вокруг — самоцветные горы: какие цвета, какое богатство! Деревня высоко в горах, прохлада по вечерам дает приятную зябкость. Я приехала сюда с знакомой дамой-корсиканкой к ее родным, которые и меня приняли, как родную. Если случится, что ты явишься в Париж прежде нас, сообщи мне об этом немедленно по ее адресу: «Бонифачо, Аркады, m-me Лючия·Санпьетро». Она — благородный человек, и я ей доверяю всецело.

Брожу с красками, вспоминаю любимую оливковую рощу в Олеизе. Здесь оливки—главная статья дохода (еще пробковый дуб и ловля лангустов). Дорога вьется, и за каждым поворотом открывается новое живописное чудо. А какое спокойствие! Какой свет и воздух! В деревне приходится даже пальто надевать, а спустишься в долину — уже жарко, персики, виноград. И повсюду — форелевые речки, холодная, вкусная родниковая вода. У каждого домика — навес из винограда: синие и розовые гроздья декоративно спадают на серый камень крылец.

И люди здесь удивительно симпатичные, приветливые, гостеприимные. Много бывших дворян, обедневших и живущих, как простые крестьяне. Давно не встречала я такого доброжелательства, внимания, благородства! Кормят меня на убой, и я уже начинаю жалеть, что послала тебе фотографии, на которых выгляжу постаревшей и подурневшей.

Значит, напиши мне через Лючию, а одновременно пошли дружеское письмо, спокойное, с приветами Георгию — на наш, разумеется, адрес. Не перестаю молить бога, чтобы ты приехал осенью, когда мы уже будем в Париже.

10.VI.28. Париж.

Здравствуй, милый друг Лиза. Сегодня третий день, как я в Париже. Получил твое письмо, но не успел ответить, так как была обычная суета перед отъездом. Устроился дешево и удобно в центре Латинского квартала. Одна беда — не с кем слова молвить по-французски. В маленьком пансионе, где в антресолях я снял комнату, живут русские, латыши, шведы—это крошечный Вавилон с крошечным хозяином, который ежедневно, в пять часов утра, начинает оглушительно объясняться с супругой, дочерью и щенком (по-еврейски). Моя командировка — до первого сентября, я должен вернуться к учебному году, следовательно, мы не увидимся, и я глубоко сожалею об этом. Одиночество мое разделяет Аристархов, один из моих математиков, добрый, но странный человек с голосом, раздирающим уши. Сегодня мы три часа подбирали ему костюм — и не подобрали. Французы на таких Святогоров не шьют.

День свой располагаю так, чтобы вечером не заниматься, а бродить — ты ведь знаешь, это мое любимое занятие. Хочется читать по-французски, но положительно не успеваю. Марселя Пруста намеренно не читал дома по-русски, а здесь говорят, что мне не одолеть его по-французски. В Лувре еще не был, на частных выставках — тоже, кроме выставки хризантем, да и то случайно заглянул, возвращаясь из Сорбонны.

Каждое утро гарсон, принося кофе, сообщает, что «похолодало», хотя с утра стоит невыносимая жара. В воскресенье я был в Булонском лесу. Молодые люди играют в теннис, на конной дорожке — всадники в традиционных костюмах для верховой езды.

Мой доклад в Сорбонне состоится в конце августа. Кланяйся Георгию Дмитриевичу. Не теряю надежды на ваш приезд.

Твой Костя.

10.VI.28. Париж.

Осталась ли ты довольна моим «дружеским» письмом, которое должно успокоить твоего мужа? Я занимался французским языком перед отъездом и писал это письмо, вспоминая свои грамматические упражнения. Надеюсь, что все главные и придаточные предложения — на месте? Это не просто оскорбительно — то, что мы должны притворяться, чтобы увидеть друг друга. Это постыдно, и я не понимаю, я просто в толк не возьму, как ты можешь так жить!

Связанная по рукам и ногам, в ежедневной и ежечасной лжи, при одной мысли о которой мне становится тошно.

Я еще понял бы это добровольное рабство ради детей, ради близких, для которых важно, чтобы в доме был «мир». Но ты же сама писала мне тысячу раз, что нет у тебя никакого «дома». Прятаться, не принадлежать себе, насиловать свои желания — да я не мог бы прожить так и двух дней! Это не жизнь, а медленное самоубийство души. И это ты, ты! Со своим свободолюбием, беспечностью, независимостью! Да куда же делось все это? Почему, за что ты должна каждую минуту чувствовать себя без вины виноватой? Откуда у тебя берутся силы, чтобы переносить это напряжение, эту игру в семейную жизнь, это изматывающее, перекошенное существование? Ведь рядом с ложью стоит трусость, которую ты же сама — это-то я отлично знаю — презираешь еще больше, чем ложь. Теперь, когда мы оба — во Франции, теперь не увидеться — да как же пережить эту бессмыслицу? Или мне бросить все и поехать на Корсику? Остановиться в каком-нибудь соседнем, ближайшем городке, придумать что-нибудь с помощью твоей Лючии? Напиши мне, не откладывая.

Твой К.

4.VII.28. Бонифачо.

Дорогой мой, я получила твое письмо (через Лючию), и оно так взволновало меня, что, уже спрятав его в тайничок (у меня тайничок среди скал, где я храню твои письма в жестянке из-под красок), я через час вернулась и прочла его снова. Я не узнаю тебя, мой милый! Куда делось твое «равновесие», из-за которого мы так ссорились в молодости? Я чуть не написала — в детстве. Все в тебе сейчас настроено на одну ноту, или, как это бывает со зрением,— на один цвет. Но закрой глаза и подумай спокойно: ведь мой внезапный отъезд без согласия Георгия будет означать разрыв с ним, окончательный и бесповоротный. «Дома» нет, но все-таки есть Георгий, который беспомощен перед своей ревностью и — я это чувствую — стыдится ее. Ведь в этом чувстве есть для него что-то безотчетное, как будто существующее независимо от его воли и толкающее его на поступки, в которых он раскаивается, преодолевая свою дикость и гордость. Ах, все не так просто, как тебе кажется теперь, когда мы ослеплены желанием видеть друг друга!

Так вот — я приеду. План, который я придумала, основан на нашем неизменном, прочном фундаменте: безденежье и все растущих долгах. Дело в том, что Георгий закончил свои панно и надо везти их в Париж, тем более что маршан, которому мы посылали фото, предложил на этот раз вполне приличную сумму. Еще до твоего приезда было решено, что поеду я, потому что Георгий ничего не понимает в практических делах (и мужественно сознается в этом). Но теперь, когда зашла речь о поездке, он напомнил мне известную загадку про волка, козу и капусту, которые должны были переплыть реку поочередно, оставив друг друга в живых. Если сперва перевезти волка, коза, оставшись на противоположном берегу, съест капусту. Если перевезти капусту — волк съест козу, и т. д. Упомянута была эта загадка весьма добродушно, и это позволило мне в такой же полушутливой форме дать ему слово, что я не встречусь с тобой — и, таким образом, останется целехонька его драгоценная капуста. Словом, я убедила его, тем более что без меня его действительно обведут вокруг пальца. Не знаю еще ни дня, ни часа, когда мне удастся заглянуть к тебе. В конце августа. Может быть, рано утром? Твой отель — рядом с театром Одеон, там поблизости дешевый рынок, на который я иногда ездила, хотя он довольно далеко от нашего дома.

Словом, терпенье, мой друг! Умоляю тебя. А теперь еще раз хочу напомнить тебе, что ты — в Париже, что на Rue de la Seine, в двух шагах от тебя,— выставка Пикассо, которая скоро закроется. Его можно видеть у маршана, но грешно пропустить такой богатый ensemble. Пойди непременно! На маленькие выставки вход бесплатный. Если на окне или двери висит афиша — смело входи и смотри. Стоит, по-моему, заглянуть и на выставку «Независимых граверов».

Обнимаю тебя. Мы увидимся. Боюсь, что у нас не останется времени, чтобы поговорить о живописи. Но если Георгий вернется в Бонифачо, а мне удастся задержаться в Париже...

Париж, 1928

Он проснулся с ясной головой, ощущением уверенности, что третьегодняшний приступ не повторится, как не повторился он накануне, когда Константин Павлович до-

кладывал в Сорбонне. Он проспал утренний разговор хозяина отеля с женой, хотя разговор был оглушительный и продолжительный, и услышал только удаляющееся: «Бубуль, Бубуль!» — хозяин ходил на рынок с собакой, которую звали Бубуль.

Сегодня было двадцать шестое, до конца августа осталось пять дней, и утро, пока еще раннее, началось как всегда. Всего лишь полмесяца прошло с тех пор, как он получил последнее письмо от Лизы. Но и за полмесяца это «как всегда» успело подняться над временем и перейти в чувство, присоединявшееся ко всему, что он делал и о чем начинал думать с утра. День был занят Сорбонной, переводом статьи Аристархова, которую тот оставил ему, уезжая, а в свободное время — выставками и синема. Он побывал на Пикассо, видел скульптуру и гравюры Гогена, смотрел Сутина, Модильяни.

Но утро — это была Лиза. Собираясь в дорогу, он наткнулся на зеркальце, которое она когда-то подарила ему, овальное, в бисерном зеленом футлярчике, с трещинкой. Он взял его с собой — и хорошо сделал, потому что в его комнате на антресолях, с косым окном, из которого был виден только крест какого-то собора, не оказалось зеркала, и он брился и причесывался перед Лизиным, глядя на свое, пересеченное трещиной, лицо и находя его незнакомым. Так было и в это утро. Бреясь, он подумал, что похудел и, кажется, помолодел в Париже. Скулы торчали, легкость, которую он испытывал, бродя по Парижу без устали, появилась в лице — «студенческом», как сказала бы Лиза. Может быть, сегодня это была какая-то уж слишком легкая легкость. Шум, почему-то напоминавший ему пригнувшуюся под ветром, перестукивающуюся рожь, по временам начинал звенеть в голове, потом проходил, и Константин Павлович не прислушивался к нему, потому что это был, конечно, не приступ. Было еще рано, ему захотелось еще полежать, но он заставил себя, не снимая пижамы, перевести несколько страниц аристарховской статьи. Вполне оправдывая свою семинарскую фамилию, Аристархов писал длиннейшими периодами, которые, переводя на французский, приходилось делить пополам.

Все-таки он решил полежать, хотя чувствовал себя превосходно. Почему-то Казань вспоминалась ему, но мелькающая, скользящая, точно он куда-то бежал, а за ним гнались, и нельзя было ни оглянуться, ни остановиться. Он

не знал, почему так важно было вспомнить, когда и почему он бежал,— может быть, чтобы убедиться, что он здоров и что ему нисколько не мешает обычный утренний, нестройный шум отеля? И он вспомнил: у Высших женских курсов был траурный митинг — Лена Кондакова, которую он готовил на аттестат зрелости, покончила самоубийством, и студенты, человек пятьсот, пошли провожать гроб до кладбища на Арском поле. Вдруг послышался стук копыт по булыжнику, на толпу с нагайками мчалась казачья сотня. Все смешалось, сдвинулось, метнулось, в общей сумятице обмороков, бегства, криков он один остался на месте, огляделся. Он был подле Института благородных девиц, и хотя забор был очень высокий, но ему удалось подпрыгнуть и схватиться за кромку руками. Он прыгнул в сад, перебежал аллеи и перескочил через второй забор, который оказался еще более высоким,— земля с той стороны, на Подлужной, оказалась гораздо ниже, чем он ожидал. Девицы, гулявшие в саду и не ожидавшие, что какой-то студент неожиданно перелетит через забор, встретили его звонкими взрывами хохота — и очень странно, что он ясно слышал этот хохот сейчас, через двадцать лет, в Париже, а не в Казани. «Не может быть, чтобы они все еще смеялись надо мной»,— подумал он. Но тогда почему же всетаки он видел и слышал не только то, что было, но и то, чего не было и не могло быть никогда? Он ясно увидел Ялту, но не ту, в которой он был несколько лет назад, а другую, старую, дореволюционную, о которой рассказывала ему в письмах Лиза. У ярко освещенного мола стоял пароход «Цесаревич Георгий»; по трапу бежали носильщики с большими бляхами-номерами; комиссионеры, хватая приезжих за рукава, выкрикивали названия своих гостиниц; подле сходен стояли полицейские; паровые лебедки поднимали из трюмов тюки мешков, ящики, бочки. На толстых чугунных швартовых тумбах были надеты канаты, и в этой суматохе и тесноте ему почудилось, что одна летящая петля как-то нечаянно упала на него и сильно стянула горло.

Какой-то комиссионер с огромными черными усами, в фуражке, на околыше которой было написано «Гостиница Франция», надвинулся на него и оглушительно крикнул в самое ухо: «Комфорт только у нас!» Но сразу же настала тишина, потому что он был теперь в кипарисовой роще, высоко над морем. Одинокая беломраморная колонна стоя-

ла над чьей-то могилой; он вспомнил, что это была могила писателя Найденова и что он списал для Лизы его высеченные на мраморе стихи.

И тишина была глубокая, легкая, полуденная. Он прислушивался к ней, лежа на постели, с закинутыми под голову руками. Он ждал ее, потому что вместе с этой тишиной к нему должна была прийти Лиза. Пожалуй, это была несбыточная надежда, и он удивился и обрадовался, когда до него все-таки донесся стук ее каблуков по асфальту. Он вообразил этот стук, а может быть, и не вообразил, потому что его нельзя было перепутать с другим, учащавшимся и вдруг переходящим в гулкое медленное биение. То был совсем другой стук — может быть, сердца? Да, он слышал ее шаги, и это был не приступ, потому что он не чувствовал озноба, голова была свежа и даже, может быть, слишком свежа. Лиза шла к нему через Монмартр, мимо кабаков с русскими названиями, которые она расписала, мимо Блошиного рынка, на котором можно купить окурок сигареты, мимо «Ротонды», где они могли провести за столиком лишь полчаса, потому что это не Казань, а Париж.

Иногда автобусы, проносившиеся вдоль бульвара Сен-Мишель, заглушали ее шаги, но потом он научился и в этом железном грохоте различать шаги ее длинных, крепких, загорелых ног.

Скоро она придет к нему, и они будут одни, здесь, в антресолях, совсем одни, потому что в бисерном зеркальце с трещиной, которое она ему подарила, угол падения не равен, не может быть равен углу отражения.

Пот заливал глаза, и должно быть, надо было все-таки померить температуру. Но градусник лежал где-то очень далеко, на столе, за километр, и сам стол то отодвигался, то приближался.

Лиза вошла осторожно, быстро, он попробовал встать и улыбнулся, когда выражение ужаса мгновенно изменило ее лицо, любимое, сияющее, взволнованное предчувствием встречи.

— Родная моя, нам не повезло,— сказал он с нежностью.— Ты дала мужу слово, что мы не встретимся, да? Ты торопишься и убежишь через десять минут? Я тебя люблю. Понимаешь, третьего дня у меня был приступ малярии, и я надеялся, что он не повторится, потому что она у меня трехдневная, и если не повторяется на следующий день... Но вот повторилась.

Особенность этого многолетнего разговора, продолжавшегося почти четверть века, заключается в том, что по временам он как бы замирал, останавливался. Необходимость переписки, естественно, отпадала, когда Лиза встречалась с Карновским,— так случилось и летом 1928 года. Но сохранилось несколько писем, по которым видно, что с той поры началась другая полоса неисчерпаемости их отношений.

«Я горько плакал, читая листки из твоего блокнота, написанные, по-видимому, наспех, где-нибудь на пристани или на вокзале, и думая о том, что нехотя стал причиной новых потрясений в твоей и без того тяжкой судьбе,— писал Константин Павлович.— Никогда не забуду я великой — не боюсь этого слова — простоты, с которой ты в этот день осталась со мной. Никто не знает о нашей любви. Когда Коля Лавров, перенеся сыпной тиф и воспаление легких, лежал у меня в Казани, я читал ему твои письма. Тебя я считал погибшей, а его — вернувшимся с того света. Может быть, мне казалось, что жар и чистота твоей любви помогут его выздоровлению».

Он получил ответ на это письмо уже с Корсики, куда Лиза уехала одна, после решительного объяснения с мужем... «Я тоже плакала, но не горько, а от счастья,— писала она.— В молодости твои письма не всегда приносили мне счастье, и случалось, что я часами, а иногда целыми днями не открывала их, стараясь продлить ожиданье. О тебе больше всех знала Шура, и я до сих пор болезненно переживаю нашу с ней, теперь уже, должно быть, непоправимую разлуку. Георгий знал, что я люблю тебя, видел и понимал силу моего чувства, но, разумеется, и он никогда не читал твоих писем, кроме того, которое я просила тебя написать, чтобы легче было обмануть его и поехать в Париж. Теперь — господи благослови! — никого не надо обманывать. Мы расстались спокойно, я отправила его вещи с Джакомо, а сама решила остаться на зиму здесь, где жизнь дешева и можно работать. Так что не кори себя, мой дорогой! Все к лучшему. И не потому мы разошлись, что я провела с тобой тот благословенный день, а потому, что я для него — «дом», а он для меня — сделка с судьбой.

Давным-давно решила я отказаться от маленьких удач, без которых не мог бы существовать этот «дом» и которые

были связаны с работой «на заказ» и, следовательно, с отсутствием свободы. Но об этом не только не говорилось, а я вынуждена была притворно радоваться, когда Георгий или я получали заказ. Получал почти всегда именно он, я помогала, и то, что у меня на это уходили все время и силы, считалось естественным, а то, что я делала для себя, «допускалось». Нет, нет! Я должна восстановить свою независимость — и не только от Георгия и его круга, который давно потерял интерес для меня, а от любого круга.

Не думай, что я потеряла надежду на успех, выставку, Салон, куда меня не пускают. (Под этим словом, кстати, здесь понимают художественный товар на все вкусы.) В том-то и его сила, что в него не пускают! И тем не менее, как это ни парадоксально, надо убить в себе Салон, чтобы попасть в него. Из тысячи холстов девятьсот девяносто девять написаны с этой надеждой».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

7.VI.29. Бонифачо.

...Георгий в Париже, мы переписываемся дружески, хотя и редко. Это было трудно — остаться друзьями,— не для меня, для него. Помогли внешние обстоятельства. Его панно и прежде имели успех, но, расходясь по рукам, оставались «за кулисами» Парижа. Нынешней зимой ему удалось устроить выставку — и в «Les Echos d'Art» появилась статья с репродукциями его работ, одобрительная, хотя и небольшая. Меня трогает в его письмах сожаление, что мы расстались, когда ему повезло. Но и мне повезло, хотя совсем по-другому. Все, что происходило со мной в последние годы, было трудным, медленным возвращением к живописи. В понимании ее мы давно разошлись, мне мешала настоятельность, с которой он превращал ее в средство существования. Мы в последнее время редко разговаривали о живописи, я молчала, помогая ему, или лгала, потому что он вспыхивал при малейшем возражении. Но это только одна сторона, сам понимаешь, насколько важная. Была и другая. Я давно поняла, что подлинная любовь скрыта от людей, а когда ее показывают или о ней узнают, она, в сущности, перестает быть любовью. Мне в детстве всегда казалась странной торжественность свадебного обряда, и я испытывала неловкость при мысли, что все знают, *что* вскоре должно произойти и непременно

произойдет между молодыми. Тайна, которая должна остаться между любящими, становится заранее известна всем и даже публикуется в газетах! Какая, в самом деле, ложь «таинство брака» и как лицемерно украдено это слово у подлинной любви! Довольно вспомнить о пытке ревности, которой Георгий терзал меня годами, о постыдной торопливости, с которой я должна была возвращаться домой, чтобы он не подумал, что я была «где-то и с кем-то», о близости, неискренней, унизительной, только чтобы оправдаться, хотя не виновата, успокоить, хотя не о чем было волноваться. Только ты знал и писал мне об этом, потому что мне ни в чем никогда не стыдно было тебе сознаться. А работа! Эта подлая ревность лишала меня внутренней свободы, без которой ничего нельзя сделать в искусстве, да и не только в искусстве. Я должна была шагать через это рабство, и сколько сил уходило у меня на это шаганье! А теперь что ты скажешь, мой дорогой, если я признаюсь тебе, что, как ни странно, я скучаю иногда без Георгия? Уж очень мы «вжились» в наши ссоры и примиренья. Но ведь и по тюрьме скучают. Кажется, у Леонида Андреева один из рассказов кончается: «При закате солнца наша тюрьма прекрасна...»

Бонифачо.

Мой милый друг, я давно написала тебе большое письмо, но, перечитав, разорвала. Я не люблю запоздалые письма. Время идет без стрелок, как на «Черных часах» Сезанна, и остановить его, к сожалению, невозможно. Впрочем, можно — в искусстве. Но для этого как раз и нужно быть Сезанном.

В Бонифачо нынче много художников. На каждом углу видишь соперников. Детишки толпой переходят от одного к другому, то хвалят, то бранят — оглушительно и откровенно. Некоторые их замечания необычайно верны. Врожденный вкус, корсиканцы!

На днях ко мне заходил один молодой художник, поляк, красивый, энергичный малый. Восемь месяцев назад он поехал в Аргентину, хотел заработать, и вот после долгих мытарств вернулся во Францию. Славны бубны за горами! В Аргентине богаты только скотоводы и помещики, а народ ведет едва ли не пещерный образ существования. Много русских — где только их нет! — бедны и несчастны. Вернувшись, поляк нанялся на резку виногра-

да — 30 франков в день и, разумеется, винограда — сколько влезет. Подумываю о том же и я, да боюсь, не хватит силенок! А жаль — доктора давно советовали мне проделать виноградный курс.

(Письмо не датировано)

30.VI.1929. Бонифачо.

Дорогой мой, ради бога, даже и не думай посылать мне деньги! Они гораздо нужнее тебе, в особенности если снова появится возможность приехать в Париж. Я получила заказ на портрет, у меня есть ученица, этого пока вполне достаточно. Жизнь на Корсике поразительно дешева. Да и вообще, мой родной, ты меня знаешь и все-таки не знаешь! Ведь я — семижильная! Я — цепкая, как репейник. А уж теперь-то, когда для меня наступил «день первый», много ли надо, кроме денег на холсты и краски? Портрет, кстати сказать, мне заказала моя милая, благородная, деликатная Лючия Санпьетро. Я пишу его на фоне Корсики, и все так ярко, так пропитано солнцем, что невольно хочется поставить между собой и натурой очень тонкую, прозрачную кисею, приглушающую этот блеск. Я ее и поставила — мысленно, а потом перенесла на холст. Получилось или получается что-то новое, по меньшей мере для меня.

Вот так-то мне и живется, мой дорогой. Трудно, но когда, кому из художников было легко? Краска бесшумно ложится на холст, но ведь в этих простых движениях — шум жерновов, перемалывающих жизнь. Это тоже кто-то сказал, а может быть, и не кто-то, а я.

Событий у меня, Костенька, нет, если не считать, что вчера я вернулась с «необитаемого острова», где провела несколько дней. Спала в шалаше, который наша компания построила в прошлом году, много работала, много купалась.

Помнишь, я писала тебе о бонифачийском дурачке Жозефе? Он привозил мне хлеб, рыбу и пресную воду. Мы подолгу разговаривали, и я окончательно убедилась в том, что он не только не дурачок, а по-своему очень умен, хотя и простодушен, как дитя. Он сказал мне однажды: «Было бы чересчур хорошо, если бы все жалели людей, как я». Это покажется тебе странным, но я запасаюсь душевными силами в наших разговорах.

Мой «необитаемый остров» — Корсика в миниатюре, только без зелени, если не считать кустарника маќи. Одни заливчики врезаны в красно-розовые, византийские скалы, другие — в светло-серые, почти белые, грубо наваленные друг на друга. В этом хаосе (который я писала несколько раз) легко различить выразительные формы живого мира: здесь и белый медведь, и капуцин, и тигры, и старуха в чепце. Если соединить эти скалы с зеленой и лазурной водой — какое волнующее открывается великолепие! Впрочем, на Ядрин я бы все-таки его променяла.

Между прочим, на днях в порту стоял огромный трехмачтовый парусник. Я проплывала совсем рядом, восхищаясь матросами, которые красили борт. Какие рослые итальянцы! Вдруг слышу русскую речь! Я плавала так долго, что чуть не утонула...

...А у меня другое отношение к смерти. Если бы я знала свой час, я бы совсем не торопилась — напротив, это знание стало бы для меня одним из условий свободы. Так не торопится Пруст. Должно быть, поэтому его нельзя и читать торопливо.

10.VII.29. Порто-Веккьо.

Миленький мой, ты молчишь — и я невольно начинаю волноваться. Может быть, потому, что поехала с Лючией в Порто-Веккьо, и оказалось, что городок охвачен малярией. Страшно было увидеть в этом японском раю (то и дело встречаются настоящие японские пейзажи) шатающиеся тени, изможденные, зеленые лица.

Как твое здоровье? Где ты? Пишу тебе второпях, чтобы поскорее получить ответ. Меня тревожит твое молчание.

20.X.1929. Бонифачо.

...Все одушевлено, любой предмет, который ты пишешь,— все равно, человек это или корыто,— и надо писать так, чтобы ему некуда было деваться, чтобы он почувствовал, что подмечен глазом художника и, стало быть, открыт для него. А для всех других — скрыт за собственной обыкновенностью или необычайностью, это не имеет значения. Я поняла это практически, то есть через самый материал живописи. Неясно? Понятнее я могла бы сказать только в одном случае: если бы ты сейчас был

рядом со мной, на берегу стоячего заливчика перед холстом, на котором я пишу кактусы и сосны. Берег золотистый, а сосны под прямым углом опрокинулись в воду.

Париж, в котором приобретаешь весь мир и теряешь душу, стал страшен для меня, но поехать, в конце концов, придется. Ведь там, чтобы не чувствовать лихорадки, торопливости, шума,— нужно самой сделаться этой лихорадкой и шумом. Не хочу.

Как я жалею, что отдала тебе твои письма,— ведь я могла бы перечитывать их теперь без конца. И они заменяли бы мне тебя. Я написала «заменяли бы» — и засмеялась. Не заменили бы! Но среди них есть просто любимые и любимейшие, без которых мне особенно скучно.

Какие правила для пересылки картин почтой? Если ты скоро не приедешь во Францию, я пошлю тебе свой лучший холст. Но ты приедешь, я верю.

Так Джамиль кончил институт и уехал в Челябинск? Напиши ему, что твой близкий друг шлет ему самые горячие поздравления и пожелания.

8.XI.29. Бонифачо.

Милый, будь! Пребывай всегда — ты мне так нужен! Что касается «доминанты», о которой ты пишешь,— ее нет. Более того, она невозможна. Живопись не соединяет и не разъединяет нас. Я думаю совсем о другом: придет время (разделяю твою надежду), и я приеду к тебе. Но не возьмет ли тогда свое наша разлука? Она ведь долгая, бесконечная. Она для меня — как злое божество, привыкшее считать себя неодолимым, непреодолимым. Слишком много опыта было и мало счастья. В этом опыте, кстати сказать, таится убеждение, что с годами женщина входит во вкус семейной жизни, а мужчина теряет этот вкус. Ты не боишься, что нечто подобное может случиться и с нами?

Вчера вышла на этюды — и вдруг захотелось побродить, подумать. Утро было холодное, ясное. Даже казенные здания порта, прежде раздражавшие меня, окрасились в теплый розовый цвет и пожелали принадлежать пейзажу.

Возвращаясь, я встретила забавную процессию — бонифачийцы на ослах ехали за город собирать маслины. Винограду в этом году мало, вино вздорожало. А хорошее здесь было вино...

Да, совсем забыла, у меня неприятность. Последнее время я стала легко уставать. Не знала, что у меня температура, градусника не было. Значит, легкие не в порядке. Пройдет, если не придется вскоре вернуться в Париж. Там вылечиться трудно, да еще без денег.

Я снимаю комнату недалеко от «марины» — так называется нижняя часть города, пристань. Рыбаки сейчас не уходят в море, сушат свои сети, плетут невода. А в порту идет погрузка громадных лангустов. Их ловят летом и до поздней осени держат в море, в больших круглых корзинах. Смотреть на эту погрузку я не могу — у меня болезненное чувство жалости ко всему животному миру. А не смотреть — тоже не могу, потому что это зрелище неизъяснимо прекрасное и просто требующее, чтобы я его написала.

Вечером дул сирокко. Ведь здесь, к сожалению, не бывает осени. Скоро зима. Когда я думаю, что приеду в Париж и тебя там не будет,— мне хочется плакать.

Париж (без даты).

В метро, в автобусах я пишу тебе длинные письма, а когда возвращаюсь домой, усталая, трудно взяться за перо. А ведь многое хотелось бы рассказать. От непривычной ранней жары Париж ошалел, обезумел... Храмы, биржи, музеи, дворцы, скачки с препятствиями, джаз-банды, мюзик-холлы, ревю, дансинги, салоны, выставки, диспуты... Вавилонское столпотворение!

Ты спрашиваешь меня, куда идет французская живопись? Ответ простой: на выставки и к торговцам. В прошлом году в моде был кубизм. В этом — сюрреализм. Для большинства молодых холст — результат договора с торговцем, а не иносказание духа. Тонкая, неторопливая техника давно не в ходу. Как можно больше быстрых мазков — и портрет готов в два-три сеанса! Тень неудачи — и работа отставлена, переписывать некогда, рынок не ждет.

Вчера была в Салоне Тюильри, интересных полотен мало. Зато частные выставки хороши. На одной из них я встретила удивительную личность, которую только и можно, кажется, встретить в Париже. Я была у своего маршана, привезла paravent[1], и вдруг из соседней ком-

[1] Ширма *(фр.)*.

наты, где висели работы Матисса, бомбой вылетает громадный мужчина с мушкетерскими усами, в широкополой шляпе и бархатной куртке с отложным воротником. До нас и прежде доносились его оглушительные оценки, пересыпанные теми особенными словечками, без которых не обходятся в Париже критики и художники. Кстати сказать, оценки были неглупые, особенно насчет японцев, совершенно потерявших за последнее время свой национальный характер. И вот этот тип подходит к Матиссу и начинает рассыпаться в комплиментах: восторженно, шумно, с манерами влиятельного критика. Все очарованы, Матисс кланяется, благодарит, приглашает в свое ателье. Холоден только хозяин. Когда же этот «влиятельный критик», наконец, удалился, оказалось, что он — бывший натурщик Родена. Все ужасно смеялись.

Матисс похвалил мой параван, хотя и угадал в нем черты «Византии», о которой, мне казалось, я давно забыла и думать. Когда все разошлись, маршан предложил мне немногим больше, чем стоили холст и краски. Я согласилась. Он-то как раз человек влиятельный, хотя и скуп, как Гобсек.

Жаль, что Камерный театр так скромно «подал себя» и что так мало было спектаклей. Понравилась мне «Жирофле-Жирофля». Ритм — обдуманный, неотразимый, и такое впечатление простоты, легкости, свежести! Мне вспомнились школьные шарады и те спектакли, которые мы разыгрывали детьми после посещения театра.

А Мейерхольд — ведь это совсем другое?

Последние дни у меня было досадное чувство, что я все забываю сказать тебе о чем-то важном, неотложном и крайне необходимом для нас обоих, в особенности для меня. Теперь вспомнила: ничего, что я постарела? «Стареют, когда этого хотят»,— говорят французы. Я стараюсь увидеть себя в зеркале твоими глазами.

Твоя Л.

10.XII.1929. Париж.

Мне захотелось составить свой «инвентарь». Вызвано это желание предчувствием скорой смерти. Это странно, хотя бы потому, что на днях я была у врача и он сказал, что я почти здорова.

Вообще говоря, я спокойно отношусь к мысли о смерти. Но если ученые найдут средство «вечной жизни» и ты

будешь жить, а я умру, это — обидно. В том, что задача бессмертия будет решена, я не сомневаюсь. Но так как при моей жизни этого, очевидно, не случится — ничего не поделаешь, надо умирать. Надеюсь, что это случится не на Корсике, а в Париже, где меня по крайней мере сожгут. Вот видишь, я еще диктую условия.

Пишу я все это шутя, но мысли у меня серьезные. Как всегда, они соединяются с желанием «рассказать себя».

Сделала я, конечно, мало. Более того, чувствую, что только начинаю работать. Это относится прежде всего к композиции, в которой мне лишь недавно удалось, кажется, найти свое. Самое трудное было преодолеть или даже забыть «готовые» формы, то есть, в сущности, почти все, чему меня учили. Это происходило мучительно долго, а совершилось в одно мгновение. Однажды в Бонифачо, вернувшись в сумерки домой с этюдов, я вдруг увидала странную, полную внутреннего напряжения, совершенно неизвестную мне картину. Непонятно, что было изображено на ней, и, только вглядевшись, я поняла, что это мой собственный холст «Малярия в Порто-Веккьо», который я бросила ради какой-то другой работы. Холст косо стоял у стены, и, может быть, ракурс и сумерки сделали то, что я увидела только цветовые пятна, но в таком оригинальном и остром сочетании, о котором я прежде не могла и мечтать. Прислушиваясь к этому впечатлению, я еще добрых месяца два работала над этой картиной. Холст небольшой. Написан он о малярии, конечно, но в тютчевском понимании этого слова: «Люблю сей божий гнев...» Я работала, вспоминая тот благословенный день, который мы с тобой, впервые за десять лет, провели не расставаясь.

Итак, сделано мало. Самое главное, может быть, впереди. И все же достаточно, чтобы «remplir ma mesure du destin» [1].

Помнишь, я писала тебе, что Алексей приезжал в Париж и передал через одну полузнакомую даму, что будет счастлив увидеться со мной. Я поняла по ее намекам, что он не переставал следить за моей жизнью все эти годы. Теперь он снова просил передать, что весной будет в Париже и что ему необходимо поговорить со мной «по делу».

---

[1] Исполнилось то, что мне суждено *(фр.)*.

20.XII.1929. Париж.

Миленький мой, ты меня напугал. Конечно, жаль, что твоя командировка сорвалась, но ведь ты пишешь, что не намерен с этим примириться и вновь будешь хлопотать. В твоем письме я почувствовала отчаянье, что вовсе на тебя не похоже. Я-то была почти уверена, что скоро ты не приедешь. Я плохо разбираюсь или даже почти не понимаю тех особенностей твоей нынешней жизни, которые могут тебе помешать приехать в Париж.

Я часто вижусь в последнее время с Нестроевой, и, хотя между нами (я в этом давно убедилась) не может быть женской дружбы, которой мне так не хватает, наши встречи неизменно волнуют меня. Она — человек сложный, и не моего ума дело разобраться в этой сложности, или, вернее сказать, содержательности. Я только чувствую в ней завидную способность становиться вровень со своей поэзией, причем это происходит естественно, само собой.

И еще одно: подчас мне кажется, что в ней соединилось много людей — то ссорящихся между собой, то сохраняющих напряженное согласие. Такова же, по-моему, и ее поэзия.

Мне она сказала, что все, что я пишу,— Россия, будь то корсиканский пейзаж или интерьер моей мастерской. Все — через свет снега или через Волгу, в том понимании, о котором я тебе когда-то писала. И говорим мы главным образом о России, которую она каким-то чудом увезла в своей бродячей котомке. У нее все невольно устремлено *туда,* а все, что в ней звенит,— *оттуда.* Звон этот можно принять за колокольный, потому что слышится он откуда-то сверху. И она заражает этой высотой, внушает ее самой своей личностью, быть может, невольно.

Но мы много говорим и об искусстве, а на днях даже чуть не поссорились. Я сказала, что она счастливее меня, потому что для нее сама русская речь — поэзия, а я — если пятно цвета уподобить слову — невольно говорю на всеобщем языке. Она возразила, что набор слов — еще не поэзия, так же как живопись — не случайное соединение пятен. И что в нашей нищете и бесправии лучше не равняться «счастьем»...

15.I.1930. Париж.

Мой милый друг, я так давно тебе не писала. Все собиралась и откладывала, зная, что ты путешествуешь и еще не скоро вернешься. Посылаю тебе фотографии моих

последних работ. О них горячо отозвался русский художник Корн, недавно приехавший из Советского Союза. Это важно для меня, бесконечно важно, и сейчас я тебе объясню — почему. Мы познакомились на выставке Матисса, и он пригласил меня в свою мастерскую. Квартирка бедная, в крошечном домике, переделанном в ателье из гаража. Он — в командировке, которую, как он надеется, удастся продлить еще на год. Его работы... Мало сказать, что они изумили меня. Ты понимаешь, это было так, как будто свет, который падал передо мной на дорогу, вдруг обратился назад, озарив все мои горестные промахи и редкие удачи. Я поняла, например, что, расставшись с иллюстративностью, которой учили меня Яковлев и Добужинский, я выиграла, потому что обратилась к цвету. Здесь Византия сыграла одновременно и отрицательную и положительную роль. Отрицательную — потому что она (вместе с Георгием) тянула меня к стилизации, а положительную — потому что она помогла мне понять, что ларионовско-гончаровское направление—не мое. Все это стало видно вовсе не потому, что Корн шел таким же путем. И он ушел от сюжета. (Не пойми меня превратно: под «сюжетом» я вовсе не подразумеваю «содержательность». Портреты Рембрандта не менее сюжетны, чем «Утро стрелецкой казни», хотя «сюжета» в смысле «события» в них нет и следа.) Но у него все это произошло совершенно иначе, и я до сих пор не понимаю, почему, глядя на его работы, я увидела свои другими глазами. Так бывает, когда, слушая музыку, думаешь о «своем», и оказывается, что «свое» — это та же музыка, которую ты все-таки слышишь. Словом, давным-давно я так не волновалась, как перед работами Корна. Они на первый взгляд сдержанны, даже холодноваты. Самое главное в них — прямота, отсутствие сложности, даже, может быть, трезвость. Но это нелегкая прямота, требующая огромной работы, как требует ее очень умная, человечная книга. После Корна мне расхотелось посылать тебе фотографии моих работ. Но все-таки посылаю.

Твою сестру Катю я помню маленькой девочкой с взрослыми, серьезными глазами. Как жаль, что ты не мог повидаться с ней в Сибири! О Сибири ты пишешь на этот раз бегло, без того воодушевления, которому я радовалась всегда, читая твои письма о поездках в Чувашию, на Кавказ, в Самарканд. Это очень странно, но у меня

осталось впечатление, что ты не уехал, а сбежал в Сибирь. От кого? Напиши поскорее снова.

Я подарила Корну свою последнюю работу. Она внутренне связана с ним, и я была счастлива, когда он сам сказал мне об этом.

Париж, 1930

Накануне Елизавета Николаевна виделась с Алексеем, в котором трудно было узнать прежнего, измученного Алексея, еще таскавшего потертую офицерскую шинель, говорившего с ней терпеливым голосом (когда она приходила в отчаянье, сердилась, волновалась), страдавшего от муки безножия и всегда скрывавшего от нее что-нибудь — ревность к Георгию, неприятности, связанные с дурным отношением к нему швейцарца, управляющего имением хедива. Худое лицо его сгладилось, погрубело, потеряло открытость. Он почти не прихрамывал (ему сделали в Париже новейший удобный протез) и был сдержанно, со вкусом одет. Борьба со швейцарцем кончилась его победой, теперь он управлял имением и добился того, что Чибукли стало приносить немалый доход хедиву. Елизавета Николаевна сердечно встретилась с ним, подавив раздражение, вспыхнувшее в ней, когда он мельком, но с сожалением оглядел ее бедную комнату с тахтой, покрытой облезлым ковром. Она достаточно знала его, чтобы угадать, о чем он подумал: для него смысл жизни определялся одной главной возможностью — достижением удачи, а здесь все было на грани насущно необходимого для человеческого существования. Елизавета Николаевна не успела, а потом и не захотела убрать со стола две вареные картофелины и кусок селедки, торчавший из газетной бумаги.

Так много воды утекло с тех пор, как они расстались в Стамбуле,— он, едва удерживаясь от слез, она, взволнованная отъездом, исполняющейся мечтой о Париже,— что разговор долго не вязался, шел ни о чем, о мелочах. Потом что-то дрогнуло в его голосе, и Елизавета Николаевна насторожилась — подумала, что он заговорит об их несостоявшемся свидании, от которого она была вынуждена отказаться. Она ошиблась. Он заговорил о другом. Помнит ли она, что, уезжая в Париж, она надеялась взять взаймы у хедива 25 тысяч франков на два года? Теперь

это можно устроить, он сам поговорит с хедивом,— и почти уверен, что сумеет его убедить.

Это было так неожиданно, так кстати, что все мгновенно неузнаваемо изменилось вокруг. Это было такое упавшее с неба счастье, такая ослепительная возможность спокойной, бесконечной — два года! — работы, что она не то что не поверила, а всем своим опытом полунищего существования заподозрила: нет ли здесь какого-то заднего умысла, какой-то ловушки, придуманной этим уже полузнакомым, гладким, спокойно-уверенным человеком? Но она сейчас же опомнилась. Этот человек был Алексей, в порядочности которого она никогда не сомневалась. И все-таки она еще медлила — и согласилась, лишь когда он показал ей фотографию молодой красивой женщины с прильнувшим к ней маленьким ребенком. Второй год, как Алексей женился. Она — русская, ей двадцать два года, москвичка, дочь профессора по римскому праву. Отец умер, она жила с матерью, очень бедствовала, он взял ее на работу в имение. «Я больше не мог жить один»,— сказал он, и Елизавета Николаевна сердечно поздравила его, обняла и поцеловала.

Принаряженная, оживленная, она шла теперь к Корну, жившему недалеко от нее, тоже в Клямаре. Он показал ей близкую дорогу, переулочками, приятную, потому что можно было не выходить на шумную магистраль, провонявшую парами бензина. Она уже успела привыкнуть к мысли, что получит от хедива 25 тысяч франков взаймы, и теперь весело распоряжалась в воображении этой почти невообразимой суммой: она расплатится с долгами — их к счастью, немного,— назначит себе столько-то франков на ежедневные траты и поедет на Корсику, где жизнь втрое дешевле.

Но по мере приближения к дому, где жил Корн, мысли ее приняли другое направление. Он был глубокий художник, в его холстах Елизавета Николаевна чувствовала то, чего так не хватало ей в собственной работе: упрямство независимости, сдержанность и одновременно волнующий, тяжелый накал страстей. Он рассказывал о загадочной, болезненно незабытой родине, куда она непременно вернется, о живописи, которая там шла своими, сложными и тоже загадочными для нее путями. Они условились, что он станет читать ей нечто вроде лекции после работы, а кое о чем расскажет и во время работы. Словом, знакомство было драгоценное, неоценимое. Ее огорчало

только одно. Он настойчиво ухаживал за ней, добиваясь взаимности, и она не знала, как отделаться от этих ухаживаний, не обижая его. По-видимому, ему казалось совершенно естественным, что она, одинокая тридцатисемилетняя женщина, должна принадлежать ему — почему бы и нет? — тоже еще молодому и чувствующему себя одиноко в Париже. Но после недавней встречи с Константином Павловичем, так радостно и необыкновенно изменившей их отношения, она не могла даже и представить себе близости с другим человеком, хотя бы даже он был так талантлив, так умен и привлекателен, как Корн.

Елизавета Николаевна даже немного жалела о своей прежней молодой легкости, которая позволяла ей не задумываясь решать этот, никогда не казавшийся слишком сложным, вопрос.

Но тогда Константин Павлович был другой, и любовь к нему была другая, метавшаяся, отравленная воспоминаниями о его «холодном кипятке», о внезапных, мучивших ее поворотах. Теперь все устроилось, все устоялось. Теперь она *ждала*, и этому ожиданию были светло и прочно отданы душевные силы.

Корн работал, когда она пришла, но, увидев ее из окна, сбежал с лестницы и радостно протянул ей обе руки:

— Здравствуйте. Как хорошо, что вы пришли!

Он был тощий, костлявый, в болтавшейся, запачканной красками блузе, с легкими движениями, в очках, рассеянный, быстрый. У него было одновременно и деятельно-энергичное, и усталое лицо с лысеющим лбом. Он много говорил, перебивая себя, но не путаясь, вдохновенно соглашался, вдруг неожиданно возражал и был, как однажды Елизавета Николаевна сказала ему, удивительно «однозначен», то есть никогда и ни в чем не выдавал себя ни за кого другого. Это полное отсутствие притворства сперва как раз и показалось Елизавете Николаевне притворством. Но потом она поняла, что Корн так глубоко ушел в свою живопись, с такой полнотой отдал ей свои силы, что у него просто не хватило бы этих сил, чтобы хитрить или притворяться, чтобы устроить благополучную жизнь. Ему ничего больше и не осталось, как быть самим собой, и это удивляло Елизавету Николаевну и казалось ей трогательно необыкновенным.

Он любил выпить, мог часами бродить по Парижу. Но она знала, что работает он мучительно медленно, без кон-

ца возвращаясь к своим сосредоточенным, без единого пустого сантиметра, холстам.

Ее приход — Елизавета Николаевна сразу почувствовала это — был счастливой возможностью на короткое время забыть о работе и заняться другим делом, которое он тоже очень любил и которому отводил немалое место в жизни. Не прошло и десяти минут, как он попытался обнять ее. Стараясь отвести его руки, она сказала с укоризной: «Матвей Ильич»,— но он не отпустил, и пришлось вырваться силой.

— Милый Матвей Ильич, ну, пожалуйста, не надо!

— «Ну, пожалуйста» — первый сказал я.

— А кто обещал рассказать, как Малевич поссорился с Шагалом?

— Ну да, хорошо, непременно. Но я не могу рассказывать, когда мне хочется вас целовать. Можно одновременно?

— Нет. Это долго объяснять, но я, к сожалению, не могу позволить, чтобы вы меня целовали.

— Все-таки — к сожалению?

— Да. Это ничего не меняет.

У него были огорченные глаза, и Елизавету Николаевну тронуло, что он нисколько не старается скрыть огорчения. Надо было как-то помочь ему заменить неисполнившееся желание надеждой, и она заговорила о его последней, еще стоявшей на мольберте работе.

— Как все изменилось за несколько дней!

Это был уголок парка в Медоне. Лиловые пятна раскинулись на дорожках, на траве — тени, отброшенные от грубых стволов. В центре холста — угол дома с разноосвещенными окнами, одно над другим, а в стороне — маленькое темно-сиреневое строение. Неуловимо меняющийся цвет древесной коры окрашивал пейзаж. Справа этот цвет медленно переходил в зелень кустарника, а слева — грубо сталкивался с краснотой осеннего клена.

— Нравится?

— Очень.

Они долго молча смотрели на холст, и когда Корн заговорил, у него были уже другие, спокойные глаза. Она облегченно вздохнула.

Но он еще сердился на нее. Привязавшись к какому-то ее замечанию, он стал доказывать, что она вообще не умеет «смотреть».

— Я же вижу, как вы смотрите! Вы доверяете своим зрительным впечатлениям, а нужно как-то отделываться от них, и чем скорее, тем лучше. Им можно доверять, когда мы, например, обедаем, чтобы не поднести ложку к уху. А перед картиной надо искать зрительные впечатления художника, а не ваши. Вы не умеете смотреть на холст глазами того, кто его написал. Что такое пятно на холсте? Это — событие, происшествие, иногда скандал, и так далее. У Рембрандта — событие, у Гогена — скандал. Все равно. Надо его понять, а кто не умеет смотреть, тот никогда ничего не поймет, потому что ничего не увидит.

Все это было еще продолжением неловкой сцены ухаживания — то, что он разговаривал с ней, как будто она вчера взяла в руки кисть. Но вот он заговорил о «пятне» у бубнововалетцев, и сразу стало интересно. Когда-то он сам принадлежал к этой группе.

— Для меня все началось с того, что надоели мирискусники, я устал от их «тонкости вообще». У них все было «вообще», даже образованность, хотя образованность им как раз пригодилась. Они были постаревшие актеры, которым не хотелось уходить со сцены, и тогда они стали покровительствовать другим, чтобы не уйти, а сами при этом скрежетали зубами. Я лично слышал, как ваш Добужинский скрежетал, хотя при этом он был очень вежлив.

Дверь осталась открытой, и Елизавета Николаевна поняла по его скользнувшему взгляду, что ему очень хочется закрыть дверь. Он колебался, зная, что она снова начнет стыдить его, и боялся, что по мягкости характера ему снова ничего не удастся.

— Они считали, что мы обезьянничаем, и были правы, потому что действительно — куда бы мы кинулись без Сезанна или Гогена? И потому что многие действительно остановились на подражании. А некоторые не остановились и даже перешагнули Сезанна. Конечно, тогда это было не так ясно, как теперь, и даже совсем неясно. Тогда шли ощупью и главным образом старались все отменить. Сперва литературу, потом сюжет. Лет пятнадцать тому назад я, например, писал пейзаж, а получался натюрморт. Мне нравились прозрачные предметы — стекло или вода в графине, потому что это — не предметы, а окрашенная среда. Вы когда-нибудь пробовали? Это очень полезно.

— Да.

— Покажете?

Елизавета Николаевна покачала головой.

— Нет. Это было плохо.

— Ну вот. Дальше надо было идти учиться к кубистам, а я не пошел. Одно время я писал, как кубисты, но у меня ничего не получалось, может быть, потому, что я по натуре человек общительный и мне всегда хотелось в работе спокойно разговаривать с людьми, а кубисты не разговаривали, а настаивали, кричали.

Он забыл о «Бубновом валете» и стал рассказывать о себе. К сюжету он вернулся уже в другом, цветовом значении. Например, писал весь холст в одном определенном цвете, стараясь, чтобы пространство, фактура, вся инструментовка были не только связаны, но как бы происходили из этого основного цвета. Потом стал искать «освещение цветом», и оказалось, что сюжет ничему не мешает и даже помогает, если понимать его в чисто живописном, а не в литературном смысле.

Он вышел и, вернувшись через несколько минут, закрыл дверь, не решившись все-таки накинуть крючок. Но этот крючок уже участвовал во всем, что он рассказывал, как бы заставив его раздвоиться: один Корн уже захвачен тем, что должно было непременно произойти, если он все-таки накинет крючок, а другой Корн еще рассказывал о своем отношении к супрематистам: по его мнению, каждая группа «левых» поняла революцию как победу своего направления. Шагал был комиссаром по искусству в Витебске, его ученики рисовали на всех заборах летящих вверх ногами свиней и коровок. Через два года его низложил Малевич. Малевич доказывал, что нечего возиться с изображениями каких-то предметов и фигур: подлинное революционное искусство беспредметно. Он отбил у Шагала учеников, захватил художественное училище, и Шагал должен был уехать в Москву.

В мастерской стемнело. Корн пробормотал, что надо зажечь свет, подошел к двери и накинул крючок.

— Матвей Ильич, мы же не дети,— поспешно сказала Елизавета Николаевна, когда он снова обнял ее.— Если бы я могла, я бы... Ну, просто... Раз уж вы... Но я не могу.

Он что-то говорил изменившимся, беспамятным голосом: «Ну, пожалуйста, я не хочу насильно...»

— Насильно нельзя, и вообще нельзя. Поверьте же мне! Я так дорожу нашим знакомством, а теперь мне придется...

— Почему, почему? Напротив, если б мы были близки, мы виделись бы часто, каждый день. Ну, я очень прошу вас, Лизанька. Очень!

Она снова отвела его руки. На мгновенье ей самой стало досадно, что она так холодна.

— Не могу. И объяснить не могу. Вы мне разорвете платье,— сказала она, отклоняясь.— А оно у меня одно. Есть, впрочем, другие, но это — самое лучшее. Пожалуйста, откройте дверь, чтобы не волноваться. И я вам все объясню.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Париж, 1931.

Милый друг, я начала это письмо давно, еще когда мой сад, состоящий, как ты знаешь, из единственной черешни, был в цвету. Теперь она отцвела, пожелтела, ветер срывает последние листья. Я ее люблю и такой, с графическим рисунком ветвей. Плохо только, что к ней больше не приходит в гости Лариса Нестроева. Мы поссорились, должно быть навсегда, потому что она не из тех, кто возвращается, а я не из тех, кто просит вернуться. Дело началось со спора, в сущности, отвлеченного. Ей не понравился интерьер, который я пишу, и она сказала мне об этом, может быть, слишком резко. Потом мы вернулись к нашему разговору о «первоначальности» искусства, и я первая сорвалась, когда она сказала, что недаром сказано: «В начале было слово», и что в сравнении с поэзией «все зрительное — второстепенное». Я стала доказывать обратное, то есть «первоначальность» живописи, и не нашлась, когда она возразила, что на необитаемом острове художник — только Робинзон, а поэт — бог. Мы обе сильно волновались, но я сдерживалась, а она с каждой минутой становилась все холоднее и резче. Она преклоняется перед Гончаровой, я знала это и уже нарочно сказала, что как раз у Гончаровой-то и нет той первозданности, того «начала начал», которое свойственно подлинным большим мастерам. Она посмотрела на меня, точно оттолкнула,— мне холодно стало от этого взгляда,— и заметила уже почти небрежно, что между Гончаровой и мной уже та разница, что я только подхожу к искусству, а она им одержима, захвачена. Для нее иного выхода нет, а для меня — есть. И тут она беспощадно сказала о моей пиро-

графии, о зонтиках, точно кнутом стегнула по больному месту. Я расплакалась, она тоже — и вскоре ушла, лишь наружно помирившись.

Меня потрясло ее презрение, и теперь я думаю, это была совсем не шутка, когда она сказала, что ходит в гости к моей черешне. А ведь сколько было выговорено под этой черешней! Сколько в памяти перебрано, какие счеты сведены, не между собой, а между долей мужской и женской, нерусской и русской. Так вот, не будет больше этих разговоров. И не потому мы разошлись, что ей не нравится моя живопись, а потому что мы обе — странницы, которым больше невмоготу бродить «Христа ради». Все это — горечь душевная, отрава, месть себе, камень на шее, с которым не жить бы, а впору только броситься в воду.

Я не писала тебе, что подавала просьбу о возвращении и, к сожалению, получила отказ. Я уже после первого разговора в консульстве сомневалась, что мне удастся вернуться, но все-таки подала заявление, заручившись поддержкой руководителей Союза возвращения на родину,— ты, должно быть, слышал об этой организации, в которой кого только нет — от безграмотного вологодского мужика до бывшего министра. Отказ пришел через полгода, и я немедленно — так мне посоветовали в том же союзе — подала новое заявление. Вот так-то, родной. Теперь остается только одно: ждать тебя. В последнем письме ты упомянул, что возобновляешь хлопоты о командировке.

О моих работах ты сказал много верного, и это удивительно, если вспомнить, что я послала тебе только фотографии. Но, миленький мой, все это для меня уже не вчерашний, а третьегодняшний день! Я работаю теперь совершенно иначе... Ну, могу только «философски» объяснить: так, чтобы не я требовала от живописи все возможное и невозможное, а она — от меня. Посылаю тебе письмо, не перечитывая, чтобы не задержать.

6.I.31. Париж.

Не могу тебе передать, как ты беспокоишь меня, мой дорогой. Или ты сердишься на меня за то, что я не сразу ответила? В твоем письме есть нечто принужденное, точно ты написал его через силу. Может быть, ты просто разлюбил меня? Нет, это тебе не удалось бы утаить, странные недомолвки твоего письма относятся к чему-то со-

вершенно другому. Мне показалось даже, что у тебя переменился почерк, и я, дура, кинулась сравнивать... Нет, твой! Умоляю тебя, напиши мне правду или, если это невозможно, хоть краешек правды, я все пойму с полуслова. Если это служебные неприятности, ради бога, не придавай им значения. Если откладывается командировка — ну что ж, нам с тобой не занимать терпения, надежды.

Что же мне, мой родной, рассказать о себе? У меня — трудная полоса. Не в материальном отношении, там — не «полоса», а вся жизнь. Хедив, с которым Алексей говорил, отказался ссудить мне 25 тысяч франков на два года. Алексей предложил свои десять, и на этот раз отказалась я. Но меня беспокоит не безденежье. Другое не дает мне покоя, о другом думаю я беспрестанно: неужели так и не удастся вернуться домой? На Волгу. К тебе.

Все это, должно быть, наивно, мой дорогой, но почему бы иногда не помечтать одинокой женщине средних лет, которая только что долго смотрелась в зеркало, стараясь угадать, «какую» ты меня любишь. Ты станешь смеяться, но прежде чем приняться за письмо к тебе, я крашу губы, подвожу глаза, с сожалением разглядываю морщинки вокруг рта и глаз. Говорят, что стареют, когда этого хотят. Неправда! Когда этого не хотят — еще больше стареют.

4.III.1931. Париж.

Я все поняла, мой дорогой. Больше ты не услышишь от меня ни единой жалобы. Мне просто захотелось помечтать, и я забыла о том, как, в сущности, безнадежно это занятие. Я буду терпелива. Я стану писать тебе о ежедневном, обыкновенном, о том, что не заставляет заглядывать ни вперед, ни назад. Ты приедешь, нет же никаких оснований предполагать, что этого не случится? И все будет хорошо.

В последнее время стоит мороз 2—4° ниже нуля, Париж в снегу. Для французов это бедствие, а я не могу на него наглядеться. Странно, что можно взять в руку хрупкий комок, он холодит и напоминает петербургскую зиму. Отдать бы полжизни за этот свет, через который, как говорила Нестроева, смотрятся мои картины, да некому, никто не возьмет. Впрочем, снег скоро растает. На террасах больших кафе пылают переносные печи, на перекрестках в жаровнях аппетитно дымятся каштаны, но уже

открылся рынок цветов, и на тележках — фиалки, нарциссы, мимозы.

Клямар — в десяти минутах от Парижа. Через три года обещают метро, а пока приходится ездить поездом и трамваем. Домик — настоящая спичечная коробка. Две комнаты, в одной живет хозяйка, в другой — ваша покорная слуга. До меня здесь жил один знакомый художник, который всю мебель сделал своими руками — как мы когда-то с Георгием в нашем сарае. Топорно, но уютно. Тахта, на которой лежит матрац, покрытый облезшим, путешествующим со мной всю жизнь турецким ковром. Стол, два стула. Все прочее представить себе очень легко: холсты, которых становится все больше, подрамник, банки с кистями... На подоконнике стоят цветы. За окном — маленький двор, а на дворе — мое утешение — черешня. Она, конечно, изображалась не только в разных ракурсах, но во все четыре времени года.

Зарабатываю я мало, главным образом книжной иллюстрацией. Всегда что-нибудь да подвернется в последний момент. Иногда я устраиваю себе праздники. Вот вчера, например, поехала на выставку Тулуз-Лотрека. Он впервые представлен с такой небывалой полнотой, номеров пятьсот, а может быть, и больше. Живопись, пастель, гуашь, рисунки, литографии и изумительные плакаты. Какая свобода, мастерство, грация, искренность, сила! Какое заступничество за попираемого ногами, униженного, уничтоженного, затолканного человека! Что касается его «плоскостности», о которой мы с Корном много говорили... Ты знаешь, Кандинский где-то писал, что он научился, не без труда, наслаждаться далеким и даже «враждебным» ему искусством и холодно проходить мимо холстов, будто родственных ему по духу. Именно это чувство испытала я на выставке Тулуз-Лотрека.

Посылаю тебе книгу о Модильяни. Пиши, мой дорогой, поздравляю тебя с днем ангела. Пришли мне свое фото, так хочется посмотреть на тебя!

5.VII.1931. Париж.

Ты знаешь, как редко я бываю в театре, а тут вдруг собралась и пошла к Питоеву посмотреть «Три сестры». Французы пишут о «высокой поэзии, неотразимом очаровании, своеобразной прелести». И одновременно: «Это сумасшедший дом, весь народ заражен коллективной не-

врастенией». Вздор, конечно, и непонимание того, что литература в России — это совсем другое, чем где бы то ни было. Это — плоть от плоти интеллигенции, а наша интеллигенция — особое явление, ни на что не похожее, недаром же ни в одном языке нет даже и самого этого слова.

Она, может быть, и хотела бы стать другой, но не в силах — в этом ее и беда и утешение. Стать другой — это значит не искать правды, не заботиться о ней, не требовать от других того, что ты требуешь от себя, и т. д. Вот попробуй мысленно представить себя таким — и мгновенно в тебе сразу восстанет все передуманное, пережитое, все прочитанное, а из прочитанного на первом месте все та же русская литература, те же Толстой, Достоевский и Чехов.

Ну, полно! Я снова расфилософствовалась, а это всегда — не к добру.

Мне хочется зимой вернуться на Корсику. Для этого нужны деньги, а лето — трудное, безденежное, держусь только кредитом у соседних лавочников, которым стараюсь внушить привязанность к искусству.

Во Франции кризис спадает, но художники, пострадавшие от него в первую очередь, очень медленно восстанавливают свое положение — такая уж, видно, наша судьба.

Почему ты в последнем письме ничего не пишешь о своей командировке? Может быть, я могу помочь чем-нибудь? Ну, скажем, пойти к Шевандье?

Спасибо за книги, в особенности понравился мне «Дневник Кости Рябцева», хотя и показалось немного странным, что педагоги у вас побаиваются собственных учеников. Я вспомнила мой пансион в Перми. Нам не жилось так привольно.

Не пишу о том, как я жду тебя. Для других любовь — развлечение, украшение жизни. А для нас с тобой — рок. Только ты не можешь помешать моему одиночеству. Ведь любовь — это и есть творчество, по меньшей мере в тех преувеличениях, которые оказываются действительностью.

10.XII.1931. Париж.

Милый друг, спешу тебе написать, что я жива и — чуть не написала: здорова. Как раз — нездорова. Вот уже четвертый день лежу с гриппом, температура высокая, в голове — странная, почти приятная легкость. Впрочем,

сегодня уже не очень высокая, и можно почитать, помечтать. За окном, как «сонмы маленьких княжен», плывут белые праздничные облака. Черешня моя — совсем японская, для Хокусаи.

Давно не писала тебе, но думала много. Говорят — silence fait éloigner plus que distance[1]. Но когда я внутренне разговариваю с тобой, я путаю нас, а если бы ты получил письмо, адресованное, в сущности, самой себе, оно, пожалуй, произвело бы на тебя странное впечатление. И думаю я, милый мой, о любви.

Можно ли представить ее объективно, вне нас? Если можно, она должна быть неслыханно высокого мнения о нас. И это сказалось прежде всего в том, с какой последовательностью, как настойчиво и энергично она затрудняла нам жизнь. Едва ли не с первых дней нашего знакомства она разлучила нас и потом занималась этим в течение десятилетий. Она охраняла нас от пошлости. Мы всегда были в ее руках, и это медленно, но неуклонно учило нас нравственности, то есть, в сущности, вкусу. Она наградила нас тайной, без которой не может быть подлинной любви и которая сохраняет ее от распада. Ей не мешало то, что я была близка с другими, потому что эта близость не только не напоминала ее, но была ее противоположностью, как моя жизнь с Гордеевым или уверенность в том, что и ты был близок с другими. Она стала совсем другой, чем в молодости, и я даже знаю, когда это случилось: в тот день, который я провела у твоей постели. Она научила нас терпению — это в особенности относится ко мне, я всегда была позорно нетерпелива. Она заставила нас жить, вглядываясь друг в друга, а ведь люди вообще плохо понимают друг друга. Я много раз замечала, что мужчина и женщина, говоря на одном языке, вкладывают совершенно различный смысл в то, что они говорят. Кроме тайны любви есть еще и тайна личности, и хотя мы, кажется, не утаили друг от друга ни единого движения души — она осталась для нас почти непроницаемой. Но так и должно быть, потому что усилия проникнуть в тайну личности есть те же усилия любви. Но и это еще далеко не все. Душа засорена бог знает чем, засорялась всю жизнь и продолжает засоряться почти ежедневно. Любовь, как метла, как баба с мокрой тряпкой в руках, трудилась и трудится до седьмого пота, чтобы

[1] Молчание отдаляет больше, чем расстояние *(фр.)*.

вымести этот сор. Мое женское дело было в том, чтобы облегчить ей этот нелегкий труд, но я — каюсь — далеко не всегда ей помогала. Так любовь очищала душу, возвращая ее к самому главному — к самопознанию, к способности внутреннего взгляда, без которого смысл жизни уходит между пальцами, как песок. Здесь у нее было верное, испытанное, сильное средство — страдание, которое я всегда от души ненавидела и ненавижу. Ты долго старался обойти его, не замечая, что это значило обойти и меня. Ты как будто надеялся, что времени удастся обогнать нашу любовь и она уйдет в прошлое. Этого не случилось, потому что она оказалась сильнее всего, что может с нами случиться.

Но и это еще не все, мой дорогой. Она не только перестроила нас, она не только постоянно была камертоном, к которому мы невольно прислушивались, хотели мы этого или нет. Она искала и нашла себя в искусстве. Не знаю, многое ли мне удалось, останется ли что-нибудь в живописи после моей смерти, найдется ли для меня хотя бы крошечное самостоятельное место? Но с тех пор, как я поняла, что пишу свое, каждый новый холст — хотя бы это был натюрморт с репой и капустой — внутренне был связан с нашей любовью. Не потому, разумеется, что я пишу для тебя, а потому, что искусство не только не мешает любви, а, напротив, стремится выразить ее образ.

Вот тебе целый трактат о любви, как я ее понимаю. Но не думай, что я подвожу итоги. Ничуть не бывало! Я жду тебя. Сам знаешь, как! Напиши мне, мой дорогой, поскорее.

12.I.32. Париж.

У меня ничего нового, мой дорогой, за одним счастливым исключением: на прошлой неделе к моей «спичечной коробке» подъехала машина, из которой вылезла прелестная молодая женщина — мой маршан, представь себе, послал ее ко мне. А у меня по всей комнате развешано белье, пахнет кухней, я — черт знает в чем и т. д. Говорили мы под отчаянный лай Джима, хозяйского сеттера. Она — полурусская-полугрузинка, живет в Праге. Муж ее едва ли что не министр, а она — историк живописи, собирает коллекцию и хвасталась мне (впрочем, очень мило), что у нее уже есть Ларионов, Шагал и Сутин. Я, конечно, только развела руками, услышав эти имена, но она, к

моему изумлению, выбрала два холста (которые мне совсем не хотелось продавать) и уехала, оставив свою визитную карточку. Фамилия у нее самая русская: Нелединская-Мелецкая,— помнится, был такой поэт в допушкинское время. Ты ведь знаешь, я не завистлива. Но тут позавидовала — и аристократической простоте, и женской прелести, которая ничуть не мешает ей понимать живопись и говорить о ней свободно и тонко. Еще два-три таких визита, и у меня наберется денег для Корсики, по которой я очень скучаю. Лючия зовет меня к себе, но она сама еле-еле сводит концы с концами. Там дни долгие, спокойные. А здесь не оглянешься — и ночь.

Посылаю тебе занятный газетный отзыв о Ван Донгене, одном из кумиров Парижа.

А вот Надю мне жаль. Я думаю, что ты к ней несправедлив, я знаю, ты ведь бываешь жестокий. Есть две ревности: одна — ложь самому себе, своему сердцу, другая — ложь в других. Мне кажется, что ты нарочно обманывал себя, чтобы расстаться с ней.

По-прежнему бываю у Корна, который работает сейчас над портретом мальчика, сына консьержки: горбоносый, тоненький, вот-вот переломится, с вытянувшимся, очень узким лицом. Я вспомнила Шамиссо с его убежавшей тенью, то есть не Шамиссо, а именно эту тень. Брови вздернуты. И ждет, и рвется куда-то.

Не беспокойся обо мне, мой родной. Все будет хорошо. Помнишь, я прислала тебе заговор?

Полюбив меня, помни меня,
Встанет ли солнце, помни меня.

Тогда я заклинала. А теперь просто верю.

В этом письме нашелся адрес Нелединской-Мелецкой. Впоследствии она читала курс истории искусств в Карловом университете. Ее собрание poussés — восковых портретов, заменявших в XVIII веке фотографии,— считается одним из лучших в мире. В маленькой отборной коллекции картин, состоящей из русских художников, сохранилась одна работа Тураевой.

Она называется «Малярия в Порто-Веккьо». Синий треугольник неба тяжело ниспадал к другому треугольнику, состоящему из пристани, бухты и набережной, на

которой тревожными поблекшими пятнами застыли редкие фигурки людей. Небо было написано так, что оно, казалось, сейчас упадет на Порто-Веккьо. Это было не небо, а твердь небесная, написанная беспощадными, неумолимыми, мерцающими, раскаленными сиренево-серыми тонами. А внизу медленно плыла твердь земная, как бы охваченная лихорадочным бредом. Зернистый свет горел в глубине картины, и пустота набережной, пристани была полна этим тревожным светом.

20.I.32. Париж.

...Как никогда важен теперь для меня «собеседник», тот, кто увидит мою работу в России и кому она передаст мои мысли и чувства. Мне страшно, что я притащу на родину свое грешное «тело», свои страдания, свои неосуществившиеся стремления, свои пристрастия и пороки... Борьба между душевной жизнью и действительностью, в которой я провела долгие годы, глубоко изменила меня. Я выработалась, как собственный двойник, я не та, какой могла бы стать, если бы у меня была другая жизнь. Все, что я видела до сих пор и переносила на полотно, было предопределено моим двойником, моим зеркальным отражением. Вот откуда эта жажда одиночества, эта мысль, что так и должно быть, что я могу обходиться без чужого лица, без постороннего взгляда. От беспредметности до одиночества — один шаг. «Я вижу так, а больше мне ни до кого нет дела». И только поняв это, я снова стала искать возможность разговора с людьми. Для этого надо было поставить центр тяготения вне себя, вырваться из одиночества, убить в себе «двойника». Нельзя найти свое лицо, не переключая себя на других. Это вовсе не значит — перешагнуть через самого себя. Напротив, это значит овладеть собой — и это сделал Корн. Достигну ли я когда-нибудь полной власти над собой — не знаю. Тогда люди увидят мои холсты, и среди людей отберутся те, которых я заслужила.

Боюсь, что эти размышления покажутся тебе, в свою очередь, беспредметными, мой дорогой. Какое несчастье, какая беда, что я не могу поговорить с тобой не в письмах, не беззвучно, а во весь голос, перед холстами. Но ведь нельзя же представить себе, что мы никогда не увидимся. Это было бы...

Москва, 2 марта 1932 года.

Уважаемая Елизавета Николаевна!

Пишу Вам по просьбе Константина Павловича Карновского. Он находится в больнице им. Боткина (седьмой корпус, четвертая палата), и, хотя состояние его здоровья улучшается, однако ему еще надолго — может быть, на полгода — запрещена всякая умственная работа, даже чтение. Заболевание его очень редкое, называется арахноидит, а по-русски — воспаление паутинной оболочки мозга. Иногда оно является следствием травмы, но чаще — самого обыкновенного гриппа. Константин Павлович недавно перенес грипп, так что у меня причина его болезни не вызывает сомнений. Он часто спрашивает — нет ли для него писем, но лишь сегодня сообщил мне Ваш адрес и попросил передать, чтобы Вы не волновались, если некоторое время от него не будет известий. Но Вас он просит писать, как прежде, на его домашний адрес, откуда письма будет доставлять сосед по квартире. И я со своей стороны прошу Вас писать ему обычные письма, то есть такие, как если бы ничего особенного не случилось. Это может сыграть известную роль в его выздоровлении. Со своей стороны я буду время от времени сообщать Вам о его положении.

Желаю Вам всего хорошего.

Доктор Л. Безбородов.

20.III.32. Париж.

Костенька, я получила сегодня письмо от твоего врача, очень меня огорчившее. Конечно, я буду писать тебе, мой дорогой, а ты ответишь мне, когда поправишься, на все мои письма сразу. А пока спешу тебе сообщить, что на днях я встретилась с Бернштейном, помнишь, я тебе писала о нем? Я рассказала ему о своих хлопотах, и он был так добр, что отправился в консульство вместе со мной. Ответа из Москвы еще нет, но разговор был совсем другой, обнадеживающий. Бернштейн думает, что за дело следует взяться иначе: надо, чтобы за меня поручился или, по меньшей мере, прислал рекомендательное письмо кто-нибудь из видных советских деятелей — писатель или художник. Он знаком с А. Н. Толстым и обещал мне поговорить с ним по возвращении. Я теперь все думаю, как бы мне послать Толстому в подарок что-нибудь из моих работ. Да страшно, а вдруг не понравится! Мне кажется, что ему должны нравиться «мирискусники» — ведь его

проза в этом духе, не правда ли? Тогда лучше, пожалуй, не посылать. Так или иначе, я верю, что все будет хорошо! Мы увидимся, увидимся непременно! Но я тебя умоляю, не торопи свое выздоровление. Я по себе знаю, как важно найти душевные силы, чтобы оставить себя в покое.

Обнимаю тебя. Скоро напишу снова.

Париж.

Пока у меня ничего нового, мой родной, если не считать неожиданного, во всех отношениях, предложения — сделать фрески в шато одного богатого архитектора, очень симпатичного человека. Ты знаешь, я не робкого десятка, но тут долго сомневалась, прежде чем дать согласие. Правда, я предупредила заказчика, что технику знаю только теоретически. Ты, без сомнения, представляешь себе в общих чертах, что такое фрески. Тут многое зависит от штукатура, который готовит стену. Удалось найти очень опытного, но оказалось, что это и хорошо, и плохо. Пришлось мне самой взяться за дело, то есть он стал работать по моим указаниям. Конечно, дня не проходило без спора. То, что я говорила, шло вразрез с его опытом, он настаивал на своем и, когда меня не было, не раз портил работу. Никак не мог понять, что надо каждый раз перед работой класть грунт и писать по сырому, потому что, как только грунт высыхает, он уже не вбирает краску. Подбор красок тоже очень сложен, приходится пользоваться подкладочными тонами, усиливающими прочность и светосилу. Словом, это новая и очень интересная работа, о которой я мечтала еще в Стамбуле, копируя мозаики Кахрие-Джами. И наконец, что тоже весьма существенно, я получила солидный аванс, а когда работа будет закончена, совсем разбогатею. Не только расплачусь с долгами, но смогу спокойно работать по меньшей мере месяца три-четыре.

Вот так-то, мой родной. Все складывается хорошо. Я снова виделась с Бернштейном, и он сказал, что почти не сомневается в благоприятном ответе...

(Письмо не датировано)

Перед зеркалом

Не она, а Гордеев получил заказ от богатого архитектора, и все, что она написала о фресках, ей рассказал накануне Гордеев. Она действительно встретила Берн-

штейна на улице, и разговор о возвращении был, но это был совсем не обнадеживающий, а скорее обескураживающий разговор, хотя этот благожелательный человек искренне сочувствовал ей и обдумывал вместе с ней все возможности возвращения. Но она не была с ним в консульстве, и не только не была, а не посмела даже попросить его поехать с ней. Она понимала, что, несмотря на всю его благожелательность, он вряд ли сумеет ей помочь.

Он действительно был знаком с Алексеем Толстым, но не предлагал и не мог предложить Елизавете Николаевне обратиться к нему, потому что Толстой не стал бы хлопотать за незнакомого человека. Бернштейн назвал его как пример — «вот если бы такой человек, как Толстой...». Но среди ее русских друзей и знакомых не было такого человека.

У нее давно разладились отношения с Машей Снеговой, но все же она поехала к ней, вспомнив, что среди друзей ее мужа есть врач-невропатолог. Встреча состоялась, и врач сказал, что трудно что-либо посоветовать, не видя больного.

Елизавета Николаевна вернулась к себе, измученная, полумертвая. Хозяйка пришла, чтобы напомнить о долге, и раскричалась, показывая длинные желтые зубы...

Она писала Константину Павловичу чаще, чем прежде, и хотя это было трудно — притворяться, что ничего не случилось, как ее попросил об этом доктор Безбородов,— она притворялась. Когда-нибудь он прочтет ее письма и узнает, как она естественно, разумно лгала. Все устроилось: она задолжала за квартиру, но хозяйка — добрая женщина — охотно согласилась подождать, а потом, когда Елизавета Николаевна написала ее портрет, приняла его в счет долга. В Клямаре сейчас хорошо, цветут яблони, сливы и груши. Должно быть, весна загоняет в ее домик поэтов, на днях Маша приехала с молодым итальянцем, который, по ее словам, пишет почти как Д'Аннунцио. Она показала Матиссу последние работы, и он поздравил ее и сказал, что поговорит о выставке с маршаном.

Маша действительно приезжала с итальянцем, и он читал плохие стихи. Клямар был розовый и белый от яблонь и груш. Матисс действительно очень хвалил ее картины. Но выставить надо было не меньше 50—60 холстов, каждая тоненькая посеребренная рамка стоила очень дорого, а маршан сказал, что он готов рискнуть, но с условием —

если где-нибудь, например, в «Les Echos d'Art», о ней появится статья или хотя бы заметка.

Теперь у нее было два существования. Одно — выдуманное, благополучное, в котором сбывалось все, на что она давно перестала надеяться. И второе — подлинное, голодное, спотыкающееся, в котором была одна опора — работа.

В молодости, когда жажда новизны окрашивала и оправдывала ее жизнь в Турции, во Франции, на Корсике, ее почти не мучила ностальгия. Константин Павлович был для нее Россией. Теперь, когда ее письма оставались без ответа, она чувствовала себя наказанной за то, что уехала, и неотвратимо, безнадежно одинокой.

После того как Елизавета Николаевна разошлась с Гордеевым, у нее образовался новый круг знакомых. Хозяйка прислала судебного исполнителя, маленького грозно-добродушного старика с пышными седыми усами, он ушел очарованный, взяв с нее обещание, что она напишет семейный портрет,— и по воскресеньям она стала бывать в шумном, любознательном, беспечном, истинно французском доме. То и дело к ней приезжали корсиканцы, с которыми надо было и приятно было возиться. Дух легкости, неунывания поддерживался, хотя ее решение — отказаться или почти отказаться от того, чем она прежде зарабатывала на жизнь: от зонтичных ручек, раскраски тканей, портретов на заказ — было, по мнению всех ее друзей, настоящим безумием. Но это решение было связано с другим, очень важным. Она не хотела вернуться на родину — если произойдет это чудо — с пустыми руками. Конечно, она все равно не могла не работать. Внутренняя необходимость, которую она не замечала, как не замечают необходимости дышать, заставляла ее писать каждую минуту, свободную от других необходимостей — есть, спать, заботиться об одежде. Но прежде эта главная необходимость была связана с надеждой на возвращение, а теперь надежда была подорвана.

Это-то она и писала, иногда бессознательно и опоминаясь лишь, когда очередной холст подходил к концу. Она написала интерьер, стену и дверь ее мастерской — и это была грустная, плотно закрытая дверь, захлопнувшаяся перед ней и оставшаяся темной, несмотря на красновато-искрящийся свет, скользящий откуда-то с невидимой высоты и загорающийся, когда холст освещал естественный, солнечный свет.

Другой интерьер, маленький деревянный стол в углу,— она работала над ним два месяца,— был портретом очень одинокого стола, терпеливого, сжавшегося, притерпевшегося, слепо смотрящего на бесчисленные светлые пятнышки, из которых составлялось медленно опускавшееся к нему разноцветное мерцание.

Она не думала, понравятся ли кому-нибудь эти холсты, так же как не думала больше, понравится ли кому-нибудь она сама — с ненакрашенными губами, в платьях, вышедших из моды, постриженная почти по-мужски, что ей, кажется, совсем не шло. Равнодушие к чужому мнению не мешало, а может быть, даже помогало делу.

Елизавета Николаевна не знала, откуда взялась уверенность в том, что она не может работать иначе. Это была уверенность бессознательная, возможно даже, что ей не удалось бы выразить то, что она думает о своей живописи, в разговоре или на бумаге. Но то, чем стала для нее работа, она легко могла рассказать.

Работа была теперь для нее все усиливающейся догадкой, что нищая жизнь, и ностальгия, и сны о России, и письма Константину Павловичу, в которых она все лгала о себе, нужны для того, чтобы были написаны эти холсты. Работа была пониманием того, что ей не все равно, где быть одинокой, и невозможностью изменить что-нибудь в этом одиночестве.

Работа была опытом прежней жизни, в которой само собой отбиралось то, что важно для живописи,— памятный летний вечер в Симбирске, когда красновато-холодный свет заката потемнел, становясь теплее, добрее, и каждый цвет зазвенел отдельно — голубой, зеленый, фисташковый, белый. И другой вечер, в Олеизе, когда перед ней вдруг открылся хребет Яйлы, гóры, которые она видела ежедневно из своего окна — видела и не понимала. Одна была покрыта лиственным лесом. Зимой, в прозрачности высоты, она выглядела как будто припорошенной пеплом. Этот легкий, почти бесцветный пепел смягчал краски, и, чтобы увидеть всю гору сразу, надо было сосредоточиться на самых ярких купах. Среди них были чуть тронутые розовым, были блекло-зеленые. Сильнее других по цвету были темные, облетевшие, с четким, грозным рисунком ветвей. Налево от этой курчавой горы была другая, с безлесной, травянистой, ровно-зеленой верхушкой, на которой лежал полосками снег. А в глубине была видна третья, по которой круто вилась до самой вершины до-

рога снега, и купол тускло и страшно блестел под голой луной.

Никогда прежде она не чувствовала с такой остротой самый материал живописи — деревянные кресты подрамников, кисти, упрямую, тупую белизну холста — и связанное со всей этой вещественностью блаженное оцепенение работы.

Бернштейн подарил ей альбом «Палехские мастера», и она написала Константину Павловичу: «С трепетом слежу за жизнью в России. Какой подъем! Какая сила, упорство и терпение!»

В Клямаре, в маленьком домике из двух комнат, выходившем в переулочек между других домов, а уже потом на улицу — зеленую летом,— жизнь казалась забежавшей с шумной дороги, присевшей отдохнуть и принявшейся за неустанную, неотвратимую работу. Жизнь шла, как паровичок по бульвару Сен-Мишель, ночами перевозивший овощи на Большой рынок. Она слышала его осторожное — чтобы никого не разбудить — попыхиванье в ту ночь, которую она провела у Константина Павловича, лежавшего в малярии.

Кризис кончился, продукты стали дешевле, деньги — дороже. Сперва решительно отказавшись от помощи Гордеева, она все-таки брала у него взаймы, возмещая долги работой в его артели. Маршан иногда присылал покупателей.

Мясничиха сделалась коллекционершей ее картин, среди которых были две или три хороших. Мясо, полученное в обмен на холсты, Елизавета Николаевна продавала на рынке.

Жизнь шла незаписанная, неназванная. Прошлое стало осязательно прошлым. Еще более осязательным было настоящее с его ощущением независимости, ни перед кем невиновности, никому и ни в чем неодолженности.

Переписка с Константином Павловичем была для нее зеркалом, в которое она смотрелась всю жизнь, с шестнадцати лет. Когда она жила в России, это были письма о том, что происходило в ней и с нею, о людях, с которыми она встречалась, о книгах, которые она читала, о музыке, живописи, любви. Потом этот круг стал теснее, мечта о свидании казалась почти безнадежной, и Елизавета Николаевна впервые попросила его не писать о любви: «Не заставляй меня лежать ночью, рядом с мужем, с открытыми глазами».

Потом, в Париже, когда можно было писать обо всем, она поняла, что ни ему, ни ей нельзя писать обо всем. Круг стал еще меньше — теперь она смотрелась в зеркало, подчас не узнавая себя. Разлука научила ее любви — не той раскалывающей, кидающей из стороны в сторону, непроглядной, а чистой, подлинной, прячущейся, скрытой. И хотя теперь можно было сколько угодно писать о любви — круг продолжал сжиматься, как сжимается душа от незаслуженного унижения.

Были дни, когда ей становилось легко, она сама не знала, откуда бралась эта легкость. Может быть, от ощущения чистоты, соединявшегося с полной душевной занятостью, от ощущения, что не работа теперь принадлежит ей, а она — работе.

Она похудела, подурнела. Она почти не бывала у Корна, и наконец он, рассердившись, сам пришел к ней и потребовал, чтобы она показала ему последние холсты. Длинный, худой, в грязной холщовой блузе, он долго мрачно ходил по мастерской, а потом, тоже мрачно, сказал, что она стала работать самостоятельно, смело. И он, как Матисс, заговорил о выставке:

— Вы — женщина, а женщинам нужен триумф.

Елизавета Николаевна слушала и думала, что, разговаривая с ней, он больше не косится на дверь и не надеется, что она позволит ему накинуть крючок.

Из Парижа надо было уехать не только потому, что на Корсике остались холсты, необходимые для выставки (состоится она или нет), но еще и потому, что она сильно кашляла: очевидно, с легкими снова было неблагополучно. К доктору она не пошла, а Гордееву, который, заглянул к ней и ужаснулся, напомнила, что однажды он ее уже похоронил и что завещание (согласно которому он получит ее скелет) остается в силе.

За зиму ей удалось расплатиться с долгами. Она списалась с Лючией. Бонифачийский дурачок Жозеф уже искал для нее комнату и предлагал на первое время свою.

Бонифачо.

Костенька, я живу пока у своей Лючии в счастливом одиночестве, вдали от суеты и забот Парижа. Нигде мне не работается так хорошо, как здесь. Рыбаки заходят, рассказывают об охоте, о бандитах. Говорят они на испорченном итальянском, я их понимаю, они меня — нет, но это ничуть не мешает нашим беседам. К моей живописи

они относятся с уважением, и заработать здесь ничего не стоит. Я сделала несколько детских портретов и обеспечила себя работой на месяц. Читаю по вечерам длиннейший роман Марселя Пруста «В поисках утерянного времени». Главный герой, в сущности,— память. Действие происходит в глубине душевного мира.

Ну, что тебе еще написать? К ужасу Лючии (бонифачийцы начинают купаться в июне), каждое утро я набираюсь храбрости и лезу в море. Вода еще очень холодная. Песок — цветной, самоцветные камушки, ракушки, выточенные морем, и среди них маленькие кораллы, которые я собираю и тащу домой пригоршнями.

Словом, все хорошо, кроме холодного ветра и слишком большой общительности бонифачийцев, от которой я иногда устаю. Пишу на солнце, и письмо пропитано солнцем и соленым корсиканским ветром. До свиданья, до следующего письма.

Твоя Лиза.

(Письмо не датировано)

В клинике

С ним разговаривали чуть слышно, почти не шевеля губами,— обыкновенный звук обыкновенного человеческого голоса казался ему оглушительным, разрывающим уши. Еще когда он лежал в приемном покое и дежурный врач советовался с кем-то по телефону, он слышал не только то, что говорил врач, но и то, что ему отвечали.

Теперь, в Боткинской, ему казалось, что до него доносится весь грохот перестраивающейся Москвы, на улицах которой стояли еще невиданные машины, вываливавшие из своих совков тяжелую каменную кашу.

Нельзя было ни читать, ни писать, ни вырезать ножницами фигурки из газетной бумаги. Нельзя было не потому, что врачи запрещали ему делать то, что ему хотелось, а потому, что ему ничего не хотелось.

Были часы и даже дни ясного сознания. Был досуг, навалившийся на него, отодвинув пухлой рукой все на свете: чтение лекций, занятия с аспирантами, общественную работу в МВТУ, гранки его новой книги, на которые он даже не взглянул, хотя издательство торопило его и он сам с нетерпением ждал выхода книги. Досуг понадобился ему для другого. Он вспоминал свое детство.

На дверях маленького дощатого чуланчика, отгороженного от чердака, он повесил надпись: «Мастер фокусов и портниха». Ему было девять лет, сестре — семь. Он устраивал фокусы, а она шила из лоскутков платья для кукол. Любимый фокус назывался «Молния-лилипут». Он крепко натирал щеткой плотный лист бумаги и, поставив на два стакана металлический поднос, прикрывал его этим листом, осторожно держа его за подклеенные полоски. Потом со двора приглашались зрители, Костя приподнимал лист и предлагал любому из них на полвершка приблизить палец к подносу. Слегка укалывая палец, из подноса вылетала искра, которая была видна даже днем.

Потом отец запретил ему показывать фокус, потому что один из стаканов разбился. И искра, возникавшая из неизвестности, из пустоты, погасла, исчезла...

Как-то, прислушиваясь к разговорам взрослых, он запомнил поразившее его выражение: «точка зрения». Бабушка Матрена Вавиловна иногда увозила его с собой в Плетени. На втором этаже ее маленького домика жил столяр Михей Михеевич, который в свободное время делал шкатулки, вырезая кленовые листочки на их полированных крышках... «Точка зрения? — переспросил он и повел Костю на соседнюю Екатерининскую улицу, по которой ходила конка.— Видишь, как рельсы сближаются? — спросил он.— Где они сойдутся, вот там, братец ты мой, и будет точка зрения. Понятно?»

Костя сказал, что понятно.

Бонифачо.

Завтра еду в горы, в экипаже, с одной молодой художницей, француженкой, в которую влюблены все в Бонифачо, даже я. Очень хороша, любит одеваться, танцевать, выходит замуж за какого-то графа. Кокетничает даже со мной, но все прощаешь ей за женственность и грацию — удивительно сложена! Одна беда: уговорила меня позировать ей — пишет меня в кухне, где я чищу овощи и рыбу. Голландский (!) стиль. Жалко времени, но: «Оно все равно ушло бы на приготовление обеда!» Нечего возразить!

В горах мы с ней будем писать оливы. Помнишь, я писала тебе о библейской оливковой роще в Олензе? Я буду работать, думая о нас.

Сегодня шторм, море иссиня-черное, пейзаж Апокалипсиса — и этот цвет каким-то чудом проникает всюду. Мне

как раз и хочется передать это чудо, хотя я пишу скромный интерьер — дверь, полураскрытую в комнату Лючии.

Обнимаю тебя, мой родной. Надеюсь, что вскоре я получу от тебя хоть несколько слов.

Твоя Лиза.

(Письмо не датировано)

Карновский не выносил перекрестного разговора, и это осталось надолго, так же, как мельканье кино, мгновенно доводящее до полубессознательного состояния. В палате он лежал с одним старым архитектором, деликатным, скромным человеком, как-то проговорившимся, что он-то и строил тот седьмой корпус, в котором они лежали, так же как некоторые другие здания Боткинской больницы. Но к соседу приходили жена и дочь, и хотя они говорили вполголоса — Константин Павлович лежал, заткнув уши, покрывшись с головой одеялом, и думал только о том, как бы не встать и не трахнуть — все равно кого — настольной лампой. Но вот они уходили, и он думал, думал...

Когда он в первый раз поехал в Париж, он искал лучшего в жизни, хотя и без этой поездки жизнь, пусть утомительная, нелегкая, была полна. Почти полна. Как же случилось, что не Париж, не успех его доклада в Сорбонне, не отзыв Шевандье, закрепивший все дальнейшее движение работы, оказались для него самым важным в Париже? Самым важным оказалась Лиза, встреча с ней, значение того, что они по-прежнему любят друг друга. Стало быть, для него было мало уверенности в том, что он нужен друзьям, знакомым, кафедре, студентам, надежды на то, что он много сделал и еще больше сделает в науке?

Да. Ему нужен был еще и Мениль, когда, проснувшись, он увидел ее, пробежавшую по двору, в халате, с мелькнувшими стройными ногами. И разговор в кафе, когда Гордеев оставил их вдвоем.

— Приду. Я знаю твой отель.

— Когда?

И потом:

— Он не умеет читать по губам?

— Нет. Кроме того, для нас с тобой угол падения не равен углу отражения.

Что же случилось с ним после той встречи в Париже? Случилось, что она, со всей своей беспомощностью, без-

защитностью, оказалась его защитой. Защитой? От кого? Разве он нуждался в защите?

В конце второго месяца ему разрешили смотреть картинки. Кто-то из друзей принес «Ниву» за 1916 год, и он настоял на разрешении, хотя толстый том неудобно было перелистывать лежа. Торжественное молебствие в присутствии императора перед открытием Государственной думы. Раздача куличей на позициях. Иконы, иконы, картины на религиозные темы. Шляпы с вуальками, палантины с хвостами. Бороды, бороды. Резинка «Слон». «Синий журнал». Жанна Гренье предлагает всем желающим увеличить свой бюст с помощью признанного всем миром средства. Впечатление устоявшейся, несмотря на войну, непоколебимой жизни.

Карновский вспомнил, как в 1916 году в Петрограде по Невскому шли войска, и они с Лизой больше двух часов не могли перейти на другую сторону. Бравые, подтянутые, в папахах, в аккуратных шинелях.

— Неужели все это может когда-нибудь рухнуть? — спросил Карновский, и Лиза ответила:

— Через пятьдесят лет.

Через три месяца рухнуло, как карточный домик.

Прошла еще неделя, и Константину Павловичу разрешили читать десять минут в день. Потом — двадцать. Еще неделя — тридцать.

Бонифачо.

Дорогой мой, одновременно с этим письмом посылаю тебе все, что соответствует почтовому размеру. Избушка, которая мне не удалась (на обратной стороне),— очень занятная, врезана в валуны и напоминает что-то русское, камское.

На днях кончила большой заказной портрет девицы из того неприличного домика, в котором когда-то жили мы с Гордеевым. Она совсем не похожа на парижских petites poules[1]. Смуглота, красота, острота — того и гляди, зарежет. Плохо только, что эта Кармен хотела, чтобы я изобразила ее Мадонной.

В мае я решила отдохнуть — и отдохнула бы, если бы Лючия не получила в подарок маленького (двухмесячного) ирландского сеттера, которому надо варить кашку и

[1] Курочек (прозвище проституток) *(фр.)*.

водить на прогулки. Вообще у нас сейчас «диктатура зверей». Мой Прокофий является по утрам изодранный, на винограднике толпа ослов ухаживает за ослихами Лючии. Мы с ней только и занимаемся тем, что выгоняем чужих ослов и разыскиваем своих. Мне надоел этот звериный быт, и я решила побродить с акварелью по Корсике. Съезжу в Сьерру к родственникам Лючии, потом, может быть, еще куда-нибудь...

Перечитала письмо и спохватилась, что пишу тебе о всякой чепухе. Извини, мой милый. Между тем на деле я настроена очень серьезно. Осенью — выставка, и я думаю о ней со смешанным чувством отчаянья и надежды.

Я продолжаю подбирать для тебя книги, ведь тебе, я надеюсь, вскоре разрешат читать. Две книги Жоржа Дюамеля — хорошие, а Моруа — о Шелли. Жизнь здесь стала беднее, крестьяне уезжают во Францию, на заводы, бесценные рощи изводят на топливо... Обнимаю, жду хороших известий.

Твоя Лиза.
(Письмо не датировано)

Москва, 1932

Константин Павлович не только не был измучен болезнью, но вышел из клиники в состоянии незаметно развивавшегося и наконец укрепившегося душевного подъема. Он вернулся к работе в МВТУ и охотно принял предложение поехать в Магнитогорск с поручением, хотя и далеким от той области математики, которой он занимался, но именно поэтому особенно для него интересным. Поездка удалась. Вернувшись в Москву, он установил, что его расчеты имеют более широкое значение, чем он предполагал, и могут пригодиться для других крупных строительств. На Челябинский тракторный с этими расчетами поехал его ассистент.

Он прочитал последние письма Лизы и хотя догадывался, что она нарочно смягчает теневые стороны ее жизни, однако поверил главному, то есть тому, что она здорова, не бедствует и с надеждой смотрит на свое возвращение в Советский Союз. Она не ждала его приезда, ей и в голову не приходило, что, оправившись, он прежде всего снова займется вопросом о своей командировке. Между тем это было именно так.

Еще в клинике, выздоравливая, он обдумал свои прежние хлопоты и решил, что сам был виноват в том, что они

не удались. Вместо того чтобы обойти трудности, выждать, он торопился и действовал прямолинейно, не стараясь справиться с нарастающим душевным напряжением. Две первые командировки устроились легко, потому что время было другое и совет МВТУ, пославший его в Париж, был другой. Теперь прежнее направление, согласно которому считалось полезным посылать за границу ученых, не играло значительной роли, ездили реже, а полагаться на содействие Шевандье и вовсе не приходилось. Теперь дело было не в учреждениях, как прежде, а в людях. Это касалось и другой, более сложной задачи — возвращения Лизы в Советский Союз. Для него было ясно, что все ее попытки заранее обречены на неудачу: без влиятельного поручительства ей не разрешат вернуться.

Ему показалось немного странным, что скульптор Бернштейн, с которым он встретился в Москве, сказал, что он вовсе не советовал Лизе обратиться к А. Н. Толстому.

— Видимо, она спутала меня с кем-то другим. И даже несомненно спутала, если сообщила вам, что я вскоре снова собираюсь в Париж.

Бернштейн понравился Константину Павловичу. Это был трезво-благожелательный человек, отзывавшийся о Лизе с глубокой симпатией. Но толку от этой встречи было мало. И без Бернштейна он понимал, что наряду с обычными хлопотами необходимо заняться совсем другими, в которых главную роль должен сыграть чей-то двухминутный телефонный звонок.

У него была надежда, что хлопотать согласится Арденс. У них были одновременно и далекие и близкие отношения. Далекие потому, что они встречались у Грузинова два-три раза в году, а близкие потому, что Арденс был одним из немногих математиков, которые интересовались работами Константина Павловича и понимали их перспективное значение. После одной из статей Карновского, проблемы, которыми они занимались, внезапно сблизились — и он получил от Арденса шутливую поздравительную телеграмму. Возможно, что еще до разговора с Арденсом необходимо было многое уточнить, разузнать, подготовить. Решившись наконец позвонить Арденсу, он после понял, что никакие предварительные хлопоты не нужны. Арденс сказал, что командировку можно устроить, хотя и с трудом. Тут же он прикинул — кто в Наркоминделе может «поднять бумаги». После похода «Сибирякова», в котором он принимал участие и о котором говорил весь мир, могли

помочь многие. Из них он выбрал тех, кто не только мог, но и захотел бы помочь. Что касается возвращения Лизы в Советский Союз, Арденс думал, что не следует «муссировать», как он выразился, этот вопрос.

— Будем надеяться, что придет время...

После болезни Константин Павлович редко встречался с друзьями. В том, как они держались с ним, ему все чудилось сожаление. Он полюбил вечерние разъезды по Москве. Шестой автобус пересекал Каланчовку, на которой начиналось строительство метро. Огромная земляника, составленная из лампочек, висела над Северным вокзалом, электрические цветы украшали вагонетку, везущую багаж,— ему нравились эти цветы, эта старомодная, декадентская земляника. Автобус пробегал под виадуком, огибал загороженную Мясницкую, уходил в широкий пролет, образовавшийся на месте снесенных Красных ворот...

...Он думал о том, что близость с Лизой уже не существовала отдельно, как это случалось прежде, а стала частью их общей жизни. В их неразрывно скрестившемся прошлом за каждый ложный шаг в ее жизни отвечает он, он один.

...Не было Иверских, Тверская скатывалась прямо на Красную площадь, Минин и Пожарский стояли теперь у Василия Блаженного. На площади Дзержинского не было привычного фонтана.

«Что такое теперь Москва? — спрашивала его Лиза.— А извозчики еще есть? Я не могу представить себе Москву без извозчиков!»

Извозчики еще были — в ямщицких полуцилиндрах, на колясках с лакированными крыльями, с длинным, торчащим у козел кнутом. У них был лихой, упрямый, обреченный вид.

«В Казани я купил ей тюбетейку и расшитые бархатные татарские туфли. Почему я так мало дарил ей всегда?»

И он вспоминал, как они провели весь день в Раифской пустыни под Казанью, пошли купаться, их застал слепой дождь, они спрятали одежду под кустарниками и бросились в озеро. Он кричал Лизе, которая далеко заплыла, чтобы она вернулась, и не слышал себя в шлепанье круглых капель, вылетавших фонтанчиками из потемневшей воды. Он не догнал ее, поднял руки: «Сдаюсь!» — и она поплыла обратно, с мокрыми распустившимися косами, с блестящим, мокрым, милым лицом. Константин Павлович хотел обнять ее, она выскользнула, смеясь...

Потом, когда дождь перестал и оказалось, что ее платье все-таки промокло насквозь, она долго сидела на берегу в купальном костюме, обхватив колени руками. Все дымилось вокруг, от песка шел пар. Старый, сгорбленный монашек шел по берегу, накинув на плечи мешок, и мешок тоже слабо дымился.

Потом Лиза ушла одеваться и не возвращалась так долго, что он стал беспокоиться, пошел искать, окликнул ее. Она не отозвалась — «из озорства», подумалось ему. Но она сказала, что не шалила, просто задумалась.

— Я просто задумалась,— сказала она и нежно оттолкнула Константина Павловича, когда он стал целовать ее плечи...

Арденс позвонил в начале ноября, и Константин Павлович, держа трубку в задрожавшей руке, услышал сперва поздравление с наступающим праздником, а потом... Но уже по веселой нетороопливости поздравления он понял, что разрешение получено, дело — за формальностями, а в основном — решено, удалось.

Все остальное, что произошло в этот день, он вспоминал с чувством человека, вскочившего на подножку последнего вагона и только чудом не опоздавшего на поезд. Он никак не мог написать телеграмму, все перечеркивал, пока не вспомнил, что надо послать не одну, а две телеграммы — может быть, Лиза уже вернулась в Париж? Из МВТУ позвонили: его ждали студенты.

Ему вдруг стало страшно, и, собравшись на почту, он долго сидел в пальто на сундуке в передней.

— До полно же, все будет хорошо,— громко, сильно сказал он себе.

И день снова помчался, ринулся, побежал, и он сам куда-то помчался с блаженным чувством, что от него отвалилась непонятная тяжесть, которая долго держала его, а теперь отпустила, растаяла, отлетела.

Бонифачо.

Родной мой, ненаглядный, я получила новое письмо от твоего врача. Он пишет, что тебе, слава богу, стало лучше и можно надеяться, что скоро ты будешь совершенно здоров.

Я собираюсь в Париж, осенью — выставка. Маршан пишет, что ждет меня, и жалуется на цены.

Сборы у меня были бы недолгие, если бы я не затеяла одну композицию, которую очень хочется закончить. В предпасхальные дни здесь устраиваются религиозные процессии. В городе несколько братств, у каждого — своя праздничная одежда, красная, белая, зеленая, синяя. Все мои знакомые — бородатые, с животиками лавочники, мясники, сапожники — преображаются ночами во время этих процессий. С пением они несут по городу статуи, вернее, группы статуй из старинной церкви. Огромные факелы, разноцветные фонари освещают эти странные фигуры. Игра светотени, пение — все необыкновенно: и празднично и грустно. Вот эти-то фигуры я сейчас пишу. Церковь удивительная, времен тамплиеров. Но, как полагается, все стены сверху донизу замазаны известкой по фрескам, по каменной резьбе. Попик презанятный, хитренький, выманивает у туристов подачки, а ко мне все пристает, чтобы я — за разрешение работать в церкви — раскрасила одну из статуй, метра в полтора. Пока я покрасила ему гипсовую статуэтку за два су с площади Saint Sulpice, где их фабрикуют миллионами. Теперь все Бонифачо ко мне пристает с такими же просьбами. Пока отбиваюсь.

Много времени я провожу теперь на своем «необитаемом острове». Жозеф превратил мой шалаш в настоящую виллу, укрепил валунами и даже попытался (неудачно) разбить перед ним маленький садик.

По-прежнему он привозит мне хлеб и рыбу, вечерами мы подолгу разговариваем с ним — и подчас он поражает меня своей детской мудростью. Вчера он заметил, например, что «лучшие произведения художника должны превосходить его собственное разумение». Конечно, это было выражено другими словами. Я хочу написать его портрет и уже принялась за рисунки.

(Письмо не датировано)

Париж.

Уж не знаю, как мне благодарить тебя за то, что ты поправился, мой дорогой, ненаглядный. Бог знает о чем я только не передумала, чего не вообразила! Спасибо твоему доктору, меня только и поддерживали его твердые, сердечные письма. Так вот: все, наконец, хорошо, без утайки, без оговорок. Выставка не только окончательно решена, но маршан, посмотрев холсты, которые я привезла с Корсики, предложил контракт на приличных условиях.

Во дворе, вокруг моей черешни, я устроила «репетицию вернисажа», и ты не поверишь, как я была поражена, когда собрала работы последних лет. Ах, как это важно — поставить рядом, осмотреться, вглядеться! Корн два часа молча ходил по двору, а потом поздравил меня и сказал, что до сих пор я лишь отдавала живописи долг, а теперь она мне этот долг с лихвой возвратила.

С выставкой много спешки, хлопот, беготни и, как водится, непредвиденных осложнений. Часть работ еще не пришла из Бонифачо, я боюсь, как бы они не пострадали в дороге. Там есть несколько акварелей, которые, на мой взгляд, могут украсить «корсиканскую стену».

Но что же я пишу о себе? Значит, ты возобновил свои хлопоты о командировке? Не может ли снова помочь Шевандье? Ведь он француз! Если я пойду к нему и скажу, что не могу жить без тебя, он в лепешку разобьется, но устроит вызов. Сделать так? Напиши мне, мой дорогой, поскорее.

(Письмо не датировано)

Париж.

Милый мой, пишу тебе поздней ночью, полуживая от усталости и счастливая, как никогда. Да, как еще никогда в своей жизни! Выставка прошла превосходно, продано много, успех неожиданный—и не только для моего маршана, трепетавшего, что не удастся покрыть расходы на помещение и рамы! Сам Пьер Лоти в своей статье отозвался о моих работах так лестно, что я едва поверила глазам. По его мнению, я принадлежу к художникам, у которых «все по-своему», и это свое не взято напрокат из Африки или Древнего Рима, а «вырвано с кровью из сердца». Статья называется: «Лиза Тураева. Возвращение к реализму?» Не пишу о том, что говорил мне Матисс. Расскажу при встрече.

Сейчас нужно только одно — побольше сил,— и я ума не приложу, откуда мне их взять. Мне казалось, что я и выставку не вытяну, все дни металась, не чувствуя под собой ног,— и если бы не милый, добрый Корн (который бешено ругался с маршаном, а потом притащил на выставку чуть ли не весь художественный Париж), меня бы как раз и вынесли с выставки вперед ногами.

Вот теперь надо передохнуть и снова кинуться с головой в дела и заботы.

Только бы побольше здоровья, а то вчера с трудом заставила себя подняться, чтобы вернуть лавочнику долги. Все же вышла и встретила — кого бы ты думал: Бальмонта (он живет недалеко), окруженного своими верными, преданными старушками. Мы немного знакомы, я подошла, но старушки почему-то захлопотали, взволновались и торопливо увели его от меня...

(Письмо не датировано)

Бонифачо, 1932

Елизавета Николаевна задумала написать Жозефа еще два года тому назад, когда Георгий и Джакомо уехали на рыбную ловлю; она с блокнотом бродила по островку и добралась, прыгая с камня на камень, до незнакомого места, которое было чем-то похоже на морское дно. На скалах — длинный, стелющийся зеленоватый мох, а между ними — маленькая серо-зеленая долинка. В этой долинке стоял, опустив голову и глубоко задумавшись, Жозеф. Елизавета Николаевна долго смотрела на него, не окликая,—и тогда еще решила непременно сделать его портрет.

Но он был в трауре по отцу, ей не хотелось писать его в черном, а потом она отвлеклась, занялась чем-то другим.

Теперь он каждое утро привозил ей хлеб и рыбу, и было бы грешно не воспользоваться такой прекрасной моделью.

Прежде чем взяться за кисть, она сделала не меньше полусотни рисунков — надо было понять это странное, задумчивое узкое лицо, с вывернутыми веками и лохматой угольно-черной и полуседой шевелюрой.

Потом она долго выбирала место — где писать? Конечно, не в шалаше — темно и не хватит расстояния — и не у моря, где скользили блики и нельзя было умерить яркость. Она посадила Жозефа у входа в шалаш, на табуретку. Фон был неопределенный, но теплый, оранжевая стенка чуть заметно переходила в синеватую тень шалаша.

Жозеф спросил, можно ли разговаривать, она ответила: «Конечно»,— но предупредила, что иногда не будет ему отвечать.

— Значит, не слышу.

Она работала еще ощупью, подолгу смотрела на Жозефа, а потом быстро набрасывала на холсте бог знает что — какой-то серо-золотисто-синий мир, в который она

должна была окунуться с головой, копаться и купаться. От левого края — к пустому четырехугольнику, заполнявшемуся тем, что должно было стать лицом Жозефа. Потом — к правому краю.

Жозеф сидел, скрестив ноги, и даже в грязном большом пальце, торчавшем из рваного башмака, видна была задумчивость, углубленность. Выцветшие голубые глаза рассеянно бродили по сторонам.

Он спросил названия красок, и она назвала: кость жженая, английская красная, охра золотистая, «мертвая голова».

— Это удивительные названия, мадам. И они так назывались всегда?

— Да.

— С сотворения мира?

Она улыбнулась.

— Может быть.

Она постаралась на первом же сеансе закрыть весь холст, чтобы наметилось то «самое общее», что должно было приблизить ее к портрету, который она видела в воображении. Но ничего не наметилось, и она с огорчением долго переводила взгляд с холста на Жозефа, у которого тоже стало огорченное лицо. Он, как ребенок, перенимал выражение.

— Вы снова очень похудели, мадам.

— Да? Ну что же! К старости лучше худеть.

— Но мне кажется, что вы нездоровы. Вы очень кашляете. Лучше вернуться в Бонифачо.

— Кончу твой портрет и вернусь.

— Здесь очень холодно по ночам.

— Ты же привез мне теплое одеяло.

Жозеф уехал, и она принялась за хозяйство. Надо было приготовить обед. Она чистила рыбу, думая о портрете. Потом прилегла отдохнуть, уснула, и оказалось, что она думала о нем и во сне.

На втором сеансе Елизавета Николаевна снова переписала весь холст, на этот раз меньшими долями, меняя то, что вчера шло свободно, открыто. Они разговаривали, и она сказала, что не боится смерти.

— Это потому, что вы будете жить долго, мадам. Вы — русская, а ведь русские живут долго. Говорят, что между ними много святых.

— Я не святая. Я — грешница, Жозеф.

Он надолго задумался.

— Нет, вы святая, мадам, — наконец сказал он.— В Бонифачо почти все уверены в этом, и мы будем молиться, чтобы бог даровал вам долгую жизнь.

— Зачем?

— Но чтобы исполнилось наше общее желание, мадам.

Она засмеялась.

— Боюсь обещать, Жозеф.

Он смотрел на нее тревожными глазами. Левое веко опустилось. Он склонил голову набок. Она поправила позу.

— Я тоже очень кашлял, особенно по ночам. Сестры приготовили для меня настойку из трав — и все прошло. Завтра я не могу привезти ее. Надо сорок дней, чтобы она настоялась.

— Спасибо. Боюсь, что мне уже ничего не поможет.

Жозеф сказал, что завтра он не приедет, потому что бог запрещает в воскресенье работать, и она долго убеждала его, что позировать — вовсе не значит работать и что богу все равно, сидит ли Жозеф на табуретке в Бонифачо или подле ее шалаша. Ничего не произошло бы, если бы ей пришлось пропустить один день. Но это она понимала разумом, а разум не освобождал ее от тоскливого чувства, охватившего ее при мысли, что завтра она не прикоснется к холсту.

Ей очень помогало, что она уже четвертый год была знакома с Жозефом. Она писала странного, но для нее уже давно близкого человека. Круг ее жизни с каждым годом сужался. Отступил Стамбул с его вызывающе яркой палитрой. Отступил Париж с его сдержанностью, вещественностью, обыкновенностью — она не написала и десятой доли своего Парижа.

У нее остался «необитаемый остров», на котором отлично работается, никто не мешает. Лючия любит ее. Жозеф и его сестры, милые сороки, заботятся о ней, посылают ей старые фуфайки и теплые одеяла.

Неизвестно, как и почему, но эти фуфайки, одеяла — и даже мазь от комаров, которую на днях привез ей Жозеф,— участвовали в его портрете.

— Вы плохо себя чувствуете, мадам?

— Нет, хорошо.

— Но вы работаете в фуфайке. Вам холодно?

— Нет. Я рано встала, утро было свежее, и я еще не согрелась.

Теперь она ясно видела пустые места на холсте, и надо было заполнить их так, чтобы не потерять наметив-

шегося сдвига. Сдвиг наметился вчера, когда у Жозефа стало тревожное лицо с полуопущенным веком.

— Так вы не думаете, что ученые когда-нибудь найдут средство вечной жизни, мадам?

— Возможно. Но я уже не успею им воспользоваться.

— Это не имеет значения для вас.

— Почему?

— Потому что вас все равно ждет евангельская вечная жизнь.

Она засмеялась.

— Может быть. Во всяком случае, мне хотелось бы умереть, не затрудняя друзей. Не в Бонифачо, а в Париже.

— Почему?

— Ну, не знаю. И потом, я не умру, пока не закончу твой портрет. Люди будут смотреть на него и думать о тебе.

— Мне бы хотелось, чтобы они думали и о моих сестрах, мадам.

...Это было на четвертом сеансе. Все уже, кажется, установилось. Ей удалось связать два пятна, на которых держался весь холст,— лицо и рука, упавшая на колени. Она уточнила цвета — белый довела до розового, а в красном погасила резкость.

Перед окончанием работы она обычно откладывала ее, чтобы холст мог подсохнуть, а потом только поправляла отдельные места. И она уже подумывала об этом, когда два светло-розовых крыла стали раскрываться на холсте, как бы поддерживая лицо Жозефа.

Он смотрел на нее, приоткрыв рот. Он что-то спросил. Елизавета Николаевна не ответила. Он согнулся, опустил плечи — некогда было исправить позу. Она поспешно выдавливала и смешивала краски, она не отходила, а отбегала, чтобы взглянуть на холст, и сразу же возвращалась. Все снова перестраивалось, еще приблизительно, неточно. Еще неизвестно было, что выйдет из этих крыльев, но Елизавета Николаевна уже работала над ними, с красными пятнами на щеках, энергично, быстро. Все до сих пор было не то и не так. Лицо осветилось, глаза стали глубже, смуглота на провалах щек потеплела. Детские, прозрачные крылья писали сами себя, и вообразить портрет без них было уже невозможно.

Когда он уехал, она не сразу принялась за обед. Голова немного кружилась, ей захотелось полежать, и она устроилась в тени шалаша на одеяле. Парусник шел зиг-

загами против ветра — должно быть, в Сардинию. Она долго следила за ним, потом закрыла глаза. Она думала, видела, вспоминала...

Париж.

Милый мой, родной, я без конца перечитываю твою телеграмму, я никому не сказала о ней — сама не знаю почему. Из суеверия?

Положила ее в кармашек платья и время от времени достаю, перечитываю или просто, не вынимая, касаюсь рукой. Я скрывала от тебя, что очень больна, но теперь, когда я знаю, что скоро увижу тебя...

(Письмо не датировано)

Послесловие

Понадобилась сильная лупа, чтобы прочитать эти случайно попавшие ко мне письма,— почерк был неразборчивый, обгоняющий мысли, небрежный.

Несколько замечаний:

Работая над подготовкой текста к печати, я узнал много нового о Елизавете Тураевой, которой принадлежали письма, и Константине Карновском, которому они адресованы. Эти сведения дополнили книгу.

Я отобрал лишь самые значительные из писем.

Лица, упомянутые в письмах, были извещены о находке и согласились на публикацию, однако при условии, что их фамилии будут изменены. Это не коснулось деятелей, оставивших заметный след в русской и мировой культуре первой четверти двадцатого века.

Пользуясь правом романиста, я дополнил переписку немногими сценами.

1965—1970

ДВУХЧАСОВАЯ ПРОГУЛКА

РОМАН



1

«Позвольте мне рассказать историю моей жизни,— читаете вы подчас в искреннем, простодушном письме.— Это настоящий роман». Историями набит белый свет. Они совершаются в каждом доме, открыто или втайне, сталкиваясь или осторожно обходя друг друга. Веселые, грустные, занимательные, скучные — стоит только наклониться, чтобы поднять любую из них. Но мимо одной вы проходите равнодушно, другую взвешиваете, оцениваете и забываете, чтобы вспомнить случайно или не случайно. Вы не принимаете в ней никакого участия. Но она — «ваша», и вы почти бессознательно разыгрываете ее, как музыкант, исполняющий сонату, не глядя на ноты. Иногда она превращается в рукопись. Рукопись, если она удается, превращается в книгу, а книга ищет и находит — или не находит — свое место среди событий, составляющих жизнь.

Взгляните на черновики — в них еще полуслепые слова толпятся, тесня друг друга. Подчеркнутые строки, находки, намеченные наспех, подробности, записанные кое-как, десятки страниц, жирно зачеркнутых крест-накрест, одни карандашом, другие фломастером (эти уже не могут пригодиться), рисунки, чертежи, планы. И рядом — жизнь автора, которая врывается в рукопись началом дружеского письма, записью сюжета другой книги, которая когда-нибудь будет написана, размышлениями, воспоминаниями, загадочными знаками, понятными только одному человеку на свете.

Но вот начинается строгий отбор, вспоминаются характеры, обдумываются отношения — будущая книга еще раскачивается, как высотный дом во время землетрясения. Еще не найдена таинственная связь, которая должна заставить читателя листать страницу за страницей, а между тем уже приходит день, когда кажется, что обдумано все, приходит вместе с уверенностью, что перемены неизбежны. Чистая страница лежит перед вами, и — никуда не денешься — на ней должна быть написана первая фраза.

Впрочем, она уже давно написана и пора переходить к летнему вечеру 1971 года, когда Петр Андреевич Коншин, заканчивая прогулку, случайно встретился с Осколковым, заместителем директора своего Института.

2

— Петр Андреевич, а вы что же тут делаете, в Лоскутове?

— Живу, Валентин Сергеевич.

— Давно ли?

— Третий месяц. Обменял свои две комнаты в центре на однокомнатную квартиру.

— В новом доме?

— Да.

В Лоскутове был только один шестиэтажный дом.

— И довольны?

— Очень. Здесь тихо. Рядом лес. Зимой можно ходить на лыжах.

— Ну, это уж не для меня!

— Ничуть не бывало!

Осколкову было под шестьдесят, но он не располнел, как многие его сверстники, держался прямо, с привычной сдержанностью, и если бы не его усталое лицо с ярко-голубыми глазами, ему нельзя было бы дать больше пятидесяти.

— А вы где живете? — спросил Коншин.

— Живу в Москве, а здесь бываю. Часто, летом почти каждый день после работы. Вы, наверное, приметили рядом с последней остановкой трамвая старый деревянный дом с балюстрадой. Моя дача. К сожалению, назначена на слом. А жаль! Я бы сохранил ее... «Памятник русской дачной архитектуры девятнадцатого века. Охраняется государством». Впрочем, кажется, удастся отстоять.

Он засмеялся. Смех был неприятный. «Задавленный»,— подумал Коншин.

— Знаю этот дом. Проходил мимо и слышал музыку. Даже узнавал Рахманинова, Дворжака, Баха.

— Неужели так слышно на улице? А вы любите музыку?

— Про любителей говорят — «страстный». Обо мне можно сказать — «пылкий».

— Так непременно заходите. Есть редкие пластинки. Кэтлин Фэрриер, например.

— Даже не слышал.

— Между тем считается одной из лучших певиц в мире. Контральто. Прославилась исполнением Генделя и Баха. У меня как раз есть и тот и другой.

— Спасибо. С удовольствием.

Они обменялись телефонами, простились, и Коншин ушел немного озадаченный: между ним и Осколковым были скорее плохие, чем хорошие отношения.

3

Через несколько дней он возвращался от Левенштейна, где весь вечер говорили об институтских делах, давали себе слово не говорить и все-таки говорили. Потом Левенштейн повел его смотреть детей — у него была двойня, мальчик и девочка,— и Коншин, у которого в горле защипало от умиления, ласково погладил их одинаковые белокурые головки.

Теперь, в очереди на такси, он думал, что одинок, как собака, и, в сущности, несчастен. Перед ним стояла Хорошенькая (мысленно он так и назвал ее, с большой буквы) — в шубке с продольными блестящими полосками и в меховом берете. Ей было на вид лет тридцать, и Коншин, любивший угадывать профессии, решил, что она врач. Ему хотелось заговорить с Хорошенькой, и он загадал: «Заговорю, если обернется». Но она не обернулась. Она ждала, казалось, терпеливее всех. Снег таял на свежем лице, а на прядях светлых волос, выбившихся из-под берета, не таял. В ней было что-то рождественское, она стояла, как Снегурочка под елкой.

И мигом он вообразил, что она навещала мать: в метро, в автобусах он любил придумывать биографии случайных соседей. Мать мнительная, а Хорошенькая не любит ле-

чить родных. Но он уже думал о собственной матери, которую похоронил в прошлом году. Мать сокрушалась, что у нее нет внуков. Жениться снова? Некогда, да и зачем? У него есть Леночка Кременецкая, а семейная жизнь сложна и требует постоянного, терпеливого внимания. Снова счастливое семейство Левенштейнов представилось ему. Но там все держится на Але, а где взять еще такую Алю? Такую умную, гостеприимную Алю, которая уже сдала кандидатский минимум, а потом, сообразив, что на свете существует нечто важнее диссертаций, бросила работу и родила Льву Петровичу сразу двух прелестных детей. Такую взять негде.

Должно быть, последние слова он произнес вслух, потому что Хорошенькая обернулась.

— Простите, вы не врач? — негромко, чтобы не обращать на себя внимания, спросил он.

— Нет. А вам нужен врач?

Она сказала это с чуть заметной улыбкой — может быть, почувствовала, что от него пахнет вином?

Только он собирался ответить, как подошли сразу две машины, и одновременно в клубах пара, вырвавшегося из дверей ресторана, надевая пальто на ходу, разговаривая и смеясь, появились молодые люди. «Экие бугаи»,— успел подумать Коншин.

В первую машину уже садился мужчина с чемоданом, ко второй подошла Хорошенькая, но, прежде чем она открыла дверцу, один из молодых оттолкнул ее. Очередь зашумела, но он уже договаривался с шофером, опустившим стекло, и стало ясно, что сейчас молодые люди сядут в машину и уедут, а Хорошенькая останется с беспомощно протянутой рукой. Но Коншин, переломив желание не ввязываться в скандал, кинулся к нахалу и левой рукой — он был левша — сильно двинул его в челюсть. И тот вдруг, что называется, «слетел с копыт», распластавшись на мостовой. Его ошеломленные товарищи не сразу бросились на Коншина, и он успел посадить Хорошенькую, а потом почти машинально плюхнулся рядом с ней на сиденье.

— Давай,— сказал он шоферу.

— Что «давай»? Вылезайте.

Коншин сунул руку в карман и положил рядом с шофером трешку. Это подействовало.

— Куда?

— Улица Алексея Толстого,— сказала Хорошенькая и взглянула на Коншина.— А вам?

— Прежде всего прошу меня извинить.
— За что?
— Ну вот... Сел в машину без вашего разрешения.
— У вас не было времени, чтобы спрашивать разрешения. Вы мне помогли, и я благодарна. Здорово вы его. Вы боксер?
Коншин засмеялся.
— Нет. А вот про вас, когда мы стояли в очереди, я подумал — врач.
— И ошиблись. Так вам куда?
— Далеко. В Лоскутово. Водитель, вы когда-нибудь были в Лоскутове?
— Был. Не поеду. Мне к одиннадцати в парк.
— Прекрасно,— с удовлетворением сказал Коншин.— Отвезем даму и поговорим.
Он отвез ее раньше, чем ему хотелось бы, и она не позволила ему расплатиться. Коншин знал, что женщинам нравится его вежливость, которой он умел придавать старомодный оттенок. Но на этот раз оттенок, очевидно, не помог. Он попросил шофера подождать и проводил ее до старого трехэтажного дома, до двери, на которой было светлое пятно от недавно снятой дощечки.
— Вы мне разрешите...— начал он, прощаясь.
Она перебила:
— Извините. Я очень признательна вам, но...
Пока она рылась в сумочке, ища ключ, он убедился в том, что она не просто хорошенькая и что это слово к ней даже и не подходит. Прелестная, может быть, а это совсем другое дело! Блондинка, лет двадцати пяти. Уютная, мягкая, но и твердая. И видно, что недаром живет на свете. Ключ нашелся.
— Я только хотел...
— Извините,— снова сказала она и улыбнулась. Очевидно, у него был расстроенный вид.— До свидания.
— Будьте здоровы.
Это пожелание, не совсем обычное, Коншин перенял от отца. Прощаясь, его отец, врач, желал пациентам здоровья.
Он вернулся к машине. «Здесь какой-то особый квартал,— смутно подумалось ему.— Дипломатический? Это дом американского посла? Нет, тот на Спасо-Песковской площадке...»
Но и самой Спасо-Песковской площадки не было давным-давно, тому назад лет пять или десять. Исчезла Хорошенькая, и неизвестно даже, было ли происшествие у

ресторана «Бухарест», на стоянке такси. В сердце творилось что-то странное. Махнуть к Леночке? Но это безумие: воскресный вечер, двенадцатый час, все спят и, главное, муж, конечно, дома. «Недобрал»,— подумал Коншин. Они ехали в Лоскутово. Он недобрал у Левенштейна, но это было прекрасно. Завтра рабочий день, и хотя Осколков не решается сделать ему замечание за то, что он приходит в отдел к двенадцати, а то и к часу, но завтра надо прийти к девяти и улизнуть от всех и вся, потому что завтра у него опыт.

4

В детстве Коншину казалось, что он никогда не сможет управлять людьми, связывая себя с интересами их существования. Он отлично учился и, будучи спокойным, уравновешенным школьником, много времени отдавал общественной работе, так же было и в студенческие годы. Он занимался ею старательно, энергично — и все-таки не очень хорошо, а иногда даже плохо. Ему мешала неуверенность в своем праве вмешиваться в чужие дела и менять их так или иначе. Он думал, что в любом поручении как раз и участвовало это право, никому, впрочем, кроме него, не казавшееся произволом.

Возможно, что он навсегда остался бы человеком легким, беспечным, желающим всем добра, но беспомощным, когда надо было распорядиться этим желанием, если бы не попал в руки Ивана Васильевича Шумилова.

Студент последнего курса, Коншин явился к нему с научным предположением, от которого пришел в восторг его будущий учитель. Завязавшиеся отношения упрочились, когда Шумилову удалось «отбить» Коншина, посланного было по распределению преподавателем на Дальний Восток.

Общее впечатление блеска, которым сопровождалось все, что говорил и делал Шумилов, прекрасно соединялось с желанием, чтобы этот блеск был оценен всеми или по меньшей мере замечен. Друзья в шутку называли его «гусаром» — и действительно, что-то гусарское было в природной веселости Шумилова, в жизнелюбии, которым были отмечены все его речи, поступки, решения.

Этот высокий красивый человек, мастер на выдумки, не оставлявший, казалось, равнодушной ни одну женщи-

ну, был одним из крупнейших теоретиков медицинской науки. Петр Андреевич считал своим долгом развивать и углублять систему его научных воззрений.

5

Коншин руководил отделом, состоявшим из двух лабораторий, и это было сложное, требующее твердости и мягкости дело, которое далеко не исчерпывалось холодным словом «руководство». Это было дело, за которым стояло, переплетаясь, множество решений и поступков,— и не стояло, а двигалось, меняясь год от года.

За двадцать лет работы Петр Андреевич изучил то, что можно назвать искусством управления. Он давно привык к мудрой молчаливости Левенштейна, верного хранителя шумиловских традиций. Толстый, скептический, добродушный, он напоминал Коншину того тургеневского героя, который на все, что ему доводилось услышать, отвечал только «брау, брау», что означало «браво». Это был человек, считавший, что любое внешнее продвижение приводит к отдаче, которая неизбежно сказывается на самом образе мышления деятеля науки. Ему неоднократно предлагали лабораторию, он отказывался решительно и непреклонно...

К упрямству Володи Кабанова Петр Андреевич научился относиться терпеливо. Маленький, решительный, кривоногий Володя внимательно выслушивал все замечания руководства, а потом ни на йоту не отступал от намеченного направления. Над его богатой личной жизнью подшучивали: девушки, имена которых он путал, звонили ему ежедневно.

Полной противоположностью Володе был Сергей Львович Тепляков — бледный, задумчивый, бородатый, с кроткими задумчивыми глазами. Можно было подумать, что его деятельность заключается в том, что он часами курит на лестнице, рассеянно здороваясь с товарищами по работе — иногда дважды, а то и трижды. Петр Андреевич не мешал ему. Автор немногих, но безупречных работ, Тепляков не терял времени на лестнице. Он думал.

...В искусстве управления отделом лежало, в сущности, только два принципа, и Петр Андреевич понимал, что, если их соблюдать, станет выполнимой главная цель, относившаяся уже не к тактике, а к стратегии.

Первым принципом была *очевидность*. Ничто ни при каких обстоятельствах не должно происходить за спиной, касается ли это внешних или внутренних отношений. Разумность работы должна быть ясна каждому, начиная с шефа и кончая лаборантом.

Вторым принципом была *естественность*. Редкая статья печаталась под одним именем, почти всегда она была результатом усилий двух, трех, четырех авторов, и порядок, в котором стояли имена, был основан на объективной оценке вклада каждого из них. Несправедливость заранее исключалась, что создавало атмосферу взаимного доверия. Этот принцип соблюдался не только в подобных случаях, но и в сотнях других, вызывавших необходимость прийти к справедливому решению. Отношения с сотрудниками сложились давно. Одного он защищал еще при Шумилове, который в минуты вспыльчивости был способен на несправедливость, другого покрывал при загулах. Третий, по общему мнению, был дураком, хотя и считал себя глубоким мыслителем. Но этот дурак был тонким экспериментатором, правой рукой Коншина, его опорой. Четвертый долго не печатался, все искал «подход», и надо было осторожно придерживать тех, кто ждал от него немедленных результатов. Пятый метался из стороны в сторону и давно бы вылетел из другой лаборатории, а Коншин ценил его именно за эту неуверенность, потому что в ней чувствовалась попытка взглянуть на дело всей лаборатории со стороны. Шестой не мог писать, потому что у него постоянно болели дети, и надо было писать за него. И наконец, находились люди, которые лучше, чем он, понимали дело, по меньшей мере *свое дело*, которым они занимались в полную силу. Но самое главное, без сомнения, заключалось в том, что все они были не сотрудниками, а соратниками, которых он втянул в рискованное предприятие. Идея, неопровержимость которой он доказывал в статьях и выступлениях, была очевидна только для него, и они работали в атмосфере его увлеченности, его убежденности, его предсказывающего взгляда.

В мелочи, неизбежно сопровождавшие работу отдела, Коншин вмешивался редко. Он знал, что каждый серьезный работник (а других, кажется, у него не было) сумеет взвесить самостоятельно, является ли эта мелочь хотя бы незначительным, но истинным вкладом. Ощущение истинности было особенно важно — оно помогало работе практически.

Петр Андреевич заметил, что эта последняя черта характерна для женщин в большей степени, чем для мужчин, или, во всяком случае, для женщин, работающих в его отделе. Когда они чувствовали «истинность вклада», они трудились без устали, неутомимо. Но когда с помощью какого-то загадочного чувства они угадывали постороннюю цель — карьеру, внешний расчет,— они сознательно или бессознательно начинали работать плохо. Впрочем, Коншин, любивший повторять павловское: «Природа — проста»,— и эту черту объяснял очень просто. Если уж отрываться от семьи и детей, если уж жертвовать *своим, особенным*, женским, то не ради посторонней цели, а ради истинности своей доли в общей работе, причем эта доля обходилась им дороже, чем мужчинам. Стало быть, и цениться она должна была дороже.

Это наблюдение в полной мере относилось к Нине Матвеевне Скопиной, похожей, как многие утверждали, на Грибоедова мужским треугольным лицом и по-мужски подстриженными, слегка вьющимися волосами. Сходство подчеркивалось маленькими очками в тонкой немодной оправе. Это была женщина, сознательно ограничившая свою жизнь интересами науки. В своей фанатической отрешенности она была резка, насмешлива, зла. Но за этой отрешенностью Коншин угадывал то, что он больше всего ценил в людях,— мужество и благородство.

Напротив, понятие отрешенности показалось бы смешным по отношению к Марии Игнатьевне Ордынцевой, плотной, крепкой женщине, седой, но моложавой для своих пятидесяти трех лет. Из основного ядра отдела она была, кроме Левенштейна, старше всех. Это была личность опасная в том смысле, что она не умела ни молчать, ни выбирать удобное место, чтобы высказывать свои подчас очень острые мнения.

6

Знакомство Коншина с Леночкой Кременецкой, работавшей в другом институте, началось не совсем обычно.

Ей давно хотелось посоветоваться с Коншиным по поводу своей диссертации, над которой она работала почти два года. Леночка начинала у Врубова — нынешнего директора Биологического института — и он, без сомнения, легко мог бы устроить эту встречу. Но не зная, в каких

отношениях Коншин с Врубовым, она решила пойти без рекомендации, полагаясь только на себя. Решение было принято перед зеркалом. «Полагаясь на себя» — это означало «на свою внешность».

У нее было свежее крестьянское лицо, в котором беспечность прекрасно уживалась с трезвостью и здравым смыслом. Пожалуй, ее нельзя было назвать красавицей, но что-то располагающее было в ее легкой походке, в улыбке и даже в тонких белокурых волосах, завязанных небрежным узлом на затылке. Этой привлекательности ничуть не мешали ни короткий нос, ни слишком большие даже при ее росте ноги. Кокетливость ее казалась немного странной — она кокетничала не только с мужчинами, но и с женщинами. Но и в этой странности была привлекательность, о которой Леночка прекрасно знала.

К Петру Андреевичу она решила приехать не на работу, а домой — и неожиданно, хотя всем было известно, что его день проходил по часам и что он старался соблюдать этот строгий порядок. День заканчивался прогулкой — может быть, стоило позвонить ему и попросить разрешения встретиться на прогулке?.. Но Леночке хотелось показать ему свои таблицы, а это невозможно было сделать где-нибудь в парке (Коншин жил тогда напротив «Ударника»). И после долгих колебаний она решила приехать к нему за полчаса до прогулки.

Петр Андреевич открыл ей дверь, и хотя встретил вежливо, оттенок недовольства все же почувствовался в первые минуты разговора. Но Леночка знала, что он исчезнет, и он действительно исчез, хотя для этого она почти ничего не сделала — только говорила, как бы сердясь на себя за собственную дерзость.

Она не раз видела Коншина, читавшего каждые три месяца необязательную лекцию в университете. Но так близко она встретилась с ним впервые, и он показался ей выше ростом и моложе своих сорока трех лет. Он нравился Леночке, ей хотелось взглянуть на него в домашней обстановке. Впрочем, все слушательницы Коншина были влюблены в него, и ему не раз случалось получать от них любовные записки, над которыми он добродушно подсмеивался.

Он был выше среднего роста, худой, узкоплечий и красивый, хотя в лице его не было, кажется, ни одной черты, которую можно было бы назвать этим словом. Но в его сутуловатой, угловатой фигуре была мягкая значительность,

как бы приглашавшая собеседника высказаться откровенно. Улыбка восхищения и одобрения, скользившая по его добрым губам, необычайно шла к его нервному лицу, светло-серым глазам и непроизвольно крепкому рукопожатию. И все вместе производило впечатление красоты, которую он не только не замечал, но и удивился бы, если бы ему о ней сказали.

Не выходя за границы материала, он, к изумлению Леночки, так все перестроил в ее диссертации, что незначительное выдвинулось вперед, а то, что казалось ей самым важным, ушло в тень («До поры до времени»,— серьезно сказал Петр Андреевич).

Это и было впечатление, которое осталось у Леночки после их первой встречи: его мягкость, расположенность и удивление перед легкостью, с какой он мгновенно перекроил ее работу.

И у него осталось чувство удивления, но совсем другого, не имевшего никакого отношения к науке: она записывала его соображения, он расхаживал по комнате и, останавливаясь, смотрел на молодую прямую нежную шею с выбившимися из-под шпилек крутыми завитками. На другой день, читая лекцию в университете, он почему-то вспомнил и эту шею, и разгоревшееся ухо, и то, что за окном вдруг повалил густыми хлопьями снег, и то, что они оба странно замерли, когда повалил снег. Коншин перестал говорить, Леночка — записывать. Тишина, после которой должно было, казалось, случиться что-то возможное и невозможное, установилась в комнате. Но ничего не случилось. Только к свету настольной лампы присоединился сумрачный свет снега, который бился в окно, как бесформенные белые птицы.

7

«Зачем-то я ему все-таки нужен,— подумал Петр Андреевич, когда Осколков позвонил ему.— И не в музыке тут дело».

— Так заглянете?

— Когда?

— Хоть сегодня. Еще не поздно, девятый час.

Коншин подумал. Это значило пожертвовать прогулкой, а догадка, которую он хотел обдумать, казалось, только и дожидалась конца утомительного рабочего дня.

— Вот сегдоня-то как раз и не могу.
— Тогда завтра.
— Кажется, я записал ваш телефон?
— Повторить?
— Пожалуйста. Я позвоню вам.

И через несколько дней Осколков встретил Петра Андреевича у подъезда. Он познакомил его с матерью — маленькой, скромной, в очках, совершенно непохожей на современных молодящихся старух, напоминающих знаменитый офорт Гойи «До самой смерти». Ее трудно было представить себе перед зеркалом, за столиком, уставленным баночками с кремом, коробками с пудрой, флаконами с духами. В седой торчавшей головке было что-то тревожно-птичье. Она не глядела, а выглядывала из клетчатой шали, накинутой на острые плечи.

— Евдокия Павловна,— представилась она и, совсем как в «Дворянском гнезде», прибавила: — Прошу покорно садиться.

Но то, что увидел Коншин, меньше всего напоминало «дворянское гнездо». За фасадом деревянного дома с балюстрадой и крышей, отороченной резными украшениями, открылась просторная, уютная четырехкомнатная квартира.

Столовая была карельской березы, с удобными креслами-стульями и внушительным буфетом — на нем было так много хрусталя в серебре, китайских ваз и разноцветного стекла, что у Коншина зарябило в глазах. Вдоль стены, покрывая широкую софу, висел громадный, очень старый и, по-видимому, драгоценный ковер, на котором загадочно улыбались персиянки с миндалевидными глазами.

В просторном кабинете-спальне стояла мебель красного дерева, должно быть павловская или александровская, письменный стол с множеством ящиков и ящичков, с сияющими медными подсвечниками и еще какими-то медно сияющими предметами неизвестного назначения.

Третья комната была отведена под библиотеку, и на полках — Коншин пробежал взглядом по корешкам — стояли не «собрания сочинений», за которыми охотилась вся Москва, а монографии по живописи и театру. За поворотом коридора находилась четвертая комната. Осколков зажег плафоны, и перед изумленным Коншиным открылась картинная галерея. Он плохо разбирался в живописи, но некоторые имена — Кузнецов, Кончаловский, Фальк —

были ему знакомы. К ним Осколков прибавил два десятка других, не менее знаменитых.

— Труд всей жизни,— сказал он, заметив, что Коншин удивлен, и обводя символическим жестом стены.

Но сравнительно недавно назначенный заместителем Врубова, он в течение многих лет руководил Ветеринарным институтом. «Каким же образом удалось ему вытащить все это изобилие из скромной профессии ветеринара? — подумал Петр Андреевич.— И где живет мамаша? На кухне?»

Евдокия Павловна позвала к столу, но прежде решено было послушать Кэтлин Фэрриер, и, пока старушка хозяйничала, мужчины оставались в кабинете.

Коншин знал и любил музыку. Слушание музыки было для него не только наслаждением, он как бы считался с ней, как считаются с естественностью смены дня и ночи, с восходом и заходом солнца.

Низкий, круглый голос вошел в комнату как будто издалека — и все отодвинулось, исчезло, уступило место с полной покорностью, без тени возражения.

Коншин слушал, удивляясь той власти, с которой певица так быстро овладела его душой. Мягкий, проникновенный голос вел его, приказывая и одновременно как бы покоясь, как покоится младенец в руках рафаэлевской мадонны. Эти трогающие, волнующие низкие ноты, эта чистота, в которой чувствовалось благоговение, эта стройность, женственность, величавость. Коншин слушал, и к горлу подступали счастливые слезы. Острое чувство жалости почему-то охватило его — и он пожалел Осколкова, слушавшего с выражением самодовольства, точно он представлял как свою собственность великую певицу.

Белокурые головки детей Левенштейна вспомнились Петру Андреевичу — и они в этом блаженном слушании нашли свое место.

Гендель кончился. Осколков хотел перевернуть пластинку, но Петр Андреевич остановил его.

— Нет, благодарю вас. Больше не надо.

— Почему же?

Коншин помолчал, потом спросил:

— Вы что-нибудь знаете о ней?

— Немного. Англичанка. Была учительницей. Преподавала музыку в маленьком городке, потом попала в Лондон к знаменитому Бриттену; тогда ей было уже за тридцать. Появилась впервые в одной из его опер и очень

быстро получила мировую известность. Объездила весь свет. Но выступала недолго, кажется, только лет восемь.

— Сколько же ей было, когда она умерла?

— Сорок. Хотите, я подарю вам эту пластинку?

— О нет! — с удивлением воскликнул Коншин.— Мы еще слишком мало знакомы, чтобы я позволил себе принять такой подарок.

Не только это неожиданное предложение — многое в этот вечер показалось Петру Андреевичу странным. К столу были поданы балык, красная и черная икра, жареные цыплята с грибами. Вина — превосходные, французский коньяк и португальский портвейн.

Но было еще и нечто невещественное, как бы распыленное в воздухе и тем не менее заметно окрасившее этот вечер. Может быть, неясное ощущение «вторичности»? Коншину казалось, что хозяин, столь осведомленный в музыке и живописи, повторяет чьи-то чужие слова... Или еще более неясное чувство ожидания, точно кто-то мог неожиданно постучать и войти, хотя никого, кажется, не ждали? Впрочем, Петр Андреевич был доволен. Его всегда интересовала «новизна», касалась ли она вещественного или духовного мира. Он любил, например, проводить часть своего отпуска, садясь в первый попавшийся поезд и выходя на случайно выбранной станции только потому, что ему приглянулось ее название. Провести два-три дня в незнакомом городе, заглядывая в магазины, музеи, церкви, знакомясь с рыбаками, если город стоял на реке, или с охотниками, если вокруг были леса,— для него со студенческих лет это было любимым отдыхом и развлечением.

У Осколкова он тоже познакомился с «новизной», начиная с самого хозяина, который, как выяснилось, был неседеющий, крупный, что называется, вальяжный мужчина, почти загадочная личность и притом как бы заштрихованная.

Евдокия Павловна, скромно простившись, ушла. Осколков вновь принялся уговаривать Петра Андреевича взять пластинку и, когда тот решительно отказался, вдруг спросил его:

— Как вы думаете, можно ли сказать, что талант — это страсть?

— Пожалуй,— подумав, ответил Коншин.—Но страсть не талант.

Заговорили об институтских делах, и самый тон, в котором началась беседа, заставил Коншина насторожиться.

Можно было допустить, что заместитель директора в частном разговоре (да и то с хорошо знакомым человеком, которому он вполне доверяет) решится на беспристрастную оценку того, что происходило в Институте. Но оценка была не только беспристрастной, но издевательски-беспощадной. С полной откровенностью Осколков говорил о давлении Врубова на ученый совет, о его самоуправстве, о мнимых реорганизациях, рассчитанных на увольнение неугодных сотрудников, о том, что в Институте господствует зависть,— это забавно, не правда ли? Директор завидует. Кому? Да каждому талантливому человеку.

— Любопытно, что, кроме меня, никто, кажется, не догадывается об этом,— сказал Осколков, смеясь.

Он был прав, но что-то неприятное почудилось в том, *как* он это говорил — бесстрастно или иногда с оттенком холодноватой злобы.

— А больше всего он завидует вам.

— В самом деле? Может быть, потому, что я ученик Шумилова, а они были в плохих отношениях?

— Это не повод для зависти. Нет. Просто потому, что у вас крупное имя в науке, а у него — в Академии и в Министерстве здравоохранения. А потом, эта история с поездкой в Майами. Вы думаете, она прошла для вас даром?

— Никакой истории не было,— холодно возразил Коншин.

— Ну полно...

Два года назад в Америке, в Майами, состоялся конгресс, на котором обсуждались доклады, проходившие по касательной рядом с работами коншинского отдела. Он не надеялся попасть на конгресс, однако, к его удивлению, Врубов вызвал его и заговорил о поездке.

— Не думаете ли вы, что наш Институт должен принять участие в работе конгресса? — спросил он.

Через две недели Коншин принес доклад. Перелистав несколько страниц, директор вернулся к первой, на которой было написано название и стояли фамилии Коншина, Ордынцевой и молодого сотрудника, помогавшего им. Это показалось Петру Андреевичу странным.

— Прекрасно,— сказал Врубов, не улыбаясь.— У вас есть доклад, которым может гордиться наш Институт, а у меня — заграничный паспорт.

Очевидно, это была одна из тех неприятных шуток, которыми он любил ставить своего собеседника в неловкое положение. Впрочем, ясно было, что он собирался в Майами, чтобы представить доклад Коншина на конгрессе. Ну что ж! Это была обычная практика. Брать его с собой Врубов, без сомнения, не собирался.

— Если позволите, я сам переведу доклад,— сказал Петр Андреевич, когда Врубов предложил своего референта.— Есть оттенки, которые могут ускользнуть.

На другой день он принес доклад, переведенный на английский, и сцена повторилась. Снова были фразы, которые можно было с одной стороны понять так, а с другой — иначе; снова были многозначительные паузы, снова внимательный взгляд останавливался на фамилиях, стоявших под названием. Но на этот раз выражение досады, а может быть даже и злости, мелькнуло на круглом голом лице.

Теперь Коншину была ясна причина этой досады. Под заглавием должна была стоять и фамилия директора. Яснее говоря, Врубов хотел приписаться к работе и доложить ее как общую, хотя ни к теме, ни к направлению, ни к сложным, тонким опытам, методически новым, он не имел ни малейшего отношения.

Коншин легко терял душевное равновесие. И на этот раз ему с большим трудом удалось его сохранить. Его доброе лицо вдруг приняло странное, одновременно и жалобное и какое-то почти зверское выражение. Он посмотрел прямо в глаза Врубову, тот похрустел пальцами и отвернулся.

Ничего исключительного не было в предложении Врубова. Приписывание имени шефа (и тем более директора института) считается делом обычным и даже полезным: молодых охотнее печатают, когда они выступают под покровительством старших. Но к той работе, о которой шла речь, у Коншина было совершенно особое, личное отношение, и Петр Андреевич совсем не хотел делиться с кем бы то ни было, а уж меньше всего с директором, который едва ли мог в ней разобраться. Даже если бы он не занимался ею с особенным увлечением и даже если бы она не была тесно связана с предшествующими работами — просто он не хотел, чтобы их имена стояли рядом.

«И все это было прочтено на моей дурацкой, ничего не умеющей скрыть физиономии,— думал Петр Андреевич.— Прочтено и учтено. Недаром этот ханжа сразу же стал так

необычайно вежлив, недаром заговорил о чем-то другом, недаром, провожая меня, ласково положил руку на плечо и сказал голосом, не обещающим ничего хорошего: «Ну что же!»

— Впрочем, если вы считаете, что истории не было, тем лучше для вас,— весело сказал Осколков.— Вы знаете, мне кажется, наша главная беда — я имею в виду весь Институт в целом — в том, что Врубов никак не может забыть, что он был без пяти минут министром! Психологически он в этом звании утвержден навечно. Власть в себе, поставившая перед собой единственную цель — самоутверждение. Государственный человек! Вы заметили, кстати, как он моргает?

— Нет,— смеясь, ответил Коншин.

— Ну как же! Небрежно и вместе с тем значительно, веско. Институт он считает своей вотчиной, а вотчиной в наше время можно управлять и по телефону. Часто ли он бывает на работе? Хорошо, если два-три раза в неделю. Все управление Институтом, в котором ни много ни мало более семисот человек, он свалил на нас, а сам...

«Не на нас, а на тебя,— подумал Коншин.— И можно не сомневаться, что ты сделал для этого все, что в твоих силах».

«А ведь неясно, зачем все-таки он меня пригласил,— думал он, возвращаясь домой.— Неужели просто захотелось похвалиться квартирой? Или это провокация? Зачем-то я ему нужен, сукину сыну».

8

Когда Леночка Кременецкая вновь пришла к Коншину с уже законченной диссертацией, была уже не зима, а лето, точнее — июль. Томительно жаркий день только что отступил, жара ослабела. Снова он, расхаживая по комнате, останавливался, говорил, советовал, расспрашивал ее и снова говорил. Но с первой же минуты, когда Коншин увидел ее, разлетевшуюся, на что-то решившуюся, смело вошедшую к нему, он почувствовал, что это будет совсем другая встреча.

Она внимательно слушала, уверенно записывала не без грамматических ошибок, как он убедился, заглянув в

ее тетрадку. Но он не рассердился, не возмутился из-за этих ошибок, что неминуемо произошло бы, если бы на месте Леночки была другая женщина, может быть, потому, что и ошибки, и вопросы некстати, и напряженность, с которой она держалась, и его вспыхнувший интерес к этой напряженности — все происходило оттого, что между ними началось нечто неожиданное, то, что по своей внезапности никуда не вело и не могло длиться долго.

Сперва ему показалось забавным, что Леночка так старалась ему понравиться или, по крайней мере, не оступиться, не сделать того, что могло бы его оттолкнуть. Он подсмеивался над тем, что она, по-видимому, этого смертельно боялась. Потом с сильно застучавшим сердцем он вдруг сбился в своих соображениях, приказал себе вернуться к холодности — и вернулся.

Зимой она пришла в старенькой беличьей шубке, было холодно, мокрый снег мотался за окном, и между ними была зима, тишина, резко очерченный круг света от настольной лампы. А теперь Леночка была в легком летнем платье, с открытыми руками, и он принуждал себя оставаться спокойным, глядя на крепкие загорелые руки, на молодую грудь, поднимавшуюся и опускавшуюся под тонкой материей. Ему уже кружила голову новизна неожиданности, неизвестности.

И когда, снова склонившись над тетрадкой, он коснулся щекой ее волос, вдохнул свежий запах, шедший от ее лица, волос, шеи, она замерла, вспыхнула, перестала писать. Но он снова справился с собой, и разговор продолжался — обыкновенный, но невольно сопровождавшийся острым ощущением близости, которая могла бы, кажется, перейти в другую, еще более острую. Он что-то говорил фальшиво-занимательно, стараясь скрыть, что расстроен, и она, казалось, была огорчена, хотя и совершенно иначе, чем он.

Они простились, и Леночка ушла, оставив его в состоянии ошеломленности. Над этой ошеломленностью он почему-то не в силах был посмеяться, что было совсем на него не похоже.

9

Коншин не ошибался, предполагая, что неожиданное нападение Осколкова на директора было чем-то вроде провокационной игры. Это еще не было поступком. Это был

как бы макет поступка. Макет, который мог пригодиться или не пригодиться. Однако макет был прицельный.

Осколков знал Врубова, кажется, лучше, чем самого себя. Он не только прочитал все его научные труды — Врубов был в тридцать два года доктором наук,— но и публицистику, речи. Он тщательно изучил его биографию. Он решил его, как решают не очень сложную, однако требующую ума и смелости загадку.

В те далекие времена, когда появлялись первые работы Врубова, считавшиеся если не блестящими, то по меньшей мере оригинальными, многие полагали, что у него отраженный талант и что даже в своих лучших работах ему не удалось сказать собственное слово в науке. Так думал, например, Шумилов, который однажды, выступая в московском Микробиологическом обществе, не только срезал противника, но сокрушительно-весело посмеялся над ним, назвав Врубова «гением обусловленности»,— Осколков был на этом заседании. Под обусловленностью понималась мода в ее социальном значении.

И Шумилов был прав. При любых обстоятельствах Павел Петрович Врубов стремился оказаться на виду. Административная карьера шла одновременно с научной — она была связана с выступлениями, лекциями, речами. Он прекрасно владел собой, не тонул в словах, и далеко не всегда можно было догадаться, что он говорил именно то, что должно было сказать в определенном месте и в определенное время.

Сомнительные компромиссы были неизбежны — Осколков знал наперечет и эти компромиссы.

Потом был неожиданный стремительный взлет — он получил назначение, о котором не смел и мечтать. Тогда-то и началось то, что Осколков в разговоре с Коншиным назвал властью в себе, утвердившейся навечно. Для человека умного — а Врубов считался человеком умным — это было несколько странно. Но Осколков сумел оценить и этот ум, плоский, лишенный иронии, не позволяющий видеть себя со стороны.

Потом Врубов срезался — на чем, это так и осталось неясным. Он стал директором Биологического института, и Осколков, уже работавший тогда в Институте, сумел оценить сложность его положения. Впрочем, сложностей было много. Главная заключалась в том, что директор оказался еще и руководителем огромного бесформенного отдела, в котором надо было что-то делать. Что же именно?

Уже давным-давно он не «работал руками» — это была граница, за которой для одних начинается полоса итогов и размышлений, а для других «приписыванье», работа чужими руками. Осколков подсказал решение: отдел должен был существовать и развиваться, чтобы придать научной деятельности директора «современный характер». Все, что оказывалось в центре внимания страны, немедленно находило прямое отражение в работе директорского отдела. Для этого необходимо было навести в нем порядок — Осколков сделал и это. Так он стал тем, что в старину называлось alter ego,— вторым «я» Врубова в Институте.

Он научился умело придерживать и в то же время угадывать и расчетливо брать на себя все, что было для Врубова неприятно. Это бесило Осколкова не потому, что он считал для себя унизительными угодливость и покорность, а потому, что в этом положении для *поступков*, как он понимал это слово, не было оперативного пространства. А существовать, не вырывая у жизни новых возможностей, он не мог.

«И очень хорошо,— думал Осколков,— что между Врубовым и Коншиным плохие отношения. Надо воспользоваться этим, чтобы поставить директора в ложное положение».

Но многое было еще «надо». Идея свалить Врубова и занять его место еще была тенью идеи, ее расплывчатым, неясным отражением.

10

Коншин женился сравнительно поздно, тридцати шести лет. Портрет девочки с вихрами, торчащими из-под косынки, висел у него на стене так, чтобы можно было, просыпаясь и засыпая, смотреть на него: девочка стояла на подоконнике, в пустоте, в голубизне распахнутого настежь большого окна. Под коротеньким халатом были видны крепкие, статные ноги. Другой портрет — та же девочка, уже почти женщина, с подобранными косами — стоял на его письменном столе в простой старинной рамке. Это была его жена Альда, умершая от родов.

Кроме нее, ни одна женщина никогда не вызывала у него желания соединить с нею жизнь. Он влюблялся искренне, стараясь не замечать, что у одних женщин не было вкуса, а другие старались научить его жить. Он огорчался,

когда изящные, тонкие женщины в минуты близости совершенно забывали о нем и думали только о себе,— это казалось ему по меньшей мере несправедливым. Почти все они стремились выйти за него замуж — это вызывало в нем инстинктивное сопротивление. Ничего не прощал он только тем, которые не любили детей, таких он бросал немедленно, едва в этом убедившись. Он сам не просто любил детей — он постоянно думал и читал о них, он сразу же сближался с ними, искренне разделяя их интересы. Женщины, считавшие, что дети усложняют или даже отравляют жизнь, как раз и казались ему отравительницами, которым ничего не стоит совершить преступление.

Постоянное прислушивание к себе развило в нем острую наблюдательность по отношению к другим, и прежде всего это касалось женщин, существующих в собственном мире, для которого была характерна, как ему казалось, путаница мелочей. Путаница заключалась в том, что главное и второстепенное в их жизни могло мгновенно и без повода обмениваться местами. Этой черты не было, считал он, в Леночке Кременецкой.

11

Прошло больше года, прежде чем Коншин снова встретил ее; весной, уже не в блеске прежней розовой крестьянской свежести — ей было двадцать пять, когда они впервые встретились, а можно было дать восемнадцать. Он поздоровался, она ответила, улыбнувшись свободно, открыто. Сбоку не было зуба, это немного портило ее. Она нарочно улыбнулась так, чтобы все показать ему — и что нет зуба, и что она похудела, подурнела и ждет новой встречи, пусть и случайной. Это было на людной улице, и они говорили недолго. Он спросил, защитила ли она диссертацию.

— Да. И даже единогласно.

Еще минута — и они расстались бы, возможно, снова на год, если не навсегда. И, может быть почувствовав это, она сказала ему свой адрес.

— Загляните,— сказала она, прощаясь и краснея.— Я свободна первые три дня недели.

Он ответил неуверенно:

— Может быть.

12

Леночка жила далеко от Коншина, в заброшенном районе, каких много еще в Замоскворечье, его давно собирались перестроить. Коммунальная квартира была, очевидно, переделана из чердака, потолок в углу косо срезан, и там за ширмой стоял широкий матрас на ножках, покрытый спускавшимся со стены ковром.

Все было чисто, скромно. Много книг, один стеллаж «мой, биологический», объяснила Леночка. Другой — «математический, мужа».

Петр Андреевич пришел неудачно. Не прошло и четверти часа, как откуда-то из пригорода приехал свекор Леночки, седой, задыхающийся, багровый, добродушный и заметно огорчившийся присутствием у Леночки незнакомого мужчины.

Зачем-то Петр Андреевич принес шоколад, большую плитку, и стал теперь угощать старика, хотя это было почти неприлично,— Леночка потом сказала ему об этом: он должен был сделать вид, что угощает Леночка, а не он.

Но прежде чем приехал свекор, когда они еще были одни, она успела сказать, что за эти полтора года не было дня, когда бы она не думала о Петре Андреевиче, не пожалела бы, что не видится с ним.

— Только когда сестра тяжело заболела и приходилось все делать мне,— сказала Леночка,— готовить, стирать, мыть посуду,— тогда не думала.

Сестра умерла, и ее сын остался на руках у Леночки. Он жил чаще у нее, чем у родителей Леночки,— они и сами нуждались в уходе.

Как бы заранее не предполагая в людях ничего дурного, инстинктивно стараясь поставить себя на их место, Коншин был воплощением прямоты, и, как ни странно, отсутствие затаенности, заслоненности не мешало, а облегчало ему жизнь. «Дурное» было, оно встречалось почти на каждом шагу. Но он привычно противопоставлял этому «дурному» свое «хорошее», бессознательно сохраняя душевные силы. Он остро чувствовал ложь, в его сознании она была связана с унижением. С детских лет его пугала и казалась неестественной раздвоенность, даже если она была вызвана важной жизненной целью. Эта раздвоенность почудилась ему в Леночке еще в тот день, когда она впервые появилась у него, застенчивая и одновременно смелая, заранее решившаяся на что-то и забывшая о сво-

ем решении, когда он стал перекраивать ее неумелую работу.

Свекор ушел, они остались одни, и Коншин с удивлением убедился, что перед ним были как будто две женщины: одна с интересом слушала его мнение о «Ночах Кабирии» Феллини, об итальянском неореализме, другая бросилась к столу, едва он упомянул о ее диссертации. И не только упомянул, но стал связно и свободно диктовать то, что хотя и было связано с диссертацией, но уходило далеко за ее пределы. Она не понимала, переспрашивала.

— Записывайте, пригодится для докторской,— смеясь, сказал Коншин.

Потом он целовал ее, доказывая между поцелуями, что они ровно ничего не значат, и затыкал уши, когда она пыталась что-то объяснить, возразить. Так он ничего и не узнал о ней, кроме того, что она замужем давно, «уже два года», муж — математик и каждую неделю уезжает на три дня в Иевлево, где преподает в местном техникуме. Почему-то, когда Петр Андреевич был уже в передней, она сказала, что ее муж маленького роста.

13

— Вы, должно быть, удивились, когда я попросил вас заглянуть ко мне? — спросил, улыбаясь, Осколков.

— Почему же?

— Вы последнее время на меня волком смотрите. И ведь, кажется, у вас есть для этого все основания.

— Только ли кажется?

На этот раз не было разговора о живописи, не слушали Кэтлин Фэрриер, не пили французские и португальские вина. Осколков извинился — мать заболела — и сам устроил скромную закуску за журнальным столом в кабинете.

В этот вечер он выглядел особенно оживленным и свежим. Голубые глаза его, красивые, но несколько рачьи, сияли, он держался уверенно, разговаривал неторопливо, значительно, веско.

— Эх, Петр Андреевич! Разумеется, только кажется, потому что мало кто в Институте относится к вам с бо́льшим уважением, чем я. Знаю, что и к этим моим словам вы вправе отнестись с недоверием. Именно поэтому я и решился поговорить с вами. Так вот: не следует думать, что в неприятностях, с которыми вам приходится сталки-

ваться, я принимаю добровольное,— он подчеркнул это слово,— участие. Ну вот пример: по должности я был вынужден передать выписанный для вас анализатор аминокислот в директорский отдел. Но попробовали бы вы на моем месте этого не сделать! Это был прямой приказ Врубова, причем совершенно бессмысленный, потому что его сотрудникам этот прибор не нужен. И ведь это не единственный случай, не правда ли?

— Еще бы!

— Это расчет. И так как он начинает бросаться в глаза кое-кому и вне Института, Врубов, по-видимому, решил его оправдать.

— То есть?

— Вы понимаете, без сомнения, что этот наш разговор более чем доверительный. Сегодня я, выражаясь высокопарным стилем, отдаю себя в ваши руки. Вы никогда не задумывались над причинами неприязни Врубова к вашему отделу?

— Случалось,— осторожно ответил Коншин.— Однако любопытно, что об этом думаете вы.

Осколков помолчал.

— Независимость, дорогой Петр Андреевич,— вот причина причин! Он мало сказать не любит — он ненавидит вас, потому что вы держитесь вне тех границ подчинения, на которых он настаивает и в которых находится весь Институт. Он инстинктивно чувствует, что вы из тех, кто даже при желании не смог бы держаться иначе. Он не умеет управлять не властвуя, он считает, что иначе невозможно, а между тем у него перед глазами ваш отдел, в котором никто не властвует, а дело идет,— и, стало быть, это возможно? Но этого мало. У вас европейское имя. После смерти Шумилова ваш отдел стал одним из центров биологической мысли. Интерес к нему — и всесоюзный и международный — идет мимо Врубова. Значит, что же? Надо сломить вас, и тогда все станет на свои места. Но действовать, конечно, по возможности чужими руками.—И Осколков мельком взглянул на свои узкие, с длинными пальцами руки.— Теперь прикинем, как действовать. Наука? Тут к вам не подступиться. Разве что затруднить международные контакты. Он так и делает — и, как вы знаете, не без успеха.

«Ах он? А уж не ты ли, голубчик?» — подумал Петр Андреевич. Он с трудом справлялся с нарастающим раздражением.

— Попытаться организовать нападение, так сказать, изнутри? Куда там! Вы за своими как за каменной стеной. Все за одного, один за всех. Стало быть, надо искать другие возможности. Вот, скажем, существовал при Институте такой Клуб науки и искусства, деятельность которого была признана вредной. Вы один из организаторов этого клуба, не так ли?

— Когда это было!

— Не имеет значения. Клуб закрыли, а вам предложили признать свои ошибки.

— А я их не признал.

— Вот именно. И это было оценено как полное равнодушие к своему общественному долгу. А ведь каков поп, таков и приход. Почему бы не связать этот поступок с весьма низкой посещаемостью вашими сотрудниками семинара по философии? Ну-с, что еще? Дисциплина. Ведь я сквозь пальцы смотрю на ваш свободный, мягко говоря, режим работы. Одни сотрудники засиживаются до поздней ночи, а другие опаздывают, и кто же подает им пример?

Коншин взглянул на него, поджав губы.

— Дисциплина должна опираться на интерес к работе. Нет интереса — нет и дисциплины. Впрочем, вам не кажется, Валентин Сергеевич, что выговор, если я его заслуживаю, вы могли бы сделать мне не у себя на даче?

Осколков бережно взял Коншина за локоть и тотчас же отпустил.

— Петр Андреевич,— мягко сказал он,— не для выговора пригласил я вас, а чтобы вместе обдумать создавшееся положение. Обдумать и, если можно, изменить его.

Коншин прислушался: слабый голос донесся откуда-то издалека. Прислушался и Осколков с тревожным лицом.

— Извините, я оставлю вас на несколько минут,— сказал он.— Посмотрю, что с мамой. У нее грипп затянулся, и я боюсь, как бы не началось воспаление легких.

Одна дверь из кабинета вела в коридор, другая в столовую. Поспешно выходя, Осколков плотно закрыл первую, и сейчас же, как это бывает в старых деревянных домах, бесшумно приоткрылась вторая...

Это было как во сне, когда одна картина, в которую едва успеваешь вглядеться, незаметно, загадочно подменяется другой, и сознание напрасно старается объяснить эту непостижимость. Не вставая с кресла, Коншин увидел сквозь приоткрывшуюся дверь ту часть столовой, где стоял диван и над ним висел запомнившийся натюрморт —

бело-розовый букет сирени. На краешке дивана спиной к Петру Андреевичу сидел какой-то человек с неестественно длинной шеей, на которую, как на палку манекена, была надета маленькая стриженая голова. Человек этот, как разглядели острые глаза Коншина, был немолод, отрастающие волосики отливали сединой. Он не обернулся, и это было естественно: он с головой ушел в свое показавшееся Петру Андреевичу странным занятие. Когда опытные кассиры считают деньги, бумажки, подчиняясь скользящему движению, так и мелькают перед глазами, а потом, при пересчитывании, снова мелькают, стремительно падая одна на другую. Именно так в столовой Осколкова считал деньги этот человек с маленькой головой. В его руках была одна пачка, но по дивану в беспорядке были разбросаны другие.

Долго ли, по-детски приоткрыв рот, смотрел на него изумленный Коншин, он и сам не знал — должно быть, минуты три или пять? Потом послышались шаги. Петр Андреевич поспешно переменил позу, взял со стола книгу...

— Извините,— входя, сказал Осколков. Слегка нахмурившись, он плотно закрыл дверь в столовую.— Так я говорил...

— Вы говорили, что стараетесь смотреть сквозь пальцы на отсутствие дисциплины в моем отделе.

Это было сказано хотя и серьезно, но слишком серьезно, и в голубых глазах Осколкова мелькнуло холодное выражение.

— В нашем разговоре нет места для иронии, дорогой Петр Андреевич,— жестко сказал он.— Ведь можно и так: встретились, поговорили и разошлись друзьями. Однако к сущности дела я еще не подошел.

— А сущность дела заключалась в том, что директор считает Институт своей вотчиной и управляет им по телефону? — дерзко спросил Коншин.

Почему-то этот человек, считавший в столовой деньги, развязал ему руки. «Еще какие-то тайны собачьи»,— подумал он злобно. Он чувствовал опасную легкость в голове и боялся наговорить лишнее. Но остановиться было уже невозможно.

— О том, что директор считает себя вельможей и никак не может отвыкнуть от своего высокого звания, к этому можно многое добавить: внутри Института он действует против самых способных сотрудников. Он прекрасно знает медицинские круги и настолько самоуверен, что

позволяет себе поиздеваться над видными деятелями этих кругов,— неосторожность, которая может вам пригодиться.

— Позвольте, позвольте...

— Да полно, Валентин Сергеевич! — побелев, сказал Коншин.— Почему бы не сказать прямо, что вы собрались накатать телегу на директора и решили воспользоваться нашими дурными отношениями в надежде, что я помогу вам состряпать это дело? И не верю я, что вы затеяли его с благими намерениями, хотя и допускаю, что вам неприятно досаждать мне неприятностями. Но как же вы не понимаете...

Он заставил себя замолчать. Молчал и Осколков — долго, минуты три. У него было странное лицо. Не торопясь он закурил, протянул портсигар Коншину и, когда тот взял сигарету чуть задрожавшей рукой, добродушно рассмеялся.

— Ну и нагородили же вы, дорогой Петр Андреевич,— сказал он.— Ну ладно. Забудем этот разговор. Вот давайте-ка я вам лучше коньяку налью. Хороший армянский коньяк, «Давид Сасунский». Его давно перестали выпускать, но мне достали бутылочку по знакомству.

14

Леночка не поверила Петру Андреевичу, когда он сказал, что встречаться у него нельзя, потому что в кухне живет Ольга Ипатьевна, старушка, которая вела все его незатейливое хозяйство. Она поняла, что единственная причина не в этом,— и была права. Коншин принимал у себя женщин только по делу. В его квартире, как и раньше, когда у него было две комнаты в коммуналке, никогда не происходило того, что заставило бы его повернуть портреты покойной жены лицом к стене. Он не мог не «изменять» ей, но он был верен памяти, и не было никакого смысла объяснять практической Леночке («Отдельная квартира, а встречаться негде?») значение этого чувства. Впрочем, он жил в пригороде, ездить к нему было далеко, а Леночка почти всегда торопилась. Пока было лето, они гуляли в парках, иногда ездили за город. Однажды в Измайловском парке сторож прогнал их, и, хмурые, расстроенные, не разговаривая, они зашли в чайную. Была уже осень, серое сплошное небо, резкий ветер. «Расстать-

ся?» — думал он тревожно, глядя на большую руку Леночки, державшую стакан, на раздосадованное и все-таки беспечное лицо, на черное пальто, явно перешитое с чужого плеча...

Она сама попросила Петра Андреевича снять комнату — и сделала это с той решительностью, которой не хватало ему.

Муж по-прежнему уезжал на три дня в неделю, но среди соседей по квартире были злобные сплетницы; встречаться у Леночки — об этом нечего было и думать.

Как-то незаметно произошло, что теперь Леночка распоряжалась их близостью. Не он, а она со своей склонностью к лжи, которую она от него и не скрывала, со своим размахом и здравым смыслом. Удивительно было то, что склонность к лжи, всегда внушавшая Петру Андреевичу отвращение, не только не отталкивала его от Леночки, но легко прощалась, забывалась, отодвигалась и даже опасно, соблазнительно привлекала.

Теперь они виделись часто. Он снял комнату у одной отслужившей актрисы. «Для работы»,— сказал он. Но старая, накрашенная, с неестественно гладким лицом, торопливо-угодливая дама сразу же все поняла и вскоре как будто даже с каким-то тайным удовольствием вручила Петру Андреевичу ключи: дверь запиралась сложно.

Леночка была немногословна, но иногда, в хорошем настроении, рассказывала о себе — талантливо, остро. Она и была талантлива. Петру Андреевичу становилось смешно, когда он находил в ее немногих работах свои мельком брошенные и толково развитые соображения. У нее добро даром не пропадало.

Однажды она пришла на свидание голодная, не успев пообедать. Петр Андреевич купил ветчины и булок и смотрел, как она ест,— на белые показывающиеся зубы, на короткий нос, на карие небольшие глаза, которые затуманивались, когда он ласкал ее. Надо было, как всегда, торопиться, но он не мог насмотреться, как она ест, как рвет руками бело-розовую ветчину и мягкую булку.

15

Жизнь отдела должна была идти как бы сама собой, почти без ощутимого влияния Коншина, хотя именно эта неощутимость и была основой его авторитета. Все это от-

носилось к тактике. Но решения, связанные с магистральным движением вперед, требовали вмешательства, и это была уже стратегия.

Годы шли, внутри лабораторий возникали объединенные близкими темами группы. Молодые люди постепенно притирались друг к другу, и очень важно было не только не разрушить эту сложную нарастающую связь, но бережно упрочить ее, обозначить, раскрыть. Обычно выдвигался сотрудник наиболее способный, упорный, энергичный, сумевший убедить других идти рядом с ним к определенной цели. Так возникала группа, лаборатория в лаборатории, ядро в ядре, постепенно захватывающая собственное «место под солнцем».

Отдел существовал и развивался в обстановке внутренних и внешних сложностей, характерных для любого исследовательского института, с той разницей, что они были, по крайней мере, удвоены усилиями директора, понимающего толк в этом деле.

Это видел не только Коншин, но весь Институт,— именно поэтому нужно было вести себя по отношению к Врубову особенно осторожно. Кое в чем Петр Андреевич уступал вопреки мнению ближайших сотрудников и прежде всего Марии Игнатьевны Ордынцевой, которая в глаза называла его растяпой. Она была не права: он уступал, напоминая, что он таков и ни при каких обстоятельствах другим не станет.

Это были внешние сложности, а внутренние — совсем другие. Младшие стремились к кандидатским диссертациям, старшие, если это были талантливые люди, относились к докторской как к неизбежной, часто досадной преграде, которую надо было преодолеть, чтобы спокойно продолжать *самое важное,* подчас лишь косвенно связанное с защитой. Эти, сопоставляя личные и научные интересы, бескорыстно отдавали предпочтение *делу.* Но были и холодные карьеристы, относившиеся к науке как к предполагаемой возможности легко и благополучно прожить жизнь с ее помощью и под ее прикрытием. Таких нужно было *нейтрализовать,* и это удавалось бы Коншину, если бы ему не хотелось под горячую руку спустить с лестницы неосторожного склочника или любителя преждевременных сенсаций.

16

Было что-то завораживающее в том, что по временам он становился другим. Он как будто с головой нырял в неизвестность. Жизнь, состоявшая из его науки, из сложного положения отдела, которым он руководил, из институтских склок и интриг, от которых он уклонялся, была ясна. В другой все отклонения, которые могли случиться, воплотились в одном большом Отклонении — в Леночке, всегда торопившейся к племяннику, которого не с кем было оставить, смешно сердившейся, когда Коншин опаздывал хотя бы на минуту. Отклонение манящее, опасное, с небрежно заколотыми пышными волосами, с высокой прямой шеей, придававшей стройность походке, с нежной белой шеей, которую он любил целовать. Это Отклонение было далеко от его привычной, день в день повторяющейся жизни — далеко и вместе с тем неотразимо близко. «Вне» было одновременно «внутри», и скрыть это от самого себя можно было, только притворяясь.

Но откуда взялось ощущение лжи, неизменно сопровождавшее эту желанную близость? Почему он не чувствовал полной свободы по отношению к Леночке, как это было с другими? И что делать с инстинктивным желанием разрыва, в то время как, ожидая свидания, он волновался, если Леночка опаздывала на четверть часа?

Но вот пришли дни, когда Отклонение ушло,— стало быть, его тайное желание исполнилось?

17

Оба переболели гриппом, Леночка легким, Петр Андреевич тяжелым. Когда он поправился, но слабость еще не прошла, он каждый день сидел в сквере недалеко от дома. Однажды он позвонил ей, и она пришла с туго набитой хозяйственной сумкой, прямо с работы. Вечером они с мужем ждали гостей, и, чтобы не терять времени, она заранее купила продукты. Была зима, Петр Андреевич сидел на скамейке в шубе и валенках, в сквере гуляли няни с детьми.

Болезнь заставила его сосредоточиться, остановиться, а Леночка летела куда-то в заботах несущегося дня — устраивала в детский сад племянника, затеяла новую работу,

«в которой,— сказала она, краснея,— мне без тебя не обойтись. Поможешь?».

— Еще бы! А почему покраснела?

— Не знаю. Соскучилась.

Они разговаривали недолго. Петр Андреевич вернулся и лег, еще чувствуя в своих руках ее большую нежную руку.

Он приехал, и дело действительно оказалось важное: Леночка решила перейти в его Институт. Еще до того, как она сказала, *кто* ее приглашает, Петр Андреевич с беспокойством подумал, что институтские знакомые почти наверное видели их вместе где-нибудь на улице или в парке и тогда не обойтись без сплетен. Но тут же он мгновенно забыл об этом, узнав, что Леночку приглашает Врубов.

— Не может быть!

— Почему же? Он меня знает, я у него начинала. Всем известно, что ты с ним в плохих отношениях. Ну и что? У тебя в неприятельском лагере будет свой разведчик.

— Неприятельского лагеря нет,— потирая лоб, сказал Петр Андреевич.— Наш отдел в немилости, но это еще не война. Почему ты так решила? Впрочем, это не имеет значения... Если же говорить о деле, то чему ты сможешь у него научиться?

— Конечно, не у него! Он предлагает мне младшего научного сотрудника у Ватазина. Ты сам как-то говорил, что Ватазин способный.

— Способный, мягкий, безвольный и очень больной. Сам он человек порядочный, по-моему, но его сотрудники... Они вьются вокруг Врубова, льстят ему, превозносят.

— Ты думаешь, что я способна льстить и превозносить? — холодно сказала Леночка.— Ваш Институт — первой категории. Мне будут больше платить, почти на тридцать рублей. Для меня это немало. А научиться... Ты сам знаешь, у кого мне хотелось бы хоть чему-нибудь научиться.

Это было то, о чем Коншин думал много раз. В его отделе Леночка с ее сметливостью и энергией живо нашла бы свое место. Но если он не может взять ее к себе, справедливо ли отговаривать ее от лаборатории Ватазина?

— Ну подумай! Во-первых, наш институт перед вашим, как говорится, все равно что плотник против столяра. Во-вторых, моя Серафима давно забыла все, что когда-то знала, и просто не понимает, чем занимаются ее сотруд-

ники, и я в том числе. Так что же, мне так и сидеть у нее сложа руки? А у вас, ты представь себе только...

Теперь они разговаривали спокойно, тщательно взвешивая все «за» и «против». Может быть, и в самом деле грешно было отказываться от возможности работать у Ватазина? Попасть к нему нелегко, об этом мечтают многие, и если он согласится...

Но важнее всего этого было то, что Леночка намеренно — он в этом не сомневался — отвезла Вовку к его отцу, надела к приходу Петра Андреевича свое лучшее платье (он знал все ее платья) и подкрасила чем-то голубоватым веки. Подкрасила, насмешив его, потому что ее лицу с живыми, естественными красками не шли искусственные. Она пудрилась, но перестала красить губы, после того как кто-то однажды сказал ей, что с накрашенными губами она становится похожей на куклу.

18

Решено было летом уехать куда-нибудь вдвоем хоть на несколько дней. Они выбрали Прибрежное, маленький курортный городок на Черном море, и поехали в разное время, чтобы не вызвать подозрений. Петр Андреевич придумал командировку, Леночка сговорилась с подругой, которая тоже ехала на юг, но в другое место и должна была в случае необходимости подтвердить, что они ездили вместе.

Они поселились у толстой, еще красивой женщины, молдаванки, с пьяным, бродившим по ночам мужем-маляром, которого она оглушительно проклинала, и Леночке понравилась эта комната, двор с утками, этот живой плетень с ветками и зелеными листочками, хвосты винограда, свисавшего над темной, прохладной частью двора. Она любила все деревенское, негородское. Мать ее была из дворянской семьи, отец из крестьян, и она любила рассказывать о поездках вместе с ним в его родную деревню. Она говорила, что пошла в отца,— и правда, что-то деревенское было в ее больших руках и ногах, в ее трезвости, беспечности, в ее твердом свежем лице.

Они были одни и теперь, когда никто не мешал им, стали жить неторопливо, без прежней неутолимости, без страха потерять минуту. Купаться они ходили не на пляж, а в далекие, плохие для купанья места и проводили у моря

целые дни — разговаривали или подолгу счастливо молчали.

Леночка рассказывала, как ей работается на новом месте, рассказывала, как всегда, талантливо, в лицах.

— Ты знаешь, я думала, что Осколков туповат, но ничуть не бывало. Он с выдумкой и умеет заставить всех себе повиноваться. К тебе он относится плохо.

— Почему?

— Не укладываешься в схему. И на твоем месте я бы, пожалуй, постаралась уложиться. Потому что в противном случае тебя ждет множество хлопот. Тебе не мешало бы вести себя, как Ватазин.

— А именно?

— Он молчит, когда ждут, что он заговорит. И говорит, когда ждут, что он будет молчать.

— И его заставляют повиноваться?

— Иногда. Обычно он угадывает, что от него хотят.

— Н-да... Но ты знаешь... Брать с него пример мне все-таки не хочется. Ты с ним кокетничаешь?

— Напропалую.

— Зачем?

— Еще не знаю. Может быть, пригодится.

— Ты знаешь, ведь об этом говорят в Институте.

— А о чем именно?

— Да вот... Со всеми кокетничает, но дело знает. И что ватазинскую лабораторию не узнать. Врубов уже где-то отозвался о тебе с восторгом. И вообще,— смеясь, сказал Петр Андреевич,— ты, очевидно, карьеристка?

— Ложное впечатление. Просто Ватазин часто болеет, и тогда все останавливается. А я продолжаю работать. Это новость, и кажется, для всего Института, кроме, разумеется, твоего отдела. Можно бездельничать, а человек работает. Чудак! А что ты думаешь об Осколкове?

— Я думаю, что он опасный подлец,— сказал Петр Андреевич.

Он спросил себя, рассказать ли Леночке о своих встречах с Осколковым. Необъяснимое чувство удержало его.

19

Однажды они купались под развалинами старой крепости. Леночке захотелось пройтись, и она в одном купальном костюме ушла в горы. Прошло полчаса, он уже места

себе не находил от беспокойства. Наконец она появилась, статная, высокая, шагающая упруго, легко, и он подумал: «Неужели эта женщина принадлежит мне и сегодня вечером снова будет моей?..»

В другой раз они разговорились с местными рыбаками, которые жаловались на плохие, особенно в этом году, уловы, на правление артели. Почему они говорили с Петром Андреевичем так откровенно? Может быть, они приняли его за журналиста, который может им в чем-то помочь? И, слушая их, он подумал с чувством стыда, что в сравнении с жизнью этих людей у него позорно легкая жизнь, что ему надо не обнадеживать их, а повиниться перед ними за счастье этой поездки, вдруг показавшейся ему жалкой, ничтожной. Но вот Леночка, вертевшая его шляпу в руках, надела ее на себя (должно быть, ей наскучил разговор), и он мгновенно забыл о своем раскаянии — так она была хороша, свежа после купанья, так привлекательна и крепка.

Обедали они в столовой, а на завтрак, ужин ели что придется — хлеб с консервами, молоко. В Леночке не было женской хозяйственности, она не баловала Коншина заботами, и он думал, что у нее, наверное, и дома так — есть что-нибудь, и ладно. Нетребовательность Коншина нравилась ей.

— У тебя хороший характер,— сказала она ему однажды.

Петр Андреевич уступил Леночке широкую полуторную кровать, а сам спал на узенькой полудетской. Матрас лежал на веревочной сетке, она рвалась, каждое утро он чинил ее обрывком старого невода. В седьмом часу он просыпался, долго лежал с закинутыми под голову руками, потом выходил во двор, переступая через спавших в сенях хозяев. И сладко было после душной комнаты (окна были завешены марлей от мух) вдохнуть утренний морской воздух, посмотреть на прохладное, с гаснущими звездами небо.

Они получили письма. Петр Андреевич от Левенштейна об институтских делах, очень его обеспокоивших, Леночке подруга прислала письмо от мужа.

Вечером они пошли в кино, не досмотрели фильм, ушли и долго молча бродили вдоль моря. Леночка стала спрашивать, что пишет Левенштейн, и Коншин вдруг холодно перебил ее:

— А что пишет муж?

В последнюю перед отъездом ночь он лег рано. Его немного знобило, спину и плечи покалывало, как после солнечного ожога.

Он долго не мог уснуть и, проснувшись внезапно среди ночи, не понял, что с ним происходит. Чужая женщина лежала на широкой кровати. Под легким одеялом видны были очертания крупного тела. Лунный свет падал в окно, где-то назойливо жужжала муха. Из сеней слышался храп, сонное кряканье доносилось со двора. «Где я? Что со мной?»

Женщина спала, бесшумно дыша, одеяло поднималось на груди и ровно опускалось. С холодной ненавистью он долго смотрел на нее.

Это прошло, когда на случайном грузовике они едва успели к поезду,— условленная машина не пришла. И только что вышли на станции, как началась прежняя зависимая жизнь: какие-то экскурсанты, среди которых почудились даже знакомые лица, неподалеку на маленькой площадке разбирали вещи...

Все обошлось с этой поездкой на юг, о которой Леночка потом говорила с восхищением — не о самой поездке, а о смелости, с какой они на нее решились.

Леночка вышла на какой-то станции, откуда ей было ближе до дачи, и хотя потом муж нашел в сумочке два железнодорожных билета, ей удалось как-то выпутаться, предупредив подругу.

20

Старая актриса заболела, они лишились комнаты, и однажды вдруг без предупреждения он приехал к Леночке, придумав на всякий случай какой-то шаткий предлог, если муж окажется дома. И все сошло благополучно, она радостно встретила его, взяла за руку, повела к себе. Оказывается, она была одна в квартире.

Но в другой раз соседи не только оказались дома, но очень заинтересовались Петром Андреевичем. Шляпницамодельерша постучалась и забежала, чтобы примерить на Леночке новую шляпку, потом зашел кто-то еще...

Когда нельзя было больше оставаться, она первая осторожно вышла в коридор, потом молча поманила Петра Андреевича, и он быстро шагнул на площадку, услышав за собой негромкий стук закрывшейся двери...

На следующий день она позвонила.

— Я вас прошу никогда больше не приходить ко мне,— сказала она ровным, спокойным голосом.— Не звонить, не писать, и вообще забыть о моем существовании.

Ничего не понимая, он только ответил:

— Хорошо.

И повесил трубку.

Все объяснилось через несколько дней, когда они уговорились встретиться у памятника Пушкину на десять минут: соседи рассказали мужу, что Петр Андреевич бывает у Леночки.

— Ничего не было упущено. Дни, часы, едва ли не минуты!

Сперва она держалась с мужем нагло-спокойно — она и прежде говорила Коншину, что становится холодной, как лед, когда муж начинает ее ревновать. Но на этот раз он был подавлен, разбит. Он перестал спать, ходить на работу, а потом замолчал и целые дни неподвижно лежал на диване. Она испугалась и стала отчаянно, напропалую изворачиваться и лгать. Муж, кажется, поверил — или дал себя уговорить. Они помирились. Интеллигентный, тихий человек, он грубо изругал соседку-модельершу, когда та снова стала на кухне оговаривать Леночку.

— Мы не будем теперь встречаться долго,— твердо сказала она Петру Андреевичу.— Полгода.

21

Приближалась весна, возобновились и его прогулки, прекрасные, чистые, по не прибранному после зимы лесу. Он уже начинал зеленеть, обломанные голые ветки хвороста торчали, напоминая геометрических хвостатых зверей; тропинки, еще влажные, едва прочерчивались среди прошлогодней травы.

Это были два часа, когда он наконец оставался один и можно было спокойно вернуться к любимому строю мыслей. Два бесценных часа, когда он переставал чувствовать себя «собакой, которую за хвост оттаскивают от мяса», как он любил говорить.

Его и прежде оттаскивали, внезапно прерывая опыт, вызывая на совещание, где приходилось слушать длинные речи Врубова, оттаскивали, требуя, чтобы он переделывал

планы, почти всегда неопределенные, потому что цель науки — истина и предсказать ее заранее невозможно. Но после его последней встречи с Осколковым работать стало еще труднее. Снова отказали в необходимом, выписанном по его настоянию приборе. Не пустили в Швецию Володю Кабанова на симпозиум, посвященный его работе, и пришлось целый день возиться с ним, доказывая, что не надо жаловаться министру здравоохранения. Опальный отдел! По-видимому, для тех, кто старался заслужить расположение директора, это была карта в какой-то происходящей за спиной Коншина игре.

Он был человеком воображения, он тонко понимал людей, легко угадывая их намерения и желания. Но поставить себя на место другого человека он не мог, в особенности когда встречался с прямо противоположным способом существования. Какая-то врожденная наивность мешала ему. Он не в силах был представить себе естественность называния черного белым. Как согласиться с тем, что мешать полезной работе — полезно? Это было для него так же трудно, как убедить себя в том, что разумнее ходить не на ногах, а на руках.

То, что происходило в последнее время с ним и его сотрудниками, нельзя было назвать иначе как бессмыслицей, вредной с государственной точки зрения. Ничего не оставалось, как сопротивляться ей, и в этом отношении он был силен. Прямодушие и упрямство остро соединялись в этом сопоставлении, и, как ни странно, ему помогало то, что он не был создан для «игры в отношения».

22

Прошло четыре месяца, как он виделся с Леночкой, и он не испытывал ни малейшего желания возобновить эти встречи. Он вспоминал минуту необъяснимой ненависти к ней ночью в Прибрежном. Быть может, тогда за слепотой, за самообманом открылось подлинное, невыдуманное чувство?

Теперь ему казалось странным, что в ее присутствии он начинал чувствовать себя другим, действуя, как собственный двойник, закрывающий глаза на все, что составляло главную сторону существования. И, думая о Леночке холодно, почти равнодушно, он старался объяснить себе, что же в ней так привлекало его. Ее нельзя было назвать

даже хорошенькой, у нее были большие руки и ноги, грубоватое, хотя и полное жизни лицо. Небольшие глаза, пышные, но слишком тонкие, рассыпающиеся волосы. Что заставляло мужчин оглядываться на нее на улице? Сколько раз он замечал, что они будто заставляли себя отрывать от нее глаза,— и Леночке это, несомненно, нравилось.

Все это время она не звонила ему. А если бы позвонила — ну что ж! Разве не случалось им разговаривать в спокойном, дружеском тоне? Так будет и теперь. «Ну как дела?» — спросит она, и он ответит: «Ничего, спасибо». И о новых встречах ни слова!

В этот день Коншин приехал на работу к часу дня и застал ораторствующую Марию Игнатьевну, вокруг которой с заинтересованными лицами сидели и стояли Володя Кабанов, Тепляков и Скопина. Похоже было, что все они куда-то шли и остановились на минутку, а потом застряли. По обрывку фразы — Марию Игнатьевну кто-то перебил — он понял, что импровизированное заседание посвящено, как это ни странно, Леночке Кременецкой. Дверь в лабораторию была полуоткрыта, но все слушали Ордынцеву с таким вниманием, что появление Петра Андреевича осталось незамеченным — он вошел в свой кабинет из коридора. Обсуждались перемены в отделе Ватазина, причем не научно-организационная сторона этих перемен, так сказать, а их нравственное значение. И оратор и слушатели остановились перед загадочным вопросом: как могло случиться, что Ватазин, серьезный, значительный ученый, оказался под влиянием новой сотрудницы, работающей у него без году неделю?

— Распоряжается в лаборатории, как у себя дома,— говорила Мария Игнатьевна.— Это уже не влияние, а... Не знаю, как и назвать!

— Оккупация,— серьезно предложил Володя.

— А вы, Володя, чем смеяться, лучше помогли бы делу. Я видела, как она с вами в коридоре кокетничала. Вы человек холостой, молодой, интересный.

Трудно было назвать Володю с его кривыми ногами и синими — вопреки тому, что он брился дважды в день,— щеками интересным мужчиной, но когда Мария Игнатьевна входила в азарт, она не останавливалась перед мелочами.

— Вот и взялись бы за дело!

— За кого вы меня принимаете!

— Марья Игнатьевна, а вы, оказывается, сплетница,— грустно сказал Тепляков.— И интриганка.

— Сплетница — да, потому что все женщины сплетницы, а интриганка — нет. Ведь Ватазин — больной человек. У него уже было два инфаркта.

— А по-моему, нехорошо так о ней говорить,— сказала Скопина, слушавшая до сих пор молча. Она всегда мучительно краснела, вмешиваясь в разговор, задевавший личные отношения.— Ведь мы, в сущности, ее совершенно не знаем. А мне она нравится. Мы на днях познакомились. Она добрая. И вежливая. У нее сестра умерла, она племянника воспитывает и рассказывала мне о нем... Так не мог бы рассказывать плохой человек. И вообще все, как один, говорят, что в лаборатории все буквально заиграло с ее появлением.

— Может быть, и заиграло,— сказала добрым, сердитым голосом Мария Игнатьевна.— Но как бы эта игра плохо не кончилась!

С чувством вдруг охватившей его ревности, от которой остро заболела голова и захотелось что-нибудь сломать, сокрушить, Коншин выслушал этот, впрочем, вскоре оборвавшийся разговор.

«Так вот что — Ватазин,— думал он.— Ну да почему бы и нет? Боже мой! А я еще сегодня серьезно думал о ней, вспоминал, волновался.— Он уже забыл о том, что думал о Леночке не только равнодушно, но готовился к подчеркнуто спокойному разговору, после которого невозможны были бы новые встречи.— И уже весь Институт знает об этом! И обсуждаются планы, как спасти от нее Ватазина. Так, может быть, и вся эта история с мужем была выдумана, чтобы расплеваться со мной?»

У него было напряженное, взволнованное лицо, он это знал. Но ему всегда удавалось (когда это было необходимо) как-то «распускать», освобождать лицо. Так он поступил и в этот раз: вызвал Володю Кабанова и стал с непривычной для него строгостью выговаривать ему за то, что в его работе одно осталось недоказанным, а другое похоже на артефакт.

— Только этого еще не хватает!

Но когда Леночка позвонила через несколько дней, он уже справился с собой и был совершенно спокоен.

— Как дела?

Коншин ответил осторожно:

— Все хорошо, спасибо.

— А почему не звонишь?

— Но мы же условились.

— Что же, что условились! Мог бы и позвонить. Здороваться перестал.

— То есть?

— Вчера нос к носу столкнулись в коридоре. Посмотрел прямо в лицо и прошел мимо.

— Да что ты! Извини. Должно быть, задумался.

— Не знаю, не знаю. А я уже решила, что ты поверил своей старой сплетнице.

— Какой сплетнице?

— Да Ордынцевой же!

— Марии Игнатьевне? А о ком же она сплетничает?

— Не притворяйся, пожалуйста,— уже сердито сказала Леночка.— Она по всему Институту распустила грязную сплетню, будто я уморила Ватазина.

— Как уморила?

— Неужели не знаешь? У него третий инфаркт.

Она еще что-то говорила, но он уже еле слушал. Значит, Мария Игнатьевна на ветер слов не бросала! Мигом вся история отношений между Леночкой и Ватазиным выстроилась перед ним.

— Вообще мне надо с тобой поговорить,— сказала Леночка.

Он назвал день — не близкий, даже далекий.

— Понятно. А поскорее нельзя?

«Сказать — нет?» — мысленно спросил он себя. И сказал:

— К сожалению, нет.

— Понятно,— повторила она.— А ты не можешь ко мне заглянуть?

Он снова хотел сказать «нет», но она продолжала:

— По старой памяти.

Теперь в голосе почудился смех, и он успокоился. Леночка подчеркнула это «по старой памяти», стало быть, поняла, что все между ними кончено. И, может быть, даже надо встретиться, чтобы эти новые, ни к чему не обязывающие отношения установились. Но они установились и без новой встречи.

23

Коншин пил немного, но он и не нуждался в том, чтобы пить много. Уже после третьей рюмки жизнь казалась ему пресной и хотелось украсить ее какой-нибудь неожиданностью, подчас острой или даже опасной.

Левенштейн знал это и хотел проводить его до стоянки такси, но Петр Андреевич отказался. Ему хотелось, чтобы тот памятный вечер, когда бугай «слетел с копыт» и он отвез Хорошенькую домой, повторился.

Многое было похоже. Пар клубящимися шарами выкатывался из дверей «Бухареста». Снег неподвижно висел в воздухе словно нарочно, чтобы все видели, как он искрится в голубоватом свете. Но в очереди стояли какие-то толстые бабы, не нуждавшиеся в покровительстве Коншина, скучно садившиеся в подходившие машины. Хорошенькой не было, а между тем ему нужно было увидеть ее положительно «до зарезу», и он решил, что ничего не произойдет, если вместо «Лоскутово» он скажет водителю «улица Алексея Толстого». Может быть, он посоветуется с ним, если попадется толковый парень. Он попросит его подождать, а сам поднимется по лестнице и постарается вообразить, что получится, если он нажмет кнопку звонка. Может быть, он просто постоит на лестнице и уйдет. Самое важное заключалось в том, что он необыкновенно отчетливо помнил не только адрес, но и обитую клеенкой дверь, на которой осталось пятно от снятой дощечки.

— Улица Алексея Толстого,— сказал он водителю.

В крайнем случае муж (если Хорошенькая замужем) спустит его с лестницы. Не хотелось бы. Впрочем, необъяснимое предчувствие подсказывало ему, что все обойдется. Пьяных любят, а он, кажется, немного пьян. У него легко шумит в голове, и кто-то ласково доказывает, что ничего невозможного, в сущности, нет. Советоваться с шофером ему расхотелось. Не поймет, и в конце концов это было его, Коншина, личное дело.

Он перешел небольшой дворик, поднялся на второй этаж и обрадовался, что не ошибся — на двери было выцветшее квадратное пятно. И круглый глазок, на который он в прошлом году не обратил внимания. Откуда-то доносился слабый стук пишущей машинки — похоже, что из-за двери. Оставалось одно — позвонить, и выяснилось, что это не так уж и трудно. Он нажал кнопку, послышался мело-

дичный звонок — две ноты. Машинка умолкла, и женский голос спросил:

— Кто там?

— Простите,— сказал Коншин,— но это, к сожалению, вопрос, на который почти невозможно ответить.

За дверью помолчали.

— Вы, вероятно, ошиблись?

— Думаю, что нет. Если у вас хорошая память на лица, не откажите в любезности посмотреть в глазок. Маловероятно, но кто знает? А вдруг вы меня вспомните?

Он чиркнул спичкой и поднес ее к самому подбородку.

— Может быть, вам поможет подсветка? Узнаете? Ну конечно нет, потому что это было без малого год назад на стоянке такси, напротив ресторана «Бухарест». Не могу сказать, что с тех пор я так уж часто вспоминал о вас. Но, вы понимаете, обстоятельства сошлись — снова зимний вечер, воскресенье, снег. Надо домой, много работы, а работать не хочется. Я приехал, чтобы спросить — не могу ли я чем-нибудь помочь вам? Уверяю вас, совершенно бескорыстно. Мало ли что могло случиться за год.

— Я вас плохо слышу.

— А вы приоткройте дверь, заложив ее предварительно на цепочку,— обстоятельно посоветовал Коншин.— А я повторю, и, если хотите, с подробностями. Ведь это безопасно. Вы увидите меня, и, может быть, мое появление не покажется вам таким уж странным. Возможно даже, что вы почувствуете себя в андерсеновских галошах счастья, а они, как известно, исполняют любое желание. Например, вы можете решить, что это более чем странно — являться к вам после десятиминутной прошлогодней встречи, и я растаю, как мираж, а вы уснете в полной уверенности, что увидели сон.

Послышался легкий звон цепочки, и дверь приоткрылась — ровно настолько, чтобы увидеть, что Хорошенькая была в хорошеньком голубом халате. И Коншин, по-видимому, стал виден ей — в распахнутом пальто, с небрежно замотанным шарфом, в шапке, откинутой на затылок, высокий, с нервным лицом, которое Маша нашла красивым.

— Вы не очень пьяны?

— Все относительно. С моей точки зрения — нет.

— Это действительно очень странно, что вы вдруг вспомнили обо мне. Так вы не боксер?

— Увы, нет. Я занимаюсь наукой в одном забытом богом Институте. Моя фамилия Коншин, а зовут Петр Ан-

древич. А теперь, если ваш муж не собирается спустить меня с лестницы...

— Никто не собирается. Да и некому. Но так не знакомятся. Мне по меньшей мере не случалось. Запишите мой телефон и как-нибудь вечером позвоните. Меня зовут Мария Павловна. Спокойной ночи.

И она захлопнула дверь.

24

Наутро он проснулся с ощущением, что накануне произошла какая-то ошибка, нелепость. Нет, не ошибка, а как раз нелепость. У Левенштейна они изрядно хватили, а потом он поехал... Выжимая гантели, приседая, изображая бег на месте перед открытым окном, он вдруг схватился за голову и побежал в ванную.

«Но о чем я болтал, черт побери? — думал он, стоя под ледяным душем, а потом свирепо растирая полотенцем свое худое сильное тело.— Доказывал, что я не боксер? Рекомендовался?»

Робкая надежда, что все это, быть может, только приснилось ему, все же теплилась, копошилась, хотя после ледяного душа воображение с какой-то дьявольской отчетливостью нарисовало перед ним приоткрытую дверь, за которой мелькал голубой халатик. И более того — в ушах повторялся, как звон старинных часов, мягкий, но решительный голос: «Так не знакомятся... Как-нибудь позвоните».

Насилу дождавшись вечера, он позвонил и горячо, искренне извинился.

— Мне смертельно хочется попросить вас не сердиться. Но я знаю, что это невозможно, и поэтому сердитесь, только, ради бога, не очень.

— Я не сержусь. Вы были вежливы. И вообще это было забавно.

— Правда? Ну тогда все хорошо. Дело в том, что мне вдруг до смерти захотелось, чтобы та прошлогодняя сцена повторилась. И я решил...

— Об этом нетрудно догадаться,— смеясь, сказала Маша.— Вы решили съездить за мной, поставить в очередь на такси, а потом съездить по уху какому-нибудь нахалу.

— Так вы не сердитесь?

— Да нет же! Более того: я уже многое узнала о вас.

— Каким же образом?

— Вы знакомы с Верой Николаевной Поповой?

— Нет.

— Это мой лучший друг. Она замужем за сотрудником вашего Института, мы вместе ездили в больницу и в разговоре я спросила о вас. Его фамилия Ватазин.

Петр Андреевич не мог удержаться от изумленного восклицания:

— Георгий Николаевич?

— Да.

— Прекрасный человек и глубокий ученый.

— Точно так же он отзывался о вас. И даже еще более лестно.

— Как его здоровье?

— Он поправляется. Вы ведь знаете, у него третий инфаркт.

«Я-то знаю больше»,— подумал Петр Андреевич.

— Выписывается на днях.

— Слава богу.

Казалось, время было проститься, но оба медлили, и неловкое мгновение прошло, когда Коншин спросил:

— Надеюсь, вы разрешите мне когда-нибудь увидеть вас не через дверь?

— Буду рада. Я работаю, но часто дома. Машинистка. Кстати, как раз переписываю докторскую Ватазина.

— Так когда же?

— В субботу.

И они встретились, но при других обстоятельствах, бесконечно усложнивших жизнь Коншина и заставивших его глубоко оценить новое знакомство.

25

Теперь неприятности отнимали почти все рабочее время. За каждой из них Коншину мерещился — не без основания — вежливый человек, никогда не повышающий голоса, седеющий, с большим благородным лицом, как бы озаренным ярко-голубыми глазами. Еле различимый за спиной Врубова, он тем не менее сумел за последний год занять в Институте совершенно особенное положение.

По плану международного сотрудничества работники отдела должны были выезжать за границу для участия в симпозиумах и конгрессах, и всякий раз — не без участия

Осколкова — их имена вычеркивались и заменялись другими.

Когда приглашение получал сам Коншин — это случалось часто,— Осколков не решался действовать открыто. На уровне Института и райкома поездка получала полное одобрение, а в Академии или даже в министерстве срывалась по неясным причинам, которые Коншин не умел и не желал выяснять.

Премии, выдававшиеся из директорского фонда, но почему-то проходившие через руки Осколкова, обходили отдел, и это иногда доводило Коншина до бешенства.

Просьба о премировании часто была связана с завершением цикла важных работ, и в список обычно включались и технические работники, низко оплачиваемые вопреки тому, что они работали не за страх, а за совесть. Так, он однажды схватился с Осколковым из-за уборщицы, которая была абсолютно необходима отделу и отказывалась работать за шестьдесят рублей в месяц.

Заявки на заграничную аппаратуру неизменно оставались без ответа, а когда аппаратура все-таки появлялась, директор под каким-нибудь предлогом передавал ее другому отделу. Иногда это происходило втайне от Коншина, где-то за кулисами, в глубине громадного Института.

Способные студенты, работавшие у Петра Андреевича, получали отказ, когда после окончания вуза они просили направить их в его отдел.

Были и другие нелепости, придирки, прямые и скрытые подлости, столкновения и недоразумения.

Наконец, впервые скользнули показавшиеся Коншину невероятными слухи, которые заставили его подумать, что, может быть, стоит заранее обратиться к друзьям покойного Шумилова, имена которых были известны биологам всего мира. Они-то понимали предсказывающее значение его работ, они умели оценить само существование отдела как долг перед его памятью и, следовательно, перед наукой.

Впрочем, на основании слухов, да еще казавшихся невероятными, обращаться к ним было и невозможно и бесполезно.

26

В печальных и тревожных снах, когда уже ничего нельзя было изменить, он улетал, взмывал вверх, легко владея собой, и полет неизменно связывался с чувством

простора и счастья. Еще мать говорила ему, что летание во сне означает, что дети растут. Значит, в свои зрелые годы он возвращался к детству, потому что в эти минуты чувствовал ничем не замутненную, естественную, может быть, свойственную только младенцам свободу.

С этим-то желанием улететь он вошел в кабинет Врубова, который встретил его, как всегда, с той искусственной вежливостью, за которой можно было предположить и демагогический ход, и скрытую угрозу.

За директорским столом сидели, кроме Врубова, три его заместителя — Павшин, Сенявин (чем-то похожие друг на друга, чернявые, худощавые, с чубами) и Осколков, подтянутый, спокойно и уверенно поглядывающий по сторонам. Народу было много — секретарь парторганизации, кадровик, председатель месткома, кто-то еще и еще — эти сидели за длинным столом для совещаний.

В свои семьдесят лет Врубов был еще, что называется, видный мужчина. Не согнулся, двигался свободно, и его походка, высокий рост, умение держаться внушали невольное уважение. Костюмы и в молодости и в старости сидели на нем прекрасно. «Выдавали» его почему-то только совершенно голая круглая голова да привычка часто оглядываться. Проницательный взгляд угадывал неуверенность за его покровительственной манерой держаться.

Речь, которой он открыл заседание, состояла, как обычно, из общих мест, однако на сей раз в ней неоднократно упоминалось о необходимости существенных перемен в самой структуре Института.

— С каждым годом в нашей стране... Время не стоит на месте... Идти вперед можно, только меняясь... Речь идет прежде всего о научной истине...

Он механически раскрывал и закрывал рот. Два красных пятнышка горели на впалых щеках. Неужели он волновался?

— Я надеюсь, Петр Андреевич, что вы одобрите эту меру, потому что сами, очевидно, чувствуете известную необходимость в обновлении отдела.

— О каком, собственно, обновлении идет речь?

— А вот сейчас вы об этом узнаете. Валентин Сергеевич,— обратился он к Осколкову,— прочитайте приказ.

— «Согласно решению бюро отделения Академии биологических наук и утверждению новой структуры Института,— читал Осколков, время от времени поглядывая на

Коншина с осуждающим выражением,— отдел... упразднить, организовав на его базе две новые лаборатории...»

— То есть как упразднить? — с изумлением спросил Петр Андреевич.

— «Во-вторых,— продолжал Осколков,— объявить на все должности научных сотрудников конкурс. Временно исполняющим обязанности заведующего лабораторией биохимии назначить Коншина Петра Андреевича. Временно исполняющим обязанности заведующего лабораторией биофизики назначить Полозова Василия Петровича».

Это значило, что все должны были избираться по конкурсу, как сотрудники, поступающие на работу, хотя не прошло и полугода, как они были избраны на новый срок. Это значило, что одних можно было теперь избрать, а других, наиболее способных, не избрать. Это значило — разрушить отдел, втолкнув в него своих людей вроде какого-нибудь бездарного Муразова, который давно лижет Осколкову пятки. Это значило, что деваться некуда. Кто же добровольно откажется от работы?

Ошеломленный, с головой мгновенно разболевшейся, как всегда перед неясной опасностью, Коншин выслушал новую длинную речь директора, доказывающую не только полезность, но прямую необходимость этого шага.

— Никто не может, опираясь на те или иные соображения... С таким же чувством ответственности... Именно на это должна быть направлена инициатива... Между тем факты свидетельствуют...

На «фактах» Коншин взорвался:

— Факты свидетельствуют о том, что за пять лет отдел опубликовал двести восемьдесят две работы, из них пятьдесят шесть в международных журналах! Факты свидетельствуют, что на Выставке достижений народного хозяйства мы получили три золотых медали!

— Не вам судить о вашей работе!

— Нет, мне, потому что я за нее отвечаю! Как сотрудник я обязан подчиниться, но как ученый...

Через полчаса, вернувшись в отдел, он путался, перебивая себя, как будто так уж важно было рассказать по порядку об этой унизительной сцене. Почти невероятно было, что он кричал на Врубова, но судя по сорванному голосу...

27

В субботу он, как условились, позвонил Маше.

— Что-нибудь случилось? — спросила она после первых же ничего не значащих фраз.

— Мне очень хочется видеть вас, и я бы непременно приехал. Но у меня неприятности. Впрочем, это не то слово. Настоящая беда, с которой я не знаю что делать.

— Вы нездоровы?

— Нет, совершенно здоров, хотя две ночи почти не спал, что со мной случается редко.

— Так что-нибудь на работе?

— Ах, Мария Павловна, а что такое в наше время работа? Это и есть жизнь. Да. На работе произошло несчастье, от которого впору помешаться, и если это не происходит, так, очевидно, только потому, что потерять рассудок в эти дни я не имею права.

— Так вот что,— решительно сказала Маша,— приезжайте немедленно и расскажите.

— Не могу. Я дома, но у меня сидят сотрудники и каждые десять минут кто-нибудь звонит по телефону.

— В таком случае приезжайте, когда освободитесь. Ведь однажды вы заглянули ко мне в половине второго?

— В половине первого. Мне кажется, что это было в прошлом веке. Нет, не могу.

— Тогда завтра?

— Тоже не могу. Или очень поздно. Я позвоню вам.

28

У него сидели сотрудники, и каждые десять минут кто-нибудь звонил по телефону. Это было так, как будто заседание ученого совета рассыпалось на тысячи отдельных минут и каждая взвешивалась и тщательно обсуждалась. Он не знал, куда деваться от искренних, но бесполезных советов.

Впрочем, один совет, который он получил от академика Вейсфельда, прославившегося не только своими трудами, но и тем, что он приехал получать Рокфеллеровскую премию с дедовским зонтиком и в галошах, был принят с благодарностью и сейчас же осуществлен. Этот дальновидный совет заключался в том, что в подобных случаях надо прежде всего заводить «склочную папку». Доказательства того, что отдел хорошо работал и что заведующий

энергично возражает против его ликвидации, прежде всего следует изложить на бумаге.

— Надо застолбить свой протест,— сказал Вейсфельд.— Бумаги, относящиеся к делу, всегда должны быть под рукой.

По-прежнему Коншин каждый день бывал в Институте, хотя это стало для него настоящей пыткой. С темной головой он писал две докладные записки — одну в ученый совет, другую на имя президента Академии биологических наук [1] — и отчет о работе отдела за пять лет, который он давным-давно должен был доложить на директорском совещании. То, что ему никто не предложил выступить с отчетом, было прямым нарушением закона, если бы он существовал. Или, иными словами, если бы он, опять-таки, был изложен на бумаге. Но он не был изложен, и, следовательно, оставалось лишь притворяться, что он существует. Петр Андреевич был лишен способностей притворяться — обе докладных и отчет писались медленно, трудно, с перечеркнутыми и разорванными страницами, с бесконечным хождением из угла в угол, с бешенством и проклятиями, которые мало помогали делу.

Левенштейн предложил приехать. Коншин отказался.

— Зачем? Все равно обе докладные будут отправлены в лучшем случае в архив, а в худшем в корзину для бумаг.

— Выпей рюмочку и успокойся. И помни: ни на кого не жаловаться и ни о чем не просить. Отчет надо составить так, чтобы он сам говорил за себя.

— Может быть, записать на пленку?

Левенштейн помолчал.

— Послушай, я все-таки приеду,— с тревогой сказал он.— Дело в том, что я всегда считал тебя среднеостроумным, но так тупо ты до сих пор не шутил.

— Иди ты...

Докладные и отчет были посланы, и сразу же появились новые, а впрочем, не такие уж новые заботы — впервые они мелькнули и скрылись сразу же после ученого совета: до зарезу надо было, чтобы все или по меньшей мере подавляющее большинство сотрудников отказались подавать на конкурс, продолжая работать. Именно такая

---

[1] *От автора*: пользуясь правом романиста, я отказался от прямого описания реально существующих лиц, происшествий, институтов; это относится и к вымышленной Академии биологических наук.

«итальянская забастовка» была решена единогласно. Но уверенности не было. У каждого была своя жизнь, свой круг интересов, и уж, во всяком случае, никому не хотелось остаться без работы. Если выход не будет найден вскоре — кто знает, может быть, иные задумаются, пошатнутся?

Лучший выход не вызывал сомнений — уйти из Института вместе с лабораторией. Но куда? Конечно, к Саблину — это было общее мнение. Саблин, директор Института биохимии, был близким другом Шумилова. После его смерти, когда вопрос о новом руководителе еще не был решен, он звал Коншина к себе. Так неужели теперь...

29

Это был один из тех безнадежных дней, когда Коншин с особенной силой почувствовал, что он настигнут бессмыслицей, которая идет за ним по пятам и с которой он в то же время сталкивается ежечасно. Это было так, как будто он двигался в вязкой среде, состоявшей из бессонных ночей, телефонных звонков, повторяющихся разговоров,— двигался, на каждом шагу встречая сопротивление. Он устал, и ему вдруг остро захотелось хоть на два-три часа уйти, выпутаться, свободно вздохнуть. Напиться? Но он не любил и даже побаивался пить в очень дурном настроении. Удрать куда-нибудь на день или два из Москвы? Это было невозможно. Какая-то полузабытая мысль, как солнечный зайчик, играющий на стене, то появлялась, то исчезала. Что это было? Он схватился за голову. Боже мой! Улица Алексея Толстого! Мария Павловна, которой он забыл позвонить! Он бросился к телефону.

— Это говорит Коншин. Вы меня еще не забыли?

— Нет.

Это прозвучало сухо.

— Поверьте, я давно позвонил бы вам, если бы...— Ему не хотелось рассказывать о том, что произошло на работе.— Но я...

— Вы были больны?

— Да. У меня тяжелая бессонница, я похудел, пожелтел, и мне не хотелось показываться вам в таком виде.

— Что за вздор!

— Так можно приехать? Ну пожалуйста! Ненадолго. Хоть на часок! Я бы немного отдохнул у вас. Если вы ра-

ботаете, я просто посижу с книгой на диване. Мне очень хочется увидеть вас.— Он тяжело вздохнул, и ему показалось, что Маша прислушалась сочувственно.— Вы не верите, и я на вашем месте тоже не поверил бы. Но это правда. У меня тоска. Я просто не знаю, куда деваться.

— Приезжайте,— помолчав, сказала Маша.

Дорогой он уже не жалел себя, а думал о ней. Его немного лихорадило, как всегда перед свиданиями, и хотя он уговаривал себя, в нем невольно разгоралось чувство, перед которым таяли, уходили в тень эти уговоры. «Боже мой, хоть один вечер провести с милой женщиной. Хоть вздохнуть спокойно, свободно, хоть притвориться, что не существуют на свете эти люди, навалившиеся на меня — за что?» И он стал мысленно, как мокрой тряпкой с грифельной доски, стирать все, что случилось с ним, и всех, кто был связан с тем, что случилось. Некоторых — Осколкова, Врубова — он сперва грубо перечеркивал крест-накрест, а потом стирал. «Почувствовать, пусть ненадолго, что мы — одни». И снова прогнал соблазнительную надежду. «И не жаловаться, потому что тогда и я покажусь ей жалким. Вообще да пошли они все к...» Он выругался, и на сердце полегчало.

30

— Значит, вот вы какой,— сказала Маша, когда он снимал пальто в передней.— Я помнила, но неясно. Поправьте галстук. И вот вам гребенка. У вас взъерошенный вид.

Он поправил галстук, причесался и смущенно заморгал, увидев себя в зеркале. На нем был поношенный твидовый пиджак и брюки с пузырями на коленях.

— Извините. Я в таком виде! Забыл переодеться.

— Ничего удивительного.

Но сама Маша была в новом темно-вишневом платье, причесана тщательно и со вкусом.

Они прошли в комнату, и Коншин удивился. Комната была и кабинетом и спальней, но удобным кабинетом и уютной спальней. Старинная, красного дерева мебель както не соединялась в его представлении со скромной профессией машинистки. Однако на дамском столе, тоже старинном, стояла машинка, а подле нее рукопись и стопка бумаги.

— Садитесь и рассказывайте.

— Ах, боже мой! — совершенно забыв, что он только что причесался, и снова взъерошивая свои прямые, густые, седеющие волосы, сказал Петр Андреевич.— Да черт с ней, с этой историей! Вы были так добры, что простили мою бестактность. После двух сволочных недель я наконец вижу вас.

— Наконец! Вы просто забыли обо мне.

— Забыл,— сокрушенно признался Коншин.— Но зато если бы вы знали, как обрадовался, когда вспомнил! Вы смотрите недоверчиво, а между тем клянусь, что говорю правду.

— Почему же? Я верю.

Он оглянулся.

— У вас прекрасная комната. Как все удобно, красиво! Простите за нескромный вопрос: вы замужем?

— Была. Почему же нескромный! Мы прожили недолго и дружески разошлись. Муж у меня врач. Он работает за границей.

— Значит, здесь вы полная хозяйка?

— Да. До поры до времени.

Неясно было, почему «до поры до времени» и почему муж-врач работает за границей, но расспрашивать было неудобно, и Коншин стал рассказывать о себе, хотя думал уже только о ней. Боже мой, один с этой женщиной в пустой квартире... У него заколотилось сердце, и он на мгновенье перестал слышать себя.

— Я тоже был женат, но жена — ей еще не исполнилось двадцати лет — умерла от родов. Это было давно, в шестьдесят четвертом. С тех пор один. И хотя работа такая, что не соскучишься,— скучаю. И вы знаете? По детям. Вот у одного моего друга двое детей. Я ему завидую. А вы любите детей?

— Очень.

— Слава богу.

— Почему «слава богу»?

— Да так уж! Почему бы и нет?

Ему показалось, что Маша чуть-чуть покраснела.

— Вы давно разошлись? — спросил он.

— Три года. Впрочем, мы и прожили-то вместе недолго, а ссориться начали на десятый день. Очень скоро для меня стало ясно, что замужество — понятие, в чем-то противоположное любви.

— И с тех пор не нашелся человек, который убедил бы вас в обратном?

— Находились. Но не убедили.

— Вам не скучно одной?

— Я не знаю, что такое скука. Моя работа, например, мне очень нравится. Она только кажется однообразной. Я работаю в Доме дружбы, а дома перепечатываю научные рукописи, а ведь это трудно. Меня знают в кругу писателей, драматурги присылают мне билеты на свои премьеры. Работа свела меня с интересными людьми. Я много читаю.

— Почему глаза грустные? — спросил Коншин и ласково взял ее руку.

Она отняла руку.

— Вы всегда говорите то, что думаете? — спросила Маша.

— Кажется, да.

— А может быть, *всегда* все-таки не стоит?

— Ох, какой же я болван! И ведь не в первый раз спохватываюсь в разговоре с вами! Простите! Больше не буду.

— Что не будете?

— Гадать, какая вы. И, в частности, угадывать.

— Самая обыкновенная женщина тридцати лет. С половиной.

— Нет, прелестная женщина.

Он снова взял ее руки в свои и хотел поцеловать, но она отняла их и спрятала за спину.

— Ах, боже мой, ну что случилось бы, если б я поцеловал ваши руки? — с досадой сказал Коншин.— Или даже поцеловал вас, что же случилось бы, скажите ради самого господа бога? Это жестоко. У меня собачья жизнь, я занимаюсь наукой. Старею, седею, мне немного за сорок, а можно дать все пятьдесят. Никто меня не жалеет. Решительно всем на меня наплевать, а если нет, значит, я кому-нибудь нужен. Нигде не бываю, и у меня нет даже телевизора, потому что он меня раздражает. Страшно подумать, но я с нетерпением жду тех двух часов, когда мне удается остаться одному, а ведь это тоже одиночество и тоже наука! Единственная женщина, которую я любил, умирает, едва дожив до двадцати лет, и с тех пор я скитаюсь, как пес. Всем женщинам почему-то хочется замуж. А это ответственность, за которой я никогда не гнался. Куда деваться, если на вас смотрят сорок глаз и все ждут, что вы, как крысолов с дудочкой, выведете крыс из города и утопите их в болоте! Послушайте, вы, конечно, не знаете, что был на свете такой человек — Шумилов?

— Представьте, знаю.

— Спасибо. За то, что знаете. Это был волшебник, который умел доказывать, что вы на голову выше, чем сами о себе думаете, и оказывался прав. Так вот он создал совершенно уникальный отдел в Институте и, умирая, поручил... Да не поручил, а вручил его мне. Дело в том, что нельзя заставить ученого думать так, а не иначе. Есть такой магазин — «Тысяча мелочей». Ученому вход заказан. Разумеется, в переносном смысле,— добавил он, заметив, что Маша с удивлением подняла брови.— Дело в том, что порядочность неразрывно связана с независимостью от мелочей, от предвзятости, от ложных отношений. Там, наверху, в сфере идей, где, казалось бы, кончается логика, он должен мыслить с полной, окончательной искренностью. Он не может ни притворяться, ни лгать, ни лицемерить. Он просто вынужден быть порядочным человеком, потому что знает, что его открытие будет проверено в сотнях лабораторий. На него смотрят тысячи глаз. Он — перед лицом совести, а с ней шутки плохи. Потому что когда ученый лишается совести, наступает самое страшное: научная смерть.— Он снова взъерошил волосы длинными пальцами.— И это совсем не смешно.

— Извините.— Маша покраснела.— Я улыбнулась, потому, что вы бог знает что делаете со своей головой.

— Черт с ней. Теперь — что произошло в Институте? Представьте себе человека, который убежден, что меня, как любого другого научного сотрудника, можно заставить думать так, а не иначе. Почему? Потому что я ему подчинен, и это внушает ему ложную мысль, что наукой управлять не только можно, но должно. Потому что он не видит ни малейшей разницы между поисками открытия и его разработкой. Тысяча причин. Тысяча мелочей. Потому что он считает своим долгом заставлять нас каждый день, каждый час нырять с головой в эти мелочи, из которых состоит его жизнь. Потому что между его административным и научным положением — пропасть. Он действительно член Академии биологических наук, он директор громадного Института, каждые два года выходит его новая книга, но в науке он — мертв. У него сердце давным-давно остановилось, а если оно еще бьется механически, это ничего не значит... Как вы хорошо слушаете! Точно не мой отдел ликвидировали, а ваш.

— Отдел ликвидировали? Почему?

— Я же сказал: тысяча причин,— вздохнув, ответил

Коншин.— Одна из них выглядит почти фантастической. Дело в том, что против меня действует еще один человек, перед которым Врубов просто щенок. Его заместитель Осколков, по-видимому, рассчитывает воспользоваться схваткой для собственной цели. А цель одновременно сложна и проста. С одной стороны, он надеется со временем свалить Врубова и сесть на его место. С другой — ни я, ни мой отдел ему не нужны, так же, как, впрочем, и Врубову. Но Врубов был все-таки видным ученым, а этот вообще не смыслит в науке ни уха ни рыла. Он не может управлять Институтом, в котором действует мой отдел. Это ему просто не под силу. По-видимому, с его точки зрения, все лаборатории должны быть на одном уровне — таким институтом он уже руководил. Итак, они оба меня не любят, но хотя Врубов человек плохой, ничто человеческое ему не чуждо — он, например, влюблен в свою молодую жену. А Осколков — это загадочная фигура. Я для него просто одно из возможных препятствий на пути к задуманной цели. Я ему мешаю самим фактом своего существования, и этого достаточно, чтобы он прихлопнул меня, как муху... Боюсь, придется рассказывать до утра, а вы уже перестали слушать.

— Почему вы так думаете? — возмутилась Маша.

— У вас глаза косят.

— Ну и что же? Они у меня всегда немного косят от внимания. Продолжайте. У вас с директором и его замом плохие отношения. Почему?

— Может быть, потому, что это единственное, что их объединяет. Оба вздрагивают, когда иностранные ученые через пять минут после их появления в Институте просят разрешения заглянуть в мой отдел. Оба терпеть не могут Ордынцеву — есть у меня такая сотрудница, которая любит резать правду в глаза. Так не лучше ли покончить со всеми этими неприятностями одним ударом? Задушить в темноте, по возможности бесшумно, чтобы никто не услышал. А для того чтобы найти реальную поддержку, надо объяснить какой-нибудь высокой инстанции сущность дела. Но где я найду инстанцию, которая оценит наш метод использования реверсий при воздействии мутагенов для определения динамики репликаций вирусной РНК? Если бы и нашлась такая инстанция... Врубов сказал — не вам судить о своей работе, и он прав. Да и как растолковать, что разделение отдела равносильно его полной ликвидации? В том-то и дело, что все изображается таким

образом, как будто ничего не случилось! Как были две лаборатории, так они и остались. Я вас не утомил?

— Нет, что вы!

— А вы не можете не косить?

— Это вам мешает?

— Да. Дело в том, что, когда я смотрю на вас, у меня и так кружится голова, а когда вы еще начинаете косить...

— У вас голова кружится от усталости.

— Увы, нет! Знаете что? Черт с ней, с этой историей! Пропади она пропадом! Все это не так или не совсем так и, во всяком случае, гораздо сложнее.

— Ах, забыла! — вдруг всплеснула руками Маша.— Ведь вы же, наверное, голодный? Обедали?

— Кажется, да.

— Но это было давно?

— Пожалуй.

— Хотите, я сделаю вам яичницу?

— Нет. Это будет продолжаться сто лет, а мне не хочется, чтобы вы уходили.

— Это будет продолжаться десять минут.

Она ушла, а когда вернулась с яичницей, он спал в кресле, подложив под щеку ладонь и подогнув длинные ноги. Прядь волос упала на лоб. Лицо успокоилось, разгладилось. Он казался моложе во сне. Она вздохнула, не зная, что делать, и он как будто в ответ умиротворенно вздохнул.

31

Родилась девочка с вьющимися волосиками, с голубыми глазами. Он приходит и радостно говорит: «Инфанта!» Альда пеленает ее, кладет в конверт, а оттуда полновесно, полнозвучно звучит хор из «Града Китежа». Она весело зовет его: «Это твое любимое, послушай!»

Хорошая девочка, но странно: то она здесь, рядом, то исчезает. Она — с луны. Грустно, что родилась такая неудачная, но все еще можно поправить. И он думает за Альду: «Ничего, будут другие». За девочку: «Почему вы так смотрите на меня, нехорошие, злые?» За себя: «Ничего, что с луны. Я согрею ее, и она оживет». И девочка начинает улыбаться, пускает пузыри, протягивает ручки...

Что-то будто толкнуло Коншина, и он вскочил с кресла

с немотой в подогнутых ногах, с затекшими руками. Где он? Незнакомая комната была освещена ночной лампочкой, стоявшей в стороне, на маленьком столе, среди книг. Ночная тишина стояла как на часах, приложив палец к губам. Ночные, сонные, еще не проснувшиеся, стояли незнакомые стулья и кресла.

Коншин был прикрыт пледом, и плед запутался в ногах, когда он вскочил. Мария Павловна прикрыла его, кто же еще? Но где она?

Круглый стол перед ним был накрыт, стояла сковородка с холодной яичницей. Ломтики черного и белого хлеба, аккуратно нарезанные, лежали на тарелке, прижавшись друг к другу. Масленка, стакан крепкого чая. Он ужаснулся. Уснул, пока хозяйка пошла на кухню, чтобы приготовить ужин! Хорош! Голова была ясная, хотелось есть, он чувствовал себя отдохнувшим. Но к чувству свежести примешивалась досада. Черт возьми! Впрочем, что-то подсказывало ему, что невозможно и бесполезно было вести себя как ему хотелось, когда он представлял себе эту встречу.

Сняв туфли, он на цыпочках вышел в коридор и приоткрыл дверь комнаты напротив. И здесь была ночь, но уже другая, предутренняя. Сквозь легкие шторы старался пробиться прозрачный утренний свет. Продольные полоски, очертившие шторы, лежали на полу перед диваном, на котором, положив руки под голову, в голубом халатике спала — или не спала? — Маша.

Он хотел так же осторожно уйти, но она сказала весело:

— Доброе утро.

— Доброе утро! Простите меня, ради бога...

— Петр Андреевич,— продолжала она,— вчера вы проспали свой ужин, а сегодня хотите утопить в извинениях наш завтрак? Знаете, который час? Около восьми. Не знаю, как у вас, а у меня ровно сорок минут, чтобы умыться и одеться. И потом... Не будем же мы есть холодную яичницу, правда? И вам надо умыться. И побриться,— добавила она после короткой паузы.— У меня есть все для бритья. Пойдемте, я покажу.

Она провела его в ванную, он побрился, а потом, раздевшись до пояса, с наслаждением умылся холодной водой.

— А теперь вернемся все-таки к вчерашнему разговору,— сказала Маша, когда они завтракали.— Как ваши сотрудники отнеслись к тому, что случилось?

— Очень просто. Все до одного отказались подавать на конкурс.

— Так, может быть, коллективное заявление?

— Нет, это скандал, а я не хочу скандала.

— Не скажите,— задумчиво сказала Маша.— Скандал — это вещь.

— Где скандалить? В Институте? В министерстве?

— Об этом надо подумать.

— Вы хотите сказать, что я должен кинуться в бюро отделения, в редакцию «Правды» или «Литературной газеты»? Хватать за горло? Жаловаться? Кричать, что меня обижают? Ну посмотрите на меня. Похож я на горлохвата?

— Не похожи. Но надо стать горлохватом, если другого выхода нет. А стать им вы можете или даже должны. Ведь вы за всех своих в ответе?

— Да.

— Вот видите! Для этого надо только одно: вообразить себя Осколковым, оставаясь, конечно, самим собою. Я понимаю, для вас это почти невозможно. Но надо осмелиться и перешагнуть.

Коншин вздохнул.

— Можно мне называть вас Машей?

— Конечно, можно.

— Так вот, ничего не изменилось бы, милая Маша, если бы даже мне удалось вообразить себя папой римским. Все, что я могу сделать, это положить на стол заявление об уходе. Но Врубов знает, что я этого не сделаю. Он помнит о моем долге перед памятью Шумилова, на это он и рассчитывал, затевая свою игру. Да и куда уходить без лаборатории? Двадцать лет работы собаке под хвост, а потом все начинать сначала? Нет, нужен не уход, а ход. А если уж уход, тогда всей лабораторией,— это было бы лучшим решением. Но куда?

— Во-первых, заявление об уходе — это уже и есть ход, о котором стоит подумать. А во-вторых, мне не нравится, что вы не чувствуете себя оскорбленным,— с засверкавшими глазами сказала Маша.— В ваших словах не чувствуется ни угрозы, ни решимости, ни стремления отбиться. У вас не хватает остойчивости.

— Настойчивости?

— Нет, именно остойчивости,— повторила Маша по слогам.— Надо идти вперед, не теряя равновесия. А вы его уже потеряли. Да вы же мне вчера сами доказали... Ну что вы смотрите?

— Любуюсь,— сказал Коншин.

И было чем: перед ним была прелестная женщина с нежным чистым лицом, стройная, державшаяся прямо, с белокурой, уложенной на голове косой, с покатыми, как на старинных портретах, плечами.

— Не сердитесь,— прибавил Коншин, заметив, что она нахмурилась.— Вами невозможно не любоваться. Конечно, вы правы. Нет у меня в характере этой остойчивости. Я вспыльчив, несдержан, способен только на короткий решительный шаг.

— Нет, есть. Вы себя не знаете. Кто они, все эти врубовы, перед вами? Вы должны заставить их отступить. Вот Ватазин сказал мне о вас...

— Бедняга этот Ватазин!

— Почему же бедняга?

Петр Андреевич посмотрел на часы.

— Не пора ли?

— Вы не ответили. Верочка — мой лучший друг. Почему?

— Отвечу, но в другой раз. Ведь мы теперь будем видеться часто?

32

В том, что Саблин возьмет отдел, сомневался только Левенштейн, верный хранитель шумиловских традиций.

— Но почему? Почему? — спрашивал Петр Андреевич.

— Потому что и он боится. Не Врубова, так Осколкова. Или, точнее, паутины, в которую влипает каждый, кто вмешивается в дела нашего Института.

Все другие в один голос утверждали, что Левенштейн не прав. Мария Игнатьевна, которая знала Саблина — он был оппонентом на ее докторской,— доказывала, что не просто возьмет, а оторвет с руками. Володя Кабанов съездил в саблинский институт и вернулся обнадеженный: четыре из пяти заведующих лабораториями были готовы потесниться и отдать добрую треть своих комнат.

— Они встретили меня с подъемом! — пылко повторял он.— Конечно, все дело в Петре Андреевиче, которого им смертельно хочется перетянуть, но ведь и мы, черт побери, не лыком шиты! Конечно, первое время будет трудно, но для Саблина строится новое здание. Через каких-нибудь два-три года у нас будет целый этаж.

Володя был оптимистом.

Нина Матвеевна Скопина, потерявшая сходство с Грибоедовым, переменившая прическу и, к общему удивлению, собравшаяся замуж, предложила, не дожидаясь конкурса, подать коллективное заявление об уходе. Спасти положение мог, по ее мнению, только неожиданный и отчаянный шаг.

Пошли к Теплякову, который, как всегда, курил на лестнице, и он, кротко поморгав своими девическими глазами, погладил бороду и сказал негромко:

— Я — как все.

Но Левенштейн оказался прав. Саблин дружески принял Петра Андреевича, выслушал, посочувствовал, но сразу же дал понять, что в дела Врубова вмешиваться не будет.

— Я уверен, что он и не думает разгонять ваш отдел,— сказал он.— И мой вам дружеский совет: никуда не обращаться и ничего не просить — словом, даже не пытаться помешать ему! Уверяю вас, это приведет к обратным результатам.

«Боится»,— подумал Петр Андреевич, глядя в сторону, чтобы не видеть Саблина, старчески красивого, с эффектной седой шевелюрой, с глубоко сидящими осторожными глазами, с крупными мягкими морщинами на большом лице.

Очевидно, в глазах Петра Андреевича было написано, о чем он подумал, потому что Саблин вдруг смутился, впрочем, еле заметно. Они расстались, как всегда, сердечно.

33

Маша сказала неправду, уверяя Петра Андреевича, что довольна своей работой и не знает, что такое скука. Она действительно перепечатывала научные рукописи, ее знали в небольшом писательском кругу и один из драматургов приглашал ее на свои премьеры. Но в ту пору, когда Коншин познакомился с ней, она не только не чувствовала ни малейшего удовлетворения от своей работы, но была в глубоком душевном упадке.

У нее было неудачное замужество, она вскоре поняла, что равнодушна к мужу. Но неудача заключалась еще и в том, что, когда она только приступила к дипломной работе, муж увез ее в Индонезию, где он работал в нашем

посольстве. Она не окончила университет, у нее не было профессии, и машинисткой она стала случайно — помогая мужу, научилась бегло печатать.

Мебель, которой была обставлена квартира, принадлежала мужу, и он мог — хотя она не думала, что он это сделает,— в любую минуту распорядиться ею по своему усмотрению. Кроме нескольких заграничных платьев, которые она без конца перешивала, английского столового сервиза (свадебный подарок ее друзей Поповых), трех десятков книг, у нее не было почти ничего, только вещи, покупавшиеся или подаренные в годы замужней жизни. Она чувствовала себя в этой удобной, уютной квартире как жиличка, как постоялец. Но с этим еще можно было примириться, так же как с необходимостью отказывать себе в необходимом — она рано столкнулась с лишениями, у нее было трудное детство.

Нет, другое терзало ее, о другом она старалась не вспоминать, заваливая себя неотложной работой: у нее не было будущего. Что могло измениться, что могло сделать ее жизнь содержательнее, полнее? Она знала других машинисток, пожилых, одиноких, интеллигентных, накрашенных, с увядшими лицами, неестественно любезных, еще кокетничающих и тоже получавших иногда билеты па премьеры от знакомых драматургов. Вот и ее ждет такая же участь! Годы шли, ей было уже за тридцать. Она знала, что у нее приятное, свежее лицо, но вот глаза уже были грустные, как заметил Коншин, а в уголках появились морщинки. Ей было трудно сознаться, что жизнь не удалась, «а ведь, кажется, действительно не удалась»,— думала она, опоминаясь от машинальности, с которой читала текст, не глядя на клавиатуру машинки. И, перебирая своих подруг по университету, она вспоминала, что одна преподает в педагогическом институте, другая — редактор, а третья, мечтавшая стать актрисой и работавшая администратором в театре, сказала с удовлетворенным вздохом: «Ну и что ж! Зато у меня дети!» Верочка Попова переводит и много печатается. Все замужем, а когда расходятся, снова выходят замуж. Подчас она жалела, что разошлась с мужем, но жалела холодно, рассудочно, сознавая в глубине души, что иначе поступить не могла.

Она встретила Павла Вадимовича Трубицына у Поповых — Верочка была ее самой близкой подругой в университете. Ему было за пятьдесят, в молодости он служил на океанографических судах, и Маша в его присутствии по-

чему-то робела, а когда он обращался к ней, невольно опускала глаза. Он был превосходным рассказчиком, у Поповых его всегда ждали с нетерпением и, провожая, уговаривались о новой встрече. Была ли Маша влюблена в него? Он так много видел и слушать его было так интересно! Он всегда превосходно выглядел, не располнел, держался прямо, с непринужденностью, и, если бы не седая голова, ему можно было дать лет на десять меньше. Каким образом получилось, что в общей беседе он и Маша стали разговаривать как бы отдельно и о своем, хотя еще неизвестно было, что представляет собою это «свое»? Поповы в один голос утверждали, что возраст не имеет никакого значения. «И может быть, они правы?» — думалось Маше. Вскоре, через год, она должна была окончить университет. А дальше? Средняя школа, преподавание литературы по программе, которая, как ей казалось, была составлена так, чтобы заставить школьников разлюбить литературу.

Трубицын очень правился Верочке — это тоже было почему-то важно. Конечно, надо было окончить университет, но Павел Вадимович получил назначение: на два или, может быть, три года он отправлялся в Джакарту.

И вот прошли эти три утомительных года в Индонезии, где она задыхалась от всепроникающей сырости — ложилась в мокрую постель, а вставая, надевала мокрый халат,— где однообразные дни проходили в узком кругу работников посольства, где она как раз и занималась преподаванием литературы в школе и где поняла, что не любит и никогда не любила мужа. Она мечтала о ребенке — какое там! Павел Вадимович считал, что нет необходимости усложнять и без того сложную жизнь.

Маша не могла дождаться возвращения, но когда они вернулись, отношения с каждым днем становились все холоднее. Теперь Маша смотрела на мужа другими глазами. Оказалось, что он мелочно ревнив — еще в Джакарте она получала выговор за то, что разговаривала лишние пятнадцать минут с молодым человеком. Он был любезен и разговорчив только на людях, а дома молчалив и, что особенно поразило Машу, негостеприимен. Нельзя было отказать ему в некоторых достоинствах — он, например, любил чистоту. Но Маша почему-то раздражалась, видя его по воскресеньям в переднике, с пылесосом в руках.

По-прежнему он любил бывать в гостях, и даже чаще, чем прежде,— ведь теперь он был женат на молодой жен-

щине. Рассказы, которые он повторял, перевирая, Маша выучила наизусть. Он был скуп, а она презирала скупость. Маша стала заниматься французским, ей хотелось поступить на работу, а он требовал, чтобы она занималась хозяйством. Ссоры кончились тем, что она не долго думая продала все его подарки — в том числе какой-то драгоценный браслет, переходивший из поколения в поколение,— и заплатила вперед за пятьдесят уроков.

Трубицына чуть не хватил удар, он осмелился замахнуться на Машу, и тогда она сложила вещи и ушла к Поповым. Павел Вадимович уехал за границу, вернулся, снова уехал. Они разошлись, хотя дружеские отношения впоследствии восстановились...

Ах, как горько жалела она теперь, что поддалась уговорам мужа и ушла из университета. Каким интересным, содержательным делом казалось ей теперь преподаванье литературы, о котором так много спорили — почти каждую неделю в газетах появлялись статьи.

Она старалась не забывать французский — кто знает, может быть, когда-нибудь пригодится. И все-таки забывала.

Встреча с Коншиным поразила ее. Все в нем казалось ей неожиданным, да и не только казалось. Собираясь на свидание, он забыл переодеться, приехал в поношенном костюме, небритый — а ведь, без сомнения, надеялся на то, что он называл «отдохнуть»? Под старым пиджаком чувствовались худые крепкие плечи, сильные руки, и, увидев его впервые у себя в передней близко, в двух шагах, Маша побледнела, как всегда, когда не могла справиться с волнением. Он пытался ухаживать за ней, а потом увлекся, стал рассказывать о своих институтских делах и уснул, когда она ушла на десять минут,— этого в ее жизни еще не случалось. «Кружится голова»,— все повторял он. Так ли? Она не знала. Кружилась у нее — в этом не было никакого сомнения. И ведь как странно! Когда она расспрашивала о нем Ватазиных, она заранее знала почти все, что они о нем скажут. Ей даже казалось, что она знает больше, чем они, потому что заранее вложила в него свои давно установившиеся представления о человеке, которого она непременно должна была встретить и полюбить. Самое главное заключалось не в том, что он не был похож на других, не в его неожиданностях и странностях, а как раз наоборот — в сходстве с тем неизвестным, воображаемым человеком, образ которого непонятно как и почему сло-

жился из прочитанных книг, кинофильмов, всего передуманного и пережитого.

Он пообещал позвонить и не позвонил — так долго, две недели! Маша смотрела на проклятый молчаливый телефон, как на притаившееся загадочное существо, которое в одно мгновение могло сделать ее счастливой. А когда это наконец произошло — ведь надо, надо было притвориться сдержанной, спокойной!

Так не бывало с ней еще никогда, и она радовалась, и ужасалась, и доказывала себе, что, если даже они останутся только друзьями, все равно она счастлива этим нахлынувшим, неожиданным и долгожданным чувством.

34

В Пущине, где был крупный биологический центр, не оказалось подходящего помещения, если только это не было поводом для отказа. Разговор с ректором университета, одновременно и деловой и сердечный, кончился неопределенно.

Может быть, это было преувеличением, но за каждой неудачей Петру Андреевичу мерещилась теперь представительная фигура Осколкова с его неестественно голубыми проницательными глазами. Казалось, что он даже не очень старался скрыть, что следит за каждым шагом Коншина,— это было для него характерно. Вдруг он позвонил Петру Андреевичу и сказал, что убедил директора в необходимости расширить отдел.

— Два мальчика кончают медико-биологический факультет Второго медицинского института. Я говорил с ними. Мне кажется, что они вам пригодятся.

Это был ход, которым Врубов и Осколков старались доказать, что они не только не разгоняют отдел, но и заботятся о его укреплении. Мальчики были умные и, по-видимому, способные. В другое время Коншин охотно взял бы их, но теперь это значило бы, что отдел не упразднен, а *как бы* упразднен, и, следовательно, об уходе не может быть и речи.

Петр Андреевич написал докладную, отказался, директор ответил ему приказом. После этого мальчиков отправили к Левенштейну, который немедленно завалил их технической работой, а приказ и копия докладной отправились в «склочную папку».

И дальше день за днем пошли получасовые разговоры по телефону, обсуждение всевозможных вариантов, хлопоты, на которые не было времени, встречи с Машей, на которые время все-таки находилось.

Незаметно, постепенно она вошла в круг близких людей, для которых жизненно необходимо было отменить приказ и восстановить отдел. Уволенные сотрудники оставались на своих местах, и они же должны были подавать на конкурс — эта бессмыслица в особенности ее возмущала.

— Вам не кажется, что я стала вашей внештатной сотрудницей? — однажды спросила она Петра Андреевича.

Теперь он встречался с Машей почти каждый вечер, а хотелось, хотя он себе в этом не признавался, видеть ее каждый час. Поводы были не нужны, но повод всегда находился, потому что все, что Коншин делал, спасая свой отдел, знала и одобряла (или не одобряла) Маша.

35

— Вы просто свалились мне на голову вместе со своим отделом. И я иногда просыпаюсь со странным ощущением, что со мной происходит то, что в эту минуту происходит с вами.

— Да. И у меня то же ощущение. Точно не недели прошли с тех пор, как мы познакомились, а годы.

Они разговаривали в Лоскутове — Петр Андреевич впервые пригласил Машу к себе.

— Вот так я и живу,— сказал он, показывая ей свою кое-как прибранную квартиру, в которой вопреки его усилиям чувствовалась неустроенность одинокого человека.— Вы не думайте, что у меня всегда такой беспорядок. Сейчас моя Ольга Ипатьевна больна, а то она со мной обращается строго. Требует, например, чтобы дома я ходил в мягких туфлях. И восхитилась, когда один шотландец, войдя с улицы, снял с ботинок тоненькие галоши. Даже сказала: «Вот это человек!»

— И была совершенно права,— откликнулась Маша, вынимая из сумочки другую маленькую прозрачную сумочку, в которой лежали хорошенькие домашние туфли.

Зато в полном порядке было все, что относилось к музыке, прекрасный новый проигрыватель и пластинки в конвертах, аккуратно стоявшие в камерах полированного низкого шкафа.

— Вы любите музыку?

— Да, очень.

— Тогда мы с вами как-нибудь непременно поедем к Поповым. Это мой любимый дом со студенческих лет. Ирина Павловна, мать Верочки, преподает в Гнесинском и устраивает у себя музыкальные вечера. Помните, я говорила вам о Верочке Поповой?

— Помню. Она замужем за Ватазиным.

— Да. У них я тоже бываю, но редко. А кстати, почему вы однажды назвали его беднягой?

— Как его здоровье?

— Он поправляется. Так почему же?

— Что же хорошего? Три инфаркта.

— Нет, вы думали о чем-то другом.

Коншин смутился.

— Давайте-ка лучше ужинать.

Она посмотрела на него, поджав губы. Он опустил глаза.

— Ну хорошо. Только позвольте мне сегодня быть хозяйкой,— сказала она, когда Коншин принес из кухни белую скатерть.— Не нужно ничего убирать со стола. Вы ведь дома не обедаете?

— Иногда. По субботам.

— А завтракаете и ужинаете на кухне?

— Да.

— Вот и мы пойдем на кухню. Есть мне не хочется, а чаю выпьем. Приготовить нам что-нибудь?

— Да. Начнем с устриц и бордо, а потом, пожалуйста, приготовьте мне салат и филе соус мадера.

Она улыбнулась.

— А не угодно яичницу с колбасой? У вас есть колбаса?

— Ветчина.

— Еще лучше.

— М-да,— задумчиво сказал он, глядя, как она ловко накрывает на стол, разбивает и размешивает в стакане яйца. Она вопросительно посмотрела.— Нет, ничего, ничего...

— А теперь вернемся к Ватазиным,— сказала Маша, когда яичница была съедена и они пили чай.— Я жалею Верочку.

Коншин промолчал.

— Полно, я же все знаю. И не только я. У этой вашей Кременецкой странная черта: она не только не скрывает

свои романы, а, напротив, рассказывает о них на всех перекрестках. Закройте рот,— дружески посоветовала она Коншину, глядевшему на нее с изумлением.— Очевидно, ей хочется, чтобы весь мир знал о ее победах. Верочка говорила, что когда Кременецкая была вашей любовницей, об этом тоже все знали. И жалели, потому что вас любят в Институте. Ах, боже мой, да что же вы так смутились? — спросила Маша с досадой.— Мне хочется помочь Верочке, и я решила, что вы, может быть, посоветуете что-нибудь как... Ну, словом, как специалист по Кременецкой.

Коншин не мог удержаться от улыбки.

— Ну вот! Вы уже смеетесь, хотя, в сущности, все это совсем не смешно. В самом деле,— рассуждала она,— вы вон какой здоровый и крепкий и можете одним ударом сбить с ног человека, а Георгий Николаевич рыхлый, слабый, близорукий и выглядит в своих очках с толстыми стеклами старше своих лет, а ведь ему только сорок четыре. Вы, может быть, легко прошли через эту, ну, скажем, любовь, не знаю уж, что там у вас было.

— Нет, трудно.

— Тем более. Даже вам было трудно! А Георгий Николаевич... Ведь ему в буквальном смысле грозит верная смерть. Вы даже представить себе не можете, как он мучается.— Она помолчала.— Они оба мучаются. Георгий Николаевич потому, что таится и убежден, что Верочка ничего не знает. А она — потому что знает и боится, чтобы он, боже сохрани, не догадался об этом.

— И ревнует? — спросил Коншин.

— А как вы думаете? Но изо всех сил старается не показать. И ведь они любят друг друга. Но они уже девять лет женаты, в отношениях близости что-то теряется, и мужчина, мне кажется, чаще, чем женщина, невольно начинает томиться, тосковать. Мы с Георгием однажды говорили об этом, разумеется отвлеченно, без имен и даже, как ни странно, почти без слов. Мы как бы обменивались мыслями. И вот что я услышала в этом разговоре: «Ведь никто не страдает оттого, что я близок с другой. Неужели у меня нет права на «свое», на ту долю полной свободы, которую мне подарила судьба? Подарила или наказала — кому, в конце концов, до этого дело?» Конечно, он так себя спрашивает только в полной уверенности, что Верочка ничего не знает.

— И что же вы ему ответили?

— Я только дала ему понять, что ему надо рассказать

жене все без колебаний и размышлений. Но вам я могу сказать, что виноваты, мне кажется, оба.

— Почему?

— Потому что все началось задолго до Кременецкой. Оба, не задумываясь над своими отношениями, как бы привычно «принимали» друг друга. Дни летят, повторяются, отщелкиваются, как на счетах,— и нет ничего легче, как просмотреть поворот. Ну, а что представляет собой ваша Кременецкая? Что она за человек?

— Она прежде всего женщина, а потом уже человек. Проходя мимо нее, мужчины оглядываются, это я замечал много раз.

— Так хороша?

— Да не так уж и хороша, однако оглядываются. И больше того: как будто заставляют себя отрывать от нее глаза.

— И ей это нравится? Впрочем, оставим это,— вдруг быстро сказала Маша.— Дайте мне сигарету. Я редко курю, а сейчас захотелось.

Они закурили.

— И простите,— она слегка побледнела,— это было бестактностью, что я стала расспрашивать. Я вижу, что вам неприятно. Больше не буду.

36

Да, непременно надо было притворяться сдержанной и одновременно совершенно свободной от него, а это было почти невозможно. Кем она была для него? Одинокой женщиной, о которой каждый мужчина думает: «А почему бы и нет?» Машинисткой, которая притворяется, что любит свою работу и нисколько не жалеет, что за год до окончания ушла из университета? Как обидно он удивился, узнав, что Маша легко читает и немного говорит по-французски! Она была никто для него. В этом разговоре она держалась так непринужденно не потому, что была на одном уровне с ним, а потому, что пересилила себя и осмелилась так держаться. И все это — неуверенность, смятенье, страх перед тем, что когда-нибудь должно было случиться, непонятная слабость, охватывающая ее, когда они встречались,— все это она должна была скрывать от него. Влюбилась, как школьница, как девчонка! Скрывать, как бы это ни было трудно.

37

В темноте, в неопределенности, в напряжении, которое сотрудники старались скрывать, делая вид, что все обстоит благополучно, мелькнул проблеск света. Секретарь одного из ученых советов Большой Академии, с которым Петр Андреевич почти не был знаком, позвонил, чтобы узнать, не хочет ли он выступить на бюро ученых советов.

— Поставим ваш доклад. Или отчет. Почему бы нам не устроить конференцию с вашим докладом?

В самом факте такого предложения была невысказанная, но подразумеваемая поддержка, и Коншин подумал, что Врубову и Осколкову подобный доклад, без сомнения, покажется попыткой сопротивления. Тем не менее он согласился. О далеких последствиях, которые вызвал этот шаг, показавшийся ему незначительным, он в лихорадке забот не подумал. Для него было не только важно, но лестно, что конференция в Большой Академии готовилась по поручению двух очень известных ученых, для которых Врубов, не говоря уж об Осколкове, почти не существовал.

Один из академиков позвонил Коншину и сказал, что им нужно договориться заранее, как «жуликам, которые в случае возможного допроса не разошлись бы в своих показаниях».

— Надо, чтобы ни у кого не было сомнения, что конференция запланирована нами,— сказал он.— И что ни при каких обстоятельствах отменить ее невозможно.

Впервые за много дней Коншин вздохнул свободно. Он почувствовал подлинную заинтересованность в его деле — вот откуда этот доброжелательный, шутливый тон.

Но тотчас же последовал ответный ход — и рассчитанный метко.

Осколков вдруг вызвал его и, глядя прямо в лицо, сообщил, что в самые ближайшие дни состоится ученый совет, на котором Коншин должен выступить с отчетом за пять лет работы.

Во всех своих докладных, возражая против ликвидации отдела, Петр Андреевич с негодованием писал, что приказ был отдан без предварительного отчета, а теперь, когда в газете появилось объявление о конкурсе, когда все сотрудники считались уволенными, а он исполняет должность врио, вдруг понадобился отчет, да еще «с перспективой развития», как подчеркнул Осколков.

— По-видимому, как обычно, в четверг? — спросил Петр Андреевич.

— Возможно. Но повестка печатается пока без указания даты.

— Почему?

— По указанию директора.

Коншин усмехнулся.

— Так, может быть, в понедельник? — спросил он.

На понедельник была назначена конференция в Большой Академии.

— Да, возможно.

— Ну-с, вот что,— сказал Петр Андреевич.— Я не приду.

— Почему?

— Семейный праздник, день рождения бабушки.

— Но позвольте...

— Нет, не позволю,— чувствуя легкость, сказал Коншин.— Ученый совет был обязан выслушать мой отчет до ликвидации отдела. А теперь, когда в «Медицинской газете»...

— Явка всех заведующих обязательна,— сказал Осколков.

— А я не заведующий. Я — врио.

Осколков помолчал.

— Послушайте, Петр Андреевич,— мягким голосом начал он.— Вы же умница. Неужели вы не понимаете, что вопреки дурному характеру директора вы должны продолжать свое дело?

— Я его и продолжаю.

— Да, но свою энергию, драгоценную причем энергию, я не боюсь этого слова, вы тратите на защиту отдела. Дался вам этот отдел! В сравнении с вашими сотрудниками вы — на недосягаемой высоте.

— Позвольте мне самому оценивать своих сотрудников,— сдерживая себя, ответил Коншин.— Я бы, пожалуй, объяснил вам значение отдела, но для этого надо разбираться в вопросах, которые для вас по сей день недоступны!

Он вышел, хлопнув дверью, и, вернувшись в отдел, написал длинное, обстоятельное заявление об уходе. Черновик он не забыл оставить для «склочной папки». Это был шаг, который выходил далеко за пределы врубовской затеи. Прямое сопротивление разрушало задуманный план. Без заведующего «перестройка» отдела не удавалась.

38

Уход! Как легко выговаривалось это слово! Между тем что означал для него уход? Невозможность завершить то, над чем он работал долгие годы. Потерю соратников, которые верят, что ни один день, ни один час не были потеряны даром. Он бросал себя на полдороге. Уход от себя — вот в чем был подлинный смысл этого слова! Догадка и размышления, страстная защита своих догадок, смелое забеганье вперед, вглядыванье в будущее, терпеливая работа с *каждым* сотрудником, который терял надежду, отчаивался, сомневался,— все это принадлежало ему, и от всего этого он должен был теперь отказаться. Уход был потерей всей сложнейшей подготовки к *главному,* специально выведенных животных, новых приборов, сделанных его руками, всего, что было приспособлено, обдумано, устроено им, начиная с любой розетки, поставленной в надлежащем месте, и кончая всем строем его жизни, подчиненной рискованной задаче.

39

Он писал доклад три дня, не отрывая пера от бумаги, а потом приехал Левенштейн, застал у него Машу и рассвирепел. Толстые губы обиженно набрякли, доброе лицо потемнело.

— Что-нибудь одно,— сердито сказал он в ванной, где с ожесточением мыл чистые, мягкие руки.— Мог бы, кажется, обойтись.

— Молчи, дубина,— тоже рассвирепев, ответил Коншин.— Это совсем не то.

Слышала ли Маша? Он не был уверен. Но когда она вернулась из кухни с подносом, на котором стояли три чашки свежего, крепкого чая, глаза у нее смеялись.

Левенштейн прочитал доклад, долго мялся и наконец выпалил, что это не доклад, а двухчасовая академическая лекция, более чем далекая от «создавшегося положения».

— Здесь нет и тени обороны. А между тем нужно, чтобы она чувствовалась, хотя о ней, конечно, нельзя упоминать ни словом. И надо — извини — не рыть землю носом, а написать изящный, острый, броский доклад.

Он был прав, и Петр Андреевич согласился, как бы окинув все написанное одним взглядом.

— Минут на сорок пять. Ну пятьдесят от силы. Послушай, откуда ты взял эту прелесть? — спросил он в передней, надевая пальто.

— Ах, прелесть?

— Да, да! — с восторгом подтвердил Левенштейн, хотя Маша, пока обсуждался доклад, произнесла не больше чем три-четыре слова.— Тебе нужно жениться на ней. И чем скорее, тем лучше!

Коншин вернулся, смеясь.

— Знаете, что он мне сказал? Что нам надо пожениться.

— Может быть, может быть,— быстро сказала Маша.— Но прежде всего необходимо переделать доклад.

Времени почти не оставалось, полдня, но он в каком-то веселом бешенстве набросал новый вариант и вечером позвонил Маше.

— Как, уже?

— Да. И, кажется, получилось. Надо бы перепечатать. Но сойдет и так.

— Сейчас приеду и перепечатаю.

— Нет, нет. Я знаю, у вас был утомительный день.

— Да. Возьму такси и буду у вас через сорок минут.

Она приехала и, не теряя времени, села за машинку.

— Вам нужно выспаться. Я перепечатаю и тихонько уйду.

Она ласково погладила его по лицу. Он поцеловал маленькую руку.

— А я уже больше не могу.

— Нет, нет! Ну что вы! Не сегодня. Мы оба устали, и я еще ничего не решила.

Он спал под стук машинки и, просыпаясь, смотрел на Машу, сидевшую прямо, с энергичным, *поглощенным* лицом, одновременно и работающую, и оберегающую его сон, его жизнь.

Она была здесь, рядом, она не покидала его в тревожном, перепутанном сне, когда он брел куда-то в пыли, и везде полыхала эта черная пыль, из которой все труднее становилось вытаскивать ноги.

Потом он проснулся, у него затекла рука, и сквозь прищуренные веки снова увидел Машу — наяву или во сне? Она уже не печатала больше, она смотрела на него нежным, добрым, любящим взглядом. Но в этом взгляде было еще и то, что заставило Петра Андреевича вскочить и кинуться к ней. Она только слабо вскрикнула, когда Коншин

обнял ее и подхватил на руки, как ребенка. Он целовал ее, задохнувшуюся, побледневшую, с распустившейся косой, прижавшуюся к нему и повторяющую что-то дрожащими губами.

40

Еще целых полчаса оставалось до доклада, и, стараясь держаться подальше, он время от времени косился на подъезд Института. Идут? Да, шли и шли. Он узнавал знакомых, но очень много было и незнакомых, молодых, громко разговаривавших, и их голоса в морозном воздухе звучали ободряюще-звонко.

От станции метро он шел к булочной, потом заворачивал налево, к новой парикмахерской, похожей на огромный, стеклянный, ярко освещенный куб, в котором происходило что-то загадочное: силуэты двигались навстречу друг другу, мелькали руки, пересекались отсветы зеркал,— и снова круг за кругом: метро, булочная, парикмахерская.

И вдруг — Петр Андреевич не поверил своим глазам — из подъехавшей машины вышел и неторопливо прошествовал, волоча тяжелую распахнувшуюся шубу, грузный старик в боярской шапке, о котором один из величайших биохимиков мира сказал, спустившись по трапу на аэродром: «Наконец-то я на земле Костылева».

Когда Коншин вошел в Институт, его сразу же окружили друзья, ожидавшие в вестибюле. Он объяснил, что рано пришел и решил прогуляться.

На кафедре он всегда испытывал чувство уверенности, и она явилась, когда он отчетливо услышал собственный голос. Вскоре не было ни малейших сомнений в том, что он глубоко заинтересовал аудиторию тем, в чем сам был глубоко заинтересован. С радостью, от которой невольно зазвенел голос, он почувствовал, что самое важное уже совершилось.

— Я хочу рассказать вам о том, чем я живу,— как будто говорил он, хотя речь шла о строго научной проблеме.— Я хочу рассказать о том, что все усилия моего разума, моей воли были направлены на решение загадок, которые, как вы сами убедитесь, мне удалось разгадать. Кроме истины, мне ничего не надо. Я хочу высказать вам трезвым голосом ясные мысли, я уверяю вас, что этой

трезвости и простоты вполне достаточно, чтобы опрокинуть неврастенический ажиотаж, улавливанье настроений, борьбу честолюбий, искаженное властвование,— все это ничего, кроме вреда, не может принести нашей науке. У меня нет никакой посторонней цели. Я говорю только о справедливости и чувстве долга, без которых и жить невозможно, и дела делать нельзя.

Он говорил это для всех, для переполненного зала, но радостное волнение, звеневшее в голосе, относилось к той, что сидела в первом ряду вся собранная, прямая, в нарядном темно-вишневом платье.

Он нажал кнопку, чтобы показать слайды, а потом, когда в зале вспыхнул мертвенно-бледный, но яркий свет, продолжал говорить, внутренне обращаясь к одной только Маше.

41

Все, что произошло в ближайшие дни, было похоже на кинофильм, запущенный в обратном порядке. События наступали друг другу на ноги, торопясь сложиться в первоначальную картину. Но в этом зрелище, которое обычно производит комическое впечатление, не было ничего смешного. Напротив—это была пора несбывшихся надежд.

Успех доклада был двойной — внутренний и внешний. Внутренний заключался в том, что если прежде кое-кто колебался, подавать ли на конкурс, теперь решение было единодушным, и если бы удалось выдержать его до конца, это могло поставить дирекцию в сложное положение.

Внешний успех... О, внешний успех показал, что вокруг Петра Андреевича не разреженное пространство, что он в определенной среде, которая поддерживает его в разгоревшейся схватке!

Можно смело сказать, что в самых широких кругах биологов говорили теперь о том, что происходило в Институте. Что-то вздрогнуло, зазвенело, переломилось, и это немедленно нашло отражение в многочисленных отзывах, письмах, пожеланиях. Все шло хорошо, и даже так хорошо, что суеверный Левенштейн стал показывать фиги и плевать через левое плечо — у него была сложная манера открещиваться от неприятностей.

Петр Андреевич должен был отработать еще две недели для того, чтобы его заявление «вступило в силу».

На следующий день после конференции он, как обычно, пришел на работу, и уже через час ему позвонили, сообщив, что президент Академии биологических наук Кржевский просит его прислать официальное ходатайство о восстановлении отдела.

Задача была сложная — не мог же он откровенно просить президента, чтобы отдел был переведен в другой институт! И Петр Андреевич, кратко изложив историю конфликта, ограничился тем, что приложил отчет за пять лет. Может быть, он был бы смелее, если бы знал, что в Большой Академии уже составлялось заключение, подводившее итоги конференции, подчеркивающее уникальность отдела и неразрывную связь составляющих его двух лабораторий. Впрочем, он ждал вызова к президенту, и «уж тут-то,— думалось ему,— я не уйду от него, пока он не согласится».

И все, казалось, шло к тому, чтобы этот выход осуществился.

В разговоре с одним из близких сотрудников Саблин дал понять, что он готов поговорить с Коншиным, если тот не намерен взять назад свое заявление. Встреча состоялась через несколько дней.

Впервые он видел Саблина в домашней обстановке — седая величественная голова, мягкие движения крупного тела, глубоко сидящие задумчивые глаза удивительно вписывались в эту обстановку. Но глаза как будто избегали смотреть в глаза собеседника. Сдержанность? Осторожность?

Все в его кабинете было устроено изящно и просто. Мягкая удобная мебель, гравюры на стенах (Саблин был знатоком и собирателем старинных гравюр), на небольшом письменном столе полный порядок, все под рукой.

— Так, значит, ко мне,— сказал он, свободно улыбаясь.— Трудности с помещением постараемся преодолеть. Тем более что мои сотрудники так любят и уважают вас, что готовы потесниться. Весь вопрос в том, как это сделать. Необходим расчет, и заключается он, по-моему, в том, чтобы Кржевскому пришлось предложить мне взять отдел,— и тогда мы сразу становимся хозяевами положения.

Петру Андреевичу было неясно, каким образом можно устроить, чтобы Кржевскому «пришлось предложить». Он попросил объяснения.

— Да очень просто! Вы должны стоять на своем и наотрез отказываться от любых предложений. А когда он согласится, дело сразу же примет другой оборот. Во-первых, я смогу тогда диктовать свои условия, оборудование и прочее. Во-вторых...

Но Петр Андреевич уже едва слушал это «во-вторых». Он храбрился, получив вызов от президента. Но теперь эта встреча во всей своей конкретности, вещественности явилась перед его глазами.

Он с детства чувствовал не только уважение к людям старше его по возрасту и положению, но ему казалось неприятным и странным убеждать их, настаивая на своем, и, стало быть, противоречить их намерениям и желаниям. Именно это чувство испытывал он и сейчас, разговаривая с Саблиным и убеждаясь, что не в силах просить его взять на себя хлопоты по переводу. А впереди его ждало более тяжкое испытание: убеждать президента. И еще одно: за благожелательным тоном Саблина чувствовался оттенок неуверенности. Советы он давал решительные, но какие-то уж слишком решительные и в конечном счете исключавшие его участие в деле. Считал ли он, что Коншин преувеличивает сложность своего положения? Или просто разделял общее убеждение, что от Врубова лучше держаться подальше?

Все-таки Петр Андреевич ушел обнадеженным. Расчет Саблина показался ему разумным. И не мог же он говорить с ним о чувствах, а не о деле! И, черт возьми, думалось ему, неужели у Кржевского он не сумеет настоять на своем?!

Но когда через несколько дней он поехал в Академию, произошло именно то, чего он боялся, хотя на этот раз он говорил и о чувствах и о деле.

Он был встречен более чем доброжелательно. Президент встал из-за стола и пошел ему навстречу. Из-под густых бровей глядели маленькие, умные, проницательные глаза. Сложение при небольшом росте было могучее, и, как всегда, он напомнил Петру Андреевичу плотовщиков, которых в молодости ему случалось видеть на Енисее.

— Я не был на бюро,— решительно сказал Кржевский,— лежал в больнице, но решение было сформулировано иначе. Пока я здесь, вы можете работать спокойно.

Он не заметил, как двусмысленно прозвучало это «пока». Через три месяца предстояли выборы, и на месте это-

го президента мог оказаться другой, по-своему понимавший отношения между директором и отделом.

«Но не могу же я спросить его: «А вы уверены, что вас снова изберут?» — с грустной усмешкой подумал Петр Андреевич.

Какой-то сотрудник заглянул в кабинет, и Кржевский, покосившись, сказал:

— Сегодня же будет доложено вашему. Словом, на ближайшем президиуме будет рассматриваться ваше дело. Восстановим отдел, это я вам обещаю.

— А вам не кажется,— стараясь, чтобы у него не дрожал голос, сказал Коншин,— что если это случится...

И он заговорил о неискренности, о сложности врывающихся в работу личных отношений. Если бы не долг перед покойным Шумиловым...

Но боже мой! Как не похоже это было на саблинское «стоять на месте, упорствовать, настаивать на своем»!

Кржевский слушал его не без интереса, но с оттенком нетерпения. Он полусогласился с ним, хотя с его точки зрения нецелесообразно было срывать с места большой, энергично и успешно работающий отдел. Ведь врубовский Институт, в сущности, на нем-то главным образом и держался. Он верил Коншину и боялся за него. Но инстинктивно он стремился к равновесию в громадном хозяйстве Академии, а если отдел перейдет к Саблину, это равновесие... Но подумать надо! Надо подумать.

— Восстановят отдел, а там видно будет. Может быть, и переведем.

— Да Врубов съест меня, если отдел восстановят! — вырвалось у Коншина.

Кржевский успокоительно положил ему руку на плечо.

— Вы ему не по зубам, дорогой Петр Андреевич,— сказал он сердечно.— Я-то знаю вам цену. Но встретиться с ним вам все-таки придется. Он звонил и утверждал, что вы настоятельно уклоняетесь от разговора. А, собственно говоря, почему? Если вы уверены в своей правоте...

42

Верочка, с которой Маша должна была пойти в Театр на Малой Бронной, заболела, и она позвонила Петру Андреевичу, что у нее свободный билет. Шли «Три

сестры» в новой постановке, которую дружно ругали газеты.

— Но если тебе не хочется, я отдам кому-нибудь билеты и приеду к тебе.

— Ни в коем случае. Сейчас одеваюсь и бегу.

Они встретились у театра. Потолкавшись в гардеробе, поднялись в фойе. Маша была праздничная, нарядная, с голубовато подведенными веками, в длинном модном платье, делавшем ее стройнее и выше.

— На тебя оглядываются.

— У тебя уже были женщины, на которых оглядывались.

— Совсем по-другому.

— Собственник,— сказала Маша и посоветовала ему перечитать «Сагу о Форсайтах».

О «Трех сестрах» они недавно спорили, и поэтому увидеть спектакль, да еще в новой постановке, было особенно интересно.

Петр Андреевич утверждал, что в пьесах Чехова каждый занят только собой и одни герои давно знают то, что им говорят другие.

— В сущности, что мешает сестрам переехать в Москву? Это так и остается неясным. Если бы кто-нибудь, хотя бы Чебутыкин, купил им три железнодорожных билета — Соленый не убил бы барона и все могло окончиться благополучно. Вообще почему их так тянет в Москву? Правда, они провели там детство, но потом оказывается, что ни одна из них Москву совершенно не помнит.

И Маша терпеливо объяснила ему, что Чехов умышленно противопоставил реальную Москву с ее университетом и Василием Блаженным другой, неопределенной, романтической Москве, и поэтому пьеса производит не комическое, а трагическое впечатление. Чебутыкин, который спрашивает: «А может быть, нас нет?» — не в силах отправить сестер в Москву уже потому, что без них не представляет себе собственной жизни. Уехать в Москву сестрам мешает не невозможность купить билеты, а невозможность стать собой.

И уже в первом акте Коншину показались смешными и детскими его возражения.

В душноватой темноте зала рядом с ним была Маша, и они вместе вдруг перенеслись в другую жизнь, которая с волшебной простотой открылась перед ними. Сестры ждут гостей, именины Ирины, и в ожидании еще можно

раскинуться на диване, вспомнить прошлое, поболтать. Приходят Тузенбах и Чебутыкин, каждый действительно говорит о себе, но как интересно, как важно то, что они говорят, не для них, а для Коншина и Маши. Счастливые слезы проступили у него на глазах, он нашел и в темноте нежно поцеловал Машину руку.

Он уже любил их всех, и боялся за них, и удивлялся вместе с ними, что Чебутыкин подарил Ирине серебряный самовар, и обрадовался, что вошедший Вершинин заговорил так естественно и свободно. Прошли десятилетия с тех пор, как они жили, и все-таки он чувствовал свою кровную связь с ними, с сестрами, с добрыми, благородными Вершининым и Тузенбахом. Они поняли бы его, если бы он рассказал им о своих делах и заботах. А Соленый с его ущемленным самолюбием, с его неполноценностью и стремлением утвердить себя там, где для него не было места,— боже мой, да он, Коншин, каждый день сталкивается с такими людьми у себя в Институте! На концертах он подчас ловил себя на том, что и слушает и не слушает музыку, думая о себе. Так и теперь, не пропуская ни одного слова из того, что происходило на сцене, он думал о том, какие бессмысленные, никому не нужные унижения приходится ему переносить только для того, чтобы заниматься своим делом. Но он думал и о судьбе, подарившей ему Машу, когда он уже почти был уверен, что его ждет одинокая старость. «Неужели пройдет время — и я забуду наслажденье этого вечера? — думал он.— Это блаженное неодиночество, от которого даже теперь, в театре, на людях, сладко кружится голова?»

В антракте его и Машу не оставляло праздничное настроение. Первый акт понравился, и Коншин, смеясь, заметил, что берет назад свои парадоксы.

— Как хорошо, что Ирина танцует вальс. Ведь это день ее именин и надо радоваться, даже если не очень хочется. В первой картине все кажется немного бессвязным, но потом начинаешь верить, что это не бессвязность, а отношение сестер к тому, что происходит в доме.

— И в мире.

— Да,— согласился Коншин, снова начиная бессознательно любоваться Машей, которая была такая же, как дома, но и какая-то еще, не забывавшая, что она нарядно одета.— Ты знаешь, я впервые понял, что эта пьеса — история дома, из которого сестры уходят одна за другой. И потом, я все время чувствую их близость ко мне, точно

Тузенбах или Ирина — мои родственники, которым важно, что со мной происходит. Может быть, не родственники, это смешно, но, во всяком случае, близкие люди.

— А у меня нет этого чувства. Я смотрю и думаю: «Так вот как все это было».

— Но было?

— Да.

— Так что Чебутыкин не прав, когда он спрашивает: «А может быть, нас нет?»

Маша засмеялась.

Коншин ушел покурить и, возвращаясь, еще на верхних ступеньках лестницы увидел, что рядом с Машей стоит незнакомый молодой человек.

— Познакомьтесь,— сказала Маша.— Паоло Темиров, мой товарищ по университету.

— Так вот кто тебя укротил,— крепко пожимая Петру Андреевичу руку и улыбаясь, сказал Темиров.

Коншин помрачнел: что значит это развязное «укротил»? И откуда этот субъект знает, укротил он Машу или нет?

— А Маша была неукротимая? — с плохо скрытым раздражением спросил он.

— Не в плохом смысле. В хорошем. Как по-русски сказать — бедовая,— ответил Темиров. Он говорил с легким грузинским акцентом.

Смуглый, коротко стриженный, невысокого роста, с красивыми глазами, он смотрел на Машу с доброй улыбкой. Но Коншину не понравилась и эта улыбка.

— Как я рад, что мы встретились,— говорил Темиров.— Черт знает, в одном городе живем, может быть даже рядом живем, а никогда друг друга увидеть не можем. Ну что ты, как ты? Вы простите,— обратился он к Коншину,— что я так разговариваю. Мы друзья были.

Петр Андреевич промолчал.

— Мы большими друзьями были. Я ее Фру-Фру дразнил. Маша, помнишь, как я тебя дразнил?

— Конечно, помню,— ответила она и засмеялась.

— Но позвольте, Фру-Фру... Кажется, так звали лошадь Вронского в «Анне Карениной»? — спросил Коншин.

— Вот именно. Лошадь. Кто-то сказал, что Маша похожа на Анну Каренину, а я сказал — на Фру-Фру. И она не рассердилась. Правда, Маша? Ей даже понравилось.

Вернувшись к себе, Коншин взял с полки «Анну Каренину» и нашел страницу, где рассказывалось о Фру-

Фру: «Во всей фигуре и особенно в голове ее было определенное, энергичное и вместе нежное выражение». «А ведь и в самом деле,— подумал Коншин,— похожа на Машу».

Но в театре он с трудом заставил себя не сказать Темирову, что сравнивать девушку с кобылой по меньшей мере неприлично.

— Хорошее было время, правда? — говорил Темиров.— А где Верочка?

— Попова? Мы с ней часто встречаемся. Как была, так и осталась моей лучшей подругой.

— Передавай ей привет,— сказал Паоло.— Я ее тоже любил, она немного зануда, но все равно мы все друг друга любили. Значит, работаешь машинисткой?

— Да.

— И довольна?

— Очень.

— Ты красавица, умница. Извините, что я так разговариваю,— снова сказал он Коншину.— Теперь, конечно, дама. Совершенно такая же, как раньше, но немножко солиднее. Сколько лет прошло?

— Девять. А как ты?

— Я? Ну что я? Каким был, таким и остался. «То вознесет его высоко, то в бездну бросит без стыда!» Эх, уже звонок! Расставаться жалко.

— Зачем же расставаться? Приходи, Паоло, я буду рада.

— Можно? — Он улыбнулся, показав красивые ровные зубы.

— Почему же нет?

Маша достала блокнот и записала телефон и адрес.

— Позвони и приходи.

...Чебутыкин уже прочел в газете, что Бальзак венчался в Бердичеве, и Коншину показалось нелепым, что Ирина, раскладывая пасьянс, повторила эту никому не нужную фразу. На сцене было почему-то темнее, чем в первом акте,— или Петру Андреевичу это только казалось? Соленый не мог сказать, что он изжарил бы своего ребенка на сковородке, а если Чехов написал этот вздор, режиссеру (будь у него хороший вкус) следовало бы вымарать эту фразу. «Вообще зачем было ставить эту устаревшую пьесу? Кого интересует этот барон, который фальшиво объясняется Ирине в любви? Соленый уже объяснялся ей, и лучше бы она вышла за него, чем за этого неопределенного слюнтяя».

Он искоса посмотрел на Машу, она улыбнулась ему в темноте, в тишине зрительного зала и нежно вложила в его руку свою. Неужели она чувствовала, что в нем происходит? Он не мог заставить себя улыбнуться в ответ. «Зачем Маша сказала ему: «Позвони и заходи»? Вот теперь и будет каждый день шляться этот подозрительный тип! «Буду рада». Есть чему радоваться! И что это значит: «Мы любили друг друга»? Кто это «мы»? Чебутыкин, который знает, что будет дуэль, и не сомневается в том, что Соленый убьет барона, сказал об этом так, как будто ему наплевать и на Соленого и на барона. Хорош врач! «И зачем, зачем Маша уговорила меня пойти на эту пьесу, которую я видел тысячу раз?» Маша не уговаривала, но ему уже казалось, что уговаривала и уговорила. Спектакль кончился, они медленно спускались по лестнице в шумной толпе. Маша была уверена, что сейчас он спросит ее о Темирове, но Петр Андреевич мрачно молчал, и она заговорила сама.

— Тебе не понравился Темиров, я вижу.

— Мне показалось странным, что он так развязно говорил с тобой.

— Мы дружили в университете, хотя он был в другой компании. Его любили. У него всегда были деньги, и он не просто спешил, а кидался выручать товарища из беды.

— Откуда же деньги?

— А он картежник,— спокойно объяснила Маша.

— Должно быть, счастливо играл.

Ей было и радостно и смешно. Приревновал к Паоло! Но она еще и сердилась.

— Чем он занимается?

— Не знаю. Из университета его исключили, потому что в общежитии в своей комнате он устроил настоящий карточный клуб.

— Так, может быть, еще и шулер?

— Весьма вероятно. Тогда благородный шулер.

— И такого человека ты приглашаешь к себе?

— Да,— твердо сказала Маша.— Ведь не к тебе.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хочу сказать, что довольно страдала от беспричинной ревности и больше не хочу.

Они поссорились, Маша отказалась ехать к нему и пошла пешком на улицу Алексея Толстого. Дорогой Кон-

шин, которому стало стыдно, попросил у нее прощенья. Она холодно поцеловала его. Он проводил ее до дому и, расстроенный, уехал к себе.

43

Поэты любят писать о поэзии — им кажется, что они раскрывают тайны своего ремесла.

> Когда б вы знали, из какого сора
> Растут стихи, не ведая стыда,
> Как желтый одуванчик у забора,
> Как лопухи и лебеда.

Но и они в конечном счете прячут разгадку, за которой мерещится неоглядный труд.

Проза не растет, как лопухи и лебеда, она строится, как город. План этого города лежит перед глазами, меняясь, повинуясь воле автора, который знает, где живут и встречаются (или не встречаются) его герои. Улицы, как воспоминания, переливаются одна в другую, сталкиваются на перекрестках, упираются в тупики, заставляя пешехода пользоваться проходными дворами.

В иную квартиру нельзя попасть, минуя проходной двор. В *катран* можно пройти только через проходной двор, где старухи сплетничают, греясь на солнце, а мальчишки гоняют клюшками консервную банку.

Девятый час, еще не темно, но в грязные окна почти не проникает августовский вечерний свет. Грязная лампочка висит на грязном шнуре, по грязной комнате бродят оборванцы и щеголи, жалкие нищие с разваливающейся походкой и стройные, сильные красавицы. Тихие мальчики с сумасшедшими глазами и инвалиды. Шулеры-«паковщики», которые на выигранные деньги покупают золото и драгоценные камни, и шулеры-«гусары», оставляющие тысячи в ресторанах.

Кто только не встречается в этом кругу! Карманщики, воры, бродяги, потерявшие человеческий облик,—и рядом с ними бывшие артисты, инженеры, даже адвокаты. Но эти не играют в аэропортах, в такси, где попало. В катране две комнаты, почти совершенно пустые, стулья или табуретки, иногда маленький столик. Либо три комнаты, если хозяин, содержащий катран, пользуется им как квартирой. Условный звонок — несколько коротких, потом

длинный или наоборот: за вход пятерка, но уж если вы пришли — надо играть, иначе вас примут за чужака, за «мента». У хозяина можно купить и бутылку водки, и двести граммов колбасы за десять рублей.

В этом кругу почти нет вожаков, сегодняшний вожак может завтра превратиться в нищего, которого пускают в катран из милости, разрешая ему лишь посмотреть, как играют другие.

В катране на Кадашевской набережной не расходятся до утра. В одной комнате горячатся, шумно спорят, ссорятся за нардами кавказцы. В другой тоже шум, но сдержанный, заинтересованный. Здесь, стоя у подоконника, на который падают карты, играют Паоло Темиров и Рознатовский — сухощавый человек с неестественно длинной шеей, на которую, как на палку манекена, надета маленькая стриженая голова. Он хорошо одевается, у него есть автомобиль. Он не пьет, равнодушен к женщинам. У него воспаленные веки — ни днем ни ночью не выпускает колоду из рук. Проигрывая, он нервным движением трет голову о плечо.

Здесь Хумашьян, которого боятся, потому что его младший брат Сандро, бывший боксер, может силой заставить расплатиться.

Здесь Юра Сухомский, по прозвищу Антибиотик, хромой, с палочкой — в драке ему повредили ногу.

Здесь аферист Валя, одутловатый, с мертвыми глазами, бывший пекарь.

Здесь Адоная, наркоман, судившийся за изнасилование, маленький человек в очках, с усиками, под которыми видны крепко сжатые губы. Он нигде не учился, но собирает редкие книги...

Слух, которому трудно поверить, перекидывается от одного игрока к другому: Паоло женится, Паоло играет в последний раз. Сомневаются, шутят, верят, не верят.

Лева по кличке Сало, огромный жирный мужчина,— он не расстается с туристским топориком, который носит в футляре,— пытается поздравить Паоло и получает такой взгляд, что невольно пятится назад, хватаясь за свой топорик.

Цвет!

Полуцвет!

Нецвет!

Они играют в штос, мало чем отличающийся от клас-

сического штоса «Пиковой дамы». В одной незаконченной рукописи Лермонтова загадочный старичок, сошедший с портрета, носит фамилию Штосс — и недаром: он обыгрывает героя повести, и именно в штос. Впрочем, в те времена черви не называли еще «цвет», бубны — «полуцвет», пики — «нецвет». Тогда ставили на одну карту, теперь на четыре. Есть и другая разница: здесь Германн не мог бы «снять и поставить свою карту, покрыв ее кипой банковских билетов». В катран деньги не носят, играют только в долг. Берется расписка с определенной датой и «включается счетчик»: за каждый просроченный час должник рискует заплатить десятку.

В этот вечер не час и не два продолжается штос. Любопытные давно оставили других игроков; у подоконника схватились два мастера, играющие честно, давно махнувшие рукой на свое несравненное искусство. Сейчас решает не искусство — судьба. Паоло выигрывает, проигрывает, выигрывает. Ставки всё выше. Он небрежно швыряет новую расписку на подоконник, и раздается вздох зависти, изумления, восхищения. Сорок тысяч!

Цвет, полуцвет, нецвет! Рознатовский нервно трет коротко стриженную маленькую головку о плечо. Он проигрывает. Паоло смеется. На смуглом лице с красивыми добрыми глазами мелькают и скрываются сплошные, крупные белые зубы.

44

Впрочем, если роман не похож на строящийся город, он напоминает фрегат с выгнутыми от ветра парусами. Фрегат плывет к берегу, трудный путь — позади. Книга начинает сама писать себя, и подчас нелегко остановить разлетевшуюся руку. Брошен якорь не по расписанию, в не угаданный заранее час.

И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный...

А ведь рассказано далеко не все! Еще лежит в беспорядке на пристани груз подробностей, заслонивших друг друга. Воспоминания, размышления, встречи и невстречи, чудеса, страдания, сны. Лицо будущего романа сложилось, но хочется еще и еще раз взглянуть ему прямо в

глаза: не станут ли они яснее, после того как, подобно оценщику в ломбарде, ты стараешься взвесить и оценить все, что еще может пригодиться для дела?

— А почему не спрашивала?

Сама не знаю. Мне мешала мысль, что раз ты не рассказываешь... Все думалось: дочка. Но ее фотографии не было в семейном альбоме, который ты мне показывал, и я поняла, что это что-то особенное и не семейное, а очень твое. Однажды ты застал меня, когда я рассматривала этот портрет... Ты вошел и не сказал ни слова. Может быть, нехорошо, что я теперь спрашиваю?

— Теперь можно все. Это жена, ее звали Альда. Мать была влюблена в норвежскую литературу и требовала, чтобы назвали Сольвейг или Ингеборг. Кое-как уговорили остановиться на Альде. Холодное имя. А-льда. Что-то из льда. Она смеялась и говорила, что имя собачье. «Если бы я не была Альдой, я бы купила и назвала так собаку». И рисовала пойнтера с узкой грудью и поджарым брюхом.

— Где вы познакомились?

— Она была дальней родственницей Шумилова и, когда ее мать умерла, а отец женился на другой, ушла из семьи и сама предложила Ивану Васильевичу хозяйничать в его доме. Он давно овдовел, дети разъехались. Пришла и предложила.

— И что же он?

— Ну конечно, согласился... Он был восхищен. Такой поступок в тринадцать лет! Вот тогда мы и познакомились. Я ведь очень люблю детей, ты знаешь.

— Да. Я тоже.

— Ну вот. Она была быстрая, легкая, все у нее так и кипело в руках. Вела дом и успевала всюду. У Шумилова всегда было много знакомств, редкий вечер не собирались, и она принимала гостей свободно, любезно, как настоящая хозяйка дома. А когда начинали шутить по этому поводу, делала вид, что не слышит. Ко мне она относилась по-дружески серьезно. Когда я уезжал, мне нравилось писать ей длинные дельные письма. В школе ее любимым предметом была русская история, и я стал читать ей лекции. Дарил книги, а к лекциям даже готовился. Так прошло несколько лет, и вот однажды, условившись с Иваном Васильевичем, я не застал его дома. Сижу в кабинете, читаю и вдруг слышу далекое, как мне показа-

лось, пение. Приоткрыл дверь в столовую, а у Шумилова в квартире были большие окна. И вижу — Альда стоит на подоконнике, моет окна и поет.

— Она и на портрете такая.

— Я позже попросил ее встать точно так же перед открытым окном и сфотографировал. Мне хотелось, чтобы это мгновение не было забыто. Все изменилось с тех пор. Я стал почему-то не так часто бывать у Шумилова, а она проводила вечера очень странно, по рассказам Ивана Васильевича,— лежа на диване лицом к стене. Все разладилось в доме. Шумилов беспокоился, расспрашивал ее. Молчит. Вскочит, расцелует со слезами на глазах и молчит. А прежде не только была с ним откровенна, но вечерами, когда он ложился, приходила и подробно рассказывала. О чем был очередной реферат, кто за ней ухаживает и почему ее возмущает отношение какого-нибудь Кости Ожогина к какой-нибудь Олечке или Тане. Он потом мне говорил, смеясь, что изо всех сил старался не уснуть, чтобы не обидеть ее, но все-таки засыпал, не дождавшись конца очередной истории. Теперь эти вечерние признания прекратились. Альда похудела, подурнела, и тогда... Это уже не он, а она мне рассказала... Тогда он только спросил ее: «Петя?» — но спросил так, что невозможно было не признаться, и она, плача, кинулась к нему на шею в слезах и сказала, что не просто влюблена в меня, а даже не может вспомнить, когда не была влюблена. В тот же день Иван Васильевич спросил меня: «Любишь?» — а когда я ответил, что просто жить без нее не могу, благословил нас по-старинному, только что без иконы. Она как бы еще в отрочестве перешагнула юность. Была сложившимся, взрослым человеком, и все ее мысли и чувства были не по возрасту зрелыми, поражавшими меня своей серьезностью и глубиной. Однажды, например, она сказала мне, что пустота внутри страшнее для женщины, чем для мужчины, который может избавиться от нее, заполняя пустоту научной, военной или административной деятельностью или физической работой... А когда врачи сказали, что они не ручаются за благополучный исход — оказалось, что у нее больное сердце,— с ней началось что-то невообразимое. Во время какого-нибудь незначительного разговора вдруг с трудом удерживалась от слез. Ей все казалось, что, если надеяться, страстно желать, все обойдется. Ведь иначе наказание оказалось бы непостижимым по своей жестокости, а она ни в чем не виновата.

— Помолчим немного. Успокоимся. Доскажешь в другой раз.

— Да что же досказывать? На восьмом месяце родила мертвую девочку и умерла.

45

«Конечно, он оценил то, что произошло в Большой Академии,— думал Петр Андреевич, поднимаясь по лестнице, которая вела в кабинет Врубова,— и знает, что я был у Кржевского. О том, что в президиуме готовится отмена приказа, он не только знает, он уже сделал все, чтобы не состоялась эта отмена. Готовится ли?»

У Врубова было странное лицо в этот день — кирпично-красное, с белым носом и плоскими, как пуговицы, стеклянными глазами. «Муляж»,— как ни был взволнован, подумал Петр Андреевич... И, закручиваясь, как спираль, начался этот разговор, в котором Врубов уговаривал его взять назад заявление об уходе, а Коншин отказывался, и это повторялось без конца в многочисленных вариантах. Внутренне сжавшись, думая только о том, что он скажет сотрудникам, которые ждали его возвращения, Коншин упрямо держался на своем «нет», в то время как Врубов вертелся, уходил в сторону и кружным путем снова приходил к исходной позиции, уверяя, что заявление Коншина об уходе — ложный и бесполезный шаг. Но кроме прямой, непосредственной цели, которая была центром разговора, в нем заключался и другой, более глубокий смысл. Врубов давно и бесповоротно забыл, что в молодости сам был в чем-то похож на Коншина, но вот теперь оказалось — и это было страшно для него,— что не совсем забыл! Для него было важно доказать себе, что некогда он поступил правильно, избрав ту жизнь, которая вела его от удачи к удаче, и отказавшись от искренности и прямодушия ради карьеры. Он не верил, что возможен и другой путь. Невозможно было представить себе, что Коншин действительно не хитрит, не притворяется, ни на что не рассчитывает и стремится только к возможности спокойно работать. Вот почему этот спор так волновал Врубова. В какой-то мере это был спор с самим собой.

Почему-то ему вдруг не захотелось оставаться наедине с Коншиным, и он решил вызвать из лаборатории Ле-

венштейна, очевидно надеясь, что тот поможет ему убедить Петра Андреевича взять назад заявление.

Левенштейн пришел, подумал и спокойно сказал, что не видит выхода из положения. Вместо доказательств он, к ужасу Петра Андреевича, неторопливо рассказал толстовскую притчу о том, как гадюка, которой крестьянин отрубил хвост, стала просить, чтобы он оставил ей жизнь. Но крестьянин сказал: «Нет, я не могу простить тебе сына, а ты не забудешь свой хвост». И отрубил ей голову.

— Вот так будет и у нас,— поучительно сказал Левенштейн.— Равновесие и прежде было неустойчивое, а теперь восстановить его будет вообще невозможно.

Коншин знал эту притчу и надеялся, что Левенштейн хоть скажет не «гадюка», а «змея». Но Левенштейн безжалостно сказал «гадюка» — и Врубов, у которого круглая голова повернулась, как на шарнире, помолчав, только произнес:

— Можете идти.

Но, как ни странно, после этой притчи что-то прояснилось, переломилось. Директор вернулся к уговорам, потом сказал злобно:

— А ведь я, шутки в сторону, могу и подписать ваше заявление.

— Какие же шутки? Я вас об этом и прошу,— поняв, что он выдержал, не сдался, ответил Петр Андреевич.

Врубов помолчал.

— Но ведь конкурс в конце концов — пустая формальность,— сказал он.

— Насколько мне известно, никто не собирается подавать на конкурс.

— То есть как?

— Вот так,— сказал Коншин, убеждаясь с удовольствием, что этот метко рассчитанный удар произвел впечатление.

— Стало быть, они намерены уволиться из Института?

— А почему бы и нет? Вы не оставили другого выхода ни мне, ни им.

Наконец Врубов отпустил его. Оба едва дышали.

Петр Андреевич вернулся к своим, и они почему-то стали поить его валерьянкой, хотя (как он думал) он был совершенно спокоен. Рабочий день давно кончился, но никто не ушел. Два раза Володя Кабанов бегал смотреть, горит ли еще в кабинете директора свет.

Осколков приходил ровно в девять пятнадцать, и плохо приходилось тем, кого он не заставал на своих местах. Он не терпел опозданий. В этот день, когда он поднимался по лестнице, осанистый, свежевыбритый, в новом костюме, его обогнал один из сотрудников. Осколков окликнул его и вежливо, неторопливо сделал ему замечание, хотя это был видный ученый, заведующий лабораторией, работавший в Институте едва ли не со дня основания.

Секретарша принесла бумаги на подпись, и с привычным ощущением ненависти и к секретарше, и к своему кабинету, и к начавшимся телефонным звонкам он начал бегло читать и подписывать эти бумаги. На одной он писал: «К исполнению»; на другой: в такой-то отдел. Но вопреки тому, что резолюции подчас не имели между собой ничего общего, почти все они так или иначе клонились к понятию «отфутболить», сравнительно недавно обогатившему русский язык. Однако были и бумаги, от которых невозможно было отделаться с помощью этого слова. Тогда он звонил Врубову, который предупредил, что этот день он проведет на даче.

Потом началась текучка, обычный прием: один сотрудник пришел, чтобы выяснить, когда назначить такую-то проблемную комиссию, другой — такую-то и кого приглашать или не приглашать со стороны. Кадровик заставил его потерять добрых полтора часа на конкурсные дела. Пошли просьбы о премировании, которые надо было внимательно взвешивать, чтобы такого-то не задеть, а такого-то не только задеть, но обидеть. Секретарша в пятый раз напомнила о диссертанте, который сидел в приемной с утра, и Осколков наконец принял его. Сущность дела в этих случаях он был вынужден обходить.

— А с достаточной ли тщательностью вы провели статистическую обработку? — веско говорил он, глядя прямо в лицо диссертанту выпуклыми внимательными глазами.

Или:

— А не кажется ли вам, что разумнее было бы воспользоваться другим методом статистического анализа?

Набор вопросов, которые могли относиться к любой диссертации, он выработал еще в Ветеринарном институте.

Он сидел в кресле и смотрел в окно, стараясь справить-

ся с нараставшим бешенством — и справлялся, хотя это было трудно. Все, что делал, о чем он говорил, все, о чем думали и говорили другие, было ничтожно, однообразно и омерзительно мелко.

— Да кто же не знает, что Кудеяров вор? — спросил он заглянувшего к нему Паншина, замдиректора по административно-хозяйственной части.

Кудеяров заведовал виварием.

— Напиши докладную, поговори с Врубовым и передай дело в ОБХСС. И все-таки давай не путать твои заботы с моими.

С темной головой он снова надписывал какие-то бумаги — закупка оборудования, планирование, отчетность. Только что не скрипя зубами от бешенства, он принял видного клинициста и был с ним так любезен, что тот ушел обнадеженный, почти счастливый.

Последовательно, равномерно, неуклонно он действовал, властвовал, распоряжался. Он злобно смотрел на трезвонивший телефон и скучал, томился, заставляя себя не смотреть на часы.

О Коншине он думал с утра, но мимолетно, бегло. К концу дня он приказал секретарше никого к нему не пускать и выпил стакан крепкого чая. Стало быть, что же? Решили не подавать на конкурс едва ли не единодушно. Это было прекрасно. Это была серьезная возможность скандала, который может дорого обойтись Врубову. Лишь бы они не дрогнули, а на это было похоже. Липовецкая и Полозов, по-видимому, решили подать. Сомневаются многие. У него был в коншинском отделе свой человек — Румянцев. Но Румянцев был дурак, да еще к тому же дурак, который стремится подыгрывать начальству. Хорошо бы поговорить с умным человеком, и такой человек был. И не только умный, но близкий к Коншину и, уж конечно, прекрасно представляющий себе, что творится в его отделе. Он позвонил секретарше и вызвал Кременецкую, подтвердив, чтобы к нему не пускали. Леночка пришла в халате не только ослепительно белом, но даже подкрахмаленном — так твердо он охватывал ее стройную высокую фигуру.

Они поздоровались и несколько минут разговаривали ни о чем. Потом он спросил о Ватазине.

— Смертельно жалко его! Третий инфаркт — не шутка. Но я звонил, Вера Николаевна сказала, что лучше. Как справляются без него в лаборатории?

— Плохо справляются. Работаем, разумеется. Но все расстроены, и дело, по правде говоря, как-то валится из рук.

— Ну, у вас-то, надо полагать, не валится?

— Нет, и у меня.

Они помолчали.

— Елена Георгиевна, я пригласил вас, чтобы поговорить о коншинском отделе.

— Со мной?

— Именно с вами. Дело в том, что я был против приказа Павла Петровича и пытался уговорить его, но у него, по-видимому, были какие-то далеко идущие соображения.

Это было не очень удачное начало, о чем легко было догадаться по непроницаемому Леночкиному лицу. «Не верит, стерва»,— подумалось ему.

— Петр Андреевич знает, что я отношусь к нему с глубоким уважением. Он бывал у меня — мы ведь почти соседи. У него в Лоскутове квартира, у меня дача. И теперь, когда он попал в такое трудное положение... Я знаю, что у вас с ним хорошие, дружеские отношения. Не правда ли?

— Были дружеские,— быстро сказала Леночка,— а теперь — никакие. Впрочем, я, так же как и вы, глубоко его уважаю.

Это было сказано с оттенком насмешки. Он заметил ее, но продолжал:

— История затягивается, и мне кажется, правда, может быть, я ошибаюсь, что Павел Петрович не то что жалеет о ней, но... Мы вместе с ним могли бы, пожалуй, найти примиряющий выход. Но для этого мне надо... Ну, словом, Петр Андреевич едва ли будет откровенно разговаривать со мной, а с вами...

Леночка, сидевшая до сих пор скромно, опустив глаза и положив руки на колени, подняла голову и спросила, улыбаясь:

— Валентин Сергеевич, к чему такие сложности? Скажите просто: вам хочется, чтобы он рассказал мне о положении дел. Так сказать, информировал меня о том, что вообще происходит в его отделе. Да?

Осколков засмеялся. «Ну, эта далеко пойдет»,— подумал он.

— Даже если и так?

— Так вот, Валентин Сергеевич, если бы даже я и со-

гласилась сыграть эту, скажем прямо, нелестную роль, из этого ничего бы не получилось. Вы ошибаетесь, предполагая, что он будет со мной откровеннее, чем с вами. Кроме того, выяснять-то, по-моему, нечего! Люди работают. Зарплата идет, общественные поручения выполняются как должно. По-моему, в отделе даже стараются не говорить о том, что случилось. Вот и все.

Осколков помедлил.

— Ну что ж,— сказал он, стараясь скрыть раздражение,— будем считать, что исполнить мою просьбу вы отказались.

— А не лучше ли,— дерзко спросила Леночка,— считать, что никакой просьбы не было? Я могу быть свободной?

47

Они работали в разных зданиях. Леночка приходила в девять, Коншин — в двенадцать, но случалось, что они встречались во дворе или в проходной, здоровались, и каждый раз Коншин испытывал неловкость. Но в эти месяцы, потребовавшие от него небывалого напряжения, Леночка исчезла из его жизни, он просто забыл о ней. И она, без сомнения, догадалась об этом, потому что ни разу не позвонила ему. Но накануне заседания президиума она, к его удивлению, позвонила и даже предложила встретиться, и когда он отказался, она сказала быстро:

— В котором часу президиум?

— В четыре.

— Ты поедешь один?

— Да, а в чем дело?

— Для тебя очень важно то, что я хочу сказать. Может быть, в метро?

Они условились встретиться за полчаса до заседания в метро на Маяковской.

Что-то изменилось в Леночке — и не потому, что она была в дубленке, не потому, что постриглась и новая прическа очень шла к ее похудевшему, похорошевшему лицу. Нет, с первого слова он почувствовал, сперва почти неуловимо, потом все более отчетливо, какую-то внутреннюю перемену, заключавшуюся в том, что она как бы старалась доказать, что никакой перемены нет и что в ее жизни ничего нового не случилось.

— Извини, что так настаивала. Но я кое-что узнала, и мне хотелось бы рассказать. На днях я была у Житневых (это были знакомые Леночки, о которых она часто упоминала), пришел Врубов и много говорил о тебе. Жаловался, что у него поднялось давление, что он достал для тебя редкую аппаратуру, посылал за границу. И вот — благодарность! Он все повторял, что только бог заставит его отменить приказ, «да и то после смерти». Тем не менее он в недурном настроении: Саблин зашатался.

— Как зашатался?

— Вот так.— Она вытянула руки по швам и с остолбенелым лицом пошаталась на месте.

— Почему ты думаешь?

— Сделала заключение. Дело в том, что там, у Житневых, был...— Она назвала фамилию еще молодого, быстро делающего карьеру заместителя министра.— И он сказал многозначительно: «Им недовольны». Ты знаешь, а я на твоем месте не стала бы переходить в другой институт. Во-первых, переход развалит работу. Во-вторых... Допустим даже, что ты перейдешь к Саблину. Но ведь ты будешь у него один из многих, а у нас ты, что ни говори, номер один. Кстати, я была на твоем докладе.

— Ну и как?

— Хоть я и не все поняла, но понравился. Ты — тоже.

— Что «тоже»?

— Ты был необычный. И тихий и бешеный,— сказала с удовольствием Леночка.— Я даже вспомнила, как ты двинул меня.

— Ну вот еще! За что?

— За то, что я не хотела, чтобы ты купил апельсины для Вовки. (Вовка был племянником Леночки.) Ты рассердился,— продолжала она,— и двинул.

— Да полно тебе!

— Я запомнила, потому что мне понравилось, как ты это сделал.

— Так надо было тебя бить!

— Возможно, возможно,— сказала Леночка, улыбаясь.— Но теперь некому меня бить. Ты занят.— Это было сказано с намеком.

— Меня самого бьют, и весьма беспощадно. Так ты говорила, что Саблин...

— За что купила, за то продаю. Но я на твоем месте...— Она замолчала.

— Договаривай.

— Взяла бы заявление об уходе обратно.

Петр Андреевич нахмурился.

— Но ведь это как раз и значило бы, что я согласен с приказом!

— Не знаю, не знаю. Вы с Врубовым, как говорится, в разных весовых категориях. Кстати, это сказал кто-то из твоих, а Врубову немедленно доложили, и он был очень доволен. Что еще? Ах да! «Его хотят сделать мучеником и знаменем».

— Это еще что?

— А это тоже была одна из тем разговора. Очевидно, мучеником науки и знаменем вольнодумия. Ах да! Еще одно. Осколков вызвал меня на днях и просил поговорить с тобой. Нанимал разведчицей.

— Вот как? И что же?

— Как это «что же»? — с обидой спросила Леночка.— Дала ему понять, что он дурак, и ушла.

— Он далеко не дурак.

— Да. Но в данном случае это было глупо. Хотел сыграть на... Ну, ты сам понимаешь на чем.

— Спасибо. Послушай,— вдруг сказал Коншин, вспомнив свой разговор с Машей.— Извини, что я вмешиваюсь в твои дела. И не сердись заранее. Оставила бы ты в покое Ватазина. Ведь его в самом деле не узнать. Я тебе дружески советую.

Леночка засмеялась.

— А ты это *ему* дружески посоветуй. Не умрет. Говорят, от счастья не умирают. Впрочем, не волнуйся. Твой Ватазин интересует меня, как прошлогодний снег. А кто же это просил тебя поговорить со мной? Неужели сама долговязая метла Вера Николаевна? Не похоже, не похоже. Так ты на президиум?

— Да.

— Ну, с богом.

48

Он пришел рано, задолго до начала. Разговор с Леночкой расстроил его. Во-первых, вмешиваться в ее отношения с Ватазиным было глупо. А во-вторых — Саблин? Может быть, он в самом деле зашатался?

Но что-то преднамеренное почудилось ему в этом слове.

Надо было охватить разговор одним взглядом. Так он

всегда делал, запутываясь в противоречиях. В разговоре было что-то одновременно и беглое и значительное. Была двойственность. Была преднамеренность. Может быть, кому-то показалось важным, чтобы за два часа до президиума он узнал, что положение Саблина непрочно?

Хотела ли Леночка ему помочь? Может быть. Но одновременно не только помочь. Или точнее: не только ему. Но если так, разве она стала бы рассказывать о том, что ее вызывал Осколков? Ему стало стыдно. Подумать, что этот разговор подсказан Врубовым и направлен к определенной цели — перед самым заседанием выбить его, Коншина, из седла,— что за вздор! Леночка просто хотела ему помочь, она искренне считает, что он должен взять заявление назад. И довольно об этом!

Но почему-то ночь перед отъездом из Прибрежного вспомнилась ему. В духоте тесной комнаты сонно жужжат мухи. Под легким одеялом видны очертания крупного тела. Одеяло поднимается и опускается на груди. Чужая женщина спит, бесшумно дыша, а он смотрит на нее, не чувствуя ничего, кроме внезапной холодной ненависти.

Пора было, впрочем, подумать о другом. Он тщательно приготовился к выступлению на президиуме. Но что-то было еще не взвешено, не соотнесено, могли встретиться неожиданности. И как бы рукой отстранив разговор в метро, он в тысячный раз представил себе, как неопровержимо докажет, что переход в другой институт — единственный выход.

49

Медленно собирались члены президиума. Пришел Саблин, поздоровался и подмигнул с таинственным видом. Потом пробежал, еле кивнув Петру Андреевичу, Врубов прямо в кабинет президента. Пришла большая группа сотрудников другого института — их вопрос должен был обсуждаться первым.

Вдруг явился спокойный, добродушный Левенштейн, от которого попахивало вином, и когда Петр Андреевич удивленно спросил его: «А ты здесь зачем?» — тот ответил:

— Наши прислали. Считают, что ты нуждаешься в моральной поддержке.

Он увел Коншина в коридор: «Нечего раньше времени показываться на глаза начальству» — и они долго молча-

ли, стоя у окна, за которым весело метался мелкий крупитчатый снег. День был солнечный, не очень холодный, просторный. Но Коншин, у которого болела голова, с неприязненным чувством смотрел на этот вид за окном, на эти солнечно-снежные зайчики, скользившие по металлу автомобилей, по заиндевевшим веткам тополей.

— Господи, хоть бы все это кончилось поскорее! — почти простонал он.

И Левенштейн, который вдруг превратился в озабоченную и добрую старую няню, сунул ему таблетку, принес из приемной стакан воды, заставил принять.

— Бывают же дурные сны, когда нет силы проснуться,— сказал он.— Жизнь идет полосами. Сейчас у тебя плохая полоса. Она кончится, пойдет полоса хорошая.

Прошел час, сотрудники, вызванные по первому вопросу, ушли, а Петр Андреевич все ждал, когда его вызовут.

— Решают без тебя,— сказал Левенштейн.— Голова болит?

— Да.

— Еще таблетку?

— Нет. Пройдет, когда вызовут. Стресс.

Вызвали на исходе дня, когда зайчики исчезли и все на дворе и в здании стало сумеречным, вечерним.

В кабинете президента сизый табачный дым плавал в свете высоко подвешенной люстры; за длинным столом сидели академики, все незнакомые, кроме Саблина, Кржевского, Врубова. Петра Андреевича пригласили к столу, и на него доброжелательно и с любопытством уставились старые седые люди, серые от усталости, с воспаленными глазами.

Кржевский в официальном тоне предложил рассказать о сущности дела — «если можно, покороче», добавил он, окинув всех присутствующих острым взглядом маленьких глаз, означавшим, что все утомлены и что он, Петр Андреевич, не должен обижаться на просьбу. Кое-кто поддержал:

— Да, покороче.

Не чувствуя никакого стресса, все с той же темной головой, Коншин начал заранее приготовленной фразой. Врубов, перед которым лежали какие-то папки, раскрыв одну из них, сразу же стал возражать, но Кржевский резко прервал его:

— Это мы уже слышали. Там ничего нет.

Петр Андреевич продолжал говорить. Но он не сказал и десятой доли того, что было обдумано, взвешено, соотнесено, подготовлено, когда Кржевский остановил его.

— Мы обсудили вашу просьбу и вполне с вами согласны,— мягким, доброжелательным голосом сказал он.— Отдел будет восстановлен.

— Но как же конкурс? — почти закричал Коншин.

— Ваш директор заверил президиум, что никто из сотрудников не пострадает.

— Но он действовал незаконно! — воскликнул Коншин.

«Сейчас скажу,— подумал он тут же с похолодевшим сердцем.— Сейчас все скажу. И что с Врубовым невозможно работать. И что отдел надо перевести в другой институт. Левенштейн был прав, все решили без меня, и все довольны своим решением... Но почему Саблин молчит? Он должен сказать, что берет к себе наш отдел!..»

Но Саблин молчал, а какой-то работник аппарата гнусаво сказал, что «конкурс мог быть объявлен на основании постановления министерства» — он назвал дату и номер — и что «все сотрудники будут утверждены в течение десяти дней».

Теперь на Коншина смотрели с умиротворяющим, но и недоумевающим видом. Отдел будет восстановлен, что же еще ему надо?

— Вам мало гарантии президиума? — мягко спросил незнакомый академик с усталым лицом.

— Мне мало восстановления отдела,— зло скосив глаза, тихим голосом сказал Коншин. — Президиум не может дать гарантию в том, что после восстановления мы будем работать в благоприятных... Да куда там! Хотя бы в нейтральных условиях! Единственной возможностью спасения отдела является переход в другой институт. И не кажется ли очевидным...— у него сорвался голос, он справился, но с каждым словом говорил все громче,— что, прежде чем восстанавливать отдел, надо задуматься над тем, почему он был упразднен? Нанесено оскорбление—за что? Казалось бы, без всякой причины? О нет! Причина заключается в том, что для директора не имеет никакого значения научный успех любого сотрудника, любой лаборатории, если из этого успеха он не может извлечь выгоды для себя, связанной с премией или заграничной поездкой. («Ну все, пропал»,— подумал он, посмотрев прямо в

плоские, расширенные от бешенства глаза Врубова.) Институт существует не для того, чтобы содействовать развитию науки, а для того, чтобы украшать существование директора. А наука!..

Он замолчал, и Врубов немедленно прохрипел что-то невнятное, вроде: «Прошу меня оградить!» Но Коншина не останавливали, напротив — слушали с неожиданным интересом.

— И до этого приказа, который граничит с преступлением, наш отдел существовал в атмосфере неприязни, нам отказывали в аппаратуре, не посылали на симпозиумы и конгрессы. Не говорю уж о других, более мелких придирках, отнимавших у меня как руководителя так много времени, что только к концу рабочего дня удавалось вернуться к делу. Мы не жаловались, мы работали. И когда мы были в разгаре работы...

Кржевский поднял руку.

— Простите, еще две минуты,— уже смело, полным голосом сказал Петр Андреевич.— Я готов положиться на благородство Павла Петровича. Но руководство Института в целом... Я имею в виду его заместителя Осколкова. Даже ребенку ясно, что президиум не может гарантировать отсутствие мнительности и незлобивости в характере этого человека. Отдел после восстановления попадет в условия несравненно худшие. Единственный выход — и я убедительно прошу рассмотреть эту возможность — перейти в другой институт.

Легкий шум прокатился по кабинету — многие члены президиума одновременно заговорили друг с другом.

— Но вопрос о переводе в другой институт не был поставлен и не обсуждался,— уже совсем другим, сдержанно-возмущенным голосом сказал Кржевский.— Павел Петрович, сейчас мы закончим, а потом я дам вам слово,— сказал он Врубову, а потом продолжал: — А пока... Вы, я полагаю, согласитесь с тем, что упраздненный и, следовательно, формально не существующий отдел нельзя переводить в другой институт?

...И дальше все пошло очень быстро. Кржевский что-то диктовал стенографистке, все пришло в движение, начался общий разговор, все вставали из-за стола...

— Вы свободны,— сказал Кржевский, и, уходя, Петр Андреевич слышал захлебывающийся голос Врубова:

— Прежде всего...

Коншин вышел в приемную и через открытую дверь увидел взволнованные лица Левенштейна, Ордынцевой, кого-то еще — собрался почти весь отдел.

— Ну как? Что решили?

— Они пошли навстречу нам и решили восстановить отдел.

— А как же насчет перевода?

— Надеюсь, вы согласитесь со мной, что формально не существующий отдел никуда переведен быть не может? — нервно смеясь, спросил Коншин.— Поехали ко мне, расскажу.

50

— Ты понимаешь, я никак не мог трезво оценить то, что случилось. Они приехали ко мне, я рассказал о президиуме, и Ордынцева оценила меня однозначно: «Вы не выдержали. Президиум выдал нас на расправу Врубову, он теперь всех сожрет, и сопротивляться поздно. Второй раз заявление об уходе подавать нельзя — это смешно. Второй раз вся Москва за вас заступаться не будет». Ты знаешь, это состояние, когда внутри все опускается, и все безразлично, и не хочется жить! Но я подумал о тебе: что сказала бы Маша?

— Обними меня. Вот так. Теперь продолжай.

— Левенштейн и Володя Кабанов стали спорить с Марией Игнатьевной, но в конце концов и Левенштейн сказал: «Отдел восстановили, а возможность провалить на конкурсе любого из нас подтвердили. Но ты все равно ничего сделать не мог. Формально президиум прав. Отдел упразднен, стало быть, перевести его невозможно». Я слушал и думал: «Нет, я виноват. Я не выдержал. Когда Кржевский сказал: «Вы свободны», я не должен был уходить. Мне помешала моя проклятая вежливость, я не в силах был кричать на старых усталых людей. А нужно было устроить скандал». Я думал: «Маша сказала, что скандал — это вещь». Потом, когда я вернулся домой, пришли мальчики, которых Врубов прислал в отдел, и один сказал: «Петр Андреевич, считаем своим долгом заявить, что мы — всецело за вас». И оказалось, что приехали многие, но не решаются войти, не зная, в каком я состоянии. Я выбежал к ним, позвал и с той минуты почувствовал, что, хотя ничего хорошего не произошло, меня вроде бы никто

не винит. Когда я рассказывал, мне смертельно хотелось только одного: чтобы они сказали, что ничего большего я сделать не мог. Почти невозможно было объяснить, что мне мешала вежливость, и я боялся, что как раз этого-то и не поймут. Но, кажется, заметили и поняли, только одна Мария Игнатьевна фыркнула: «Жаль, что там меня не было»,— и я согласился, что жаль. Потом начался разговор, в котором все, хотя и по-разному, согласились, что ничего большего я сделать не мог. Конечно, жизнь будет теперь нелегкой. Врубов найдет возможность отплатить, но к трудностям не привыкать, они были и будут. Но потом, когда все разошлись, я почувствовал, что схожу с ума. Предал я их или нет? Была ли возможность переломить ход президиума? Я не мог оставаться один, хотел позвонить тебе, но было три часа ночи, а я знал, что завтра у тебя трудный день. Пошел в ванную, посмотрел на себя в зеркало и, ты знаешь, удивился: таким я себя еще никогда не видел... Ну хватит об этом. Еще ничего не кончилось. Поговорим о другом.

— Так тебе понравились Поповы?

— Да, и особенно Ирина Павловна. У нее становится нежное лицо, когда она слушает музыку.

— Жаль Верочку.

— Да. Она терпелива?

— Очень.

— Тогда все будет хорошо. Дело в том, что Георгий Николаевич просто нужен Кременецкой. Она даже желает ему добра, ведь она, в сущности, человек хороший. Но потом, когда он станет ей не нужен...

— Ты думаешь, станет?

— Не сомневаюсь. Ты бы слышала ее выступление на институтской конференции. Она далеко пойдет.

— Но как же Георгий? Неужели он не понимает?

— Может быть, догадывается. Но он человек, у которого нет представления о тайной цели. Он обманывается в ней, потому что не в силах поставить себя на ее место. Она кажется ему однозначной, а между тем его лаборатория, в которой она стала теперь полной хозяйкой, для нее только ступень, начало.

— Знаешь что? Пойдем погулять.

— Не поздно? Девятый час. И завтра у тебя трудный день.

— Наплевать! И знаешь куда? В лес. Не боишься? По моей любимой просеке.

— Не заблудимся?

— Я найду ее с закрытыми глазами.

51

День был теплый, но ветреный, когда они вышли, еще гнулись тонкие осинки на поляне, за которой начинался лес, а с кленов медленно, нехотя слетали первые листья.

Маша рассказывала, Петр Андреевич слушал ее, бессознательно отмечая в сумерках знакомые места.

— Родители постоянно ссорились, мать, не выдерживая, вцеплялась ему в волосы, он отталкивал ее так, что она летела в другой угол комнаты, и, плюнув, уходил. Причину этих ссор я поняла очень рано — каждый раз упоминалось новое женское имя. Но были и другие причины, из которых главная заключалась в том, что мать была как бы рождена для страданий, а отец — для счастья, которое выражалось в том, что он любил подчинять и подчиняться. Водку и женщин он тоже любил, но это была мелочь, не стоившая серьезного внимания, а главным в жизни было исполнение правил, обязательных для граждан. Он работал в райисполкоме. Правила были записаны где надо, и он наслаждался, наблюдая, чтобы они не нарушались.

...Вот две ели и дуб с мертвой кроной, на котором недавно появился срез с красной отметиной — стало быть, лесники спилят дуб во время очередной санитарной очистки леса. Отметина была чуть видна в полутьме.

— Теперь, когда я оглядываюсь назад, я вижу, что все это было бессознательным сопротивлением. Я не вмешивалась в ссоры между матерью и отцом. Я бессознательно сопротивлялась той атмосфере, в которой они были возможны. Я бессознательно устояла против душевной опустошенности, в которую мать ушла с головой, а ведь она и меня тянула в эту опустошенность. Когда я решилась убежать от нее, это тоже было сопротивлением.

...Вот упавшая поперек, перегородившая просеку сосна — ее почему-то долго не убирают, и Коншину приходится зимой обходить ее на лыжах. Сейчас они перебрались через нее, вдыхая слабый обморочный запах умершей хвои,

— Мама была еще хороша собой, невысокая, стройная, привлекательная. Ни в одной школе она не работала больше года. Она как будто была заранее уверена, что с ней будут спорить, и непременно свысока, чтобы унизить. Только что я привыкала к одной школе, как мама переводилась в другую. Из Углича в Серпухов, потом на юг, в Сухуми. Потом в Батуми. Все, что происходило в каждой новой школе, оскорбляло ее, но не потому, как я поняла в конце концов, что ее не устраивали порядки, а потому, что ее бросил муж и с этим она никогда не могла примириться. О том, что она любит его, я не догадывалась долго и, может быть, совсем не догадалась бы, если бы, когда я была в девятом классе, она не послала ему пальто. Ей хотелось скрыть это от меня, но я случайно узнала. Мы жили на гроши, и она откладывала из этих грошей годами, чтобы послать ему пальто, в котором он ничуть не нуждался.

— Он жив?

— Не знаю. Мама умерла в прошлом году.

Пора было возвращаться, но Петр Андреевич решил дойти до заинтересовавшего его темного пятна, то исчезавшего, то появлявшегося на далеком повороте просеки. Это был человек, как он убедился, подойдя поближе. Маша продолжала рассказывать, но Коншин уже не слушал.

— Ты понимаешь, для меня стало ясно, что в конце концов ее жизнь станет неотвязной частью моей собственной жизни. Но как убежать? У меня дух захватывало, когда я думала об университете. Я с восьмого класса зарабатывала деньги и отдавала матери только половину. А летом нанималась в совхоз — за все бралась, лишь бы заработать. Кончила школу, оставила маме записку, в которой умоляла ее не беспокоиться, и уехала в Москву с двумя платьями, сменой белья и сорока рублями. Подруга, тоже собравшаяся поступать в университет, предложила пожить у родственников, а если сразу не удастся попасть в общежитие, остаться еще на месяц-другой. Я кончила с золотой медалью и могла не держать экзаменов, но на собеседовании чуть не срезалась. Не знала, как ночью определить страны света по звездам.

Человек, стоявший на просеке, почему-то спрятался за деревом, точно поджидая кого-то. Потом вышел, и рядом с ним появился второй. Они стояли, разговаривая, и казалось, что им не было до Коншина и Маши никакого дела. «Повернуть? — подумал Петр Андреевич.— Но что

стоит им догнать нас? Это показало бы только, что мы испугались».

Маша замолчала, теперь и она увидела людей на тропинке.

— Кто это?

— Не знаю.

— Повернем.

У нее был испуганный голос.

— Зачем? — Он обнял Машу за плечи, крепко прижал к себе и сразу же отпустил.

Теперь люди на тропинке стояли молча, дожидаясь.

— Закурить найдется? — спросил один.

Второй зажег и погасил карманный фонарик. Коншин молча протянул пачку сигарет. Взяли оба, чиркнули зажигалкой, закурили.

— Кто такие?

— А вы кто такие? — спросил Коншин.

«Одного прямым ударом в лицо, другого коленом в пах — и бежать,— лихорадочно стало повторяться в сознании.— Куда? В бузину. (Налево неясно темнела заросль бузины.) Только бы Маша не растерялась».

Второй снова зажег фонарь — казалось, он осматривал Коншина и Машу. Оба они были одеты скромно — Петр Андреевич в старом свитере, Маша в дешевом осеннем пальто.

— Деньги есть? — спросил первый.

— Есть, да не про вашу честь,— дерзко сказал Коншин и, когда тот опустил руку в карман (чтобы достать оружие?), вынул бумажник и швырнул на землю.— Нет денег!

Денег действительно не было. При свете фонаря вор с досадой вывернул бумажник, какие-то квитанции разлетелись. Маша невольно хотела поднять их, но Коншин удержал ее.

— Чего стали? Проходите! — крикнул вор.

— Ты мне не указывай, хайло собачье,— тихо и злобно сказал Петр Андреевич, прибавив длинное ругательство, в котором упоминались и бог, и душа, и мать.— И не кричи, сукин сын, а лучше сам уходи подобру-поздорову.

Маша испуганно потянула его за рукав. Он снова обнял ее за плечи, и они не торопясь пошли дальше. Вслед посыпалась такая же бешеная, но как бы несколько озадаченная ругань.

— Испугалась? — ласково спросил Коншин.

— Господи, как я тебя люблю,— ответила Маша.

Он засмеялся и быстро поцеловал ее.

— Бумажник жалко.

— Новый?

— Нет, старый, но я к нему привык.

— Я подарю тебе новый.

— Спасибо.

Они вернулись по другой просеке, перешли площадку, на которой кружились ночные трамваи, и остановились неподалеку от дачи Осколкова. Там было что-то неладно, смятенье, бестолочь, шум. «Волга» стояла у подъезда, кого-то выталкивали из дома, и тот — крупный, плечистый человек в распахнутом плаще — сопротивлялся и, невнятно бормоча, почему-то пытался встать на колени. Подъезд был освещен, но лампочка вдруг погасла, хотя никто еще не спустился с крыльца. Но и в свете уличных фонарей было видно, что человеку, которого тащили, все-таки удалось встать на колени.

— Да где же совесть-то? — вдруг громко, на всю площадь выкрикнул он.— Ведь как же так? Куда же мне теперь? В петлю?

Шофер выскочил, и теперь уже трое или четверо, уговаривая, упрашивая, успокаивая, стащили человека в плаще с крыльца, втолкнули в машину. Двое сели рядом с ним, третий побежал в сторону и пропал за углом. Машина умчалась, все затихло.

— Оч-чень странно,— сказал Петр Андреевич.

Мигом вспомнился ему человек с маленькой стриженой головкой, считавший деньги в столовой Осколкова.

— Какой-то пьяный скандал? — спросила Маша.

— Знаешь, чья это дача?

— Нет.

— Осколкова.

— Как, того самого?

— Вот именно.

— Ну и что же! Он устроил кутеж, кто-то напился, стал скандалить, и его выставили, вот и все.

— Может быть, может быть! Ты не находишь, что у нас сегодня ночь приключений?

Когда собственное решение не помогло во второй, в третий раз, он спросил себя: а нельзя ли отдать это решение другому? В молодости он лечился от бессонницы гипнозом. Почему бы вновь не испытать это средство? Врачи отказывались — страсть к игре не болезнь, это черта характера, а характер нельзя лечить. Осколков все же уговорил молодого психиатра, и, казалось, наметился успех, но ненадолго. Приходилось мириться с неприятным странным ощущением — на следующий день после сеанса он чувствовал, что кто-то неведомый, неуловимый постоянно находится рядом с ним. К вечеру ощущение проходило, а однажды вместе с ним ушло и хрупкое влияние гипноза.

В прошлую субботу, когда Рознатовский и Хумашьян привезли к нему директора овощной базы, которого они предварительно напоили в ресторане «Варшава», и тот, проигравшись, плакал и, как сегодняшний командировочный, бухался на колени, снова было решено, что это больше не повторится. Не просто решено, а клятвенно, твердо, бесповоротно. Он пошел к матери и сказал, что хочет поклясться ей перед иконой. Мать плакала от радости, слово за словом она заставляла его повторять молитву: «Господи, яви надо мной безграничное твое милосердие. Не погляди на грехи мои ради усердной молитвы моей. Сподоби мне вернуться с бодростью и рвением к труду моему. Преклони людей к доставлению мне покровительства. Милость твоя да посетит меня. Да осенит меня сила неисповедимого креста твоего. Яко твое есть царствие во веки веков отца, и сына, и святого духа. Аминь».

Что же заставило его в который раз нарушить клятву? Куда уйти от самого себя?

Жизнь его сложилась удачно. Он всегда добивался своего, и всякий раз это был новый поступок. В молодости его страстью было ломать женские судьбы, но не грубо, а неторопливо, с внезапными уходами и возвращениями, с игрой, которая превращалась в увлекательное, занимательное дело. Несколько раз он принимался составлять список своих женщин, но бросал, не хватало терпения. Случалось, что он отрывал жену от любящего мужа просто потому, что его раздражало зрелище семейного благополучия. Жизнь шла поступательно, перебежками, нападениями, иногда обходами — так он обошел войну, про-

славившись в тылу как опытный и умелый администратор. Потом начались карты, и он быстро научился ценить наслаждение случайности, опасности, риска. Один поступок следовал за другим, играя, он не узнавал себя, он стремительно преображался.

Тогда дело было не только в деньгах — в «крае». За картами он ежеминутно стоял «на краю», и надо было уметь не сорваться. Потом пришли деньги, и он полюбил их за легкость, с которой они ему доставались. Он купил дачу, стал приобретать редкости, драгоценности, холсты — денег было много, и надо было воспользоваться ими умело. Так началась двойная жизнь, бесповоротно его захватившая.

Что привлекало его в ней? Свобода. Поле действия необозримо раскинулось перед ним. Он не знал и не мог вообразить себе никого, кто решился бы на такое мужество двойного существования. Теперь он был «на краю» не только за картами — ежедневно и ежечасно.

Тогда-то и ворвался в его жизнь весь сброд шулерского мира. Но он никогда не запутывался, он держал этот сброд в подчинении. На него снизу вверх смотрели все эти рознатовские и хумашьяны. Его дача была не грязным катраном, в котором обыгрывали доверчивых «лохов». Обыгрывали и у него, но только в тех случаях, когда попадался «жирный лох» и в крупной «выдаче» не было сомнения. Здесь почти всегда играли без шулерских приемов. Здесь мастера с полувековым стажем показывали свое неистощимое искусство. Сюда приходил знаменитый Алексеев, который всю жизнь уходил от полиции и милиции и уже не играл — тряслись руки,— жил за счет шулеров, пообещав им огромное наследство. Здесь на кон ставились десятки тысяч, и сам хозяин не раз проигрывался до последней пятерки...

Но годы шли, и он устал. В газетах стали появляться статьи, которые по касательной задевали его. «У них свои клички, свой язык — деньги они называют «бабками» или «воздухом». Проигрываясь дотла, они говорят, что «нечем дышать». Они объединяются в компании. Они играют в бильярдных, на вокзалах, в аэропортах. Летом — на берегу Москвы-реки, на Ленинских горах, с окружной дороги сворачивая в лес. Они пользуются условными знаками. Время от времени представители шулерских компаний из разных городов собираются — это называется «академия». Обсуждаются организационные во-

просы, показываются новые приемы обыгрывания, распределяются «зоны влияния»...»

У Осколкова немели руки, когда он читал эти статьи.

Давно пора было прислушаться к своей усталости, к своей тревоге. Но вот оказалось, что на это не было сил. Оказалось, что он не может справиться с собой, как он умел справляться с другими. Куда же кинуться, где искать спасенья? Сознание обреченности было в отмене двойной жизни, в однозначности, и эта однозначность могла — так ему казалось — вернуться к нему только в одном случае: если бы он стал директором Института. Идея пришла издалека, со стороны. Идея пришла от затрудненности дыхания, от неполноты «оперативного простора». И в Институте всегда шла игра, но тесная, томительная, продолжавшаяся годами. Теперь она получила новое назначение, новый неожиданный смысл. Когда он станет директором, расстояние от тайной жизни разбогатевшего шулера до нового высокого положения станет невообразимым, беспредельным. В его руках окажется громадное дело, которому он отдаст всю энергию, все свои силы. Он не будет подобно Врубову руководить Институтом по телефону, он отменит бесконечные реорганизации, которые устраивались, чтобы избавиться от самых способных ученых. Он станет опираться на них.

Неужели этот решительный поворот не вернет его наконец к однозначности, не поможет ему победить себя? Так началась эта игра, в которой разговор с Коншиным был первым неудачным ходом. Неудачным, потому что он не разгадал Коншина, и более того, сам был легко разгадан им.

В детстве он видел на паперти молодого нищего, бледного, с сумой через плечо, о котором мать сказала, что он странник и ему «ничего не надо». Казалось, что Коншину «ничего не надо», и это было необъяснимо, опасно.

53

Все было хорошо, но слишком хорошо, и это беспокоило Машу. Уже несколько раз она сталкивалась с мыслью, что Петр Андреевич принимает ее за кого-то другого, за женщину, которую, как ей казалось, он создал в своем воображении. Иногда она почти физически чувствовала, как непохожи на нее его представления о ней, и

приходила в отчаянье. Высказать себя в таких случаях было невозможно, а не высказаться значило оставить его в заблуждении.

У нее был сложившийся характер, сложившаяся жизнь, пусть невеселая, но своя и как бы выстроенная ее руками. Прочно ли? Оказалось, что нет. Оказалось, что все, что она «устраивала» в душе после развода с мужем, рухнуло, развалилось, и она стояла перед этими развалинами растерянная, расстроенная — и не знала, как поступить. Человек, без которого она не могла жить, о котором думала безотвязно, безотрывно, ворвался в этот давно сложившийся мир. Он разрушил его, он устроил в нем сказочный беспорядок, но этот беспорядок был так похож на него, что жить, как прежде, было уже невозможно. Надо, надо было посмотреть правде в глаза, а правда заключалась в том, что они не пара. В старину это, кажется, называлось мезальянс — неравный брак, и нечего было скрывать от себя, что их брак, если бы он произошел, был бы действительно неравным. Две сложившиеся жизни скрестились, сошлись — а что, если не сошлись, а столкнулись? Петр Андреевич не знает, как нетерпима она к малейшему проявлению власти над ней. Он не знает, что сдержанность, к которой она себя приучала годами, засушила сердце. После того, как они встретились, это прошло, она стала мягче, согрелась, раскрылась. Но кто знает, быть может, черствость вернется, когда они привыкнут друг к другу? А сознание, что она неудачница? А ненависть, с которой она подчас смотрела на свою машинку?

Ватазин сказал, что Петр Андреевич мало сказать талантлив, что его догадки иногда приближаются к «грани гениальности». Как она будет выглядеть в кругу этих гениальных догадок со своей полуобразованностью, со своим забытым французским? Со своим самолюбием, со своей беспричинной тоской, от которой подчас некуда было деваться? А ведь в браке власть одного супруга над другим неизбежна. В браке надо учиться смирению, подчинению, утаенности чувств — и не только от себя, от мужа. Маша была замужем, она-то знает, что это для нее невозможно! Страшно подумать, что она начнет ссориться с Петром Андреевичем,— страшно потому, что чувствует свою полную беспомощность перед ним. Нет, не перед ним, а перед всецело захватившим ее чувством принадлежности, от которого некуда было деваться. Она понимала, что необходимо рассказать ему о своих сомнениях,

о своей неуверенности,— все труднее было заслонить ее, утаить. Но она понимала и то, что у нее никогда не хватит мужества открыться перед ним,— ведь если она откроется, если Петр Андреевич узнает всю слабость ее неуверенной, шаткой души, что-то переломится в их отношениях и, кто знает, может быть, это «что-то» станет концом, приговором?

Все это удвоилось, подступило к горлу, когда она убедилась в том, что у них будет ребенок. Счастье, о котором она так долго молила судьбу, на которое давно потеряла надежду. Чудо, отдалявшееся с каждым годом ее оскорбительно-пустой женской жизни, теперь должно было совершиться — и как же она встречала это событие, это чудо?

И прежде Машу мучила мысль, что она и Коншин любят друг друга по-разному. Невозможно было представить себе, что и для него наступило то особенное, непостижимое время, когда довольно увидеть ее, чтобы почувствовать себя по-детски счастливым. Быть может, он любит ее, как любил других? Тогда — страшно подумать,— тогда не нужно, чтобы у них был ребенок.

В этот день она не позвонила ему, не подходила к телефону, с утра до вечера бродила из угла в угол в халате. Обеспокоенный Коншин приехал поздно, она пошла открывать, и он ужаснулся, увидев ее бледную, измученную, с кое-как заколотыми волосами.

— Что с тобой?

Она кинулась к нему.

— Что случилось?

Она смеялась и плакала и прижималась к нему и отстраняла от себя, чтобы наглядеться.

— Садись, и я объясню тебе, почему мы не пара.

— Вот как! Это интересно! Ну-ка объясни.

Он выслушал ее спокойно, серьезно, а потом так же спокойно рассказал ей почти все, что она боялась ему рассказать.

— Неужели ты не видишь, что я уже давно узнал и и понял тебя? — спросил он.— Боже мой, не сердись, это было не так уж и сложно! Но вот в чем дело: скажи, что, по-твоему, могло бы измениться, если бы даже я разделил твои чувства?

— Не знаю. Но я хочу сказать...

— Ничего бы не могло измениться,— поучительно сказал Петр Андреевич.— Потому что мы как раз пара.

И тут ничего не поделаешь. Мы пара. Третий час,— прибавил он устало и поцеловал ее, как ребенка.— Как ты думаешь, еще не поздно выпить чаю?

«Сказать или не говорить? — думала Маша, уже когда рассвело, глядя на его успокоившееся лицо, казавшееся ей прекрасным.— Конечно, да. Но не сегодня. Через несколько дней. Когда не останется никаких сомнений».

54

После гарантий президиума ничего, кажется, больше не оставалось, как взять назад заявление об уходе. Но никто не поверил этим гарантиям. Более того, почти все сотрудники отдела были уверены, что конкурс окажется ловушкой, после чего отдел все равно будет разделен.

— Сговорятся с конкурсной комиссией, а потом тот же Осколков побеседует по-дружески с каждым членом ученого совета, одному пообещает премию, другому поездку за границу,— сказала Мария Игнатьевна.— И будьте здоровы, живите богато!

Петр Андреевич был уверен, что мнения разделятся, и чуть не заплакал, когда его проводили к Врубову единодушными наставлениями не брать заявление назад.

— И вообще — молчи,— посоветовал Левенштейн.

— То есть как?

— Пользуйся разговорной речью только в случае крайней необходимости. Держись загадочно. Вдруг скажи что-нибудь не то. Постарайся оставить его в состоянии остолбенения.

Коншин засмеялся. Но совет был, как он вскоре убедился, дельный.

Врубов встретил его более чем дружелюбно. Пылкая речь Петра Андреевича была упомянута в первых же словах, но в спокойном, миролюбивом тоне.

— А вы, оказывается, горячий человек,— смеясь, сказал Врубов.— Вот уж не подумал бы! Карты на стол, а там — море по колено.

Он подождал ответа. Коншин промолчал.

— Мне хочется заверить вас,— сказал Врубов твердо, уставившись в лицо Коншина стеклянными глазами,— что все зависящее от меня будет сделано быстро и без недоразумений. Соберите сотрудников и скажите им, что конкурс — пустая формальность, будут избраны все. И во-

обще, дорогой Петр Андреевич, не кажется ли вам, что пришла пора новых, более, я бы сказал, естественных отношений?

Тут следовало сказать, что эта пора действительно наступила и что естественные отношения сами собой восстановятся, когда приказ будет отменен. Но Коншин не ответил, и снова наступила пауза, в которой, казалось, было нечто значительное. Ничего значительного не было, однако *как бы могло быть*, и, по-видимому, это заставило Врубова насторожиться. Зашел будто невзначай Осколков и, спросив о чем-то директора, остался в кабинете.

— Вот я говорил Петру Андреевичу, что конкурс — простая формальность,— повторил Врубов.— Так сказать, общепринятая формула перехода. После решения президиума этому может помешать только одно обстоятельство — заявление об уходе.

— Ах, боже мой,— сердечно сказал Осколков.—Да неужели, дорогой Петр Андреевич, вы еще не устали от этого затянувшегося недоразумения? Пришло, кажется, время пожать друг другу руки, обменяться добрыми пожеланиями и — мне ли об этом говорить? — за работу, Петр Андреевич, за работу!

Можно было возразить, что обмениваться добрыми пожеланиями рановато, и Коншин уже собрался было сказать об этом, но, вспомнив совет Левенштейна, только раскрыл и закрыл рот. Снова наступила пауза, еще более неловкая после столь добрых, оптимистических восклицаний. Все трое молчали долго, с минуту. В рачьих глазах Осколкова мелькнуло беспокойство.

— Насколько мне известно, Павел Петрович намерен не только восстановить, но расширить отдел,— сказал он наконец.— Вы, кажется, просили у него третью лабораторию для Ордынцевой. Мы обсудили этот вопрос и согласились, что это действительно необходимо.

Не было ни малейших сомнений в том, что это действительно необходимо. В группе, которой руководила Мария Игнатьевна, молодые и не очень молодые люди давно притерлись друг к другу, и важно было еще больше упрочить эту связь. Но Коншин только сказал совершенно некстати:

— Так.

Это было более чем загадочно. Врубов и Осколков обменялись взглядами. Они были озадачены. По-видимому,

в страшном поведении Коншина им почудилась серьезная опасность.

— Простите,— осторожно сказал Осколков,— я не понимаю, что вы хотите сказать.

Пришло наконец время заговорить. И Коншин, действуя, очевидно, совершенно бессознательно, встал, задумчиво прошелся по кабинету и сказал:

— На конкурс подавать не будем.

Если прежде паузы были недоумевающие, неловкие, неопределенные — новую можно было назвать оглушительной: Врубов и Осколков, как в музее восковых фигур, застыли в позах крайнего негодования.

— То есть как не будете?

Коншин снова промолчал.

— Вы хотите сказать, что все ваши сотрудники намерены уволиться из Института? — спросил Осколков.

— Да, намерены. Если приказ не будет отменен.

Врубов с бешенством ударил кулаком по столу.

— Ни при каких обстоятельствах я этого не сделаю! — закричал он.— Я гарантировал президиуму восстановление отдела, но не давал обещания отменить приказ. Об этом в постановлении нет ни слова.

— Если не ошибаюсь, в военном уставе записано, что приказ заведомо бессмысленный или наносящий очевидный урон подчиненный выполнять не обязан,— возразил Коншин.— Наш разговор, полагаю, закончен?

Он поклонился и вышел. Вернувшись в отдел и отмахнувшись от валерьянки, которую ему снова предложили, он со смехом, правда несколько нервным, рассказал сцену в директорском кабинете. Его горячо одобрили.

— Ага, я же говорил! — воскликнул Левенштейн.— Ни слова?

— Как будто воды в рот набрал.

— Прекрасно! Это скандал, а на скандал они не пойдут.

— Чем черт не шутит, может быть, теперь-то все наладится? — задумчиво сказала Ордынцева.— Поговорю-ка я еще раз с Саблиным. От него многое зависит...

Прошла неделя. Все замерло, остановилось. Втихомолку сотрудники других отделов поздравляли Коншина с победой. Он с досадой отмахивался — не слишком-то заметны были плоды этой победы.

Все действительно замерло, оцепенело. Но в самом отделе работа продолжалась. Более того, сопротивление встряхнуло отдел, и если бы этого не случилось, быть может, не возникла бы необходимость уйти от самоповторения, обновить идеи. Коншин считал, что критический возраст, после которого любая лаборатория начинает терять свою новизну, оригинальность,— десять, пятнадцать лет. Потом начинается плато — равнина, возвышающаяся высоко (или не очень высоко) над морем науки. На этом-то плато и произошла схватка, в сущности бессмысленная, но как бы подхлестнувшая ту стимуляцию лучшего, которая естественно определяет весь ход научного мышления. Но обстановка надолго осталась сложной.

Новая работа Коншина, задуманная в тревожные дни, широко развернулась, опрокинув немало устоявшихся представлений и показав всю значительность «случайных» результатов, которые до той поры не получили объяснений.

И Петр Андреевич с головой ушел в работу — это был волшебный источник, исцелявший от всех горестей, обид и разочарований. За те потерянные часы, недели, месяцы, когда врубовская история «оттащила» его от лаборатории, в науке, которой он занимался, произошли значительные перемены. Он не боялся, что его опередили, это было невозможно. Задача, которой занимался он и круг ближайших сотрудников, должна была казаться — и казалась — почти фантастической, слишком рискованной, ненадежной. Но перемены произошли, и он не мог не считаться с ними.

Никогда прежде сотрудники с такой аккуратностью не ходили на работу. Мария Игнатьевна, долго путавшаяся в мелочах, вдруг поняла, что как раз от этих-то мелочей и надо идти вперед,— и впереди, еще в тумане, мелькнуло что-то похожее на открытие.

Тепляков — это было замечено всеми — стал проводить на лестнице вдвое меньше времени и вопреки настояниям Коншина продолжал ходить в Институт, хотя его астма ухудшилась и он легко мог взять больничный лист.

Ровно в девять утра маленький энергичный Володя Кабанов решительными шагами входил в лабораторию и принимался за дело. Девушки теперь почти не звонили

ему, а когда звонили, он говорил с ними недолго и по-командному кратко. С его точки зрения, стало даже лучше, что отдел попал в «состояние невесомости» и как бы почти не существует. Ведь от несуществующего отдела нельзя требовать, чтобы сотрудники теряли время на никому не нужные комиссии и заседания.

Лучше не было, каждую минуту можно было ожидать, что станет хуже, но, как ни странно, сквозь толщу равнодушия, стремления показать полную лояльность по отношению к дирекции, сквозь приказ, поставивший отдел в унизительное положение, стали мало-помалу пробиваться токи симпатии, сочувствия, внимания. Если взять весь огромный Институт в целом, он, без сомнения, был на стороне упорствующего отдела. Понимали ли это Осколков и Врубов? Трехмесячный срок конкурса давно прошел, и никто не подал заявление на освободившиеся вакансии. Это было естественно, слух о скандальной истории разнесся широко, и никому не хотелось унижать себя, подавая заявление на «живое место».

Так прошла зима — в атмосфере полной неопределенности, которая странным образом противоречила внутренней сплоченности, с каждым днем нараставшей в отделе. Совет, который Левенштейн дал Петру Андреевичу — пользоваться разговорной речью только в случае крайней необходимости,— как бы распространился на позицию всех и каждого в отделе, напоминавшем осажденную крепость. Сорок человек молчали, энергично работали и делали вид, что ничего не случилось. Событием, обсуждавшимся наиболее оживленно, было, как это ни странно, замужество Нины Матвеевны Скопиной, доказавшей таким образом, что ее интересует не только наука. Она вышла за пожилого симпатичного моряка, устроившего шумную, многолюдную свадьбу.

Состоялась общеинститутская конференция, на которой с годовым отчетом выступил Осколков, а Врубов вел собрание и был, по-видимому, в прекрасном настроении. Когда началось обсуждение, он прерывал ораторов шутками, улыбался, острил. Все было в отчете — и то, что научная жизнь Института развивается успешно и быстро, и то, что это происходит отнюдь не в безвоздушном пространстве, а в связи с насущными потребностями страны. Ничего не было сказано только о том, что произошло с отделом Коншина, и он сразу решил, что выступать не надо. Сопротивление невидимо присутствовало на конференции,

и хотя казалось, что с ним никто не считается, на деле все только и ждали, что вспыхнет новый скандал.

Скандал не вспыхнул. По бесшумному приказу дирекции он был заранее как бы выключен из сознания, вынесен за скобки. Но Петр Андреевич ловил одобрительные взгляды, видел благожелательные лица.

Леночка Кременецкая выступила в строгом, немного старившем ее (что здесь было вполне уместно) английском костюме, с конспектом своей речи, в который она даже не заглянула. Она рассказала о перспективах работы под руководством Ватазина («который просил передать свое глубокое сожаление, что болезнь помешала ему приехать на конференцию»), и Петр Андреевич с изумлением убедился в том, что Леночка умело — иногда, впрочем, не слишком умело — пристроила к ватазинской тематике его, Коншина, далеко идущие соображения.

Выступление понравилось. Когда она кончила, в зале раздались даже отдельные хлопки, усилившиеся, когда похлопал сам директор. Она говорила дельно, связно, кратко и как-то так, что было бы даже странно, если бы ей вдруг пришло в голову упомянуть о коншинском отделе.

56

Маша знала, что с Коншиным будет трудно жить, потому что ему самому было жить трудно. И ей легко удалось войти в его дела, заботы и тревоги. Когда, возвращаясь домой, он рассказывал о новых этапах борьбы за отдел, между ними сразу же устанавливалось любимое ею цельное ощущение слитности: все происходило как бы не только с ним, но и с нею.

Основная трудность заключалась в том, что каждый час его домашней жизни был отдан «думанью», которое могло сопровождаться чем угодно — музыкой, ответами на письма, легким разговором. Но иногда Коншин нуждался и в полном одиночестве: стесняясь, он попросил Машу не сердиться за то, что он не будет брать ее на свои прогулки. И она не только не рассердилась, но сказала, что берет на себя защиту этого «думанья», которому на работе постоянно мешали и большие и малые помехи.

Однако вскоре в доме должна была появиться «помеха» — и самая большая, которую только можно было вообразить. Она ждала ребенка, и она невольно боялась,

что его рождение осложнит их жизнь. Где, например, им жить? Однокомнатная квартира в Лоскутове мала для троих. У нее была маленькая надежда, что Трубицын вернется не скоро, хотя устраиваться временно на улице Алексея Толстого тоже совсем не хотелось. Но она получила от него письмо, извещавшее о скором возвращении,— стало быть, об этой возможности нечего было и думать, а заниматься сложной операцией обмена сейчас тоже было некогда.

Все эти тревожные размышления таяли, рассеивались, когда она вспоминала, какое лицо стало у Петра Андреевича, когда он услышал от нее, что у них будет ребенок. С озабоченными, сияющими, изумленными глазами он обнял Машу и трогательно, бережно положил руку на ее живот.

Мир, без всякого сомнения, менялся у нее на глазах: прежний, который существовал до того, как она убедилась в своей беременности, постепенно исчезал, а на его месте появлялся непривычный, новый. И даже если она просто брала книгу и открывала ее, ей казалось странным, что книга — это книга и что ее нужно читать. Это чувство было связано с неусыпной заботой: сделать все возможное, чтобы жизнь, зародившаяся в ней, не только не ушла, не погибла, но спокойно, естественно развивалась. Где-то у Цветаевой она прочла, что мужчины живут, не зная риска смерти, не чувствуя, что придет день, когда к ним приблизится этот риск. А женщины знают и чувствуют, потому что они рожают, а роды — всегда риск! Но для Маши это была еще и неизвестная страна, которая откроется перед ней, когда произойдет чудо, все значение которого она и вообразить не могла, хотя и старалась.

В свободные часы она шила распашонки, вязала чепчики, покупала одеяльца, пеленки, конверты. Суеверная Верочка Попова считала, что шить можно, а покупать ничего нельзя, и вдруг однажды принесла целую библиотеку — Чуковского, Маршака, Чарушина и Бианки. Петр Андреевич смеялся, читая вслух стихи для детей, а потом притащил груду книг, толстых, дорогих, в переплетах. Маша прочитала названия и покатилась со смеху. Это были университетские учебники физического факультета.

— Ну и что ж тут особенного? Вырастет и поступит. Пригодятся.

«Первая мысль, с которой я подхожу к письменному столу,— бежать от него»,— сказал мне однажды автор доброй сотни книг, которые всю жизнь шли за ним по пятам, не давая покоя ни днем ни ночью.

Но вот приходит день, когда бежать уже поздно. Герои заняли свои места и нетерпеливо ждут воплощения. Они видят себя не так отчетливо, как видит их автор. Иные едва намечены пунктиром, иные проглядываются словно сквозь завесу тумана. Становится ясно, что в орбиту работы должно вторгнуться Знание. Это не тот айсберг, о котором некогда писал Хемингуэй. Автор давно обдумал биографии действующих лиц и давно отобрал из этих биографий то, что может ему пригодиться. Это — знание последовательности, с которой одни события следуют за другими.

Еще ничего не рассказано о том, как часто теперь бывает у Коншиных Темиров. Случилось так, что в первый раз, когда он пришел, созвонившись с Машей, Петр Андреевич застал его, и разговор, в котором Паоло рассказал о себе, тронул и заинтересовал Петра Андреевича. Таких людей он еще не встречал. Это тоже была «новизна».

— Конечно, у каждого своя жизнь, и я не знаю, может быть, сам бог устроил, что человек не может жить без крыши над головой, а где мне ее взять, эту крышу? — говорил Паоло.— Конечно, я, в переносном смысле то есть, без дома. Родители надеялись, что из меня доктор выйдет. Но вот вы умный человек, Петр Андреевич, вы хороший человек, я это понял с первого взгляда и обрадовался за Машу, потому что она тоже была одна, а это еще хуже, чем для мужчины. Я обрадовался потому, что в университете был не один. Меня товарищи любили, и мы с Машей тоже были только товарищи, тем более что она, между прочим, была умница и отличница, а я уже тогда не книги в руках держал, а карты. Когда я умру, меня ни одна живая душа не пожалеет. А ведь нужно, чтобы хоть один человек пожалел! Так что ничего, Петр Андреевич, если я буду иногда приходить?

Паоло не женился и не бросил играть. Со всей нерастраченной пылкостью одинокого человека он, как мальчик, влюбился в Петра Андреевича и, когда его нет дома, настойчиво — это смешит Машу — заставляет ее рассказывать о нем. Ему уже известно о несчастье, обрушив-

шемся на отдел, и он серьезно размышляет вслух, *что* он, Паоло Темиров, может сделать, чтобы приказ Врубова был отменен. С трогательным упорством он без конца возвращается к этой мысли.

Однажды, когда Петра Андреевича не было дома, Паоло явился с предложением:

— Слушай, Маша, я в Тбилиси поеду.

— Зачем?

— К отцу. У меня отец видный человек, его весь город, вся страна знает. Академик. Ну, не академик, а вроде. Он меня прогнал и может снова прогнать, если я к нему на голову свалюсь. Его подготовить надо — сын раскаялся, бросил играть и хочет вернуться. Мама может помочь, у меня мама, между прочим, грузинка. Мы с ней тайком видимся, я ее тоже очень люблю. Как увидит меня — плачет. Я ей говорю: «Мама, о чем плакать, у каждого своя жизнь. Я жив-здоров, не плачь, а то я к тебе не буду приезжать, я не могу видеть, как ты плачешь». Она меня все хочет женить, думает, что тогда перестану играть. Но я тебе скажу. Я сам недавно жениться хотел, но знаешь, в последнюю минуту выскочил из окошка, как Подколесин. Потом девушке дорогую брошку прислал, она обиделась, гордая, вернула брошку, и я теперь тебе подарю.

Маша засмеялась.

— Спасибо, не надо.

— Почему не надо? Хорошая брошка, дорогая, и Петр Андреевич не рассердится, он знает, что я тебя как друга люблю. А та девушка... Ты понимаешь, она влюбилась в меня, а разве можно в игрока влюбляться? У него только карты на уме. Хочешь верь, хочешь не верь, семейных среди игроков очень мало.

— Так зачем же ты собрался к отцу?

— Как зачем? Поговорить. Когда меня выгнали из университета, он хотел, чтобы в Тбилиси я на медицинский пошел. Это смешно, правда? Что мне с больными делать? В тридцать одно играть? Или в сингапурскую триаду. Я паспорт разорвал и уехал в Москву.

— Зачем же паспорт разорвал?

— Бумаги были нужны для поступления, но я его разорвал, просто чтобы показать, что из меня доктора не выйдет. Я ему сказал: «Слушай, отец, а твоя жизнь — не игра? Ты всю жизнь играл, чтобы стать академиком, и я тебя за это не виню. Я только еще не знаю, кто из нас честнее играет — ты или я».

— Так о чем же ты все-таки хочешь с ним говорить?

— Я ему скажу: «Слушай, я брошу играть, я сделаю все, что ты хочешь, буду жить в Тбилиси, поступлю на работу, а ты мне поможешь в одном деле?» Конечно, сначала с ним мама поговорит, а уже потом я. Он спросит: «В каком деле?» И я ему расскажу, что эти подлецы с Петром Андреевичем делают. Ты не думай, он влиятельный человек. Если он захочет...

Смуглое лицо Паоло еще потемнело, зубы поблескивали, в больших, добрых, серьезных глазах застыло взволнованное, ожидающее выражение. Маша подошла и поцеловала его.

— Спасибо, Паоло, ты хороший. Едва ли это поможет. Да и как же ты пообещаешь отцу, что бросишь играть? Ведь не бросишь?

— Может быть, брошу.— Он прошелся по комнате и сел, обхватив голову руками.— Эх, Маша! Пропала жизнь. Я все книги об игроках прочитал. Все искал — должен же быть какой-нибудь выход. У Достоевского игрок — не игрок, если он способен много выиграть и в Париж укатить с проституткой. А сам Достоевский? Он играл, чтобы разбогатеть, а потом спокойно работать. Но не для денег играет настоящий игрок. Деньги ему нужны для игры. Он одинокий человек, ни жены, ни детей, он — и судьба. Вот ты говоришь, я добрый человек. Я мать люблю, людей люблю, но куда же мне девать свою доброту? Человек должен иметь назначение в жизни. У меня нет назначения. У меня предназначение, а это значит, что выхода нет. Нет, пропал, не утешай! Я не люблю, когда меня утешают.

58

Пришел Петр Андреевич, и Паоло просиял. Маше он сделал большие глаза, это означало: молчи. На такой откровенный разговор при Коншине он бы не решился. Маша чуть заметно кивнула.

За ужином он рассказывал о шулерах.

— Ко мне, между прочим, это не относится. В конторе знают, что я порядочный человек.

Конторой Паоло называл угрозыск.

— Конечно, допрашивали много раз, но я сказал: «Все могу, но не стану, потому что это обман доверия». А так знакомятся, конечно, где-нибудь в порту или на вокзале.

Видимость случайности. «Извини, пожалуйста, товарищ, ты не из Новосибирска?» Или: «У меня как раз два свободных места в такси». И прямо в ресторан. Конечно, не всякий ресторан, а с договоренностью, например «Варшава» или «Прага». Еще за столом начинают играть, сперва по маленькой. Если рыбак — «Неужели не знаешь рыбацкую секу?» Название игры. Еще японский сундучок, три листика, тридцать одно. Тот, с которым играют, называется лох. Если лох попадается богатый, но недоверчивый, осторожный, его в катран не везут. Конечно, можно намешать в коньяк химикат, но опасно. Придет в себя, начнет шуметь, и отмазаться не всегда удается. С таким надо играть в хорошей интеллигентной семье. Какой-нибудь рыбак или зверолов с Камчатки с большими деньгами. Для таких квартира: «У меня знакомый есть, между прочим, известный ученый. Поедем к нему». Созваниваются; рядом лох в автомате. «Валентин Сергеевич, можно приехать? Случайный знакомый, но очень хороший человек».— «Пожалуйста, буду рад». И едут.

— Постой, постой, как ты сказал? — спрашивает Маша.— Валентин Сергеевич?

— Да. Но это я случайно назвал настоящее имя. Можно сказать иначе — Иван Петрович.

— Настоящее?

— Да.

— А как фамилия этого Валентина Сергеевича?

— Осколков. Он, кстати, живет здесь, в двух шагах. Такой старинный дом вроде дачи. У трамвайной остановки. Мерзавец. Почти убийца.

59

— Может ли быть? Вы уверены, что не ошибаетесь, Паоло?

Петр Андреевич не мог прийти в себя от изумления.

— Я ошибаюсь? — закричал Паоло.— Пускай меня живым сожгут, если я ошибаюсь!

Маша вспомнила о странной сцене у крыльца, когда подле дачи тащили кого-то в машину, и Паоло сразу же сказал, что это был командированный из Ростова-на-Дону, который проиграл казенные деньги. Коншин рассказал, как он случайно увидел в столовой Осколкова странного старика, считавшего деньги, и Паоло не замедлил назвать старика: «Рознатовский».

— Какой он Осколков, у него кличка есть — Бухенвальд. Он не человек. Из-за него один директор мебельного магазина удавился.

— Удавился?

— Ну, как сказать по-русски? Повесился. Тоже командировочный. Откуда-то из Сибири. Все проиграл — и свое и казенное. В землю кланялся, просил обратно часть. Не все деньги, небольшую часть. На обратную дорогу. Не дал. Петр Андреевич, я вам не рассказывал, Маша знает. У меня отец — академик, он на него заявление подаст.

— Поразительно! — говорил Коншин.— Ты, Маша, не видела Осколкова. Все что угодно можно подумать о нем, но представить себе, что этот человек... с его аккуратностью, с его строгостью, с его отвратительным деловизмом, за которым, в сущности, ничего нет, потому что дела-то он и не знает! Этот человек, у которого каждое чувство, кажется, взвешено, занумеровано! Этот холодный, как лед, деляга... Ведь что же? Значит — двойная жизнь? И не месяц, не два, а может быть, годы?

— Годы! — кричал Паоло.— Он подлец, вор! У меня друг есть, ну, не друг, а знакомый. Уже пожилой, с высшим образованием. Мы вместе к нему пойдем. Он ему объяснит: «Знаешь Коншина?» — «Ну знаю».— «Так вот что, слушай! Или ты его оставишь в покое, или мы тебя уберем».

Петр Андреевич засмеялся.

— Маша, скажи ему! Разве ты мне не говорила, что этот подлец — правая рука директора? Ведь если узнают, что он занимается такими делами...

— Нет, Паоло,— сказал Коншин.— Как бы тебе объяснить. Тут всякий окольный путь... Об этом нечего и думать. Конечно, это могло бы его дискредитировать...

— Ди-скре-ди-ти-ро-вать? — переспросил по слогам Паоло.— Я его убью. Маша, скажи мужу. Я ему счастья желаю!

— Спасибо, мой дорогой.

С доброй улыбкой Паоло дал поцеловать себя и беспомощно развел руками.

— Что спасибо? Ты хочешь, чтобы я сам в контору пошел? Этого я не могу. Тогда меня свои, между прочим, зарежут. И, между прочим, за дело.

— Ни в коем случае,— сказал Петр Андреевич.— Осколков как дракон о трех головах. Его не убьешь. Он не один. Меня-то, без сомнения, он бы в подобном случае...

Но я, к счастью, не он. Все к лучшему! Машенька, у нас есть там еще коньяк? Выпьем за здоровье Паоло.

— Маша, ну скажи ему! Как же так! Он тебя послушает. Ты умница, красавица. Если такие люди есть, значит, бог есть. Мать говорит — я жениться должен. Чтобы дети были. Нормально жить. На ком жениться? Где такую найти? И ты знаешь, странно! Меня не интересуют женщины. Попадались хорошие. Приличные. Не интересуют.

60

— Я тебе помешала? Позвонить позже? Мы давно не виделись, а хотелось бы посоветоваться...

После доклада на конференции, когда Леночка Кременецкая так ловко «вмонтировала» его мысли в свои, просить о новых советах?.. Он промолчал.

— Я бы охотно пригласила тебя к себе, но ты ведь не приедешь?

— Нет.

— Знаешь что? Встретимся где-нибудь неподалеку от твоего дома. Кажется, тебе будет интересно то, что я собираюсь тебе рассказать.

— Опять кто-нибудь зашатался? — спросил он, вспомнив, как «шатался» Саблин перед президиумом.

— Напрасно ты иронизируешь. Серьезное дело.

Вечер был светлый, жара отступила, когда они встретились в условленном месте и медленно пошли по тропинке, поглядывая друг на друга.

Леночка была в брючном костюме, что очень ей шло, была подтянута, с чуть накрашенными губами,— и уже невозможно было представить ее в стареньком купальном костюме на пляже в Прибрежном.

— Что это ты так похудел? Я на днях видела тебя в Институте — ты шел как сомнамбула, но выглядел, кажется, лучше.

— Нет, я здоров. Как ты?

— Вот постриглась. Идет? Или ты не заметил?

Тон был свободный, но слишком уж свободный, и Коншин разозлился. Он забыл побриться, поношенный пиджак болтался на костлявых плечах, это раздосадовало его с первых минут встречи, когда он увидел нарядную Леночку. Но теперь он уже сердился на себя за эту досаду. Кроме того, ему было жалко времени.

Леночка тем временем рассказывала, как ей трудно. Ватазин постоянно болеет, лаборатория запущена. Нужно хлопотать о новых штатных единицах, и она уже выхлопотала две и теперь ищет подходящих людей. Петр Андреевич слушал и не слушал.

— Я похудел потому, что мало сплю и много работаю. Тебе трудно с Ватазиным, ты постриглась, и тебе это, кажется, идет. Но все это как-то не относится к делу,— медленно выговаривал он.— Ведь ты приехала по какому-то делу?

— Ох, мне трудно говорить с тобой в таком тоне! Ты сердишься на меня?

— За что?

— Не притворяйся. За все, что я у тебя украла. Но я подумала: «Ведь он, в сущности, ничего мне никогда не дарил». Вот это и был твой подарок. Ты ведь не жадный? И потом, если бы я сослалась на тебя, получилось бы, что между нами... Получилось бы, что я сослалась на то, что между нами было.

Петр Андреевич засмеялся. Он не ждал такой откровенности.

— Да полно! Это пустяки.

— И, кроме того, многое из сказанного тобой я просто не понимаю.

Они помолчали.

— Так решено не подавать на конкурс?

— Допустим,— осторожно сказал Коншин.— А что?

— Нет, ничего. Скучно у Ватазина. Знаешь, о чем я на днях говорила с Врубовым? Когда все уладится, не будет ли он возражать, если я перейду к тебе?

— И что же он?

— Не будет.

— Ага, не будет. А тебе не кажется, что, прежде чем говорить с Врубовым, следовало бы...— Он сдержался.— Так он считает, что все уладится?

— Не он, а я.

— Ах, ты?

— Я думаю... Впрочем, даже не думаю, а точно знаю,— она подчеркнула это слово,— что если ты возьмешь назад свое заявление об уходе, он отменит приказ.

Коншин остановился и пристально посмотрел ей в лицо.

— Так,— сказал он.— Ясно. То есть ясно, зачем ты приехала. Или, точнее, ясно, *кто* тебя *подослал.*

— Не подослал, а *попросил* съездить.

— А почему именно тебя? Очевидно, у него есть для этого свои основания?

— Да, но не те, о которых ты думаешь. О наших отношениях я ничего ему не рассказывала...

— Еще бы! О наших отношениях знал весь Институт!

— Ну, это другое дело. Ему я ничего не говорила. Ты сам подумай — зачем? Просто ему известно, что мы давно знакомы.

— А, *просто!* — стараясь успокоиться, сказал Петр Андреевич.— Стало быть, Врубов просил, чтобы ты уговорила меня взять назад заявление? А, собственно говоря, почему вдруг такой оборот?

— Потому что его вызвали в бюро отделения, и Кржевский... Не знаю, о чем они там говорили. Правда, он ждет выборов в Академии и надеется, что Кржевского не выберут,— но ведь могут и выбрать?!

— Очень хорошо,— начиная звереть, сказал Коншин.— Ты, стало быть, у директора на побегушках? А хочешь, я тебе скажу, что из тебя получится? Или, точнее, что из тебя имеет быть?

Он не знал, почему «имеет быть» точнее, он уже не помнил себя.

— Тебе сейчас трудно, потому что Ватазин болеет. А потом, после докторской, ты сама его спровадишь, чтобы занять его место. Ты его с помощью того же Врубова доконаешь, потому что у тебя мертвая хватка. А потом, когда он умрет или уйдет, ты вместе с Врубовым будешь управлять Институтом. И тебя будут бояться так же, как и его, потому что тебе, как и ему, наплевать на науку. Ты будешь сталкивать людей лбами, ты будешь подкапываться под тематику чужих лабораторий. Ты научишься сговариваться заранее, чтобы провалить того, кто станет тебе сопротивляться или просто не захочет участвовать в твоей игре. Ты будешь и хитрить, и притворяться простодушной, и лицемерить, пока не станешь в конце концов тем же Врубовым, только в юбке, а может быть, еще и пострашнее, потому что он все-таки был когда-то человеком науки. А теперь передай, пожалуйста, своему патрону,— успокаиваясь, сказал Коншин, с удовольствием наблюдая, как, побледнев, она жестко поджала губы,— что я возьму назад свое заявление лишь только в одном случае: если он отменит приказ.

61

Наконец шевеленье произошло, она его узнала не сразу, это был радостный день. Пришло спокойствие и вместе с ним странное чувство все усиливающегося *нарушения*. Она была нарушена, она была не она. Впервые появилось ожидание приближающейся опасности — нешуточной, грозной.

Маша не испугалась, она знала, что надо справиться с этим чувством,— и справилась. Ничего особенного, просто теперь ей приходилось носить еще и этот страх вместе с ощущением долгожданного счастья, тревоги. Тайком она написала маленькое прощальное письмо — кто знает, все может случиться!

Никогда еще Петр Андреевич не был так внимателен к ней, так настоятельно заботлив и добр. Иногда ей казалось, что с появлением ребенка он ждет исполнения каких-то особенных тайных надежд. Появление ребенка связывалось в его сознании с освобождением от душевной усталости, от сложного сплетения неизвестности и риска — словом, от того, о чем он не хотел и не мог рассказать ей, а она, в свою очередь, не хотела и не могла заставить его сделать это.

По ночам, когда не спалось, она думала о странной одновременности своих двух душевных состояний. В ней была новая жизнь, ее тело было как бы удвоено, ее ни на минуту не оставляло счастье исполнившегося желания. Но впереди была неизвестность, опасность, тревога.

Она простудилась, врачи запретили антибиотики, которые могли повредить ребенку, и пришлось лечиться домашними средствами, а грипп был затяжной, тяжелый. Но она выкарабкалась. Когда на грудь клали горчичники, он (или она) начинал лупить ногами и ворочаться, как медвежонок. И начинался бесшумный диалог с неведомым явлением, которое «нарушало» ее, которое причиняло ей боль, которое она ждала радостно и нетерпеливо. «Ну, миленький, успокойся,— уговаривала она его.— Перестань барахтаться. Ты девочка или мальчик?»

62

«Москвич» останавливается у бывшего купеческого дома в Лоскутове. Хозяин открывает сам — он в пижаме, и они просят его одеться. Может быть, когда он надевает

свою ослепительно белую рубашку, его руки немного дрожат. Впрочем, он спокоен. Но ярко-голубые глаза как бы подернуты дымкой. Короткий двухминутный разговор. Осколков зовет мать.

— Я уезжаю, мама, наверно, надолго. В кабинете на моем столе лежит папка, передай ее, пожалуйста, Врубову. И никому другому. Институтские дела,— поясняет он непрошеным гостям.

— Ясно,— отвечает первый, а второй как эхо повторяет «ясно».— Впрочем, вы скоро вернетесь домой.

— Да?

— Часа через два-три.

Но он возвращается позже. В большом здании на Петровке он поднимается на четвертый этаж, холодно поблескивают панели, одна белая дверь повторяет другую, сияют ослепительной чистотой пол, потолок и стены, коридор кажется бесконечным.

В самом обыкновенном маленьком кабинете начинается подробный разговор — без сомнения, он записывается, потому что, подводя итоги, Осколкова просят подписать протокол. Его настойчиво просят припомнить тот вечер или другой, того человека или другого. Вероятно, его снимают — и едва ли фотографии удаются, он удивительно непохож на себя. Оказывается, он способен похудеть в течение получаса. Оказывается, полная достоинства осанка, которую он носил, как носят изящно сшитое пальто, может слететь, как слетают под ветром осенние листья.

Когда он жалуется на забывчивость, ему напоминают. Когда он отказывается признать свою подпись на документах, расписках, ему предъявляют неопровержимые данные экспертизы. Ему предлагают чай, бутерброды. Он отказывается.

— Еще рано, в это время я никогда не ем.

Но проходит еще два часа, и он пьет холодный чай и ест бутерброды. Платком он вытирает пот на высоком выпуклом лбу. С двумя следователями он поднимается на восьмой или девятый этаж. В крошечном просмотровом зале ему показывают фильм. Зачем? Может быть, чтобы убедить его в полной осведомленности — из немалого числа серьезных обвинений он в некоторых решительно отказывается сознаться.

Человек в глухой маске, закрывающей его лицо, кроме глаз, показывает шулерские приемы. Молодые руки, молодой убедительный голос. Сперва быстро, как это проис-

ходит в игре, потом медленно, чтобы стало ясно, как же все-таки это происходит. Но что это? На экране вдруг появляется столовая карельской березы с удобными креслами-стульями, внушительным буфетом, на котором стоят хрустальные вазы в серебре, китайские тарелки, фужеры из цветного стекла. На столе вино и закуска, во главе стола — сдержанно улыбающийся, в изящном белом костюме хозяин с колодой в руках, окидывающий гостей снисходительным взглядом.

Кадр останавливается, следователь называет гостей одного за другим — фамилия, кличка — и умолкает, услышав негромкое хриплое: «Довольно».

— Может быть, в самом деле довольно?

Снова лифт, на этот раз вниз,— и Осколков в огромном светлом кабинете. Длинный стол крестообразно соединен с другим, для совещаний, еще более длинным. Навстречу встает еще не старый высокий человек в генеральском мундире. Разговор поразительно откровенный.

— Пожалуй, некоторое время мы еще не стали бы беспокоить вас по причине, о которой нетрудно догадаться. Ваша квартира представляет собой центр, в который стекаются люди богатые, у нас это, понятно, нуждается, я бы сказал, в тщательном изучении. Откуда берутся крупные деньги у заведующего мясным отделом в продовольственном магазине или, скажем, у заведующего кладбищем? Судьба подобных людей интересует нас, уважаемый Валентин Сергеевич, и вы, может быть даже не подозревая об этом, помогали нам. Да, помогали. Но вот, к сожалению, ваше положение изменилось. Кто-то помимо нас и независимо от нас узнал о вашем, так сказать, хобби, и это, увы, заставляет нас поторопиться. Так что придется, придется вам закрыть свою квартиру для посторонних. Я полагаю, дальнейших объяснений не потребуется, не правда ли? До поры до времени вы можете вернуться домой, а в дальнейшем... Ну, пока еще трудно сказать.

Пауза.

У Осколкова немеют руки. Сильнее — левая. Плохо.

— Мне еще труднее сказать. Но самое время... И не только сказать, но и рассказать. Сперва о картах. Этот в маске, которого вы мне показали — Хумашьян. Недурной, в сущности, человек. И кто меня раскрыл — знаю. Он работает у вас: Адоная. Послушайте, я тайно верующий, я молил бога, чтобы меня оставила эта страсть. Если бы мне досталось настоящее дело, а не наш Инсти-

тут, этот гадючник, где все, кроме немногих счастливых одиночек, хотят съесть друг друга — ведь я бы себя показал. У меня силы много. И горько думать, что злоба, которую я разжигал в себе годами, могла бы обернуться делом, добром.

Он ищет в кармане пиджака валидол. Забыл в пальто. Досадно.

— Я одинок, ни родных, ни друзей. Никого, кроме матери, которую я каждый день своими картами убивал. Вас я не знаю. Но на краю пропасти терять нечего. Вы что же, не видите, что от равнодушия окостеневают люди? От пустоты. И она не стоит на месте. Она рвется вперед, подминает, наступает. Наука. Да что наука? Не только в науке мертвецы хватают и душат живых. Тсс! Молчу. Ни звука, ни слова. Да и жаловаться не на кого — вокруг меня глухо, темно. Только на себя. Вот я сейчас голый стою перед вами, и мне не стыдно, потому, что я самый стыд давно потерял.

Ярко-голубые глаза смотрят спокойно, но рука — черт с ней! — онемела.

— А ведь я в детстве любил людей и жалел — вот о чем я вспоминаю с изумлением. Извините, задохнулся.

— Успокойтесь, Валентин Сергеевич. Выпьем чаю. Закурим, помолчим.

— Я спокоен. Так вот, пустота. Ее-то я и пытался заполнить. Чем, вы спросите? Мусором, деньгами. Вот вы, без сомнения, думаете — Институт одно, а катран другое. Да для меня... Я иной катран на наш Институт не променяю. В катранах рискуют, страсть, а в институтах подкованными картами без риска играют. И мы с Врубовым играли подкованными картами, чтобы Коншина убрать, потому что он не хотел встать на колени. Он не ангел, но он — талант, а ведь это опасно! Потому что талант знает, что без порядочности науку двигать нельзя. Он это, может, чувствует и прав, прав! Там где порядочность и любовь к людям — нет пустоты. И ему сочувствуют — разумеется, втайне, а мы это сочувствие хотели ободрать, принудить, купить. Может быть, эти дела вас не касаются. Но надо же сказать все хоть единожды в жизни.

Он усмехается.

— И не нужно думать, что теперь это мне дешево стоит. Дорого. Но вы знаете... Ведь у меня вот сейчас стало легко на душе. Как видно, я недаром детство вспомнил. Было же время — лет до пяти — когда я не лгал...

Странный слух разносится по Москве, передается из уст в уста, разрастается, принимает все более отчетливые очертания. Правда ли, что некоего Осколкова, заместителя директора одного из крупных институтов, снимают с работы, потому что за ним числится уголовное дело? Правда ли, что его квартира давно находилась под наблюдением угрозыска? Правда ли, что какой-то человек, обыгранный им, покончил с собой? Об этом говорят в кулуарах. Об этом говорят в университете, в Большой Академии. Об этом говорят — и, кажется, готовится статья в «Литературной газете».

Но может ли быть, что в квартире знатока искусства, русской живописи двадцатых годов, любителя музыки и театра происходили подозрительные сборища, на которых *крупно* играли? Да не просто играли, а обыгрывали до нитки незнакомых или полузнакомых людей. Истина перемешивается с вымыслом — об Осколкове начинают говорить как о вожаке московских шулеров, как о виртуозе мошенничества, которого знает и уважает весь карточный мир. Необыкновенный факт постепенно приобретает не менее необыкновенную психологическую основу: у него бывают падения и взлеты, однако многолетний опыт не позволяет ему опуститься, он знает, что в этом случае ему придется отказаться от двойной жизни, в которой он находит особенную остроту и прелесть.

Эти предположения принадлежат самым младшим сотрудникам — тем самым, которых Врубов прислал для «укрепления отдела». «Талантливые мальчики», — замечает, оценивая этот психологический анализ, Левенштейн.

Кто знает? Может быть, они правы?

63

Где-то вспыхивает слушок. Странный слушок, почти нелепый, ему невозможно поверить! Он прокатывается и замирает. Потом снова вспыхивает в самом незаметном уголке Института. Намеки, удивленные восклицания, двусмысленности, злорадные шутки, выразительные жесты — палец к губам — и неопределенное пожимание плечами. Он прокатывается еще и еще раз, приобретая твердость. Он не смолкает. Он становится уже не слушком, а слухом, который разрастается, принимая все более отчетливые очертания. Между тем герои этой книги, уже давно занявшие свои места, окружают автора, который чувствует

себя среди них своим человеком. Он еще и еще раз возвращается к «тетради планов», просматривает черновики. Что еще может пригодиться? Вчерашний день, случайная встреча? Происшествие, которое необходимо рассказать, чтобы читателю стало ясно то, что происходит на последних страницах романа? Врубов звонит Петру Андреевичу и просит его заглянуть. Заглянуть? Вот именно. Если у него есть время.

64

Коншин впервые был у Павла Петровича и подивился сравнительной скромности его квартиры, небольшой, даже, скорее, маленькой. В кабинете стоял старый кожаный гарнитур с глубокими удобными креслами. На стенах висели портреты Пастера и Коха. Уютно тикали висевшие над книжным шкафом тоже старые часы с медным циферблатом.

— Ну-с, Петр Андреевич, вот вы и у меня — лучше поздно, чем никогда. И как это я раньше не догадался пригласить вас. Ручаюсь — доброй половины недоразумений не было бы! Недаром же государственные деятели предпочитают личные контакты.

Таким Коншин его еще не видел. Он был в какой-то не то домашней, не то охотничьей мягкой куртке, лысая голова весело сияла, а в глазах — трудно поверить — затаилось тоже веселое, лукавое выражение. «Ну, держись»,— подумал Петр Андреевич.

— Вы, я полагаю, спрашивали себя, зачем этот старый, ну, скажем, дипломат вас пригласил. Ответ покажется вам странным: познакомиться. Ведь, в сущности, я почти не знаю вас. Деловые отношения не в счет. На работе мы волей-неволей вступаем в некие, я бы сказал, маскарадные отношения. Слов нет, они неизбежны. Более того — необходимы. На работе не станешь всем и каждому исповедоваться, не правда ли?

— О да,— вежливо ответил Петр Андреевич.

— А ведь иногда хочется поговорить именно откровенно. Ну, скажем: попробуйте вообразить себя на моем месте. Вы думаете, я не вижу, что Институт рыхлый? В нем действует одновременно множество колесиков, пружин и винтиков, и действует разнонаправленно,— я имею в виду личные отношения.

Он помолчал, быть может надеясь, что Коншин согласится. Но Коншин промолчал.

— Вы могли бы без лишней скромности — а она вам в высшей степени свойственна — сказать, что ваш отдел лучший в Институте. Любой сотрудник, в том числе и я, не может с этим не согласиться.

— Благодарю вас.

— И не удивительно, что это вызывает весьма сложные чувства, о которых вы даже не подозреваете.

— Очень даже подозреваю.

Врубов поморгал.

— Находятся люди,— продолжал он,— нет необходимости их называть, они стараются встать между нами. Между тем я совершенно ясно представляю себе, что случилось бы, если б ваш отдел перешел в другой институт. Может быть, на первый взгляд ничего особенного! Но я, как директор, обязан смотреть с более широкой точки зрения. И я почти убежден, что в этом случае Институт, ну, что ли, потускнеет. А между тем по иерархии он занимает в сознании биологов всего мира весьма заметное место.

«К чему ты, сукин сын, клонишь?» — подумал Петр Андреевич. Эти комплименты в особенности напугали его.

— Мне известно, что вы хотели перейти к Саблину. Слов нет, у него хороший институт и ему хочется, чтобы он стал еще лучше. Но у него нет помещения для вас, и хотя я слышал, что Арнольд и Семенов готовы потесниться, вам придется втискиваться, а это лишит вас спокойной работы на годы.

— На годы?

— А что вы так удивлены? Проект нового здания только что утвержден, и даже если у Саблина это дело заиграет, раньше чем лет через пять рассчитывать не приходится.

— Рабочая атмосфера важнее помещения.

— Верно. Но теснота неизбежно начнет сказываться на отношениях, то есть именно на рабочей атмосфере.

Они помолчали.

— Между тем время идет,— продолжал Врубов.— Появляются новые люди. Вот на последней конференции Кременецкая выступила с блестящим докладом.

— Да, она очень способный человек,— согласился Коншин.

— Какие же из этого вышесказанного, как говорили в старину, следуют результаты? А следует то, что ваш отдел надо расширить. Мы, помнится, уже говорили о третьей лаборатории, не так ли?

— Да.

— Вот и должно ее организовать. И, по всей видимости, возглавить ее должна Мария Игнатьевна Ордынцева. Правда, у меня с этой дамой свои счеты...— Он добродушно рассмеялся.— Но так уж и быть. Так что вы об этом думаете, дорогой Петр Андреевич?

Впервые в жизни Коншин понял, что значит онеметь от удивления. Он смотрел на Врубова, широко открыв глаза и стараясь справиться с чувством, которое при всем желании не мог бы ни выразить, ни определить.

— А как же конкурс? — наконец выговорил он.

— Какой конкурс? Ах да! Ну, это не имеет значения. Срок кончился, никто не подал, и, следовательно, не будет никаких перемен.

Никаких перемен! Полгода — куда там, больше! — беспокойства, тревоги, смятения, колебаний, огорчений, подавленного страха, суеты, бессонных ночей! Коншин побледнел. «Теперь надо сдержаться, не удивиться, промолчать. Сделать вид, что ничего другого я и не ждал».

— А? — спросил Врубов, и как будто с другого конца света донеслось это несмелое, слабое «а».

— Ну что же, прекрасно,— спокойно сказал Петр Андреевич.— В таком случае полезно было бы поставить мой отчет на ближайшем ученом совете. За последний год сделано немало. А теперь, когда Мария Игнатьевна получит лабораторию, в отчете найдет свое место и новая структура отдела. Кроме того, вышел большой том избранных трудов Шумилова, подготовленный моими сотрудниками. Я расскажу о нем.

— Вот и прекрасно!

Они помолчали. Часы тикали в тишине и вдруг неторопливо, важно пробили три раза. Петр Андреевич взглянул на свои часы — без четверти десять.

— Смотрите пожалуйста,— вдруг сказал он.— Часы-то ваши! Бьют каждые четверть часа!

И странным образом эта ни к чему не обязывающая фраза подвела итог неожиданному разговору.

— А Марии Игнатьевне скажите,— прощаясь, сказал с веселой улыбкой Врубов,— что если ей придет в голову ругать меня в автобусе, пускай она у..., что ли, умерит силу своего голоса. А то находятся доброхоты, которые на следующий день извещают меня о ее соображениях, причем, представьте себе, даже в письменной форме!

На другой день в квартире Коншина набилось так много народу — было воскресенье,— что Маша даже растерялась: в доме не оказалось ничего, кроме полбутылки коньяка, а между тем событие необходимо было отметить. Впрочем, Левенштейн, приехавший на такси, предусмотрительно не отпустил машину, и уже через час состоялось нечто вроде маленького банкета; в кухне за это время был приготовлен винегрет на двадцать пять человек. Говорили все сразу, перебивая друг друга.

— Зачем же все-таки нашему вурдалаку понадобилась вся эта затея?

— Марья Игнатьевна, кого вы называете вурдалаком — Врубова или Осколкова?

— Обоих.

— Может быть, директору в Академии врезали?

— Какое там!

— Ему просто надоело с нами возиться.

— Товарищи, а может быть, суть дела в Осколкове? Говорят, за ним какое-то уголовное дело?

— Петр Андреевич, почему у вас такое загадочное лицо? Вы что-нибудь знаете?

— Нет.

— Ведь дача Осколкова рядом с вами.

— Ну и что же? Дача как дача.

— Если его снимают или уже сняли, все ясно!

— Вообще говоря, у Врубова, без сомнения, какие-то неприятности. Вы заметили, что с недавних пор он каждый день бывает в Институте? И выглядит плохо.

— Петр Андреевич, расскажите еще раз!

— Да что же рассказывать? Срок конкурса давно прошел, никто не подал, стало быть, и приказа как будто и не было. Никаких претензий. Кроме, впрочем, одной. К Марье Игнатьевне.

— Вот еще! Что же ему от меня надо?

— Немного. Ему не хочется, чтобы вы его поносили в автобусе.

— Поносила,— с гордостью призналась Мария Игнатьевна.

— А ведь, пожалуй что, и не стоило. Доехали бы до дому да и отвели бы душу.

— Собеседник попался хороший.

— Кто же именно?

— Колышкин.

— Какой Колышкин?

— Стеклодув. Я его сто лет знаю.

Все рассмеялись.

— Но не один же Колышкин был в автобусе?

— Разумеется, не один. Полный автобус.

— А голос у вас...

Петр Андреевич прислушался.

— Кажется, звонок?

Он вышел в переднюю, и Володя Кабанов, сияющий, с пакетами, с авоськой, из которой торчали две бутылки шампанского, стремительно влетел в квартиру.

— Держу пари, что не поверите! — кричит он.— Осколкова сняли! Мне Павшин звонил!

— Да что ты говоришь!

— Быть не может!

— Вот бы не поверила!

— Никто не верит. Товарищи, вы понимаете, насколько это ослабляет положение Врубова?

— Теперь все ясно.

— Ведь это все равно что отсечь ему правую руку.

— Петр Андреевич, что же вы молчите?

— Думаю.

— О чем?

— О Саблине. Поработаем год-другой, а потом — к нему.

66

Машины сроки приближались, и, может быть инстинктивно чувствуя, что скоро у него не останется времени на размышления, Коншин энергично принимается за «оставленное на потом». Уже давно он наткнулся на мысль, которая осветила все, над чем он работал в последние годы, и теперь оказалось, что «оставленные на потом» незначительные, непонятные факты, которые он как бы ронял на пути к этой еще неведомой цели, связаны между собой, хотя еще вчера они были безнадежно далеки друг от друга.

И он с размаху врезался в ту сравнительно редкую для него полосу, когда знание, казалось, почти физически превращалось в сознание. Когда ему представлялось странным, что он существовал *до* этой мысли, примиряясь с ее

небытием, с темнотой, в которой она таилась. Но одновременно он понимал, что еще два-три тому назад года он просто не знал бы, что ему с нею делать.

Теперь он знал. Теперь в опустевшем, гулком отделе, где ему никто не мешал — почти все сотрудники были в отпуске,— он работал как бешеный и был счастлив как никогда. Все события, большие и маленькие, составлявшие его жизнь, отодвинулись, остановились, посторонились. Ошалевшие от усталости лаборанты уговаривали его съесть что-нибудь, он смеялся, соглашаясь, но тут же забывал о чае, который остывал, о бутербродах с загибающимися по краям, высыхающими ломтиками сыра.

Он расхаживал по опустевшим коридорам, свистел, щурился и думал. Он чувствовал себя вне времени, *в своем* времени, в диаметре только своего сознания. В «не свое», в общее, всеобщее время он ходил теперь как в гости, торопясь домой. То, что еще вчера казалось неустойчивым, шатким, приблизительным, на его глазах становилось достоверностью настолько реальной, что ее, казалось, можно было коснуться рукой.

67

День возвращения из роддома был одновременно торжественный и уютно-тихий. Ольга Ипатьевна была переквалифицирована в няню. Дел оказалось так много, что без этой неторопливой, молчаливой, похожей на монашку старухи все рассыпалось бы, перепуталось и остановилось.

Цветы из комнаты, где спала девочка, были вынесены — друзья в один голос утверждали, что для новорожденной вреден их запах. Петр Андреевич был отправлен в аптеку за марганцовкой, детской присыпкой, клизмочками, сосками и другими бесчисленными предметами, необходимыми для нового существа, которое вдруг вторглось в жизнь и отстранило все другие дела, намерения и заботы. Имени у девочки еще не было, колебались между Ириной и Анастасией, она еще мирно спала двадцать три часа в сутки, просыпаясь только для своих однообразных завтраков, обедов и ужинов, в то время как над нею уже воздвигался целый мир хлопот, сложных и утомительных, как это выяснилось в первые же дни. Все происходящее в доме

вертелось теперь вокруг будущей Насти или Ирины, молчаливо требовавшей, чтобы ее кормили, взвешивали, купали, распеленывали и пеленали. Но с ней еще и разговаривали часами.

Казалось бы, все было приготовлено к ее появлению на свет, но когда это произошло, вдруг выяснилось, что не хватает того и мало другого. Словом, если бы не Ольга Ипатьевна с ее золотыми руками, с ее умением всюду поспевать и все своевременно подсказывать, Маша совсем растерялась бы вопреки тому, что заранее основательно проштудировала известный труд «Мать и дитя». Впрочем, она все-таки растерялась, потому что девочка спустя неделю вдруг стала кричать. Чем она была недовольна — на этот вопрос не могли ответить ни родители, ни врачи, находившие, что она совершенно здорова. И добро бы она еще плакала в дневные часы! Нет, по ночам, и так горько, что не только у ошалевших родителей, но и у молчаливой, строгой и отчасти даже грозной Ольги Ипатьевны от жалости разрывалось сердце.

Почему-то она успокаивалась, только когда ее брал на руки Петр Андреевич,— и он носил, носил ее и пел. Никогда он так много и с таким чувством не пел, принимаясь энергично, а потом начиная сонно мычать и натыкаться на стулья.

Промытарившись полдня в загсе, он вернулся домой с метрикой, из которой явствовало, что на свет появилась Анастасия, названная так в честь покойной бабки,— и, как это ни странно, девочка стала плакать не так часто и громко, как прежде.

68

Умирает Ватазин, и Институт торжественно хоронит его. Гражданская панихида в большом конференц-зале, перед гробом проходят все сотрудники Института. Врубов произносит высокопарную и неискреннюю, а Кржевский — трогательную и искреннюю речь. Леночка Кременецкая в черном нарядном траурном платье распоряжается дельно, умело.

Через два года она защищает докторскую, и хотя диссертация несамостоятельная, она защищает ее с блеском, а потом — тоже с блеском — устраивает роскошный банкет в ресторане «Прага». Коншин ошибся, предсказывая,

что она станет Врубовым в юбке. Он упустил возможность ее влияния на Врубова, а между тем Леночка оказывается достаточно умной и дальновидной, чтобы разумно воспользоваться этим влиянием.

Давно погасла заря, за окнами катрана ночь. Кто-то спит под нарами, кто-то клянчит на водку у выигравшего счастливца, и тот жалеет, дает.

Играют немногие, две-три пары. Играют! Будущее, которое тут же, сию минуту совершается на глазах, и смертельно хочется его подгонять, торопить!

Жизнь скользит как по лезвию старомодной бритвы — Темиров не признает ни «Жиллетта», ни электробритв, ему нравится точить блестящую английскую сталь на лоснящемся кожаном ремне. Он весел, смеется, накануне заплатил долги и теперь играет удачно. Вокруг, как всегда, толпятся любопытные, и среди них жалкий, опустившийся бродяга, в прошлом один из вожаков карточного мира. Он опухший, в засаленном пиджаке, с потрескавшимся склеротическим лицом. Ярко-голубые глаза его потускнели. Он ждет, когда кончится игра. Паоло помогает ему, без Паоло он давно умер бы где-нибудь в канаве.

Под стук машинки спит, раскинувшись, двухлетняя девочка, румяная, похожая и на отца и на мать. После трудной полосы, когда все заботы, все внимание, все время были отданы ей, жизнь устроилась, наладилась. «Вот только чертовски тесно»,— говорит себе Маша, стараясь думать о том, *что* она печатает, и думая о Петре Андреевиче, о квартире, о дочке. «Пете надо работать, и хотя он говорит, что я ничуть не мешаю ему...» Бог знает почему, но слезы набегают на глаза, строки сливаются. Маша вытирает глаза платком и снова принимается за работу. Откуда берутся эти слезы? Ведь все хорошо, она счастлива, почему же ей страшно, что все — хорошо? «Он нуждается в одиночестве — вот что никогда не приходило мне в голову. И в его простоте, в его неуклонности есть что-то сложное, необъяснимое. Боже мой, ведь я не уверена, что так уж необходима ему! А дочка?» Она целует дочку, поправляет на ней одеяльце, и эти мысли начинают казаться ей выдуманными, пустыми...

У Коншина всегда один и тот же маршрут, не мешающий и даже помогающий думать своей привычностью, не

отвлекающий внимания. Он идет вдоль просеки, как всегда отмечая знакомые места: вот две ели и рядом дуб с красной отметиной — до сих пор не спилили, а теперь, пожалуй, и не спилят, потому что на нем появилась большая зеленая ветвь. «Держись, старик!» — говорит ему Коншин. Сосна, перегородившая просеку, так и лежит там, где упала, и тропинка далеко огибает ее. А вот небольшая поляна с другой, флаговой сосной, привольно раскинувшей свои могучие выгнутые ветви-стволы. Петр Андреевич здоровается и с ней.

...Он вернулся к одной из старых, «боковых» работ, и ему хочется растолковать ее, вглядеться, раскрыть причину неудачи. Там, за главным, мерещится что-то еще более главное, уже почти разгаданное, и Петр Андреевич мучается над этим «почти».

ЭПИЛОГ

Проходит три года, автор случайно снимает с полки «Двухчасовую прогулку» и входит в нее, как в полузабытый загородный дом. Полузабытый? Да — так много произошло с тех пор, как он окружил себя своими героями, постарался разгадать их (каждый человек — загадка), а потом выдумал их. Выдумал? Да, такая работа.

— Ты написал сказку,— говорит ему один из друзей.

И автор задумывается. Может быть, он всю жизнь пишет сказки? Задумчиво бродит он по комнатам. Вот это, кажется, удалось, а это — нет. Скуповато построен дом, мало света, надо бы сделать окна пошире.

И ему, как Коншину, начинает мерещиться, что за главным он не разглядел самого главного. Что значительные подробности пробежали рядом с ним и догнать их, оценить их так и не удалось.

Лежат в архиве отслужившие свою службу документы, отчеты, стенограммы. Живут и действуют те, о которых рассказано в этой книге. Те — да не те! Коншину удалось все-таки перевести в институт Саблина свой отдел. Врубов на пенсии, катраны — уже немногие — еще существуют.

Историями по-прежнему набит белый свет. Они совершаются открыто или втайне, сталкиваясь или осторожно обходя друг друга. Веселые, грустные, занимательные — стоит только наклониться, чтобы поднять любую из них.

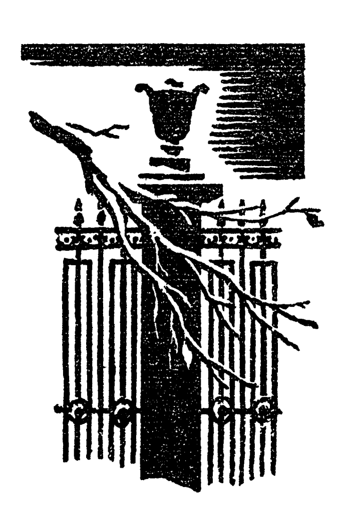
Но мимо одних вы проходите равнодушно, а в другую начинаете вглядываться, догадываться, что она — «ваша». Что она принадлежит вам и не станет мешать своему преображению.

И вот начинается строгий отбор, вспоминается собственная жизнь, обдумываются отношения. Еще не найдена таинственная связь, которая, может быть, заставит читателя листать страницу за страницей. Белый лист лежит на его столе и на нем — никуда не денешься — уже написана первая фраза.

И думал — не зачеркнуть ли ее? Автор прощается с недавно построенным, но уже далеко от него, как на колесах, откатившимся домом. Вопрос — написал он роман или сказку — остается открытым.

1977—1980

В СТАРОМ ДОМЕ



ВСТУПЛЕНИЕ

В предисловии к первому полному изданию «Былое и думы» Герцен писал, что, может быть, он переоценил свой труд, потому что «в этих едва обозначенных очерках схоронено так много *только для меня одного;* может, я гораздо больше читаю, чем написано; сказанное будит во мне сны, служит иероглифом, к которому у меня есть ключ. Может, я один слышу, как под этими строками бьются духи... может, но оттого книга эта мне не меньше дорога» [1].

Эти слова стояли передо мной, когда я писал свои воспоминания. Я знал, что строки их «едва обозначены», что живой отпечаток времени нашел в них лишь «иероглифическое отражение». Но я знал и другое: прошлое никогда не оставляло меня. Оно шло за мной следом, оно скрывалось где-то в глубинах памяти, как бы гордясь своей недоступностью, уходом навсегда. Это была мнимая недоступность.

В известной сказке Гауффа превращенный в аиста халиф не может вернуть себе человеческий образ, пока не вспомнит условленного магического слова. Поиски этого слова похожи на захватывающий труд воспоминаний: мысль, важная для далекого или близкого прошлого, должна быть не найдена, но открыта. Более того, она должна быть открыта в пору своего расцвета. Тогда-то, мне ка-

[1] А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VIII. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 11.

жется, и возникает «заметность» прошлого. Тогда-то и вручается нам герценовский «ключ». Но, может быть, «он нужен только для меня одного»? Я не задавал себе этого вопроса. Заметки о работе семинара по современной прозе, которым я руководил в двадцатых годах на курсах при Ленинградском институте истории искусств, случайно сохранились в моем архиве, погибшем в годы ленинградской блокады. Я давно бросил бы в огонь пожелтевшие, исписанные неразборчивым почерком школьные тетради, если бы, перелистывая их, не натыкался на «осколки времени» — если представить себе понятие времени в его вещественном, материальном значении. В этих осколках, мелькавших здесь и там, зеркально отражался узкий, но содержательно-сложный краешек стремительно развертывающейся литературы. И ведь странная вещь! Мы почти не замечали всего этого богатства хлынувших в литературу новых имен. Потому ли, что новое в искусстве было трудно отличить на фоне необозримой новизны, из которой состояла жизнь? Или потому, что здесь вступала в силу «незаметность» настоящего — в противоположность той «заметности прошлого», которую нам предстояло открыть?

Разумеется, лишь небольшая доля великого множества литературных явлений двадцатых годов отразилась в занятиях моего семинара. Мы шли петляющей дорогой, но карта этой дороги, быть может пунктирная, записана по живым следам.

Так сложилась эта небольшая книга, представляющая собой часть более обширного замысла. По жанру этот труд приближается к художественно обработанному архиву автора, поскольку превращение современного материала в исторический происходило в течение десятилетий на его глазах.

Рассказывая о встречах в двадцатых годах с писателями и историками литературы, я не стремился ограничить себя этим десятилетием. Отношения развивались, освещая подчас обратным светом начальную пору советской литературы. Так, продлены воспоминания, посвященные Вс. Иванову, И. Эренбургу, Ю. Тынянову. В них я воспользовался некоторыми прежде опубликованными страницами. Я не рассчитываю написать исчерпывающую картину литературной жизни Ленинграда в двадцатых годах. Но отсутствие этих страниц сказалось бы в решении даже и той скромной задачи, которую я поставил перед собой.

В ту пору я не интересовался историей дома № 5 на Исаакиевской площади, в котором помещался Российский институт истории искусств. Мне было двадцать два года, я только что окончил университет, только что выпустил свою первую книгу, только что был приглашен вести семинар по современной литературе на Высших курсах при этом институте — и в этом «только что» лишь промелькнула застывшая роскошь старого дома, в который ворвалась молодежь, стремившаяся все узнать и все устроить по-своему — если не в истории, так по меньшей мере в истории литературы.

В запомнившемся контрасте между старым и новым было что-то беспокоившее меня, связанное с ощущеньем, что я чего-то не заметил, просмотрел по молодости лет. Это-то ощущенье и заставило меня поехать в Ленинград весной 1969 года.

Что и говорить, Ленинград как был, так и остался городом, который, неизвестно как и почему, продолжает участвовать в моей жизни, хотя вскоре после войны я переехал в Москву. Прожив в Ленинграде четверть века, я ничуть не устал от любви к нему, от неизменного удивления и восхищения. Знаменитое гоголевское «Редкая птица долетит до середины Днепра» становится — как это ни странно — особенно понятным в Ленинграде. Гоголь знал, что ему не только простят, но с радостью примут это преувеличение, потому что оно подсказано невозможностью иначе выразить чувство восторга.

Но дом № 5 на Исаакиевской площади, в котором помещается теперь Институт театра, музыки и кинематографии, никогда не вызывал во мне этого чувства, хотя я, разумеется, десятки раз видел его, бывая в Ленинграде. Почему? Не знаю. Может быть, потому, что у меня была счастливая молодость и все происходившее в этом доме соединялось в необыкновенности этого счастья, которое в ту пору я не замечал и ничуть не ценил?

Теперь, когда стало ясно, что он связан с неповторимой полосой моей жизни, он отделился от других воспоминаний, встал в стороне. Поездка была особенная — к дому как старому, строгому другу.

Он оказался не таким уж и старым, конца XVIII века. В начале тридцатых годов XIX века он перешел к министру внутренних дел А. А. Закревскому. Его жена, Аграфена

Федоровна,— личность, занимающая немалое место в нашей Пушкиниане. Пушкин посвятил ей знаменитый «Портрет», две последние строчки которого: «Как беззаконная комета в кругу расчисленном светил» — вошли в обиход русской речи как поговорка.

В пятидесятых годах в доме помещалось испанское посольство, а в шестидесятых он перешел к семейству Зубовых, потомков известного Платона Александровича Зубова, фаворита Екатерины Второй. Внешний вид здания был значительно изменен, фасад украшен гирляндами и пилястрами. Еще прежде во дворе была построена большая стеклянная галерея. В ней находился впоследствии большой зимний сад, который был виден из аудиторий, выходивших окнами во двор.

В 1912 году в этом доме был открыт первый русский Институт истории искусств. Учредителем его был владелец дома, Валентин Платонович Зубов. Его лекцией открылись курсы, которые в 1916 году получили права высшего учебного заведения.

Мне повезло, дом почти не изменился за сорок пять лет. И ведь оказалось, что не так уж я был непамятлив! Я вспомнил лесенки из одной комнаты в другую, антресоли, перила. Я нашел разбросанный по всему дому гарнитур — кресла с высокими спинками, крытые тогда шелком, а теперь кожей, стулья, бюро красного дерева и другие бюро, с резьбой. Впрочем, резьба, напоминавшая заставки в старонемецких книгах, была и на стульях, и на спинках диванов — цветы, античные головки, амуры.

Я вспомнил великолепный зеленый зал — позднее барокко — с медальонами на пасторальные темы, с подоконниками, покрытыми малахитом, с венецианскими окнами, с зеркалами во всю стену — зал, в котором выступал в 1928 году огромный, усталый, стриженный наголо Маяковский. Наконец, я нашел аудиторию, в которой собирались мои слушатели, и соседнюю, в которой Н. С. Тихонов вел семинар по поэзии.

Многое я узнал от сотрудников института, с которыми не расставался в дни этого осмотра. Я узнал, например, что канцелярия наших курсов находилась в комнатах семейного зубовского сейфа, отрезанных от других комнат массивной стеной. В этом сейфе мне показали еще и внутренний сейф, в котором за стальной дверью, должно быть, хранились бесценные сокровища самого Платона Зубова, пожалованные ему Екатериной Второй. Впрочем, в этих

сейфах и ныне хранятся сокровища, только совсем другого рода. В старинном шкафу стоит, например, нотная библиотека Елизаветы Петровны.

Пытаясь восстановить хотя бы в общих чертах первоначальную историю создания института, я написал В. П. Зубову (в 1925 году он уехал в Париж). Он ответил мне и прислал свои воспоминания.

В 1907 году три русских студента, учившихся за границей, решили создать в Петербурге Институт истории искусств, по образцу флорентинского, состоявшего из богатой библиотеки, в которой время от времени читались лекции и доклады. Это были В. П. Зубов, М. И. Семенов, племянник известного географа, и Т. С. Трапезников, родственник известного меховщика Сорокоумова, «того самого,— писал В. П. Зубов,— который на свечке жег в присутствии жены сторублевые бумажки, чтобы отучить ее от скупости».

Решено было прежде всего составить библиотеку. «Мы поехали в Лейпциг, вошли в сношения с большими книжными фирмами и покупали, покупали, покупали».

Осенью 1910 года библиотека, приобретенная на средства В. П. Зубова и состоящая из 3000 томов, была отправлена в Петербург. Забегая вперед, надо отметить, что в первые же послереволюционные годы она увеличилась до 50 тысяч.

«Вставал вопрос, где быть Институту,— писал В. П. Зубов.— Моя мать посоветовала мне занять нижний этаж нашего семейного дома на Исаакиевской площади. К помещениям Института примыкали мои личные апартаменты, которые с его ростом постепенно стали сокращаться. Большая аудитория вмещала около ста слушателей. С одной стороны к ней примыкали читальный зал и книгохранилища, с другой — мой кабинет».

Упомянув о том, что его ближайшими сотрудниками были В. А. Чудовский и Н. Э. Радлов, мой корреспондент перешел к «идиотским бюрократическим трудностям», которые ему приходилось преодолевать, оформляя юридическое существование института: «Совался я в три министерства: просвещения, казалось бы, в первую очередь компетентное, двора — как владельца главных художественных хранилищ и Академии художеств, и внутренних дел, в лице градоначальства. Одно перебрасывало меня к другому, никто не желал принимать ответственности, которой,

в сущности, не было: я ничего не просил, кроме официального штемпеля, ни денег, ни чинов. Под конец подумывал, не обратиться ли в Государственное коннозаводство...»

Институт был открыт 2 марта 1912 года. Вскоре к библиотеке В. П. Зубов присоединил «систематические курсы без экзаменов и дипломов». «Я хотел дать пример бесплатного образования, которое позже было принято правительством Советской России». И новый Институт стал быстро развиваться. В числе преподавателей были виднейшие ученые: византолог Д. А. Айналов, историки искусства С. М. Волконский, Н. Н. Врангель, О. В. Вальдгауэр, В. Я. Курбатов. Число слушателей достигло 300 человек, и В. П. Зубову пришлось закрыть прием за отсутствием мест.

После Октябрьской революции, когда «все состояния пошли на дым и дома были отчуждены,— писал далее В. П. Зубов,— я стал смотреть на себя как на стоявшее во главе Института должностное лицо нового правительства. Я, так сказать, сам его у себя конфисковал... Но когда я собрал совет профессоров и предложил официально войти в контакт с новой властью, я встретил сопротивление. Мне удалось добиться от своих коллег, что Институт пока что будет оставаться нейтральным. Впрочем, я нисколько не считался с этим платоническим постановлением и продолжал действовать как единственный представитель Института. События оправдали мои действия, и сопротивление погасло...»

В продолжение трех лет при ближайшем участии А. В. Луначарского был создан научно-исследовательский институт, состоявший из пяти «разрядов»: археологического, истории театра, музыки, изобразительных и словесных искусств. Энергичным помощником В. П. Зубова был известный эллинист и театральный деятель А. Пиотровский. Разряд истории музыки возглавлял А. Глазунов.

Впоследствии при институте были открыты курсы искусствоведения — высшее учебное заведение, в котором кафедры занимали выдающиеся ученые Ф. Ф. Зелинский, И. Ю. Крачковский, В. М. Алексеев, В. В. Бартольд, Л. В. Щерба, В. В. Струве, И. А. Орбели. К ним присоединились еще молодые тогда В. М. Жирмунский, Б. М. Эйхенбаум, Б. М. Энгельгардт, В. В. Виноградов, Ю. Н. Тынянов.

...Наша переписка внезапно оборвалась — в ноябре 1969 года В. П. Зубов скончался в возрасте восьмидесяти

трех лет. О дальнейшей истории института я мог судить лишь по архивам и отчетам.

Нетрудно было убедиться в том, что ими никто и никогда не интересовался. Судя по реестру дел, за сорок пять лет кем-то была затребована единственная справка. Между тем загляните в «Краткий отчет о деятельности Российского института истории искусств за 1921 год»[1] — и вы легко убедитесь в том, что в те времена «первый русский художественно-исторический институт имел на Западе лишь немногочисленных собратий» — как писал В. П. Зубов. Среди них на первом месте называется немецкий институт, который по своему уровню и размаху был бесконечно ниже Российского института истории искусств. Общая оценка его деятельности принадлежала А. В. Луначарскому. В отзыве о книге А. А. Гвоздева «Из истории театра и драмы» он писал:

«Издательство «Academia» выпустило целый ряд работ различных отделов Всероссийского института истории искусств. Знакомый с работами этого Института и по его отчетам я не могу не отметить, что почти все без исключения издания свидетельствуют об интенсивной и удовлетворительно направленной деятельности его.

Иной раз раздаются вопросы о том, почему деятельность Института истории искусств не направлена по строго марксистскому руслу. Ответ на это прост... Марксист-искусствовед как нельзя больше заинтересован в научном искусствоведении вообще. Конечно, когда наука является фальсифицированной... когда от нее разит метафизическим запахом, она становится вредной. Но в работах Института истории искусств нет ничего подобного. Это в общем строго научные, отчасти популяризирующие работы, выдержанные в тонах, в общем параллельных интересам нашей революции»[2].

В письме Ф. Н. Петрову (начальнику Главного управления научных и музейных учреждений Наркомпроса РСФСР) Луначарский находил существование института «весьма полезным»:

«...Мы можем бороться... с контрреволюционными тенденциями, с попытками заостренной антимарксистской трактовки ученых тем и т. д. Никаких подобных вредных тенденций у Института истории искусств нет и в помине.

[1] Гос. муз. научно-исследовательский институт. Историографический кабинет. Инв. номер 14994.

[2] «Литературное наследство», т. 82. М., «Наука», 1970, с. 395.

Я полагаю поэтому, что всю шумиху вокруг Института надо самым решительным образом прекратить. Если подходить с подобной точки зрения, то надобно было бы устранить все ученые заведения, начиная с Академии наук. В особенности теперь... было бы совершенно недопустимо ставить какие бы то ни было трудности группе очень передовых ученых, работающих с очень большой нагрузкой в области, которая в России еще остается столь мало разработанной» [1].

Нужны годы труда и не одна объемистая книга для того, чтобы охватить в целом деятельность института. Приведу только один пример.

В 1922 году Разряд истории изобразительных искусств выделил Новгородское отделение с целью «всестороннего исследования и изучения памятников Новгорода и его окрестностей». Члены этого отделения изучали древнерусское искусство отнюдь не в кабинетах, а в Белозерском и Владимиро-Суздальском крае, в Ладоге и Пскове. В течение двух лет они впервые произвели в Новгороде точнейшие архитектурные обмеры, которые после Великой Отечественной войны легли в основу восстановления разрушенных бесценных исторических зданий.

Все это — и многое, многое другое — лишь промелькнуло передо мной, когда я, думая о том, как плохо мы знаем историю русской науки, перелистывал страницы «отчетов о деятельности», докладов, записок. Отмечу, что в них чувствуется трогательная скромность, хотя, кажется, было — да и есть — чем гордиться.

СЕМИНАРЫ

Зимой 1919 года в Москве я бывал на Пушкинском семинаре, который вел на своей квартире высокий, слегка сгорбленный, с тонкими чертами серо-желтого, пробкового лица Вячеслав Иванов. О Пушкине говорили сосредоточенно-тихо, проникновенно, умно, как о тайне, которую еще никому не дано разгадать. Мне было семнадцать лет. Еще недавно, в шестом классе Псковской гимназии, я увлекался Писаревым. «Писаревщина как корь,— писал мне Ю. Н. Тынянов,— ею должен переболеть каждый». Корь быстро прошла. Теперь, в Москве, «писаревщина», наив-

[1] «Литературное наследство», т. 82, с. 61.

но, хотя и азартно язвившая Пушкина, сменилась туманными намеками, многозначительными иносказаниями. Пушкин в семинаре Вяч. Иванова был как бы прочтен вполголоса. Мы все были в чем-то перед ним виноваты. Я не разделял этого чувства и вскоре перестал посещать семинар.

В Ленинградском университете я ходил на обязательные семинары. Сама мысль о том, что я обязан пойти на лекцию, которую не желаю слушать, в ту пору показалась бы мне смешной.

Мы были тесно связаны с литературой своего времени, и многочисленные диспуты, дискуссии, доклады в литературных и философских обществах были для нас тем же университетом, такой же школой ответственной любви к искусству, принесшей нашему поколению неоценимую пользу.

Самый значительный семинар, внушивший мне ту простую мысль, что без полной и безусловной преданности литературе лучше держаться от нее подальше, состоялся, когда я уже окончил университет. Его устроили для своих ближайших учеников Б. М. Эйхенбаум и Ю. Н. Тынянов. Среди его участников были Б. Я. Бухштаб, Л. Я. Гинзбург, В. А. Гофман, Н. Л. Степанов. Пожалуй, можно назвать его «семинаром отбора» — иным из нас были не по плечу занятия, требовавшие основательного знания западноевропейской теоретической литературы. Они связались в моей памяти со странным ощущением, что за нами строго следит сама литература. Обсуждая самые отвлеченные вопросы, мы знали, что под ее пристальным взглядом нельзя ни хитрить, ни лгать, ни притворяться.

Я начал преподавать литературу на курсах техники речи сразу же после окончания университета в 1924 году. Многие слушатели были старше меня. Один из них, опоздав на первую лекцию, принял меня за студента, развлекавшего товарищей передразниванием преподавателя, и громко выразил свое неодобрение.

Почти все студенты были начинающими писателями или журналистами, и теперь мне кажется странным, что, едва взяв в руки перо, я пытался учить их литературному искусству. Думаю, что этому искусству вообще нельзя научить. Во всяком случае, оно требует внутренней общности между учителем и учеником — той, которая была меж-

ду Флобером и Мопассаном,— частых встреч, переписки, глубокого взаимного уважения, всматривания в творчество друг друга. Все это редко встречается в литературных вузах, которые играют заметную роль в деле образования, тоже очень важном, но лишь косвенно связанном с работой создателя художественных произведений.

Должно быть, уже и тогда, еще совсем молодым человеком, я догадывался об этом, потому что от души обрадовался, получив предложение прийти в Институт истории искусств. Мне был поручен семинар по современной прозе, Н. С. Тихонов согласился вести семинар по современной поэзии.

Случалось, что мы устраивали совместные обсуждения, полезные не только для слушателей, но и для нас. На одном из них присутствовал Осип Мандельштам, и обычные занятия вдруг вспыхнули, превратились в спор, запомнившийся потому, что в нем отразились существенные черты тогдашней литературной жизни.

Это было в 1926 году, и Тихонов, недавно отказавшийся от «голой скорости баллады», был под ударами критики, утверждавшей с сожалением, что «золотая цепь его творчества порвалась». Он часто со смехом цитировал эту фразу.

Мог ли он ожидать, что его новая позиция, рельефно сказавшаяся в «Дороге», встретит противника в лице Мандельштама? Гордо закинув голову, полузакрыв глаза, Мандельштам возражал против «бумажной поэзии», против голого смысла, равного кратчайшему расстоянию между двумя точками: «В то время как это расстояние — бесконечность». Это была защита права поэзии на пророчество, на разговор с вечностью.

Я слово позабыл, что я хотел сказать,
Слепая ласточка в чертог теней вернется...

«Слепые ласточки» то и дело взлетали в его вдохновенной речи.

Жилистый, красный, худой, даже какой-то вогнутый, затянутый по-солдатски, Тихонов отстаивал свою позицию уверенно, с глубоким знанием классической и современной поэзии. Он не отрицал колеблющегося, идущего на ощупь поэтического слова, но предпочитал меткость, отчетливость развертывающейся мысли, не нуждающейся в изысканности отгадок.

Они схватились друг с другом перед студентами, впрочем не находившими ничего исключительного в этом споре. Свидетелями подобных схваток они бывали не раз...

ГОРОД ЭН

1

Два заседания были посвящены Леониду Ивановичу Добычину, и тот факт, что участники семинара дважды собирались, чтобы обсудить его творчество, говорит за себя. В средине двадцатых годов в ленинградском литературном кругу Добычин был заметной фигурой. О нем много спорили. Принадлежность к направлению была в те годы невидимым центром множества важных и второстепенных факторов, из которых складывалась литературная жизнь. Добычин был далек от этого центра. Он напечатал три маленькие книги: «Встречи с Лиз», «Портрет» и «Город Эн» (две первые в значительной мере повторяют друг друга). Крошечные, по две-три страницы, рассказы написаны почти без придаточных предложений и представляют собой как бы бесстрастный перечень незначительных происшествий. Однако они читаются с напряжением, и это не напряжение скуки. Это поиски тех внутренних, подчас еле заметных, психологических сдвигов, ради которых автор взялся за перо. Иногда это — обманутая надежда («Дориан Грей»), иногда — ненависть к мещанскому равнодушию («Встречи с Лиз»). Но чаще всего — просто промелькнувшее и исчезнувшее душевное движение: привязанность, сочувствие, доброта.

Добычин писал о том, что в обыденной жизни проходит незамеченным, о мимолетном, необязательном, встречающемся на каждом шагу. Его крошечные рассказы представляют собой образец бережливости по отношению к каждому слову. Пересказать их невозможно. Поэтому приведу один из них целиком, тем более что он, как большинство других, занимает не больше двадцатой доли печатного листа. Он называется «Отец».

На могиле летчика был крест — пропеллер. Интересные бумажные венки лежали кое-где. Пузатенькая церковь с выбитыми стеклами смотрела из-за кленов. Липу огибала круглая скамья.

Отец шел с мальчиками через кладбище на речку. За кустами, там, где хмель, была зарыта мать.

— Мы к ней потом,— сказал отец,— а то опоздаем к волнам.

Заревел гудок.

— Скорее,— закричали мальчики.

— Скорее,— заспешил отец.

Все побежали. Над калиткой стоял ангел, нарисованный на жести и вырезанный. Второпях забыли постоять и, подняв головы, полюбоваться на него.

Сбегали по тропинке, и гудок опять раздался.

— Опоздаем,— подгонял отец.

Сердца стучали, в головах отстукивалось.

Сбрасывая куртки, добежали и, вытаскивая ноги из штанов, упали на землю: успели. Справа тарахтело, приближался дым, нос парохода, белый, показался из-за кустиков. Вскочили, заплясали, замахали шапками. Величественный капитан командовал. Шумело колесо, шипела пена, след в воде кипел. Присели, потому что с палубы смотрели женщины и, глядя на них боком, сжали себе руки коленями.

Шлеп — набежала первая волна.

— Скорей!

Все бросились. Река была как море.

— Ух,— кричали люди и подскакивали.

— Ух,— кричал отец, держа мальчишек на руках и прыгая.

— Ух, ух,— кричали они, обхватив его за шею, и визжали.

Волны кончились. Отец, гудя по-пароходному, ходил в воде на четвереньках. Мальчуганы ездили на нем. Потом он мылся, и они по очереди терли ему спину, как большие. Выпрямляясь, он осматривал себя и двигал мускулами: вечером он должен был отправиться к Любовь Ивановне. Он думал: «Но зато я неплохой отец».

Назад шли медленно.

— А то купанье,— говорил отец,— сойдет на нет.

Взбирались по тропинке долго. Обдували одуванчики и обрывали лепестки ромашек. Оборачивались и смотрели вниз. Коровы шли по берегу, отсвечиваясь в речке. Иногда они мычали. Огоньки зажглись у станции и переливались. Солнце село. Звезд еще не видно было. Ангел над калиткой потемнел.

— Вы подождите здесь,— сказал отец у липы.— Я приду.

Они уселись, сняв картузики, и взялись за руки. Пищал комар.

Кусты сливались, чернея. Верхи крестов высовывались из них. Хмель светлелся. Здесь отец остановился и стоял без шапки. Он зашел по поводу Любовь Ивановны и мялся: как и что сказать? А мальчуганам было страшно. Мертвые лежали под землей. В раз-

битое окошко церкви кто-нибудь мог выглянуть, рука могла оттуда протянуться. Стало хорошо, когда пришел отец.

Приятно было идти улицами, мягкими от пыли. Фонари горели кое-где. Ларьки светились. Во дворах хозяйки разговаривали с чинными коровами, пришедшими из стада. В городском саду пожарные отхватывали вальс. Отец купил сигару и два пряника. Молчали, наслаждаясь.

Принцип «отсутствия автора» доведен в произведениях Добычина до предела: к такому итогу пришли участники семинара. Это тот антипсихологизм, который как бы превращает писателя в простого регистратора фактов. Жизнь начинает говорить за себя — автор превращается в человека-невидимку.

Теперь, через много лет, перелистывая школьную тетрадь, содержащую заметки о работе моего семинара, я понял, что, усердно стремясь «разобрать» Добычина, мы его, в сущности, так и не прочитали. Мы не поняли, что обыкновенность и даже ничтожность его героев — это не «остранение», не «смещение», не «принцип рапорта» и не «поиски фабулы», а выражение человечности, ответственности всех за всех, идущее, может быть, от гоголевской «Шинели». И не «отсутствие автора», да еще доведенное до предела, характерно для Добычина. Автор — негодующий, иронизирующий, страдающий от пошлости одних, от бессознательной жестокости других,— отчетливо виден на каждой странице. Мы не заметили его потому, что разглядывали с близкого расстояния, да еще в лупу молодого теоретизирования, стремившегося прежде всего назвать, определить, а уже потом почувствовать, понять. Теперь видно, например, что в своем страстном отрицании мещанства Добычин был близок к Зощенко, несмотря на то, что оба писателя пришли бы в ужас от подобного сопоставления. Зощенко — разговорность, развязность, влечение к целому, интонационная свобода. Добычин — сдержанность, подчеркнутый лаконизм, мозаичность, недоговоренность. Но герои Добычина могли бы расположиться в произведениях Зощенко, как в собственном доме.

Вскоре после нашего диспута Добычин написал книгу, в которой, не отказываясь от лаконичности, он рассказал о себе,— и это лучшая его книга.

В ней беспощадно, с горькой откровенностью показана жизнь мальчика, потом юноши в провинциальном город-

ке,— может быть, в Двинске с его смешанным в начале века русско-польским населением.

В прекрасном стихотворении Арсения Тарковского «Вещи» названы вещи его детства.

Все меньше тех вещей, среди которых
Я в детстве жил, на свете остается.
Где лампы-«молнии»? Где черный порох?
Где черная вода со дна колодца?

Где «Остров мертвых» в декадентской раме?
Где плюшевые красные диваны?
Где фотографии мужчин с усами?
Где тростниковые аэропланы?

. . . .

Где твердый знак и буква «ять» с «фитою»?
Одно ушло, другое изменилось,
И что не отделялось запятою,
То запятой и смертью отделилось...

Любую из этих исчезнувших вещей можно найти в «Городе Эн». Но повесть написана не о них. Они просто существуют, как существует и самый город с его повторяющейся, машинальной жизнью, скользящей перед глазами взрослых и ежеминутно останавливающейся перед глазами ребенка.

Кстати, о глазах. Через всю книгу проходит неосознанная, необъясненная неполнота зрения маленького героя. Никто не догадывается, что он близорук: ни он сам, ни его близкие, ни товарищи по гимназии. Мир сдвинут, слегка стерт, растушеван. Но вот однажды его взгляд нечаянно попадает в стеклышко чужого пенсне, и в тот же день, после посещения глазного врача, к нему возвращается нормальное зрение. Но становится ли богаче его душевный мир, который больше не нуждается в дополнительной, увлекательной работе воображения?

Повесть написана не об исчезнувших предметах, а об исчезнувших отношениях.

2

Я хорошо знал Леонида Ивановича Добычина, мы переписывались, и у меня сохранились его короткие, парадоксальные письма. Однажды он прислал мне три свои переписанные от руки миниатюры — это был подарок. «Город Эн» он прислал мне с приклеенной на фронтисписе студенческой фотографией. Он был человек легко рани-

мый, опасавшийся любых оценок и считавший их — не без оснований — бесполезными, потому что все равно иначе писать не умел и не мог. Инженер-технолог по образованию, он работал в Брянске, но, занявшись литературой, часто и подолгу живал в Ленинграде. Он был молчалив, прямодушен. Благородство его было режущее, непримиримое, саркастическое, неуютное. Он не «вписывался» психологически в литературный круг Ленинграда и был дружен, кажется, с одним только Н. К. Чуковским. Душевное богатство его было прочно, болезненно, навечно спрятано под семью печатями иронии, иногда прорывавшейся необычайно метким прозвищем, шуткой, карикатурой. Впрочем, он никого обижать не хотел. Он был зло, безнадежно, безысходно добр.

В 1936 году Л. И. Добычин покончил с собой, оставив строго деловую записку Н. К. Чуковскому, в которой не упоминалось о его трагическом решении.

Почему в литературе тех лет его место — пусть небольшое — считалось особенным, отдельным? Потому, что у него не было ни соседей, ни учителей, ни учеников. Он никого не напоминал. Он был сам по себе. Он существовал в литературе — да и не только в литературе,— ничего не требуя, ни на что не рассчитывая, не оглядываясь по сторонам и не боясь оступиться.

ЭСКИЗ К ПОРТРЕТУ

В ту пору образ Эренбурга возникал передо мной в слегка туманном освещении, как бы в клубах дыма от его тринадцати трубок.

О нем много и охотно говорили: он — человек богемы, он с утра сидит в кафе, за окном — Париж, Мадрид, Константинополь. Гора исписанной бумаги не помещается на маленьком столике, листки падают на пол, он терпеливо подбирает их, складывает и снова исчезает в клубах дыма. Он — европеец, улыбающийся уголком рта, он — воплощенье равнодушия, сарказма, иронии. Он — путешественник, журналист, легко пишущий книгу за книгой.

Через много лет несколько строк в книге «Люди, годы, жизнь» показали мне, как я ошибался: «...Был я бледен и худ, глаза блестели от голода... Годы и годы я ходил по улицам Парижа с южной окраины на северную: шел и шевелил губами — сочинял стихи».

1

— Можно ли считать «Хулио Хуренито» романом? — так я начал свою лекцию.— Едва ли. Ведь именно этого опасался сам Эренбург. «Мне было бы весьма мучительно,— писал он,— если бы кто-нибудь воспринял эту книгу как роман, более или менее занимательный».

Для романа характерно ступенчатое, кольцевое или параллельное построение. А в книге Эренбурга нет ни того, ни другого, ни третьего. Может быть, это — огромный, растянувшийся на триста пятьдесят страниц фельетон? В самом деле: отправляясь от «малых» тем, Эренбург приходит к широким социальным явлениям. Беглость, разговорность, шутка, прикрывающая серьезную мысль,— именно так работают наши лучшие фельетонисты Сосновский, Зорин, Кольцов.

Где же искать «пункт отправления» этой книги — в классической или современной литературе, в русской или западноевропейской?

Не знаю, додумался ли бы я до сравнения романа Эренбурга с житиями святых, если бы не лекции академика В. Н. Перетца. Мы отлично знали, что в любом житии вслед за предисловием, в котором автор — обычно ученик святого — извинялся за грубость и невежество, следовала биография праведника, непременно с самого детства, потом рассказ о его подвигах, сопровождавшийся поучениями, и, наконец, описание смерти, за которым обычно следовала похвала учителю. Часто рукопись заканчивалась предсказаниями — как жития Андрея Юродивого или Василия Нового. Для житийной литературы был характерен приподнятый, дидактический язык, как бы обращенный через головы слушателей ко всему миру. Очень странно, но я действительно нашел все эти черты в «Хулио Хуренито».

В предисловии, точно как в житии, ученик святого жалуется на свои слабые силы: «С величайшим волнением приступаю я к труду... Моя память смутилась и одряхлела. Со страхом я думаю о том, что многие повествования и суждения Учителя навеки утеряны для меня и мира...»

Так же, как житие, «Хулио Хуренито» написан с поучительной целью: «Для чего же Учитель приказал мне написать книгу его жизни?.. Не для скалистых мозгов, не для вершин, не для избранных ныне пишу я, а для грядущих низовий, для перепаханной не этим плугом земли...»

Так же, как в любом житии, вслед за «подвигом» следует «поучение», обращенное не только к ученикам, а ко всему человечеству и подводящее к заключительному предсказанию.

Я закончил свою лекцию скромно, отнюдь не настаивая на том, что сделал открытие. Но, боже мой, что поднялось, едва я произнес последнюю фразу! Сперва один слушатель, потом другой и третий попросили слова, и начался спор, сперва со мной, потом друг с другом. Стоит отметить, что и студентам и преподавателю было немногим больше (или меньше) двадцати лет. Привыкнув к сдержанной обстановке университета, я был озадачен, когда спор, разгораясь, перешел в скандал, который явился унимать сам комендант Бобков, усатый, в защитной гимнастерке и выцветших, оставшихся еще от царской армии брюках.

2

Разгоревшийся спор с особенной четкостью определил характер семинара: передо мной были молодые люди, энергично готовившиеся занять свое место в современной литературе,— будущие писатели, критики, литературоведы. Я назову несколько имен, чтобы показать, в какой полной мере осуществились эти стремления: Л. В. Успенский, В. Н. Орлов, Т. Ю. Хмельницкая, А. В. Федоров, А. Г. Островский.

Первый оппонент. Сходство «Хулио Хуренито» с житием — поверхностно и не имеет конструктивного значения. Все, что написано Эренбургом после «Хулио Хуренито», бросает обратный свет на этот роман, и становится ясно, что он представляет собою попытку вообразить некий материал, которого в действительности не существует.

Без ретроспективного взгляда понять это невозможно. Но сопоставьте «Лето 25 года» с «Хулио Хуренито», и вы убедитесь в том, что эти книги контрастны. В свете обратной перспективы становится ясно, что первая основана на подлинном рисунке (или наброске) с натуры, вторая — на опасной, близкой к стилизации пустоте. Впрочем, и в той и в другой лицо автора почти неразличимо под гримом. Кстати, сравните «Полуночную исповедь» Жоржа Дюамеля с «Летом 25 года». Париж Дюамеля почти процитиро-

ван Эренбургом. Намерение Эренбурга убедить читателя, что «Хулио Хуренито» исповедь, а не роман, наивно. Да, не роман. Игра в роман, которая не удалась даже Стерну.

Второй оппонент. В основе сюжетного произведения лежит отношение к фабуле как доминирующему началу. Занимательность сама по себе не имеет никакого отношения к художественной литературе. Сюжетная конструкция сильна своей законченностью или, точнее, ожиданием законченности, заставляющим читателя переворачивать страницы. Таков «Прыжок в неизвестное» Лео Перуца — роман, построенный на оригинальной находке: герой — в наручниках, и читатель долго не может догадаться об этом. «Ибикус» А. Толстого удался не потому, что А. Толстой умело воспользовался занимательным сюжетом, а потому, что в атмосфере опрокинутых социальных отношений был открыт оригинальный характер. Революция и гражданская война показаны в повести глазами современного Расплюева. Это — новый угол зрения. Он-то и является сюжетом в широком смысле слова.

Больше всего Эренбургу мешает то, что он, в сущности, прямодушен. И «Хулио Хуренито», и «Лето 25 года» написаны как бы от имени вымышленного героя, за которым скрывается отлично известный читателю автор.

Третий оппонент. Без анализа стиля невозможно понять ни удач Эренбурга, ни его поражений. Это — писатель, которому нечем тормозить развитие своей социально-психологической темы. У него нет собственного принципа композиции, он берет его напрокат. Заметили ли вы, что «Жизнь и гибель Николая Курбова» написана как бы двумя писателями? Первая половина книги (в стилистическом смысле) спорит — и весьма энергично — со второй.

Четвертый оппонент. Лучшая книга Эренбурга «Рвач» осталась вне нашего спора, может быть, по той причине, что лишь немногие из присутствующих прочитали этот роман. Между тем это была первая попытка автора увидеть страну изнутри, а не в перевернутый бинокль. Пути, которыми Эренбург идет к созданию характера, пока еще примитивны: по существу, они исчерпываются приемом повторяющегося контраста, которым пестрят страницы «Хулио Хуренито». Тематическое столкновение двух планов встречается и в «Жизни и гибели Николая Курбова», и в «Любви Жанны Ней», но в статиче-

ском виде. В «Рваче» этот прием приобретает динамичность, развивается и именно поэтому достигает цели. Одна черта, одно направление ума и чувства неожиданно сменяется другим, прямо противоположным. Прием традиционный — вспомним Стендаля. Однако именно он помог Эренбургу создать запоминающийся характер.

3

Теперь, через много лет, стало ясно, что ошибались не только мы, но и сам Эренбург. «Хулио Хуренито» не фельетон и не житие. В наши дни эта книга читается именно как роман, и этому нисколько не мешают ни фельетонная манера, ни «историко-литературная» связь с житиями святых.

Я наметил общие черты нашей дискуссии, чтобы показать, как в те далекие годы сознание было заколдовано, захвачено значением литературной формы. Вопрос о том, фельетон или житие «Необычайные похождения Хулио Хуренито», был важнее того пророческого смысла, которым проникнуты лучшие страницы романа.

За двенадцать лет до прихода Гитлера к власти Эренбург показал герра Шмидта, для которого нет никакой разницы, кроме арифметической, между убийством одного человека или десяти миллионов, который собирается «колонизировать» Россию и разрушить — как можно основательнее — Францию и Англию.

Арифметика мосье Дэлэ, серьезно предлагавшего установить деление на шестнадцать разрядов для похорон — от нищего до миллионера,— разве эта идея не стала универсальной?

Мало кто догадывался, что судьба выдала билет дальнего следования этой книге, написанной в течение одного месяца 1921 года.

4

Соединение небрежности и внимания — вот первое впечатление, которое произвел на меня Эренбург, когда в марте 1924 года он приехал в Ленинград из Парижа и был приглашен на обсуждение его романа «Любовь Жанны Ней».

Небрежность была видна в манере держаться, в изрядно поношенном костюме, а внимание, взвешивающее, все замечающее,— в терпеливости, с которой он выслушивал более чем сдержанные отзывы о своем романе.

Ему было интересно все—и способные на дерзость молодые люди, и их учителя, выступавшие скупо и сложно.

Он много курил, пепел сыпался на колени. Немного горбясь, изредка отмечая что-то в блокноте, он, казалось, не без удовольствия следил за все возрастающей температурой обсуждения.

«Любовь Жанны Ней» — свидетельство кризиса сюжетной прозы...»

«Расчет на большую форму нарочит, историю Жанны можно было рассказать на двух десятках страниц...»

«Толстую книгу стоит написать, чтобы убить ею критика,— увы, толстый роман Эренбурга легок, как пух! Им никого не убьешь...»

«Русские герои книги чувствуют себя неловко среди парижских декораций».

«От книги нельзя оторваться, но для этого «нельзя» надо было найти другой, более основательный повод».

«Как известно, Дюма ставил на стол фигурки своих героев, чтобы не забыть, кто из них еще здравствует, а кто уже погиб и, следовательно, должен отправиться в ящик письменного стола до нового романа...»

«Волшебство занимательности должно помогать, а не мешать психологической глубине — вспомним Достоевского».

«В «Любви Жанны Ней» занимательность раздражает. Она должна быть изобретена, а не заимствована. Новый сюжетный роман придет из глубин русской литературы».

Эренбург слушал, не перебивая, с любопытством. Лицо его оживилось, он как будто повеселел под градом возражений. Он стал отвечать — и с первого слова мы поняли, что перед нами острый полемист, легко пользующийся громадной начитанностью и весьма внимательно следивший за делами нашей литературы:

«Все ждали появления сюжетного романа. Теперь, когда это произошло, начинают требовать, чтобы он перестал быть сюжетным».

Да, он сознательно стремился к занимательности и удивляется только тому, что оппонент, упрекавший его в том, что эта занимательность заимствована с Запада, не сослался при этом на «Дафниса и Хлою».

Оппоненту, заметившему, что «не стоит писать толстую книгу, чтобы убить критика»,— он ответил, что пора научиться спорить, не пользуясь тяжелыми предметами, будь то полено или книга.

Он отнюдь не собирается скрывать, что сюжет романа был тщательно обдуман, более того — графически изображен. Сейчас он покажет карту, которой он пользовался, работая над романом. Разумеется, она не имеет ничего общего с фигурками Дюма,— кстати сказать, оппонент, упомянувший о них, кое-что напутал.

Он развернул перед нами карту, и нельзя сказать, что она укрепила его позицию, изложенную уверенно и умело. Что-то наивное показалось вдруг в этой карте с черными кружочками, обозначавшими места встреч героев, с разноцветными линиями, пересекавшимися и переплетающимися по мере развития романа. Были, кажется, и даты.

Эренбург понял — это почувствовалось сразу,— что карта не произвела впечатления. Он сложил ее, сунул в портфель и, отвечая на чей-то вопрос, стал интересно рассказывать о французской литературе.

5

В 1932 году Эренбург приехал в Ленинград с женой, Любовью Михайловной,— ее я тогда увидел впервые. Он позвонил мне и пригласил зайти — хотел поговорить о моем недавно появившемся романе «Художник неизвестен».

В молодости у меня бывали странные минуты оцепенения. Я шел к Эренбургу, намереваясь рассказать ему, как был написан этот роман. Я хотел рассказать ему, как еще в 1919 году почти каждый день ходил в Музей западной живописи на Кропоткинской (бывшей Пречистенке). Стены двух пролетов лестничной клетки были раздвинуты контурными фигурами Матисса, напоминавшими мне танцующих вавилонских богинь из учебника древней истории. Я смутно улавливал внутренний ритм, объединявший эти фигуры, через которые как бы можно было смотреть, но от которых почему-то не хотелось отрываться. Впоследствии, читая книгу незаслуженно забытого талантливого поэта Константина Вагинова «Опыты соединения слов посредством ритма», я вспомнил эти работы Матисса.

Ван Гог поразил меня роковой невозможностью писать иначе, настигшей его, как настигает судьба. По одной только «Прогулке осужденных» можно было, ничего не зная о нем, угадать его приговоренность к мученичеству и непризнанию.

В зале Гогена я с головой кидался в странный, деревенский, разноцветный мир, к которому удивительно подходило само слово «Таити». Коротконогие коричневые девушки, почти голые, с яркими цветами в волосах,— я смотрел на них с тем чувством счастья и небоязни, о котором Пастернак написал в стихотворении «Ева»:

О женщина, твой вид и взгляд
Ничуть меня в тупик не ставят.
Ты вся — как горла перехват,
Когда его волненье сдавит.

Но и это чувство, так же как воспоминание об Ассирии, когда я смотрел Матисса, так же как попытки разгадать трагическую судьбу Ван Гога, не мешало еще чему-то очень важному — тому, что я видел как бы сквозь свои мысли и воспоминания и что доставляло мне особенное, совершенно новое наслаждение. Конечно, это был только первый шаг к пониманию формы, которая, может быть, и должна оставаться незамеченной, но постижение которой с необычайной силой приближает нас к произведению искусства.

Прислушиваясь к этому чувству, я принялся через несколько лет за роман «Художник неизвестен». Я написал его дважды. В первой редакции, оставшейся в рукописи, он напоминал трактат об искусстве, в котором я стремился столкнуть два взгляда на жизненную задачу — «расчет на романтику» и «романтику расчета». Книга была написана без глубины, без ощущения подлинности, гибель героя была не бескорыстной в том смысле, что и она как бы служила доказательством его правоты. Юрий Тынянов, прочитав рукопись, сказал, что в романе мало прозы, и процитировал «Охранную грамоту» Пастернака: «Мы втаскиваем вседневность в прозу ради поэзии».

Я принялся за работу снова. Чтобы втащить в него «вседневность», надо было самому стать ее участником или на худой конец необходимой деталью. Я поехал в Сальские степи, в совхозы «Гигант» и «Верблюд», где впервые встретился с людьми, которые даже не снились мне до той поры в моей книжной, архивно-библиотечной

жизни. Вернувшись, я переписал роман от первой до последней страницы, поставив его, как мне казалось, на «реалистические ноги». Я хотел рассказать Эренбургу, как мне было трудно работать. Но то ли потому, что я немного боялся его, то ли сомневался в том, что ему покажутся интересными мои ничем, в сущности, не замечательные размышления об искусстве, но как будто кто-то замкнул меня на замок с первой минуты встречи. Вместо того чтобы поддержать важный для меня разговор, в котором приняла участие прелестная, тонкая, легкая Любовь Михайловна — в ней было что-то и византийское, и парижское,— я вдруг застыл, одеревенел.

Эренбург похвалил мой роман, о котором только что появилась весьма опасная по своей определенности статья Селивановского в журнале «На литературном посту» под названием «Художник известен», и стал с интересом расспрашивать меня о работе ленинградских писателей. Я отвечал сдержанно, коротко и даже с какой-то несвойственной мне важностью, как бы стараясь не уронить себя, хотя никто, разумеется, на мое достоинство не покушался.

Так ничего и не вышло из этой встречи. Эренбург говорил, а я, почти не слушая его, думал только о том, чтобы не сказать что-нибудь обыкновенное, заурядное, слишком простое. Не знаю, почему я держался так неестественно,— может быть, потому, что на мне было все новое, с иголочки,— костюм, рубашка, носки,— надетое впервые для этого свидания. Я ушел, а вечером снова встретился с Эренбургами на Октябрьском вокзале. Мы с женой провожали Тихоновых, с которыми в те годы были особенно близки. Все оказались в одном вагоне, и проводы вышли веселые, сердечные. Много смеялись, и, прощаясь, Любовь Михайловна сказала мне:

— Боже мой, так это вы были у нас утром? Я вас не узнала.

6

Может быть, это перевоплощение было началом знакомства, которое с тех пор не прерывалось. Мы переписывались, Любовь Михайловна присылала мне из Парижа понравившиеся ей книги или новинки, о которых говорили в литературных кругах. В книгах Эренбурга, которые я получал от него с неизменной краткой дружеской надпи-

сью, я встречал совершенно недоступную для меня политическую зоркость, с которой он всматривался в опасно перестраивающуюся жизнь Западной Европы.

Думаю, что умение перекидывать мост между незначительной на первый взгляд подробностью обыкновенной жизни и явлениями, граничащими с мировой катастрофой, развилось у Эренбурга именно в эти годы. В его книгах («Хроника наших дней», «Затянувшаяся развязка») появилось то, что можно назвать «вибрацией времени», ощущеньем подземных толчков в истории, а не в пространстве. «Виза времени» — книга, в которой сквозь толщу обыденности просматривается скелет с косой в руках — так некогда изображали смерть. Впрочем, эту «рентгеноскопию машинальности» можно заметить уже в «Хулио Хуренито». Но там она носила другой характер: не пристального вглядывания, а памфлетного обобщения.

Потом началась испанская война. В тысячах комнат, в коридорах общежитий, в кухнях коммунальных квартир появились карты с воткнутыми флажками, которыми отмечалась линия фронта. Русские летчики спасли Мадрид. Колонны, штурмовавшие Сарагосу, назывались «Чапаев» или «Бакунин». По русским кинофильмам испанцы учились воевать. Там работали Кольцов, Эренбург, Савич — их корреспонденции появлялись в «Правде», в «Известиях», в «Комсомольской правде». Революция защищалась, соединив (впервые в истории человечества) испанцев с немцами, итальянцев с французами, русских с англичанами, норвежцев с чехами, норвежцев с венграми, американцев с австралийцами, поляками, болгарами, румынами.

...Всю жизнь Эренбурга преследовали необычайные, причудливые слухи. В самой его личности, в его неутомимых странствиях по всему свету, в атмосфере «громкости», в которой он жил и работал, было нечто вызывавшее ответное, почти всегда острое эхо. В годы испанской войны эти слухи приняли рыцарский характер. Эренбург — в центре борьбы. Он создает фронтовую агитбригаду, с кинопередвижкой и типографским станком. В Барселоне центурия отправляется на фронт под знаменем, на котором написано «Илья Эренбург». Он организует мировой конгресс писателей в осажденном Мадриде и выступает на этом конгрессе. Он награждается орденом Красной Звезды — в ту пору это была редкая награда.

Участие в испанской войне было для Эренбурга не только школой мужества, соединенного с энергией, пора-

жавшей его друзей и читателей в годы Великой Отечественной войны. «Если четыре года спустя я смог работать в «Красной звезде», находил нужные слова, то помогли мне в этом, как и во многом другом, годы Испании» («Люди, годы, жизнь»). В более чем сложной политической обстановке сложился характер писателя, для которого переход от нравственной идеи к ее практическому воплощению стал фактом ежедневной жизни. Немедленная реакция на любые проявления фашизма (в его неприкрытом или замаскированном виде) после испанской войны окрашивает всю деятельность Эренбурга — художника, публициста, поэта.

7

Я всегда прислушивался к нему как к старшему, хотя дело было не в разнице лет. Он был старшим по неисчерпаемому опыту жизни, по знанию и пониманию искусства. Он был горячим, неутомимым спорщиком, никогда не сердившимся на возражения. Напротив, сердился, когда, не соглашаясь с ним, я (по нелюбви к спору) отстранялся от защиты своей точки зрения.

У него был острый политический ум, редкая способность к предвидению, меткость в схватывании алгебраических формул истории. Мне случалось встречать людей, которые считали его человеком желчным, эгоистическим, колючим. Между тем сохранились тысячи — без преувеличения — свидетельств, говорящих о том, что он был удивительно добр, внимателен, отзывчив. Эти свидетельства — огромная сохранившаяся переписка, охватывающая необъятный круг вопросов — от личных просьб до обсуждения событий мирового размаха. Самое понятие эгоизма выглядит смешным по отношению к человеку, который жил и работал без оглядки, не щадя себя, ежедневно помогая другим, глубоко равнодушный к своему здоровью, отдыху, развлечениям. Отзывчивость была тщательная, входившая в подробности. Он не упускал ни одной возможности, несмотря на то что подчас силой обстоятельств они сводились до ничтожно малых пределов...

Мои воспоминания растянулись бы до бесконечности, если бы я стал рассказывать всю историю наших многолетних отношений. Но вот несколько «моментальных снимков».

Дождливый мартовский вечер в затемненной военной Москве 1942 года, возникающие в сумерках, скользящие по мостовой слабые, лиловатые отблески фар, прикрытых козырьками. Эренбург в берете и рыжем, набухшем от времени и дождя пальто прогуливает собаку вдоль фасада гостиницы «Москва». Фронтовая, закамуфлированная машина останавливается у подъезда, усталый немолодой офицер вылезает, расправляя затекшие руки и ноги. Взгляд его падает на сгорбленную, озябшую фигуру Эренбурга, терпеливо ожидающего, пока собака сделает свое несложное дело.

— Черт знает что!—с возмущением говорит офицер.— И откуда еще такие берутся? Просто уму непостижимо!

Он говорит это самому себе, но отчасти и мне — я стою под крышей подъезда.

— А вы знаете, кто это? Эренбург!

— Ну да?

— Честное слово!

— Да вы шутите!

Я заверил его, что отнюдь не шучу, и тогда он вернулся к машине, сказал что-то водителю, и, перешептываясь, они смотрели на Эренбурга, пока он не исчез в темноте. Все было прощено мгновенно: и до неприличия штатский, тыловой вид, и то, что кому-то, видите ли, еще до собак, и старый берет, из-под которого торчали давно не стриженные седоватые лохмы.

Кстати сказать, это был первый вечер, который я провел у Эренбурга в годы войны. Наш разговор начался с воспоминания о том, с какой непостижимой точностью он предсказал дату ее начала. Первого июня 1941 года мы вместе поехали навестить Ю. Н. Тынянова в Детское Село, и на вопрос Юрия Николаевича: «Как вы думаете, когда начнется война?»—Эренбург ответил: «Недели через три».

Теперь в его номере (он жил в гостинице «Москва», потому что его квартира на Лаврушинском была разрушена бомбой) я напомнил об этом Илье Григорьевичу. Он буркнул:

— Не помню.

С первого же слова он набросился на меня. Почему я в Москве, а не на фронте? Я успокоил его, сказав, что работаю военкором «Известий» на Северном флоте и только что приехал из Мурманска.

— Не сердитесь,— смеясь, сказала мне Любовь Михайловна,— так он набрасывается на всех.

На окнах, на столе, на полу, на диване лежали рукописи — Эренбург был как бы «вписан» в этот своеобразный пейзаж. Он похудел, был бледен, очень утомлен. В середине разговора, не допив свой чай, он расстелил на столе большую грязную карту и стал рассматривать ее с карандашом в руках, что-то прикидывая, соображая. Впечатление человека потрясенного, отдалившегося от всего случайного, неотступно думающего о том, что происходит *там*, на линии фронта, еще усилилось, когда оказалось, что он не помнит о своей статье, которую я слышал утром по радио. Он стал уверять меня, что я ошибаюсь. Потом вспомнил и рассмеялся. В этот день он написал шесть статей.

8

Можно с уверенностью сказать, что любому из участников войны запомнилось впечатление, которое производили эти статьи, передававшиеся по радио и почти ежедневно печатавшиеся в наших газетах. Маршал Баграмян недаром считал их «действеннее автомата», и недаром Илья Григорьевич был зачислен «почетным красноармейцем» в 1-й танковый батальон 4-й гвардейской бригады.

Знаменитое суворовское «быстрота и натиск» в полной мере можно отнести к этой публицистике с ее стремительностью, меткостью и размахом.

Маршал Баграмян прав: иные статьи напоминают пулеметную очередь, причем пули уходили не «за молоком», а прямо в намеченную цель. Особенность их заключается в том, что они обращены к товарищам по оружию. Вот почему Эренбург с такой уверенностью шагает через всеобъединяющее понимание чудовищности фашизма и необходимости победы. Он — не только вровень, но рядом со своими читателями, ему не приходится напрягать голос, чтобы быть услышанным. Его поймут с полуслова.

Совершенно иначе написаны статьи, которые Илья Григорьевич регулярно посылал через Информбюро зарубежным газетам и агентствам: французской «Марсельезе», американским Юнайтед Пресс и «Нью-Йорк таймс», английским «Ньюс кроникл» и «Ивнинг стар» и многим другим газетам, выходившим в Стокгольме, Бейруте, Каи-

ре и т. д. Голос другой — неторопливый, убеждающий, напряженный. Задача другая: второй фронт.

По самым скромным подсчетам, для зарубежных изданий он написал свыше трехсот статей. Рукописи их считались потерянными. В настоящее время они обнаружены в архиве Эренбурга, и журнал «Вопросы литературы» (№ 5 за 1970 год) оказал бесспорную услугу истории советской публицистики, напечатав некоторые из них на своих страницах (публикация Л. Лазарева).

Статьи расположены в хронологическом порядке — от июля 1941-го до января 1945-го. Это — хронология терпения, мужества, упорства и снова терпения.

Все пригодилось Эренбургу для этих статей — не только опыт испанской войны, не только глубокое понимание психологии зарубежного читателя, не только знание западноевропейской истории, ее поэзии и живописи. Статья от 10 июня 1943 года представляет собой тройной анализ. Позиции иностранных обозревателей, ломающих головы над загадкой: почему немцы до сих пор не начали наступления в России? Политики близкого прицела как характерной черты гитлеризма. Морального состояния вооруженного советского народа, который «в дни затишья мечтает о боях... Кипит возмущенная совесть России... Если на весах истории что-либо значат чувства, если весит не только золото, но и кровь, если совесть имеет право голоса на совещаниях государственных деятелей, то веско прозвучит слово России: пора!»

Для зарубежного читателя не могли пригодиться «быстрота и натиск», стремительность пулеметной очереди, расчет на понимание с полуслова. Надо было растолковать, трезво объяснять, расчетливо доказывать. Надо было умело сражаться с немецкой пропагандой, пугавшей союзников «призраком коммунизма».

Мнимая «тайна» русского сопротивления, роль самовнушения в немецком упорстве, уверенность в том, что фашисты, предвидя военный разгром, уже думают о реванше, чувство времени как необходимая черта полководца — вот малая доля в том охвате, который связывает эти статьи. Они написаны с блеском. «Откуда у русских солдаты? Это все равно что спросить, откуда в России люди». Вся статья от 14 января 1943 года пронизана этим рефреном, вдохновенным и трезвым, как стук метронома во время тревоги в годы ленинградской блокады.

Последние годы мы часто бывали у Эренбургов, проводили у них вечера, а летом ездили в Новый Иерусалим, на дачу. В моей памяти эти вечера соединяются, сплетаются, и, хотя каждый из них был зеркальным отражением времени, разделить их немыслимо, да и не нужно. Ежедневное, обыкновенное скрещивалось в наших разговорах с мировым, особенным, необычайным. Но, может быть, самым важным было то, что эти вечера происходили в эренбурговском доме.

На первый взгляд он мог бы показаться музеем или картинной галереей — так много в нем первоклассных произведений искусства. Ложное впечатление! Почти все эти произведения связаны с личными отношениями — с дружбой, уважением, признательностью, признанием. Бесценные холсты, рисунки, керамику, скульптуру дарили друзья. И эта дружба продолжалась годами, десятилетиями, всю жизнь. В описании этой коллекции не найдется, к сожалению, места для тех трогательных, значительных, а иногда и забавных воспоминаний, которые можно было услышать лишь из уст самого Эренбурга. На варшавской встрече сторонников мира Пикассо за чашкой кофе набросал карандашом черта, который радостно встречает Эренбурга (в переписке Пикассо в шутку называл себя Чертом — прозвище, которое дал ему Эренбург). На бумажной салфетке остался оттиск, который хозяин кафе продал за крупную сумму.

Свидетельство другой встречи с Пикассо — раскрашенные фотографии, в которых он несколькими беглыми, подчеркнуто грубыми линиями надел на Эренбурга цветной цилиндр, а себя изобразил с бородой и в кольчуге.

Единственная коллекция, которую Илья Григорьевич собирал (в молодости), была коллекция трубок — о ней он написал свою широко известную книгу. Бесценные произведения искусства привела в его дом сама жизнь.

Хозяин этого дома должен был обладать глубокими познаниями, безошибочным вкусом, талантом человечности, который привлекал к нему сердца людей, нуждавшихся в нравственной опоре.

И еще одно: жизнь меняет людей. Одни намеренно ставят между собой и жизнью невидимый заслон, обходят ее — так легче избежать ошибок. Заботясь о своей внутренней неприкосновенности, они не замечают роковых пе-

ремен в собственном сознании, перемен, ведущих к неподвижности, окостенению.

Эренбург всегда шел на приступ, любое из его произведений — будь то политическая статья, очерк, роман — было нападением. Вот почему он всегда оставался самим собой. Его крупно прожитая жизнь требовала последовательности, единства. На своем шестидесятилетии он прочел подпольную листовку, написанную им, когда ему было шестнадцать лет.

— Я готов,— сказал он,— и теперь подписаться под каждым ее словом.

10

Он был превосходным рассказчиком, спокойным, неторопливым, но отнюдь не стремившимся «приковать» слушателя,— напротив, нисколько не заботившимся об успехе своего рассказа.

Так, однажды Илья Григорьевич полтора часа рассказывал о какой-то несчастной женщине, обратившейся к нему как депутату Верховного Совета. Мало было редкой памяти, чтобы запомнить каждую подробность этой истории. Так говорят о сестре, о близком друге. Все интересно, все важно — и вовсе не только потому, что это была действительно необыкновенная история, вобравшая в себя всю мировую сутолоку, все несбывшиеся надежды, все грустные сны неудавшейся жизни. Для Эренбурга в этой истории, как в осколке зеркала, отразилась картина века.

В другой раз он стал рассказывать, как он нашел своего друга Савича в деревушке под Фигерасом в последние дни проигранной испанской войны,— и мы своими глазами увидели комнату в крестьянском доме, ярко освещенную пламенем огромного камина, в который Савич швырял русские книги. Психологический портрет Савича, комнатного, тихого человека, который оказался в испанской войне храбрейшим из храбрых, был дан пространно, с юмором, легко, блестяще. Ощущение «пропади все пропадом», презрение к опасности — все было в этом изображении страстного книжника, сперва с отчаяньем, а потом с детским увлечением швырявшего в огонь книгу за книгой. Мне дорого минутное сожаление, с которым Савич, помедлив, швырнул в огонь мой роман «Два капитана».

— Не оставлять же фашистам!

Да, Эренбург был собеседник, помогавший, а иногда и заставлявший вглядываться в себя, постигший редкое и драгоценное искусство — ставить себя на место других.

Вот почему «Люди, годы, жизнь» оказались для меня чем-то вроде продолжения его рассказов. Разумеется, я узнал и очень много нового. Кинокадры, остановившиеся перед беспощадно внимательным объективом, сменяются размышлениями, так или иначе связанными с мыслью, пронизывающей книгу: «Приподымая занавеску исповедальни, скажу, что книга «Люди, годы, жизнь» родилась только потому, что я сумел в старости осуществить сказанные мною давно слова — победить то, что сделала со мной жизнь, и если не родиться заново, то найти достаточно сил, чтобы идти в ногу с молодостью». В книге десятки портретов — Пикассо, Модильяни, Бальмонт, Жолио Кюри, Бабель, Панаит Истрати, Маркиш, Фальк, Мате Залка, Кольцов, Пастернак, Алексей Толстой,— всех не перечислишь. Люди войны, труда, науки. Портреты, занимающие целые главы, сменяются контурами, беглыми рисунками — и это не поспешность, а манера.

Но больше всего — встреч с самим собой, со своим детством в Киеве, с революционной юностью, с Парижем и поисками призвания. Автопортреты — беспристрастны. Сопоставление взглядов, впечатлений, своего места в разные эпохи истории показалось бы утомительным, если бы не было тесно связано с неукротимой жаждой новизны, заражающей читателя и объясняющей мировой успех книги.

«Время проходит? — гласит печальная мудрость Талмуда.— Время стоит. Проходите вы».

Эренбург был живым отрицанием этой мысли. Движение времени он ощущал физически, как те редко встречающиеся люди, которые, не глядя на часы, определяют время. Его историзм веществен, заземлен. Он не стремится к обобщениям, более того — он их избегает. Он убежден, что любые доктрины, как бы они ни были бесспорны, не могут избегнуть доброго и строгого судьи — человеческого сердца. Он знает, что жизнь опрокидывает любые предсказания, а история — умнее наших размышлений о ней...

ПЕТРОГРАД, 1921

1

«Серапионовы братья» собирались каждую субботу в комнате Михаила Слонимского в Доме искусств. Впоследствии Ольга Форш назвала этот дом «Сумасшедшим кораблем» и рассказала о странной жизни его обитателей, полной неожиданностей и вдохновения[1]. Но ничего странного не находил в этой жизни студент-первокурсник, ходивший с поднятой головой по еще пустынному, осенью двадцатого года, Петрограду. Еще бы не гордиться! Он только что приехал из Москвы, где чуть ли не ежедневно бывал в знаменитом «Стойле Пегаса». Он неоднократно видел Маяковского, Есенина. Он сам писал стихи — очень сложные, как ему казалось. Однажды ему случилось даже побывать у Андрея Белого, который показал только что вышедшие «Записки мечтателя» и говорил с ним так, как будто он, мальчик, едва окончивший школу, был одним из этих мечтателей, избранников человечества и поэзии.

Очевидно, совсем другое пришло в голову Юрию Тынянову, другу моего старшего брата, приехавшему в Москву по командировке Коминтерна, где он работал в те годы переводчиком. Найдя меня среди бледных, прекрасно одетых молодых людей, называвших себя поэтами и носивших в наружном кармане пиджака порошки с кокаином, он испугался за меня и убедил переехать к нему в Петроград.

Сам не знаю, почему мне пришлась по душе эта мысль. Может быть, потому, что город Пушкина, Петра, Медного всадника, декабрьского восстания был одним из тех городов, которые стоило завоевать, тем более что в Москве мне не удалось добиться признания даже той маленькой поэтической группы, которая называлась — не помню — или «Зеленое кольцо», или что-то в этом роде и в которую входили самые разнообразные люди, в том числе даже будущий известный врач-гинеколог.

Стремясь приблизить необычайные события, которые непременно должны были произойти со мной, я поступил одновременно в университет и в Институт живых восточных языков. Мне хотелось стать дипломатом. Меня не пугала смерть Грибоедова и нравилась жизнь Мериме. Миро-

---

[1] См.: «Жизнь искусства», 1924, № 27.

вая революция приближалась. Я видел себя произносящим речь в Каире, в мечети Аль-Азхар, на конгрессе освобожденных восточных народов. В свободное от государственных дел время я намеревался писать стихи или, может быть, прозу.

Словом, литературная Москва еще стояла в моих глазах, когда я впервые появился в маленькой, пропахшей дымом комнате Михаила Слонимского в Доме искусств, нимало не напоминавшем «Стойло Пегаса».

Преодолевая застенчивость, догадываясь, что я кажусь замкнутым, надменным, вглядывался я в лица будущих товарищей по литературе и жизни.

В комнатке было очень тесно. Люди сидели на кровати, на окне. Юноша с каштановыми вьющимися волосами, присев на корточки, колол кухонным ножом и подбрасывал в «буржуйку» чурки.

Один из моих новых товарищей — красивый человек, худощавый, высокий, с правильными чертами лица, которое запоминалось сразу,— показался мне старше других. Светлые глаза его были широко открыты, а когда он вдруг вступал в разговор, раскрывались еще больше, хотя это было уже почти невозможно. Это был Федин.

Другой мой новый знакомый — невысокого роста, с бледным, матовым лицом, державшийся прямо, с военной выправкой,— мягко усмехаясь, изредка вставлял в общий разговор какое-нибудь ироническое и вместе с тем дышавшее добротой и простотой замечание. Это был Михаил Зощенко.

Меня привел Виктор Шкловский, представив не по имени, а названием моего первого и единственного рассказа — «Одиннадцатая аксиома», о котором, по-видимому, знали будущие «Серапионовы братья». Потом он ушел, а я откинулся в угол кровати и стал несколько пренебрежительно, как это и полагалось столичному поэту, прислушиваться к разгоравшемуся спору. В нем принимали участие все, кроме плотного молодого человека в гимнастерке и солдатских английских ботинках с зелеными обмотками, который молча слушал, склонив большую голову набок. Это был Всеволод Иванов. Главными противниками были Федин и юноша, разжигавший «буржуйку»,— Лев Лунц, как я узнал вскоре. Это был спор, не похожий на споры молодых московских поэтов, в которых было что-то случайное, менявшееся от месяца к месяцу. Здесь — это я почувствовал сразу — спор шел об основном.

Со всей страстью, в которой трудно было отличить убеждение от литературного вкуса и которая тем не менее двигала в бой целые полки неопровержимых (как мне тогда казалось) доводов, Лунц нападал на Федина, слушавшего его терпеливо, не перебивая.

Знаменитый тезис, над которым в то время подсмеивались формалисты,— сначала *что*, то есть сначала содержание, а потом *как*, то есть форма,— лежал в основе концепции Федина, и он умело превращал его из оружия обороны в оружие нападения.

В его книге «Горький среди нас» изложено содержание этого спора, под знаком которого прошли наши «субботы» 1921 года:

«Стычка была жестокой. Истина сидела где-то в углу комнаты, ухмыляясь за спинами «серапионов», поддерживавших Лунца или соблюдавших нейтралитет.

Спор велся так.

Лунц говорил: русская проза перестала «двигаться», она «лежит», в ней ничего не случается, не происходит, в ней либо рассуждают, либо переживают, но не действуют, не поступают, она должна умереть от отсутствия кровообращения, от пролежней, от водянки, она стала простым отражением идеологий, программ, зеркалом публицистики и прекратила существование как искусство; спасти ее может только сюжет — механизм, который ее расшевелит, заставит ходить, совершать волевые поступки. Традиция сюжета находится на Западе, мы должны привести эту традицию и оплодотворить ею нашу лежачую прозу, поборов в себе пошлую, внушенную литературными дядями боязнь перед романом приключений, учась у того писателя, который владеет секретом действия, будь то Стерн или Дюма, Стивенсон или Конан Дойль, и нечего брать русскую литературу под защиту, она настолько велика, что в защите не нуждается, ограждать ее от западного соседа — значит обречь на повторение пройденного, а великое, будучи повторено, перестает быть великим. Поэтому наш девиз — на Запад!..

Я говорил так: мечта литературы состоит не в том, чтобы размножать книжные образцы, все равно какие — западные или русские, важно — к чему будет приложен механизм той или другой традиции, ибо ничего не получится, если мы, ради придания подвижности русской прозе, заставим Обломова ездить на трамвае... Материал литературы есть чувство, и все дело в том — обладаешь ли чув-

ством, которое хочешь выразить, какими средствами ты этого достигаешь — безразлично — с помощью прославленного сюжета или с помощью презренной риторики,— все средства хороши, и они, во всяком случае, хороши в «Пиковой даме» и в «Портрете», хотя эти повести — в прямом родстве с якобы бессюжетной русской прозой. И так как чувство всегда идет в ногу с временем, всегда современно, то нельзя себе представить в наше время писателя без страсти ко всему создаваемому революцией. Поэтому сначала нами должно быть во всей глубине понято, *что* мы хотим сказать, тогда мы найдем, *как* надо сказать...» [1]

Первый вечер, который я провел среди новых друзей, потом смешался с воспоминаниями о других вечерах, быть может не менее интересных. Но это был вечер перехода к новой, еще неведомой жизни — вот черта, которую я почувствовал смутно, но верно.

Мы возвращались после первого серапионовского собрания с Константином Фединым, с Елизаветой Полонской. Петроград, уже опустевший, хотя еще только пробила полночь, лежал перед нами пустой, геометрически точный. С жадностью юноши, начитавшегося Пушкина, всматривался я в этот город, который полюбил на всю жизнь [2].

2

Лев Лунц не вошел, а стремительно влетел в литературу, легко перешагнув порог распахнувшейся двери. Одновременность произведений — от трагедии до фельетона — нисколько не мешала ему. Талантливый студент, владевший пятью языками и чувствовавший себя во французской, испанской, немецкой литературах как дома, он смело пользовался своими знаниями — и, может быть, именно здесь, в свободе обиходности, с которой эти знания участвовали в создании его произведений, следует искать ключ

---

[1] К. Федин. Горький среди нас.— В кн.: Конст. Федин. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 10. М., «Художественная литература», 1973, с. 77.

[2] О литературной жизни Ленинграда и о моем участии в ней я гораздо подробнее и точнее рассказал в последней части моей книги «Освещенные окна» — «Петроградский студент». См. т. 7 наст. Собр. соч.

к его творчеству, цельному, несмотря на всю разносторонность. Такие трагедии, как «Вне закона» и «Бертран де Борн», с их неожиданностями, с подчеркнутым, но ничуть не смешным героизмом, с острыми поворотами, мнимыми случайностями, шиллеровскими преувеличениями, мог написать только человек, проникнутый пониманием законов успеха.

«Вместо театра настроений, голого быта и голых фокусов я пытался дать театр чистого движения. Быть может, получилось голое движение — не беда. Мелодрама спасет театр. Фальшивая литературно, она сценически бессмертна! А для меня сценичность важна прежде всего!» — писал он в послесловии к «Бертрану де Борну».

О Лунце можно сказать, что он испытывал беспрестанное чувство счастья от самого факта существования литературы. Этот факт (в котором действительно есть нечто удивительное, если взглянуть на него глазами юноши, открывшего в себе возможность писать трагедии, статьи и рассказы) был для него неизменной праздничной реальностью, к которой он таки не успел привыкнуть за свою недолгую жизнь.

После окончания университета, получив научную командировку в Испанию, он заехал к родителям в Гамбург. Он умер двадцати трех лет. Одно из его последних произведений называется «Путешествие на больничной койке». Его неизменно поддерживали ободряющие письма Горького, который написал после его смерти трогательный некролог: «Лунц был одарен бесспорным талантом драматурга. Живи он и работай — думалось мне — и русская сцена обогатилась бы пьесами, каких не имеет до сей поры» («Беседа», 1924, № 5). В другом некрологе, принадлежащем К. Федину, отразилось чувство горестной утраты, охватившей всех друзей Лунца. «На его долю выпала жестокая смерть: он был прикован к постели, не мог двигаться, а вся его жизнь была в движении. Он всегда торопился, спешил. Слова его едва успевали за мыслью, а смех не мог угнаться за воображением... Неспокойный, стремительный, мчащийся Лунц перенес свой темперамент из жизни в искусство. Он ожесточенно раскачивал «правую фракцию» «Серапионовых братьев», где еще сильны были тенденции статичного русского рассказа».

3

Полная, безусловная откровенность была главным двигателем дружбы между Лунцем и мною — двигателем, потому что это была развивавшаяся дружба. Мы оба думали, что сюжет — это единственный, проверенный столетиями механизм, с помощью которого можно вытащить прозу из «болота» орнаментализма. Но вкусы у нас были разные. «Голое движение», которым он был готов на худой конец воспользоваться, меня не устраивало. Я и тогда не любил детективных романов, которые надо решать, как кроссворд, или, в лучшем случае, раскладывать, как пасьянс.

Повороты, неожиданности, острые столкновения—весь инвентарь сюжетного романа не интересовал меня сам по себе. Сценичность во что бы то ни стало казалась мне в трагедиях Лунца «обреченной на успех», но не двигающей вперед нашу драматургию. Я считал, что ему не хватает вкуса.

Случалось, что, оставаясь вдвоем, мы спорили с бóльшим ожесточением, чем на «субботних встречах». Но это были споры двух юношей, которые даже не подозревали (или только догадывались), как они нужны друг другу.

Лунц был стремителен, находчив, остроумен. Его пылкость обрушивалась, обезоруживала, увлекала. «Редкая независимость и смелость мысли» (о которых Горький написал в некрологе) были эталоном его мировосприятия — иначе он не мог работать и жить. К смелости мысли следует прибавить застенчивость чувства. Я помню наши разговоры о любви — как обоим смертельно хотелось влюбиться. Почему-то это стремление (или самое понятие любви) называлось у нас «Свет с Востока». Когда я возвращался после студенческих каникул, которые проводил у матери в Пскове, мы обменивались последними сведениями, касавшимися «Света с Востока». Сведения были неутешительными. Влюбиться не удавалось...

Лунц заболел, когда он был в разгаре работы. Он был довольно крепок, плотен, среднего роста, кудряв. Жизнь так и звенела в нем, когда странная, до сих пор не разгаданная болезнь накинулась на него злобно, свирепо. Он и отбивался свирепо. Он не терял надежды, что ему удастся в конце концов сломить ее. Все черты его исключительности выразились отчетливо, резко — теперь, когда надо бы-

ло спешить. Он переписывался с Горьким, с «братьями» — и работал, работал. На больничной койке был написан сценарий «Восстание вещей», в котором вещи, одушевленные гениальным ученым, восстают против человека. Сценарий и теперь, в наши дни, представляется мне счастливой находкой для талантливого режиссера. Он полон предвидений, пророческих предсказаний.

4

В тогдашних представлениях Лунца (и моих) между «орнаментализмом» и стоячей прозой стоял знак равенства — сюжет автоматически расползался под натиском цветных, раскрашенных слов. Это доказывается в рецензии Лунца на книгу Вс. Иванова «Седьмой берег» («Книга и революция», 1923, № 1). В маленькой рецензии интересно все — и полное, безоговорочное признание таланта Иванова как стилиста, и резкости, казалось бы немыслимые между близкими друзьями. И последовательно доказанная мысль, что «превосходный язык Иванова», «уменье владеть диалогом», «портретность», все бесспорные достоинства его прозы плохи тем, что их слишком много: «...На стихийном движении самого материала Иванов дает замечательные портреты своих героев, и эти живые герои сами уже знают, что им делать,— писатель идет за ними. Не он владеет материалом, а материал им».

Только рассказу «Дитё» Лунц отдает должное, как произведению, в котором стихия языка не мешает оригинальному развитию сюжета. Все остальные рассказы, по его мнению, не удались потому, что «Вс. Иванов не знает элементарнейшего построения фабулы, не умеет развить даже одного мотива». Этот недостаток становится особенно ощутимым в романах «Цветные ветра» и «Голубые пески»: «Роман требует интриги, законченной и строгой. Язык, образ, описания, как бы хороши они ни были,— утомляют, надоедают... «Цветные ветра» и особенно «Голубые пески» — неудобочитаемы. Даже стихийные их герои, с прежним мастерством написанные, теряются, забываются. По-прежнему хороша каждая страница, каждая фраза, каждое слово, но все вместе однообразно и скучно до зевоты».

Кстати о резкости. Это написал один из «Серапионовых братьев» о другом — не высказался в запальчивом споре,

а напечатал в журнале, который редактировал третий из «братьев» — К. Федин.

Не помню, как отнесся к этой рецензии Вс. Иванов. Думаю, что он прошел мимо нее, не заметив. Он почти не вмешивался в наши споры. Мудрое спокойствие, которым он отличался подчас, давало нам повод сравнивать его с Буддой.

В наше время совершенно ясно, как ошибался Лунц, пытаясь оценить начинавшийся сложный путь Вс. Иванова с позиций страстного приверженца сюжетной прозы.

В 1922 году исполнилось столетие со дня рождения Эрнеста Теодора Амадея Гофмана, и, хотя над мнимой близостью нашего ордена к великому немецкому писателю подшучивали и мы сами, и наши «гостишки», мне было поручено выступить с речью, посвященной этой дате. «Гостишки», кстати сказать, смеялись едко. В одном из шуточных стихов, которые Тынянов читал на серапионовских годовщинах, были такие строки:

Пиша в неделю пять романов
Про азиатов и...
Из оных Всеволод Иванов —
Чистейший Гофман Амадей.

Понятно, почему серапионы поручили именно мне выступить с этой речью. Не ощущая никакой зависимости от Гофмана, я считался — и, вероятно, не без оснований — гофманианцем.

Вот эта речь. Главное ее достоинство: краткость. Обойти ее — значило бы пренебречь единственной данью уважения, которую Серапионовы братья отдали своему воображаемому патрону.

«Серапионовы братья и почтенное сообрание! На нашу долю выпала высокая честь первыми в России отметить торжественным заседанием память Э.-Т.-А. Гофмана. Названием его произведения мы полтора года тому назад наименовали наше содружество. Сегодня мы должны быть подлинными Киприаном, Отмаром, Лотаром, Теодором, Винцентом и Сильвестром, чтобы достойно помянуть человека, некогда создавшего их. Это лежит прежде всего на нашей обязанности, ибо, несмотря на то, что лишь немногие из нас считают Гофмана своим учителем, именно мы обязаны напомнить, что снова пришло время, когда значе-

ние его, которое в свое время оценили не только Пушкин и Гоголь, но Герцен и Достоевский, с каждым днем все более возрастает.

В чем высокое призвание Гофмана? У нас его считают сказочником и, подобно Диккенсу, Стивенсону и другим великим писателям Запада, назначили служить забавой детям. В этом есть какая-то своеобразная мудрость. Детям свойственна способность к мгновенным переменам в восприятии окружающего, а это всегда было характерной чертой творчества Гофмана. Его понимали по-разному. Искали в нем отражение жизни его времени — и находили. Искали тончайший философский смысл — и находили. В его фантасмагориях находили реальность, а в реальности — игру воображения. Но он принадлежит к числу тех писателей, которых стали изучать, прежде чем внимательно прочитали. Дирижер, композитор, карикатурист, декоратор, судебный советник, музыкальный критик, пьяница, великий враг пошлости, он доказал, что магия невероятного живет рядом с нами. И черная, прибегавшая к помощи дьявольских сил, и белая, основанная на божественном вдохновении. Белинский недаром назвал его «одним из величайших немецких поэтов, живописцев невидимого внутреннего мира, ясновидцем таинственных сил природы и духа, воспитателем юношества, высшим идеалом писателя для детей».

Где найти ту психологическую или философскую меру, которая помогла бы нам оценить удивительную способность Гофмана к «смещению» — ту способность, которая мгновенно превращает реальность в поэтический сон, а сон — в прозаически скучную жизнь?..

Ансельм хватается за ручку двери, но это вовсе не ручка двери — это рожа, которая корчит страшную гримасу, у которой изо рта пышет огонь. В детстве я встретил в цирке фокусника, в котором без труда узнал Перигринуса Тисса. Он был в чулках, в блестящем зеленом костюме. Он подкидывал трость, которая в воздухе превращалась в змею, а по рыжему клоку его волос, падавших на квадратный набеленный лоб, медленно полз Повелитель блох со скипетром в маленьких лапках и с бриллиантовой короной на голове. Я обознался, придумал, вообразил? Не все ли равно? В любом случае мне помог Эрнест Теодор. А теперь мне двадцать лет, и я стою перед вами, Серапионовы братья. Но не кажется ли вам, что не я, а монах Медард, испивший сатанинский эликсир, стоит перед ва-

ми? Не кажется ли вам, что наше почтенное собрание состоит из архивариусов, сапожников, бочаров, из нежных фрейлейн и добродетельных фрау? Все сущее представляется кажущимся, достаточно и двух измерений, чтобы понять планиметрический гофмановский мир. Его герои написаны черным по белому, а ведь силуэт — мне всегда казалось, что это именно так,— непременно должен двигаться по прямой, а поворачиваться под прямым углом. Он лишен объема. Так написана «Принцесса Брамбилла», в которой раздвоение героя повлекло за собой раздвоение мира. Я читал эту повесть с карандашом в руках, ища ее скрытый смысл, пытаясь уловить закулисный строй, в котором Гофман спрятал философию своей эпохи. Напрасно! Читая Гофмана, надо одновременно слушать его, как слушают музыку, а слушая музыку, думают о своем.

Это далеко не все, что следовало бы сегодня сказать о Гофмане. Но мне кажется, что мы должны закончить этот вечер не здесь, в почтеннейшем Доме искусств, а там, где один из нас снова покажет нам неподражаемое искусство наливать восемь рюмок одним плавным движением руки. Ведь именно так поступил бы на нашем месте Гофман!»

Место, где я предложил закончить наш вечер, был кабачок Гулисова на Невском проспекте. Там, после наших субботних встреч, мы, случалось, засиживались допоздна.

Это было время, когда мы еще придумывали прозвища, а встречаясь, говорили шутя вместо приветствия: «Здравствуй, брат. Писать очень трудно».

Прозвища были забавные: Груздев — «отец настоятель», Никитин — «брат летописец», Слонимский — «брат виночерпий», Иванов — «брат алеут», а я — «брат алхимик». Федин в книге «Горький среди нас», дополняя список прозвищ, дает другие варианты. Никитин — «брат ритор». Шкловский — «брат скандалист» — это одно доказывает, что придуманные имена не привились в нашей маленькой группе.

Напрасно просил я своих товарищей преисполниться глубоким значением Гофмана. Напрасно со всей энергией двадцатилетнего мальчика, стремившегося увидеть мир не таким, каков он был в действительности, старался передать поразившие меня впечатления от «Эликсира сатаны» и «Принцессы Брамбиллы». Серапионовы братья были бесконечно далеки от гофмановских «Серапионовых братьев». Это были люди, прошедшие войну, видевшие революцию или участвовавшие в ней и думавшие не о превраще-

ниях реального мира в нечто фантастическое, а о том, чтобы отразить этот реальный мир в своих произведениях.

Но в наших отношениях действительно было нечто гофмановское или, по меньшей мере, трогательное: дружба, украсившая жизнь и сохранившаяся на долгие годы. Тем сильнее и тем поразительнее она была, что между нами очень рано определилось несходство вкусов, намерений, ожиданий. Лунц писал: «Мы не члены одного клуба, не коллеги, не товарищи, а братья. Каждый из нас дорог другому, как писатель и как человек. В великое время, в великом городе мы нашли друг друга... Один брат может молиться богу, а другой дьяволу, но братьями они останутся. И никому в мире не разорвать единства крови родных братьев».

Лунц оказался не лучшим из предсказателей. И все-таки он был прав. Я не знаю другой литературной группы, члены которой так долго чувствовали бы себя связанными отношениями, основанными на благодарных воспоминаниях, счастливо соединившихся с любовью к литературе.

ЗАТЕЙЛИВОЕ СЛОВО

Доклад «Леонов и орнаментализм» начался с попытки представить в одной общей панораме все стилистическое разнообразие прозы двадцатых годов.

По мнению докладчика, можно было наметить по меньшей мере три направления:

1. Так называемое «орнаментальное», основанное на сложной, «украшенной», иногда подчеркнуто ритмизованной фразе.

2. Сюжетно-смысловое, в котором художественная ткань стремится к экономному, реалистическому, контурному слову, в конечном счете прямо связанному с тематической задачей.

3. Сказ, стилистический строй, приближающийся к разговорной речи и выдвигающий на первый план фигуру рассказчика, выдуманную или подлинную.

Особое место докладчик отводил стилизации как явлению вторичному, подменяющему любую из перечисленных стилистических установок.

— Остановимся на орнаментализме,— сказал докладчик,— и попытаемся прежде всего определить его происхождение. Орнамент (согласно энциклопедии Брокгауза и

Ефрона) представляет собою «изображение, употребляемое для придания красивого вида изделиям всякого рода... Из самого назначения орнамента вытекают главные требования, которым он должен удовлетворять: необходимо, чтобы он не имел самостоятельного значения, был вполне подчинен украшаемому им предмету... не затемнял собою их общей формы и расчленений, а только скрывал их наготу, уничтожал их монотонность и чрез то возвышал эстетическое значение предмета». Думаю, что в известной мере это определение можно отнести к нашей «орнаментальной» прозе.

Еще Пушкин писал: «...что сказать об наших писателях, которые, почитая за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? Эти люди никогда не скажут *дружба*, не прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и пр. Должно бы сказать: рано поутру — а они пишут: едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба — ах, как это все ново и свежо, разве оно лучше потому только, что длиннее.

Читаю отчет какого-нибудь любителя театра: сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Апол... боже мой, да поставь: эта молодая хорошая актриса — и продолжай — будь уверен, что никто не заметит твоих выражений, никто спасибо не скажет» [1].

— Символисты,— утверждал докладчик,— обошли далекую от «орнамента» прозу Бунина и Куприна и попытались отказаться от классического, в широком смысле слова, стиля. У их последователей слово, как таковое, стало хозяином прозы. В «Цветных ветрах» Всеволода Иванова не кажутся странными, например, следующие строки: «Лошадь боится седобородого — несет. Топор за поясом, лошадь за поясом. Разве удержишь?» Где-то в другом месте за поясом оказывается телега.

Причем любопытно, что эта безоглядность вовсе не говорит об отсутствии выбора, то есть о том, что писатель останавливается на первом попавшемся слове. Без этой безоглядности «Партизанские повести» Вс. Иванова многое потеряли бы в своей выразительности. Важно другое: она немыслима в прозе Чехова или Бунина.

---

[1] А. С. Пушкин. О русской прозе.— Цит. по: А. С. Пушкин. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 6. М., «Художественная литература», 1976, с. 227.

Особенно интересны в свете этих соображений поиски Леонида Леонова.

В «Петушихинском проломе» за словесной «липкостью» просвечивает символика, претендующая на глубину. В «Записях некоторых эпизодов, сделанных в городе Гогулеве Андреем Петровичем Козякиным» на первый план неожиданно выходит фигура рассказчика, перебрасывающая нас из «орнаментального» в «сказочное» направление. Эта повесть Леонова — результат щедрости его дарования и одновременно некоторой неопределенности избранного им пути.

В заключение докладчик высоко оценил «Туатамур» — произведение, в котором «орнамент как бы перешагнул через самого себя».

Первый оппонент. Цветистая, похожая на подсолнечник, нарядная фраза гуляет по нашей литературе. Строгий композиционный строй рухнул, на его месте стала подниматься, как на дрожжах, вязкая словесная опара.

Что же касается доклада, то в нем нет ни Леонова, ни «орнаментализма». Леонова нет потому, что автор остановился лишь на трех его ранних произведениях, обойдя «Барсуки» и даже не упомянув о только что вышедшем «Воре». А «орнаментализма» нет потому, что в нашей литературе просто не существует подобного направления. И докладчик сам доказал это, разбирая повесть «Туатамур», которая действительно принадлежит к лучшим произведениям Леонова. Он заявил, что повесть хороша, потому что «орнамент в ней как бы перешагнул через самого себя». Знаменательно это «как бы»!.. А может быть, все-таки не перешагнул? И действительно не перешагнул, потому что, если орнаментализм существует, в «Туатамуре» он нашел блистательное воплощение. Повесть внутренне музыкальна, в ней много татарских слов, и они свободно ложатся в русский текст — прямое доказательство того, что «украшение», если оно стоит на месте, ничему не мешает.

Второй оппонент. В ранней прозе Леонова затейливое слово как бы смотрится на себя в зеркало, любуясь собой, подчас без малейших оснований. В ранних вещах оно стремилось к рисунку — и этот рисунок радовал свежестью и своеобразием. В романе «Вор» эта склонность превратилась в риторику. Фразу Шкловского (из предисловия к «Zoo») — «тут книжка начала писать себя сама» — можно отнести и к «Вору», потому что риториче-

ская манера обладает сильнейшей инерцией, вторгаясь в речь персонажей и лишая их внутренней связи.

Руководитель. Попытка докладчика охватить одним взглядом общую картину прозы двадцатых годов во всем ее стилистическом разнообразии кажется мне по меньшей мере смелой. Это, конечно, только чертеж или даже набросок чертежа, за которым трудно разглядеть жизнь быстро развивающейся литературы. Нельзя, однако же, забывать, что это первая попытка.

Явная или скрытая склонность к затейливому слову была свойственна, без сомнения, еще скоморохам, и наивно считать эту склонность чертой литературного направления. Такого рода «орнаментализм» — скорее бытовое, чем литературное явление. Оно характерно, кстати сказать, для графоманов, полагающих, что писатель уже как бы и не человек, а нечто более высокое — и, следовательно, должен не говорить, а «изъясняться».

Речь идет о другом — о стилевой структуре, не связанной с обычной интонацией, стремящейся уйти от живой, разговорной речи. Так работает Андрей Белый. Читая его «Петербург», невольно удивляешься, каким образом живет и развивается истасканный, в сущности, сюжет романа? Ответ: повелительный, гипнотизирующий стиль так далеко уносит читателя от этой «истасканности», что он не узнает ее, она преображена музыкой стиля. Недаром же Белый писал: «Изжитые, избитые темы в позолоте метафор являют нам полет поэтической мысли» (цитирую наизусть и, может быть, ошибаюсь). Но этого мало: невозможно представить себе Аблеухова вне той ритмической поступи, которая постоянно сопровождает его появление. Конечно, именно этим открытием искусно воспользовался Замятин, рисуя в «Островитянах» свою леди Яблоко и других, вырастающих из стиля героев...

Переход от рассказа к роману — я говорю о «Воре» — вообще далеко не прост. Количество страниц не признак жанра. В романе другое смысловое пространство, и определяется оно не объемом. Уверенность в том, что любой новеллист может написать роман, ошибочна. Гончаров пытался доказать это в письме к Тургеневу от 28 марта 1859 года: «Если смею выразить вам свой взгляд на ваш талант искренне, то скажу, что вам дан нежный верный рисунок, а вы порываетесь строить огромные здания или цирки и хотите дать драму. Свое свободное *безграничное*, отведенное вам пространство хотите вы насильственно ограничить

тесными рамками (курсив мой.— *В. К.*). Вам, как орлу, суждено нестись над горами, областями, городами, а вы кружитесь над селом и хотите сосредоточиться... над невидимыми для вас сверху внутренними чувствами, страстями семейной драмы... В этом непонимании своих свойств лежит, по моему мнению, ваша ошибка. Скажу очень смелую вещь: сколько вы ни напишете повестей и драм, вы не опередите вашей Илиады, ваших «Записок охотника», там нет ошибок».

И дальше о «Дворянском гнезде»: «Между лицами нет органической связи, многие из них лишние, не знаешь, зачем рассказываете историю барыни (Варвары Павловны)... автора занимает, очевидно, не она, а картинки, силуэты, мелькающие очерки, исполненные жизни, а не сущность, не связь и не целость жизни...» [1]

Заметим, что *безграничное пространство рассказа* Тургенев хочет, по мнению Гончарова, ограничить тесными рамками романа. Представление о романе как объемном произведении заставляет искусственно раздвигать эту *тесноту*.

Дискуссия прошла в несколько сонной атмосфере, точно разговор шел о чем-то полузабытом и едва ли нуждавшемся в воскрешении. Так и было. Для того чтобы восстановить атмосферу борьбы против «орнаментализма», надо было вернуться к самому началу двадцатых годов. М. Зощенко уже в 1922 году напечатал острую пародию, в которой высмеивал не только стиль Вс. Иванова, но и ничем не мотивированные поступки его героев.

Травы были пахучие и высокие, под брюхо лошади. От ветра они шебуршали, сладостно, как осока осенью, и припадали к земле, кланяясь. Пахло землей и навозом приторно и тягуче.

У костра сидели два мужика и разговаривали:

— У-у, лешаки,— тихо сказал Савоська Мелюзга и матерно сплюнул в сторону. Другой мужик, тоже Савоська, по прозвищу Савоська Лю Юн-чань, поправил костер и сказал строго:

— Да. Скажу я тебе, парень... Привязали мы этих человеков к деревьям... За одну ногу, скажем, к одной верхушке, за другую к другой и отпустили. А кишка, парень, дело тонкое, кишка от натуги непременно рвется...

---

[1] «Гончаров и Тургенев. По неизданным материалам Пушкинского дома». Пг., 1923, с. 81.

Савоська Мелюзга потянулся у костра и сказал глухо:

— Врешь?.. Ну, а как ты, парень, про бога думаешь? А?

...

Ах, травы, травы! Горючий песок! Нерадостны прохожим голубые пески, цветные ветра, кружевные травы...

В то время, когда мы заговорили на семинаре об «орнаментализме» (1927), «цветистая, похожая на подсолнечник, фраза» уже не гуляла по нашей литературе. Фадеев противопоставил ей подчеркнутую толстовскую простоту в «Разгроме». Многие писатели сознательно стали уходить от вычурной фразы. «Композиционный строй» не только не рухнул, а стал набирать силу. Булгаков поразил читателей своими фантасмагориями, написанными в летящем, стремительном стиле. Недавно появившиеся Бабель и Олеша казались уже привычными. Появился «Тихий Дон» Шолохова, определились очертания документально-психологической летописи гражданской войны.

Самое противопоставление орнамента и сюжетной прозы устарело. «Мы устали от одноцветных плоскостей, от незадевающих колес,— писал Ю. Тынянов.— Вот почему так быстро стерся одноцветный лозунг, брошенный два года назад Львом Лунцем: «На Запад!»,— вот почему фабульный роман перестает интересовать, как перестала уже давно интересовать бесфабульная повесть» [1].

Новые явления, возникавшие одновременно, заранее отменяли любую попытку объяснить их с ходу, поставить в ряд. Литература развивалась сложно, быстро, противоречиво.

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

Дружеские отношения между Серапионовыми братьями продолжались десятилетия. Годовщина возникновения группы — 1 февраля 1921 года — вплоть до середины шестидесятых годов отмечалась встречами, сердечными телеграммами. Подчас спохватывались, вспоминая,— и все-таки не забывали! Можно смело сказать, что «Орден» украсил нашу литературную юность. Но когда же прекратились наши встречи, наши споры, подчас кончавшиеся

[1] Ю. Тынянов. Литературное сегодня.— В кн.: Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., «Наука», 1977, с. 157.

тем, что рукопись летела в огонь? Так, Зощенко сжег одну из своих ранних повестей после того, как она была единодушно осуждена на «братстве». Так, после обсуждения моего «Маленького романа», я провел бессонную ночь, мысленно отражая безжалостные нападения «братьев». Впоследствии я превратил его в рассказ, который даже в неузнаваемо преображенном виде доказывает, что мои товарищи были правы [1].

Выше я рассказал о первой встрече, оставившей острое впечатление жизненного перелома. Теперь расскажу о последней. Надо сознаться, что она полностью ускользнула из моей памяти, хотя историки литературы точно датируют ею фактическое прекращение деятельности «Серапионовых братьев». А. Зайдман, недавно защитившая диссертацию «Горький и „Серапионовы братья“», сообщила мне, что в архиве Института русской литературы в Ленинграде (Пушкинский дом) хранится какая-то принадлежащая мне «речь, не произнесенная на восьмой годовщине Ордена Серапионовых братьев». Я не только начисто забыл об этой речи, но и теперь не могу припомнить, по какой причине она была написана. Впрочем, кому-то из «братьев» она была известна, иначе в левом верхнем углу не стояла бы надпись красным карандашом: «Присоединяюсь. М. С.» (очевидно, Михаил Слонимский). Вот эта речь:

«Серапионовы братья и почтенное собрание!

Прошу извинить меня за это обращение, которое в 1921 году казалось заимствованным из Эрнеста Теодора Амадея Гофмана. Это имя звучит анахронизмом на нашей восьмой годовщине. Оно неуместно тем более, что Серапионовы братья никогда не имели ничего общего ни с Гофманом, ни с каким-либо другим иностранным писателем. Они были и, без сомнения, останутся в истории русской литературы явлением национальным, пасынками Мельникова-Печерского, Чехова, Лескова. От Чехова, например, они позаимствовали сходство с тем самым живым чиновником, о котором по сходству фамилий была произнесена поминальная речь. Мне бы не хотелось, чтобы моя речь была поминальной. Мы постарели, пополнели, стали осторожнее, задумчивее и вежливее,— но на гражданскую панихиду мы еще не согласны.

Плохо ли, что за истекший год мы не собирались ни

---

[1] См. сб. «Бубновая масть». Л., «Книжные новинки», 1927. Рассказ «Кутумские часовщики».

разу? Плохо ли, что мы редко и неохотно читаем книги друг друга, а прочитав, думаем одно, а говорим другое? Плохо ли, что мы ссоримся иногда, принимая литературную рознь за личную или полагая, что это одно и то же? Плохо. Я припоминаю, что гораздо интереснее было собираться каждую неделю, часто и охотно читать книги друг друга, прочитав, говорить то, что думаешь, и ссориться не из-за себя, но из-за литературы. Привилегией «обижаться» пользовался тогда только один из нас — со всей нашей сдержанностью, мы теперь не умеем беречь друзей так, как берегли их раньше.

Серапионовы братья! Я знаю, что у каждого из нас своя литературная судьба, «своя жена, свой дом и свой кусок земли», как писал покойный Лунц в трагедии «Бертран де Борн». Меня не привлекает, равным образом, идея остановить или пустить в обратную сторону время. История необратима... В этом месте, думается мне, вы перестанете меня слушать. Один из вас займется соседкой справа или соседкой слева, другой засмеется над чем-то ему одному понятным, третий, боясь, что сейчас я скажу некорректное слово, будет, не слушая, готовить в уме что-нибудь вежливое и безразличное — чем можно безошибочно замять любой разговор, четвертый, скучая, посмотрит мимо меня холодными и мечтательными глазами. В дорогом меньшинстве будет только один — тот самый, что всегда интересовался историей. А в недорогом — еще один из нас, человек холодный и себялюбивый, чей глубокий талант и проницательный ум чужды теплоты и искренности, так же, как он сам, расставшись с нами, пожелал быть чуждым для нас.

Итак, вы не слушаете меня, друзья!

Отлично, это развязывает мне руки... От имени Эрнеста Теодора Амадея Гофмана и нашей юности в Доме искусств я обвиняю:

1. Тебя, брат летописец, в том, что ты пренебрег своими обязанностями, не оставив ни одной записи о героическом периоде нашего Ордена. Еще в многословии, при котором не миновать греха.

2. Тебя, отец настоятель, в том, что ты не устранил своевременно причин, повлекших за собой гибель Ордена, не мирил ссорившихся, не обуздывал горделивых, не наказывал преступивших устав.

3. Тебя, брат виночерпий, в том смирении, которое паче гордости.

4. Тебя, сестра, в том, что ты незаконно воспользовалась упомянутой привилегией, дарованной Орденом только одному из нас.

5. Тебя, всеми уважаемый брат, в том, что верность Ордену ты заменил вежливостью, старым друзьям предпочитая новых и менее достойных.

6. Тебя, милый брат, не носивший, если не ошибаюсь, никакого прозвища, в том, что, охладев к Серапионовым братьям, ты перестал на них обижаться.

7. Тебя, брат алхимик, в нетерпимости, в гордости, в непослушании.

8. Тебя, брат алеут, в том, что ты первый из нас братьев по ремеслу перестал считать братьями по сердцу.

Только к двум из Серапионовых братьев я не могу предъявить никаких обвинений. К одному — потому, что он ни в чем не виноват, к другому — потому, что ни обвинений, ни одобрений он уже никогда не услышит.

Дорогие товарищи, я знаю, что нет ничего легче, чем взывать к неосторожным идеалам нашей юности, которая, очевидно, не повторится. Как говорит брат беснующийся, будем считать, что она прошла с барабанным боем».

БРАТ АЛЕУТ

1

Самые необыкновенные из профессий, перечисленных Фединым в книге «Горький среди нас», принадлежали Всеволоду Иванову,— все-таки никто, кроме него, не протыкал себя булавками и не глотал огонь перед изумленной аудиторией. Впоследствии он рассказывал мне, что это не так уж и сложно.

Но сразу вспыхнувший интерес к нему вовсе не был связан с необычностью его биографии. Напротив, каждый его рассказ,— а он приходил по меньшей мере раз в месяц на «серапионовские чтения» с новым рассказом,— поражал своей «обыкновенностью», которая потому и была его силой, что представляла собой первую живую запись того, что происходило в стране. Тогда я не понимал, что это — мнимая обыкновенность. Девятнадцатилетний студент, увлеченный возможностью устроить в литературе свой мир, а в этом мире свой беспорядок, я не понимал тогда, что «бытовизм» Иванова бесконечно далек от сознатель-

ного самоограничения натуралиста, от раскрашенной фотографии в литературе.

Он как раз не боялся раскрашивать, но что это были за фантастические, смелые, рискованные цвета! В книге, которая недаром так и называется «Цветные ветра», эта смелость достигает размаха, который подлинным «бытовикам» показался бы кощунством.

Без сомнения, уже тогда Иванова больше всего интересовала та неожиданная, явившаяся как бы непроизвольно, фантастическая сторона революции и гражданской войны, которая никем еще не ощущалась в литературе. Он раньше Бабеля написал эту фантастичность в революции как нечто обыкновенное, ежедневное. Именно эта черта и сделала его «Партизанские рассказы» литературным фактом принципиального значения. На фоне необычайности того, что происходило в стране, история, рассказанная в «Дитё», кажется естественной, хотя она глубоко противоречит представлениям устоявшегося дореволюционного мира. Вот почему, когда в 1922 году я спросил Иванова, кто, по его мнению, пишет сейчас лучше всех, он ответил: «Разумеется, Бабель».

Это показалось мне шуткой. Имя Бабеля я услышал впервые.

Иванов был человеком, редко удивлявшимся, почти не принимавшим участия в спорах, но умевшим слушать,— за его тогдашней молчаливостью скрывалась огромная, вскоре сказавшаяся жажда познания.

В те дни, когда он писал на оборотной стороне географических карт, вырванных из Британской энциклопедии,— впоследствии он рассказал об этом в своей автобиографии,— ему казалось, что он может работать в любом жанре, не только в прозе. Однажды он явился к нам с поэмой и от души удивился, когда мы в один голос сказали, что она никуда не годится. Как известно, Л. Н. Толстой дважды начинал своих «Казаков» стихами. Эти стихи относятся к гениальной прозе «Казаков» примерно так же, как поэма Иванова, которую мы добродушно, но беспощадно раскритиковали, к его «Партизанским рассказам», которые были встречены нами с восторгом.

Я упомянул, что он писал на оборотной стороне географических карт, но, без сомнения, среди его ранних рукописей найдутся и толстые, разлинованные листы бухгалтерских книг. Мы все писали тогда на конторской бумаге. На Большой Морской, очень близко от Дома ис-

кусств, где мы собирались, был банк, в котором никто не работал — саботаж — и куда мог зайти любой прохожий через распахнутые настежь огромные двери. Это было навсегда запоминавшееся зрелище неизвестной, сложной, остановившейся на полном ходу, полной самоуважения жизни. Темный, сумрачный свет стоял в высоких залах с тяжелыми люстрами, с высокими, пыльными, лакированными барьерами. Отодвинутые кресла еще хранили, казалось, движение быстро, в испуге или негодовании, вскочивших людей. И везде на столах лежали толстые, как Библия, гроссбухи — бумага, бумага, прочная, линованная, довоенная, дореволюционная, забытая, как забыт был тогда вкус белого хлеба.

Мы писали на ней долго, годами. Помнится, зайдя к Тихонову в 1928 году, я удивился, увидев, что его новые стихи написаны на этой бумаге.

2

Мне кажется, что Иванов как писатель сложился в те молодые годы. Уже тогда его героями были глубоко задумавшиеся люди, правдолюбцы, пытающиеся найти единственную в мире, выкованную в муках справедливость. Уже тогда они искали ее, путаясь в снежной пыли, как путается и не может уйти от заколдованного селезня Богдан в рассказе «Полынья».

В книге «Тайное тайных», составившейся из рассказов первой половины двадцатых годов, талант Иванова высказался с определенностью и силой. Дело было не только в том, что Иванов первый в советской литературе соединил опыт гражданской войны с глубоким знанием сибирской деревни. И это немало. Но главное все-таки заключалось в том, что этот опыт был окрашен любовью к необычайному, глубоко свойственной русскому характеру и русской литературе. Быт интересовал Иванова не сам по себе, а как путь к «тайному тайных», к глубоко запрятанной сущности человеческих отношений, загадочно и остро раскрывшихся в годы исторического перелома. Иногда это — широкий путь, по которому, сидя в автомобиле с женой неподвижно, как перед фотоаппаратом истории, ведет своих партизан Вершинин. Иногда — извилистая, теряющаяся в песках Тууб-Коя тропинка Омехина, выбирающего между совестью, долгом и острой жаждой любви.

Нарушение традиционных представлений возникло в его творчестве как отражение тех неожиданностей, которые пришли с революцией. Жизнь предстала перед ним как галерея неограниченных возможностей — о них он и стал писать, вдохновленный Горьким, который понимал и поддерживал его дарование.

Вот откуда взялся его интерес к русской фантастике, к Владимиру Одоевскому, к Вельтману, произведения которых он собирал годами. Он искал и находил любимую традицию и в прошлом русской литературы.

На месте будущего историка я попытался бы проследить развитие этой традиции, начиная с загадки гениального «Носа», через трагическую иронию драматургии Сухово-Кобылина и сказок Салтыкова-Щедрина — к Михаилу Булгакову, показавшему в «Дьяволиаде» и «Роковых яйцах» образцы гротеска, твердо стоявшего на бытовой основе. Тогда нетрудно было бы доказать, что искусство Чаплина, парадоксально смешавшего бесконечно далекие жанры, во многом предсказано русской литературой. Впрочем, мне уже случалось писать об этом.

3

Частые встречи с Ивановым оборвались, когда в середине двадцатых годов он переехал в Москву, но дружеские отношения остались, и не на год или два, а на всю жизнь. Чистота, озарявшая наши молодые споры, была порукой этих отношений. Юность шла за нами по пятам. Наши отношения, лишенные малейшей предвзятости, всегда были проникнуты интересом и вниманием друг к другу. Главной чертой его характера была прямота, сливающаяся с глубоким интересом к людям.

Я не помню, чтобы какие бы то ни было обстоятельства заставили его назвать черное белым. Но он вовсе не был холоден, равнодушен. Напротив: однажды я был свидетелем его смелого выступления, когда в короткой и сильной речи он горько упрекнул в равнодушии тех, кто из осторожности или трусости стремился обойти события, взволновавшие всю страну.

Что сказать о его трудной писательской судьбе? В рассказе «Сизиф, сын Эола» солдату Полиандру не очень повезло в жизни, потому что он служил царю Кассандру, «соединившему в себе рядом с беспощадной вспыльчивостью еще более беспощадное честолюбие». Он хотел, что-

бы Кассандр думал о нем хорошо, но «Кассандр не верил солдату Полиандру, всем солдатам — он боялся его щита, его широкой красной шеи, его огромного голоса, к раскатам которого любили прислушиваться другие солдаты». И вот нищий, израненный, но еще полный надежд солдат отправляется на родину. В горах он встречает Сизифа, который некогда правил Коринфом и который — как в знаменитом мифе — должен вечно вкатывать в гору обломок скалы.

В рассказе Иванова древнегреческий миф приобретает странные, смутно знакомые очертания. За фигурой могучего и прямодушного солдата, которого боятся именно потому, что он прямодушен, чудятся нелицемерные черты моего старого друга, идущего вперед «при любых обстоятельствах и при любых силах, ибо добродетель — главная и всеединая цель человеческого существования». Но и сам Сизиф — этот друг, уже немолодой, в старости, когда его лицо «наполнено тем победным избытком дней, который... указывает на необыкновенную силу и умелое и терпеливое расходование этой силы». Он писал о судьбе Сизифа, но думал о своей судьбе.

Некоторые романы и повести Иванова, долго пролежавшие в письменном столе и лишь теперь появляющиеся в свет,— нелегкое чтение. Но не для того он отдал годы труда, чтобы читатель нашел в этих книгах развлечение или забаву. Они связаны с судьбой страны, с ее историей. Путь солдата Полиандра, мечтавшего о легкой жизни, о том, чтобы «спать на пуху, под песнопения красавиц», не прельщал автора «Сизифа».

Вот почему, входя в его дом, я неизменно чувствовал дыхание страны с ее радостями и горестями, надеждами и трудами. За большим столом Всеволода Иванова собирались люди, значение которых неоспоримо в истории нашей культуры. Русские ходоки в далекие чужие земли вспоминались, когда он рассказывал о своих путешествиях,— а путешествовал он всю жизнь — верхом, пешком, на плотах, на лодках, по воде и по суше. С молодых лет он отправился в «Индию литературы», и путешествие, полное загадок, опасностей и открытий, продолжалось ни много ни мало — до самой смерти.

Ходоком, искателем нового, пытливо всматривающимся в неведомую жизнь, в непостижимые ее взлеты и беспощадные приговоры, он был — и останется — в нашей литературе.

ВСТРЕЧИ В КРАСНОЙ ГОСТИНОЙ

1

Английский ученый Дональд Пайпер прислал мне свою диссертацию, в которой упоминал между прочим, что я был членом Комитета современной литературы при Институте истории искусств. Когда мы встретились в Москве, я поспешил уверить его, что он ошибается: я не был членом комитета по той причине, что и самый этот комитет никогда не существовал.

— Поверьте,— сказал я,— что, занимаясь преподаванием современной литературы в Институте истории искусств, я бы знал о его существовании.

Пайпер выслушал меня с вежливым недоумением, но не настаивал. Что ж! Не было так не было.

Так вот был же этот комитет! Перелистывая отчеты о деятельности Словесного разряда Института истории искусств, я наткнулся на следующий раздел: «Комитет современной литературы был основан в январе 1924 года и имел целью установление связи между работой в области теории и истории литературы и актуальными проблемами современной художественной литературы и критики». Вслед за фамилиями приглашенных писателей следовали пояснения по поводу общего замысла и технических задач.

Выше я рассказал об одной из этих встреч — с Эренбургом,— именно они-то и устраивались комитетом.

Вот их перечень за 1924 и 1925 годы, может быть представляющий некоторый интерес для историка советской литературы:

1. И. Груздев и В. Каверин, «Проблема современной прозы» (3/II 1924).
2. А. Толстой, «Черная пятница» (2/III 1924).
3. И. Эренбург, «Любовь Жанны Ней» (9/III 1924).
4. В. Шкловский, Отрывки из «Сентиментального путешествия».
5. Н. Тихонов, «Лицом к лицу» (6/IV 1924).
6. М. Волошин, «Стихотворения» (20/IV 1924).
7. Ю. Тынянов, «О современной прозе» (11/V 1924).
8. Б. Эйхенбаум, «О современной литературной критике» (11/V 1924).
9. Ю. Тынянов, «О современной поэзии» (24/X 1924).
10. В. Каверин, «Конец хазы» (23/XI 1924).

11. К. Федин, «Города и годы», с докладами Ю. Тынянова и Л. Гинзбург по поводу романа (24/II 1925).

12. Н. Тихонов, «Дорога» и «Красные на Араксе» (12/IV 1925).

13. В. Шкловский, «О современной русской прозе» (12/V 1925).

14. О. Форш, «Очерки Москвы» и «Современники» (отрывки) (30/V 1925).

15. В. Каменский, «Стихотворения» (7/XII 1925).

«Встречи» обычно происходили в Красной гостиной. За длинным овальным столом сидели гости, докладчики, профессора, а все прочие — где придется. На каждом из кресел помещались по меньшей мере три студента, а на длинном диване, покрытом красным штофом, с красными же, немного бледнее, цветами,— едва ли не весь мой семинар.

Я любил сидеть на окне: длинную, до самого пола, портьеру можно было чуть отодвинуть — и в меловых сумерках открывался Исаакий.

2

Встреча, о которой мне хочется рассказать, состоялась, должно быть, в 1927 году. На этот раз в институт пришли «обериуты» — маленькая группа поэтов. Название расшифровывалось как «Объединение реального искусства», а «у», как утверждают исследователи творчества Заболоцкого, было прибавлено «для веселья».

К «обериутам» были очень близки Н. Олейников, Е. Шварц.

На «встречу» в Институт истории искусств пришли Н. Заболоцкий, А. Введенский и Д. Хармс — три молодых человека, которых, судя по внешности, можно было объединить только на основе неопределенных взглядов, изложенных в «Манифесте». Заболоцкий был в длинной солдатской шинели, которую он так и не снял, читая стихи, Хармс — в актерском пиджаке, застегнутом у самого подбородка, под которым был аккуратно расправлен детский шелковый бант, Введенский, напротив, щеголял обыкновенностью прекрасно сшитого костюма с платочком в наружном кармане. Но и особливость и обыкновенность сразу же забылись, когда поэты стали читать стихи. Возможно, что память мне изменяет, но, кажется, именно в этот

вечер Заболоцкий прочитал «Поприщина», которого он впоследствии не включил в основное собрание.

Безумие Гоголя и Поприщина сопоставлено в этом стихотворении. Просвистанный метелью Петербург рождает не жалкого чиновника с «престранной фамилией», который в кабинете директора департамента чинит гусиные перья, а воинствующего мечтателя, недаром вообразившего себя королем Фердинандом. Мечта осуществляется. Вопреки воле департаментского Рока, торжествующая Севилья встречает своего короля. Ветер, опрокидывающий кареты, покорно ложится к его ногам. И он не сдается, не жалуется, не просит матушку «спасти своего бедного сына». «Испанский король» выбирает смерть.

...в последней отваге
Встречая слепой ураган,—
Качается в белой рубахе
И с мертвым лицом —
Фердинанд.

Даниил Хармс, грустный, слегка загадочный, костлявый, очень высокий, прочел отрывки из драматической поэмы «Елизавета Бам», после которой стихи Заболоцкого показались мне образцом классической поэзии. Впоследствии, когда я полностью прочитал «Елизавету Бам», я оценил ее оригинальность. Но в тот вечер я почти ничего в ней не понял.

Потом Введенский прочел несколько стихотворений, и «Елизавета Бам», в свою очередь, показалась произведением, в котором, хотя и не без труда, можно разобраться. Рассказывая о своих новых замыслах, он упомянул, что намерен написать повесть под названием «Убийцы, вы дураки».

Потом началось обсуждение, похожее, как всегда в таких случаях, на известную эпиграмму: «Глухой глухого звал на суд судьи глухого». О поэзии говорили умно, тонко, о поэзии «обериутов» — приблизительно, вежливо и неточно.

СЧАСТЬЕ ТАЛАНТА

1

В наши дни кажется странным как бы «вписывать» Н. Заболоцкого в панораму литературной школы. Но школа была — после выхода книг А. Македонова и А. Турко-

ва о Н. А. Заболоцком нет необходимости вновь устанавливать этот факт. Более того, на истории «обериутов» легко представить себе этапы развития любой литературной школы: сперва новый принцип намечается, потом стремится распространиться на другие явления, потом стирается, автоматизуется, превращается в собственную тень. И. Рахтанов сомневается, был ли у «обериутов» свой манифест. В настоящее время манифест опубликован. Но говорит он, в сущности, не столько о принципах новой школы, сколько о неумении писать литературные манифесты. «Новый художественный метод — метод конкретного (материалистического) ощущения вещи и явления...» «Люди реальные и конкретные до мозга костей, мы — первые враги тех, кто холостит слово... Конкретный предмет, очищенный от литературной и обиходной шелухи, делается достоянием искусства».

Расстояние между этой декларацией и творчеством ее автора (Заболоцкого) — беспредельно. Она не передает главного — склонности «обериутов» к необычайному, их игры, словесной и театральной, их «детскости», за которой открывалось еще неведомое поэтическое пространство.

2

Я знал Николая Алексеевича Заболоцкого в течение многих лет. Мы были друзьями. Это не была полная, окончательная откровенность, та близость, при которой между друзьями нет и не может быть никаких тайн. Между нами была известная сдержанность, может быть, потому, что я инстинктивно чувствовал в нем эту черту. Он был человеком глубокой мысли и глубокого чувства, но выражение мысли и чувства было не так-то легко для него. Все выражалось в слове. А слово было для него не только элементом речи, но как бы орудием какого-то действа, свершения. Думая о нем, невольно вспоминается библейское: «Вначале было слово».

Я не сразу понял, по молодости лет, ту главную черту, которая кажется мне теперь для него необычайно характерной: все, что происходило с ним, вокруг него, при его участии или независимо от него, всегда и неизменно было связано для него с сознанием того, что он поэт. Это вовсе не было ощущением учительства, стремлением поставить себя выше других. Это было чертой, которая морально,

этически поверяла все, о чем он думал и что он делал. Ощущение высокого призвания было для него эталоном в жизни. Он был честен, потому что он был поэтом. Он никого не предавал, потому что был поэтом. Он никогда не лгал, потому что он был поэтом.

3

Когда я встретился с Н. Заболоцким, это был розовощекий мальчик, только что вернувшийся из армии, мальчик, которому, как это часто бывает с молодыми поэтами, казалось, что он все начинает сначала. В том, что писали «обериуты», было много «нового во что бы то ни стало», которое казалось им важным для нашей поэзии только потому, что оно было новым.

Но для меня, тогда еще совсем молодого писателя, за этим мнимо новым чудилась подлинная новизна, обязывающая задуматься над собственной работой. Это осталось навсегда. Стихи Заболоцкого всегда возвращали меня к мысли об ответственности в собственной работе.

Даже для самых слепых или по меньшей мере близоруких уже и тогда в стихах Заболоцкого был виден не только острый и оригинальный талант, но талант социально направленный — вот что крайне важно отметить. Лучшие стихи тех лет, вошедшие в последнее, составленное им самим незадолго до смерти собрание,— это стихи против пошлости, против косности в быту и сознании.

Странно, что они не были поняты нашей критикой. Странно хотя бы потому, что в стихотворениях «Новый быт», «Свадьба», «Ивановы» почти впрямую (что редко для Заболоцкого) дано его тогдашнее кредо.

Ужели там найти мне место,
Где ждет меня моя невеста,
Где стулья выстроились в ряд,
Где горка — словно Арарат —
Имеет вид отменно важный,
Где стол стоит и трехэтажный
В железных латах самовар
Шумит домашним генералом?

О мир, свернись одним кварталом,
Одной разбитой мостовой,
Одним проплеванным амбаром,
Одной мышиною норой,
Но будь к оружию готов:
Целует девку — Иванов!

В картине мещанского праздника («Свадьба») это «оружие» названо с определенностью, не оставляющей и тени сомнения:

А там — молчанья грозный сон,
Седые полчища заводов,
И над становьями народов —
Труда и творчества закон.

Одновременно возникает вторая, крайне важная для Заболоцкого, тема природы. Я не знаю в нашей поэзии другого поэта, который с такой проникновенной задумчивостью остановился бы перед самым понятием природы, перед ее бесконечно многообразным воплощением, перед теми сложными, подчас поразительными отношениями, которые возникают год за годом между нею и человеком. «Школа жуков», «Торжество земледелия», «Прогулка», «Меркнут знаки Зодиака» — я думаю, что по меньшей мере треть всего, что написал Заболоцкий, связана с размышлениями о природе, с картинами природы, с преображением природы.

Поэма «Торжество земледелия» сыграла особенно важную роль во всей его дальнейшей работе. Он был поражен идеей преображения природы, которое только что начиналось в нашей стране. Странно, что эта поэма была понята как попытка исказить в нашем представлении чудо преображения. Может быть, здесь была виновата ее необычная форма? Но положите рядом «Фауста» Гете и «Торжество земледелия» — и сразу станет видно, откуда идет это стремление взглянуть на мир глазами батрака, коня, предков, кулака, сохи, животных, солдата, тракториста. Духовный и материальный мир природы глубоко задет духом преображения, спором человека с природой, стремлением преобразить и подчинить ее.

Человек с его надеждами, стремлениями, несчастьями, любовью поздно появился в стихах Заболоцкого. Этой теме научила его сама жизнь. «Я умирал не раз. О, сколько мертвых тел я отделил от собственного тела...» Появилось «я» Заболоцкого, и тогда оказалось, что пригодилось все — и ирония, и ненависть к пошлости, и вера в светлое будущее, без которых он не мог бы жить и работать.

4

Заболоцкий провел несколько лет вне литературы, вне поэзии, вне той жизни, которой были полны его друзья по делу литературы. Это были трудные для него годы, о которых он не рассказывал ничего или почти ничего. Это были годы, когда, работая землекопом, дорожным рабочим, чертежником, он совершил подвиг — не могу иначе назвать его перевод «Слова о полку Игореве», который является, как мне кажется, одной из вершин его мастерства. Можно смело сказать, что, каков бы ни был суд потомков над нашей поэзией, перевод «Слова о полку Игореве» займет в ней высокое место.

Многие ли из нас читали «Слово» в подлиннике? Это очень трудно. Гениальный памятник древнерусской литературы, в сущности говоря, никогда не читался. Его изучали любители, студенты-филологи (в том числе и я, когда это было нужно к экзаменам по истории древней литературы). Но до появления перевода Заболоцкого «Слово о полку Игореве» никогда не было «чтением». Более того — увлекательным чтением.

Здесь дело не только в том, что Заболоцкому удалось передать с исчерпывающей точностью смысл каждого слова,— в этом легко убедиться, положив рядом оригинал и перевод. И не в том, что ему удалось передать трагедию Руси, потерпевшей одно из тяжких своих поражений, и даже не в том, что он понял «Слово» как интересное чтение и сумел передать читателю это ощущение. Заболоцкий сделал то, что до него не удавалось другим переводчикам, среди которых были великие поэты. Он перевел «Слово» на язык современной поэзии.

Это могло быть сделано только в наше время, хотя бы потому, что внутренне перевод «Слова» связан не только с поэтической деятельностью самого Заболоцкого. Он входит как неотъемлемое целое в ту работу, которой лучшие наши поэты отдали годы.

5

Все, что перевел Заболоцкий, стало фактом русской поэзии, как это в свое время произошло с переводами Лермонтова и Жуковского. С удивительной силой он видит и чувствует личность другого поэта, в себе самом на-

ходит его черты и передает их так же сильно, как они выражены в оригинале.

Время, народ требуют лица поэта, его поэтического характера, его позиции в жизни и литературе, той позиции, которую нельзя подменить решительно ничем и которая должна быть такой же сильной и своеобразной, как самый поэтический голос. Вот почему при чтении подлинного, глубокого поэта всегда возникает ощущение его личности, его поэтической биографии. Стоит только представить себе, насколько образ, возникающий при чтении Лермонтова, отличается от наших представлений, когда мы читаем Некрасова, чтобы оценить все значение личности поэта,— не позы, а именно личности.

Размышляющие глаза Заболоцкого видны за его стихами, читая их, вы неизменно встречаете этот почти в упор направленный взгляд. Поэзия его поучительна, потому что она построена на требованиях высокого разума, и в этой поучительности отчетливо видны классические традиции русской литературы.

Близка ему и грузинская поэзия, в которой всегда были сильны мотивы рыцарской морали. Он переводил разных, не похожих друг на друга поэтов — Гурамишвили, Орбелиани, Важа Пшавелу. Каждый раз нужно было открыть новый ход к чужой душе, разгадать новую тайну. Для Гурамишвили нужно было обладать тем желанием добра, той поучительностью, о которой я говорил выше. Для Важа Пшавелы нужно было иметь размышляющее направление ума, нужно было уметь думать о поэзии. Орбелиани нельзя было хорошо перевести, не обладая изяществом, светлой легкостью чувства. И нужно было прежде всего быть мастером русской поэзии.

Я перешел к переводам непреднамеренно, хотя, может быть, и не случайно. В сороковых годах и пятидесятых Заболоцкий отдавал очень много времени переводам. Но работа над оригинальными стихами продолжалась, развивалась, была полна новых поисков и новых открытий.

Он пишет ряд психологических портретов — «Жена», «Неудачник», «Некрасивая девочка» — и как бы подводит итог этим опытам в стихотворении «О красоте человеческих лиц»:

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица — подобия жалких лачуг,

Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие — как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.

Это — не только об «архитектуре» человеческой души, но о собственном опыте — жизненном и поэтическом, которые переплелись теперь неразрывно.

Жизнь поэта со всеми ее тревогами, сомнениями, разочарованиями в конечном счете направлена к тому, чтобы стать самим собой, выразить себя с наибольшей полнотой. Среди немногих счастливцев, которым это удалось, одно из первых мест принадлежит Заболоцкому.

Однажды мы говорили о нем с Евгением Шварцем, нашим общим и близким другом. Это было в трудную для Заболоцкого пору, когда его поэзия была объявлена «юродивой» и даже умные, казалось бы, критики нанесли ему нерасчетливо беспощадные удары.

— Нет, он счастлив,— упрямо сказал Шварц,— никто не может отнять у него счастья таланта.

Он был прав, потому что самые горшие из несчастий превращаются в поэзию силой таланта и счастье поэта — поэзия, как бы ни сложилась жизнь.

6

В конце жизни он написал цикл «Последняя любовь», десять стихотворений, объединенных одной темой — и неожиданных, потому что прежде он не писал о любви. К его поэзии размышлений не шла «обыкновенность», казалось бы, давно исчерпанной темы. Но в этом цикле вдруг открылась такая глубина нежности, которую трудно было прежде разглядеть за поэтической неторопливостью Заболоцкого, за торжественностью его стихового строя.

Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.

Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.

Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!

В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
Да простит тебя бог, можжевеловый куст!

Изящество, которое Заболоцкий передал в переводах грузинской лирики, точность, которой он достиг в стихах о природе, жадное, неукротимое стремление к правде, озарившее весь его поэтический путь,—все соединилось в цикле «Последняя любовь». Почти каждое стихотворение — открытие в поэзии Заболоцкого, а такие, как «Чертополох» и «Можжевеловый куст»,—в русской поэзии XX века.

ДЕТСКОЕ ЗРЕНИЕ

В 1931 году в издательстве «Academia» вышел сборник «Мнимая поэзия», составленный из произведений пародической поэзии XVIII—XIX веков. Название, взятое из одного старинного сборника, метко определяет «вторичность» пародийной поэзии, ее утилитарную цель.

О Заболоцком в последнее время пишут заслуженно много. В интересных «Рассказах по памяти» И. Рахтанов отметил заслугу С. Я. Маршака, «привлекшего Д. Хармса, А. Введенского и других «обериутов» к детской поэзии». Верно и то, что он рассказывает о талантливой энергии С. Маршака в истории создания журналов «Еж» и «Чиж», несомненно представляющих собой совершенно особенное явление в мировой детской литературе. Однако вопрос о связи творчества Заболоцкого с детской поэзией сложнее, чем кажется на первый взгляд, и не исчерпывается понятием примитивизма или, в еще меньшей степени, инфантилизма, который является, как известно, признаком сохранившейся в зрелом возрасте отсталости раз-

вития. Между тем его исследователи часто упоминают именно об инфантилизме. Он отдал должное «мнимой поэзии», сохранившейся в немногих списках, по-видимому, против его воли.

Судя по восстановленным по памяти или случайно записанным стихам, «мнимая поэзия» заняла в его творчестве свое место. Достаточно упомянуть «Записки аптекаря», написанные от имени неторопливо-рассудительного, гордого своими познаниями, идиотически-серьезного человека:

...«Бессмертны мы!» — вскричал мудрец Агриппа,
Но обмишурился и умер он от гриппа.

Как странно: у Ильи-гомеопата,
Как и у нас, по рупь пятнадцать вата.

Возможно, что в соленом огурце
Довольно много витамина С.

Как хорошо, что дырочку для клизмы
Имеют все живые организмы.
И т. д.

«Мнимая поэзия» лежала рядом с детской — в обоих случаях сложное, ассоциативное слово отвергалось. На смену ему приходила разговорность, подчеркнутые прозаизмы, прямота обыкновенного языка. Детские стихи Заболоцкого нельзя сравнить ни с острой поэзией Д. Хармса, как бы с размаху швыряющего детей в неожиданную словесную игру, ни с манерой А. Введенского, у которого классический русский стих слегка сдвинут, что (в соединении с забавной степенностью) производит комически-успокоительное впечатление.

Заболоцкий писал стихи для детей нехотя, как бы тяготясь самым назначением детского чтения. Между тем он был очень близок к детской поэзии. Более того — я думаю, что этот факт имеет некоторое значение для понимания его творчества в целом. Я уже упоминал о том, что инсценировки классических произведений редко удаются потому, что театр в его неспецифическом, но тем не менее вполне законченном выражении входит в эти произведения как органическое начало. Спектакль в них уже сыгран — и с большей полнотой, чем это могут сделать актеры во плоти вместе с режиссером, театральными рабочими и директором театра. И все же искусственные роды происходят, да еще подчас с наложением щипцов.

Так нельзя «вынуть» детскую поэзию из стихов Заболоцкого. Итальянский перевод его стихов вышел в переплете, на котором воспроизведен холст Пиросманишвили. Заболоцкий любил знаменитого французского примитивиста Анри Руссо. Самодельное (и самое подлинное) издание «Столбцов» украшено копией его картины (на фронтисписе). Но мне кажется, что для понимания его творчества в целом важен не примитивизм (с такой силой изображенный им в стихотворении «Движение»), а детское зрение, которое создает «до-живопись» и часто исчезает, когда начинаются годы учения. Сравнение с примитивизмом кажется мне, в свою очередь, примитивным, потому что оно говорит лишь о внешнем сходстве, а не о тех «выходах» в иное поэтическое сознание, которые были связаны у Заболоцкого с его детским зрением. Без зоркости детского зрения, сопровождавшего его всю жизнь, они и не могли бы состояться. Знаменитое стихотворение «Меркнут знаки Зодиака» построено на детском отношении к простейшим существам и предметам:

Меркнут знаки Зодиака
Над просторами полей.
Спит животное Собака,
Дремлет птица Воробей.

Это — колыбельная, в которой за голосом, укачивающим ребенка, чувствуется уходящее в сон детское сознание.

Меркнут знаки Зодиака
Над постройками села.
Спит животное Собака,
Дремлет рыба Камбала.
Колотушка тук-тук-тук,
Спит животное Паук,
Спит Корова, Муха спит.
Над землей луна висит.

Но самоуспокоение только чудится, и детская колыбельная вдруг превращается в нравственный самоотчет:

Высока земли обитель.
Поздно, поздно. Спать пора!
Разум, бедный мой воитель,
Ты заснул бы до утра.
Что сомненья? Что тревоги?
День прошел, и мы с тобой —
Полузвери, полубоги —
Засыпаем на пороге
Новой жизни молодой.

Таких «выходов» из детской поэзии много в творчестве Заболоцкого. Таковы «Лебедь в зоопарке», «Полдень», «Осенние пейзажи», «Оттепель», «Журавли».

Лексический строй в этих стихотворениях, очень близких к детской поэзии, интонационно углублен, предполагая совсем не детский разговор с неведомым читателем или с самим собой.

Так, в «Отдыхе» — веселая, мирная, немного сонная, по-детски разноцветная картина грузинской маслодельни вдруг озаряется драматическим светом:

Все спокойно. Вечер с нами!
Лишь на улице глухой
Слышу: бьется под ногами
Заглушенный голос мой.

...Я перечитал эту главку и задумался: да стоило ли трудиться, вглядываясь в еще, мне кажется, не подмеченные черты поэзии Заболоцкого, если он сам раскрыл их с такой простотой и глубиной, о которых не приходится и мечтать исследователю литературы... Я говорю о его классическом «Детстве»:

Огромные глаза, как у нарядной куклы,
Раскрыты широко. Под стрелами ресниц,
Доверчиво-ясны и правильно округлы,
Мерцают ободки младенческих зениц.
На что она глядит? И чем необычаен
И сельский этот дом, и сад, и огород,
Где, наклонясь к кустам, хлопочет их хозяин,
И что-то вяжет там, и режет, и поет?
Два тощих петуха дерутся на заборе,
Шершавый шмель ползет по столбику крыльца.
А девочка глядит. И в этом чистом взоре
Отображен весь мир до самого конца.
Он, этот дивный мир, поистине впервые
Очаровал ее, как чудо из чудес,
И в глубь души ее, как спутники живые,
Вошли и этот дом, и этот сад, и лес.
И много минет дней. И боль сердечной смуты,
И счастье к ней придет. Но и жена и мать,
Она блаженный смысл короткой той минуты
Вплоть до седых волос все будет вспоминать.

Рукописное собрание стихотворений Николая Заболоцкого лежит передо мной на столе — сто семьдесят стихотворений и четыре поэмы. Принято считать, что Тютчев написал мало. Но он написал много. Это в полной мере относится и к Заболоцкому.

На последней странице — примечание: «Эта рукопись включает в себя полное собрание моих стихотворений и поэм, установленное мной в 1958 году. Все другие стихотворения, когда-либо написанные и напечатанные, я считаю или случайными, или неудачными. Включать их в мою книгу не нужно...»

Неудачными или случайными он считал, без сомнения, и свои шуточные стихи и поэмы. Он был сдержан, молчалив, все, что он делал, было проникнуто глубоким достоинством поэта. Вместе с тем он был человеком оригинального юмора, душевного веселья. Редкая встреча у него или у его друзей обходилась без шуточных эпиграмм, экспромтов, стихотворных посланий.

Незадолго до смерти он сжег все эти стихи, среди которых многие были настоящими шедеврами по тонкости, выдумке, блеску. Он не хотел шутить ни с поэзией, ни со своей жизнью, которая, может быть, предстала бы в этих стихах совсем другой, чем она была на деле. Разумеется, бесконечно жаль, что эти стихи погибли. Но, размышляя о светлой и трагической жизни поэта, начинаешь понимать, что он не мог поступить иначе. «Есть литература на глубине,— писал Юрий Тынянов о Хлебникове.— Есть жестокая борьба за новое зрение, с бесплодными удачами, с нужными, сознательными ошибками, с восстаниями решительными, с переговорами, сражениями и смертями. И смерти при этом бывают подлинные, не метафорические. Смерти людей и поколений».

ОН ЛЮБИЛ УДИВЛЯТЬ

Заглянув ко мне однажды и оценив более чем относительный порядок в моей комнате, Хармс спросил:

— Скажите, пожалуйста, что вы стали бы делать, если бы на вашем шкафу вырос нос?

И спокойно кивнул, когда я сказал ему:

— Вешал бы на него свою шляпу.

Он был из той породы добродушно-длинных людей, на которых легко рисовать карикатуры. Он двигался легко, говорил свободно, был естественно прост и по-своему изящен. В нем были детские черты — он любил удивлять. Он мог, остановившись у газетного киоска, спросить отчетливо, серьезно:

— Скажите, пожалуйста, здесь живет Петр Алексеевич Силантьев?

Мне всегда казалось, что он делает много добрых дел втайне, по секрету, а потом, оставшись наедине с собой, хохочет и потирает руки, радуясь, что кто-то теряется в догадках, а может быть, даже и пугается, подозревая, что произошло чудо. Так должен радоваться дед-мороз, содрав свою седую бороду и размахивая ею по воздуху над головой.

Этой дедморозовской добротой полна поэзия Хармса. Главная ее черта — невозмутимость. Ничего удивительного нет в «Удивительной кошке», которую лечат, привязав к ней воздушные шары,— кошка порезала лапу.

И сразу столпился народ на дороге,
Шумит, и кричит, и на кошку глядит.
А кошка отчасти идет по дороге,
Отчасти по воздуху плавно летит.

Именно эта невозмутимость позволяла Хармсу доводить до абсурда — я намеренно пользуюсь этим словом — то, что в обыденной жизни не вызывает ни малейшего удивления. Мало ли встречали мы в детстве — да и в зрелом возрасте — людей, заведомо говорящих неправду. Но «Врун» Хармса — врун вдохновенный, не знающий границ, настаивающий на своем, и с ним, хотя бы в какой-то мере, невозможно не согласиться.

А вы знаете, что под?
А вы знаете, что мо?
А вы знаете, что рем?
Что под морем-океаном
Часовой стоит с ружьем?
— Ну! Ну! Ну! Ну!
Врешь, врешь, врешь, врешь!
Ну, с дубинкой,
Ну, с метелкой,
Ну, еще туда-сюда,
А с заряженным ружьем —
Это просто ерунда!

Хармс был серьезен, я редко видел его улыбающимся, и его любовь к «странностям» и «розыгрышам», о которых пишут его друзья [1], его бесчисленные забавные псевдонимы — Иван Торопышкин, Д. Шардам, Карл Ива-

[1] См.: Даниил Хармс. Что это было?. М., «Малыш», 1968. Послесловие И. Халатова.

ныч Шустерлинг — скрывали натуру тонкую, сложную. Его поэзия для детей, получившая полное признание, была для него, в сущности, лишь виртуозной игрой. Он думал о другом. Такие стихи, как «Иван Иваныч Самовар», читали и взрослые и дети. Но для молодых литераторов двадцатых годов Хармс был автором драматической поэмы «Елизавета Бам», отрывки из которой он читал на вечере в Институте истории искусств.

Драматическая поэма «Елизавета Бам» написана в хлебниковском духе. Это — произведение, не разделяющееся на отдельные сцены. Герои лишены биографий, они — просто люди, и этого достаточно для автора, который заставляет их чувствовать, думать, мечтать. Они как будто льются, меняются на глазах: люди, пришедшие арестовать Елизавету Бам за убийство, ссорятся между собой, сперва строго, потом добродушно разговаривают с преступницей и в конце концов просят отпустить их домой. Потом они снова начинают искать ее, но эти поиски то превращаются в игру в пятнашки, то переходят в разговор с родителями Елизаветы Бам, утрированно бессвязный, но, в сущности, напоминающий бесцельные обывательские разговоры.

Елизавета Бам — то взрослая, замужняя женщина, то девочка, которая ищет защиты у папы и мамы. Эти превращения — важная черта пьесы-поэмы. Кэрроллу не приходится извиняться за то, что его Алиса пролезает в кроличью норку: читатель — в стране чудес. Хармс отказывается извиняться. Если в «Удивительной кошке» он предлагает детям не удивляться тому, что кошка «отчасти идет по дороге, отчасти по воздуху плавно летит», — в «Елизавете Бам» он требует, чтобы подобному способу летания не удивлялся взрослый читатель.

Среди действующих лиц — скрипка, барабан, дудочка, голоса за сценой. Заблудившийся в несообразностях, в нарочитой бессмыслице, мотив заговора против Елизаветы Бам возникает снова в разговоре между ее преследователями Иваном Ивановичем и Петром Николаевичем.

В новом превращении они отнюдь не агенты «угрозыска». Это — философы, размышляющие о загадках природы.

И. И. Скажите, Петр Николаевич,
Вы были там, на той горе?
П. Н. Я только что оттуда.
Там прекрасно... Деревья шелестят.

Стоит избушка, деревянный домик.
В избушке светит огонек,
На огонек слетаются черницы,
Стучат в окно ночные комары.

. . . .

И. И. А в этом домике, который деревянный,
Который называется избушка,
В котором огонек блестит и шевелится,
Кто в этом домике живет?
П. Н. Никто в нем не живет
И дверь не растворяет,
В нем только мыши трут ладонями муку,
В нем только лампа светит розмарином
И целый день сидит пустынником на печке таракан.
И. И. Но кто же лампу зажигает?
П. Н. Никто, она горит сама.
И. И. Но этого же не бывает.
П. Н. Пустые, глупые слова.
Есть бесконечное движенье.
Дыханье легких элементов.
Планетный бег, Земли вращенье,
Шальная смена дня и ночи,
Глухой природы сочетанья
И покоренье человеком
Законов света и волны.

Разговор заканчивается грозным напоминанием, что «завтра ночью Елизавета Бам умрет». И тогда отец Елизаветы, до сих пор безразлично относившийся к участи дочери, неожиданно выступает в ее защиту.

Папаша *(входя).* Которая Елизавета Бам,
Которая мне дочь,
Которую хотите вы
На следующую ночь
Убить и вздернуть на сосне,
Которая стройна,
Чтоб знали звери все вокруг.
И целая страна.
И я приказываю вам
Могуществом руки
Забыть Елизавету Бам,
Законам вопреки.

И в третьем превращении под колокольный звон открывается сраженье между отцом и одним из преследователей. Теперь они — богатыри. С разных сторон зала доносятся голоса, извещающие о том, кому принадлежит текст предстоящего зрелища, кто написал музыку и т. д. Теперь Петр Николаевич — чародей, и сраженье начинается с заклинаний. Но отец не боится заклинаний:

Папаша. Пускай на солнце залетит
Крылатый попугай,
Пускай померкнет золотой
Широкий день, пускай.
. . . .
И рыцарь, сидя за столом
И трогая мечи,
Поднимет чашу, а потом
Над чашей закричит:
— Я эту чашу подношу
К восторженным губам,
Я пью за лучшую из всех
Елизавету Бам!

Интермедия — лучшая часть поэмы. Богатыри, сражаясь, рассказывают зрителю о философском значении битвы. Странный мотив преследования девушки, которая сама не знает, совершила ли она преступление, получает новый поэтический смысл:

Хвала железу! Песнь битве!
Она разбойника волнует,
Младенца в юноши выносит,
Терзает до смерти врага!

Чародей повержен, разбит и просит извинить его перед смертью:

Ты слышишь, колокол звенит
На крыше: «бим» и «бам».
Прости меня и извини,
Елизавета Бам.

Сраженье кончено — и действие возвращается к началу. Снова Елизавета Бам жалуется, что ее преследуют, снова слышатся голоса, обвиняющие ее в убийстве, снова Иван Иванович и Петр Николаевич требуют, чтобы она открыла дверь, снова она, оправдываясь, мечется по комнате... Первая сцена повторяется дословно. Точнее сказать, почти дословно, потому что пьеса-поэма кончается тем, что Елизавета Бам все-таки арестована за убийство. Со смутным ощущением, что только это и произошло, а то, что мы прочитали и увидели между двумя одинаковыми сценами, лишь причудилось, померещилось и бесследно ушло в небытие, читатель расстается с поэмой.

ТЕАТР ТЕНЕЙ

Николай Макарович Олейников, один из создателей журналов «Еж» и «Чиж», был оригинальным детским писателем, первоклассным редактором и тонким ценителем

литературы. Я знал его... Впрочем, вернее было бы сказать, что мы были хорошо знакомы. Он внутренне как бы уходил от собеседника — и делал это искусно, свободно. Он шутил без улыбки. В нем чувствовалось беспощадное знание жизни. Мне казалось, что между его деятельностью в литературе и какой-то другой, несовершившейся деятельностью — может быть, в философии? — была пропасть. У него были сложные отношения с друзьями. Е. Шварц говорил мне, что он считает Николая Макаровича человеком гениальным. Может быть, сознание несовершившейся деятельности, в которой он мог бы проявить себя в полной мере, было причиной скрытности его характера? Ирония, породившая его стихотворный цикл, была для него одним из способов существования [1].

В книге «Здравствуй, брат. Писать очень трудно...» я рассказал о том, как был поражен Антокольский, встретившись у меня с Заболоцким и впервые услышав его стихи.

— Да это же стихи капитана Лебядкина! — сказал он, на что Заболоцкий спокойно ответил, что он ценит Лебядкина выше иных современных поэтов. Так мог бы — и с бо́льшим основанием — ответить Н. М. Олейников.

В «Бесах» Достоевского капитан Лебядкин читает свою «пиесу» Варваре Петровне:

Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства.

Место занял таракан,
Мухи возроптали,
«Полон очень наш стакан»,—
К Юпитеру закричали.

И пока у них шел крик,
Подошел Никифор,
Бла-го-роднейший старик...

Одно из самых популярных (по меньшей мере в литературных кругах) стихотворений Олейникова представляет собою развитие этой истории, в которую вкладывается мнимый философский и трагический смысл. Эпиграф (неточно) взят у Лебядкина:

---

[1] См. о нем в книгах И. Рахтанова «Рассказы по памяти» (М., 1969) и А. Македонова «Николай Заболоцкий» (Л., 1968).

ТАРАКАН

Таракан попал в стакан.

Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосет.
Он попался. Он в капкане,
И теперь он казни ждет.

Он печальными глазами
На диван бросает взгляд,
Где с ножами, с топорами
Вивисекторы сидят.

У стола лекпом хлопочет,
Инструменты протирая,
И под нос себе бормочет
Песню «Тройка удалая».

Трудно думать обезьяне,
Мыслей нет — она поет.
Таракан сидит в стакане,
Ножку рыжую сосет.

Таракан к стеклу прижался
И глядит, едва дыша...
Он бы смерти не боялся,
Если б знал, что есть душа.

Но наука доказала,
Что души не существует,
Что печенки, кости, сало —
Вот что душу образует.

. . . .

Вот палач к нему подходит,
И, ощупав ему грудь,
Он под ребрами находит
То, что следует проткнуть.

И, проткнувши, на бок валит
Таракана, как свинью,
Громко ржет и зубы скалит,
Уподобившись коню.

. . . .

Ты, подлец, носящий брюки,
Знай, что мертвый таракан —
Это мученик науки,
А не просто таракан.

Сторож грубою рукою
Из окна его швырнет,
И в окно вниз головою
Наш голубчик упадет.

На затоптанной дорожке
Возле самого крыльца
Будет он, задравши ножки,
Ждать печального конца.

Его косточки сухие
Будет дождик поливать,
Его глазки голубые
Будет курица клевать.

Когда я прочел моей семилетней внучке это стихотворение, она заплакала: пожалела таракана. Для нее он был сродни Мухе-Цокотухе.

В сближении Олейникова и Лебядкина интересно многое, и прежде всего то, что герой Достоевского писал свои стихи, меньше всего думая о поэзии. Стихоплетство — такая же черта его характера, как обнаженность чувств или склонность к высокопарности. Стихи его лишены поэтической функции, назидательны — и что особенно важно — принадлежат вымышленному персонажу.

Можно ли назвать Лебядкина «литературной личностью»? Едва ли. В сравнении с Козьмой Прутковым, например, он — беспомощный дилетант. Но что такое «литературная личность» и каким образом она связывается с авторским «я» — названным и неназванным?

Я попросил Юрия Тынянова выступить на одном из заседаний моего семинара по этому вопросу, и он прочел лекцию, которая остро запомнилась мне, может быть потому, что это была импровизация, развернувшаяся свободно и стройно. Он думал, что в наше время каждая книга становится шагом, поступком, а отсутствие поступка неизбежно приводит к отсутствию книги. Речевая интонация смещается в прозе, но это не мешает ей упорно стремиться к воспроизведению живой, разговорной речи. В дальнейшем развитии интонация связывается с жестом, а жест подсказывает лицо, персонаж, характер. (Впоследствии я не раз был свидетелем практического воплощения этой мысли: работая, Ю. Тынянов «превращался» в Кюхельбекера, Булгарина, Грибоедова и даже Нессельроде). Как ни далека художественная проза от устной речи с ее бесчисленными оттенками интонации, все равно в конечном счете каждая книга становится «говорящим лицом», то есть обращена к читателю как речь, и требует отзыва, отчета. Личность писателя, его судьба, интересна и важна для читателя, как важна судьба собеседника, современника.

Что касается Козьмы Пруткова или конан-дойлевского

бригадира Жерара, то придуманная литературная личность является как бы моделью подлинной, подобно модели в экспериментальной физиологии. Первоначально Козьма Прутков воспринимался как пародия. Разносторонность жанров, в которых он выступал, придала этой пародии реальные черты — отвагу поучительности, невозможность увидеть себя со стороны и другие признаки реального существования, вплоть до портрета...

Ю. Н. Тынянов в своей лекции не коснулся поэзии Олейникова — и это понятно. Ни Козьма Прутков, ни герой Конан Дойля отнюдь не напоминали мистического мещанина, от имени которого писал Олейников.

Герой Олейникова погружен в самоизучение, он занят только собой. Да, он слегка корит себя за «безнравственность» и грубо-вещественное отношение к действительности. Все это написано с точки зрения отнюдь не уверенного в себе человека, в этом смысле герой Олейникова — антипод Козьмы Пруткова.

Главная его черта — изумление. Из стихотворения «Чарльз Дарвин» следует, например, что исследование природы основано на изумлении перед ее чудесами. И не только природы:

Я стал задумываться над пшеном,
Зубные порошки меня волнуют,
Я увеличиваю бабочку увеличительным стеклом,
Строенье бабочки меня интересует...
Везде преследуют меня — и в учреждении
и на бульваре —
Заветные мечты о скипидаре,
Мечты о спичках, мысли о супах,
О разных маленьких предметах,
Какие механизмы спрятаны в жуках,
Какие силы действуют в конфетах?

Если попытаться одной чертой обвести круг интересов работы, житейских мелочей, литературного быта «обэриутов», окажется, что он почти нигде не выходит за пределы той атмосферы, которая напоминала трезвость старушки из рассказа Д. Хармса «Как старушка с луны свалилась», напечатанного в одном из номеров «Ежа». Эта атмосфера сказывалась не только в спокойном стремлении «изумить», неожиданно переломить привычное представление о том, что такое поэзия, но и в остроте, с которой подхватывались черты необыкновенного в обыденной жизни.

Я помню, как «обэриуты» приехали в Сестрорецк, что-

бы навестить Е. Шварца, и собрались пойти купаться только под вечер, когда солнце уже заходило.

Пляж давно опустел. Гости разделись, пошли к морю — и за ними с карикатурной неторопливостью поползли по песку их тени. Ничего особенного не было в этих постепенно удлинявшихся тенях, но, должно быть, все-таки что-то было, потому что высокий, костлявый Хармс вдруг подпрыгнул, смешно выворотив руки и заставляя свою тень повторять эти нелепые движения. Он вытягивал тело, вдруг садился на корточки и медленно «вырастал», строго поглядывая на свое далеко распластавшееся по пляжу черное послушное отражение. За ним, сохраняя полную серьезность, стал прыгать Олейников, тоже костлявый, потом тяжеловатый Шварц, кто-то еще...

Сторож, выползший из своей будки в пальто — было уже прохладно,— постоял в недоумении, потом нерешительно засвистел, хотя в этом неожиданном «театре теней» не было ничего нарушающего порядок. Свист был предупреждающий, действительность напоминала, что, согласно правилам поведения на пляже, странности нежелательны, даже если они и не запрещены.

ТЫ БУДЕШЬ АДМИРАЛОМ

Лермонтовская идея героя нашего времени навсегда утвердилась в нашей литературе. С новой силой она вспыхнула в двадцатых годах. Героя своего времени искали все. В книге, которая так и называется «Поиски героя», Н. Тихонов с добродушной иронией рассказал о том, как долго не давалась ему в руки эта «синяя птица». Его герой — сапожник, участник революции и гражданской войны:

Он встал, перемазанный ваксой Марат,
И гордо рубцы показал мне.

Гайдар нашел совсем другого героя — мальчика, прислушивающегося к «шуму времени», смутно различающего в этом шуме свой собственный голос.

В 1925 году альманах «Ковш» (Ленинград) напечатал в первом и втором номерах повесть Аркадия Голикова «В дни поражений и побед». Повесть эта, обсуждавшаяся в нашем семинаре, не имела успеха. После фурмановско-

го «Чапаева», в котором без видимого напряжения был создан характер, книга Голикова показалась старательным, но безжизненным репортажем. Она была как будто написана мальчиком, которому непременно хочется казаться взрослым. Несмотря на множество событий, о которых обстоятельно рассказывает автор, она — неподвижна: грамматическая правильность стиля заставляет смутно догадываться, что автор именно такой представлял себе «большую литературу»: «Разговаривая оживленно и делая всевозможные предположения, они шли рощей, находившейся около курсов... Однажды перед рассветом, рассыпавшись в цепь, отряд курсантов осторожно охватывал деревушку, в которой спали перепившиеся бандиты».

Если в то время в нашей критической литературе еще не установилось понятие «штамп», первая повесть Гайдара могла дать для него вполне достаточное основание: «Как встревоженный осиный рой, загудел бандитский лагерь», «На первое время это было удачным решением вопроса» и т. д.

Прошло несколько лет, прежде чем я узнал, что автор повести «В дни поражений и побед» написал «Школу». Это был неожиданный и многообещающий шаг. Положите две повести рядом — и в «Школе» вы увидите живой взгляд, мелькающий за неподвижностью правильной грамматической фразы. Это — путешествия в прошлое, в детство. Появился угол зрения, стремящийся перестроить, «договорить» материал. Появился герой — мальчишка, замешавшийся в трагические события гражданской войны, тот самый, который, развиваясь и видоизменяясь, впоследствии станет Тимуром. Но он появился раньше, до «Школы»,— уже в «РВС» Гайдар шагнул к детству, найдя в памяти первые (и, без сомнения, самые острые) впечатления гражданской войны.

Читая его произведения в хронологическом порядке, легко составить карту этого возвращения. Впрочем, он сам очень просто написал о ней: «Вероятно, потому, что я в армии был еще мальчишкой, мне захотелось рассказать новым мальчишкам и девчонкам, какова была жизнь».

Но он не был бы Гайдаром, если бы остановился на этом открытии. От сухого перечня фактов и следа не остается в «РВС». Найдя своего героя, он вдумывается в него, открывает в нем новые черты, ставит в самые неожиданные положения. И тогда приходит, может быть,

самая важная черта его творчества: стремление к непостижимому, романтика детства.

Я мало знал Гайдара и все-таки сохранил о нем яркое и живое воспоминание. Вероятно, это произошло потому, что он принадлежал к людям, не скрывавшим ни своих чувств, ни мыслей. Напротив, он всегда стремился раскрыть себя, возможно полнее передать другим все, что его волновало. Это было прямодушие, обезоруживающее, неотразимое, открывавшее картину души — картину меняющуюся, сложную, но всегда озаренную светом искренности и чести.

О нем можно было сказать, что он всем взял — и ростом, и дородством. Он был высокий, плотный, статный, с красивым, бледным, детским лицом. Детскость, мелькавшая в овале лица, в круглоте глаз, осталась заметной чертой на всю его жизнь. Когда он только что, двадцатилетним юношей, появился в Ленинграде, мы, его старшие товарищи, помнится, немного подтрунивали над его наивной уверенностью, что успех в любом деле требует не столько труда, сколько решительности,— однако подтрунивали за глаза, потому что знали, что он неудержимо вспыльчив. Так, он вдруг взялся изучать французский язык, пытаясь заговорить на нем недели через три после первого урока. Он писал, что у него обыкновенная биография и что не он, а время сделало то, что на четырнадцатом году своей жизни он ушел в Красную Армию, на пятнадцатом стал командиром роты, а шестнадцати уже командовал полком. Да, время было необыкновенное, но необыкновенной была и та романтическая глубина, с которой этот мальчик пошел ему навстречу. Выбор был сделан — и на всю жизнь. Люди, знавшие Гайдара зрелым, сложившимся человеком, неизменно чувствовали в нем этот полет времени, эту юность, сказавшуюся в каждой строке и как бы шедшую за ним по пятам.

В чем значение его успеха, его удачи в литературе? Почему его книги с таким увлечением читают мальчики и девочки и взрослые, но особенно, разумеется, мальчики, для которых Гайдар, быть может, самое большое в нашей литературе явление? Потому, что ему удалось угадать путь мальчишеского сознания — со всеми его неожиданностями, с его верой во все светлое, высокое, чистое, с его стремлением все объяснить. Взрослые читают его книги, радуясь тонкости, с которой раскрыт и, как на географической карте, начертан этот подчас сложный, риско-

ванный путь, а дети — так, как будто они сами невольно участвовали в их создании.

«Дым в лесу» — далеко не самое сильное произведение Гайдара, но перечитайте сцену, где двенадцатилетний Володя, взволнованный и разгневанный (известием о поджоге), встречается в лесу с комиссаром эскадрильи. «Сильной рукой этот человек остановил меня. Посмотрел на мой оцарапанный лоб и вынул из моей руки оловянный браунинг. Я смутился и покраснел. Но человек этот не улыбнулся, не сказал ни одного насмешливого слова. Он посмотрел, взвесил на ладони мое оружие. Вытер его рукавом кожаного пальто и вежливо протянул мне обратно». В этом жесте, в этой вежливой заинтересованности — весь Гайдар, с глубокой серьезностью относящийся к каждому движению детской души, не принижая ее, ставя знак равенства между детским и взрослым сознанием.

Вот за что его любят и уважают дети. Вот почему они всегда будут читать его — поколение за поколением! Он уважал их без притворства, легко переходил в мир их интересов, думая их мыслями, чувствуя их чувствами. Это и было главным свойством его таланта.

Дети любят сказки. Сказка всегда идет где-то рядом с самой подлинной, реальной жизнью в произведениях Гайдара. Но она никогда не служит ни для украшения, ни для развлечения. Это почти всегда серьезная сказка, с помощью которой гайдаровские герои стараются понять, что происходит вокруг них в нисколько не страшном и очень занятном мире взрослых.

«Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля состоит из Москвы, то есть из улиц, домов, трамваев и автобусов. Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучего леса». А от сказки рукой подать до поэзии — вот почему читатель ничуть не удивляется, когда проза Гайдара переходит в стихи и некий страшный Турворон появляется в фантастических снах, которые иначе и нельзя рассказать, как стихами. Но есть в этой галерее детских характеров одна общая черта, очень важная для понимания Гайдара. «Гек, конечно, был растеря и разиня. Мало того, что ночью он не мог вспомнить, куда засунул свои брюки. Но зато Гек умел петь песни».

В сущности говоря, именно Гек, маленький или постарше, хвастливый или скромный, самоуверенный или застенчивый, но зато «умеющий петь песни»,— вот глав-

ный герой Гайдара. Таков Тимур с его трогательной игрой, которая повлекла за собой целое движение среди пионеров; таков барабанщик с его суровой и сложной судьбой; таков, наконец, и сам Гайдар, за которым в его «Школе» поэзия подвига идет по пятам.

Я познакомился с ним в 1925 году в Ленинграде. Он был чем-то глубоко удручен в те годы. Потом я узнал, что он только что оправился от тяжелой болезни, заставившей его покинуть армию. По первой повести трудно было судить о его своеобразном таланте.

Через много лет мы случайно встретились снова в ялтинском Доме творчества — период, отмеченный в немногих сохранившихся после него дневниках. Он ходил в гимнастерке, в папахе, в высоких сапогах,— пожалуй, можно было подумать, что этот традиционный костюм стремится нарочито подчеркнуть романтическую приподнятость, свойственную его произведениям. Но если даже это и было позой, то какой-то простодушной, наивной и располагающей к себе, как и он сам располагал к себе своим открытым лицом и доброй улыбкой.

По утрам он будил нас пионерским горном, после ужина играл вечернюю зорю. Мы бродили по ялтинской набережной, заходили в татарскую деревню Ай-Василь и много разговаривали, главным образом, разумеется, о литературе. В нем чувствовался художник, свободный от традиций, и он защищал необходимость этой свободы, видя в ней условие для движения вперед. Он как бы начинал все сначала, не замечая, быть может, что иные открытия, казавшиеся ему новыми, были известны еще Стивенсону или Марку Твену. Но это «новое» было озарено поисками правды, которые так свойственны нашей литературе и без которых она, мне кажется, не может существовать. Едва ли Том Сойер нашел бы клад, если бы он так же бескорыстно был занят чужой судьбой, как Тимур,— у него просто не хватило бы времени на то и другое. Я хочу сказать, что если в книгах Гайдара, так же как и в его представлениях о литературе, мелькал иногда Том Сойер, то это был уже такой русский Том Сойер, такой бескорыстный, такой не думающий о себе!

Однажды, когда мы возвращались с прогулки, Гайдар заметил на ялтинской набережной маленького айсора, чистильщика сапог, такого черного, как будто его окунули в гуталин, стоявший рядом с его скамеечкой в грязной банке. Он постучал по скамеечке щеткой, когда мы про-

ходили мимо, и Гайдар немедленно поставил на его скамеечку ногу.

— А ну, давай!

Не помню, о чем мы говорили, пока маленький чистильщик тщательно обрабатывал гайдаровские высокие сапоги,— во всяком случае, о чем-то не имевшем отношения к маленькому айсору. Но когда работа была кончена и мы отошли от мальчика на порядочное расстояние, Гайдар вдруг вернулся к нему, взял за плечи и сказал, взглянув прямо в его округлившиеся, испуганные глаза:

— Ты будешь адмиралом.

Больше не было сказано ни слова. Мы ушли. Мальчик стоял, глядя нам вслед, изумленный, растерянный, с загоревшимися глазами...

Гайдар жил так же просто и светло, как умер. Есть смерти значительные, неслучайные, венчающие жизнь, бросая на нее мгновенно вспыхивающий, ослепительный свет. Так пал Шандор Петефи, сражаясь на стороне революционного венгерского народа. Так погиб Гарсиа Лорка, расстрелянный франкистами в Гранаде.

Гайдар, военный корреспондент «Красной звезды», отказался вернуться в Москву после отхода наших войск из Киева, остался у партизан и был убит в бою.

Да, он был не только писателем, который три четверти своей жизни проводит за письменным столом, рассказывая о том, что он видел или не видел. Путешественник, разведчик, солдат — он был самим собой, без преувеличения, без притворства.

«МОЙ ВРЕМЕННИК»

1

Я упомянул, что среди наших учителей был Б. М. Эйхенбаум, глубокий ученый, тонко чувствовавший жанровые особенности монографии, статьи, литературного портрета. Его книгам свойственна законченность, завершенность, немыслимая без плавного сцепления доказательств, склоняющего читателя к восприятию историко-литературной картины в целом. Внутреннее изящество свойственно не только его научным трудам. Он сам был сдержанно изящен, радушен и вдохновенно, нравственно трудолюбив.

В жизни ему не раз приходилось брать душевные барь-

еры — он был студентом Военно-медицинской академии, потом консерватории. Историю русской литературы он нашел, как находят родину, и тайная радость, что он ее наконец нашел, чувствовалась и в счастливые и в тяжелые периоды его жизни.

Вот почему мы, его ученики, были удивлены — и даже скептически удивлены, когда автор «Мелодики стиха», «Анны Ахматовой», «Лермонтова» вдруг выпустил книгу, которую никак нельзя было поставить в один ряд с его научными трудами. Она называлась «Мой временник» (Издательство писателей в Ленинграде, 1929). Вот что писал автор в обращении к читателю: «Обложка этой книги указывает на то, что книга задумана по типу журнала. Читатель вправе ожидать предисловия от редакции. Я не объявляю подписки и не собираюсь выпускать мой временник периодически. Мне просто захотелось пропустить свой материал сквозь форму журнала, которая так не удается современным редакциям. В XVIII веке некоторые писатели выпускали такого рода журналы, заполняя их собственными произведениями».

Книга делится на четыре отдела — «Словесность», «Наука», «Критика» и «Смесь». В отделе «Наука» Б. М. Эйхенбаум рассказывает о журнале А. Е. Измайлова «Благонамеренный», доказывая, что он интересен как особая литературно-бытовая форма. С читателями Измайлов объяснялся совершенно по-домашнему. Если номер запаздывал, он ссылался на масленицу или на то, что дочку надо было отдавать в институт или провожать родственников и т. д.

Автор «Моего временника» не заходит так далеко, хотя и упоминает в конце предисловия о «игре воображения». В сущности, книга делится только на два основных отдела. В первом Б. Эйхенбаум рассказывает свою биографию, во втором дает ряд блестящих литературных портретов, основанных на живых аналогиях между современностью и историей. Эта книга обсуждалась на семинаре в связи с вопросом о «второй профессии писателя.

2

Опускаю доклад, автор которого ограничился лишь изложением книги В. Шкловского «Техника писательского ремесла», сопоставив ее с «Моим временником», и перехожу к прениям.

Первый оппонент. К сожалению, нам так и не довелось узнать, что думает докладчик о «второй профессии» и как он относится к проблеме «литературного быта», но вернемся к моему семинару, на котором обсуждалась книга Б. М. Эйхенбаума. Книга Шкловского представляет собою сборник дельных советов. Но не худо бы в таком случае показать, что она все-таки чем-то отличается от поваренной книги. Была ли у самого Шкловского вторая профессия? Отвечу за докладчика: была. В годы первой мировой войны он служил в школе шоферов, водивших броневики, и даже был одним из инструкторов этой школы. Воспользовался ли он ею для своей первой профессии? Да, но только в прямом отражении: он отлично пишет о шоферах.

«Шоферы изменяются сообразно количеству сил в моторах, на которых они ездят...»

«Мотор свыше сорока лошадиных сил уже уничтожает старую мораль...»

«Быстрота отделяет шофера от человечества...»

«Но к чему такая быстрота?»

«Она нужна только бегущему или преследующему...»

«Мотор тянет человека к тому, что справедливо называется преступлением...»

И далее Шкловский рассказывает о роли автомобиля в революционных движениях («Zoo», «Письмо вступительное»). Есть упоминания о шоферском деле и в других — и в «Технике писательского ремесла», и в «Сентиментальном путешествии» — частые, со знанием дела.

Но пригодилась ли Шкловскому его «вторая профессия» для теоретических работ? Снова отвечу за докладчика: нет. Дело в том, что даже в границах деятельности одного писателя «вторая профессия» отнюдь не является постоянной величиной. В более широких границах ее вообще не существует. Воспользоваться ею может любой «до-писатель», скажем, токарь, который хочет стать литератором. Но даже если он первоклассный токарь, его ремесло будет соотноситься с ремеслом писателя как неизмеримо малое соотносится с неизмеримо большим. Нет сомнения в том, что «дописательская» жизнь не только отражается в работе писателя, но часто служит для нее психологическим, эстетическим, нравственным мерилом. Укладывается ли этот опыт в понятие «второй профессии»? Для того чтобы убедить нас в ее необходимости, Шкловский ссылается на великих писателей — Л. Толстой,

например, был профессионалом-землевладельцем. Ну, а кем был, скажем, Достоевский? Каторжником? Или Тургенев? Эмигрантом? И что делать с Пушкиным, которому было пятнадцать лет, когда в стихотворении «Другу-стихотворцу» он успел рассмотреть вопрос о «второй профессии» и, по-видимому, остановился на первой?

Несколько «вторых профессий» очень пригодились Горькому и оказались почти бесполезными для Грина. Какую роль сыграла «вторая профессия» в том, что маленький чиновник и неудачливый коммерсант Лесков свободно владеет любыми формами повествования, а Зощенко, который был офицером, милиционером, дегустатором, делопроизводителем, следователем уголовного розыска и т. д., виртуозно владеет только формой сказа?

Второй оппонент. Шкловский исключил из своей книги понятие таланта, и я боюсь, что она приведет в нашу литературу множество искусных штукатуров и сталеваров, которые легко откажутся от своей трудной «второй профессии» и займутся «первой», которая покажется им соблазнительно легкой.

Я согласен, что, изложив свою мысль с школьной последовательностью, Шкловский написал сборник дельных советов. Сущность сборника заключается в том, что «писатель должен иметь вторую профессию не для того, чтобы не умереть с голода, а для того, чтобы писать литературные вещи. И эту вторую профессию он не должен забывать, а должен ею работать: он должен быть кузнецом, или врачом, или астрономом. Эту профессию нельзя забывать в прихожей, как галоши, когда входишь в литературу»... Понятие «второе ремесло» подтверждается примерами: Л. Толстой писал как «профессионал — военный артиллерист» и как «профессионал-землевладелец». Газетная работа считается полезной для начинающего писателя — недаром Л. Андреев, Чехов, Горький, Диккенс работали в газете.

Иначе ставит этот вопрос Эйхенбаум. Он полагает, что мы переживаем новый литературный кризис. Ну что ж! Любая порядочная история литературы состоит из кризисов. Пушкин, как известно, «надоел» к середине тридцатых годов и завидовал Марлинскому, которым зачитывались до потери сознания. Нет, дело не в кризисе, которого не существует. Дело в обратном. Вопрос о том, «как быть писателем», возник именно потому, что наша литература — на подъеме. «Сейчас несколько тысяч писателей. Это

очень много»,— пишет Шкловский. Сопоставим с этим цитату из Белинского, которой воспользовался Эйхенбаум: «...слишком много нужно было бы гениев и великих талантов, чтобы публика никогда не нуждалась в литературных произведениях, удовлетворяющих потребность ее ежедневных досугов... Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы, и чем больше их, тем лучше для литературы» («Мой временник», с. 71—72). Именно это и происходит в наше время. «Несколько тысяч» удовлетворяют потребность ежедневных досугов публики, и в этом нет ничего неожиданного для нас, отдавших немало времени изучению второстепенных и третьестепенных писателей тридцатых и сороковых годов прошлого века. Важно другое. Важно, что литература сейчас разделилась на тех, кому насущно нужна книжка Шкловского, и на тех, кто, прочтя статьи Эйхенбаума, задумается над своей жизненной задачей.

Руководитель. В книге Шкловского теме «второй профессии» посвящены только первые страницы. Книга написана о «двойной жизни» писателя, о причинном соотношении искусства и жизни, без которого немыслимо возникновение художественного произведения: «Для того чтобы сделать вещь и вложить в нее работу, нужно иметь как будто бы двойную жизнь, а жизнь у нас одна». И не правы те, кто утверждает, что «Техника писательского ремесла» написана только для начинающих писателей. И опытный писатель может найти в ней для себя много нового.

В «Моем временнике» тема «второй профессии» прячется где-то в глубине, среди исторических аналогий. Еще недавно художественное произведение рассматривалось... как подлежащий изучению «литературный факт». Сейчас на первый план выдвигается новое понятие — самое «дело литературы». Не «как писать», а «как быть писателем» — вот определяющий вопрос новой полосы литературной науки.

Работа Эйхенбаума всегда была близка к художественной прозе. Поэтика и поэзия скрещивались в ней, и средства, с помощью которых он подчас достигал портретной выразительности, в сущности, мало отличались от той техники писательского ремесла, которой рекомендует пользоваться Шкловский. «Второй профессией» в данном случае Эйхенбауму служила профессия историка литературы.

Иногда, как в книге об Ахматовой, он намеренно от-

казывается от этой черты, которую сдержанно называет «неизбежным импрессионизмом». «В образе ахматовской героини резко ощущаются автобиографические черты — хотя бы в том, что она часто говорит о себе как о поэтессе,— пишет Б. Эйхенбаум.— Это породило в среде читателей и отчасти в критике особое отношение к поэзии Ахматовой — как к интимному дневнику, по которому можно узнать подробности личной жизни автора... Но читатели такого рода не видят, что эти автобиографические намеки, попадая в поэзию, перестают быть личными и чем дальше отстоят от реальной душевной жизни, тем больше ее касаются».

«Мой временник» освободил Эйхенбаума от строгости научного стиля. Его «импрессионизм» победил в этой книге, лучшие статьи прямо противоречат вышеприведенной цитате: «подробности личной жизни автора» на этот раз глубоко интересуют его. И все-таки журнал не получился — и не мог получиться. Ведь именно книги Б. М. Эйхенбаума дают ясное представление о том, что композиция (в широком смысле слова) не берется напрокат и не падает с неба. С одной стороны, она зависит от эволюции предшествующих форм, с другой — от внутренней соотнесенности материала и стиля.

Более того: его книги подсказывают ту мысль, что результаты, добытые при изучении художественной прозы, можно использовать для анализа историко-литературных и теоретических исследований: и композиция, и стиль, и отношение к материалу эволюционируют в литературной науке, так же как и в художественной прозе...

3

Перечитывая «Мой временник», я подумал о странной судьбе этой маленькой книги: все «современное» выглядит в ней устаревшим, а все «историческое» живо и представляет бесспорный интерес в наши дни. Промелькнула и исчезла проблема «литературного быта», но короткие «портреты», с помощью которых Б. Эйхенбаум доказывал необходимость ее изучения, внимательно прочтет любой читатель, интересующийся историей русской литературы.

Трагедия Гоголя, которому после двадцатилетней работы «стало казаться, что он — писатель нечаянный, случайный, что ему надо делать что-то другое» (письмо Плет-

певу, 1846), изображена в связи с вопросом о «деле литературы». «Вопрос, который всю жизнь тревожил Гоголя, был именно этот вопрос: *как быть писателем и что значит быть писателем?*» («Мой временник», с. 89—90). Одним общим взглядом окидывая всю деятельность Гоголя, Б. Эйхенбаум указывает исторические причины — перелом тридцатых — сороковых годов, заставивший Гоголя усомниться в своем историческом назначении: «Я не могу сказать утвердительно, точно ли поприще писателя есть мое поприще» («Авторская исповедь»).

Таков беспощадный портрет Тургенева с его кокетством, с его апологией «артистизма», с его «притворством простоты» (Л. Толстой) — Тургенева, переносившего удавшиеся строки из личных писем (С. Аксакову, А. Фету) в романы. Быстрый взгляд на профессиональную жизнь писателя открывает в ней разрывы и пустоты.

В обращении «К читателю» Б. Эйхенбаум с характерной для него скромностью пишет, что «Мой временник» — всего лишь «игра воображения». Жизнь без игры становится иногда слишком скучной».

В наши дни, перечитывая «Мой временник», убеждаешься в том, что эта книга — далеко не игра. В ней чувствуется смелость исследователя, изящество, артистизм. И уже меньше всего она похожа на черновики — «брульон», как говорили в старину. Вопрос о том, «как быть писателем», не только не устарел, но приобрел особенную остроту в наше время. Но это совсем особая тема.

ТРЕТЬЯ ЭЛОИЗА

Вопрос о «второй профессии», обязательной для писателя, был поставлен В. Шкловским. Но когда я познакомился с ним, у него была только одна профессия — историка современности в широком смысле слова, а в узком — и теоретика литературы.

В квартире Тынянова на Греческом проспекте была коммуна. Мы жили весело и голодно. Шел двадцать первый год. Трамваи еще не ходили, потом пошли. Сначала мы ездили бесплатно, потом за билет надо было заплатить три копейки. Можно было за три копейки купить белую булочку, и мы предпочитали ходить с Греческого в уни-

верситет или в Мариинку пешком. В Мариинке пел Шаляпин.

Хлеба было маловато, крошки мы высыпали в чай, подслащенный сахарином, получалась тюря, вкусная вещь. В передней стоял шкаф, а в шкафу неприкосновенный запас овощей, из которых мы каждый день варили неизвестно что, съедавшееся без остатка. Обед готовили по очереди, и однажды, когда я варил мясной суп, а мяса было очень мало, я не долго думая добавил в суп сушеной рыбы. На этот раз ел только я.

Прежде в квартире жил сбежавший за границу крупный чиновник. Мебель была безвкусная и роскошная, и казалось — свойство молодости,— что самым главным в квартире был солнечный, крупный, веселый, как мы, просторный воздух.

В этот молодой и голодный мир врывался Шкловский. Он не приходил, а именно врывался, каждый раз с новой мыслью, от которой начинала кружиться голова.

«Сюжет возникает самопроизвольно,— иначе нельзя объяснить одновременное возникновение одинаковых сюжетов в разных концах мира».

«Сумма художественных приемов передается в литературе не от отца к сыну, а от дяди к племяннику».

«Очень важен литературный фон».

Шкловский являлся с заплечным мешком — так ходили тогда почти все. Казалось, что он высыпает из этого мешка рабочие гипотезы, предположения, доказательства, догадки. Однажды, когда Елена Александровна Тынянова пожаловалась, что в коммуне не хватает посуды, он принес в заплечном мешке большой музейный столовый сервиз.

Разговаривая, Шкловский не сомневался в том, что его собеседнику ничего не стоит перемахнуть вслед за ним через пропасти, которых он даже не замечал. Он существовал в атмосфере открытий. Тех, кто не умел делать открытий, он учил их делать. А тех, кто не хотел,— презирал.

Одна из его первых книг обрывалась словами: «Еще ничего не кончилось». Ими же он мог бы закончить любую из своих последующих книг. И действительно, ничего не может кончиться для писателя, который рассчитывает на то, что он всегда начинает. Тогда, в начале двадцатых годов, он начинал с особенным блеском. Он выпускал книги — в том смысле, что не только писал их, а набирал, переплетал и развозил на саночках по книжным магазинам.

Все в мире делилось для него (и для нас) на две боль-

шие группы понятий: «интересно» и «неинтересно». Это было начало литературного взлета двадцатых годов, и в Ленинграде Шкловский был уверенным, веселым участником этого взлета [1].

Потом он написал о любви. У каждого из нас есть дорогая книга, иногда непризнанная, полузабытая и все-таки самая близкая тому, кто ее написал. Я думаю, что Шкловский больше других своих книг должен ценить «Zoo, или Письма не о любви».

В самом названии его книги заключена игра («Zoo» — зоологический сад в Берлине). На титульном листе книга названа снова: «Посвящаю эту книгу Эльзе Триоле и даю ей имя «Третья Элоиза».

Первая «Элоиза» принадлежит Абеляру, знаменитому религиозному философу средних веков (1079—1142), вторая — эпистолярный роман, состоящий из 163 писем,— Жан-Жаку Руссо. Все они — автобиографичны, но лишь книга Шкловского непосредственно связана с теорией литературы. «Для романа в письмах необходима мотивировка — почему именно люди должны переписываться,— пишет в предисловии к первому изданию автор.— Обычная мотивировка — любовь и разлучники. Я взял эту мотивировку в ее частном случае: письма пишутся любящим человеком, у которого нет для этого времени. Тут понадобилась новая деталь: так как основной материал книги — не любовный, то я ввел запрещение писать о любви. Получилось то, что я выразил в подзаголовке,— «Письма не о любви».

Теоретическая книга была смелым шагом в художественную прозу. Личная интонация была новостью для теории литературы. Самонадеянное «я» заменялось подчеркнуто безразличным «мы» — и часто заменяется до сих пор, едва лишь полет критической мысли переходит в тяжелую поступь литературоведа. В автобиографической естественности «я», на которое решился Шкловский, таилось многое. Оно было связано с характерной для футуристов идеей самоутверждения.

«Я» теоретических статей Шкловского в «Zoo» получило новое назначение. За «я» появился характер, личность, рассказчик. Это и было главной удачей книги. Второе предисловие, написанное через год после первого, опроки-

[1] Об этом подробно в кн.: «Освещенные окна». Часть третья. «Петроградский студент». См. т. 7 наст. Собр. соч.

дывает поразительное по своей бессердечности предположение, что полуотвергнутая, мучительная и по-своему изящная любовь к женщине—только «обычный прием для эротических вещей», как сказано в первом предисловии.

К счастью, женщина существует. К счастью, ее туфли действительно разговаривают с водой, добравшейся до ее квартиры (в Берлине — наводнение). К счастью, она любит — если не автора, так, по меньшей мере, того, кого она действительно любит.

Выход в художественную прозу удался не потому, что Шкловский «взял мотивировку» и «взял запрещение писать о любви». Она удалась потому, что он любил, а также потому, что ему мучительно хотелось вернуться на родину из «Zoo», вокруг которого жили русские эмигранты.

В книгу ворвалась эмоциональность, читатель оценил манерность женских писем, он пожалел автора, он разделил его одиночество. Не так уж важно стало для него, что автор — один из основателей ОПОЯЗа, что ему принадлежат известные книги и статьи. Возможно, что все это не входило в намерения автора. В таком случае перед нами был нередко встречающийся в искусстве пример «закрепления случайного результата».

И когда в одном из писем (двадцать второе) Шкловский утверждает, что книга представляет собой «попытку уйти из рамок обыкновенного романа», читатель радуется, что эта попытка не помешала ему с волнением прочитать удавшийся роман.

ГОРЬКОВСКИЕ ДНЕВНИКИ

1

В двадцатых годах интерес к подлинному, невыдуманному ничуть не уступал нашему времени. Но мне кажется, что это был совсем другой интерес. В мемуарной литературе двадцатых годов прямая информация была как бы слегка затушевана и не самый факт, а отношение к нему было характерной чертой. Документализм еще не притворялся искусством.

В сохранившихся записях моего семинара мемуарной литературе отдано много страниц. «Мои университеты» и «Дневник» Горького поразили читателя неисчерпаемостью впечатлений, не вошедших в литературу и все-таки ставших литературой, казалось бы даже вопреки желанию ав-

тора. Странным образом в этой книге почувствовалось освобождение от непреклонности, от упорства, набирающего силу с годами, от напряжения, которое почти неизбежно присутствует в работе художника — все равно, музыка ли это, живопись или литература.

В 21-м году, когда Горький впервые пригласил к себе серапионов, он, рассказывая нам о том, что такое литературный труд, привел в пример Эмиля Золя, который, работая, привязывал себя к креслу. В «Моих университетах» и «Дневниках» нет этой борьбы с собой.

Горький — «один из тех писателей, личность которых сама по себе — литературное явление, легенда, окружающая его личность,— это та же литература, но только ненаписанная, горьковский фольклор,— писал Ю. Н. Тынянов.— Своими мемуарами Горький как бы реализует этот фольклор» («Литературное сегодня»).

Рядом с тяжелой, редкой по выразительности, пастозной живописью («Пожары») — легкость пробежавшего мимо, но оставившего неизгладимый след. Рядом с удивительной определенностью психологического контура — тень того, что больше не повторилось, ушло навсегда и все-таки осталось в памяти. Надолго ли? Оказывается, что надолго. Может быть — навсегда.

В рассказах «Палач» и «Ветеринар» лица схвачены, как при свете магния, с точностью фотоснимка, напоминающего, что фотография еще сравнительно недавно казалась настоящим чудом. Скромный, тихий, сдержанный учитель чистописания оставляет у квартирной хозяйки тетрадь, в которую он записывает свои размышления. Виньетки, тщательные выписки, строгая законченность, ни единой помарки. Разнообразнейшие почерки — славянская вязь, готический ромб — и, наконец, собственный почерк учителя — мелкий, круглый, неторопливый. Им написан эпиграф, предваряющий книгу: «Скоро оказалось, что христиан много,— так всегда бывает, когда начинают заниматься исследованием какого-нибудь преступления». Из письма Плиния императору Траяну».

Великолепным ромбом учитель воспользовался, чтобы выразить как бы весьма обыкновенную и все-таки несколько странную мысль: «Мышление есть долг всякого грамотного человека». Славянская вязь соединяет эту мысль с каким-то происшествием, ворвавшимся в душевную жизнь учителя: «Я никогда не позволю себе забыть насмешек над собой». Возвращение к собственному круглому почер-

ку развивает идею тайного убийства: «Внезапность не исключает предварительного и точного изучения условий жизни намеченного лица. Особенно важно — время и место прогулок. Часы возвращения из гимназии с уроков. Ночью из клуба».

И в дальнейшем все, что касается идеи тайного убийства, написано не славянской вязью и не ромбом, а именно этим мелким, круглым, аккуратным почерком. Среди виньеток, рисунков, подробных записей, отражающих скучную жизнь маленького городка, идея внезапного тайного убийства вырастает, определяется, превращается в план: «Внезапность действия — гарантия успеха. Извозчика нанять старика, по возможности со слабым зрением. Соскочить — схватило живот. Проходным двором идти прямо на него, но — не здороваться, чтобы он растерялся» и т. д.

Учитель чистописания не участвует в рассказе. Его нет, он давно умер. Мы не знаем, кого он хочет убить. Может быть, это месть? Нет. Он обдумывает убийство не какого-то определенного лица. Это — торжество полноценности, доказательство своего превосходства, своего «вознесения» над жалкой, унизительно-однообразной жизнью. Недаром и учитель чистописания ставит рядом две идеи — убийства и искусства: «Так называемое искусство питается преимущественно изображением и описанием всякого рода преступлений, и я замечаю, что чем преступление подлее, тем более читается книга и знаменита картина, ему посвященная. Собственно говоря, интерес к искусству есть интерес к преступному...»

В рассказе — пять страниц.

Заметка «Люди наедине с собой» еще короче — четыре с половиной. Чехов, сидя у себя в саду, ловит шляпой солнечный луч и пытается надеть его на голову вместе с шляпой. Толстой тихонько спрашивает ящерицу:

— Хорошо тебе, а?

И, осторожно оглянувшись вокруг, признается:

— А мне нехорошо.

В фойе театра красивая дама-брюнетка, поправляя перед зеркалом прическу, спрашивает себя:

— И — надо умереть?

Блок, стоя на лестнице, пишет что-то на полях книги и вдруг, прижавшись к перилам, почтительно уступает дорогу. Лестница пуста, и все-таки кто-то бесшумно и незримо прошел мимо него, потому что иначе он не проводил бы его улыбающимся взглядом.

«Мои университеты» и «Заметки из дневника» нарушили привычное представление о мемуаре — именно поэтому они сразу же стали предметом горячих, долго продолжавшихся споров.

Рассказывая о себе, Горький почти никогда не остается наедине с собой. Его дневники и воспоминания основаны на высшей объективности, на свидетельстве очевидца. Возникшие как бы за пределами литературы, они наметили контуры нового жанра. В сущности, это — мемуары без мемуариста. Центральный, поражающий разнообразием смысл его «Университетов» — интерес к людям, многократно перевешивающий его интерес к самому себе. «Говорить о себе — тонкое искусство, я не обладаю им»,— сказал он в разговоре с Блоком.

2

В 1924 году я послал Горькому свою первую книгу — «Мастера и подмастерья». Она писалась в течение трех лет, и вслед за появлением чуть ли не каждого из рассказов, составивших этот сборник, я получал от Горького письма, содержавшие строгую, но добрую критику и советы, причем не только литературные, но и житейские. С гордостью и изумлением перечитываю я теперь эти письма. С гордостью — потому, что это письма Горького, а с изумлением — потому, что многие из этих писем обращены к начинающему писателю, еще ничего не сделавшему для нашей литературы.

Он учил меня — и делал это со всей щедростью великого человека. Но ему казалось, что это совсем не так. «Милый друг, Вы должны чувствовать, что я пишу Вам не как «учитель», эта роль всегда была противна мне, и я никогда никого не учил, кроме себя, но, к сожалению, делал это «вслух». Пишу я Вам, как товарищ, как литератор, органически заинтересованный в том, чтоб вы нашли вашему таланту форму и выражение, вполне достойные его» (13/XII 1923 года).

И все-таки Горький учил, и прежде всего тому, о чем он почти не упоминал в своих письмах,— вдохновенному, бескорыстному, чистому отношению к самому делу литературы. Он подсказывал темы, направлял мысль, предостерегал — и все это осторожно, деликатно, не задевая самолюбия. Но в каждой строке звучало суровое напоминание о том, что мы работаем в великой литературе и, ста-

ло быть, не имеем права превращать ее ни в игру словами, ни в средство собственного благополучия и славы. «Здесь, в Европе, наблюдается истощение, анемия литературного творчества, здесь — общая и грозная усталость. Здесь очень процветает словесное фокусничество, а у людей серьезно чувствующих возникает все более острый интерес к русской литературе. Посему: «не посрамим земли русской!» Надобно работать. Вам, новым, это особенно необходимо» (13/XII 1923 года).

Надобно работать! Но как? Разумеется, так, чтобы совершить нечто новое в литературе. Но что это значит? Разве мало было писателей, искренне убежденных в том, что их «новое» двигает литературу вперед,— и быстро забытых?

3

Итак, я послал Горькому «Мастера и подмастерья» и с волнением стал ожидать ответа. Можно было не сомневаться в том, что рассказы понравятся Горькому,— разве не писал он, что «целая книга сразу покажет читателю оригинальность [Вашего] таланта, своеобразие и свежесть фантазии [Вашей]».

Вот письмо, которое надолго отрезвило меня:

«Я получил Вашу книжку — спасибо! — внимательно прочитал ее, но — похвалить не могу. Не сердитесь на меня и верьте, что мое отношение к Вам совершенно ограждает Вас от излишней придирчивости старого литератора, не чуждого, вероятно, известной доли консерватизма. Не сердитесь и спокойно выслушайте следующее: несмотря на определенно ощутимую талантливость автора, несмотря на его острое воображение и даже — порою — изящество выдумки,— вся книжка оставляет впечатление детских упражнений в литературе, впечатление чего-то несерьезного. Может быть, это потому, что Вы отчаянно молоды и, так сказать, «играете в куклы» с Вашей выдумкой, что, в сущности, было бы не плохо, обладай Вы более выработанным и богатым лексиконом. Но — языка у Вас мало, он сероват, тускл и часто почти губит всю Вашу игру. Вам совершенно необходимо озаботиться выработкой своего стиля, обогатить язык, иначе Ваша, бесспорно интересная, фантастика будет иметь внешний вид неудачной юмористики: Ваши темы требуют более серьезного и вдумчивого отношения к ним...

Я не повторяю достаточно истрепанного указания на Вашу зависимость от Гофмана, я очень уверен, что Вы — писатель, у которого есть очень много данных для того, чтобы стать независимым, оригинальным. Но для этого надо работать, Вы же, кажется, работаете мало,— в книге не чувствуешь «восхождения к более совершенному» ни в языке, ни в архитектуре рассказов.

Затем: мне кажется, что Вам пора бы перенести Ваше внимание из областей и стран неведомых в русский, современный, достаточно фантастический быт. Он подсказывает превосходные темы, например: о черте, который сломал себе ногу,— помните — «тут сам черт ногу сломит!»; о человеке, который открыл лавочку и продает в ней мелочи прошлого,— человек этот может быть антикваром, которого нанял Сатана для соблазна людей, для возбуждения в них бесплодной тоски о вчерашнем дне...» (1923).

Не выдумка ради выдумки, не затейливая, но, в сущности, бесцельная игра воображения, а фантастика, раскрывающая сущность социальных отношений,— вот смысл этого характерного для Горького «подсказа». Не выходя за пределы жанра, свойственного, как ему казалось, начинающему писателю, он вкладывает в его «детские упражнения» современное политическое содержание. Антиквар, наемник Сатаны, продающий мелочи прошлого,— фигура, не потерявшая своей остроты и в наше время.

Только в одном ошибался Алексей Максимович — я работал много.

Это письмо произвело на меня глубокое впечатление,— теперь я не мог не остановиться перед пропастью между серьезной темой и ничтожными средствами для ее воплощения. В каждой строке Горький требовал, чтобы я относился к своей работе с полной, глубокой серьезностью... Как тут было не задуматься над «выработкой стиля»?

Нужно было влияние Горького, чтобы во весь рост был поставлен вопрос о простоте стиля, о его народности.

«У всех вас неладно с языком,— писал он мне в декабре 1923 года, приводя многочисленные примеры стилевых погрешностей, неудачных сочетаний и утверждая, что одному писателю за его плохой роман «следовало бы скушать бутерброд с английскими булавками...». «И вообще, с русским языком обращаются зверски» (там же). Через год, в другом письме, он возвращается к задачам стиля:

«Говоря о «быте», я был очень далек от мысли конформировать литературу Пильняка и К°, хотя сам я являюсь

«бытовиком». Но я, ведь, хорошо и всюду вижу, что эта школа, во всех ее разветвлениях, сделала свое дело и давно уже не имеет сил питать как духовные запросы художника, так равно — я надеюсь — и духовные интересы читателя. Должна отмереть и «словотворческая» литература Ремизова, тоже сыгравшая свою, очень значительную роль, обогатив русский словарь, сделав язык наш более гибким, живым» (15/I 1924 года).

Несколько позже, в начале тридцатых годов, Горький привлек общее внимание к вопросам литературного языка, и с тех пор пушкинский принцип: «Точность и краткость — вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей; блестящие выражения ни к чему не служат» — становится идеалом, к которому начинает сознательно стремиться наша литература. Конечно, этот принцип по-разному понимался разными направлениями, но, во всяком случае, с прозой «изысканной» было покончено, и — нужно надеяться — навсегда [1].

4

Юношу девятнадцати лет, едва взявшего в руки перо, Горький встретил как старший друг, и с тех пор я неизменно чувствовал, что могу опираться на его руку. «Наша цель — внушить молодежи любовь и веру в жизнь,— писал он впоследствии Ромену Роллану,— мы хотим научить людей героизму». Не я один, десятки начинающих писателей без конца перечитывали его письма.

Сравните их — и с первого взгляда станет ясно, что для каждого «молодого» у него был свой, особенный ключ. Чем меньше мы походили друг на друга, тем больше он ждал от каждого из нас. Он ценил несходство, оригинальность, новизну.

«Ругают Вас или хвалят — это должно быть совершенно безразлично для Вас»,— писал он, незаслуженно высоко оценивая мои первые, слабые рассказы... «...У Вас есть главное, что необходимо писателю: талант и оригинальное воображение, этого совершенно достаточно для того, чтоб

---

[1] Впрочем, в истории литературы, да и не только литературы, «навсегда» —ложное понятие, и я в этом убедился в шестидесятых годах, когда новая «изысканность» стала характерной чертой нашей прозы.

чувствовать себя независимым от учителей, хулителей и чтоб свободно отдать все силы духа Вашему творчеству. Наперекор всем и всему оставайтесь таким, каков Вы есть, и — будьте уверены! — станут хвалить, если Вы этого хотите. Станут!» (25/XI 1923 года).

Эти строки вовсе не были продиктованы стремлением внушить мне равнодушие к критике,— иначе Алексей Максимович не тратил бы так много сил на тщательный критический разбор первых, слабых произведений. Он вооружал меня против критики легковесной, случайной, против бессодержательной «хулы и похвалы», которые ничему не учат. Он опасался, что под влиянием этой критики молодой писатель — это относилось, конечно, не только ко мне — откажется от своей особливости, от своего права на новое слово в литературе. Он умел восхищаться — черта, все реже, к сожалению, встречающаяся в нашей литературной жизни.

Без сомнения, он прекрасно понимал, что под моими теоретическими нападками на «быт» как литературный материал таилось полное незнание жизни. Но с какою же чуткостью, стараясь ничего не опрокинуть в хрупком здании моей детской прозы, внушал он мне мысль о том, что «бытовое», то есть происходящее ежедневно, не мешает, а помогает подлинному искусству!

«Но я думаю, что «быт» нужно рассматривать, как фон, на котором Вы пишете картину, и, отчасти, как материал, с которым Вы обращаетесь совершенно свободно. Нужно также помнить, что быт становится все более быстро текучим, и что быт XIX века уже не существует для художника, если он не пишет исторический роман. Для художника вообще не существует каких-либо устойчивых форм и художник не ищет «истин», он их сам создает. Ведь и у Вас игра в ландскнехт [1] — черта бытовая, но, вообразите, что карты тоже играют людьми, играющими в карты, и Вы тотчас же вышли за черты реального быта, вообразите человека, который реально — вполне одинок и одиночество понуждает его создать себе сложную «бытовую» обстановку силою только фантазии своей. Создал и — видит реальность создания своего — понимаете?

Этот человек — Вы, это — художник. Это очень хороший «герой», в то же время. Все, что написал Л. Толстой, он писал о *себе*, так же, как Пушкин, Шекспир, так же, как Гёте.

Вам особенно не следует бояться быта и нет нужды

отрицать его, ибо у Вас есть все задатки для того, чтобы легко превратить тяжелое «бытовое» в прекрасную фантазию. В конце концов — все великолепные храмы наши создаются нами из грязной земли.

В заключение: я думаю, что пришла пора немножко и дружески посмеяться над людьми и над хаосом, устроенным ими на том месте, где давно бы пора играть легкой и веселой жизни. Мы достаточно умны для того, чтоб жить лучше, чем живем, и достаточно много страдали, чтоб иметь право смеяться над собой.

Мне все кажется, что Вы — из тех, кто должен хорошо понимать это. Несмотря на Вашу молодость, которая, впрочем, никогда не порок» (15/I 1924 года).

В 1929 году я послал ему свою книгу «Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». Он ответил письмом, которое поразило меня не только тонкими замечаниями, относящимися к самому жанру историко-литературной монографии, но превосходным знанием и пониманием Сенковского — писателя, забытого уже в шестидесятых годах прошлого века. Многие ли профессиональные литературоведы могут похвастать таким знанием истории русской литературы?

5

Когда-то, в начале тридцатых годов, мне казалось, что для того, чтобы изобразить то необычайное время, в которое мы живем, и изобразить так, чтобы читатель понял и принял книгу, нужно отказаться от задач чисто литературных, потому что непосредственное знание само подскажет то или другое решение литературной задачи. Я часто цитировал известные строки Толстого: «Вронский... не мог себе представить то, что можно было вовсе не знать, какие есть роды живописи, и вдохновляться непосредственно тем, что есть в душе, не заботясь, будет ли то, что он напишет, принадлежать какому-нибудь известному «роду»...»

Теперь я вижу, что был неправ и что эта мысль, глубоко верная, например, относительно выбора жанра, совсем не предполагает «свободу от техники», — стоит только

---

[1] Речь идет о моем рассказе «Щиты и свечи».

вспомнить ту школу самоизучения, которую создал для себя Толстой, прежде чем была написана первая строка «Детства».

Загляните в черновые рукописи Пушкина, Некрасова, Достоевского, и вы увидите, что пафос преодоления трудностей осенял три четверти того, что было создано этими гениями нашей литературы. Я уж не говорю о трудностях нелитературных — об усталости, инерции, горечи обид, наконец, просто лени. «Не пишется» — как часто приходится слышать эти слова от товарищей по работе! «Первое желание, когда подходишь к письменному столу,— бежать от него»,— сказал мне однажды один известный писатель. Но многие превосходные книги не были бы написаны, если бы создатели их прислушивались к подобным желаниям.

Необходимо дать молодым ясное представление о том объеме труда, который вкладывается в законченное произведение.

Н. В. Берг в своих воспоминаниях рассказывает о том, какой способ работы считал наилучшим Гоголь: «Сначала нужно набросать *все* как придется, хотя бы плохо, водянисто, но решительно *все* и забыть об этой тетради. Потом, через месяц, через два, иногда более (это скажется само собою) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не так, много лишнего, а кое-что и недостает. Сделайте поправки и заметки на полях — и снова забросьте тетрадь. При новом пересмотре ее — новые заметки на полях, и где не хватит места — взять отдельный клочок и приклеить сбоку. Когда все будет таким образом исписано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тут сами собой явятся новые озарения, урезы, добавки, очищения слога. Между прежних вскочат слова, которые необходимо там должны быть, но которые почему-то никак не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не делайте ничего или хоть пишите другое. Придет час — вспомнится заброшенная тетрадь: возьмите, перечитайте, поправьте тем же способом, и когда снова она будет измарана, перепишите ее собственноручно... Так надо делать, по-моему, *восемь раз*» [1].

Разумеется, этот способ работы нельзя считать единственным или обязательным. Манера работать бесконечно разнообразна. Известно, с какой быстротой писал в неко-

---

[1] Н. В. Берг. Воспоминания о Н. В. Гоголе.— В кн.: «Гоголь в воспоминаниях современников». М., Гослитиздат, 1952, с. 506.

торые периоды своей жизни Достоевский. Стендаль в течение двух месяцев продиктовал «Пармский монастырь». Однако не сделает ошибки тот, кто скажет, что в основе литературного искусства лежит труд, неустанный и ежедневный, помноженный на профессиональное умение, поглощающий все силы ума и сердца.

ГРИН И ЕГО «КРЫСОЛОВ»

Жизнь писателя — что бы там о ней ни говорили — беспокойна, пестра и однообразна, несмотря на свою пестроту. С записной книжкой в руках он бродит по стране, по своему и чужим городам. Он всегда настороже — а ну встретится с интересным человеком, услышит необычайную историю, прислушается и запишет полузабытое, но выразительное слово! Он «собирает материал», заранее стараясь избежать упрека в незнании жизни, часто справедливого. Он даже не пытается доказать, что нужны годы труда и незаурядное упорство, чтобы научиться находить в «материале» хотя бы приблизительное выражение жизни.

А потом — письменный стол:

Мой письменный верный стол!
Спасибо за то, что шел
Со мною по всем путям.
Меня охранял — как шрам.

Мой письменный вьючный мул!
Спасибо, что ног не гнул
Под ношей, поклажу грез —
Спасибо — что нес и нес.

. . . .

Так будь же благословен
Лбом, локтем, узлом колен
Испытанный,— как пила
В грудь въевшийся — край стола!

(Марина Цветаева.
Мой письменный верный стол!..)

Но представьте себе писателя, который ставит ни во что подлинность места действия, характера, детали. Писателя, который свободен от этой подлинности, понимая ее по-своему, шагая через «узнаванье» читателем самого себя и стремясь к обратному — к «неузнаванью».

...Доклад назывался «Кризис сюжетной прозы», и кри-

зис был не только установлен, но теоретически обоснован. Но поскольку для всех было ясно, что никакого кризиса нет, заговорили об А. Толстом, М. Булгакове, Б. Лавреневе, И. Эренбурге.

— Самая остроумная теория сюжетосложения,— сказал докладчик,— еще не объяснила нам, откуда берется волшебство занимательности. По-видимому, ее природа связана с искусством неожиданности, полета над обыденностью или вообще удивления — и в этом смысле несколько напоминает цирковое искусство? Но какова бы она ни была — в художественной литературе она должна не мешать, а помогать психологической глубине. Но равна ли мера этой требовательности той мере, которую мы предъявляем, скажем, к реалистической прозе?

Спор кончился тем, что меня попросили рассказать об Александре Грине.

...Я мало знал Грина, хотя раза два заходил к нему в 21-м году, когда он, так же как Шкловский, Ходасевич, Форш, жил в Доме искусств. Острота и необычайность жизни тех лет лишь однажды привлекла внимание Грина. В одном из своих лучших рассказов, «Крысолов», он показал фантастичность геометрически-пустого Петрограда, с его оглохшими, саботирующими учреждениями, заваленными канцелярской бумагой. Но это был тот сравнительно редкий случай, когда Грин наткнулся на «материал», который с *такой* непреложностью принадлежал ему, что освободиться от него было уже невозможно.

Он описал себя в этом рассказе: «Теперь, может быть, уместно будет привести кое-что о своей наружности, пользуясь для этого отрывком из письма моего друга Репина к журналисту Фингалу... «Он смугл,— пишет Репин,— с неохотным ко всему выражением правильного лица, стрижет коротко волосы, говорит медленно и с трудом». Это правда, но моя манера так говорить была не следствием болезни — она происходила от печального ощущения, редко даже сознаваемого нами, что внутренний мир наш интересен немногим. Однако я сам пристально интересовался всякой другой душой, почему мало высказывался, а более слушал. Поэтому, когда собиралось несколько человек, оживленно стремящихся как можно чаще перебить друг друга, чтобы привлечь как можно более внимания к себе,— я обыкновенно сидел в стороне».

Это, без сомнения, автопортрет, а не цитата из письма неведомого Репина к неведомому журналисту Фингалу.

Ссылка на имена будто бы широко известных людей характерна для Грина. Это почти беспечное отмахиванье или, в лучшем случае, подачка тем, кто ищет подлинности во что бы то ни стало.

В ленинградском литературном кругу Грин был одинокой, оригинальной фигурой. Высокий, худощавый, немного горбившийся, молчаливый, он отличался от других обитателей Дома искусств уже тем, что все они куда-то стремились, к чему-то рвались. Он никуда не рвался. О нем говорили, что он не подписывает договора. Редактор одного еженедельника рассказывал мне, что однажды Грин положил на его стол рукопись, назвал сумму и сказал:

— С условием: не читая.

Редактор согласился — и не проиграл. Рассказ оказался превосходным.

Возможно, что это анекдот, но он характерен для Грина.

...Он щедро пользуется бессмертным реквизитом романтики — и часто потрепанным, дешевым реквизитом. Вдруг начинает казаться, что его рассказы написаны на полях когда-то прочитанных книг. Воспоминание о чем-то полузабытом возникает в сознании. Но это обманчивое впечатление. Грин относится к своим предшественникам — среди них и Стивенсон, и Эдгар По, и Джек Лондон, и Леонид Андреев — с такой же свободой, как и к самой действительности. Больше всего он дорожит внутренней свободой. Предшественников он не ищет, отзвуки их творений сами собой возникают в его воображении, а что касается действительности, то он предпочитает построить собственные города Лисс, Зурбаган, Гель-Гью и населить их людьми неизвестной национальности, с выдуманными именами. Изобретательность Грина в его стремлении представить себе земной шар не разделенным пограничными зонами — трогательна и говорит о глубине его человечности. Он не хочет видеть ни сети национальной ограниченности, ни кровавых доказательств мнимого превосходства одной нации над другой. Его интересует другое: чувство и время.

Время — только для себя. Часы истории почти всегда стоят в произведениях Грина, хотя в целом действие его произведений ограничено XIX и XX веками. Время для него — вглядыванье в собственное прошлое, самопознание, перечень неосуществленных замыслов. Недаром многие рассказы Грина написаны от имени автора, задумавшегося над промелькнувшим воспоминанием.

Впрочем, подчас он называет время — год, месяц, даже день,— но часы идут верно только на первых пяти-шести страницах, а потом он не обращает на них никакого внимания.

Чувство... О, ради чувства Грин взял в руки перо! Подчас начинает казаться, что его книги написаны упрямым, сдержанным, погруженным в себя подростком, который скрывает от взрослых свою страсть к сочинительству, любовь к загадкам и тайнам, который стесняется своего благородства. Шиллеру было шестнадцать лет, когда он написал «Разбойников». Рыцарство, отнюдь не рассчитанное на психологическую глубину, рыцарство подростков, стало нравственным законом для Грина.

Почти всегда замысел его артистичен, изящен. Он смело ссылается на выдуманные источники, на изречения никогда не существовавших философов, художников. Он цитирует Шатобриана, Свифта,— но напрасно вы стали бы искать у них эти цитаты.

В рассказе «Капитан Дюк» моряки поют:

Позвольте вам сказать, сказать,
Позвольте рассказать,
Как в бурю паруса вязать,
Как паруса вязать.
Позвольте вас на саллинг взять,
Ах, вас не саллинг взять,
И в руки мокрый шкот вам дать,
Вам шкотик мокрый дать...

Таких стихов много у Грина, и принадлежат они нищему поэту Берганцу, или Джону Манишке, или Стеббсу из «Блистающего мира», о котором Грин написал, что поэзия в его душе «лежала ничком, ибо негде ей было повернуться».

Но как беспомощен Грин, когда пишет реальную действительность, лишая ее возможности внезапного преображения. Он пытался даже теоретически обосновать свое отвращение к «литературе фактов»: «Литература фактов вообще самый фантастический из всех существующих рисунков действительности... Достаточно вспомнить то хладнокровное внимание, с каким просматриваем мы газету, не помня на другой день, что читали сегодня, а между тем, держали в руках не что иное, как трепет, борьбу и жизнь всего мира» («Блистающий мир»).

В этой «пустоте действительности» Грин неуклюж, неловок, неизящен. В рассказе «История одного убийства» солдаты говорят: «...энта», «чичас», «страсть похож»,

«патрет» и т. д. Зато как начинает блестеть и искриться жизнь, когда в нее врывается чудо.

«Крысолов» начинается, как реалистический рассказ: «Весной 1920 года, именно в марте, именно 22 числа,— дадим эти жертвы точности, чтобы заплатить за вход в лоно присяжных документалистов...» Но точность нехотя отступает с той минуты, когда герой рассказа попадает в опустевший банк, заваленный бумагой, которая «взмывается у стен», висит на подоконниках, струится по паркету, «образуя взрыхленные поля и барьеры». Это картина, еще закрепленная временем — 1920 год, Петроград. Но вот герой рассказа натыкается на шкаф, битком набитый провизией,— и хотя здесь еще нет ничего невозможного, мелодия чуда уже начинает отдаленно звенеть в пустыне мертвого банка, где двести шестьдесят комнат «стоят, как вода в пруде», тихие и пустые.

Она приближается, когда герой по бездействующему аппарату звонит в «никуда», в пространство, пересеченное спутанными проводами, и телефонистка отвечает ему. Он неточно называет номер, усталый голос поправляет его, и вымысел начинает приобретать все черты последовательности, неизбежности — только потому, что откуда-то все громче доносится мелодия чуда. В опустевшем банке господствуют крысы, они стремятся уничтожить человека, который бессознательно перешел границу дозволенного в понимании их загадочного существования. Это крысы-оборотни, стремящиеся уничтожить своего смертельного врага Великого Крысолова. Вы уже давно забыли мгновенье, когда точная дата отметила начало этой странной истории. Так же, как отозвался бездействующий телефонный аппарат, вы начинаете слышать звон сказочных часов. Независимо от мирового календаря, стрелки их движутся согласно тому, что происходит в рассказе.

Не думайте, однако, что Грин готов согласиться с тем, что он написал сказку, фантастическую историю. Великий Крысолов существует, он живет в Петрограде — указывается его адрес. Существуют и загадочные крысы. Некий Эртус написал о них, оказывается, целую книгу, и Грин цитирует из нее несколько строк, стилизованных в духе перевода:

«Коварное и мрачное существо это владеет силами человеческого ума. Оно также обладает тайнами подземелий... В его власти изменять свой вид, являясь как человек, с руками и ногами, в одежде, имея лицо, глаза и дви-

жения, подобные и даже не уступающие человеку... Им благоприятствуют мор, голод, война, наводнение... Они крадут и продают с пользой, удивительной для честного труженика, и обманывают блеском своих одежд и мягкостью речи. Они убивают и жгут, мошенничают и подстерегают...»

И читатель, закрывая книгу, догадывается, что крысы-оборотни живут в человеческом обществе и делают все, что им вздумается, потому что никому не удается разглядеть их подлинную крысиную сущность.

Впрочем, из русских писателей это приходило в голову не только Грину. В одном из рассказов А. К. Толстого герой так отвечает на незначительный вопрос:

— Нет, я никого не ищу. Мне только кажется странным, что сегодня на балу я вижу упырей.

А. Грин и А. Платонов — писатели, о которых можно сказать, что они полярно противоположны друг другу. Именно поэтому заслуживает внимания статья Платонова, посвященная Грину [1].

Платонов — воплощенье первоначального реального опыта жизни. Грин — воплощенье опыта литературного, обусловленного книжным сознанием. Платонов стирает привычные представления, Грин строит из них свои фантастические истории. Героев Платонова не с руки даже и называть героями — этот примелькавшийся термин не идет к лицам, действующим в его «прекрасном и яростном мире». Для людей, о которых пишет Платонов, самый факт их существования является фактом нравственным, в то время как «Грину *необходимо*, чтобы его люди жили в «специальной» стране, омываемой вечным океаном, потому что автор, обремененный заботами о характеристике своих оригинальных героев, должен освободить их от всякой *скверны конкретности* окружающего мира»,— так пишет о нем Платонов.

«Скверна конкретности» — это упрек писателю, увлеченному занимательностью в ущерб великой нравственной задаче литературы.

У Платонова — свой, особенный язык, основанный на скромной, но непреклонной простоте, на едва заметных сдвигах разговорной речи, оставляющих впечатление свежести и новизны. У Грина вы редко останавливаетесь на

---

[1] См.: А. Платонов. Размышления читателя. М., «Советский писатель», 1970.

отдельной фразе — он пишет страницами, в неудержимом разбеге.

Как же подходит Платонов к творчеству Грина? Он переносит его феерию со сцены в зрительный зал, из морской дали, в которой показывается корабль с алыми парусами, в обыденность, в мир «дрожащих, нуждающихся, не абсолютно прекрасных человеческих сердец». Ради «объективности» он представляет себе Ассоль не в деревне Каперне, одетой «покрывалами воздушного золота», а в Моршанске. Он подчеркивает, что капитан Артур Грей происходит из богатой семьи, и упрекает его за то, что он любит перевозить на своем корабле кофе и чай, а не мыло и гвозди. И, наконец, пересказывая историю деревенской девушки Ассоль, окончившуюся так счастливо, он горько сожалеет о других жителях деревни. «Бедный народ деревни увидел образ плывущего счастья в виде корабля под алыми парусами. Но деревенские люди знали: это счастье плывет не за ними, и действительно, лодка с корабля взяла к себе одну Ассоль».

Я остановился на статье Платонова как на примере столкновения двух глубоко искренних писателей, идущих в диаметрально противоположных направлениях. Столкновение основано не только на прочном убеждении Платонова, что произведения романтические «неспособны дать той глубокой радости, которая равноценна помощи в жизни». Это — суровый, исподлобья, взгляд, это тяжелая рука мастера, для которого литература — не развлечение, а пот и кровь. Не менее строго осуждает он Паустовского и его «старших по возрасту литературных братьев», рекомендуя «положительно и скоро их забыть».

Не буду входить в существо спора. Скажу только, что Грин не хитрит с читателем. Он как бы заранее заключает с ним договор, в котором ясно и недвусмысленно сказано, что его творчество не имеет ничего — или почти ничего — общего с действительностью. Требовать от него, чтобы он перестал быть Грином, бесполезно, даже если мы вспомним о том, что Л. Толстой требовал от Шекспира, чтобы он перестал быть Шекспиром. Фантазии Грина нечего делать в Моршанске, так же как герои Платонова почувствовали бы себя растерянными и оскорбленными в Гель-Гью или Зурбагане.

Советская литература тогда была еще сравнительно небольшая, существовала она немного меньше десятилетия и представлялась нам чем-то вроде таблицы Менделеева в начальный период ее существования. Пустых клеток было больше, чем заполненных, и заполнить их можно было, только подходя к уже открытым элементам теоретически, аналитически. Вот почему вслед за обсуждением творчества Грина в моем семинаре был поставлен доклад «о герое и характере» — центральный для прозы двадцатых годов. Было единодушно признано, что Грин обошел этот вопрос. Его герои — двухмерны, общечеловеческие понятия добра и зла заменили в его книгах психологическую глубину — стоит только вспомнить Грея («Алые паруса») или Битт-Боя («Корабли в Лиссе»). Но где же искать подлинного «героя нашего времени»? И правы ли те, кто утверждает, что он надолго исчез из нашей литературы?

Доклад был обстоятельный, идущий издалека. Школ нет, писатели отрекаются от своих предшественников. Искания «личной поэтики», которыми усердно занимается, например, Вс. Иванов,— бесплодны, потому что он идет ощупью, наугад. В литературе нет органически развивающегося отношения к слову. Роман двадцати пяти писателей в «Огоньке» «Большие пожары» блестяще доказал «стертость» стиля. Кроме М. Зощенко, который остался самим собой, затея «Огонька» неожиданно поставила в один ряд Буданцева и Лидина, Бабеля и Леонова. Игра оказалась игрой с огнем.

— «Героя нашего времени»,— продолжал докладчик,— ищут на стройках, на заводах — и, без сомнения, встречаются с ним лицом к лицу. Встречаются, но не узнают — вот почему читатель напрасно ищет его на страницах бесчисленных очерков и рассказов. В мелькании ежедневного, злободневного прячется, «не попадает в фокус» личность, воплощающая в себе самые характерные черты эпохи...

Но кроме поездок по стране, изменяющейся на глазах, раскачивающейся на поворотах, существуют и другие поездки: не в настоящее, а в прошлое.

Чем объяснить внезапность острого интереса к истории России? — спрашивал докладчик.— Даже сверхсовременный Пильняк написал рассказ, стилизованный в духе петровского времени, в котором разного рода «спектаку-

ли» неопровержимо доказывают, что автору лучше было оставаться сверхсовременным. Появляются исторические пьесы — «1881 год», «Азеф», «Заговор императрицы», «Николай Первый и декабристы». Постановка одной из них ознаменовалась трогательной чертой: автор пьесы «Пушкин и Дантес», В. Каменский, требовал, чтобы не Дантес убивал Пушкина, а Пушкин — Дантеса.

Выходят в свет воспоминания Суворина, Сухомлинова, Витте, записки участников революции и гражданской войны.

История ворвалась в кино со смелостью молодости («СВД» Козинцева и Трауберга) и с дешевой чувствительностью, огорчившей не только пушкиноведов («Поэт и царь» Гардина).

Но в художественной прозе история расположилась иначе, чем в соседних искусствах,— прочнее, увереннее. И это не удивительно: вспомним, что исторические романы были господствующим жанром в прозе 20—30-х годов прошлого века (Загоскин, Лажечников, Масальский, Зотов, Булгарин).

Впрочем, докладчик отнюдь не намерен перекидывать мост через столетие — от двадцатых годов XX века к двадцатым годам XIX века. Он лишь хочет только напомнить о том, что вопрос о «поисках героя» решается не только в современной, но и в исторической прозе. Однако «свободная охота» современного писателя ограничена в исторической прозе: нельзя перешагнуть тысячи печатных свидетельств. Самое важное, очевидно,— выбор исторической личности, связанной с современностью по духу, то есть как бы представляющей ее в истории России. Так, ретроспективный взгляд Ю. Тынянова остановился на Вильгельме Кюхельбекере, А. Чапыгина — на Степане Разине, О. Форш — на Михаиле Бейдемане.

Начнем разбор в обратном порядке. О. Форш выступила еще до революции и, если судить по ранним вещам («Рыцарь Тогенбург»), относилась к истории с романтической неопределенностью, свойственной символистам.

Следы этой неопределенности легко найти в романе «Одеты камнем». Герой романа — подлинное лицо, офицер, эмигрировавший из России и работавший в типографии Герцена. В 1861 году он пытался вернуться на родину, но был арестован в Финляндии и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.

«Один год (1860—1861) восторженных порывов, бла-

городнейшего одушевления и пылких мечтаний... И через год — сразу Алексеевский равелин. Вошел уверенным в себе, пылким и дерзким энтузиастом. Потом медленное, разлагающее, засасывающее действие равелина. Попытка напомнить о себе, крикнуть: авось услышат! Мучительный вопль о пощаде... И за громким воплем, затихнувшим у высоты престола... безумные, дикие вопли... Из угла в угол, точно зверь в клетке, вопит и бьется головой в стену... 20 лет заключения в равелине... Увезен лишенным рассудка...» (А. Е. Щеголев. Таинственный узник. Петроград, изд-во «Былое», 1919).

Докладчик не сомневается в том, что роман О. Форш основан на маленькой книге Щеголева. Но повторяемость, неподвижность истории Бейдемана затрудняет развитие романа, и если бы не строгие исторические даты, О. Форш, надо полагать, сократила бы срок его заключения.

— Известна поговорка: «Солдат спит, а служба идет». Перефразируя ее по отношению к роману «Одеты камнем», можно сказать, что Бейдеман сидит в крепости, а роман не идет,— продолжал докладчик.— И это не удивительно. Сюжет как бы заключен в крепость вместе с героем.

Тыняновский «Кюхля» был разобран докладчиком не менее сурово.

— Нельзя не согласиться с тем, что жанр «Кюхли» приближает нас к современности,— сказал он.— В сущности, это роман-биография, композиционно близкая, как это ни странно, к «Рвачу» Эренбурга. Однако в романе нет темы достаточно целеустремленной, чтобы вести за собой героя. Вот почему трагическая судьба Кюхли пробуждает чувства, но оставляет за сценой возможность размышлений. Я бы сказал, что роман битком набит представителями историко-революционной темы, но ее присутствие, неотразимость ее влияния — почти незаметны. Несмотря на бесспорную полноту и историческую точность изображения, задача характера не решена. «Кюхля» остался романтическим героем «вообще», а не «в частности», и в современной прозе появление романа не меняет почти ничего.

В конце доклада был разобран (более чем кратко) роман А. Чапыгина «Разин Степан», написанный, по мнению докладчика, языком челобитного приказа: канцелярская нарочитость сказалась даже в названии: почему «Разин Степан», а не «Степан Разин»? Упомянув, что роман Шильдкрета «Крылья холопа» напечатан в газете, доклад-

чик истолковал это обстоятельство как свидетельство наступления исторической темы, захватывающей все больший плацдарм.

Первый оппонент. Что разумеет докладчик под понятием «литературная школа»? Писатели, к его сожалению, отрекаются от своих предшественников. Еще бы! Было бы странно, если бы Пильняк признал свою зависимость от Белого, а Зощенко — от Лескова. Два понятия — «традиция» и «школа» — слились в сознании докладчика, поразительно напоминая библейскую формулу: «Авраам родил Исаака, а Исаак — Исава и Иакова».

Вообще говоря, в основе доклада чувствуется смутное недовольство тем, что в литературе какой-то беспорядок, что она почему-то существует сама по себе и развивается как бог на душу положит, а не в строгой последовательности, установленной литературной наукой. Из некоторых верных наблюдений сделаны неверные выводы. Роман двадцати пяти писателей в «Огоньке» не имеет ни малейшего отношения к «стертости стиля». Его появление — факт литературного быта, а не литературы. Вс. Иванов не занимается «исканием личной поэтики» и, может быть, даже не подозревает о ее существовании. «Тайное тайных» доказывает, что это не помешало ему сделать большой шаг вперед.

Второй оппонент. Откуда же все-таки возник острый интерес к прошлому, к истории России? Докладчик осторожно уклонился от ответа на этот вопрос. Мне кажется, что тщательно возведенное здание его доклада не раскачивалось бы, как во время землетрясения, если бы он вспомнил, что прошло уже больше десяти лет после Октябрьской революции и что нет ничего более естественного, чем стремление оглянуться на себя и заново оценить свое историческое развитие.

Докладчик убежден и постарался убедить нас в том, что «поездки в прошлое» так же необходимы для поисков героя нашего времени, как поездки на Волховстрой. Что и говорить, смелая мысль! Происхождение ее — совершенно ясно, по меньшей мере для меня. Это — подгонка живой литературы под холодную алгебру теории. Факты должны соответствовать ей. Не соответствуют? Ну что ж! Тем хуже для фактов!

Если «Одеты камнем» — неудача, то причины ее надо искать в другом романе О. Форш — в «Современниках»: у нее нет самостоятельного взгляда на исторический ма-

териал. Более того: мы вправе заподозрить ее в незнании материала. Это легко доказать. Прошу извинить меня за пример, который граничит с насмешкой, но ведь если бы О. Форш тщательно изучила жизнь Гоголя, его нос не оказался бы для нее такой драгоценной деталью? Форш идет не за Гоголем, а за его памятником — стоящим в Москве, на Гоголевском бульваре.

В «Современниках» вокруг выдуманного Багрецова скользят, как на коньках, Лермонтов, художник А. Иванов. Появление их не диктуется внутренней необходимостью. Отношение О. Форш к историческому материалу можно определить как геометрическое: берется точка и вытягивается в линию. Иногда линия намечена пунктиром. Так написана, например, сцена встречи Гоголя с Багрецовым перед сожжением второй части «Мертвых душ». Здесь, по меньшей мере, играет известную роль воображение. Оно отсутствует, когда Форш пользуется источниками, уже сыгравшими историческую роль в русской культуре. Так, в роман входит Герцен, иногда пересказанный, полуцитатный. Короче говоря, О. Форш ошиблась, предположив, что «собирать» исторический материал легче, чем современный.

Свидетелей существования, поведения, характера исторического лица — много, солгать нельзя, предварительная объемная работа неизбежна. «Кюхля» в этом смысле представляет собою исключительное явление. Характер,— кстати, не герой, а именно характер,— без сомнения, сложился в сознании автора задолго до той минуты, когда он написал первую фразу.

Руководитель. Мне кажется, что без той беспощадности, с которой Лермонтов открыл Печорина в самом себе, нельзя найти «героя нашего времени» и доказать, что это — общественное явление.

Можно понять попытку докладчика повернуть нас лицом к исторической прозе — он надеялся таким образом подойти к вопросу с неожиданной стороны. Но в таком случае он не должен был обходить вопрос о «смещении», которое в разной степени можно найти и у О. Форш, и у Ю. Тынянова, и у А. Толстого. По-видимому, для того, чтобы историческая личность ожила, чтобы портрет сошел с полотна и заговорил с читателем, необходимо, чтобы этот разговор был равно интересен для обоих. Готовые представления должны быть отметены в сторону, смеще-

ны. Характер возникает на их «смещении», которое может быть еле заметным.

О романах Ольги Форш было сказано много спорного. Не стоит рассчитывать, что остроумие — приправа к любому блюду: в данном случае оно было неуместным, чтобы не сказать — неприличным. С моей точки зрения, «Одеты камнем» — значительное произведение. Но свободу обращения с материалом О. Форш подменила свободой от материала. Вот почему ей не удалось найти в истории модель героя нашего времени. Надежда на создание этой модели с помощью «готового» исторического лица не оправдалась.

Два слова о «Кюхле». Когда роман был окончен, один из друзей Тынянова предложил приложить к нему карту отношений между Кюхельбекером и великим князем Михаилом Павловичем, начавшихся, когда они были товарищами детских игр, и кончившихся, когда на Сенатской площади Кюхля целится в него из пистолета.

Самое слово «неподвижность» удивительно не подходит к стремительному Кюхле, кидающемуся на своих длинных ногах к тем, кто нуждается в помощи, поддержке, утешении. И уж никак нельзя сказать, что в романе нет темы. Эта тема — поэтическая правда служения народу. Недаром же среди декабристов было много поэтов. Вспомните предсмертные тюремные стихи Рылеева:

Мне тяжко здесь, как на чужбине.
Кому повем тоску мою?
Кто даст криле мне голубине,
Да полечу и почию.

Вот эти «голубиные крылья» и дал Тынянов своему «Кюхле».

Мне кажется, что доклад следует оценить высоко хотя бы потому, что он дал повод к острой и интересной дискуссии. Я помню, как на одном из собраний Серапионовых братьев В. Шкловский предложил описать процесс завязыванья узла словами, без рисунка, утверждая, что это почти невыполнимая задача. Не знаю, как поступили мои товарищи, но я, вернувшись домой, попробовал решить ее — и решил, но с помощью технических терминов, беспомощно и неумело.

Книги Ларисы Рейснер двадцатых годов на первый взгляд не имеют к исторической прозе ни малейшего от-

ношения. Но если представить себе некий «знак историзма» — его можно разглядеть на их страницах. Это — ощущенье «надвременности», которое неопровержимо доказывает историчность того, что совершается на глазах. И возникает оно именно потому, что, не замечая его, Рейснер думает только об исторической правде.

Так без помощи рисунка, без технических терминов она описала процесс завязыванья исторического узла. События гражданской войны показаны с точки зрения ненаписанного, нерассказанного будущего страны. Между читателем и позицией автора как бы стоит кристаллическая призма, которая медленно поворачивается на незримой оси.

Я привел этот пример потому, что ощущение значительности, ответственности, исторической весомости — необходимое условие для поисков «героя нашего времени». И в этом смысле, может быть, действительно стоит воспользоваться опытом исторической прозы. Что и говорить, догадок много, сила всматриванья подчас так велика, что кажется, еще усилие — и перед нами появится новый Печорин или, по меньшей мере, Максим Максимыч, которые, как доказала Лариса Рейснер, сыграли неоценимую роль в гражданской войне. Но для того, чтобы воплотить догадку, нужна беспощадность по отношению к самому себе, беспощадность, которой надо учиться. А мы учимся мало, нехотя. Мы работаем торопливо, думая о себе, а не о литературе. И, наконец,— увы — многие, слишком многие из нас болеют эгоцентризмом: болезнь тяжелая, почти неизлечимая, средство от нее не продается в аптеках.

Одни пишут о том, как они относятся к Революции, другие — о том, как Революция относится к ним. Рядом с подлинной литературой вырастает другая, мнимая, построенная на ложном представлении о собственном значении, полная обид и признаний. То и дело слышится: «И я, и я» — из знаменитого стихотворения Гейне «Ослы-избиратели». Это относится, например, к разудалому Пантелеймону Романову, который летит вдоль русской истории на лихаче, с ковровой полстью и фонариками на оглоблях. От надежды показать современного героя «без черемухи» он, очевидно, наконец отказался.

ПРОФЕССОР Т.

1

Главные линии диспута, посвященного в моем семинаре историческому роману, пересекли в разных направлениях деятельность Ю. Тынянова как ученого и романиста. Это были годы, когда наука лежала рядом с литературой, а иногда и переплеталась с нею. Многие мои слушатели, так же как и я, писали повести, пьесы, романы. Переход от науки к литературе был хотя и непрост, но возможен и соблазнителен, потому что подготовлен — теоретическим изучением да и общим образованием. Об этом хорошо написала в своих воспоминаниях о Юрии Тынянове его ученица Л. Я. Гинзбург: «Все студенты литературного факультета Института истории искусств писали стихи (некоторые и прозу, но это было менее обязательно). Нам казалось, что это естественно, и даже казалось, что историк литературы, изучающий стихи, должен иметь практическое понятие о том, как это делается. Нам казался тогда нормальным путь от литературы (хотя бы от неудавшихся опытов) к истории литературы или, наоборот, от истории литературы — к литературе... Среди сочинявшихся от случая к случаю куплетов студенческой песни был и такой:

И вот крадется, словно тать,
Сквозь ленинградские туманы
Писатель лекцию читать,
Профессор Т.— писать романы».

О профессоре Т., писавшем романы, можно смело сказать, что, несмотря на трудную жизнь, осложнившуюся безнадежной болезнью, он не потерял даром и часа.

Он был мягкий, уступчивый, подчас нерешительный человек. Но могучая воля исследователя, сурово и непреклонно стремящегося к цели, не оставляющего в стороне ни одного самого ничтожного факта, если он может служить делу, видна в его рукописях, написанных твердым, поражающим своей определенностью почерком. Многое в его архиве еще не разобрано, но, когда удается проследить главную мысль, десятки других, на первый взгляд незначительных, выстраиваются — и становится ясно, что весь

этот беспримерный труд произведен для того, чтобы написать две или три строки романа.

«Дело идет о маленьком абиссинце, который попал в Россию, во Францию, снова в Россию, женился на пленной шведке, капитанской дочке, пошли дети, и четырнадцать абиссинских и шведских сыновей все стали русскими дворянами.

Так началось русское Ганнибальство, веселое, сердитое, желчное, с шутками, озорством, гневом, свирепостью, русскими крепостными харемами, бранью, нежностью, любовью к пляскам, песням, женщинам...» (рукопись).

Так в старой конторской книге Юрий Тынянов начал свой роман «Пушкин» — с главы о Ганнибалах, от которой — так же как и от многих других — он впоследствии отказался. Если перевернуть конторскую книгу и начать чтение с последней — а теперь опять с первой — страницы, вы встретитесь с автобиографическими рассказами Тынянова. Первый рассказ начинается так:

«Я родился в 1894 г. в городе Режице, часах в 6 от мест рождения Михоэлса и Шагала и в 8 от места рождения и молодости Екатерины I. До войны город был Витебской губернии, теперь латвийский. В городе одновременно жили: евреи, белорусы, великорусы, латыши, и существовало несколько веков и стран. В староверском скиту тек по желтым пескам ручей, звонили в било (отрезки рельсов; колокола были запрещены), справляли на бешеных конях свадьбы. Потом разводились, и тогда тоже мчались на конях, загоняли их. Там ходили высокие русские люди XVII века; старики носили длинные кафтаны, широкополые шляпы; бороды были острые, длинные, сосульками. Пьянства случались архаические и опять-таки кончались ездой. «Конь разнес» — это было еженедельное событие. Однажды хмельного старика конь нес до Двинска (203 версты!).

Я помню на ярмарках, на латышских кермашах (старое немецкое слово: kermesse), этих высоких людей и их жен в фиолетовых, зеленых, синих, красных, желтых бархатных шубках. Снег горел от шуб. Все женщины казались толстыми, головы не по телам малыми.

Они были верны в дружбе. Отец молодым врачом жил у старовера. Он посадил в саду яблоню. Каждый год, десятки лет, приносили нам яблоки с Тыняновки: «Кушай, Аркадьевич». Люди уходили из скита в город — печниками, малярами, плотниками. Случалось, печники возвра-

щались миллионщиками. Звали всех этих высоких людей по-птичьи: Синица, Соловей, Воробей. Помню, напротив сад печника с павлинами, которые грубо кричали...

Я застал еще в городе мистерии. Сапожники и хлебопеки надевали бумажные костюмы, колпаки, брали в руки фонарь, деревянные мечи и ходили вечерами по домам, представляя смерть Артаксеркса.

На свадьбах бывали бадханы, шуты. Они объедались и опивались; все смотрели на них, раскрыв рты, хохотали долго, валились под стол, хватали друг друга за руки, повторяя, объясняя, тыча пальцем в шута. В городе было много сумасшедших: они бегали по улицам. Ими забавлялись, как было принято на востоке в XVIII веке. У каждого было свое лицо, свой характер, роль, неожиданности. Их любили, как шутов на свадьбе.

Окраины города звались Америкой, и жители их — американцами. Это была другая страна. Нищета превзошла там понятные пределы, и люди оттуда уезжали в Америку. Я помню воющих, как по мертвым, женщин на дебаркадере вокзала, уходящий поезд и жандарма со строгим удовлетворенным лицом, притворяющегося, что не слышит. Оставшиеся жили в этой Америке; они жили более в Америке, чем где бы то ни было...

Там водились шарманщики. Они выходили в город на драку с мясниками; помню предводителя мясников — горбатого, толстого, с выпученными глазами, с острой бородкой, с раздутыми ноздрями нахала, с медленными, плавными движениями. Дрались они оглоблями. Дрались и одиночки — «посадские» (древний вид хулигана): помню, как спал в пыли однорукий приземистый человек — Мишка Посадский, его стриженую голову, тонкий песок. Посадские дрались камнями, так же как мастеровые; их возили в участок городовые, они сидели в ногах у городовых, все в крови, точно покрытые свежей краской или освежеванные; извозчики помахивали кнутиками, везли медленно: городовые не платили.

Лавочники проводили жизнь в тщеславии. Вместо вывесок на многих дверях висела еще красная тряпица («красный товар») или заячья шкурка («меха»)...» (рукопись).

Так Тынянов вглядывался в жизнь маленького городка, думая о книге, которую он писал медленно, возвращаясь к работе с перерывами в годы. Мир взрослых, его странная непоследовательность показаны в автобиогра-

фических рассказах со всей свежестью и остротой детского зрения. Время детей и время взрослых протекает с разной быстротой. Ни драки между мясниками и шарманщиками, ни средневековые мистерии не удивляют взрослых, жизнь которых идет своим чередом.

В той же конторской книге удалось разобрать заметки, относящиеся к отцу Юрия Тынянова, известному в городе врачу, которого,— как я убедился, приехав летом 1965 года в Резекне (бывшую Режицу),— до сих пор помнят и любят...

«...По вечерам, когда в столовой никого не было, а мать куда-нибудь уходила, он осматривал комнату косым, скучным взглядом, не замечая меня. Вздохнув, он запускал руку в карман и осторожно, как бы нехотя, но с любопытством разворачивал бумажки, раскладывал на столе медяки, больные заворачивали монеты в бумажки. В бумажках попадались пуговицы, даже соль. Он ждал этого, он медленно огорчался...»

«Он яростно читал газеты; больных он принимал, как промежутки между известиями.

— Ого,— говорил он,— шутка сказать: Япония... Войдите!

Он принимал больного, громко говоря с ним, как с глухим, повторяя самые простые слова, как маленькому, писал рецепт, отпускал больного и заканчивал:

— А Япония... становится великой державой! Шутка сказать!

Отдыхая, он покрывался газетой — от мух. Так с ней и не расставался.

Прошлогодние газеты клались на стол в приемной.

Все радовались, когда приходил штабс-капитан. Штабс-капитан называл себя шнапс-капитаном, ему было лет восемьдесят, у него на шее болталась медалька за турецкую войну; у него были бакены, которые носили все военные и полицейские эпохи Александра II. Он усаживался в приемной, брался за газеты, пропускал все очереди. Потом в кабинете начинался громкий разговор:

— Как поживаете? — кричал отец.

— Не поживаю, а доживаю,— медленно и ясно говорил штабс-капитан.— Слыхали? Англия? Сделала представление. Чрезвычайно любопытное убийство в Петербурге. Но полиция не найдет. Она на ложном следу. Арестована жена. При чем тут жена?

Отец возражал, соглашался, уступал. Штабс-капитан говорил:

— А во вчерашней газете пишут: открыт новый способ лечить холеру. Турция что-то шевелится...

Штабс-капитан терпеливо и медленно рассказывал отцу прошлогодние новости. Больные ждали. Жаловался он на старость и летнюю жару, и отец прописывал ему рецепт. Он наслаждался!» (рукопись).

Работая, Тынянов как бы прислушивался к своему детству, которое шло за ним медленно, но неуклонно. Если бы не было этого детства (и этих набросков, случайно сохранившихся в архиве писателя, половина которого погибла в годы ленинградской блокады), мы, вероятно, не прочли бы тех страниц в романе «Пушкин», где первое дыхание поэзии налетает на маленького Александра, как ветер в Юсуповом саду в жаркое полуденное время: «Его искали. Он убегал все глубже. Здесь уж была татарская дичь и глушь, новый, правильный сад обрывался — начинался старый. Стволы были покрыты мхом, как пеплом, хворост лежал вокруг статуй. И их глаза с поволокой, открытые рты, их ленивые положения нравились ему. Сомнительные, безотчетные, как во сне, слова приходили ему на ум... Было два часа пополудни, сонное время. Арина дремала на скамье, полуоткрыв рот. Вдруг нечувствительно набежал ветер, листья зашевелились на деревьях. Он увидел, как тонкое каменное тело дважды покачнулось вперед, точно пошло на него. Сердце его остановилось... Арина проснулась. Бессмысленно лукавя, он притворился перед нянькою, что все время смотрел на пруд...»

Не были бы написаны и те страницы, где маленький Пушкин бродит по дому неловко, бочком, замечая и понимая то, чего не понимают взрослые. Не было бы семейных вечеров, когда становилось ясно, что «у дома и у родителей были разные лица: одно — на людях, при гостях, другое — когда никого не было». Ни разговоров о политике, о войне, о государе. Ни внезапного восклицания одного из гостей: «А французы-то нас бьют да бьют!», напоминающего рассуждения «шнапс-капитана». Не было бы отрывистых и быстрых, без разбора, чтений — тайком, в отцовском кабинете. Словом, не было бы в нашей литературе детства Пушкина, написанного с бесценной подлинностью, потому что Тынянов знал, что «никогда писатель не выдумает ничего более прекрасного и сильного, чем правда» (Автобиография).

2

Я поступил в Псковскую гимназию в том году, когда Юрий Тынянов кончил ее. Он был дружен с моим старшим братом и часто бывал в нашем доме. Отзвуки жизни старшего поколения доносились до меня то горячими спорами о Гамсуне и его лейтенанте Глане, то стихами Блока, то гимназическими любовными историями — и жизнь брата и его друзей представлялась мне загадочной, сложной, необыкновенной.

Это впечатление романтической приподнятости нарушалось в моем тогдашнем представлении лишь одним членом «компании» — Юрием Тыняновым. Среди этих юношей, кончавших гимназию, много занимавшихся и успевавших одновременно влюбляться, проводить ночи в лодках на реке Великой, решать философские проблемы века,— он был и самым простым, и самым содержательно-сложным. Он был веселее всех. Он заразительно хохотал, передразнивая товарищей, подражая учителям,— и вдруг уходил в себя, становился задумчив, сосредоточен.

Он писал стихи. Но главным делом, которому еще в гимназии Тынянов решил посвятить жизнь, была история русской литературы.

Глубокая, всепоглощающая любовь к нашей литературе была основной чертой всей жизни Тынянова. Лишь поняв и объяснив ее, можно понять и объяснить его жизнь. И наука его, которой он не переставал заниматься, уже будучи известным романистом, была, в сущности, не чем иным, как жадным стремлением изучить русскую литературу, открыть и объяснить чудо этой литературы.

Я мало встречался с ним в те годы, когда он был студентом Петербургского университета, и знаю об этом периоде главным образом по его же рассказам. Его учителями были замечательные ученые, оставившие глубокий след в истории русской литературы и русского языка. Он слушал одного из крупнейших лингвистов начала века Бодуэна де Куртенэ. Он был учеником гениального Шахматова, маленького человека с тихим голосом, поражавшего всех своей необычайной скромностью: выслушав Тынянова, который был тогда на первом курсе и хотел посоветоваться с Шахматовым по поводу своего реферата, он сказал: «Да, да. Я тоже все собираюсь заняться этим вопросом».

Впоследствии, когда многое было пересмотрено, когда

оказалось, что время ниспровергло многих богов литературной науки, Шахматов по-прежнему оставался для Тынянова открывателем нового, ученым, умевшим соединять бесконечно далекие научные понятия и постигающим истину на путях их скрещений. Однажды Тынянов рассказывал мне, как в 1918 году пришел в университет на лекцию Шахматова. В аудитории кроме него было еще два или три студента. Это не остановило профессора, и он начал свою лекцию, как всегда, в назначенный час. Он читал, не замечая времени: электричества не было, стало темнеть, и Тынянов, записывавший каждое слово, вынужден был писать все более и более крупными буквами. Наконец стемнело совсем, короткий зимний день кончился, но лекция продолжалась. Я видел среди бумаг Тынянова эту лекцию, записанную в полной темноте — огромными буквами, по два-три десятка слов на странице.

Да, Тынянов никогда не порывал с лучшими традициями русской науки, но бережно и с любовью отбирал из нее все, что могло помочь новому поколению филологов. Он учился у известного С. А. Венгерова, о грандиозных затеях которого всегда отзывался с глубоким уважением, хотя и предвидел, что они не будут доведены до конца. Вот что он писал в набросках автобиографии, которую я нашел в его архиве: «Венгеров был старый литератор, а не университетский профессор... Этот семинар скорее напоминал литературное общество, чем студенческие занятия. У Венгерова читали обо всем, и он всем интересовался. Руководитель с седой бородой вмешивался в споры, как юноша... Он научил нас работать над документами, рукописями. У него были снимки со всех пушкинских рукописей Румянцевского музея. Он давал их изучать каждому, кто хотел».

Работая в этом семинаре, Тынянов стал заниматься Кюхельбекером, о котором в то время знали только одно — что он был другом Пушкина и что лицейские друзья смеялись над его стихами. Страхов писал Толстому в 1878 году: «У него (Семевского.— *В. К.*) оказалось большое собрание ненапечатанных стихов и прозы Кюхельбекера и его дневник. Куча тетрадей произвела на меня самое привлекательное и грустное впечатление. Но я побоялся труда и времени, которые будет стоить чтение и обдумывание этих рукописей. А ведь Вы хвалили Кюхельбекера?»

Тынянов не побоялся труда и не пожалел времени. Он был первым человеком, который прочитал это собрание

стихов и прозы Кюхельбекера и впоследствии опубликовал их.

«Кюхельбекер трогателен»,— ответил Страхову Толстой. Именно эта «трогательность» Кюхельбекера, его человечность, его неловкое, неуклюжее, но алмазно-чистое стремление к справедливости привлекли внимание Юрия Тынянова к этой тогда полностью забытой фигуре. Он стал изучать Кюхельбекера и изучал его, в сущности, всю жизнь. Он написал о нем большую работу, главы которой читал на заседании пушкинского семинара. В 1918 году эта первая научная работа Тынянова вместе с его бумагами и библиотекой сгорела в Ярославле во время белогвардейского мятежа. Впоследствии он разыскал почти все написанное Кюхельбекером и издал собрание сочинений этого неровного, но интересного поэта. Он написал о нем роман, ставший любимым чтением для детей и взрослых, роман, который один, по мнению Горького, «гасит всю сухую бессильную болтовню не только одного Мережковского».

3

Тынянов стал работать переводчиком во французском отделении Коминтерна, едва только тот был создан. Об этом стоит упомянуть, потому что в то время, когда развертывалась гражданская война, когда почти ни одно учреждение не работало — всюду царил саботаж,— поступление на советскую службу, да еще в Коминтерн, было не случайностью, а поступком.

Мне кажется, что работа в Коминтерне дала ему очень многое. Десятки необыкновенных людей прошли перед его глазами. Он встречался с деятелями международного революционного движения, и я помню, с каким волнением рассказывал он мне о горячих спорах, в которых участвовал Марсель Кашен и другие.

Его первая книга «Достоевский и Гоголь» вышла в 1921 году и посвящена теории пародии. Концепция была основана на историко-литературном открытии: Тынянов доказал, что в «Селе Степанчикове» Достоевский высмеивал, пародировал гоголевские «Выбранные места из переписки с друзьями».

Однако сказать только это — значит почти ничего не сказать. В маленькой книге, не рассчитанной на психологическую задачу, читатель в лице Фомы Опискина видит

как бы живого Гоголя времен «Переписки». Более того: «Характер Гоголя пародирован тем, что взят Гоголь времен «Переписки» и вдвинут в характер неудачника-литератора, приживальщика». В книге Тынянова, без сомнения, сказались характерные черты будущего автора «Кюхли». «Что касается личности Гоголя,— пишет он,— то Достоевский вообще охотно работал над историческим и современным материалом». Не будет преувеличением сказать, что в книге «Гоголь и Достоевский» Тынянов нарисовал характеры того и другого, воспользовавшись историко-литературным материалом. Это касается и нравственной проповеди Опискина — Гоголя: оба ищут «прекрасного человека». «Я хочу любить, любить человека,— кричал Фома,— а мне не дают, запрещают любить, отнимают у меня человека! Дайте, дайте мне человека, чтобы я мог любить его».

«Затронут и вопрос о «прекрасном человеке — идеальной маске у Гоголя,— пишет по этому поводу Тынянов,— и дан обычный ответ Достоевского: прекрасен несовершенный человек...»

С интуицией художника Тынянов умел читать текст, нащупывал в нем внутреннюю, затаенную жизнь. Страницы, по которым равнодушно скользили глаза, открывались перед ним в новом, глубоком значении, становились вдруг ясными, живыми. Подчас не прибегая к свидетельствам современников, он умел находить в литературе картину борьбы направлений, той борьбы за «новое зрение», о которой он впоследствии написал в статье о Хлебникове.

Именно эта борьба за новое зрение была главной темой Тынянова в истории литературы. Ей посвящены его лучшие статьи — «Архаисты и Пушкин», «Пушкин и Тютчев» и многие другие.

Почему-то принято думать, что в Тынянове как бы соединились два человека — исследователь и художник, что в его литературной биографии «художество» спасало его от ложной науки. Это кажется мне глубоко неверным. Художник всегда был очень силен в исследовательских работах Тынянова, а романы его были бы невозможны без того глубокого разреза истории, который он производил умным ножом исследователя. Он не стал бы романистом, если бы не был знатоком истории литературы, мастером исторического изучения, умевшим сопоставлять бесконечно далекие факты и делать из них выводы, неожиданно и блистательно опровергающие готовые представления.

Да, Тынянов был художником, когда, читая Пушкина или Катенина, он на основании едва заметного поэтического пунктира восстанавливал тайную, глубоко запрятанную литературную полемику, сложнейшую историю их отношений. Он умел разгадывать новое не так, как раскрывают шифр, а так, как изучают почерк — с психологической глубиной.

4

В 1923 году Тынянов — уже семейный человек — служил корректором в Госиздате. Он окончил Петроградский университет, был оставлен при кафедре русской литературы, что в те времена равнялось аспирантуре. Но о дальнейшей работе в университете нечего было и думать. В ту пору факультетом еще руководили почтенные, но весьма консервативные люди, для которых история русской литературы кончалась Жуковским и Пушкиным. Тынянова в свою дистиллированную, академическую среду они не пустили бы. Да и не пустили!

Именно тогда и произошла изменившая многое в его судьбе встреча с Корнеем Чуковским. В своих воспоминаниях Чуковский рассказал о том, как был задуман и написан «Кюхля», и я не стану повторять этой известной истории. Добавлю только, что наряду с внешними обстоятельствами, заставившими Тынянова приняться за прозу, были и другие, внутренние. Вот что он писал об этом в своей не опубликованной при жизни автобиографии: «В 1925 году написал роман о Кюхельбекере. Переход от науки к литературе был вовсе не так прост. Многие ученые считали романы и вообще беллетристику халтурой. Моя беллетристика возникла, главным образом, из недовольства историей литературы, которая скользила по общим местам и неясно представляла людей, течения, развитие русской литературы. Такая «вселенская смазь», которую учиняли историки литературы, понижала произведения и старых писателей. Потребность познакомиться с ними поближе и понять глубже — вот чем была для меня беллетристика. Я и теперь думаю, что художественная литература отличается от истории «не выдумкой», а большим, более близким и кровным пониманием людей и событий, большим волнением о них. Никогда писатель не выдумает ничего более прекрасного и сильного, чем прав-

да. «Выдумка» — случайность, которая зависит не от существа дела, а от художника. И вот когда нет случайности, а есть необходимость, начинается роман. Но взгляд должен быть много глубже, догадка и решимость много больше, и тогда приходит последнее в искусстве — ощущение подлинной правды: так могло быть, так, может быть, было».

5

В «Кюхле» Тынянов впервые подошел к историческому документу как художник. «Есть документы парадные, и они врут, как люди,— писал он впоследствии.— У меня нет никакого пиетета к «документу вообще». Человек сослан за вольнодумство на Кавказ и продолжает числиться в Нижнем Новгороде, в Тенгинском полку. Не верьте, дойдите до границы документа, продырявьте его. И не полагайтесь на историков, обрабатывающих материал, пересказывающих его...»

Но самое совершенное знание материала, как известно, не создает еще художественного произведения. В «Кюхле» был создан характер. Писатель и революционер, «пропавший без вести, уничтоженный, осмеянный понаслышке», как писал Тынянов о Кюхельбекере в предисловии к собранию его сочинений, ожил перед нами во всей правде чувств, со всей трогательной чистотой своих надежд и стремлений. «Кюхля» — это роман-биография, но, идя по следам главного героя, мы как бы входим в портретную галерею самых дорогих нашему сердцу людей — Пушкина, Грибоедова, Дельвига, и каждый портрет — а их очень много — нарисован свободно, тонко и смело. Везде чувствуется взгляд самого Кюхельбекера. Подчас кажется, что он сам рассказывает о себе, и чем скромнее звучит этот голос, тем отчетливее вырисовывается перед нами трагедия декабристов. Быть может, именно в этой скромности, незаметности и заключается сила характера, нарисованного Тыняновым.

На последних страницах романа Кюхельбекер показывает жене на сундук с рукописями: «Поезжай в Петербург... это издадут... там помогут... детей определить надо». Этот сундук с рукописями впоследствии действительно попал в Петербург и долго находился в распоряжении одного из сыновей Кюхельбекера. Не знаю, какими путями, но в 1928—1929 годах к рукописям получил доступ некий ан-

тиквар, который, узнав, что Тынянов собирает все написанное Кюхельбекером, стал приносить ему эти бумаги, разумеется, по градации: от менее к более интересным. Тынянов тратил на них почти все, что у него было, и постепенно «сундук» перешел к нему.

Я помню, как в письме поэта Туманского к Кюхельбекеру он нашел несколько слов, написанных рукою Пушкина. Это было торжество из торжеств!

В «Кюхле» Грибоедов нарисован бегло. Но и этот беглый портрет останавливает внимание своим несходством с готовым, сложившимся еще в школьные годы представлением об авторе «Горя от ума». Откуда взялось это представление? Произошло ли оно от скучных предисловий к академическим изданиям «Горя от ума», авторы которых откровенно признавались, что «трудно восстановить духовный облик Грибоедова» (Н. К. Пиксанов), или от понятия «классик», которое всегда было как бы броней непогрешимости, скрывавшей от нас подлинную жизнь? Кто знает? Впоследствии в цитированной выше автобиографии Тынянов писал: «Я стал изучать Грибоедова — я испугался, как его не понимают и как не похоже все, что написано Грибоедовым, на все, что написано о нем историками литературы».

В свое время некоторые критики объявили «Смерть Вазир-Мухтара» мрачной, пессимистической книгой, хотя книга о трудной жизни и страшной смерти Грибоедова едва ли могла быть особенно веселой. Отдавая должное таланту Тынянова, они упрекали его в нарочитой усложненности образа Грибоедова, в субъективистском истолковании истории. На деле же не Тынянов усложнил историю, «а его критики пытались ее упростить»,— справедливо замечает по этому поводу в своей вступительной статье к сочинениям Юрия Тынянова Б. Костелянец.

Широко известна мысль Ленина о трех поколениях, действовавших в русской революции. Под рукой Тынянова она нашла художественное воплощение. В этом смысле «Смерть Вазир-Мухтара» дополняет и объясняет социальную картину декабрьского движения, нарисованную в «Кюхле». Что касается оценки психологической, в которой главную роль играет авторское чувство, определяющее позицию Тынянова-историка, то она в полной мере выражена в предисловии к «Смерти Вазир-Мухтара», где проведена беспощадная грань между людьми двадцатых и тридцатых годов: «Людям двадцатых годов досталась тя-

желая смерть, потому что век умер раньше их... Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из двадцатых годов, у которых перемещалась кровь! Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут».

Это — о страшной жизни Грибоедова, того Грибоедова, который не верит в удачу декабрьского движения и который падает в обморок от ненависти при виде Майбороды, предавшего декабристов.

В «Смерти Вазир-Мухтара» перед нами друг декабристов, отравленный горечью их неудач. Перед нами не хрестоматийный классик, заслуживший вечную благодарность потомства, но автор запрещенной комедии, не увидевшей ни печати, ни сцены. Перед нами Грибоедов, у которого «в словесности большой неуспех». Грибоедов, разговаривающий со своею совестью, как с человеком. О «Горе от ума» в романе говорится мало, и вместе с тем весь роман — это как бы огромный психологический комментарий к гениальной комедии. Все ясно — и причина, по которой она, в сущности, осталась единственным произведением Грибоедова, и тот кажущийся парадоксальным факт, что автор этой комедии, распространявшейся декабристами в целях политической пропаганды, стал полномочным министром — «Вазир-Мухтаром».

С проницательностью тонкого дипломата Тынянов раскрыл интриги английской миссии, направленные против русского влияния в Персии. Кажется очевидным, что эта сторона романа основана на особенно тщательном изучении исторических документов,— стоит только представить себе, какую политическую ответственность брал на себя Тынянов, рисуя деятельность британских резидентов при шахском дворе в Тегеране. Между тем лишь недавно, уже в наши дни, с выходом в свет книги С. В. Шостаковича «Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова» (М., 1960), стало ясно, насколько точна была художественная интуиция Тынянова. «Весною 1828 года, во время пребывания Грибоедова в Петербурге, там «случайно» оказался один из активных противников русского влияния на Среднем Востоке капитан Кемпбелл, секретарь британской миссии в Тавризе». Тынянов, без сомнения, знал об этом. Но он не знал, что «при встрече с Грибоедовым в Петербурге Кемпбелл бросил русскому посланнику весьма недвусмысленное предупреждение: «Берегитесь! Вам не простят Туркманчайского мира!»

«Там, где кончается документ, там я начинаю...— писал Тынянов.— Я чувствую угрызения совести, когда обнаруживаю, что недостаточно далеко зашел за документ или не дошел до него, за его неимением». Именно так, с изумительной интуицией, был угадан Грибоедов-дипломат — фигура, историческое значение которой лишь теперь в полной мере доказано исследованием С. В. Шостаковича.

«И полковник Макдональд проводит вечера напролет, запершись наглухо в кабинете с доктором Макнилем, который спокоен, как всегда» («Смерть Вазир-Мухтара»). Теперь мы знаем, о чем они говорили.

«И, как всегда, доктор Макниль остался в комнате, когда увели маленьких принцев и ушла мать. Вошли, осторожно ступая, три евнуха, как три шахских мысли. Манучехр-Хан... Хосров-Хан... и Мирза-Якуб... Они сидели неподвижно на коврах и разговаривали. Потом доктор Макниль пошел на второй визит к Алаяр-Хану... к Зилли-Султану, сыну шахову, губернатору тегеранскому.

Вот и все, что известно об этих визитах доктора Макниля» («Смерть Вазир-Мухтара»).

Теперь о них известно гораздо больше. Вот что сказано в книге С. В. Шостаковича: «Многотысячная толпа, в полном смысле слова потерявшая всякий человеческий облик; омывшая руки в крови защитников миссии, штурмом берет дворы британского посольства, убивает русских (находившихся там.— *В. К.*), грабит русское имущество в британской миссии и одновременно бережно относится к имуществу, составлявшему британскую собственность... Мыслимо ли вообще представить, чтобы сами обезумевшие фанатики во время резни русских четко отличали бы «дружественное» — британское от «вражеского» — русского, если бы не было среди них подстрекателей и вожаков, надлежащим образом наставленных организаторами разгрома русской миссии. Недаром Макниль писал своей жене в феврале 1829 года: «Я не сомневаюсь, что был бы в Тегеране в такой же безопасности, как и везде».

Мне хочется привести обратный случай в работе Тынянова — когда не отсутствие, а наличие достоверных по видимости документов искажало историческую картину. Работая над «Смертью Вазир-Мухтара», он был поражен историей Самсон-Хана. История эта была разработана известным археологом А. П. Берже, автором многочисленных авторитетных трудов по истории Кавказа. Тынянову

показалось странным, что Самсон-Хан, солдат-дезертир русской армии, в работах Берже показан как дворянин, случайно поступивший на службу к иностранному правительству; во время русско-персидской войны он будто бы отказался от участия в войне и уехал из Тавриза. По Берже получалось, что русский батальон дезертиров не выступил против русской армии. «Я решительно ничего не мог сделать с этой конфетной историей,— рассказывал Тынянов в статье для сборника «Как мы пишем».— И не пробовал. У меня не было под рукой никаких документов, опровергающих Берже, и все-таки я не мог писать вместе с Берже. Мне почему-то представлялся все время какой-то попечитель учебного округа эпохи Александра III, где-то, в какой-то гимназии, уверяющий гимназистов, что «даже закоренелые преступники и те почувствовали раскаяние...». Бахадеран в ханском халате, убивший свою жену, как-то хмурился и не соглашался на свои горячие национальные чувства. Начальник гвардии не может отказаться от военных действий. И как персы позволили бы этому своему генералу пить кофе и шербет, когда их били? Разве из недоверия? Но батальон дезертиров, эти дезертиры, многажды битые и прогнанные сквозь строй — и ненавидящие строй, который их обидел, так-таки «не пожелали», «отказались» и т. д.? Нет. И, сознательно, не имея документов, опровергающих Берже, я написал об участии Самсона и его солдат в битвах с русскими войсками и не чувствовал угрызений совести. А потом, уже после того, как напечатал это, роясь в каких-то второстепенных материалах, наткнулся на краткую записку генерала (кажется, Красовского), в которой тот требовал подмоги, потому что на левом фланге наседают на него русские изменники. А насчет того, что Самсон уезжал из Тавриза во время войны, этот факт подтвердился. Но уехал он из Тавриза — в ставку персидского главнокомандующего Аббаса Мирзы».

Как свободно, хочется отметить, пишет Тынянов о своей работе! С каким изяществом! Можно подумать, что она не стоила ему такого уж большого труда. Но в глазах становится темно, когда вы открываете любую его рукопись с бесчисленными зачеркнутыми, восстановленными и вновь зачеркнутыми вариантами, проверенную беспощадностью историка и великой любовью к русской литературе.

Мы были близкими друзьями и в течение многих лет виделись почти ежедневно. Когда он писал «Кюхлю» и торопился, потому что издательство «Кубуч» заказало ему повесть в два-три печатных листа, а роман перевалил за семнадцать, он попросил меня написать одну из маленьких главок. Я охотно исполнил просьбу. Главка — двадцатая из главы «Побег» — начинается словами: «Из Минска в Слоним, из Слонима в Венгров, из Венгрова в Ливо, из Ливо в Окунев, мимо шумных городишек, еврейских местечек, литовских сел тряслась обитая лубом повозка, запряженная парой лошадей, одной чалой, с белой лысиной на лбу, другой — серой». Только этот зачин Тынянов оставил почти нетронутым, а весь остальной текст основательно переделал. В свою очередь, когда я писал роман «Скандалист», он наметил прощальный издевательский доклад профессора Драгоманова «о рационализации речевого производства».

Тынянов работал неровно — то месяцы молчания, то печатный лист в день. Так, в один день была написана глава о Самсон-Хане в романе «Смерть Вазир-Мухтара».

Но и месяцы его молчания были работой. Почти всегда он переводил Гейне — на службе, на улице, в трамвае.

Работая, он разыгрывал сцены, и так как я знал, *кто* стоит за иными из его героев,— это были сцены современной жизни, хотя действие их происходило в двадцатые годы прошлого века. Он был талантливым имитатором — однажды от имени некоего журналиста заказал Б. М. Эйхенбауму срочную статью для «Известий» по телефону и через полчаса, когда тот уже сидел за столом, позвонил снова и с хохотом отменил предложение. Он писал шуточные стихи, эпиграммы, некоторые из них сохранились в архиве, в «Чукоккале». На серапионовских «годовщинах» читались его шуточные стихи. В одном из них каждая строфа представляет собой беглый, но выразительный рисунок.

Как Ленский, благородно бледен,
На остеклевших рюмок ряд
Глядит стеклянным взором Федин
И забывает Госиздат.

Федин служил в Госиздате (редактируя «Книгу и революцию») и очень уставал.

Не футурист, не акмеист,
Не захвален и не охаян,
Он и в стихах кавалерист —
Наш уважаемый хозяин.

Это — Тихонов, служивший до революции в гусарском полку.

Не заставая меня дома, Тынянов неизменно оставлял шутливую стихотворную записку. Он был человеком расположенным, то есть всегда готовым выслушать, объяснить, помочь в беде,— и железно упрямым во всем, что касалось литературы. Его мягкость, уступчивость, нерешительность на литературу не распространялись. В литературных кругах его мнение считалось золотым, неоспоримым. Когда был организован Союз писателей и мы получили подписанные Горьким билеты, Тынянову был вручен билет номер один — факт незначительный, но характерный.

Отмечая годовщину со дня смерти Льва Лунца, Тынянов написал покойному другу письмо о друзьях, о литературе: «...Вы, с вашим умением понимать людей и книги, знали, что литературная культура весела и легка, что она не «традиция», не приличие, а понимание и умение делать вещи нужные и веселые. Это потому, что Вы были настоящий литератор, много знали, мой дорогой, мой легкий друг, и в первую очередь знали, что «классики» — это книги в переплетах и в книжном шкафу и что они не всегда были классиками, а книжный шкаф существовал раньше них. Вы знали секрет, как ломать книжные шкафы и срывать переплеты. Это было веселое дело, и каждый раз культура оказывалась менее «культурной», чем любой самоучка, менее традиционной и, главное, гораздо более веселой...»

7

Если бы я был историком литературы, я бы непременно занялся отношениями между Тыняновым и Маяковским, который лучше чем кто бы то ни было умел «срывать переплеты и ломать книжные шкафы». Маяковский, встретившись с ним после выхода «Кюхли», сказал: «Ну, Тынянов, поговорим, как держава с державой». Тынянов писал о Маяковском как о великом поэте, возобновившем грандиозный образ, утерянный со времен Державина, чувствующем «подземные толчки истории, потому что и сам

когда-то был таким толчком». Это ничуть не мешало ему шутить над «производственной атмосферой» Лефа. В его бумагах сохранился «Сон» — острый и одновременно добродушный шарж на редакционные совещания в Лефе.

Мне снился сон, что я сотрудник Лефа и что Владимир Владимирович Маяковский спросил меня басом:

— Это вы — Тынянов, который, кажется, пишет исторические романы?

— Я...— ответил я трусовато.

— Что же вы — маленький или, может, вы позабыли, что мы в 1924 году с Чужаком обнародовали, что этого не должно быть? — спросил несколько сурово Владимир Владимирович.

— Я позабыл,— ответил я как можно простодушнее, все еще желая, чтоб меня похвалили.

Я действительно как-то позабыл о Чужаке.

— Загоскин, Мордовцев и Толстой тоже писали исторические романы,— сказал Владимир Владимирович, жуя папиросу.— Ничего нового. Садитесь, пейте чай.

Я сел на стул, но Владимир Владимирович легонько меня одернул:

— Не сюда. Это Брик.

Клянусь, никого на стуле не было.

«Ах, так вот он, Брик, вот как он выглядит»,— подумал я, ошарашенный. Вот тебе и стул.

— Товарищи,— сказал Владимир Владимирович,— я долго вас слушал. Теперь мое слово. Никакой литературы. Согласны?

— Согласны,— сказала стриженная, как мальчик, барышня.

— Идите в газету.

Я почувствовал беспокойство. В какую? Я написал десять листов. Молчать нужно.

— В какую,— пискнул я,— идти?

— Да не в какую, а вообще — газета,— сказала мне терпеливо барышня, похожая на мальчика.

— Тынянов, вы печатались в газете? — спросил меня Виталий Жемчужный.

— Иногда. Статьи. Объявления,— сказал я беззвучно.

— Объявления — это же Моссельпром,— сказал мне Виталий Жемчужный.— Вы совсем начинающий. Молодняк.

Он слегка потрепал меня по плечу.

Вдруг один еще совсем молодой мальчик, к удивлению моему, возразил:

— Мы уже были. Не пускают. Говорят: не нужно.

— Как это не нужно? — сказал Виталий Жемчужный.— Это же социальный заказ.

— Они говорят, что мы не умеем.

Все засмеялись. Я тоже хохотнул не без сарказма (может, простят роман?).

— Тогда пишите путешествия, как Витя,— сказал Владимир Владимирович.

— Но ведь, кажется, Карамзин уже...— вдруг пискнул я. Это у меня сорвалось. Барышня на меня посмотрела так, что я заерзал на стуле...

Но мальчик опять смело возразил:

— А если мне билета не на что купить?

Это был молодняк. Я посмотрел на него во все глаза и приободрился.

— Да, как с билетом? — спросил я смело.

— Кирсанов,— сказал ему Владимир Владимирович,— сиди у себя на Варварке и описывай ее. У тебя получится Париж. Родченко же описал.

— Товарищи,— сказала барышня,— получен социальный заказ из типографии: править корректуры прозой.

— Я вам слова не предоставил,— сказал Владимир Владимирович.— Пейте чай, если вы сотрудник. Когда в 1926 году мы вели борьбу с Полонским, мы решили: дисциплина на заседаниях. Пейте чай. Я сейчас буду читать новые стихи.

— Но ведь, кажется, Пушкин уже писал стихи? — пролепетал я, думая о том, что все-таки мое дело пропало. Да и молодняком быть не так сладко.

— Если бы жил Пушкин, мы бы его пригласили сотрудником в Леф,— сурово ответил мне мой друг, Виктор Шкловский.

Я сразу почувствовал, что Пушкина приплел не к месту.

— То-ва-ри-щи,— покрыл нас басом Владимир Владимирович.— Я читаю стихи. Сначала идут условия, потом официальный отдел. О найме квартир прочтет Николай Николаевич. Это сначала, а потом...

Я сидел, слушая новые стихи Владимира Владимировича и думал: что было бы с Пушкиным, если б старик вдруг отказался от сотрудничества в Лефе? Николай Асеев написал бы тогда «Путеводитель по Пушкину». Пушкин бы запил. Брошу я к чертовой матери романы! И я сильно захлопал, потому что Владимир Владимирович кончил официальный отдел. Потом Владимир Владимирович прочитал о Пушкине, потом о Лермонтове. Это были стихи.

Тут я испугался и задом — в переднюю.

По дороге задел этажерку и извинился.

Может быть, Брик?

Подчас казалось странным: откуда взялось такое тонкое постижение человеческой души во всех ее малейших изгибах у человека, жившего, в сущности говоря, комнатной жизнью? Болезнь рано ограничила возможности его поездок, да и самые поездки были связаны с попытками устоять против тяжкой болезни, которая терзала его много лет и свела наконец в могилу.

Но контраст между малым жизненным опытом и психологической глубиной его книг — только видимый, кажущийся. Это был человек, который умел из наблюдений, подчас совершенно ничтожных, делать неожиданные, далекие выводы. Тифлис в «Смерти Вазир-Мухтара» написан по историческим материалам, но когда Тынянов приехал в Тифлис в 1927 году, перед его глазами открылся тот город, который он выстроил в своем воображении. Как известно, Кювье восстанавливал скелет доисторического животного по одной его кости. Так для Тынянова достаточно было одной подробности, чтобы восстановить весь строй — исторический, этнографический, лексический,— к которому она относилась.

Меня поражало то богатство ассоциаций, то сопоставление бесконечно далеких подробностей, явлений, идей, которое было характерным для его таланта и которое помогло ему, не выходя из кабинета, широко и смело рисовать картины жизни петровского времени, двадцатых и тридцатых годов прошлого века.

И еще одна черта, равно характерная для него как писателя и человека: он умел слышать тот «шум времени», который доступен лишь деятелю, ясно представляющему себе движение истории, ход и столкновение исторических величин.

Не следует думать, что Тынянов был погружен в исторические изучения и лишь там находил источники своего вдохновения. Сила его как раз и заключалась в том, что это был человек глубоко современный, превосходно понимавший мировое значение новой полосы в истории России. Нет никаких сомнений в том, что произведения его не могли быть созданы в другое время. Исторические судьбы страны волновали его всю жизнь, и это волнение пронизывает его книги, написанные о далеких временах и тем не менее глубоко современные. «Ощущение нашей страны, как страны великой, сохраняющей старые ценности и со-

здающей новые,— главный двигатель работы и историка литературы, и исторического романиста»,— писал Тынянов.

Мне еще не удалось установить, было ли опубликовано интервью Тынянова о своей работе, относящееся, по-видимому, к 1938 году. Вот что говорил он о необходимости борьбы литературы с фашизмом:

«Фашизм должен быть разоблачен с начала до конца, во всех его проявлениях и теориях. В частности, писатель, работающий на историческом материале, должен разоблачить пышную, но лживую генеалогию фашизма, которой он, как истый выскочка, затыкает дыры своего мещанского происхождения. Их предки — не Вотан и не варвары, не Цезарь и не Помпей, а убогие погромщики и позором покрытые колониальные авантюристы XIX века.

Не древнего происхождения сжигание книг на костре: это проделал в 1817 году старонемецкий дурень Ян в Вартбурге; даже книжки остались, в сущности, те же: он жег книги Иммермана, друга Гейне, теперь жгут самого Гейне.

Ветеринарные домыслы, полицейская философия и фантастическая генеалогия должны оправдать разбой неслыханного размера.

Долг писателя — разрушить до основания это убогое сооружение. Писатели должны быть готовы сменить оружие пера на оружие в буквальном смысле.

Среди западных писателей есть некоторые, напоминающие салтыковский персонаж Дю-Шарио, который «начал объяснять права человека и кончил объяснением прав Бурбонов». Борьба должна вестись и против этих пособников фашизма, будь то пособники по слабости, или по отсутствию воли, или из жажды самосохранения».

Сила исторической прозы в том, что она нужна своему времени, связана с ним и является его отражением. Почему в годы Великой Отечественной войны вся страна кинулась читать «Войну и мир»? Потому, что в этой книге написано не только о том, как мы победили, но кто — мы и почему мы снова непременно должны победить. Так, читая романы Тынянова, мы — русские середины XX века — видим себя со всеми нашими радостями и печалями, надеждами и размахом.

Кто не знает рассказ «Подпоручик Киже», обошедший весь мир, переведенный на множество языков, рассказ о том, как ошибка писаря, нечаянно написавшего вместо «подпоручики же» — «подпоручик Киже»,— послужила поводом для создания мнимого человека? В машине павловского государства с ее канонизированными законами существования достаточно описки, чтобы из нее вышла андерсеновская тень, которая растет, делает карьеру, занимает все большее место в сознании и наконец распоряжается судьбами беспрекословно послушных мертвому ритуалу людей.

Параллельно Тынянов рассказал историю поручика Синюхаева, который благодаря другой, прямо противоположной, ошибке выбыл из числа живых и был записан мертвым. Нигде не перекрещиваясь, не переплетаясь, две истории ведут читателя в самую глубину той мысли, что для мертвой правильности канцелярского мышления не нужен и даже опасен живой человек.

Этот рассказ, написанный с лаконичностью латинской прозы, в тридцатых годах был единодушно признан значительным явлением в нашей литературе.

Подпоручик Киже стал именем нарицательным, стал символом холодного, равнодушно-казенного отношения к жизни. Это имя и до сих пор можно встретить в сатирической заметке, в публицистической статье, направленной против бюрократизма. Но значение рассказа глубже. В упоминавшемся наброске автобиографии Тынянов писал: «После романа о Грибоедове я написал несколько рассказов. Для меня это были в собственном смысле рассказы: есть вещи, которые именно рассказываешь как нечто занимательное, иногда смешное. Я работал тогда в кино, а там так начинался каждый фильм и так находились детали». Это замечание относится, мне кажется, к рассказу «Малолетний Витушишников». Как и в «Подпоручике Киже», Тынянов из множества больших и малых событий, составляющих жизнь огромной страны, выбирает в этом рассказе самое малое: на этот раз «государственное потрясение» в России Николая Первого возникает и молниеносно развивается по той причине, что фрейлина Нелидова «отлучила императора от ложа». Но и это незаметное, ничтожное, замкнутое событие оказывается тесно связанным с другими, все более крупными, доходящими

наконец до «исторической катастрофы». Так стройно работающий «электрикомагнетический аппарат» николаевской эпохи открывается во всей своей мнимой значительности и ложном величии.

Исторические рассказы Юрия Тынянова проникнуты иронией — по видимости добродушной, а на деле язвительной и горькой. Я бы сказал,— быть может, это покажется странным,— что в них есть нечто чаплинское: то соединение гротеска и трагедии, обыденного и невероятного, смешного и печального, та бессмысленность существования, против которой не только трудно, но опасно бороться.

10

Повесть «Восковая персона» стоит несколько в стороне от других произведений Тынянова, хотя нисколько не уступает им ни в конкретности исторического воображения, ни в силе, с которой нарисованы деятели петровского государства. Она порою трудна для чтения: она написана как бы от имени человека петровского времени, когда в русский язык ворвалось множество иностранных слов, подчас в неожиданных и причудливых сочетаниях. Это были слова, еще как бы неловко и неуверенно чувствовавшие себя в чужом языке и вместе с тем необычайно резко окрашивавшие разговорную речь того времени. Нужно было глубоко проникнуть в лексику петровской эпохи, чтобы воспроизвести ее на страницах «Восковой персоны».

Но стилистическая новизна и острота этой повести заключается не только в том, что в ней воспроизведен язык петровской эпохи. Эти языковые средства помогли Тынянову создать характеры, поразительные по своей точности. Таков Меншиков с его потерей представления о том, что его окружает, с его страхом перед огромностью того, что находится под его неограниченной властью, с его любовью к «даче», то есть к взятке, которая мила ему именно своей конкретностью, определенностью, ощутимостью. Такова Екатерина, так и оставшаяся деревенской девкой, погруженная в мир поразительно ничтожных интересов. Таков, наконец, сам Петр, умирающий в одиночестве на своем холодном ложе, вокруг которого с каждым часом образуется пустота, простирающаяся далеко, граничащая с крушением всего, что он сделал, доходящая до тех преде-

лов, которые он некогда завоевал с «великим тщанием и радением».

Нельзя не согласиться с Б. Костелянцем, который считает, что в этой повести Тынянов «отвергает идею, будто народ живет вне истории». С более глубокой позиции, завоеванной советской литературой в ходе своего развития, он видит взаимосвязь между тем, что творится на «авансцене» истории и на ее «задворках». На «авансцене» истории идет «неслыханный скандал», идет «ручная и ножная драка» между Меншиковым и Ягужинским, первыми людьми государства. А на «задворках», в народных низах, рождаются силы, которые стремятся уйти и уходят из-под власти феодально-бюрократической государственности.

«Восковая персона» проникнута ужасом перед тем полным уничтожением человеческого достоинства, которое заставляло брата доносить на брата, которое в самом предательстве находило счастье, восторг, самоупоение. В повести рассказана история двух братьев — Якова, одного из «монстров и натуралий» петровской кунсткамеры, и Михаила, «солдата Балка полка», каждая мысль которого определена сознанием того, что он — не кто иной, как солдат этого давным-давно не существующего «Балка полка».

Солдат «Балка полка» доносит на мать, обоих пытают, потом отпускают, изуродованных, и «они пришли, каждый своей дорогой, к своему погосту, и у погоста встретились, и, не глядя друг на друга, пошли к дому...».

Повесть называется «Восковая персона» потому, что после смерти Петра художник Растрелли создает его восковое подобие. Фигура встает, когда к ней приближаются, и поднимает руку. И одним кажется, что покойный император приветствует их, а другим, что он гневно указывает на дверь. Фетиш создается, чтобы продолжал действовать страх, который был сильнейшим оружием петровского государства. Восковой император властвует над разрушающимся хаосом его великих дел до тех пор, пока его не ссылают в кунсткамеру, к другим «монстрам и раритетам».

11

Неоднократно печаталось письмо Горького к Тынянову в связи с выходом «Смерти Вазир-Мухтара». Не знаю, можно ли выразить с большей силой признание таланта

исторического романиста, чем это сделал Горький, оценивая портрет Грибоедова: «Должно быть, он таков и был. А если и не был — теперь будет». Эти слова определяют, в сущности, основную задачу самого жанра исторической прозы.

Я был у Горького вместе с Тыняновым, кажется, в 1931 году. Шел разговор о создании «Библиотеки поэта», а в сущности — о генеральном смотре всей русской поэзии. Можно смело назвать Тынянова рядом с Горьким в этом огромном, еще продолжающемся деле. Но они говорили и о другом. Горький знал, что в двадцатых годах Тынянов работал в кинематографии, и уговаривал его вернуться к этому делу.

12

Начиная «Пушкина», Тынянов думал, что этой книгой будет закончена трилогия — Кюхельбекер, Грибоедов, Пушкин. К новой книге он приступал издалека, настороженно, неторопливо. Но не огромность задачи смущала его. Он в полной мере сознавал всю ответственность, ложившуюся на плечи писателя, который осмеливается создать роман, охватывающий всю жизнь Пушкина,— *роман,* в то время как у нас еще и до сих пор нет историко-литературной монографии, решившей эту задачу.

«Эта книга — не биография,— писал Тынянов в черновике предисловия, сохранившегося в его архиве.— Читатель напрасно стал бы искать в ней точной передачи фактов, точной хронологии, пересказа научной литературы. Это — не дело романиста, а обязанность пушкиноведов. Отгадка часто заменяет в романе хронику происшествий — с той свободой, которой издавна, по старинному праву, пользуются романисты. Научная биография этим романом не подменяется и не отменяется. Я бы хотел в этой книге приблизиться к художественной правде о прошлом, которая всегда является целью исторического романиста».

В интервью, которое я цитировал выше, задача определена еще точнее: «Свой роман я задумал не как «романизованную биографию», а как эпос о рождении, развитии, гибели национального поэта. Я не отделяю в романе жизни героя от его творчества и не отделяю его творчества от истории его страны».

В первых вариантах роман начинался с Абиссинии, с

предков Пушкина, с петровского арапчонка. Тынянову показалось, что эти главы не удались, и работа была отложена надолго. Он вернулся к своему замыслу лишь через год, решив идти вслед за пушкинским планом автобиографии, который относится к 1830 году и публикуется обычно под названием «Программа записок». Эта «Программа» вся помещается на одном листочке и представляет собой настолько краткий перечень событий жизни Пушкина, что некоторые параграфы оставались для исследователей загадкой. «Программа», как известно, доведена лишь до 1815 года.

Нужно было любить и понимать Пушкина, как любил и понимал его Тынянов, чтобы расшифровать эти загадки, эти начатые и брошенные фразы, эти фамилии, которые можно прочесть так или иначе. «Мои неприятные воспоминания»,— пишет Пушкин. Какие воспоминания? О чем? «Нестерпимое состояние»,— пишет он. Чем оно вызвано? Как его объяснить? Тынянов заново прочел этот маленький текст и положил его в основу первой части своего романа. Так, из строчки: «Юсупов сад.— Землетрясение.— Няня.» — вышла удивительная по своей силе глава, в которой угаданы первые движения души маленького Пушкина, те движения, в которых уже виден будущий гениальный поэт.

Случилось, что самое глубокое знание материала все-таки не давало Тынянову возможности нарисовать историческую картину со всей полнотой. «Представление о том, что вся жизнь документирована,— ни на чем не основано: бывают годы без документов. Кроме того, есть такие документы: регистрируется состояние здоровья жены и детей, а сам человек отсутствует. И потом сам человек — сколько он скрывает, как иногда похожи его письма на торопливые отписки! Человек не говорит главного, а за тем, что он сам считает главным, есть еще более главное. Ну, и приходится обходиться самыми малыми документами. Важные вещи проявляются иногда в мимолетных и не очень внушительных формах. Даже большие движения — чем они сначала проявляются на поверхности? Там, на глубине, меняются отношения, а на поверхности — рябь или даже — все, как было» (сборник «Как мы пишем»). Так, опираясь на ничтожные данные, на то, что можно назвать лишь тенью поступка, мысли, чувства, он угадывал главное и строил на нем свое повествование.

Такой «тенью» была любовь Пушкина «к неизвестной»,

любовь «необычайная по силе, длительности, влиянию на всю жизнь, им самим не названная» (Ю. Тынянов). Многие исследователи (Гершензон, Щеголев) пытались угадать имя женщины, которую тайно и безнадежно любил Пушкин. Назывались имена Голицыной, Раевской. Прочтя по-своему лицейские элегии, сопоставив рассказы, записанные Бартеневым, изучив отношения Пушкина и Карамзина, Тынянов пришел к выводу, что этой любовью Пушкина была Екатерина Андреевна Карамзина. Он высказал гипотезу, что к ней относится посвящение «Полтавы», что создание «Бахчисарайского фонтана» связано с воспоминанием о Карамзиной, с ее рассказом. Он объяснил их последнее свидание, когда за час до смерти Пушкин позвал Карамзину, когда, прощаясь, она перекрестила его издалека, а он сказал: «Подойдите ближе и перекрестите хорошенько». И лишь окончательно убедившись в своей правоте, Тынянов стал писать об утаенной любви, прошедшей через всю жизнь Пушкина, от лицея до смерти.

В архиве С. М. Эйзенштейна нашлось его письмо Тынянову — глубокое и оставшееся новым — в понимании цвета, который был бы не «раскраской, а внутри-необходимым драматическим фактором» в кинематографии: «Дорогой и несравненный Юрий! С громадным удовольствием прочел, сидя в доме отдыха в горах на китайской границе, Вашего «Пушкина». В свое время меня в полный восторг привела Ваша гипотеза, изложенная в «Безымянной любви», и развитие этой темы здесь не менее увлекательно» (рукопись).

Пораженный догадкой Тынянова, Эйзенштейн решил поставить фильм, посвященный Пушкину и его утаенной любви. В письме с необычайной отчетливостью раскрыта живописная гамма будущей картины: «Петербург последнего периода с выпадающим цветовым спектром, постепенно заглатываемый мраком. В темном кадре лишь одно, два цветовых пятна. Зеленое сукно игрального стола, желтые свечи ночных приемов Голицыной... И полный тон концовки с гробом, увлекаемым в ночь... Игра цветовых и музыкальных лейтмотивов вырастала сама собой. Не хватало для сценария главного лейтмотива, что для фильма такого «персонального» типа просто необходимо... И тут дружеская рука указывает мне на Вашу «Безымянную любовь». Вот, конечно, тема. Ключ ко всему (и вовсе не только сценарно-композиционный). И перед глазами сразу же все, что надо...Так или иначе (если Вас не отпугивает

тон и соображения моего к Вам послания), очень прошу «считать Вашего «Пушкина» в изложенном разрезе сценария за мной».

Думаю, что Тынянов с радостью согласился бы работать с Эйзенштейном, и можно не сомневаться в том, что роман о Пушкине нашел бы глубокое воплощение. Но письмо не было отправлено. Оно заканчивается припиской (от 4 января 1944 года): «Узнал, что Тынянов — умер. Письмо не отправил. Переделаю в статью: «Запоздавшее письмо».

В предвоенные годы мы виделись очень часто, почти каждый день. Я приходил к нему, мы шли гулять. Но неделя за неделей все короче становились наши прогулки: до Сенатской площади (он жил на улице Плеханова), до Адмиралтейства, до Казанского собора, до садика с воронихинской решеткой. Перед войной он уже с трудом спускался с лестницы, и случалось, что, постояв во дворе, мы возвращались обратно.

Тяжелая болезнь — рассеянный склероз, против которого до сих пор не найдено средства,— не лишила его душевной бодрости, энергии, живого интереса ко всему, что происходило в стране, в литературе. Он принимал участие в литературных делах ленинградских писателей, и мнение его считалось золотым, неоспоримым.

Незадолго до войны ленинградские писатели устроили торжественный вечер, о котором стоит упомянуть, потому что это был, в сущности, единственный вечер, когда признание Тынянова выразилось с запомнившейся силой.

Он был строго требователен в вопросах литературных и никогда не боялся такой же строгой требовательности по отношению к себе. Любовь его к русской литературе была любовью к родине — этой мыслью было проникнуто все, что говорилось в тот вечер. И можно смело сказать, что вся его трудная, полная страданий жизнь была проникнута этим высоким чувством.

Во время войны, в тяжелых условиях эвакуации, он дрожащей рукой писал третью часть своего последнего романа. Он знал, что умирает, но ему хотелось, чтобы в этой третьей части юность Пушкина была рассказана до конца.

...Пушкина высылают. Белой ночью, которая яснее, чем день, он прощается с Петербургом, как с живым челове-

ком. «Его высылали. Куда? В русскую землю. Он еще не видел ее всю, не знал. Теперь увидит, узнает. И начиналось не с северных медленных равнин, нет — с юга, с места страстей, преступлений. Голицын хотел его выслать в Испанию. Выгнать. Где больше страстей? Он увидит родину, страну страстей. Что за высылка! Его словно хотят насильно завербовать в преступники. Добро же! Он уезжал. Вернется ли? Застанет ли кого? Или повернет история? Она так быстра». И дальше: «Он знал и любил далекие страны как русский. А здесь он с глазу на глаз, лбом ко лбу столкнулся с родною державой и видел, что самое чудесное, самое невероятное, никем не знаемое — все она, родная земля...»

Прощаясь с жизнью, писал Юрий Тынянов прощанье Пушкина с юностью. Но мужеством проникнуто каждое слово: «Выше голову, ровней дыханье. Жизнь идет, как стихи». Это было написано, когда все ниже клонилась голова, все чаще прерывалось дыхание...

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?

1

...В докладе была раздражающая методичность, отзывы библиотекарей читались от строчки до строчки, спорная мысль о том, что нельзя ставить знак равенства между «читательским» и «социальным» заказом, повторялась слишком часто — и первый же оппонент ворвался в тщательно построенное здание доклада с заднего хода.

Первый оппонент. Что такое успех, спрашиваете вы? Какой — подлинный или мнимый? Мнимый успех выпадает на долю произведений, написанных с мнимой значительностью. Не помню где, кажется в диккенсовском «Оливере Твисте», мне запомнилась сцена обучения молодого вора, который из костюма, увешанного колокольчиками, должен был так бесшумно вытащить кошелек, чтобы не зазвенел ни один колокольчик. Успех «Зависти» Юрия Олеши основан на том, что, при всей видимости глубины, ему удалось обойти самые острые вопросы современности. Ни один колокольчик не звенит, а кошелек украден. Попытка докладчика разделить читателей на социальные группы — бесполезна потому, что после революции в сознании читателя произошел глубокий сдвиг и началась

быстрая, еще никем не исследованная кристаллизация вкуса.

Любопытнее было бы представить себе не градацию читателя, а градацию успеха:

1) Успех, основанный на расчете писателя, причем этот расчет часто не достигает цели.

2) Успех мгновенный, случайный, непроизвольный, никому не ведомый, литератор наутро просыпается знаменитым.

3) Успех медленный, набирающий силу с годами.

Последний характерен тем, что он не только далек от любого расчета, но возникает естественно, как явление природы. Таков успех Библии или Евангелия, возникший задолго до книгопечатания. Успех этих книг обусловлен тем, что они, в сущности, направлены против самой идеи успеха, как явления, происходящего в пределах времени и пространства. Подобные произведения как бы записывают самое время — и уже тем самым от него не зависят. Любопытно, что самоповторение не мешает относительному успеху церковной службы, представляющей собой сложное театрально-литературное представление. Подобный спектакль напоминает колыбельную, повторяющуюся в течение столетий. Очевидно, оставляя в стороне интеллект, он обращается непосредственно к подсознанию.

Второй оппонент. Какие же свойства обеспечивают книге долгую жизнь? Занимательный сюжет? Злободневность, ощущенье связи с сегодняшним днем? Замечали ли вы, что в состязании перед лицом времени неизменно выигрывают те писатели, которые не только «рисуют», но еще и «сообщают»? Успех основан на «сообщении», на перечне фактов, расположенных таким образом, чтобы последующий был связан с предшествующим не прямо, а по контрасту или, на первый взгляд, не связан совсем. Во все времена именно это подхлестывало интерес читателя, заставляя его переворачивать страницы. В основе успеха всегда лежала «история», подлинная или выдуманная,— это не существенно. Скорее подлинная, потому что чаще всего именно в подлинной истории есть оттенок сплетни, а всякий читатель — немного сплетник, и ему почти всегда хочется узнать, что делается в доме соседа, даже если этот сосед находится бесконечно далеко от него во времени и пространстве.

Третий оппонент. Читатель ищет себя — вот в чем сущность вопроса. Успех обеспечен, когда у него воз-

никает естественный, живой повод сравнить себя с героями книги. Именно в этом смысле читатель определяет многое — язык, который должен быть правдив и точен, сюжет, который должен развиваться, захватывая все больший круг явлений, тему, которая должна быть связана с определяющим мировоззрением эпохи. Именно в этом смысле надо понимать выражение: «социальный заказ». Я не хочу сказать, что под вкус читателя надо подлаживаться. Напротив! Писатель не должен жертвовать своим правом на «новое» в литературе, тем более что читательский вкус подчас наводит на грустные размышления. В том значении, которое ему стали с некоторых пор придавать, таятся, кстати сказать, неутешительные предзнаменования.

В газете «Читатель и писатель» (или, в просторечии, «Чип») читатель смотрится в писателя, как в зеркало, и недоволен потому, что даже в зеркале — не говоря уже о фотографии — читателю хочется видеть себя красивее, умнее и смелее, чем в жизни.

Руководитель. Прежде всего несколько частных замечаний: нельзя отказать в остроумии оппоненту, сославшемуся на сцену обучения молодого вора, но к «Зависти» Ю. Олеши она не имеет ни малейшего отношения. Олеша не обходит современность, напротив, он обводит ее контурной, резкой чертой. Он с такой отчетливостью видит вещественный мир, что предметы, реквизит его повести, слагаясь, производят почти стереоскопическое впечатление.

Открытие Олеши состоит в том, что не реальная жизнь, а сон, притворившийся реальностью, заставляет нас задуматься над проповедью Ивана Бабичева, строителя машины «Офелия», таскающего с собой подушку и мечтающего устроить «последний парад умирающих чувств». Мне кажется, что эта книга связана — прежде всего в жанровом отношении — с творчеством Честертона, для которого люди не существуют вне идей, хотя бы микроскопически малых.

Многое в «Зависти» ведет к Честертону. Парадоксальность, от которой один шаг к инфантилизму,— так написан Кавалеров. Вещи — символы: подушка, сосиска. Герои, размышляющие вслух и придающие форму проповеди произнесенным наедине с собой размышлениям.

Но есть и заметные черты несходства с Честертоном — и они, к сожалению, не украшают повесть. Честертон не стал бы писать Володю Макарова, придуманного вполне целесообразно, но похожего на «живой», реальный стул,

вставленный в условное пространство киноэкрана. Герои Честертона или равно условны, или равно реальны.

Так или иначе, успех повести нельзя назвать случайным. Окажется ли он длительным или книга будет вскоре забыта? Заключены ли в ней те магические свойства, которые нейтрализуют время? Кто знает? Меня приятно обрадовал размах одного из оппонентов: от Библии до Юрия Олеши. Успех—это вторая жизнь книги, когда в ее истории начинает играть существенную роль новое действующее лицо — читатель. Предложенная градация успеха — несостоятельна, во-первых, потому, что расчет всегда присутствует в сознании автора, даже в тех редких случаях, когда он пытается намеренно уйти от него, меняя псевдонимы. А во-вторых, успех и время всегда стоят рядом. Библия или церковная служба как раз и представляют собой пример высшего расчета, которым не худо было бы воспользоваться некоторым современным писателям. К сожалению, наблюдается обратная картина. Успех любой современной книги — от Эренбурга до Пантелеймона Романова — напоминает известную игру в «блинчики». Мальчишки бросают с берега камешки над водой, и выигрывает тот, у которого «блинчики» летят дальше других. Но выигрывает ли? Едва ли. Не потому ли камешки летят дальше других, что они — плоски, и не заключается ли все искусство в том, что, запущенные с силой, они почти не задевают поверхности воды?

2

Это была одна из самых оживленных дискуссий,— и слушатели, и руководитель в равной мере мечтали о славе. Но значение успеха в жизни писателя осталось неясным, может быть потому, что изучение этого вопроса является делом социологии, а не истории литературы. «Литература — это то место, на котором ты стоишь, утверждая, что именно оно-то и является литературой,— сказал мне Виктор Шкловский, заглянувший случайно на одно из занятий нашего семинара. И добавил, подумав: — А интересно, все-таки, какие из вас вырастут баобабы?»

Речь шла, разумеется, о невозможности для подлинного художника стать другим — той невозможности, в результате которой Ван Гогу удалось продать только одну картину. Наша дискуссия много выиграла бы, если бы мы

задумались над значением не успеха, а неудачи, ничего не меняющей в жизни художника. Это было бы по меньшей мере поучительно для будущих писателей, среди которых многие — добрая половина — надеялись однажды проснуться знаменитыми.

Примеров обратного влияния, когда успех, вторгаясь в работу писателя, перестраивает ее по-своему,— бесчисленное множество, и, может быть, для нашего времени они особенно характерны. Прославившееся произведение заставляет прислушиваться к себе, как к камертону, начинается самоповторение, и писатель, найдя свое место, упорно стоит на нем, вместо того чтобы идти в новом, еще неизведанном направлении. Здесь бесценная роль должна принадлежать критику. Понятие «новое зрение» переходит к нему.

В истории нашей литературы были случаи, когда одна критическая статья гасила славу, охватившую всю читающую Россию. Так вспыхнул и погас Бенедиктов. Его поэзию высоко ценили Жуковский, Вяземский, Тютчев. О его замечательном даровании писали Плетнев, Краевский, Сенковский. «Декабрист Николай Бестужев в 1836 году писал из Сибири: «Каков Бенедиктов? У него, к счастью нашей настоящей литературы, мыслей побольше, нежели у Пушкина, а стихи звучат так же». А И. С. Тургенев признавался впоследствии Толстому: «Кстати, знаете ли вы, что я целовал имя Марлинского на обертке журнала, плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова и пришел в ужасное негодование, услыхав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку?» [1]

Эта дерзость решила литературную судьбу писателя. Сила приговора была не только в том, что он был произнесен спокойным голосом, вежливо, умело и беспощадно. Белинский дал формулу органического сродства между поэзией Бенедиктова и социальными условиями его успеха: «...поэзия г. Бенедиктова не поэзия природы, или истории, или народа,— а поэзия средних кружков бюрократического народонаселения Петербурга. Она вполне выразила их, с их любовью и любезностию, с их похвалами и светскостию, с их чувствами и понятиями, словом, со всеми их особенностями, и выразила простодушно-восторженно, без всякой иронии, без всякой скрытой мысли...» [2]

---

[1] Цит. по предисловию: Л. Я. Гинзбург. Бенедиктов. Большая серия «Библиотеки поэта». Л., «Советский писатель», 1939, с. V.

[2] Там же, с. VI.

Белинский остановил успех — остановилась и поэзия Бенедиктова. Она была *названа* и в подлинной литературе, которая не терпит пустоты, больше жить не могла.

Есть другие истории успеха, поразительные, потому что они касаются гениальных произведений.

Такова, например, история «Анны Карениной», которая была встречена, как известно, весьма холодно и даже враждебно. Известна язвительная эпиграмма, приписывавшаяся Некрасову и не противоречащая его холодному отзыву в письме к Достоевскому:

Толстой, ты доказал с терпеньем и талантом,
Что женщине не следует «гулять»
Ни с камер-юнкером, ни с флигель-адъютантом,
Когда она жена и мать [1].

Тургенев, с нетерпением ожидавший появления «Анны Карениной», был глубоко разочарован. «Что будет дальше,— писал он о первых главах,— не знаю, пока это и манерно и мелко, и даже (страшно сказать!) скучно». Мнение Тургенева не изменилось после чтения второй и третьей частей: «Роман Л. Н. Толстого обманул ожидания, если не публики, так мои...» «Как ни велик талант Л. Толстого, а не выбраться ему из московского болота, куда он влез. Православие, дворянство, славянофильство, сплетни, Арбат, Катков, Антонина Блудова, невежество, самозванство, барские привычки, офицерство, вражда ко всему чужому, кислые щи и отсутствие мыла — хаос, одним словом! И в этом хаосе должен погибать такой одаренный человек».

Хотя при дальнейшем чтении некоторые страницы признавались «бессмертными», «первоклассными» и резкость оценки смягчилась, Тургенев в целом все же остался недоволен романом [2].

М. Е. Салтыков-Щедрин назвал «Анну Каренину» «коровьим романом» и собирался написать на него пародию под названием «Мои любовные радости и любовные страдания. (Из записок солощего быка)» [3]. Н. С. Лесков, высоко оценивший «Анну Каренину», писал, что роман «дурно ругают» [4].

[1] Автору «Анны Карениной».— В кн.: «Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX в.». Л., «Советский писатель», 1975, с. 445.

[2] См.: И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. XI. М.— Л., 1966.

[3] М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма. Л., 1925, с. 76 и 111.

[4] Н. С. Лесков. Собр. соч., т. 10. М., 1958, с. 389.

Не стану ссылаться на другие примеры. Самое важное в этой истории — то, что ни эти отзывы, кажущиеся в наше время курьезными, ни другие, прямо противоположные [1], едва ли заставили Толстого изменить что-либо в его романе. У него были свои поводы для того, чтобы написать «Анну Каренину» именно так, как он ее написал, и никто из его критиков, будь он даже семи пядей во лбу, не мог догадаться о мучительной борьбе с собой, пронизывающей создание гениального романа.

ИЗ ПРОЩАЛЬНОЙ ЛЕКЦИИ

«Дорогие друзья, особенность нашего семинара заключалась в том, что он представлял собой как бы непрерывающийся разговор о современной литературе, острый, подчас доходивший до спора, беспорядочный, с повторениями, с чувством удовлетворения от самого сознания словесного боя. Но самому длинному разговору приходит конец, и он пришел, когда вы кончили курсы и принялись за дело, которое было тесно связано с вашими занятиями,— за критические статьи, рассказы и романы. Может быть, именно поэтому не будет нескромностью с моей стороны посвятить эту прощальную лекцию собственной работе. За последние два-три года я написал несколько рассказов и роман «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове». Должен сознаться, что, несмотря на все усилия сделать свои книги не похожими друг на друга,— так я понимал свое движение вперед,— они похожи, и сходство заключается в том отсутствии жизненного опыта, которое я напрасно старался возместить стилистической «игрой» и острыми поворотами сюжета. Это были фантастические рассказы, в которых действовали алхимики, фокусники, средневековые монахи — и автор, время от времени собиравший своих героев, чтобы посоветоваться с ними о дальнейшем развитии событий. Первым, еще очень робким, выходом из этого круга узколитературных представлений

---

[1] Достоевский, сперва холодно встретивший роман, впоследствии писал, что «Анна Каренина» «есть совершенство, как художественное произведение, подвернувшееся как раз кстати, и такое, с которым ничто из европейских литератур в настоящее время не может сравниться...» (Полн. собр. соч., т. II. СПб., 1896, с. 247). Факты, касающиеся «провала» «Анны Карениной», взяты из работ В. А. Жданова, тщательно изучившего этот вопрос.

была повесть «Конец хазы», в которой я попытался изобразить бандитов и налетчиков нэповских лет, «блатной мир» Ленинграда. Собирая материал для «Конца хазы», я читал уголовную хронику, ходил на заседания суда и, случалось, проводил вечера в притонах, которых в ту пору было еще немало. Я готовился к работе именно так, как это делали мои старшие товарищи, неоднократно и справедливо упрекавшие меня в незнании жизни, в стремлении укрыться от нее за стенами студенческой комнаты, заваленной книгами по истории литературы. И тем не менее почти все, что мне удалось узнать о налетчиках и бандитах, осталось в моей записной книжке, а повесть была написана с помощью «готовых схем» и юношеского воображения. Лишь одна ее сторона чуть-чуть приоткрыла своеобразие «блатного мира» — самый язык налетчиков, воровское «арго», которое заинтересовало меня как лингвиста.

Повесть имела успех,— впрочем, скандальный. Одна из рецензий на нее называлась: «О том, как Госиздат напечатал руководство к хулиганству».

Подлинное открытие «жизненного опыта» произошло позже, в ходе работы над романом «Скандалист», опубликованным в журнале «Звезда» за 1928 год. Впрочем, это было не открытие, а вторжение, прорыв, нападение из-за угла, причем, как это ни странно, нападал я на самого себя, как на автора занимательных (чего бы это ни стоило) произведений.

История эта поучительна, и рассказать ее, мне кажется, стоит. В ней участвует та непроизвольность, которая в работе художника подчас превращается в необходимость.

Весной 1928 года я работал над книгой, которая не имела почти ничего общего с будущим «Скандалистом». Как обычно, я завел «тетрадь планов» — и ни в одном из них не было Виктора Некрылова, писателя, филолога, скандалиста, шумно вторгающегося в литературную жизнь Ленинграда. И самая жизнь была совсем другая.

Я хорошо знал Ленинградский университет двадцатых годов, в котором старое и новое столкнулись с необычайной остротой и силой. Для меня был понятен тимирязевский бунт одних профессоров и сознательная косность других. Университет казался мне плацдармом, на котором шла глухая борьба между академической ученостью и

бретерами от науки, борьба, которая с роковой неизбежностью кончилась поражением и тех и других.

Загадочные люди посещали «Вечера на Васильевском острове» — так мы называли некоторые семинары,— и мне остается только пожалеть, что я не «зарисовал», хотя бы наскоро, их фантастические силуэты, в которых опытный глаз мог бы разглядеть всю неповторимость переходной эпохи. Да, я знал университет, но еще не знал, не мог представить себе того расстояния, которое лежит между знанием материала и бесчисленными возможностями его воплощения. Вот почему, решившись рассказать о трагедии профессора Ложкина, заблудившегося между Революцией и древнерусской «Повестью о Вавилонском царстве», я выстроил сложную параллельную историю, действие которой (очевидно, по контрасту) должно было происходить в кругу цирковых артистов. Здесь главным действующим лицом был японец Сато, акробат, а ответственность за связь между цирком и университетом была возложена на профессора-япониста Драгоманова.

Не стану рассказывать о том, что сохранилось от первого варианта плана,— скажу только, что во втором и третьем цирк отступал все дальше, давая дорогу университету. В обширной галерее студенческих воспоминаний мне удалось найти прототипы. Назову лишь один из них: в лице Драгоманова я попытался изобразить необычайно сложную фигуру известного лингвиста Евгения Дмитриевича Поливанова, с которым я часто встречался в начале двадцатых годов.

Работа была в разгаре, когда я вдруг решительно отказался от циркового материала. В нем было что-то броское, искрометное и одновременно требовавшее отказа от этой искрометности, за которой открывалась неведомая мне трудная жизнь. Короче говоря, чтобы писать о цирке, надо было изучить цирковой быт с такой тщательностью, как это сделали во французской литературе Гонкуры («Братья Земганно»), а в русской — Куприн и Житков. В конечном счете от всех моих цирковых планов осталось лишь краткое рассуждение Драгоманова о «республике циркачей на манер платоновского государства ученых».

Вот именно тогда-то, зимой 1928 года, я встретился у Юрия Тынянова с одним литератором, живым и острым, находившимся в расцвете дарования и глубоко убежденным в том, что ему ведомы все тайны литературного дела.

Говорили о жанре романа, и литератор заметил, что этот жанр был не под силу даже Чехову, так что нет ничего удивительного в том, что он не удается в современной литературе. У меня нашлись возражения, и он с иронией, в которой всегда был необыкновенно силен, выразил сомнение в моих способностях к этому сложному делу. Взбесившись, я сказал, что завтра же сяду за роман и это будет книга о нем — о скандалисте, у которого биография была всегда интереснее, чем литература. Он высмеял меня — и напрасно. На другой день я стал переписывать роман с первой страницы. По-видимому, только молодость способна на такие решения и только в молодости можно с такой откровенностью ходить с записной книжкой по пятам своего будущего персонажа. Он смеялся надо мной: «Утилизационный завод имени Каверина»,— я записывал и это. Он сыпал шутками, блистал остротами, подчас необычайно меткими и запомнившимися на всю жизнь,— я краснел, но записывал. Вероятно, он был вполне убежден, что из романа ничего не выйдет, иначе, пожалуй, был бы осторожнее в этой необычайной дуэли.

Так в книгу ворвался живой человек, и все в ней как бы вздрогнуло, сосредоточилось и стало быстро перестраиваться в каком-то другом, неожиданном порядке. «Видимый невооруженным глазом» герой не мог существовать в безвоздушном пространстве условно-литературного мира. Сюжет и до появления «Скандалиста» лежал в обломках — теперь надо было совсем отбросить его, хотя бы потому, что книга об университете, об ученых-филологах в новом ракурсе неизбежно должна была задеть литературный круг Ленинграда. В центре нового сюжета появилась фигура Некрылова — ученого, журналиста, скандалиста, который всю жизнь возится с сознанием своей исторической роли.

Сюжетный роман, построенный на неожиданностях и контрастах, с каждой новой главой превращался в историю характеров, в комедию нравов. В новой книге, которая теперь писалась как бы сама собой, фабула не играла почти никакой роли. Тень ее мелькнула в последнем варианте, когда роман, начавшийся главой о бессоннице, кончился страницами об уснувших наконец героях.

Отразились ли все эти перемены на стиле? Без сомнения! Мне хотелось написать нечто вроде романа-монолога, который был бы живым отрицанием пуризма, основан-

ного на подчеркнутом внимании к нашей классической прозе. Я был убежден в том, что литературный вкус, ограниченный «Толковым словарем» Даля, давно отжил свой век, тем более что и сам Даль был противником книжной, грамматически выдержанной прозы... «С грамматикой я искони был в каком-то разладе, не умея применять ее к нашему языку и чуждаясь ее не столько по разуму, сколько по какому-то темному чувству»,— писал он.

Появление нового героя не помогло мне написать абстрактно задуманный роман-монолог. Но недаром я ходил за своим «скандалистом» с записной книжкой в руках! Оттенок живой современной речи окрасил книгу, когда в ее центре оказался человек, говорящий парадоксами, за которыми слышался разбойничий посвист, человек беспорядочный, вспыльчивый, остроумный, с разорванной, прыгающей с пятое на десятое речью.

И, наконец, самое важное: на первый план выдвинулись социальные отношения героев, проблема интеллигенции и революции, борьба между теми, кто хотел «отшутиться от современности», и теми, кто в новых, еще небывалых обстоятельствах продолжал энергично действовать в великой русской науке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1

Едва оставив преподавание, я поехал на Днепрострой, в Магнитогорск, по совхозам. Незнакомая жизнь открылась передо мной, и я смотрел на нее жадными глазами, нисколько не уставшими от множества прочитанных и трех-четырех написанных книг. Теперь, через сорок лет, пора и оглядеться. Перелистывая записи моего семинара, я вижу, что четыре года преподавания принесли мне неоценимую пользу. Они научили меня искусству спора, то есть умению, уважая чужие взгляды, обдуманно защищать свои.

Они развили вкус. Они заставили меня (и моих слушателей) охватить всю картину литературы в целом. Любопытно, что дар предвидения участвовал в этом охвате. В конспекте одного доклада я встретил стройную систему доказательств, что на мировой литературной магистрали в ближайшее десятилетие окажется социальная фантасти-

ка, а в другом — доказательство, что литературу отраженной действительности заменит невыдуманная литература документа, факта.

Не думаю, что мы ясно видели всю картину современной литературы. Мы видели ее с пустотами, заполненными воображением,— с пустотами в тех местах, где чувствовалась необходимость новых открытий.

Я не только учил, но учился и убежден в том, что эта черта — одна из важнейших в преподавании литературы. Ведь литература уже и в школе отличается от других предметов. Самое слово «предмет» кажется мне чем-то тусклым, тупым, деревянным, когда речь заходит о Пушкине, Некрасове, Блоке.

Без умения восхищаться (которое было так характерно для Горького) нечего и браться за преподавание литературы. Это не значит, разумеется, что надо в немом благоговении или с возгласами восторга раскрывать перед слушателями величие и глубину художественных произведений. Умению восхищаться предшествует понимание, а это понимание в свою очередь не похоже на любую систему доказательств, которые преподаватель физики или математики передает ученикам, пользуясь разумом, а не чувством.

В доказательствах, которыми пользуется учитель литературы, непременно участвует жизнь, более того — современная жизнь, даже если речь идет о древней литературе. Поучительность должна явиться сама собой, без намеков или иносказаний.

Литература год от года должна учить все большей тонкости чувств, а это невозможно, если учитель чужд этой тонкости, не думает о ней, если он не «читатель» в подлинном смысле слова. «Грамота», умение читать еще не сделало гоголевского Петрушку читателем» [1]. Точно так же знание (даже отличное) всего, что написал Пушкин или Толстой, не делает молодого человека, окончившего соответствующий факультет, преподавателем литературы. Мало знания, необходимо постижение, утонченность восприятия, способность к развитию этой утонченности и, может быть, больше всего — страсть. Пусть скрытая, она непременно передается слушателям, если она искренна и благородна.

---

[1] Ю. Тынянов. «Не кинограмота, а кинокультура» (О задачах кинофакультета Института истории искусств).

2

Накануне отъезда из Ленинграда, летом 1969 года, мне захотелось еще немного побродить по старому дому на Исаакиевской площади, а заодно проститься с сотрудниками нынешнего института — проститься и поблагодарить. Два слова о них.

Лариса Михайловна Кутателадзе работает в институте уже тридцать четыре года, включая и страшные блокадные. Старший научный сотрудник сектора источниковедения, она показала мне уникальные рукописи — ноты Моцарта, большой сафьяновый, с золотым тиснением испанский альбом Глинки с карандашными набросками и стихами.

Ксения Юрьевна Стравинская, племянница великого композитора, была приглашена, чтобы я не напутал чего-нибудь, рассказывая об интерьерах, в которых можно найти и немецкую готику, и барокко, и псевдогреческий стиль — словом, все, что было модно тому назад лет восемьдесят, в конце прошлого века.

Анатолий Яковлевич Альтшуллер, заведующий сектором, очень занятой человек, с величайшей охотой согласился потерять два дня, чтобы показать мне каждый уголок старого дома.

Мы снова обошли его. В большом зеленом зале, как я узнал на этот раз, была торжественно отпразднована свадьба В. П. Зубова. Он женился на молоденькой слушательнице курсов. Теперь это конференц-зал, в котором устраиваются защиты диссертаций, и, хотя именно в нем была отпразднована свадьба, только он один нарушает сохранившееся каким-то чудом ощущение уюта жилого семейного дома. Оно сохранилось в библиотеке с видом на Исаакий — может быть, потому, что когда-то здесь была зубовская столовая. Ангелы неуклюже вылетают из деревянных, как будто завязанных узлом, инкрустаций. На спинке дивана — сцена поклонения волхвов: грустная, склонившаяся мать, грустные волхвы с длинными посохами, грустный младенец. И почему-то хочется представить себе удивленные детские глаза, рассматривающие эту старательно вырезанную — и, в сущности, странную сцену. Лесенки, лесенки, антресоли с перилами. Канцелярия с павловским столом и александровским секретером. Снова лесенки...

Когда мы всё обошли, осмотрели, обсудили и догово-

рились уже до коменданта Бобкова, который до революции служил дворником у гр. Юсупова и очень гордился тем, что именно он открыл ворота убийцам Распутина, когда они увозили его тело,— для меня был устроен музыкальный праздник. В Музее музыкальных инструментов Надежда Иосифовна Голубовская исполнила (магнитофонная запись) на клавесинах сонату Скарлатти.

Я простился со своими новыми знакомыми в просторном вестибюле с мраморной лестницей, с ионическими колоннами и статуями в духе Кановы — на памятной лестнице, по которой я когда-то поднимался, без конца повторяя первую фразу вступительной лекции, которой должен был открыться мой семинар. Теперь я уходил, оставляя за собой двадцатые годы, казавшиеся обыкновенными и оказавшиеся удивительными по своей наполненности, оригинальности и предсказывающей силе. Тогда никого не удивляла ранняя возмужалость, может быть характерная для переходных эпох истории. В стремлении понять и оценить современную литературу скрывалась еще бессознательная попытка найти путь к пониманию прошлого. Мы не замечали осязательности истории, совершавшейся на наших глазах, но в той уверенности, с которой мы судили о современном искусстве, было заложено сознание личного участия в нем. Оно-то, обращенное в прошлое, и помогало нам по-новому прочитать Пушкина, Достоевского, Гоголя. Мы учились и учили друг друга с тем необъяснимым чувством, что произведения, которые мы так горячо обсуждали, мы же и написали или еще напишем когда-нибудь, но лучше, значительнее, острее.

1969—1972

* * *

Перед зеркалом.— Впервые в журнале «Звезда», 1971, № 1, 2.

Двухчасовая прогулка.— Впервые в журнале «Новый мир», 1978, № 11.

В старом доме.— Впервые в журнале «Звезда», 1971, № 9, 10.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ. Роман в письмах 7

ДВУХЧАСОВАЯ ПРОГУЛКА. Роман 261

В СТАРОМ ДОМЕ. Воспоминания и портреты . . 403

Каверин В. А.

К 12 Собрание сочинений: В 8-ми т.— М.: Худож. лит., 1980.—

Т. 6. Перед зеркалом: Роман; Двухчасовая прогулка: Роман; В старом доме. 1982.— 559 с.

В том включен роман в письмах «Перед зеркалом», роман «Двухчасовая прогулка» и воспоминания и портреты «В старом доме».

К $\frac{4702010200\text{-}342}{028\,(01)\text{-}82}$ подписное **Р2**

ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ВОСЬМИ ТОМАХ
ТОМ ШЕСТОЙ

Редактор
О. Новикова
Художественный редактор
Е. Енько
Технический редактор
Е. Полонская
Корректоры
Г. Киселева и
О. Наренкова

ИБ № 2419

Сдано в набор 27.03.81. Подписано к печати 04.01.82. А05401. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 29,4. Усл. кр.-отт. 29,4. Уч.-изд. л. 30,64. Тираж 100 000 экз. Изд. № III-404. Заказ № 2867. Цена 2 р. 30 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28